РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

Абашидзе Н. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

РОМЕН РОЛЛАН

# ЖАН-КРИСТОФ

КНИГИ ШЕСТАЯ — ДЕСЯТАЯ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

И(Фр)
Р 67

Иллюстрации
Франса Мазереля

7-3-4
Подп. изд.

# КНИГА ШЕСТАЯ

## АНТУАНЕТТА

*МОЕЙ МАТЕРИ*

ПЕРЕВОД Н. КАСАТКИНОЙ

Жанены принадлежали к числу тех старых французских семей, которые веками живут в одном и том же захолустном уголке и хранят чистоту рода от посторонних вторжений. Несмотря на перемены, происшедшие в обществе, таких семей во Франции больше, чем можно предположить. Они сами не сознают, какими глубокими корнями вросли в почву, от которой их может оторвать только сильная встряска. В этой их привязанности соображения рассудка не играют никакой роли, соображения выгоды — очень малую, а умиление перед исторической стариной свойственно лишь кучке просвещенных литераторов. Но всех, как самых невежественных, так и самых образованных, связывает одинаково неразрывными узами глубокое и могучее чувство, подсказывающее им, что они испокон веков — частица этой земли, живут ее жизнью, вдыхают ее воздух, слышат у своей груди биение ее сердца, как два существа, лежащие рядом на общем ложе, улавливают каждое ее содрогание, малейшие оттенки, которыми отличаются друг от друга часы суток, времена года, погожие и хмурые дни, голоса и молчание природы. При этом и местность может быть не из самых красивых, и живется там не очень легко, но к ней привязываешься тем крепче, чем проще, чем смиреннее там природа, чем ближе она к человеку и чем яснее говорит ему родным, задушевным языком.

Такой была провинция в самом сердце Франции, где обитали Жанены. Плоский болотистый край, старинный сонный городок, который со скукой глядится в мутную, застоявшуюся воду канала; а кругом — пашни, луга, ручейки, обширные леса, однообразные поля... Ни живописного вида, ни навевающего воспоминания памятника старины. Ничто здесь не привлекает.

И все привязывает. В таком застое, в таком оцепенении есть скрытая сила. Впервые столкнувшись с ними, ум человеческий страдает и возмущается. Но кто из поколения в поколение жил под воздействием этой силы, тот уже не может стереть ее отпечаток: она вошла в его плоть и кровь; эта неподвижность, эта баюкающая скука, это однообразие полны для него чарующей прелести, в которой он не отдает себе отчета, которую даже отрицает, но любит и не забудет никогда.

Жанены жили здесь с незапамятных времен. Их род удалось проследить в архивах города и окрестностей вплоть до XVI века благодаря неизбежному двоюродному дедушке, который посвятил свою жизнь составлению родословной этих безвестных тружеников: крестьян, деревенских ремесленников, а позднее сельских писцов и нотариусов, в конце концов осевших в субпрефектуре округа, где Огюстен Жанен, отец нынешнего Жанена, преуспел в качестве банковского дельца; это был человек ловкий, по-крестьянски упорный и с хитрецой, в общем честный, но без чрезмерной щепетильности, неутомимый работник и прожигатель жизни; своим лукавым добродушием, прямотой и богатством он умудрился внушить к себе почтение и страх на десять лье в окружности. Приземистый, коренастый, кряжистый, с мясистым, красным, в оспинах лицом и быстрыми глазками, он в молодости слыл большим любителем слабого пола да и под старость не совсем утратил вкус к женщинам. Он любил вольные шутки, любил хорошо поесть. Стоило посмотреть на него за столом в обществе его сына Антуана и нескольких старых приятелей того же пошиба — мирового судьи, нотариуса, настоятеля собора (старик Жанен вел яростную кампанию против церкви, но охотно водил компанию со служителями церкви, если те были люди компанейские): все это были молодцы точно на подбор, как и подобало землякам Рабле. Гул стоял от забористых острот, от стука кулаками по столу, от раскатов хохота. Их безудержное веселье передавалось прислуге на кухне и соседям на улице.

Но однажды в знойный летний день старик Огюстен вздумал спуститься в погреб без пиджака, чтобы самому разлить вино по бутылкам, и схватил воспаление легких. В одни сутки убрался он в иной мир, в который не очень-то верил, напутствуемый надлежащими церковными таинствами, как и полагается провинциальному буржуа-вольнодумцу: в последнюю минуту он на все готов согласиться, лишь бы бабье к нему не

приставало, тем более что самому-то ему наплевать... А кстати, кто знает...

Сын Антуан наследовал ему в делах. Это был веселый, румяный, низенький толстяк, бритый, с бакенбардами, очень подвижной, шумливый; говорил он быстро, глотая слова и отрывисто жестикулируя. Он не обладал коммерческими способностями отца, но не лишен был хозяйственной жилки. Впрочем, достаточно было спокойно продолжать начатое до него дело, чтобы оно шло своим ходом и процветало само по себе. В местных кругах Антуана считали дельным человеком, хотя, говоря по совести, роль его была самая незначительная; он способствовал преуспеянию предприятия только своей методичностью и усердием. В общем, он был человек в высшей степени почтенный и всюду пользовался заслуженным уважением. И в городке, и в окрестных деревнях он снискал себе прочную популярность приветливостью и простотой манер, кое-кому казавшихся чересчур панибратскими, развязными и грубоватыми. В деньгах он не был расточителен, но в чувствах — щедр непомерно. Он легко пускал слезу и при виде чужой беды так бурно выражал свое огорчение, что неизменно потрясал пострадавшего. Как и большинство обитателей городка, Антуан увлекался политикой. Он был до крайности умеренным республиканцем и при этом ярым либералом, патриотом и, по примеру отца, рьяным антиклерикалом. Он состоял в муниципальном совете, и для него вкупе с коллегами не было лучшего удовольствия, как насолить приходскому священнику или суровому проповеднику, приводившему в восторг местных дам. Кстати, не следует забывать, что антиклерикализм французских провинциальных городков по большей части бывает одним из видов домашней войны, замаскированной формой той глухой и жестокой борьбы между мужьями и женами, которая неизбежна почти в каждой семье.

Антуан тяготел и к литературе. Как все провинциалы его поколения, он был воспитан на латинских классиках, из которых заучил наизусть несколько страниц и множество пословиц, на Лафонтене и Буало — на Буало «Поэтики» и, главное, «Налоя», на авторе «Девственницы», а также на poetae minores[1] французского XVIII века и пытался подражать им в своих стихотворных опусах. В своем кругу не он один страдал этой склонностью, возвышавшей его в глазах знакомых. В городе повторяли его стихотворные шутки, четверостишия, буриме,

[1] Второстепенных поэтах *(лат.)*.

акростихи, эпиграммы и куплеты, зачастую несколько вольные, однако не лишенные довольно плоского юмора. Тайны пищеварения при этом отнюдь не были забыты. Муза прилуарских краев охотно трубит в рог на манер знаменитого дантовского дьявола:

Ed egli avea del cul fatto trombetta...

Этот крепкий, жизнерадостный и деятельный толстяк женился на женщине совершенно иного типа — на дочери местного судейского чиновника, Люси де Вилье. Все де Вилье или, вернее, Девилье — их фамилия разделилась с течением времени, как раскалывается надвое камень, скатившийся с холма,— итак, все де Вилье из поколения в поколение служили по судебному ведомству и принадлежали к той старинной породе французских парламентариев, для которых священно понятие закона, долга, общественных приличий, личного, а тем более профессионального достоинства, подкрепленного безупречной честностью с легким привкусом самодовольства. В предшествовавшем веке они набрались фрондирующего янсенизма, от которого у них осталось отвращение ко всякому иезуитству и какая-то брюзгливая разочарованность. Жизнь представлялась им в мрачном свете, и они отнюдь не старались сглаживать житейские невзгоды, а, наоборот, рады были нагромоздить новые, лишь бы иметь право брюзжать. Люси де Вилье унаследовала кое-какие из этих черт, прямо противоположных несколько примитивной жизнерадостности своего мужа. Это была женщина высокого роста, на голову выше мужа, худощавая, стройная, одевалась она со вкусом, но, пожалуй, слишком строго, словно умышленно старалась казаться старше своих лет; сама по натуре глубоко нравственная, она была крайне требовательна к другим, не прощала не только проступков, но даже промахов и слыла холодной и высокомерной. Она отличалась большой набожностью, что служило поводом для вечных раздоров между супругами. Вообще же они были очень любящей четой, и хотя часто ссорились, но жить друг без друга не могли. Оба были равно лишены практической сметки — он от неумения разбираться в людях (его ничего не стоило провести умильным видом и пышными фразами), она — от полной неопытности в деловых вопросах (ее всегда держали в стороне от дел, и она привыкла не интересоваться ими).

---

[1] А тот трубу изобразил из зада *(итал.).— Данте, «Божественная комедия», «Ад», песнь XXI.*

У четы Жаненов было двое детей: дочь Антуанетта и сын Оливье, моложе сестры на пять лет.

Антуанетта была хорошенькая брюнетка с приветливым, простодушным личиком чисто французского типа — округлый овал, блестящие глаза, выпуклый лоб, изящный подбородок, прямой носик,— «тонкий нос благородства необычайного (как галантно выражается один из старых французских портретистов), каковой чуть приметно морщился и оживлял все лицо, указывая, сколь тонки были чувствования молодой особы, когда она благоволила говорить или слушать». От отца Антуанетта унаследовала жизнерадостность и беспечность.

Оливье был хрупкий блондин небольшого роста, как отец, но совсем иного характера. В детстве он подолгу серьезно хворал, отчего здоровье его пошатнулось, и хотя домашние всячески холили его, он с ранних лет стал вялым, задумчивым мальчуганом, боялся смерти и был беззащитен перед лицом жизни. Рос он одиноко: от природы нелюдимый, он сторонился и дичился сверстников — ему было с ними не по себе; их игры и драки его отталкивали, их грубость приводила в ужас. Он терпел их побои не от недостатка храбрости, а от застенчивости: он боялся защищаться, чтобы не сделать кому-нибудь больно. Мальчики совсем бы его замучили, если бы не положение отца. Оливье был очень нежным и болезненно чувствительным ребенком: малейшее слово, ласка, упрек доводили его до слез. Сестра, натура более здоровая, чем он, дразнила его, называла «Фонтанчик».

Брат и сестра горячо любили друг друга, но они были слишком разными, чтобы жить одной жизнью. Каждый шел своим путем, увлекаемый своей мечтой. Антуанетта с возрастом все хорошела; ей об этом говорили, она и сама это знала, радовалась и уже видела себя в будущем героиней романов. Тщедушного меланхолика Оливье коробило всякое соприкосновение с внешним миром, и он искал прибежища в своем глупеньком ребяческом воображении, рассказывая себе разные истории. У него была страстная, чисто женская потребность любить и быть любимым; живя одиноко, в стороне от сверстников, он создал себе двух-трех вымышленных друзей: одного звали Жан, одного Этьен, а еще одного — Франсуа; он был постоянно с ними, а не с теми, кто его окружал на самом деле. Спал он мало и вечно о чем-то грезил. Утром, когда его удавалось поднять с постели, он задумывался, свесив с кровати голые ножки или же натянув оба чулка на одну ногу, что тоже случалось нередко. Он задумывался, погрузив обе руки в умывальный таз. Он заду-

мывался за партой, не дописав строчки или заучивая урок; он часами витал в мечтах, а потом вдруг с ужасом обнаруживал, что не успел ничего выучить. Когда его окликали за обедом, он пугался и отвечал не сразу, а начав говорить, забывал, что́ хотел сказать. Он жил в полудреме, убаюканный своими детскими думами и однообразными, привычными впечатлениями медленно текущей провинциальной жизни: большой пустынный дом, половина которого была необитаемой; огромные, страшные подвалы и чердаки; наглухо запертые, таинственные комнаты с закрытыми ставнями, с мебелью в чехлах, с завешенными зеркалами, закутанными люстрами; старинные фамильные портреты с застывшими улыбками; гравюры времен Империи — смесь игривой добродетели и героизма — «Алкивиад и Сократ у куртизанки», «Антиох и Стратоника», «История Эпаминонда», «Нищий Велизарий»; снаружи — с той стороны улицы — грохот кузни, скачущий ритм молотов, тяжкие, прерывистые вздохи кузнечного меха, запах паленого рога, стук вальков на берегу, где прачки полощут белье, глухие удары топора, доносящиеся из мясной лавки в соседнем доме, цоканье лошадиных копыт по мостовой, скрип колодца, лязг разводимого моста на канале, тяжелые баржи, груженные штабелями дров, медленно тянущиеся на буксире мимо сада; мощеный дворик с небольшой клумбой, где среди поросли герани и петуний тянулись вверх два сиреневых куста; вдоль террасы над каналом кадки с лавровыми и гранатовыми деревьями в цвету; а в базарные дни — шум с площади, крестьяне в глянцевитых синих блузах, визг свиней... По воскресеньям в церкви, как всегда, фальшивил певчий, и старик кюре дремал во время мессы; затем прогулка всей семьей по Вокзальному проспекту, где время проходило в обмене церемонными приветствиями с такими же страдальцами, тоже считавшими своим долгом гулять семьями,— пока наконец дорога не выводила в озаренные солнцем поля, над которыми вились незримые жаворонки, или на берег сонного, подернутого рябью канала, по обоим берегам которого тянулись ряды тополей...

А потом парадные провинциальные обеды, где без конца ели и обсуждали еду с упоением и знанием дела; знатоками же были все, ибо чревоугодие для провинциала — важнейшее занятие, подлинное искусство. Говорили и о делах, рассказывали пикантные анекдоты; иногда заводили разговор о болезнях, не скупясь на подробности. Мальчуган сидел в своем уголке, тихонько, точно мышка, нехотя грыз что-нибудь, когда другие ели, и слушал, слушал. Ничто не ускользало от его внимания,

а что ему случалось недослышать, он дополнял воображением. У него был удивительный дар, присущий отпрыскам старых семей, старых родов, на которых оставили свой след целые века,— дар угадывать мысли, ему самому пока что не приходившие в голову и едва ли даже понятные. И еще была кухня, где творились сочные и смачные чудеса; была старая нянюшка, которая рассказывала потешные и страшные сказки. А по вечерам — бесшумный полет летучих мышей, ужас перед копошащимися где-то в недрах старого дома чудовищами: жирными крысами, гигантскими мохнатыми пауками; вечером — молитва на коленях у кроватки, когда сам не понимаешь, что бормочешь; дребезжание колокольчика в соседнем монастырском приюте, зовущего монахинь ко сну; и постель, островок грез...

Лучшим временем в году были весна и осень, когда семья жила в своей усадьбе, недалеко от города. Там можно было мечтать вволю: никто посторонний туда не заглядывал. Как и большинство буржуазных детей, брата и сестру держали подальше от простонародья: прислуга и фермеры внушали им своего рода страх и брезгливость. От матери они заимствовали аристократическое — или, вернее, чисто буржуазное — презрение к людям физического труда. Оливье проводил целые дни, примостившись среди ветвей ясеня, зачитываясь чудесными мифами, сказками Музеуса или г-жи д'Онуа, или «Тысячи и одной ночи», или же путешествиями, потому что его томила непонятная тоска по далеким краям — те мечты об океане, которые нередко обуревают юных обитателей французских захолустных городков. Густая зелень заслоняла от него дом, и он мог воображать себя где-то очень далеко. И в то же время ему было приятно сознавать, что он совсем близко: он не любил один удаляться от дома,— он чувствовал себя каким-то затерянным среди природы. Деревья колыхались вокруг. Сквозь чащу листвы он видел вдали желтеющие виноградники, видел луга, где паслись пестрые коровы, наполняя тишину засыпающих полей протяжным и жалобным мычанием. Петухи пронзительными голосами перекликались от фермы к ферме. Слышался неравномерный стук цепов на току. И среди невозмутимого покоя неодушевленной природы полным ходом шла лихорадочная жизнь великого множества живых существ. Беспокойным взглядом следил Оливье за вереницами озабоченных муравьев, за пчелами, отягощенными добычей и гудящими, точно орган, за спесивыми и глупыми осами, которые сами не знают, чего хотят,— за этим мирком хлопотливых насекомых, жадно стремящихся куда-то. А куда? Им это неизвестно. Все равно! Куда-

нибудь... Оливье пробирала дрожь среди этого слепого и враждебного мира. Он вздрагивал, как зайчонок, от шума упавшей шишки или треска сухого сучка. И сразу же успокаивался, заслышав, как звякают на другом конце сада кольца качелей, на которых до головокружения качалась Антуанетта.

Она тоже мечтала, но на свой лад. Целыми днями рыскала она по саду, заглядывала во все уголки, смеялась, лакомилась, клевала виноград с кустов, как дрозд, потихоньку срывала с ветки персик, взбиралась на сливовое дерево или, проходя мимо, украдкой встряхивала его, чтобы на землю градом посыпалась золотая мирабель, тающая во рту, точно душистый мед. А то еще, несмотря на запрет, рвала цветы: сломает розу, которую облюбовала с утра, и убежит в беседку в конце сада. Там она жадно зарывалась носом в чудесно пахнущий цветок, целовала, кусала, обсасывала лепестки, потом прятала похищенное сокровище за корсаж платья между двумя маленькими грудями; с любопытством смотрела она, как они приподнимают распахнувшуюся кофточку. Другим упоительным и запретным наслаждением было снять башмаки и чулки и бродить босиком по мелкому прохладному песку аллеи, по росистой траве лужаек, по камням, ледяным в тени или раскаленным на солнце, и по дну ручейка, текущего вдоль опушки леса,— ласкать пятками, пальцами, коленями воду, землю, свет. Лежа в тени елей, она разглядывала свои пальцы, прозрачные на солнце, и бессознательно касалась губами атласистой кожи своих тонких и округлых рук. Она мастерила себе венки, ожерелья, платья из листьев плюща и дуба; вплетала в них лиловатые цветы чертополоха, красные ягоды барбариса, еловые веточки с зелеными шишками. И, точно принцесса какого-то варварского племени, плясала вокруг фонтана, вытянув руки; она кружилась, кружилась до тех пор, пока у нее не начинала кружиться голова; тогда она с размаху опускалась на лужайку, прятала лицо в траву и звонко смеялась несколько минут подряд, не в силах остановиться, сама не зная, чему смеется.

Так брат и сестра проводили дни в двух шагах друг от друга, не интересуясь друг другом,— разве только Антуанетте вздумается мимоходом подшутить над братом, бросить в него горсть сосновых игл, тряхнуть дерево, на котором он сидел, чуть не свалить его или напугать, внезапно выскочив с криком:

— У! У!..

Временами ее обуревала охота дразнить его. Желая сманить его на землю, она уверяла, будто мама зовет. А потом сама забиралась на его место и не желала слезать. Оливье хныкал, грозил

пожаловаться. Но Антуанетта и сама не засиживалась на дереве — она не могла двух минут пробыть спокойно. Вдоволь поиздевавшись над Оливье с высоты ясеня, доведя его до бешенства, чуть не до слез, она кубарем скатывалась вниз, накидывалась на него, смеясь, тормошила его, называла «простофилей» и бросала наземь, утирая ему нос пучками травы. Он пытался бороться, но у него не хватало сил. Тогда он затихал и с жалостно покорным видом, не шевелясь, лежал на спине, как майский жук, раскинув худенькие руки, прижатые к земле крепкими кулачками Антуанетты. При виде побежденного и сдавшегося на ее милость брата Антуанетта смягчалась, со смехом порывисто целовала его и отпускала, не преминув на прощанье засунуть ему в рот пучок травы, чего он совсем не выносил, потому что был до крайности брезглив. Он плевался, вытирал рот, возмущался и негодовал, а она, смеясь, убегала со всех ног.

Она смеялась всегда. Смеялась даже ночью, во сне. Оливье, лежа в соседней комнате, рассказывал себе занимательные истории и хотя не спал, но вздрагивал всякий раз, как она принималась хохотать или бормотала бессвязные слова, нарушая ночную тишину. В саду под порывами ветра скрипели деревья, ухала сова, собаки выли в дальних деревнях и на фермах, затерявшихся в лесу. В тусклом, мерцающем свете ночи Оливье видел, как за окном, подобно призракам, шевелятся тяжелые, темные ветви елей, и от смеха Антуанетты ему становилось спокойнее.

Оба они были очень набожны, в особенности Оливье. Отец смущал их своими антиклерикальными речами, но предоставлял им в этом смысле полную свободу и в глубине души, как многие неверующие буржуа, был даже доволен, что домашние веруют за него,— никогда не мешает иметь союзников в противном лагере, ведь трудно предугадать, чья возьмет. По существу, он был деистом и не исключал возможности, когда пробьет час, позвать священника, по примеру отца: пусть пользы от этого нет, зато нет и вреда,— ведь страхуешься от огня, вовсе не думая, что обязательно должен случиться пожар.

У Оливье, мальчика болезненного, была наклонность к мистицизму: временами ему казалось, что он уже перестал существовать. По натуре доверчивый и мягкий, он нуждался в опоре; ему доставляло мучительное наслаждение исповедоваться, довериться незримому Другу, чьи объятия всегда раскрыты для

тебя, кому все можешь сказать, кто все поймет и простит; он с восторгом погружался в эту купель, откуда душа выходит чистой, омытой и умиротворенной. Верить было для него настолько естественно, что он не понимал, как можно не верить, и видел в этом злую волю или кару божию. Он молился тайком, чтобы отца осенила благодать, и, когда они однажды вместе зашли в деревенскую церковь, очень обрадовался, увидев, что отец машинально перекрестился. Рассказы из священной истории перемешались у него в голове с волшебными сказками о Рюбецале, о Грациозе и Персинэ и о калифе Гарун Аль Рашиде. В раннем детстве он не сомневался в реальности и тех и других. И так же, как порой ему казалось, что он на самом деле встречал и Шакабака с рассеченными губами, и болтливого цирюльника, и кашгарского горбуна; так же, как, выходя на прогулку, он оглядывался, надеясь увидеть черного дятла, несущего в клюве волшебный корень кладоискателя,— точно так же его детское воображение без труда превращало какой-нибудь бургундский или беррийский уголок в Ханаан, или Землю обетованную. Круглый холмик с деревцом на верхушке, похожим на общипанный султан, представлялся ему горою, где воздвиг свой жертвенник Авраам. А большой засохший куст на краю жнивья был для него Неопалимой купиной, успевшей погаснуть за столько веков. Даже когда он подрос и в нем проснулось критическое чувство, ему по-прежнему нравилось убаюкивать себя легендами, которыми в народе разукрашивают веру; и, понимая, что он обманывает себя, Оливье с упоением продолжал себя обманывать. Так, долгие годы он в страстную субботу подстерегал возвращение пасхальных колоколов, которые в четверг отправились в Рим и должны вернуться по воздуху, увитые лентами. В конце концов он понял, что это неправда, и все-таки закидывал голову, когда слышал перезвон; один раз ему даже почудилось,— хотя он и знал, что это невозможно,— будто над домом пролетел и скрылся в поднебесье колокол с голубыми бантами.

У него была неодолимая потребность погружаться в этот мир легенды и веры. Он бежал от жизни. Бежал от самого себя. Он рос худеньким, бледным, чахлым мальчиком, страдал от этого и не терпел, когда ему об этом напоминали. В нем был заложен врожденный пессимизм, вероятно унаследованный от матери и попавший на благоприятную почву. Он этого не сознавал: ему казалось, что все люди такие; и вот он, десятилетний мальчуган, в перерыве между уроками не убегал играть в сад, а запирался у себя в комнате и, лениво грызя сухарик, писал завещание.

Он вообще много писал. Каждый вечер он тайком непременно делал записи в дневнике, сам не зная зачем, потому что сказать ему было нечего и писал он сущие пустяки. Страсть к писанию была у него наследственной — вековой привычкой французского провинциального буржуа старой, несокрушимой породы, который с идиотским, доходящим до героизма упорством подробно записывает для себя все, что он видел, говорил, делал, слышал, ел и пил, и так каждый день, до гробовой доски. Для себя. Ни для кого другого. Никто никогда этого не прочтет. Он это знает и сам никогда не перечитывает своих записей.

Музыка, как и религия, служила для Оливье прибежищем от чересчур резкого света дня. Оба, брат и сестра, были в мать — музыкальны от природы, особенно Оливье. Впрочем, их музыкальный вкус оставлял желать лучшего. Некому было развить его в этом захолустье, где единственной музыкой, которую доводилось слышать, были военные марши или, в лучшем случае, попурри из Адольфа Адама в исполнении местного духового оркестра да еще романсы, разыгрываемые на церковном органе, и фортепианные упражнения буржуазных барышень, бренчавших на расстроенных инструментах несколько полек и вальсов, увертюру из «Багдадского калифа» или из «Охоты молодого Генриха» да две-три сонаты Моцарта, всегда одни и те же и с одними и теми же фальшивыми нотами. Это составляло непременную программу званых вечеров. После обеда всех, кто обладал какими-нибудь талантами, приглашали осчастливить общество: те сперва смущались и отказывались, потом уступали настояниям гостей и исполняли наизусть свой коронный номер. А гости наперебой восхищались прекрасной памятью исполнителя и его «виртуозной» игрой.

Без этого представления не обходился почти ни один вечер, что портило обоим детям все удовольствие парадного обеда. Когда их сажали играть в четыре руки неизменное «Путешествие в Китай» Базена или пьески Вебера, они еще не очень робели, потому что были уверены друг в друге. Но когда приходилось выступать одному, начиналась настоящая пытка. Антуанетта здесь, как и во всем, оказывалась храбрее брата. Хотя ей смертельно не хотелось играть, она знала, что увильнуть не удастся, и скрепя сердце с независимым видом усаживалась за рояль, стараясь как можно быстрее отбарабанить свое «Рондо»; некоторые пассажи смазывала, на других сбивалась, останавливалась и, повернув голову, произносила с улыбкой:

— Ах, боже мой, забыла...— Потом, не долго думая, перескакивала через несколько тактов и доигрывала до конца.

Окончив, она откровенно радовалась, что отбыла повинность, и, когда возвращалась на свое место под гул похвал, говорила, смеясь:

— Ну и врала же я!..

Оливье не отличался таким покладистым нравом. Ему было мучительно выставлять себя напоказ перед посторонними, быть центром всеобщего внимания. Даже разговаривать при гостях для него было пыткой. А играть, особенно для людей, которые не любили музыки,— это он ясно видел,— скучали, слушая ее, и уговаривали только из приличия, играть для них казалось ему уже настоящей пыткой, и он пытался бунтовать, но тщетно. Обычно он упорно отказывался, иногда убегал, чтобы спрятаться в темной комнате, в коридоре и даже на чердаке, хотя ужасно боялся пауков. Оттого что он упирался, его упрашивали особенно настойчиво, над ним подтрунивали; к уговорам чужих добавлялись окрики родителей, подкрепляемые шлепками в тех случаях, когда бунтарский дух разгорался не в меру. Как это ни было бессмысленно, мальчику все-таки приходилось играть. И так как он был самолюбив и, кроме того, по-настоящему любил музыку, то потом всю ночь мучился, что играл плохо.

Музыкальные вкусы городка не всегда были такими убогими. Старожилы помнили времена, когда в двух или трех буржуазных домах устраивались недурные вечера камерной музыки. Г-жа Жанен часто рассказывала о своем дедушке, который с увлечением играл на виолончели, пел арии Глюка, Далейрака и Бертона. В доме сохранились толстая нотная тетрадь и целая кипа итальянских арий, ибо почтенный старец напоминал г-на Андриэ, о котором Берлиоз говорил: «Он очень любил Глюка». И с горечью добавлял: «Он очень любил и Пиччини». Возможно, что Пиччини он любил больше. Во всяком случае, итальянские арии преобладали в собрании деда. Они послужили музыкальной пищей маленькому Оливье. Пища не очень здоровая, похожая на те провинциальные лакомства, которыми пичкают детей: она притупляет вкус, портит желудок и чаще всего отбивает охоту к более питательным кушаньям. Но Оливье нельзя было назвать сладкоежкой. Ему просто не давали более питательных кушаний. Не получая хлеба, он пробавлялся пирожными. Так волею судеб этого задумчивого, мистически настроенного мальчика вскормили Чимароза, Паэзиелло, Россини, и у него кружилась голова, когда он пил Asti

spumante[1], которое наливали ему взамен молока эти веселые и дерзкие отцы Силены заодно с двумя резвыми вакханками из Неаполя и Катаньи, чьи улыбки полны невинного сладострастия, а глаза подернуты слезинкой — Перголезе и Беллини.

Он много играл на рояле, один, для собственного удовольствия. Он был весь пропитан музыкой, не старался понять то, что играет, и наслаждался, не размышляя. Никто не думал учить его гармонии, и сам он не стремился учиться. Все, что имело отношение к науке и научной мысли, было чуждо его близким, особенно с материнской стороны. Все эти законники, краснобаи и философы становились в тупик перед любой научной проблемой. В семье говорили как о чудаке об одном дальнем родственнике, состоявшем в географическом обществе. И тут же добавляли: недаром он сошел с ума. Старая провинциальная буржуазия, наделенная крепким и трезвым умом, но отупевшая от бесконечного поглощения и переваривания пищи, от однообразной жизни, выше всего ставит свой здравый смысл; она верит в него безусловно и считает, что нет таких трудностей, с какими бы он не справился; ей представляется, что люди науки недалеко ушли от людей искусства,— правда, пользы они приносят больше, зато они не так возвышенны; а от людей искусства никто и не ожидает ничего путного, но в их праздности есть своего рода аристократизм. Кстати, каждый буржуа не сомневается, что он преуспел бы в любом виде искусства, если бы пожелал, тогда как ученые — это почти рабочие (что весьма унизительно), те же фабричные мастера, только более образованные и малость помешанные; на бумаге они все умеют, но стоит им оторваться от их фабрики цифр — и они никуда не годятся. Они бы немногого достигли, если бы ими не руководили люди, обладающие здравым смыслом, а также житейским и деловым опытом.

Вся беда в том, что отнюдь не доказано, так ли уж всемогущ этот житейский и деловой опыт, как хотят уверить себя обладатели здравого смысла. Скорее всего это шаблон, пригодный для очень ограниченного количества несложных случаев. Стоит возникнуть непредвиденному обстоятельству, требующему быстрого решения,— и эти люди оказываются безоружными.

Банкир Жанен принадлежал к людям такого типа. Все было до того точно предусмотрено заранее, все повторялось так неизменно в размеренном ходе провинциальной жизни, что он ни разу не сталкивался с серьезными затруднениями. Он насле-

[1] Итальянское шипучее вино *(итал.)*.

довал в делах отцу, не имея особого призвания к коммерции; так как все шло гладко, он приписывал это своим врожденным способностям и любил повторять, что для успеха вполне достаточно быть честным, трудолюбивым и руководствоваться здравым смыслом; он предполагал передать предприятие Оливье, нимало не интересуясь, как и его отец в свое время, соответствуют ли эти планы вкусам и устремлениям сына, и отнюдь не подготовлял юношу к будущей карьере. Он предоставлял своим детям расти на воле, лишь бы они были послушными детьми, а главное, лишь бы им было хорошо, ибо он души в них не чаял. Таким образом, и Оливье и Антуанетта были как нельзя хуже подготовлены к житейской борьбе — они росли, словно тепличные растения. Но ведь будущее их было обеспечено. В этом сонном захолустье, в богатой, уважаемой семье, при веселом, приветливом, радушном отце, окруженном друзьями и считавшемся одним из первых лиц в местном коммерческом мире, жизнь казалась такой легкой, так улыбалась им!

Антуанетте было шестнадцать лет. Оливье готовился к первому причастию. Он жил в полусне под таинственное бормотание своих грез. Антуанетта вслушивалась в сладостный щебет беззаветных надежд, от которых, как от апрельских соловьиных трелей, наполняются счастьем вешние сердца. Ей отрадно было чувствовать, что тело и душа ее расцветают, знать, что она мила, и слушать, как ей об этом говорят. Одних похвал отца, его неосторожных речей с избытком хватало, чтобы вскружить ей голову.

Он восторгался дочерью, его забавляло ее кокетство, томные взгляды, которые она бросала в зеркало, ее невинные и хитрые девичьи уловки. Он сажал ее к себе на колени, поддразнивая, справлялся, что творится в ее сердечке, вел счет одержанным ею победам и предложениям, которые якобы ей делали через него; он перечислял ей женихов: все это были почтенные господа, один старше и уродливее другого. Она в ужасе отмахивалась, звонко смеялась, обнимала отца за шею и прижималась личиком к его щеке. А он допытывался, кто же счастливый избранник: прокурор ли республики, о котором старая нянюшка Жаненов говорила, что он уродлив, как семь смертных грехов, или же толстяк-нотариус? Антуанетта легонько шлепала его, чтобы он замолчал, или закрывала ему рот руками. Он целовал ее лапки и, подкидывая дочку на коленях, напевал известную песенку:

Так кого же вам посватать бы, красотка?
Не хотите ли урода-старика?

Она заливалась смехом, связывая ему бакенбарды у подбородка, и отвечала припевом:

А нельзя ли найти помоложе
И чтоб был он хоть чуть попригоже?

Она твердо намеревалась сама выбрать себе мужа, зная, что она богата или будет очень богата (о чем ей непрерывно твердил отец) и, следовательно, «завидная невеста». Лучшие местные семьи, в которых были сыновья, уже начали обхаживать ее, плели вокруг нее сети тонкой лести и шитых белыми нитками хитроумных интриг, чтобы поймать прелестную золотую рыбку. Но рыбка грозила проскользнуть у них между пальцев, потому что умненькая Антуанетта отлично видела их хитрости и от души забавлялась: она не прочь была пойматься, но не желала, чтобы ее поймали. Про себя она уже решила, за кого выйдет замуж.

Знатная семья их округи (в каждой округе обычно бывает только одна такая знатная семья, которая якобы ведет свой род от бывших феодальных властителей провинции; однако чаще всего такие семьи происходят от скупщиков национального имущества, интендантов XVIII века или поставщиков наполеоновских армий),— иными словами, семья Бонниве, владевшая в двух лье от города настоящим замком с остроконечными башнями, крытыми блестящей черепицей, посреди густых лесов с богатыми рыбой прудами,— вот эта-то знатная семья явно делала авансы Жаненам. Молодой Бонниве увивался вокруг Антуанетты. Он был недурен собой, хотя несколько грузен и толстоват для своих лет, и целый божий день только и знал, что охотился, ел, пил и спал; он ездил верхом, умел танцевать, отличался неплохими манерами и был не глупее прочих. Время от времени он являлся из замка в город в высоких сапогах, верхом или на дрожках; он заезжал к банкиру якобы по делам и привозил то корзинку дичи, то огромный букет для дам; пользуясь случаем, он ухаживал за банкирской дочкой, гулял с ней по саду. Отпускал тяжеловесные комплименты и мило шутил, покручивая ус и позвякивая шпорами по плитам террасы. Антуанетта находила его обворожительным. Он умел польстить ее гордости и ее чувствам. И она упивалась этой чудесной порой первой ребяческой любви. Оливье же ненавидел молодого дворянчика за то, что тот такой сильный, тупой, грубый, громко смеется, руку сжимает, как клещами, имеет обыкновение щипать его за щеку

и называет «малыш» — что звучит как-то презрительно. А больше всего он бессознательно ненавидел Бонниве за то, что этот чужой человек любил его сестру... его сестру, его собственность, его — и пичью больше!..

Между тем катастрофа надвигалась. Рано или поздно она неминуемо разражается над каждой из этих буржуазных семей, много веков назад вросших в небольшой клочок земли и в конце концов истощивших его соки. Они мирно прозябают и верят, что будут существовать вечно, как та земля, что носит их. Но земля та мертва и корни засохли: достаточно одного удара заступом, чтобы выкорчевать все без остатка. Тогда начинаются разговоры о невезении, о неожиданном несчастье. Никакого невезения не было бы, если бы дерево оказалось устойчивее, а уж если бы стряслась беда, то шквал промчался бы, поломав лишь несколько веток, но не тронув ствола.

Банкир Жанен был человек слабый, доверчивый, немного тщеславный. Он любил пускать пыль в глаза и нередко забывал разницу между показным и подлинным. Он сорил деньгами направо и налево, не нанося, впрочем, большого ущерба своему состоянию, так как транжирство его умерялось вековой привычкой к бережливости, когда в приливе раскаяния дрожат над спичкой, только что израсходовав сажень дров. В делах он тоже был не слишком осмотрителен, никогда не отказывал в займе друзьям, а попасть к нему в друзья было нетрудно. Часто он даже не находил нужным потребовать расписку, не очень-то считал, кто ему сколько должен, и никогда не взыскивал долгов, если должники сами не спешили их отдать. Он ждал от других такой же добросовестности, какую, по его мнению, вправе были ждать от него. К тому же он был застенчив, что никак не вязалось с его непринужденными и даже развязными манерами. Он ни за что не решился бы отказать назойливому просителю или усомниться в его платежеспособности. И поступал он так столько же по доброте, сколько из малодушия. Он никого не хотел обижать и боялся, как бы его не обидели. Поэтому он всегда уступал. А чтобы обмануть самого себя, давал в долг с такой готовностью, как будто, беря у него взаймы, вы оказывали ему услугу. Он и сам, пожалуй, в это верил: самолюбие и природный оптимизм внушали ему, что всякое дело, за которое он берется,— выгодное дело.

Такой образ действий, конечно, привлекал к нему сердца тех, кто нуждался в займе. Крестьяне его обожали, зная, что

всегда могут обратиться к нему за помощью, и не упускали удобного случая прибегнуть к ней. Но благодарность людей — даже людей порядочных — плод, который надо срывать вовремя. Стоит передержать его на дереве, как он начнет гнить.

Проходило несколько месяцев, и должники г-на Жанена привыкали к мысли, что он обязан был оказать им эту услугу, и даже склонны были полагать, что г-н Жанен недаром с такой охотой пришел им на помощь,— очевидно, он видел в этом для себя выгоду. Наиболее совестливые считали, что они сквитались, если не деньгами, то вещественными знаками благодарности, принеся банкиру в базарный день зайца, которого они сами подстрелили, или корзинку яиц от собственных кур.

Пока речь шла о небольших суммах и г-ну Жанену попадались относительно порядочные люди, все обходилось более или менее благополучно: денежный ущерб, о котором банкир умалчивал даже у себя дома, был ничтожен. Положение изменилось, когда г-н Жанен столкнулся с аферистом, который затеял какое-то крупное промышленное дело и, прослышав о сговорчивости банкира и его денежных возможностях, обратился к нему. Господин этот держал себя важно, носил в петлице ленточку Почетного легиона, намекал, что он приятель с двумя-тремя министрами, одним архиепископом, целой уймой сенаторов, со многими видными лицами из литературного и финансового мира, свой человек в одной из влиятельнейших газет, и сразу же усвоил властный и дружеский тон, действовавший неотразимо на его жертву. Пользуясь приемами, которые своей беззастенчивостью насторожили бы любого более проницательного человека, чем г-н Жанен, он предъявлял в качестве гарантий трафаретно любезные записки от знакомых знаменитостей, где они либо благодарили за приглашение на обед, либо, в свою очередь, приглашали его,— известно, как щедры французы на подобную эпистолярную ходячую монету и как они, не задумываясь, принимают приглашение или пожимают руку субъекта, с которым познакомились час назад, лишь бы с ним было не скучно и он не просил у них денег. Впрочем, найдутся и такие, которые не откажутся помочь своему новому приятелю, если другие уже показали им пример. И нужно особое невезение, чтобы умный человек, желающий избавить своего ближнего от излишка денег, не нашел бы в конце концов барана, который первый позволит себя остричь и увлечь за собой других. Никто лучше, чем Жанен, не мог бы сыграть роль первого барана. Он был из той длинноруной породы, которая создана для стрижки. Гость подкупил банкира своими важными знакомствами, дешевой лестью

и красноречием, а также тем, что на первых порах советы его оказались очень удачными. Жанен сначала рискнул небольшой суммой — и успешно; тогда он рискнул большей и, наконец, всем: не только своими деньгами, но и деньгами своих клиентов. При этом он даже не подумал их предупредить — он не сомневался в крупном барыше и хотел осчастливить их сюрпризом.

Предприятие рухнуло. Он узнал об этом стороной от одного из своих парижских корреспондентов; тот вскользь упомянул в письме о новом крахе, не подозревая, что Жанен тоже является жертвой: банкир ничего никому не рассказывал и, по непостижимому легкомыслию, не считал нужным — казалось, даже избегал — советоваться с осведомленными людьми; он все проделал тайком, полагаясь на свой непогрешимый здравый смысл, и удовольствовался самыми поверхностными справками. Бывают в жизни минуты такого помрачения, когда кажется, будто человек во что бы то ни стало хочет погубить себя и словно боится, что кто-нибудь удержит его: в таком состоянии избегают спасительного совета, прячутся от всех и спешат очертя голову нырнуть в омут.

Господин Жанен помчался на вокзал и, терзаясь тревогой, сел в парижский поезд. Он ехал на розыски того субъекта. Он еще тешил себя надеждой, что известия ложны или, по крайней мере, преувеличены. Субъекта он, разумеется, не нашел, зато получил подтверждение, что крах — полный. Он вернулся домой в полубезумном состоянии и не сказал никому ни слова. Никто еще ничего не знал. Он сделал попытку выиграть несколько недель, несколько дней. В своем неисправимом оптимизме он старался уверить себя, что найдет способ возместить убытки, если не свои, то хоть своих клиентов. Он перепробовал все средства и при этом действовал так необдуманно и поспешно, что заранее обрек себя на неудачу, даже если бы мог еще что-то спасти. На просьбы о займе он повсюду получал отказ. С отчаяния он пустился на рискованные спекуляции и потерял те крохи, которые у него еще оставались. После этого в нем произошел коренной перелом. Он по-прежнему ни о чем никому не рассказывал, но стал раздражителен, резок, груб и ужасающе мрачен. С чужими он еще силился казаться веселым, но все видели, в каком он тяжелом состоянии, и приписывали это болезни. С домашними он почти не пытался сдерживаться, и они сразу заметили, что у него какая-то крупная неприятность. Он стал неузнаваем. То вдруг вбегал в комнату и начинал рыться в шкафах, вышвыривал на пол все бумаги и приходил в ярость оттого, что ничего не может найти, или оттого, что ему предлагают помочь.

Потом стоял и смотрел в растерянности на устроенный им беспорядок и, когда у него спрашивали, что он ищет, не мог толком ответить. К домашним он как будто совсем охладел, а то вдруг целовал их со слезами. Он перестал спать, перестал есть.

Госпожа Жанен видела, разумеется, что они на пороге катастрофы, но она никогда не вмешивалась в дела мужа и ничего в них не смыслила. Она попыталась его расспросить — он грубо оборвал ее; она оскорбилась и больше не настаивала, но сама дрожала от страха, не понимая толком — почему.

Дети, конечно, не подозревали о близости катастрофы. Правда, Антуанетта была слишком умна, чтобы, как и мать, не предчувствовать несчастья, но ее целиком поглощала радость зарождающейся любви, и ей не хотелось думать о неприятном: она уговаривала себя, что тучи рассеются сами собой, а уж если не рассеются, всегда успеешь обратить на них внимание.

Пожалуй, Оливье лучше всех понимал душевное состояние несчастного банкира. Мальчик чувствовал, что отец страдает, и втайне страдал вместе с ним. Но сказать он ничего не смел: ведь он ничем не мог помочь, он ничего не знал. А кроме того, он тоже старался не думать об этих непонятных ему огорчениях: так же как у матери и сестры, у него была суеверная надежда, что если не желаешь видеть, как беда надвигается, она, быть может, и не надвинется. Люди, чувствующие, что над ними нависла угроза, склонны вести себя, как страус: они прячут голову за камнем и воображают, что беда не увидит их.

В городе пошли тревожные слухи. Говорили, что кредит банка пошатнулся. Хотя банкир держал себя при клиентах с подчеркнутым спокойствием, самые недоверчивые под тем или иным предлогом сразу потребовали обратно свои вклады. Г-н Жанен понял, что погиб. Он начал отчаянно обороняться, изображал негодование, с видом оскорбленного достоинства жаловался, что ему не доверяют, и дошел до того, что стал устраивать своим старым клиентам скандалы, окончательно погубившие его в глазах общества. Требования о возвращении вкладов посыпались со всех сторон. Увидев, что положение безвыходное, он совсем потерял голову, отправился в соседний курортный городок попытать счастья в игре, за четверть часа проигрался дотла и вернулся домой.

Его неожиданный отъезд еще больше взбудоражил весь город; теперь уже прямо говорили, что он бежал, и г-же Жанен стоило большого труда сдержать ярость и волнение клиентов:

она умоляла их потерпеть, клялась, что муж вернется. Ей не очень верили, хотя всеми силами жаждали верить. И потому, когда стало известно, что Жанен возвратился, все вздохнули с облегчением: многие решили было, что беспокоились зря и что у Жаненов достанет ловкости вывернуться из самого скверного положения, если оно действительно так уж скверно. Поведение банкира подтверждало эту уверенность. Теперь, когда стало ясно, что выход один, он держался очень спокойно, только вид у него был измученный. Сойдя с поезда и встретив на перроне приятелей, он мирно поговорил о том, что полям давно уже нужен дождь, что виноград уродился на славу и что кабинет министров подал в отставку, о чем сообщали вечерние газеты.

Дома он притворился, что не замечает волнения жены, которая бросилась ему навстречу, едва он вошел, и начала торопливо и сбивчиво рассказывать, что произошло в его отсутствие. Она старалась угадать по выражению его лица, удалось ли ему отвратить непонятную ей опасность; однако из самолюбия не стала расспрашивать: она ждала, чтобы он заговорил сам, но он не сказал ни слова о том, что мучило их обоих. Он молча отклонил ее попытку вызвать его на откровенный разговор. И с ней он потолковал о погоде, о том, что очень устал от жары, пожаловался на страшную головную боль, и все, как обычно, сели обедать.

Утомленный и озабоченный, он почти все время молчал, хмурил лоб и барабанил пальцами по столу; он ел через силу, понимая, что за ним следят, и невидящими глазами смотрел на детей, смущенных молчанием за столом, и на жену, которая замкнулась в своей оскорбленной гордости и, не глядя на мужа, подмечала каждое его движение. К концу обеда он как будто очнулся, попытался завязать разговор с Антуанеттой и Оливье, спросил, что они делали во время его отсутствия; но ответов он не слушал, а слышал только их голоса, и, хотя смотрел прямо на них, взгляд его был далеко. Оливье чувствовал это: он ни с того ни с сего прерывал рассказ о своих ребяческих делах, и продолжать ему не хотелось; зато Антуанетта после минутного смущения вновь обрела всю свою жизнерадостность — она болтала, как резвая сорока, клала руку на руку отца или теребила его за пиджак, чтобы он лучше слушал. Г-н Жанен молчал; взгляд его переходил с Антуанетты на Оливье, и морщина на лбу становилась все глубже. Посреди рассказа дочери он не выдержал, поднялся из-за стола и, желая скрыть свое волнение, отошел к окну. Дети сложили салфетки и тоже встали. Г-жа Жанен отослала их играть в сад; через минуту они уже с пронзительным криком гонялись друг за другом по дорожкам. Посматривая на

мужа, который стоял к ней спиной, г-жа Жанен ходила вокруг стола и делала вид, будто что-то прибирает. Внезапно она подошла к нему и сказала приглушенным голосом, чтобы не услыхала прислуга, да и страх душил ее:

— Послушай, Антуан, что с тобой, наконец? Что-то случилось? Да, да! Ты что-то скрываешь... Случилось несчастье? Или ты болен?

Но г-н Жанен снова отстранил ее, нетерпеливо передернул плечами и сказал резким тоном:

— Да нет же! Говорю тебе — нет! Оставь меня в покое!

Она возмутилась и ушла, в слепой ярости повторяя себе, что какая бы беда ни стряслась с мужем, ее это отныне не касается.

Господин Жанен спустился в сад. Антуанетта расшалилась и тормошила брата: ей хотелось бегать с ним наперегонки, а мальчик вдруг заявил, что не желает больше играть, и прислонился к балюстраде террасы в нескольких шагах от отца. Антуанетта снова попыталась расшевелить его, но он сердито оттолкнул сестру; в ответ она нагрубила ему и, так как в саду все развлечения были исчерпаны, ушла в дом и села за рояль.

Господин Жанен и Оливье остались одни.

— Что с тобой, мой мальчик? Почему ты не хочешь играть? — нежно спросил отец.

— Я устал, папа.

— Ну, тогда давай посидим на скамейке.

Они сели. Был прекрасный сентябрьский вечер. Ясное ночное небо. Сладковатый запах петуний смешивался с резким, немного затхлым запахом темной воды канала, дремавшей у подножья террасы. Ночные бабочки — большие светлые сфинксы — кружили над цветами, жужжа, точно веретенца. Мирные голоса соседей, сидевших у порога своих домов по ту сторону канала, гулко раздавались в тишине. Из окон слышны были звуки рояля — это Антуанетта играла итальянские арии с фиоритурами. Г-н Жанен курил, держа в своей руке руку Оливье. В темноте, мало-помалу скрывшей черты отца, мальчик видел лишь огонек трубки, который то вспыхивал, то угасал на миг, снова вспыхивал и, наконец, совсем погас. Они почти не разговаривали. Оливье спросил названия некоторых звезд. Г-н Жанен, как большинство провинциальных буржуа, мало сведущий в вопросах мироздания, знал только имена крупных созвездий, знакомые всякому, но он сделал вид, будто мальчик о них и спрашивает, и назвал их. Оливье не стал противоречить — ему всегда приятно было слышать и повторять вполголоса их красивые, таинственные имена. К тому же он не столько ждал ответа,

сколько чувствовал бессознательную потребность быть поближе к отцу. Они замолчали снова. Оливье, откинув голову и приоткрыв рот, смотрел на звезды; он совсем было задремал — теплота отцовской руки согревала его. И вдруг эта рука начала дрожать. Оливье удивился и заметил веселым сонным голоском:

— Ой, папа, как у тебя рука дрожит!

Господин Жанен отдернул руку.

Детский умишко Оливье продолжал работать, и минуту спустя мальчик спросил:

— Папа, ты тоже устал?

— Да, милый.

Детский голосок произнес ласково:

— Не надо так уставать, папа!

Господин Жанен привлек к себе голову сына, прижал к своей груди и прошептал:

— Бедняжка ты мой!..

Но мысли Оливье уже изменили направление — на башенных часах пробило восемь. Мальчик высвободился из объятий отца со словами:

— Пойду почитаю.

Ему было разрешено по четвергам, спустя час после обеда, читать до самого сна: это было для него величайшее счастье, и он ни за что на свете не пожертвовал бы хоть одной минутой.

Господин Жанен отпустил сына и принялся шагать взад и вперед по темной террасе. А немного погодя тоже вошел в дом.

Мать и дети сидели в гостиной у лампы. Антуанетта пришивала бант к кофточке; она болтала, не умолкая ни на секунду, или напевала, к великому неудовольствию Оливье, который уткнулся в книгу, сдвинув брови, опершись локтями на стол и зажав уши кулаками, чтобы ничего не слышать. Г-жа Жанен штопала чулки и разговаривала со старушкой няней, которая, стоя перед ней, отдавала отчет в расходах за день и пользовалась случаем посудачить немного. У нее всегда был запас забавных историй, которые она излагала таким уморительным языком, что слушатели покатывались со смеху, а шалунья Антуанетта пыталась ей подражать. Г-н Жанен молча поглядел на них. Никто не обратил на него внимания. Он постоял минутку в нерешительности, сел, взял книгу, раскрыл наугад, снова захлопнул, встал,— нет, ему положительно невмоготу было оставаться здесь. Он зажег свечу, пожелал всем покойной ночи, потом подошел к детям и с волнением поцеловал их; они рассеянно поцеловали его в ответ, не взглянув на него. Антуанетта была поглощена своей работой, а Оливье — книгой. Оливье даже не отнял рук

от ушей и досадливо проворчал: «Покойной ночи»,— продолжая читать (он не оторвался бы от книги, даже если бы кто-нибудь из близких тонул у него на глазах). Г-н Жанен вышел в соседнюю комнату и задержался там. Немного погодя, отпустив няню, туда же вошла жена — убрать белье в шкаф. Она сделала вид, что не замечает мужа. После минутного колебания он шагнул к ней и сказал:

— Прости меня. Я был сегодня резок с тобой.

Ей очень хотелось ответить:

«Бедный ты мой, я совсем на тебя не сержусь. Скажи мне, что с тобой? Что тебя мучает?»

А вместо этого она сказала, радуясь, что может отплатить ему:

— Оставь меня в покое! Ты недопустимо груб со мной. Ты не позволил бы себе разговаривать так с прислугой.

И она продолжала в том же духе, многословно перечисляя все свои обиды.

Он устало махнул рукой, усмехнулся с горечью и вышел.

Никто не слышал выстрела. Только на следующий день, когда стало известно о случившемся, соседи припомнили, что около полуночи до них — посреди полной тишины — долетел какой-то резкий звук, похожий на щелканье бича. Они не обратили на него внимания. Ночной покой тотчас вновь спустился на город, окутывая своим тяжелым покровом живых и мертвых.

Госпожа Жанен заснула и проснулась часа через два. Обнаружив, что мужа нет рядом, она встревожилась, встала и обошла все комнаты: спустилась в нижний этаж, побежала в контору банка, которая находилась в смежном крыле дома; и там, в кабинете, увидела мужа: навалившись туловищем на письменный стол, он сидел в кресле, посреди лужи крови,— кровь еще капала на пол. Она пронзительно закричала, выронила свечу и потеряла сознание. Ее крик услышали в доме. Сбежалась прислуга, ее подняли, привели в чувство, а тело г-на Жанена отнесли на кровать. Дверь в детскую была закрыта. Антуанетта спала сном праведницы. Оливье услышал голоса и шаги: ему очень хотелось узнать, что происходит, но он побоялся разбудить сестру и вскоре уснул сам.

Наутро новость успела уже облететь город, а дети еще ничего не знали. Им, всхлипывая, рассказала о случившемся няня. Мать не была способна ни о чем думать; ее состояние внушало опасения. Дети оказались одни перед лицом смерти. В первые

минуты испуг их был сильнее горя. Впрочем, им даже не дали времени поплакать спокойно. С самого утра начались тягостные судебные формальности. Антуанетта, забившись к себе в комнату, всеми силами юного эгоизма цеплялась за единственную мысль, способную смягчить ужас, от которого у нее перехватывало дыхание,— мысль о своем поклоннике; она с часу на час ждала его прихода. В последний раз, когда они виделись, он был особенно нежен с нею. Она не сомневалась, что он примчится, как только узнает о катастрофе, и разделит ее горе. Но тот не явился. Не прислал даже записочки. Ни слова сочувствия ни от кого. Зато, едва только распространилась весть о самоубийстве, как люди, доверившие свои деньги банкиру, бросились к Жаненам, ворвались в дом и с безжалостной жестокостью устроили дикую сцену жене и детям покойного.

В несколько дней на них обрушились все беды: потеря близкого человека, потеря состояния, почетного положения в обществе, измена друзей. Ничего не уцелело из того, что составляло смысл их жизни. Все пошло прахом. Для них троих честность была понятием непреложным, и они тем мучительнее страдали от бесчестия, в котором были неповинны. И сильнее всего горе потрясло Антуанетту, потому что она была особенно далека от мрачных мыслей. Как бы ни сокрушались г-жа Жанен и Оливье, мир страданий не был им чужд. В силу природного пессимизма они тоже ощущали всю тяжесть удара, но значительно меньше — его неожиданность. Смерть всегда казалась им прибежищем, а сейчас — более чем когда-либо — они желали умереть. Жалкая покорность, конечно, но она не столь страшна, как возмущение юного, счастливого создания, которое верит в жизнь, любит ее и вдруг оказывается перед лицом бездонной и беспросветной скорби или перед лицом смерти, внушающей ему ужас.

Антуанетте разом открылась вся неприглядность мира. Она прозрела, увидела жизнь и людей. Она стала трезво судить отца, мать, брата. В то время как Оливье и г-жа Жанен плакали вместе, она замкнулась в своем горе. Своим смятенным детским умом она вдумывалась в прошлое, в настоящее, в будущее и не видела для себя ничего — ни надежды, ни поддержки; ей не на кого было рассчитывать.

А потом были похороны — мрачные, позорные. Церковь отказала самоубийце в отпевании. Вдова и сироты шли за гробом одни, потому что прежние друзья малодушно стушевались. Двое-трое появились на минуту, но у них был такой принужденный, натянутый вид, что их присутствие ощущалось тягостнее, чем отсутствие остальных. Они как будто оказали милость

своим приходом, и в их молчании чувствовались укор и презрительная жалость. Родственники вели себя еще хуже: ни слова утешения, ничего, кроме горьких упреков. Самоубийство банкира отнюдь не смягчило злобу,— наоборот, оно представлялось чуть ли не таким же преступлением, как его банкротство. Буржуазная среда неумолима к тем, кто кончает с собой. Считается непозволительным предпочесть смерть самой постыдной жизни. Будь их воля, обыватели сурово карали бы того, кто своей смертью как бы говорит:

«Нет хуже несчастья, чем жить среди вас».

Трусы первые спешат расценить этот поступок как трусость. А когда самоубийца, уходя из жизни, вдобавок наносит урон их интересам и спасается от их мести, они впадают в полное бешенство. Они ни на секунду не задумались над тем, что̀ выстрадал несчастный Жанен, прежде чем прийти к роковому решению. Они с радостью заставили бы его страдать в тысячу раз больше. А так как он ускользнул из-под их власти, они перенесли осуждение на его семью, не сознаваясь, однако, в этом даже самим себе, ибо знали, что это несправедливо. И все же не унимались, ибо им нужна была жертва.

Госпожа Жанен, казалось, способна была только плакать и стенать, но едва нападали на ее мужа, в ней откуда-то вдруг брались силы для отпора. Лишь теперь она поняла, как любила его; и хотя ни она, ни дети не представляли себе, что станется с ними завтра, все трое единодушно решили пожертвовать приданым матери и личным состоянием каждого, лишь бы по возможности погасить отцовские долги. А так как им нестерпимо тяжко было оставаться в родном городе, они решили переехать в Париж.

Отъезд был похож на бегство.

Накануне вечером (это был унылый сентябрьский вечер, поля тонули в густом тумане; из этой белесой пелены с обеих сторон дороги навстречу пешеходу выплывали остовы иззябших и промокших кустов, похожих на растения в аквариуме) они пошли проститься на кладбище. Все трое преклонили колени у низкой каменной ограды, окаймлявшей свежую могилу. Они плакали в молчании. Оливье всхлипывал, г-жа Жанен непрерывно вытирала слезы — она растравляла свое горе, сама терзала себя, без конца повторяя в памяти слова, которые сказала мужу в последний раз, когда видела его живым. Оливье думал о разговоре с отцом на скамейке у террасы. Антуанетта думала

о том, что с ними будет. И никто из троих не упрекнул в душе несчастного, погубившего их вместе с собой. Антуанетта только твердила про себя: «Папа, дорогой! Как же нам будет тяжело».

Туман сгущался. Сырость пронизывала их насквозь, но г-жа Жанен все не решалась уйти. Антуанетта увидела, что Оливье дрожит, и сказала матери:

— Мне холодно, мама.

Они поднялись. Уходя, г-жа Жанен в последний раз оглянулась на могилу.

— Бедный мой друг! — произнесла она.

Ночь совсем надвинулась, когда они вышли с кладбища. Антуанетта держала в руке ледяную руку Оливье.

Они вернулись в свой старый дом. Это была их последняя ночь в том гнезде, где они знали мирный сон, где прошла их жизнь и жизнь их отцов,— с этими стенами, с этим домашним очагом, с этим клочком земли так неразрывно слились семейные радости и горести, что, казалось, все это тоже стало родным, стало частицей жизни и уйти отсюда прочь можно только для того, чтобы умереть.

Вещи уже были сложены. Жанены решили уехать первым утренним поездом, пока еще не открылись соседские лавки. Им хотелось избежать досужего любопытства и недоброжелательных толков. Они чувствовали потребность быть вместе, и все же каждого невольно потянуло в свою комнату. И каждый подолгу стоял молча, позабыв даже снять пальто и шляпу,— приятно было трогать стены, мебель, все, что предстояло покинуть, прижиматься лбом к оконному стеклу, чтобы вобрать в себя и подольше сохранить ощущение любимых вещей. Наконец каждый, сделав над собой усилие, оторвался от эгоистического смакования своей скорби, и все трое сошлись в спальне г-жи Жанен — супружеской спальне с большим альковом в глубине: тут они собирались прежде по вечерам после обеда, когда не было гостей. Прежде! Все это казалось им уже далеким прошлым. Они молча посидели перед скудным огнем; потом помолились вместе, стоя на коленях у кровати, и легли очень рано, так как встать надо было до рассвета. Но они долго лежали без сна.

Госпожа Жанен поминутно смотрела на часы, чтобы не опоздать; около четырех она зажгла свечу и встала. Антуанетта, не спавшая всю ночь, услышала ее шаги и тоже встала. Оливье спал крепким сном. Г-жа Жанен с тоской смотрела на сына и не могла решиться его разбудить. Она отошла на цыпочках и сказала Антуанетте:

— Тише, пусть поспит напоследок в родном доме.

Мать и дочь оделись и сложили последние вещи. Кругом царило великое безмолвие тех холодных ночей, когда все живое — люди и звери — стремится поглубже зарыться в теплоту сна. У Антуанетты стучали зубы: душа и тело ее застыли.

В морозном воздухе гулко хлопнула входная дверь. Старая нянюшка, у которой были ключи от дома, в последний раз пришла помочь своим господам. Она появилась, пыхтя и отдуваясь, низенькая, непомерно толстая, но удивительно подвижная для своих лет; из-под теплого платка выглядывало ее доброе лицо с покрасневшим носом и вспухшими от слез глазами. Она ужасно огорчилась, что г-жа Жанен, не дождавшись ее, встала и сама растопила печь на кухне. Оливье проснулся, когда вошла няня. Первым его движением было снова закрыть глаза, перевернуться на другой бок и спать дальше. Но Антуанетта бережно положила руку ему на плечо и вполголоса окликнула его:

— Оливье, милый, пора вставать.

Он вздохнул, открыл глаза, увидел склоненное над ним лицо сестры; она печально улыбнулась, погладила его по голове и повторила:

— Вставай!

Он поднялся.

Они выскользнули из дому бесшумно, словно воры. Вещи полегче они несли в руках. Няня катила впереди тачку с сундуком. Они оставили почти все, что имели, и ушли, можно сказать, в чем были, взяв с собой только немного одежды. Малой скоростью им должны были выслать потом кое-какие, дорогие по воспоминаниям, мелочи: книги, портреты, старинные часы, тиканье которых казалось биением их собственных сердец. Погода была сырая. В городе никто еще не просыпался: ставни были заперты, улицы пустынны. Они шли молча. Говорила только няня. Г-жа Жанен старалась запечатлеть в памяти картины, с которыми было связано все ее прошлое.

На вокзале она из гордости взяла билеты во втором классе, хоть раньше твердо решила ехать в третьем, но при железнодорожных служащих, знавших ее, у нее не хватило мужества на такое унижение. Вместе с детьми она торопливо юркнула в пустое купе и заперлась там. Они со страхом смотрели из-за занавесок, не появится ли кто-нибудь знакомый, но никто не появился — город только просыпался; в поезде было пусто,— ехало всего несколько крестьян, да с товарной платформы доносилось жалобное мычанье волов, вытягивавших головы над

загородкой. После томительного ожидания паровоз дал долгий свисток, и поезд тронулся, рассекая мглу. Трое переселенцев отдернули занавески и прижались лицом к стеклу, чтобы в последний раз взглянуть на родной городок, готическая колокольня которого едва виднелась сквозь завесу тумана, на усеянный соломенными крышами холм, на белые от инея курящиеся поля; эта картина казалась уже далекой и нереальной, как сон. А когда после поворота город скрылся за высокой насыпью, все трое убедились, что их не видят, и перестали сдерживаться. Г-жа Жанен рыдала, прижав платок к губам. Оливье уткнулся головой в колени матери, целовал ей руки и обливал их слезами. Антуанетта сидела в противоположном углу купе и, повернувшись к окну, беззвучно плакала. Но плакали они о разном. Г-жа Жанен и Оливье думали лишь о том, что оставили позади. Антуанетта больше думала о том, что их ждет: она укоряла себя, силилась сосредоточиться на воспоминаниях... Она не напрасно тревожилась о будущем: у нее был более верный взгляд на жизнь, чем у матери и брата. Тем Париж рисовался в радужном свете. Впрочем, и Антуанетта даже отдаленно не представляла себе, каково им там придется. Они ни разу не бывали в Париже. У г-жи Жанен там была сестра замужем за богатым судейским чиновником, и она рассчитывала на помощь этой сестры. Кроме того, она не сомневалась, что дети ее — при их воспитании и природных дарованиях, которые она преувеличивала, как и все матери,— без труда найдут себе достойное место в жизни.

Первое впечатление по приезде в Париж было гнетущее. Уже на вокзале они совсем растерялись от давки в багажном отделении и беспорядочной сутолоки на запруженной экипажами площади. Шел дождь. Фиакры были вмиг расхватаны. Пришлось немало пройти пешком; тяжелая поклажа оттягивала руки, и несчастные путешественники то и дело останавливались посреди улицы, рискуя быть раздавленными или забрызганными грязью. Кучера не внимали их призывам. Наконец им удалось остановить фиакр, или, вернее, неописуемо грязную разбитую таратайку. Укладывая в нее свои пожитки, они уронили узел с постелью в лужу. Тащивший их сундук носильщик и возница воспользовались неопытностью приезжих и содрали с них двойную плату. Г-жа Жанен указала адрес одной из тех дорогих гостиниц средней руки, которую облюбовали себе провинциалы и где, несмотря на все неудоб-

ства, упорно останавливаются только потому, что их дед лет тридцать назад останавливался там. С них взяли втридорога, заявили, что в гостинице полно, запихнули их в тесный чулан и посчитали, как за три комнаты. Они решили пообедать подешевле, не за табльдотом, и заказали себе скромный обед, который обошелся не меньше, а голода ничуть не утолил. Так с первых часов приезда рухнули все их иллюзии. И в первую же ночь, проведенную в гостинице, когда, затиснутые в душную комнату, они не могли заснуть, то трясясь от холода, то задыхаясь от жары и поминутно вздрагивая от шагов по коридору, от хлопанья дверей, от электрических звонков, меж тем как непрерывный грохот экипажей и тяжелых подвод гулко отдавался в голове, они пришли в ужас от этого города, куда бросились искать приюта и где сразу же потерялись.

Наутро г-жа Жанен поспешила к сестре, занимавшей роскошную квартиру на бульваре Осман. Она втайне надеялась, что им предложат здесь гостеприимство, пока они не устроятся самостоятельно. С первых же слов ее заблуждение рассеялось. Чета Пуайе-Делорм была возмущена банкротством зятя. Жена в особенности боялась, как бы это не бросило на них тени и не повредило карьере мужа, и считала крайним бесстыдством, что разоренная семья навязывается им и может окончательно их опозорить. То же думал и сам судья, но он был человек довольно порядочный и, вероятно, постарался бы помочь Жаненам, если бы жена не препятствовала ему, что, впрочем, было ему на руку. Итак, г-жа Пуайе-Делорм оказала сестре ледяной прием. Г-жа Жанен была потрясена, но постаралась смирить свою гордость и намекнула, в каком тяжелом положении они находятся и чего ждут от родных. Те сделали вид, что не поняли, даже не оставили сестру с детьми обедать и официально пригласили их на обед в конце недели. При этом приглашение исходило не от г-жи Пуайе, а от самого судьи: ему стало неловко за жену, и он постарался смягчить ее черствость; он держал себя с подчеркнутым простодушием, но чувствовалось, что простодушие его деланное и что он большой себялюбец. Несчастные Жанены вернулись в гостиницу, боясь поделиться друг с другом впечатлением от этой первой встречи.

Последующие дни они бродили по Парижу в поисках квартиры. Они выбились из сил, поднимаясь на верхние этажи; им опостылел вид домов-казарм, где скучено столько людей, где столько грязных лестниц, комнат, лишенных света и таких унылых после их просторного провинциального дома. Они все больше падали духом. Улицы, магазины, рестораны по-преж-

нему приводили их в смятение, чем широко пользовались все, кому не лень. За любой пустяк с них заламывали непомерную цену, как будто они обладали способностью превращать в золото все, к чему прикасались,— только золото это приходилось оплачивать из собственного кармана. Они были удивительно непрактичны и не умели постоять за себя.

Хотя у г-жи Жанен не осталось никаких надежд на сестру, она все же чего-то ждала от обеда, на который их пригласили. С замиранием сердца готовились они к этому вечеру. Их приняли не по-родственному, а как гостей,— впрочем, ничем, кроме чопорного тона, этот обед от обычных будничных не отличался. Дети познакомились со своими сверстниками — двоюродным братом и сестрой, которые оказались не более радушными, чем их родители. Девочка, очень нарядная и жеманная, говорила с ними присюсюкивая, тоном вежливого превосходства, и смущала своей манерной слащавостью. Мальчику была смертельно скучна эта повинность — обед с бедными родственниками, и он все время дулся. Г-жа Пуайе-Делорм сидела, надменно выпрямившись, и, даже когда угощала сестру, хранила укоризненный вид. Г-н Пуайе-Делорм болтал какие-то пустяки, лишь бы не говорить о серьезных вещах. Во избежание опасной личной темы, бессодержательный разговор вертелся вокруг кушаний, которые подавали. Г-жа Жанен попыталась заговорить о самом для нее важном. Сестра перебила ее каким-то незначительным замечанием. А возобновить попытку у г-жи Жанен не хватило мужества.

После обеда она велела Антуанетте сыграть на рояле, чтобы показать свои способности. Девочка была смущена, раздражена и потому играла отвратительно. Семейство Пуайе с нетерпением ожидало, когда она кончит. Г-жа Пуайе поглядывала на дочь, насмешливо кривя губы, и так как вещь была длинная, она снова заговорила с сестрой на посторонние темы. Но тут Антуанетта, окончательно сбившись, с ужасом заметила, что на каком-то пассаже начала пьесу сначала и, значит, нет надежды выпутаться; тогда она оборвала игру двумя не вполне верными и одним совсем уже фальшивым аккордом.

— Браво! — произнес г-н Пуайе и велел подать кофе.

Госпожа Пуайе сказала, что дочь ее занимается с самим Пюньо. Девица, занимавшаяся с самим Пюньо, заметила:

— Очень мило, душенька...— и спросила, где Антуанетта училась.

Разговор не вязался. Все, что можно сказать о безделушках, украшавших гостиную, о нарядах мамаши и дочки Пуайе, было сказано.

«Вот сейчас нужно, необходимо заговорить»,— твердила себе г-жа Жанен.

И тут же вся внутренне сжималась. Наконец, когда она сделала над собой неимоверное усилие и решилась, г-жа Пуайе вставила как бы вскользь, но весьма непринужденным тоном, что, к сожалению, около половины десятого им надо уехать — они приглашены и отказаться не могут. Жанены, глубоко задетые, поднялись и собрались уходить. Их для вида уговаривали остаться. Но через четверть часа раздался звонок на парадном: лакей доложил о друзьях и соседях семьи Пуайе, живших этажом ниже. Супруги Пуайе переглянулись и торопливо пошептались со слугами. Г-н Пуайе, запинаясь, под каким-то предлогом попросил Жаненов пройти в соседнюю комнату. (Ему хотелось скрыть от друзей существование, а главное, присутствие в их доме неудобной родни.) Гостей оставили одних в нетопленной комнате. Дети не помнили себя от обиды. У Антуанетты на глазах стояли слезы; она больше ни минуты не хотела оставаться здесь. Мать сперва возражала, но так как ожидание затягивалось, согласилась уйти. Они направились в переднюю. Там их нагнал Пуайе, которого предупредил лакей, он наспех извинился и сделал вид, что хочет удержать их; но ясно было, что ему не терпится их спровадить. Он помог им одеться; улыбаясь, пожимая руки, приглушенным голосом говоря любезные слова, он подталкивал их к двери и, наконец, выставил вон. Вернувшись в гостиницу, дети расплакались от негодования. Антуанетта бушевала, клялась, что ноги ее не будет у тетки.

Госпожа Жанен сняла квартиру на пятом этаже, по соседству с Ботаническим садом. Спальни выходили на грязные, пятнистые стены темного двора, столовая и гостиная (г-жа Жанен непременно желала иметь гостиную) — на людную улицу. Целый день громыхал паровой трамвай, вереницей тянулись похоронные дроги, направляясь на кладбище в Иври. Оборванные итальянцы с кучей вшивых ребятишек торчали на скамьях или пронзительно орали, ссорясь между собой. Из-за шума нельзя было держать окна открытыми, а возвращаясь вечером домой, приходилось пробиваться сквозь суетливую, дурно пахнущую толпу, запрудившую улицу, шлепать по лужам; вдобавок в нижнем этаже соседнего дома помещался гнусный кабак, у порога которого, окидывая прохожих наглым

взглядом, толкались проститутки — огромные рыжеволосые девки с одутловатыми, набеленными и нарумяненными лицами.

Скудные денежные запасы Жаненов стремительно истощались. Каждый вечер они, холодея от ужаса, подсчитывали убыль в своем кошельке. Они пытались урезывать себя, но не умели — эта наука дается долгими годами лишений, если человек не обучен ей с детства. Люди, не бережливые от природы, напрасно будут учиться бережливости: при первом же случае они уступят соблазну, а экономию отложат до следующего раза; если же они случайно выгадают или вообразят, будто выгадали какие-то крохи, то поспешат истратить эти крохи, и в итоге расход в десять раз превысит экономию.

Через несколько недель средства Жаненов иссякли. Г-же Жанен пришлось поступиться остатками самолюбия и, тайком от детей, пойти просить денег у Пуайе. Ей удалось повидаться с судьей наедине, у него в кабинете, и она обратилась к нему с мольбой дать ей взаймы небольшую сумму до тех пор, пока они начнут зарабатывать себе на жизнь. Судья, человек слабый и довольно мягкосердечный, сперва попытался увильнуть от окончательного ответа, но потом уступил. Расчувствовавшись, он дал ей взаймы двести франков; впрочем, он сразу же раскаялся в своем неразумном порыве, как только ему пришлось дать отчет жене, которую обозлили происки сестры и бесхарактерность мужа.

Жанены целыми днями бегали по Парижу в чаянии найти заработок. В г-же Жанен прочно сидели предрассудки богатой провинциалки, и она не допускала мысли о какой-нибудь иной профессии для себя и для своих детей, кроме «свободных»,— называемых так, должно быть, потому, что они предоставляют полную свободу умирать с голоду. Более того, она ни за что не позволила бы дочери поступить гувернанткой в какую-нибудь семью. Только профессия, оплачиваемая государственной казной, не казалась ей позорной. Прежде всего надо было дать Оливье возможность закончить образование и стать педагогом. Для Антуанетты же г-жа Жанен мечтала о должности преподавательницы в каком-нибудь учебном заведении или об окончании курса в консерватории по классу фортепиано. Но во всех учебных заведениях, куда она обращалась, был полный комплект преподавателей с более солидными правами, чем скромное свидетельство дочери об окончании средней школы, а в от-

ношении музыки пришлось признать, что Антуанетта обладает самыми заурядными способностями, меж тем как пробиться трудно куда более одаренным людям. Жанены воочию увидели, как жестока борьба за жизнь и как нелепо Париж губит сотни больших и малых дарований, которые ему ни на что не нужны.

Брат и сестра совсем отчаялись в своих силах, потеряли всякую веру в себя. Им казалось теперь, что они — ничтожества, и они усиленно старались убедить в этом мать и самих себя. В свое время, дома, в провинциальном коллеже, Оливье ничего не стоило прослыть орлом,— теперь же он был подавлен выпавшими на его долю испытаниями и как будто сразу утратил все свои способности. В лицее, куда его поместили и где ему удалось добиться стипендии, он на первых порах получал такие убийственные отметки, что стипендию у него отняли. И мальчик решил, что он совершеннейший тупица. Вдобавок ко всему его ужасал Париж, этот суетливый муравейник, отталкивала распущенность одноклассников, пошлые разговоры, гнусные наклонности некоторых из них и попытки приобщить его к своим забавам. Он не в силах был даже высказать им все свое отвращение. Он чувствовал себя загрязненным одной только мыслью об их грязи. Вместе с матерью и сестрой они каждый вечер в жарких молитвах искали прибежища после каждого нового дня разочарований и тайных унижений, которые казались этим чистым душам такими постыдными, что они даже не решались рассказать друг другу о пережитом. Однако у Оливье, хоть он и сам не замечал этого, под влиянием скрытого атеизма, которым пропитан самый воздух Парижа, вера стала разрушаться, как осыпается от дождя незатвердевшая штукатурка. Он продолжал верить; но вокруг него вера отмирала.

Мать и сестра упорствовали в своих бесполезных хлопотах. Г-жа Жанен опять пошла к Пуайе, и те, чтобы отделаться от родных, нашли им работу. Г-же Жанен предложили поступить чтицей к старухе, проводившей зиму на юге. Антуанетте подыскали должность гувернантки в семье, живущей круглый год в деревне на западе Франции. Условия были неплохие, но г-жа Жанен отказалась. Она и для себя считала унизительным поступать в услужение, а уж для дочери никак не могла на это согласиться, тем более что это означало разлуку. Как ни были они несчастны, вернее, именно потому, что они были несчастны, им не хотелось расставаться. Г-жа Пуайе ужасно возмутилась. Она заявила, что, когда людям не на что жить, им не

пристало особенно гордиться. Г-жа Жанен не сдержалась и упрекнула ее в бессердечии. Г-жа Пуайе позволила себе оскорбительные намеки насчет их банкротства и насчет денег, которые сестра ей задолжала. Они расстались, поссорившись насмерть. Всякие отношения были порваны. Г-жа Жанен мечтала об одном: вернуть долг. Но сделать это не могла.

Тщетные поиски работы продолжались. Г-жа Жанен обратилась к депутату и к сенатору их департамента, которым г-н Жанен не раз оказывал услуги. Но и тут она натолкнулась на черствость и неблагодарность. Депутат даже не ответил ей на письмо, а когда она пришла к нему, велел сказать, что его нет дома. Сенатор с первых же слов стал самым бестактным образом жалеть ее и поносить «это ничтожество — Жанена», решительно осуждая его за самоубийство. Г-жа Жанен встала на защиту мужа. В ответ сенатор заявил, что отнюдь не считает поведение банкира бесчестным, что он действовал так по глупости и вообще был легкомысленным простаком: все норовил делать по-своему, ни у кого не спрашивал совета и не слушал предостережений. Если бы он погубил себя одного, всякий сказал бы: поделом ему. Но, не говоря уже о других пострадавших, пустить по миру жену и детей, а потом бросить их на произвол судьбы, чтобы они выпутывались, как знают,— это уж слишком. Пусть г-жа Жанен ему прощает, если она святая; он же, сенатор, отнюдь не святой, а просто здравомыслящий и разумный человек и не видит никаких причин прощать: тот, кто при подобных обстоятельствах кончает с собой,— ничтожество, и больше ничего. Единственное ему оправдание в том, что он был не вполне вменяемым. Сенатор попросил г-жу Жанен извинить его, если он чересчур резко отозвался о ее муже,— причиной этому его сочувствие к ней. И, выдвинув ящик стола, он достал и протянул ей бумажку в пятьдесят франков — милостыню, от которой она отказалась.

Она сделала попытку устроиться в канцелярии какого-нибудь казенного учреждения, но хлопотала она неумело и недостаточно упорно. Собрав все свое мужество, она шла наниматься и возвращалась такая измученная, что несколько дней не могла сдвинуться с места, а когда приходила вторично, должность была уже занята. У служителей церкви она тоже не встретила поддержки — то ли они не видели в этом для себя особой выгоды, то ли не желали прийти на помощь разоренной семье, глава которой был открытым антиклерикалом. Единственное, что удалось г-же Жанен найти после долгих стараний, было место учительницы музыки в монастырском пансионе —

неблагодарное и до смешного скудно оплачиваемое занятие. Чтобы хоть немножко подработать, она по вечерам занималась перепиской для одной конторы, но никак не могла угодить. Ей делали грубые замечания за почерк и за рассеянность, потому что она, как ни старалась, нередко пропускала слова и даже целые строчки (у нее было столько других мыслей и забот!). Бывали случаи, когда она слепила себе глаза, выбивалась из сил до поздней ночи, а потом у нее не принимали работы, и она приходила домой в отчаянии. Она плакалась на судьбу по целым дням, но ничего не могла предпринять. У нее давно уже было больное сердце, от всех переживаний болезнь усилилась и внушала ей мрачные предчувствия. Она страдала сердечными спазмами и приступами удушья, иногда ей казалось, что она умирает. Выходя из дому, она клала в карман записку со своей фамилией и адресом, на случай, если потеряет сознание на улице. Что будет, если она уйдет из жизни! Антуанетта ободряла ее, как могла, притворялась спокойной, хотя и сама жила в постоянной тревоге; умоляла мать щадить себя, во что бы то ни стало хотела заменить ее в работе. Но г-жа Жанен всю оставшуюся у нее гордость полагала в том, чтобы уберечь дочь от унижений, которые приходилось сносить ей самой.

Как она ни надрывалась и ни сокращала расходы, заработка ей не хватало на жизнь. Пришлось продать те немногие драгоценности, какие еще уцелели. И ужаснее всего, что вырученные от продажи деньги у г-жи Жанен тут же украли. Бедная женщина, с обычной своей беспечностью, решила заодно зайти в магазин «Бон-Марше»: на следующий день были именины Антуанетты, и ей хотелось купить дочери подарочек. Она зажала кошелек в руке, чтобы не потерять его, но, выбирая покупку, на минуту машинально положила его на прилавок. Когда она вспомнила о кошельке, он исчез. Этот удар окончательно подкосил ее.

Через несколько дней, в душный августовский вечер, когда густое облако испарений стояло над городом, как в парильне, г-жа Жанен возвращалась из конторы, куда относила спешную переписку. Она опаздывала к обеду, а тратить три су на омнибус не хотела и, чтобы дети не волновались, бежала домой, едва переводя дух. Поднимаясь к себе на пятый этаж, она так запыхалась, что совсем не могла говорить. В таком состоянии она возвращалась не в первый раз, и дети уже перестали пугаться. Не показывая виду, она тут же села с ними за стол. Дети не могли есть от жары и, преодолевая отвращение, силились проглотить несколько кусочков мяса и немного тепловатой

воды. Видя, что мать не успела отдышаться, они не разговаривали (им не хотелось разговаривать) и смотрели в окно.

Вдруг г-жа Жанен взмахнула руками, уцепилась за стол, посмотрела на детей, охнула и стала падать. Антуанетта и Оливье едва успели подхватить ее. Обезумев от ужаса, они кричали, умоляли:

— Мама! Мамочка!

Но она уже не отвечала. Они совсем потеряли голову. Антуанетта судорожно прижималась к матери, целовала, звала ее. Оливье открыл дверь на лестницу и крикнул:

— Помогите!

Привратница поднялась к ним и, увидев, что́ происходит, побежала за жившим по соседству врачом. Но когда пришел врач, он мог только констатировать конец. Смерть наступила мгновенно — к счастью для г-жи Жанен (хотя кто может сказать, что она успела передумать в последние секунды, сознавая, что умирает и дети остаются одни в таком бедственном положении).

Одни... и они одни переживали весь ужас случившегося, одни плакали, одни занимались всеми тягостными хлопотами, которые влечет за собой смерть. Привратница, женщина сердобольная, немножко помогла им; из пансиона, где г-жа Жанен давала уроки, прислали письмецо с холодными словами официального соболезнования.

Первые минуты были полны неописуемого отчаяния. Чрезмерность отчаяния как раз и спасла их — с Оливье сделались конвульсии. Это отвлекло Антуанетту от собственной скорби: она думала только о брате, и ее огромная любовь подчинила себе Оливье, не допустила до опасных крайностей, на которые его толкнуло бы горе. Прижавшись друг к другу, они сидели при свете ночника возле кровати, на которой покоилась их мать, и Оливье твердил, что надо умереть — умереть обоим, сейчас же, сию минуту; при этом он указывал на окно; Антуанетта тоже испытывала это пагубное искушение, но боролась с ним: она хотела жить.

— Ради чего?

— Ради нее,— ответила Антуанетта и показала на мать.— Она по-прежнему с нами. Подумай!.. Она столько выстрадала из-за нас, нельзя, чтобы мы нанесли ей самый страшный удар — чтобы мы умерли несчастными. А потом,— продолжала

она с жаром,— нельзя сдаваться! Нельзя! Я не желаю! Я протестую, я хочу, чтобы ты еще когда-нибудь был счастлив!

— Никогда этого не будет!

— Нет, будет. Мы слишком много страдали. Это изменится, должно измениться. Ты устроишь свою жизнь, у тебя будет семья, тебе будет хорошо, я так хочу, слышишь, хочу!

— А как жить? У нас не хватит сил!

— Хватит. Что нам надо? Протянуть до тех пор, пока ты начнешь зарабатывать. Это я беру на себя. Вот увидишь, я сумею. Ах, если бы мама позволила, я бы уже давно начала...

— А что ты будешь делать? Я не хочу, чтобы ты унижалась. Ты и сама на это не пойдешь.

— Пойду... И вовсе не унизительно зарабатывать себе на жизнь трудом — лишь бы только это был честный труд. Пожалуйста, не волнуйся. Все устроится, вот увидишь, ты будешь счастлив, мы будем счастливы, дорогой мой мальчик, она будет счастлива нашим счастьем...

Брат и сестра одни шли за гробом матери. Оба единодушно решили не извещать семейство Пуайе. Пуайе перестали для них существовать, они были слишком безжалостны к их матери и в какой-то мере повинны в ее смерти. И когда привратница спросила, неужели у них нет никого родных, они ответили:

— Никого.

Они молились перед открытой могилой, держась за руки, замкнувшись в своей непримиримости, в гордом отчаянии, и предпочли полное одиночество присутствию равнодушных и лицемерных родственников. Возвращались они пешком посреди толпы, чуждой их скорби, чуждой их мыслям, чуждой им во всех отношениях, кроме языка, на котором они говорили. Антуанетта вела Оливье под руку.

В том же доме, на самом верху, нашлась маленькая квартирка — две комнатки чердачного типа, крошечная прихожая, которая должна была служить им столовой, и кухонька величиной со стенной шкаф. Они могли найти что-нибудь получше в другом квартале, но им казалось, что здесь они не окончательно разлучены с матерью. Привратница сначала хоть немного интересовалась ими, но вскоре собственные дела отвлекли ее, и о них никто уже больше не заботился. Они не были знакомы ни с кем из жильцов дома и даже не знали, кто живет с ними рядом.

Антуанетте разрешили вместо матери давать уроки музыки в монастырском пансионе. Она стала искать еще других уро-

ков. У нее была одна цель: дать брату образование, чтобы он мог поступить в Высшую Нормальную школу. Она самостоятельно, по зрелом размышлении, сделала этот выбор; долго изучала она программы, наводила справки, пыталась выведать мнение Оливье, но он сам не знал, чего хочет, и она решила за него. Если он поступит в Нормальную школу, у него будет верный кусок хлеба до конца дней, и он сможет распоряжаться своей судьбой. Но надо, чтобы он этого добился, надо во что бы то ни стало дотянуть до тех пор, промучиться пять-шесть лет. Что ж, они добьются своего. Эта мысль с необычайной силой овладела Антуанеттой, всецело заполонила ее. Она ясно видела, какая одинокая, нищенская жизнь предстоит ей, и вынести эту жизнь можно было только при том страстном стремлении, которое охватило ее всю: спасти брата, сделать так, чтобы брат был счастлив, если ей самой не суждено узнать счастье. Семнадцатилетняя девочка, избалованная и беспечная, словно переродилась под влиянием этого героического решения. Оказалось, что в ней заложена такая глубокая самоотверженность, такая горделивая воля к борьбе, каких никто в ней не подозревал, и она сама меньше всего... В эти переломные годы, в эту раннюю лихорадочную пору весны, когда все существо наливается любовью, купается в ней, как в роднике, бьющем тайком из-под земли, когда многообразные силы любви обволакивают, захлестывают женщину и неотступно держат в своей власти,— любовь эта принимает какие угодно формы: она ищет, на кого бы излиться, кому принести себя в жертву, цепляется за любой предлог, и эта целомудренная затаенная чувственность готова превратиться в самопожертвование. Любовь отдала Антуанетту в добычу дружбе.

У Оливье, натуры менее страстной, не было такого двигателя. Кроме того, не он приносил себя в жертву, а жертву приносили ради него, что гораздо легче и отраднее, особенно когда любишь. И потому он мучился раскаянием, видя, как сестра надрывается из-за него, и часто говорил ей об этом.

— Ах ты, глупенький мальчик! — отвечала она.— Неужели ты не понимаешь, что только это и держит меня! Если бы не забота о тебе, чем бы я жила?!

Он вполне понимал сестру. Будь он на месте Антуанетты, ему также были бы дороги и отрадны эти заботы; другое дело — служить их предметом! Гордость и любовь возмущались в нем. А каким непосильным бременем для него, существа слабого, было сознание ответственности, необходимости преуспеть, раз сестра во имя его успеха поставила на карту свою

жизнь! Это сознание было ему нестерпимо и временами подавляло его вместо того, чтобы воодушевить, но все же так легче было выстоять, легче трудиться, жить,— если бы его не подгоняла мысль о конечной цели, он многого бы не перенес. Его скорее тянуло сложить оружие... быть может, даже покончить с собой. Быть может, он так бы и погиб, если бы сестра не решила за него, что он добьется успеха и будет счастлив. Он страдал от такого насилия над своей природой, а между тем в этом для него было спасение. Он тоже переживал переходный возраст, тот опасный возраст, когда тысячи юношей, поддавшись нездоровым эмоциям, ради двух-трех лет безумств бесповоротно губят всю свою жизнь. Если бы у него было время задуматься, он предался бы отчаянию или попусту растратил силы; стоило ему только сосредоточиться мыслью на себе, как им вновь овладевали болезненные фантазии, отвращение к жизни, к Парижу, к гнилостному брожению миллионов тварей, которые, соединяясь между собой, вместе разлагаются. Но при виде сестры наваждение рассеивалось: раз она живет лишь для того, чтобы жил он,— хорошо, он будет жить, будет счастлив наперекор себе...

Итак, их жизнь была построена на беззаветном подвиге мужества, веры и благородного честолюбия. Оба всем существом своим стремились к одной цели — к успеху Оливье. Антуанетта взяла на себя все тяготы, все унижения: служила гувернанткой в семьях, где с ней обращались почти как с прислугой; она должна была вместо няни водить детей на прогулку, часами таскаться с ними по улицам под предлогом практики в немецком языке. Но в этих нравственных страданиях, в утомительных трудах находила удовлетворение ее любовь к брату и даже ее гордость.

Она приходила измученная и тут же начинала хлопотать по хозяйству, потому что Оливье был в лицее полупансионером и возвращался домой вечером. Она стряпала обед — убогий обед на газовой плитке или на спиртовке. Оливье никогда не хотелось есть, все ему было противно, к мясу он чувствовал непреодолимое отвращение; приходилось насильно пичкать его или изощряться, приготовляя какие-нибудь лакомые кушанья, а бедняжка Антуанетта была довольно посредственной стряпухой. Она старалась изо всех сил и в итоге выслушивала обидные заявления, что стряпня ее несъедобна. Сколько раз, стоя у кухонной плиты, втихомолку испытывала она знакомое неумелым

молодым хозяйкам отчаяние никому не ведомое, но отравляющее им жизнь и даже сон.

После обеда, перемыв то небольшое количество посуды, каким они обходились (от помощи Оливье она решительно отказывалась), она с материнской заботливостью спрашивала у него уроки, проверяла его письменные работы, даже помогала ему, стараясь не задеть самолюбие обидчивого мальчика. Они проводили вечера за своим единственным столом, который служил им и обеденным и письменным. Оливье готовил уроки, Антуанетта шила или занималась перепиской. Когда он ложился спать, она приводила в порядок его одежду или что-нибудь делала для себя.

Как ни трудно было им сводить концы с концами, они единодушно решили, что все деньги, какие удастся скопить, пойдут на уплату материнского долга супругам Пуайе. Те, правда, отнюдь не были докучными кредиторами: они не подавали признаков жизни, даже не вспоминали об этих деньгах, считая их пропавшими и втайне радуясь, что так дешево отделались от неудобных родственников. Но брат и сестра были слишком горды, слишком чтили память матери и не могли потерпеть, чтобы она осталась должна этим недостойным людям. Они боялись истратить лишний грош на развлечения, на одежду, на питание,— словом, всячески урезали расходы, чтобы скопить эти двести франков — сумму для них огромную. Конечно, Антуанетта предпочла бы экономить только на себе. Но когда брат узнал о ее намерении, он во что бы то ни стало пожелал подражать ей. И теперь оба всячески ограничивали себя и были счастливы, когда могли отложить в день несколько су.

Путем постоянных лишений им удалось в три года по грошам собрать всю сумму. Это была для них большая радость. Однажды вечером Антуанетта отправилась к Пуайе. Ее приняли довольно неприветливо, решив, что она пришла просить помощи. Сочтя за благо забежать вперед, родственники стали резко выговаривать ей за то, что она не давала о себе знать, даже не известила их о смерти матери и пришла, только когда ей что-то понадобилось. Антуанетта спокойно прервала их, заявив, что не собиралась причинять им беспокойство, а пришла просто отдать деньги, которые брала у них взаймы, и, положив на стол два кредитных билета, потребовала расписку. Дядя и тетка тотчас переменили тон, сделали вид, что не хотят брать деньги; они воспылали к ней той внезапной любовью, какая вспыхивает у кредитора к должнику, через много лет принося-

щему долг, на котором был уже поставлен крест. Пуайе стали расспрашивать Антуанетту, где они с братом поселились и как им живется. Она уклонилась от ответа, снова потребовала расписку, сказала, что спешит, холодно попрощалась и ушла. Пуайе были возмущены неблагодарностью дерзкой девчонки.

Избавившись от этой заботы, Антуанетта продолжала урезать себя, но уже ради брата. Только теперь она делала это украдкой, чтобы он ничего не заметил: отказывала себе в нарядах, даже в пище, стараясь скопить на одежду и развлечения брату, побаловать его, скрасить ему жизнь, дать ему возможность время от времени пойти в концерт и даже в оперу — величайшее блаженство для Оливье. Он не желал ходить без нее. Но она всегда придумывала какой-нибудь предлог, чтобы отказаться и вместе с тем избавить его от угрызений совести: говорила, что она слишком устала и потому ей не хочется выходить из дому, и даже уверяла, что ей это неинтересно. Он не верил в эту ложь, подсказанную любовью, но детский эгоизм брал верх. Он шел в театр, а там угрызения совести снова одолевали его: до конца спектакля он ни о чем другом не мог думать и не получал никакого удовольствия. В одно из воскресений Антуанетта отправила его слушать концерт в «Шатле»; он возвратился через полчаса и заявил, что дошел до моста Сен-Мишель, но тут у него не хватило духа идти дальше — концерт перестал его интересовать, и вообще развлекаться без нее — не радость, а мучение. Это было очень приятно Антуанетте, хотя она и пожалела, что брат лишился из-за нее воскресного развлечения. Но сам Оливье не жалел ни о чем. Когда он увидел, как просияло лицо сестры, несмотря на все ее старания скрыть свои чувства, он испытал такое удовольствие, какое не доставила бы ему самая прекрасная музыка в мире. Они провели этот воскресный день, сидя рядышком у окна. Оливье — с книгой, Антуанетта за шитьем, но он не читал, а она не шила, и оба болтали о пустяках, не занимавших ни его, ни ее. Они уговорились не ходить в концерты врозь: удовольствие в одиночку перестало быть удовольствием.

Антуанетта тайком скопила достаточно денег, чтобы сделать Оливье сюрприз — взять напрокат пианино, которое, согласно существовавшим правилам проката, через определенный срок становилось их собственностью. Таким образом, она взвалила на себя еще одно тяжелое обязательство. Сроки платежа стояли перед ней, как злой кошмар; она надрывалась в работе, чтобы набрать нужную сумму. Но эта безрассудная прихоть

давала столько радости им обоим! Музыка была уголком рая в их суровой жизни. Постепенно она захватила их целиком. Они отгораживались ею от прочего мира. Но в этом таилась и своего рода опасность. Музыка порой оказывает растлевающее действие на душу современного человека. Подобно жаркой парильне или осенней истоме, она взвинчивает нервы и убивает волю. И в то же время музыка служит отдохновением для того, кто, как Антуанетта, принужден заниматься непосильным и безрадостным трудом. Воскресный концерт был единственным светлым проблеском за целую неделю непрерывной работы. Они жили воспоминанием о последнем концерте и надеждой на следующий, на эти два-три часа вне Парижа, вне времени. После долгого стояния на улице, под дождем или снегом, на ветру и холоде, когда они, прижавшись друг к другу, со страхом ждали, будут ли билеты, их вместе с общим потоком вносило в театр, и они, заняв неудобные, тесные места, терялись в толпе. Их толкали, им было душно и чуть не делалось дурно от давки и жары. И все же каждый из них был счастлив, счастлив собственным наслаждением и наслаждением другого — счастлив ощущать, как в сердце струятся волны добра, света и силы, изливаемые великими душами Бетховена и Вагнера, счастлив видеть, как рядом проясняется родное лицо, побледневшее от утомления и преждевременных забот. Антуанетте казалось, что ее, усталую, баюкают чьи-то материнские объятия. Она нежилась в этом мягком и теплом гнездышке и беззвучно плакала. Оливье держал ее руку. Никто не замечал их в темноте гигантского зала, где было столько израненных душ, искавших приюта под материнским крылом Музыки.

Антуанетту по-прежнему поддерживала вера. Она была очень набожна и каждый день истово, подолгу молилась, а каждое воскресенье ходила к обедне. В своей несправедливо жестокой судьбе она не могла отречься от веры и божественного друга, который страдает вместе со страждущими и когда-нибудь утешит их. Еще больше, чем с богом, ощущала она духовную связь с дорогими покойниками и втайне приобщала их ко всем своим горестям. Но мыслила она самостоятельно и рассуждала трезво; она держалась в стороне от других верующих, которые косились на нее, обвиняли в строптивости и усматривали в ее поведении чуть не вольнодумство потому лишь, что она, как истое дитя Франции, не желала отказываться от свободы суждений: она веровала не из слепого послушания, как тупое стадо, а по велению сердца.

Оливье перестал верить. Медленный процесс распада веры, начавшийся в нем с первых месяцев пребывания в Париже, привел к полному ее уничтожению. Юноша перенес это очень тяжело, он не был из числа тех, кто настолько силен или настолько ограничен, чтобы обойтись без всякой веры, а потому долго мучился жестокими сомнениями. Но религиозная мистика сохранила власть над его сердцем, и при всем его неверии духовный мир сестры был ему очень близок. Оба — и брат и сестра — жили в атмосфере высоких чувств. Когда они сходились после целого дня разлуки, их крохотная квартирка становилась для них тихой пристанью, неприкосновенным убежищем, убогим, холодным, но незапятнанным. Как далеки они были здесь от Парижа с его шумом, с его растленным мышлением!

Они почти не говорили о своих занятиях: когда возвращаешься усталый, нет никакой охоты, рассказывая о прошедшем дне, вновь переживать все его тяготы. Они инстинктивно помогали друг другу забыть парижские будни. Особенно в первые минуты, встретившись за столом, они избегали задавать друг другу вопросы, здоровались взглядом и, случалось, не произносили ни слова до конца обеда. Антуанетта смотрела на брата, а он сидел, задумавшись над тарелкой, точь-в-точь как в детстве. Она ласково гладила его руку.

— Ну, что же ты! — улыбаясь, говорила она.— Живей!

Он тоже улыбался и начинал есть. У них была такая потребность в тишине, что они не делали ни малейшего усилия поддержать беседу. Лишь позднее, отогревшись в атмосфере чуткой взаимной любви и стряхнув с себя нечистые следы дня, они становились словоохотливее.

Оливье садился за пианино. Антуанетта сама почти перестала играть, чтобы не мешать ему,— это ведь была его единственная радость, и он всецело отдавался ей. У него были недюжинные способности к музыке: его женственная натура, которой более свойственно было любить, чем созидать, любовно воспринимала мысль исполняемых им композиторов, сливалась с ней, со страстной проникновенностью передавала малейшие ее оттенки, поскольку ему позволяли слабые руки и грудь, изнемогавшая от титанической мощи «Тристана» и последних сонат Бетховена. Потому-то он и искал прибежища у Моцарта и Глюка; Антуанетта тоже предпочитала их.

Иногда она пела, но только самые простые старинные песенки. Голос у нее был глуховатый — меццо-сопрано, глубокое, но несильное. От застенчивости она не могла петь ни при ком,

кроме Оливье,— у нее делался спазм в горле. Особенно любила она одну шотландскую песню Бетховена — «Верный Джонни», такую ровную, покойную... а под этим покоем столько страстной нежности! Песня была похожа на нее. У Оливье слезы навертывались на глаза, когда она пела «Верного Джонни».

Но она предпочитала слушать игру Оливье. Она спешила управиться с хозяйством и оставляла дверь из кухни открытой, чтобы было слышнее; однако, как ни старалась она не шуметь, Оливье сердился, что она громыхает посудой. Тогда Антуанетта прикрывала дверь; кончив убирать, она приходила и садилась в низенькое кресло, только не возле инструмента (Оливье не мог играть, когда кто-нибудь сидел рядом), а у камина. И тут, свернувшись клубком, как кошечка, спиной к пианино, вперив глаза в золотистое пламя очага, где неслышно догорал уголь, она баюкала себя образами прошлого. Когда часы били девять, она скрепя сердце напоминала Оливье, что пора кончать. Ей тяжело было отрывать от грез и его и себя, но Оливье надо было еще поработать вечером, а ложиться поздно ему не следовало. Он подчинялся не сразу: ему требовалось некоторое время, чтобы после музыки сосредоточиться на занятиях. Мысли его где-то витали. И нередко часы били уже половину десятого, а он все не мог вернуться к действительности. Антуанетта сидела напротив него, склонившись над работой, и знала, что он ничего не делает, но не решалась слишком часто смотреть в его сторону, боясь досадить ему излишней опекой.

Оливье был в том неблагодарном — в том блаженном возрасте, когда проводишь целые дни, предаваясь праздным мечтам. У него был чистый лоб, девичьи глаза — и порочные и простодушные, нередко окруженные синевой; большой рот с припухшими, как у грудного младенца, губами, которые кривились едва уловимой усмешкой, рассеянной и озорной; копна волос, падающая до бровей, сзади пышная, как прическа, с непокорным хохолком на макушке; вокруг шеи небрежно болтался галстук, который сестра тщательно повязывала каждое утро; куртка была вечно без пуговиц, хотя Антуанетта тратила уйму времени, пришивая их; из рукавов без манжет торчали большие руки с костлявыми запястьями. Он мог часами витать в облаках с полусонным, лукавым и сладострастным видом. Глаза его без цели блуждали по комнате Антуанетты (стол для занятий находился у нее), останавливаясь на узкой железной кровати, над которой висело распятие слоновой кости с буксовой веточкой, на портретах отца и матери и на старой фотогра-

фии провинциального городка с колокольней и зеркалом каналов. Когда же его взгляд доходил до бледненького личика сестры, молча работавшей рядом, ему становилось бесконечно жалко ее и досадно на себя,— он встряхивался, сердясь на свое безделье, и ревностно брался за работу, чтобы наверстать потерянное время.

В свободные дни он много читал. Они всегда читали врозь. При всей их взаимной любви они не могли читать вслух друг другу. Это их коробило, казалось нецеломудренным. Хорошая книга была для них тайной, которую можно нашептывать только себе. Когда какая-нибудь страница особенно восхищала одного из них, ни он, ни она не читали ее вслух, а протягивали книгу другому, указывая пальцем волнующее место, и говорили:

— Прочти.

И пока другой читал, тот, кто уже прочел, блестящими глазами следил, как отражаются на лице близкого человека переживаемые им чувства, и наслаждался вдвойне.

Но часто, облокотясь на стол перед раскрытой книгой, они не читали, а разговаривали. Особенно к концу вечера у них нарастала потребность излить душу, и уже не так было трудно говорить. Оливье всегда одолевали печальные думы, и он, как существо слабое, стремился избавиться от своих терзаний, переложив их бремя на плечи другого. Сомнения мучили его. И Антуанетта должна была ободрять брата, защищать от самого себя,— эта борьба возобновлялась непрерывно, изо дня в день. Оливье высказывал горькие, мрачные мысли и, высказавшись, чувствовал себя легче, но не задумывался над тем, что они ложатся гнетом на сестру. Слишком поздно он понял, как изводил ее: брал себе ее силу, а в нее вселял свои сомнения. Антуанетта не роптала. По характеру бодрая и жизнерадостная, она заставляла себя казаться по-прежнему веселой, хотя веселость ее давно исчезла. У нее бывали минуты безмерной усталости и возмущения против этой исполненной непрерывного самоотречения жизни, на которую она себя обрекла. Но она осуждала такие мысли, не желала в них углубляться и, против воли, не приемля, терпела их. На помощь ей приходила молитва,— кроме тех мгновений, когда сердце отказывается молиться (бывает и так), когда оно словно иссушено. Тогда оставалось лишь молча, дрожа и стыдясь, дожидаться, чтобы благодать снова осенила ее. Оливье даже не догадывался об этих муках. В такие минуты Антуанетта под любым предлогом уходила из дому или запиралась у себя в комнате. Только

справившись с собой, она появлялась снова, улыбающаяся, истомленная, и была еще ласковее, чем всегда, словно каялась в своих страданиях.

Комнаты их были рядом, и кровати стояли у одной и той же стены, так что брат и сестра могли переговариваться шепотом; а когда им не спалось, легкие постукивания в стену как бы говорили:

«Ты спишь? Я не сплю».

Перегородка была такая тонкая, что они словно лежали в одной постели, целомудренно, как два друга. Но дверь между комнатами на ночь всегда закрывали из чувства глубокой, инстинктивной стыдливости — чувства священного; она оставалась открытой, только когда Оливье хворал, а это, увы, случалось нередко.

Здоровье его все не восстанавливалось и даже стало хуже. У него постоянно что-нибудь болело — горло, грудь, голова, сердце, самая легкая простуда грозила перейти в бронхит; он заболел скарлатиной и чуть не умер; даже будучи здоровым, он вечно жаловался на какие-нибудь угрожающие симптомы, которые, к счастью, ни во что не выливались: то у него кололо в боку, то в сердце.

Однажды врач, выслушав его, определил не то перикардит, не то катар легких, и профессор-специалист, к которому они обратились потом, подтвердил эти опасения. Однако диагноз оказался ошибочным. В сущности, у него были только больные нервы; а как известно, заболевания такого рода принимают самые неожиданные формы и после многих дней тревоги кончаются ничем. Но чего стоили эти дни Антуанетте! Сколько она провела бессонных ночей! Она поминутно вскакивала с постели и, стоя у двери, прислушивалась к дыханию брата, потом ложилась снова, терзаясь страхом. Ей казалось, что он умрет, она это знала, она была уверена в этом. Дрожа, приподымалась она на кровати, складывала руки, стискивала их, прижимала к губам, чтобы не закричать.

«Господи, господи! — молила она.— Не отнимай его у меня! Нет, нет! Я не отдам его. Смилуйся, господи, смилуйся! Мамочка, дорогая! Помоги мне! Спаси его, сделай, чтобы он жил!..»

Все ее тело трепетало, как натянутая струна.

«Как! Умереть на полдороге, когда уже столько сделано, когда цель уже близка, когда ему скоро будет хорошо... Нет, это невозможно, это слишком жестоко!..»

Вскоре Оливье стал причинять сестре тревоги другого рода. Как и она, он был глубоко порядочен по натуре, но воля у него была слабая, а ум очень независимый, слегка скептический и потому несвободный от путаных представлений; отсюда склонность мириться с дурным и тяга к наслаждениям. Антуанетта по своей душевной чистоте долго не могла понять, что творится с братом. Но вот она сделала совершенно неожиданное открытие.

Оливье думал, что сестры нет дома. Обычно в это время у нее был урок, но в последнюю минуту ученица известила ее запиской, что сегодня заниматься не может. Антуанетта этому втайне обрадовалась, хотя тем самым из их скудного бюджета выпадало несколько франков; но она была очень утомлена и прилегла на кровать, радуясь, что может отдохнуть денек без угрызений совести. Оливье вернулся из лицея и привел с собой товарища. Они расположились в соседней комнате и принялись болтать. Каждое их слово было слышно, а говорили они, не стесняясь, думая, что, кроме них, никого нет. Антуанетта с улыбкой слушала оживленный голос брата. Однако вскоре она перестала улыбаться, кровь застыла у нее в жилах. Они говорили на самые откровенные темы, употребляя отвратительно грубые выражения, и, очевидно, находили в этом удовольствие. Она слышала, как смеялся Оливье, ее маленький Оливье, и с его уст, которые она считала невинными, слетали непристойные слова, приводившие ее в ужас. Острая боль пронизывала ее до глубины души. Это длилось долго: они не могли наговориться, а она не могла не слушать. Наконец мальчики ушли. Оставшись одна, Антуанетта заплакала — что-то умерло в ней; светлый образ брата — ее ребенка,— который она создала в своем воображении, был замаран, и она жестоко страдала от этого. Вечером она ни слова не сказала Оливье. Он заметил, что она плакала, но не мог добиться причины. Он не понял, отчего она переменилась к нему. Ей не сразу удалось переломить себя.

Но самый жестокий удар нанес он ей, когда однажды не вернулся домой ночевать. Она не ложилась всю ночь, ожидая его. Она была уязвлена не только в своей нравственной чистоте, она была уязвлена в самых сокровенных тайниках своего сердца — тех глубоких тайниках, где роятся опасные чувства, которые она старалась скрыть даже от самой себя и над которыми не дозволено поднимать покров.

А Оливье главным образом желал утвердить свою независимость. Он вернулся утром с развязным видом, готовясь ответить дерзостью, если сестра вздумает сделать ему замечание. Он на

цыпочках проскользнул в квартиру, чтобы не разбудить ее. Но когда он увидел, что она не ложилась и ждала его, бледная, с покрасневшими от слез глазами, увидел, что она и не думает упрекать его, а молча хлопочет, готовя ему завтрак, чтобы он поел до ухода в лицей, увидел, что она явно удручена, хотя не говорит ни слова, что все ее существо выражает безмолвный упрек,— тогда он не выдержал: бросился перед ней на колени, спрятал лицо в складках ее платья, и оба заплакали. Ему было стыдно, противно вспомнить о прошедшей ночи, он чувствовал себя замаранным. Он хотел заговорить — она не позволила, закрыла ему рот рукой, и он поцеловал эту руку. Больше между ними ничего не было сказано — они без слов поняли друг друга. Оливье дал себе клятву не огорчать Антуанетту и быть таким, каким она хотела его видеть. Но она, как ни старалась, не сразу забыла свою обиду. Она точно выздоравливала от тяжелой болезни, и чувство неловкости надолго сохранилось в их отношениях. Ее любовь не ослабела, но только теперь Антуанетта увидела в душе брата что-то ей чуждое, пугавшее ее.

То, что открылось Антуанетте в душе брата, ранило ее тем больнее, что именно в это время ей приходилось терпеть упорные преследования мужчин. Когда она возвращалась под вечер в темноте и особенно когда она бывала вынуждена выходить после обеда, чтобы взять или отнести работу по переписке, она вся дрожала от страха, что к ней подойдут, заговорят, пристанут, как это уже случалось не раз. Под тем предлогом, что Оливье полезно гулять, она по возможности старалась брать его с собой, но он соглашался неохотно, она же не смела настаивать, боясь помешать его занятиям. Душа девственницы и провинциалки возмущалась в ней против парижских нравов. Ночной Париж казался ей темным лесом, где ее подкарауливают страшные чудовища, и она боялась выходить из своей норки. Однако выходить было необходимо. В конце концов она взяла себя в руки, но страдать не перестала. Когда же она представляла себе, что ее мальчик, ее Оливье будет или уже стал похож на этих наглых мужчин, ей по возвращении стоило усилия пожать ему руку. А он не мог понять, за что сердится на него сестра...

Никто не назвал бы Антуанетту красавицей, но она обладала большим обаянием и останавливала на себе взгляды без малейшего старания со своей стороны. Одетая очень просто, почти всегда в черное, невысокого роста, тоненькая, хрупкая, нераз-

говорчивая, она безмолвно скользила в толпе, стараясь быть незаметной, и все-таки против собственной воли привлекала к себе внимание пленительной нежностью кротких, усталых глаз и по-детски непорочных губ. Иногда, правда, она видела, что нравится; ее это смущало и все-таки радовало. Кто скажет, сколько невинного, трогательного кокетства может невольно проснуться в спокойной девичьей душе, угадавшей чье-то ласковое участие? У Антуанетты появлялась тогда некоторая неловкость движений, она искоса бросала пугливые взгляды — это было и забавно и умилительно. Смущение делало ее еще привлекательнее. Она возбуждала желания, а так как она была девушка бедная и беззащитная, за ней ухаживали весьма бесцеремонно.

Она бывала иногда в доме Натанов, богатых евреев, которые встретили ее у своих знакомых, где она преподавала, и участливо отнеслись к ней. Антуанетте пришлось преодолеть свою застенчивость и раза два-три быть у них даже на званых вечерах. Альфред Натан был очень известный в Париже профессор, крупный ученый и в то же время весьма светский человек,— эта причудливая помесь учености и суетности часто наблюдается среди евреев. Так и у г-жи Натан подлинная доброта сочеталась с чрезвычайной светскостью. Оба супруга от случая к случаю щедро и шумно выражали Антуанетте свою искреннюю симпатию. Вообще Антуанетта встретила больше сочувствия среди евреев, чем среди своих единоверцев. У евреев много недостатков, но у них есть одно достоинство,— может быть, самое главное: они живые люди, они человечны; ничто человеческое им не чуждо, они внимательны ко всему живому. Даже когда у них нет настоящего горячего чувства, они неизменно полны любопытства, побуждающего их интересоваться всеми более или менее значительными людьми и идеями, хотя бы совершенно чуждыми им. Нельзя сказать, чтобы они всегда оказывали при этом действенную помощь,— слишком многое занимает их одновременно, и они, более чем кто-либо, находятся во власти светского тщеславия, хотя и отрицают это. Но они, по крайней мере, что-то делают, а это уже много при равнодушии, царящем в современном обществе. Они служат в нем ферментом жизни, бродилом действия. У католиков Антуанетта натолкнулась на стену ледяного безразличия и тем сильнее ценила внимание, хотя бы и поверхностное, которое проявляли к ней Натаны. Г-жа Натан угадала, какую подвижническую жизнь ведет Антуанетта, вдобавок пленилась ее внешним и внутренним обликом и задумала взять девушку под свое покровительство. У нее самой детей не было, но она любила и часто соби-

рала у себя молодежь; она настояла на том, чтобы Антуанетта тоже приходила, чтобы она нарушила свое затворничество и немножко развлеклась. Нетрудно было понять, что Антуанетта чуждалась общества отчасти из-за своей бедности, и г-жа Натан сделала попытку снабдить ее нарядами, но гордость Антуанетты возмутилась против этого; тогда заботливая покровительница так деликатно повела дело, что все-таки заставила девушку принять кое-какие мелочи, столь ценные для невинного женского тщеславия. Антуанетта была и тронута этим и смущена. Скрепя сердце она время от времени приходила на вечера г-жи Натан, а там молодость брала свое, и она втягивалась в общее веселье.

Но в этом несколько пестром обществе, где бывало много молодых людей, бедную и миловидную девушку, которой покровительствовала хозяйка дома, немедленно избрали своей жертвой двое-трое шалопаев, с наглой самоуверенностью остановивших на ней свой выбор. В расчете на ее робость они заранее бились между собой об заклад, кто скорее преуспеет.

Началось с того, что Антуанетта стала получать анонимные или, вернее, подписанные вымышленным громким именем письма с объяснениями в любви. Сперва это были вкрадчивые, настойчивые любовные записочки, в которых ее просили о свидании; затем тон стал более развязным, появились угрозы, а дальше пошли оскорбления, грязная клевета: ее раздевали в этих письмах, пачкали похотливыми домыслами, во всех подробностях разбирали ее скрытые достоинства, пытались сыграть на ее неопытности, грозя ей публичным скандалом, если она не придет на свидание в указанное место. Она плакала от обиды, получая такие предложения; эти гнусности оскорбляли ее гордость, словно огнем жгли ее тело и душу. Она не знала, как выйти из положения. Ей не хотелось рассказывать обо всем брату: она понимала, что ему будет слишком больно и что это только усложнит дело. Друзей у нее не было. Обратиться в полицию? На это она не решалась из боязни огласки. Однако пора было принять решительные меры. Она чувствовала, что молчанием тут не спастись, что негодяй, преследующий ее, не отстанет и решится на что угодно, если будет чувствовать себя в безопасности.

Тут как раз подоспело категорическое требование явиться завтра в определенный час в Люксембургский музей. Антуанетта решила пойти. После долгих размышлений она сделала

вывод, что мучитель ее познакомился с нею у г-жи Натан. В каком-то из его писем упоминалось об одном случае, который мог иметь место только там. И вот она попросила г-жу Натан оказать ей большую услугу: подвезти ее в своем экипаже в музей и минутку подождать у входа. Когда Антуанетта вошла, возле указанной в письме картины ее встретил торжествующий шантажист и заговорил с ней преувеличенно учтивым тоном. Она молча, пристально смотрела на него. Кончив свою речь, он игриво спросил, почему она так на него смотрит.

— Я смотрю на подлеца,— ответила Антуанетта.

Он не смутился такой малостью и стал еще развязнее.

— Вы мне грозили скандалом,— сказала она.— Пожалуйста! Я готова пойти на скандал!

Она вся дрожала и говорила громко, с явным намерением привлечь внимание посетителей. На них оглядывались. Молодой человек увидел, что она не остановится ни перед чем, и присмирел. Она еще раз крикнула ему:

— Подлец!

И пошла прочь.

Не желая признать себя побежденным, он последовал за девушкой. Она вышла из музея — он за ней. Она направилась к ожидавшей ее карете, распахнула дверцу, и предприимчивый ловелас очутился лицом к лицу с г-жой Натан, которая узнала его и приветствовала, назвав по имени. Он растерялся и поспешил скрыться.

Антуанетте пришлось все объяснить своей спутнице. Она изложила происшедшее неохотно и крайне сдержанно. Ей было тяжело посвящать постороннего человека в свой внутренний мир и рассказывать о страданиях своего оскорбленного целомудрия. Г-жа Натан упрекнула ее за то, что она так долго молчала. Антуанетта умоляла никому не говорить ни слова. На том приключение и закончилось; г-же Натан даже не понадобилось отказывать наглому субъекту от дома — он не посмел больше показаться у нее в гостиной.

Приблизительно в то же время на долю Антуанетты выпало огорчение совсем другого рода.

Один очень порядочный человек лет сорока, служивший консулом на Дальнем Востоке и приехавший во Францию на несколько месяцев в отпуск, познакомился с Антуанеттой у Натанов и влюбился в нее. Встреча эта была, без ведома Антуанетты, подстроена г-жой Натан, которая во что бы то ни стало

решила выдать замуж свою юную приятельницу. Консул, тоже еврей, не отличался красотой — он был немного плешив и сутуловат, но у него были добрые глаза, ласковые манеры и сердце, знавшее страдание, а потому умевшее сострадать другим. В Антуанетте уже ничего не осталось от прежней избалованной девочки-мечтательницы, рисовавшей себе жизнь как прогулку в ясный день об руку с возлюбленным; теперь жизнь предстала перед ней как жестокая битва, которую надо вести изо дня в день, без передышки, иначе рискуешь потерять в один миг все, что было завоевано пядь за пядью годами изнурительного труда; и она часто думала, что отрадно было бы опереться на руку друга, разделить с ним заботы и отдохнуть немножко, а он чтобы тем временем оберегал ее покой. Она понимала, что это только мечта, но у нее еще не хватало мужества отказаться от такой мечты. Впрочем, она отлично знала, что бесприданнице не на что надеяться в том обществе, где она жила. Старая французская буржуазия на весь мир прославилась своим гнусно торгашеским отношением к браку. Евреи же не так бесстыдно гоняются за деньгами. Среди них нередко можно встретить богатого молодого человека, который женится на бедной девушке, или состоятельную девушку, которая ищет себе в мужья прежде всего интеллигентного человека. Но в среде французских буржуа, провинциалов и католиков, мошна всегда ищет мошну. Глупцы, на что им столько денег? Потребности у них самые ограниченные: они умеют только есть, зевать от скуки, спать и... копить. Антуанетта хорошо знала этих людей, она видела их с детства, смотрела на них и глазами богатства, и глазами нищеты. Она не обольщалась на их счет и понимала, что тут ждать нечего. А потому неожиданное сватовство консула было для нее большим утешением. Сперва она и не думала любить его, но мало-помалу прониклась к нему глубокой признательностью и симпатией. Она приняла бы его предложение, если бы не надо было ехать в колонии, а значит, разлучиться с братом, и отказала влюбленному; тот, хотя и понял все благородство ее побуждений,— не простил отказа: любовь в своем эгоизме требует, чтобы ей жертвовали всем, вплоть до тех качеств, которые ей особенно дороги в любимом существе. Он перестал встречаться с Антуанеттой, не написал ей, когда уехал, и она ничего не знала о нем, пока пять или шесть месяцев спустя не получила извещения о его женитьбе, причем конверт был надписан его рукой.

После этой новой сердечной раны Антуанетта сложила свою скорбь к стопам божьим, постаралась себя убедить, что понесла

справедливую кару за то, что хоть на миг позабыла свой единственный долг — посвятить себя брату, и всецело отдалась заботам о нем.

Она окончательно отдалилась от света, перестала бывать даже у Натанов, которые несколько охладели к ней после того, как она отказала найденному ими жениху,— они тоже не приняли ее доводов. Г-жа Натан заранее решила, что этот брак состоится и будет образцовым, и была уязвлена в своем самолюбии, когда он не состоялся по вине Антуанетты. На ее взгляд, чувства девушки были, конечно, весьма похвальны, но преувеличены до приторности, отчего она сразу же утратила интерес к этой дурочке. В силу своей потребности благодетельствовать людям с их согласия или помимо него она облюбовала себе другую подопечную, на которую в данный момент и расходовала весь запас внимания и забот.

Оливье и не догадывался о печальных романтических переживаниях сестры. Это был чувствительный и легкомысленный юноша, постоянно витавший в мечтах. Полагаться на него не стоило ни в чем, хотя ум у него был живой и обаятельный, а сердце — такая же сокровищница любви, как и у Антуанетты. Целые месяцы трудов он часто сводил на нет каким-нибудь сумасбродным выпадом, приступом хандры, полосой безделья, надуманными увлечениями, на которые тратил время и силы; он влюблялся в первое встречное смазливенькое личико, в кокетливых девочек-подростков, которые разок поболтали с ним где-нибудь в гостях и тут же позабыли об этом. Он мог увлечься книгой, поэмой, каким-нибудь музыкальным произведением и по неделям ничем иным не занимался, пренебрегая ученьем. За ним надо было следить неусыпно, но незаметно, чтобы не обидеть его. Трудно было предусмотреть, что он выкинет в следующую минуту. Он постоянно находился в лихорадочном возбуждении, в том неуравновешенном, взвинченном состоянии, которое нередко наблюдается у людей, предрасположенных к чахотке. Врач не скрыл своих опасений от Антуанетты. Этому от природы чахлому растению, пересаженному из провинции в Париж, очень нужно было солнце и свежий воздух,— словом, то, чего Антуанетта не могла ему предоставить. У них не было денег, чтобы уезжать из Парижа на каникулы. А в течение года они были заняты по целым дням и так уставали к воскресенью, что им никуда не хотелось идти, разве только в концерт.

Однако летом, по воскресеньям, Антуанетта насильно увлекала Оливье за город, в леса Шавиля или Сен-Клу. Но в лесу некуда было деваться от шумных парочек, кафешантан-

ных песенок и просаленных бумажек: такая обстановка меньше всего походила на ту чудесную тишину, которая успокаивает и очищает. А вечером, на обратном пути, надо было терпеть давку в поездах, духоту битком набитых, низких, тесных, темных, отвратительных пригородных вагонов, вольные словечки и сценки, шум, хохот, пенье, вонь, табачный дым. И Антуанетта и Оливье чувствовали себя чужими в толпе, а потому возвращались домой раздраженные, расстроенные. Оливье умолял сестру прекратить прогулки, да и у Антуанетты не было охоты повторять эти опыты. Все же она упорствовала в своем намерении, хотя такие поездки доставляли ей еще меньше удовольствия, чем Оливье,— она считала, что это нужно для здоровья брата, и снова старалась вытащить его из дому. Новые попытки были не более удачны, и Оливье жестоко корил ее. Наконец они решили безвыездно сидеть в душном городе и из недр своего тюремного двора вздыхали о просторе полей.

Наступил последний учебный год, а за ним предстояли приемные экзамены в Высшую Нормальную школу. И слава богу! Антуанетта очень устала. Она твердо рассчитывала на успех. Оливье имел все основания быть принятым. В лицее на него смотрели как на самого верного кандидата; все преподаватели дружно хвалили его способности и ум, делая, правда, оговорку насчет недисциплинированности мышления, мешавшей ему работать планомерно. Но бремя ответственности до того угнетало Оливье, что по мере приближения экзаменов он все больше тупел. Крайнее утомление, боязнь срезаться и болезненная застенчивость заранее сковывали его. Он дрожал при мысли, что ему придется выступать публично перед строгими судьями. Он всегда страдал от своей застенчивости. В классе, когда приходилось отвечать, он краснел, у него сжималось горло. В первое время ему и отозваться-то было трудно, когда произносили его имя. Отвечать неожиданно он еще кое-как мог; если же он знал, что его вызовут, ему чуть не делалось дурно, но голова у него не переставала работать, и он во всех подробностях представлял себе, что́ сейчас произойдет; чем дольше приходилось ждать, тем было мучительнее. Можно сказать, что каждый экзамен он держал дважды: накануне ночью он экзаменовался во сне и тратил на это все силы, так что для настоящих экзаменов сил совсем не оставалось.

Но он даже не был допущен до устного экзамена — того, который внушал ему такой ужас, что по ночам его прошибал

холодный пот. Во время письменной работы на философскую тему, которая в обычное время непременно увлекла бы его, он за шесть часов едва выжал из себя две странички. Сначала у него в голове была пустота, ни одной мысли, буквально ни одной. Перед ним словно выросла черная стена, о которую он тщетно бился. Потом, за час до срока, стена раздалась, и лучи света хлынули в брешь. Тогда он набросал на бумагу несколько превосходных мыслей, однако этого было недостаточно для хорошей отметки. По его удрученному виду после письменного экзамена Антуанетта поняла, что он провалился, и сама была обескуражена не меньше, но скрыла тревогу. Впрочем, даже в самых безнадежных положениях ей не изменяла способность надеяться.

Оливье не приняли.

Он был убит. Антуанетта улыбалась, стараясь показать, что ничего страшного не произошло, но губы у нее дрожали. Она утешала брата, убеждала, что это неудача поправимая, что на будущий год он непременно выдержит испытания, и даже лучше других. Она не сказала, как важно было ей, чтобы он выдержал именно в этом году, как она измучена телом и душой, как боится, что у нее не хватит сил вытянуть еще один такой год. А нужно было тянуть. Если ее не станет до того, как его примут, он один ни за что не найдет в себе мужества продолжать борьбу, и жизнь сломит его.

Итак, она скрыла от него свою усталость и даже удвоила усилия. Она надрывалась, чтобы он мог немного развлечься во время каникул и с большей бодростью и уверенностью начать учебный год. Но к началу учебного года ее скромные сбережения значительно убыли, а вдобавок она потеряла несколько выгодных уроков.

Еще целый год! Перед последним испытанием нервы у обоих были напряжены до предела. Но прежде всего надо было жить и изыскивать какие-то новые источники заработка. Антуанетта согласилась ехать гувернанткой в Германию, взяв место, которое подыскали ей Натаны. Она решилась на это как на крайнюю меру: ничего другого у нее не было в виду, а ждать она не могла. За шесть лет они с братом не расставались ни на день, и она даже не представляла себе, как будет жить, не видя и не слыша его постоянно. Оливье не мог без ужаса думать о разлуке, но ничего не смел сказать — он сам был причиной этого несчастья: если бы он выдержал экзамены, Антуанетте не понадобилось бы идти на такую крайность; он не имел права про-

тестовать и выдвигать на первый план свое собственное огорчение — решать должна была она.

Последние дни, которые им осталось быть вместе, они провели в безмолвной скорби, словно перед вечной разлукой: когда горе одолевало их, они прятались друг от друга. Сестра взглядом спрашивала совета у брата. Если бы он сказал: «Не уезжай!» — она бы не уехала, хотя ехать было необходимо. Даже в фиакре, который вез их на вокзал, она готова была отказаться от поездки, чувствуя, что у нее нет сил осуществить свое намерение. Одного слова Оливье было бы достаточно! Но он этого слова не сказал. Он держал себя в руках, как и сестра. Она взяла с него обещание писать каждый день, ничего от нее не скрывая, и чуть что — немедленно вызвать ее.

Она уехала. В то время как Оливье с леденящей тоской на сердце возвращался в лицей, где ему пришлось стать пансионером, поезд уносил застывшую в скорби Антуанетту. Вперив взоры в темноту, брат и сестра чувствовали, что с каждой минутой расстояние между ними становится все больше, и шепотом призывали друг друга.

Антуанетта с ужасом думала о той среде, где ей предстояло жить. Она очень изменилась. Прежде ей ничего не было страшно, она ни перед чем не робела, но за эти шесть лет она так привыкла к тишине и уединению, что ей казалось настоящей пыткой выйти из своей скорлупы. Смешливая, веселая болтунья Антуанетта былых счастливых дней канула в вечность вместе с ними. Несчастье сделало ее дикаркой. Вероятно, живя бок о бок с Оливье, она в конце концов заразилась его застенчивостью. Ей трудно было говорить с кем-нибудь, кроме брата. Она всего боялась, ее пугала даже необходимость пойти в гости. Поэтому она содрогалась при мысли, что ей суждено жить у чужих людей, разговаривать с ними, постоянно быть на виду. К тому же у нее, бедняжки, так же как у Оливье, не было склонности к педагогике: она добросовестно исполняла свои обязанности, но не верила в пользу того, что делала, и не могла утешаться сознанием, что занята нужным делом. Она была создана, чтобы любить, а не учить. Любовь же ее никому не была нужна.

И меньше всего ее любовь была нужна на новом месте, в Германии. Семья Грюнбаумов, куда ее наняли обучать детей французскому языку, не выказывала к ней ни малейшего интереса. Это были люди чванные и развязные, равнодушные и назойливые; платили они неплохо и на этом основании полагали,

что благодетельствуют человеку, получающему у них жалованье, и могут себе позволить с ним что угодно. Они считали Антуанетту чуть повыше прислуги и не давали ей свободно вздохнуть. У нее не было отдельной комнаты — она спала в каморке, смежной с детской, куда дверь даже по ночам не закрывалась. Она никогда не бывала одна. Никто не желал понять, что у нее может быть потребность остаться наедине с собой,— никто не признавал за ней священного права каждого живого существа на внутреннее одиночество. Она знала теперь одну-единственную радость — мысленно побыть и поговорить с братом. Но Грюнбаумы старались отнять у нее даже те считанные свободные минутки, которые она урывала для себя. Стоило ей сесть за письмо, как кто-нибудь уже шнырял вокруг и допытывался, что она пишет. Когда она читала полученное письмо, ее спрашивали, что там написано; с игривой развязностью осведомлялись о «братце». Ей приходилось прятаться. Стыдно сказать, к каким уловкам она вынуждена была прибегать, где запираться, чтобы без помехи читать письма Оливье. Если она забывала письмо на столе, то не сомневалась, что его прочтут; а так как в комнате ни один ящик не запирался, она поневоле таскала с собой все бумаги, которые хотела скрыть от посторонних глаз,— и без того уж в ее вещах и в ее сердце постоянно рылись, старались докопаться до ее заветных мыслей. Но это вовсе не означало, что Грюнбаумы интересуются ею. Просто считалось, что она — их собственность, раз они ей платят. Впрочем, никакого злого умысла они не питали: нескромное любопытство было их коренным свойством, и члены семьи друг на друга за это не обижались.

Антуанетте была нестерпима эта слежка, это отсутствие душевного такта, не позволявшие ей ни на час спрятаться от нескромных взглядов. Ее исполненная достоинства сдержанность оскорбляла Грюнбаумов. Разумеется, они находили высоконравственные доводы, чтобы оправдать свою грубую назойливость и осудить попытки Антуанетты уклониться от их вторжений. «Наш прямой долг,— рассуждали они,— знать личную жизнь девушки, которую мы поселили у себя, ввели в свою семью и которой поручили воспитание детей: мы ответственны за нее». (Так говорят о своей прислуге многие хозяйки дома, причем «ответственность» эта отнюдь не ограждает бедняжек от изнурительного труда и унижения, а только воспрещает им всякую радость.) «Раз Антуанетта не признает этого нравственного долга,— заключали Грюнбаумы,— значит, она не считает себя безупречной: честным девушкам скрывать нечего».

Таким образом, вокруг Антуанетты создалась атмосфера непрерывной травли, которая вынуждала ее быть все время начеку, отчего она казалась еще более высокомерной и замкнутой.

Брат каждый день слал ей письма страниц в двенадцать, и она ухитрялась писать ему каждый день хоть две-три строчки. Оливье старался быть настоящим мужчиной и не слишком обнаруживать свои страдания. Но он просто погибал от тоски. Его жизнь была всегда так неразрывно связана с жизнью сестры, что теперь, в разлуке, он будто потерял половину самого себя: он разучился владеть руками, ногами, мыслями, разучился гулять, играть на рояле, заниматься и вообще делать что бы то ни было, даже мечтать о чем-нибудь... кроме нее. С утра до вечера он корпел над учебниками, но ничего не запоминал: мыслями он был далеко; он тосковал или думал о ней, о ее вчерашнем письме; не спуская глаз с часов, ждал сегодняшнего письма; когда же оно приходило, руки у него, вскрывая конверт, дрожали от радости, а также от страха. Никогда пальцы влюбленного, державшие любовное письмо, не трепетали такой встревоженной нежностью. Как и Антуанетта, он прятался, читая ее письма, и все до единого носил при себе, только самое последнее держал под подушкой и, желая убедиться, что оно не пропало, время от времени трогал его, когда лежал ночью без сна, мечтая о своей дорогой сестренке. Как она была далеко! Особенно мучился он, если письмо задерживалось и приходило через день после того, как было отправлено. Два дня и две ночи разделяли их! Время и расстояние казались ему огромными особенно потому, что он никогда не путешествовал. Воображение его разыгрывалось. Господи! Вдруг она заболеет и умрет, прежде чем он успеет добраться до нее... Почему она не написала накануне хоть несколько строк? А вдруг она больна? Да, конечно, она больна... У него сердце обрывалось. Еще чаще он боялся сам умереть вдали от нее, один, среди равнодушных людей, в этом мерзком лицее, в этом унылом Париже. Он и действительно почти что заболел от одних только мыслей. «Не написать ли ей, чтобы она вернулась?» И тут же ему становилось стыдно своего малодушия. Впрочем, едва он садился ей писать, как забывал свою тоску,— такое для него было счастье общаться с нею. Ему казалось, что он видит, слышит ее; он рассказывал ей обо всем. Пока они жили вместе, он никогда так не откровенничал с нею, не выражал так горячо своих чувств, а теперь он называл ее: «Мой верный, мужественный друг, моя добрая, до-

рогая, любимая, очень любимая сестричка». Это были настоящие любовные письма.

Антуанетта купалась в их ласке, за весь день они были для нее единственной отдушиной. Когда письмо не приходило утром в обычный час, она глубоко страдала. Раза два Грюнбаумы по небрежности, или — кто знает? — быть может, в насмешку, назло, не отдавали ей письма до вечера, а один раз даже до следующего утра. У нее сделался жар. На Новый год брат и сестра, не сговорившись, надумали послать друг другу длинные телеграммы (удовольствие очень дорогое), которые пришли в один и тот же час. Оливье по-прежнему рассказывал Антуанетте о своих занятиях и сомнениях, просил у нее совета; она его наставляла, старалась вселить в него свою силу.

А между тем ей и на себя уже не хватало сил. Она задыхалась тут, в чужой стране, где никого не знала и никому до нее не было дела, кроме жены одного учителя, недавно поселившейся в этом городе и тоже чувствовавшей себя одиноко. Добрая женщина по-матерински жалела двух детей, которые любили друг друга и жили в разлуке (она частично выведала у Антуанетты историю ее жизни), но она была так шумлива и так вульгарна, до такой степени лишена чуткости и деликатности, что утонченная душа девушки пугливо замыкалась. Антуанетте некому было довериться, и она носила в себе все свои заботы — груз очень нелегкий; временами ей казалось, что она не выдержит и упадет под его тяжестью; но она стискивала зубы и шла дальше. Здоровье ее пошатнулось — она сильно худела. Письма брата становились все печальнее. Однажды в припадке отчаяния он написал:

«Вернись, вернись, вернись...»

Но не успел он отправить письмо, как устыдился и написал другое, в котором умолял Антуанетту порвать первое письмо и забыть о нем. Он даже постарался сделать вид, что ему очень весело и он вовсе не нуждается в сестре. Болезненно самолюбивый юноша ни за что не хотел, чтобы думали, будто он не может без нее обойтись.

Антуанетту трудно было обмануть — она все это понимала, но не знала, как быть. То она уже совсем собиралась ехать и шла на вокзал узнать, когда отходит поезд на Париж. То внушала себе, что это безумие,— ведь деньги, которые она зарабатывала здесь, окупали содержание Оливье в пансионе и, значит, надо терпеть, пока хватит сил. Она уже не способна была принять решение. С утра она еще бодрилась, но, по мере того как надвигались сумерки, мужество ее слабело, ей хотелось бежать,

одолевала тоска по родине — той родине, где ей пришлось очень несладко, но где были схоронены все святыни ее прошлого; она тосковала о языке, на котором говорил ее брат и на котором она сама выражала свою любовь к нему.

Как раз в это время в немецком городке, где она жила, остановилась проездом труппа французских актеров. Антуанетта очень редко бывала в театре (у нее для этого не было ни времени, ни охоты), но тут ей неудержимо захотелось услышать родную речь, подышать воздухом Франции. Дальнейшее уже известно. Все билеты в театр были распроданы; молодой музыкант Жан-Кристоф, с которым Антуанетта не была знакома, увидев, как она огорчена, предложил ей место в ложе; она, не подумав, согласилась. Ее появление вместе с Кристофом вызвало пересуды в городке; эти злобные толки немедленно дошли до Грюнбаумов, которые заранее были готовы поверить всему, что бы ни наговорили дурного о молодой француженке; кроме того, вследствие некоторых обстоятельств, изложенных ранее [1], они были настроены против Кристофа и грубо отказали Антуанетте от места.

Целомудренная, стыдливая девушка, всецело поглощенная любовью к брату, ограждавшей ее от малейшей нечистой мысли, думала, что не вынесет позора, когда поняла, в чем ее обвиняют. У нее ни на миг не поднялась досада на Кристофа. Она знала, что он так же ни в чем не повинен, как она сама, что он причинил ей зло, искренне желая добра, и была ему только благодарна. Она ничего не знала о своем случайном спутнике, за исключением того, что он музыкант и что его избрали мишенью для ожесточенных нападок; но при всем своем неведении жизни и людей она врожденным чутьем, обострившимся от горя, умела угадывать человеческую душу и в этом соседе по театру, хотя дурно воспитанном и чудаковатом, угадала чистоту помыслов, равную своей, и мужественную доброту, о которой даже вспоминать было отрадно. Все то плохое, что говорилось о Кристофе, ничуть не поколебало доверия, которое он внушил ей. Она сама была жертвой и не сомневалась в том, что он тоже жертва и страдает, должно быть, гораздо дольше от злобы людей, нанесших ей оскорбление. А так как она привыкла забывать о себе и думать о других, мысль обо всем, что выстрадал Кристоф, отвлекла ее от собственной обиды. Ни за что на свете не стала бы она искать встречи с ним или писать ему — стыдливость и

---

[1] См. «Жан-Кристоф», кн. четвертая, «Бунт».— *Р. Р.*

гордость запрещали ей это. Она уверила себя, что он не знает, какую неприятность навлек на нее, и по доброте своей искренне желала, чтобы он никогда об этом не узнал.

Она уехала. По воле случая в часе пути от города поезд, увозивший ее, встретился с тем поездом, в котором Кристоф возвращался из соседнего городка, где провел день.

Пока поезда стояли рядом, они в тиши ночи увидели друг друга из вагонного окна и не заговорили друг с другом. Да и что бы они могли сказать, кроме самых обыденных слов? Эти слова только опошлили бы неуловимое чувство взаимной жалости и таинственного влечения, которое родилось в них и не имело иного основания, кроме внутреннего ясновидения. В тот миг, когда они, незнакомые, обменивались последним взглядом, они увидели друг друга так, как никто из живших бок о бок с ними никогда их не видел. Все проходит — воспоминание о словах любви, о поцелуях, о самых жарких объятиях; но никогда не забывается соприкосновение двух душ, которые встретились однажды и узнали друг друга в толпе бесчувственных марионеток. Антуанетта унесла память об этом в тайниках своего сердца, сердца, окутанного печалью, посреди которой сиял, однако, скрытый свет, подобный тому, что окутывает елисейские тени в «Орфее» Глюка.

Итак, она вернулась к Оливье. И вернулась вовремя: он как раз заболел. Этот нервный, неуравновешенный мальчик, дрожавший перед вымышленными болезнями, теперь, захворав всерьез, решил не писать сестре о своей болезни, чтобы не встревожить ее. Но мысленно он звал ее, молил об ее приезде, как о чуде.

Когда чудо свершилось, он лежал в жару на койке лицейского лазарета и дремал. Он не вскрикнул, увидев ее. Сколько раз ему чудилось, будто она входит в палату! Он поднялся на постели, открыв рот, дрожа от страха, что вдруг это опять окажется обманом. И когда Антуанетта села на кровать возле него, когда она обняла его и он прильнул к ней, когда он ощутил губами ее нежную щеку и ее руки, закоченевшие после целой ночи, проведенной в поезде, когда он наконец убедился, что это она, его сестричка, его девочка,— он заплакал. Он остался все тем же «Фонтанчиком», каким был в детстве, и не умел иначе выражать свои чувства. Он прижимал сестру к себе, боясь, что она опять ускользнет от него. Как они изменились оба! Какой у них был болезненный вид! Все равно! Они снова вместе, и все

вокруг точно просияло: лазарет, лицей, пасмурный день,— они обрели друг друга и теперь уж не расстанутся никогда. Прежде чем она успела сказать хоть слово, он взял с нее клятву, что она больше не уедет. Ему незачем было брать с нее клятву — нет, она больше не уедет, они слишком страдали вдали друг от друга; покойная мать была права: все лучше, чем разлука. Даже нужда, даже смерть, только бы быть вместе.

Они поспешили снять квартиру. Им хотелось вернуться в прежнюю, хотя она была очень неприглядной, но ее уже заняли. Новая квартира тоже выходила окнами во двор, однако поверх стены виднелась макушка чахлой акации, и оба, брат и сестра, сразу же полюбили эту вестницу полей, заточенную, как и они, в каменной тюрьме. Здоровье Оливье быстро восстановилось,— вернее, то, что для него считалось здоровьем: у другого, более крепкого, человека такое состояние назвали бы болезнью. Как ни тягостно было для Антуанетты пребывание в Германии, оно позволило ей скопить немного денег. Кроме того, она получила какие-то крохи за перевод немецкой книги, которую удалось пристроить в одном издательстве. Денежные заботы были на время устранены, и все складывалось отлично, только бы Оливье в конце года выдержал приемные экзамены. А вдруг он не выдержит?

Едва радость совместной жизни вошла в привычку, страх перед экзаменами снова навис над ними. Они старались не говорить на эту тему и все-таки без конца возвращались к ней. Мысль об экзаменах неотступно преследовала их, даже когда они пытались развлечься: она вдруг выплывала в концерте, посреди какой-нибудь пьесы; стоило им проснуться ночью, как она разверзалась в их сознании, точно бездна. Оливье не только страстно желал облегчить сестре бремя жизни, доказать, что она не напрасно пожертвовала ему своей молодостью,— он еще безумно боялся военной службы, которой ему не миновать, если он провалится (в те времена поступление в высшую школу освобождало от воинской повинности). С чувством непреодолимой гадливости думал он о тесном физическом и моральном общении невесть с кем, о постепенном отупении — неизбежном следствии жизни в казарме, как ему, справедливо или несправедливо, казалось. Все, что было в его натуре аристократического и девственного, восставало против этой перспективы — временами сама смерть представлялась ему лучшим выходом. Можно осмеивать и даже бичевать такого рода чувства во имя общественной морали, возведенной нашим веком в религию, но было бы слепотой не понять, какие глубокие страдания причи-

няет потеря внутреннего одиночества во имя равенства, чересчур широко и грубо понимаемого в наши дни.

Снова начались экзамены. Оливье едва не пропустил их: он плохо себя чувствовал и так боялся волнений, через которые ему предстояло пройти, все равно, примут его или нет, что даже желал заболеть по-настоящему. На этот раз сочинение он написал неплохо. Но мучительно было ждать, пока выяснится, допущен ли он к дальнейшим экзаменам. Согласно обычаям, установившимся с незапамятных времен в стране Революции — самой косной стране на свете, экзамены происходили в июле, в самое жаркое время года; казалось, это делается нарочно, с целью доконать несчастную молодежь, и без того замученную чудовищной программой вступительных экзаменов, из которой сами судьи не знали и десятой доли. Заключения по письменной работе давались на следующий день после праздника 14 июля, сопровождаемого народными гуляниями и шумным весельем, которое так тягостно для тех, кому совсем не весело и хочется тишины. На соседней площади были построены балаганы; с утра до поздней ночи щелкали выстрелы в тире, ревела паровая карусель с деревянными лошадками, завывала шарманка. И этот дикий грохот длился целую неделю: президент республики — популярности ради — накинул горланам еще три свободных дня. Ему это ничего не стоило — он-то их не слышал. Но Оливье и Антуанетта совсем извелись: неистовый шум сверлил им мозг, они закрывали окна и сидели без воздуха в душных комнатах, затыкали уши, чтобы избавиться от назойливых, въедливых, пошленьких уличных песенок, которые с утра до ночи раздирали слух и точно молотом долбили голову.

Устные экзамены начинаются почти сразу же после того, как объявлены результаты письменных. Оливье упросил Антуанетту не присутствовать на них. Она ждала у двери и дрожала больше, чем он сам. А он, разумеется, не говорил, что доволен своими ответами. Он изводил сестру, жалея о том, что́ сказал или чего не сказал.

Настал решающий день. Списки принятых вывешивали во дворе Сорбонны. Антуанетта не пустила Оливье одного. Выходя из дому, каждый из них подумал про себя, что, вернувшись, они уже будут *знать* и, возможно, пожалеют об этих минутах томительного ожидания, когда у них оставалась хотя бы надежда. Но вот они увидели купол Сорбонны, и ноги у них подкосились. Антуанетта, обычно такая храбрая, сказала брату:

— Ради бога, не беги так...

Оливье посмотрел на сестру — она силилась улыбнуться.

— Давай посидим минутку,— предложил он.

Он рад был бы не идти дальше. Но не успели они опуститься на скамейку, как Антуанетта сжала его руку и сказала:

— Ничего, мой мальчик, идем.

Им не сразу попался на глаза нужный список. Они просмотрели несколько, где имени Жанена не было. Увидев наконец его, они даже не поняли сперва: читали, перечитывали и все не могли поверить. А когда убедились, что это правда, что Жанен и Оливье — одно лицо, что Жанен принят, они, не вымолвив ни слова, бросились домой. Антуанетта схватила брата под руку, крепко стиснула его пальцы, а он оперся на нее. Всю дорогу они почти бежали, ничего не видя вокруг; когда они переходили бульвар, их чуть не раздавил экипаж.

«Милый мой!..— Милая моя!..» — твердили они.

Они поднялись по лестнице, перескакивая через несколько ступенек. Очутившись у себя, они бросились друг другу в объятия. Антуанетта взяла брата за руку и подвела его к портретам отца и матери, которые висели у ее кровати, в уголке, превращенном в некое святилище; опустившись на колени, брат и сестра помолились и поплакали потихоньку.

Антуанетта велела принести из ресторана праздничный обед, но оба не притронулись ни к чему — им не хотелось есть. Весь вечер Оливье просидел у ног сестры или у нее на коленях, а она ласкала его, как малого ребенка. Они почти не разговаривали. У них даже не хватало сил чувствовать себя счастливыми — оба были совершенно разбиты. Они легли в девять часов и заснули крепким сном.

На следующий день у Антуанетты страшно болела голова, но с сердца свалилась такая тяжесть! Оливье впервые почувствовал, что дышит полной грудью. Он был спасен. Антуанетта спасла его, она выполнила свою задачу, а он оправдал надежды, которые сестра на него возлагала! Впервые за долгие-долгие годы они позволили себе понежиться. До полудня они пролежали в постели, переговариваясь через открытую дверь; они видели друг друга в зеркале, видели, какие у них счастливые и отекшие от усталости лица; они улыбались друг другу, посылали воздушные поцелуи, снова дремали, и тот, кто просыпался, смотрел, как спит другой,— оба такие измученные, обессилевшие, что и переговариваться могли только нежными возгласами.

Антуанетта не переставая копила понемножку про черный день и по грошам собрала небольшую сумму. Она скрыла от брата, какой готовит ему подарок, и на следующий день после того, как он был принят в Высшую Нормальную школу, объявила, что в награду за годы тяжких трудов они вдвоем проведут месяц в Швейцарии. Теперь, когда Оливье было обеспечено трехгодичное пребывание в Нормальной школе на казенный счет, а по окончании курса — приличное место, они могли пороскошествовать и потратить все свои сбережения. Оливье встретил это известие восторженными возгласами. Антуанетта радовалась еще больше, чем он, радовалась его радости и тому, что наконец-то увидит природу, о которой так стосковалась.

Приготовления к поездке были делом сложным, но вместе с тем доставляли много удовольствия. Брат и сестра собрались только к концу августа. Оба не привыкли путешествовать. Оливье не спал всю ночь накануне отъезда и всю ночь в вагоне, а до того весь день боялся опоздать на поезд. Они лихорадочно спешили, их затолкали на вокзале и запихнули в купе второго класса, где даже не на что было облокотиться, чтобы вздремнуть (французские железнодорожные компании, учреждения в высшей степени демократические, ухитряются лишать этого удобства небогатых пассажиров, дабы богатым особенно приятно было сознавать, что комфортом пользуются они одни). Оливье ни на минуту не сомкнул глаз: он все еще сомневался, в тот ли поезд они сели, и проверял название каждой станции. Антуанетта дремала, то и дело просыпаясь: голова у нее качалась от толчков вагона. Оливье смотрел на нее при свете траурной лампады, мерцающей под сводом этих движущихся склепов, и был поражен болезненной переменой в ее чертах. Глаза ввалились, по-детски нежный рот был приоткрыт от усталости. Цвет лица принял желтоватый оттенок, щеки были тронуты мелкими морщинками — печатью горестных дней, утрат и разочарований. Она казалась постаревшей, измученной. И в самом деле, она так устала! Ей очень хотелось отложить отъезд, но она побоялась испортить брату удовольствие и уговорила себя, что она не больна, а просто переутомилась и на лоне природы это пройдет. Ах, как она боялась расхвораться в дороге! Она почувствовала, что брат смотрит на нее, и, с трудом стряхнув с себя мучительную сонливость, открыла глаза; глаза эти, всегда такие юные, светлые и ясные, теперь туманила невольная тревога, как облачко — невозмутимую гладь пруда. Оливье шепотом, с нежной заботой

спросил ее, как она себя чувствует; она пожала ему руку и уверила, что отлично. Слово теплого участия оживило ее.

Впрочем, едва над белесой равниной между Долем и Понтарлье зарделась заря, как внимание их было отвлечено: зрелище просыпающихся полей, веселого солнышка, которое встает над землей, подобно им вырвавшись из плена пыльных парижских улиц, домов, липкого, продымленного воздуха; волнующиеся под утренним ветерком луга, окутанные легкой молочно-белой дымкой собственного дыхания, все мелочи придорожного пейзажа — деревенская колоколенка, ленточка ручейка, зыбкая голубоватая гряда холмов на горизонте; слабый и трогательный звон колокола, зовущего к утренней молитве,— ветер донес его издалека во время остановки посреди сонной равнины; силуэты коров, застывших в задумчивости на железнодорожной насыпи,— все, все занимало Антуанетту и Оливье, все казалось им невиданным и новым. Они были похожи на два засохших деревца, с упоением пьющих небесную влагу.

А утром — швейцарская граница, где надо было выходить. Маленькая станция в открытом поле. От бессонной ночи немножко мутило, от предутренней сырости пробирал озноб, но погода была тихая, небо ясное, сочный запах лугов, словно родниковая струя, освежал рот, язык, проникал в горло, в грудь; и все пассажиры, стоя вокруг стола, прямо под открытым небом, пили горячий бодрящий кофе с густым, как сливки, чудесным молоком, вкусно пахнущим травой и полевыми цветами.

Затем они пересели в швейцарский вагон и по-детски забавлялись, разглядывая его непривычное устройство. Но Антуанетта чувствовала ужасную слабость! Она не могла понять, что с нею происходит. Она видит, что все кругом так красиво, так ново, а не может ничему радоваться по-настоящему. Почему это? Ведь сбылось все, о чем она мечтала годами: они путешествуют вдвоем с братом, заботы о будущем отошли прочь, вокруг милая ее сердцу природа... Что же с нею? Она корила себя, старалась восхищаться, силилась делить простодушную радость Оливье.

Они остановились в Туне и должны были на следующий день ехать дальше, в горы. Однако ночью в гостинице у Антуанетты сделался сильный жар с рвотой и головной болью. Оливье сразу растерялся и всю ночь сходил с ума от тревоги. Утром пришлось вызвать врача (лишний и непредвиденный расход, довольно чувствительный для их скудных средств).

Врач нашел, что непосредственной опасности нет, но вообще организм совершенно подорван переутомлением. О том, чтобы немедленно продолжать путь, не могло быть и речи. Доктор велел Антуанетте лежать весь день и намекнул, что им, пожалуй, придется задержаться в Туне. Они были очень огорчены и в то же время обрадованы, что ночные страхи не оправдались и все обошлось сравнительно благополучно. Однако обидно было совершить такой длинный путь и потом сидеть взаперти в скверном гостиничном номере, где солнце пекло, как в теплице. Антуанетта отправила Оливье погулять. Он вышел из гостиницы, увидел одетый в пышную зелень Аар, а вдали — парящую в небе белую вершину и был настолько потрясен и восхищен, что не мог один пережить свое восхищение. Он бросился назад, в гостиницу, взволнованно рассказал сестре о том, что видел; когда же она удивилась, что он так скоро вернулся, и потребовала, чтобы он снова шел гулять, он ответил, как в тот раз, когда вернулся с концерта в «Шатле»:

— Нет, нет, это слишком прекрасно; мне тяжело смотреть на такую красоту без тебя.

Это ощущение было им уже не внове — они давно знали, что только вдвоем могут пережить всю полноту чувств. Но приятно лишний раз услышать подтверждение этого. Слова брата принесли Антуанетте больше пользы, чем любые лекарства. Она улыбалась теперь в радостной истоме и, спокойно проспав ночь, решила: пусть это не очень благоразумно, но они улизнут рано утром, не дожидаясь доктора, который, чего доброго, еще задержит их. Чистый воздух и удовольствие от того, что они вместе видят столько прекрасного, подкрепили Антуанетту, и ей не пришлось расплачиваться за свою неосторожность; теперь уже они без всяких помех достигли цели своего путешествия — горной деревушки, расположенной над озером, неподалеку от Шпица.

Там, в маленькой гостинице, они провели около месяца. У Антуанетты больше не было ни одного приступа лихорадки, но она никак не могла вполне оправиться и постоянно ощущала мучительную тяжесть в голове — какое-то неопределенное недомогание.

Оливье часто спрашивал, как она себя чувствует,— ему казалось, что сестра все еще слишком бледна, но он был упоен окружающей красотой, инстинктивно старался отмахнуться от печальных мыслей, и потому, когда Антуанетта уверяла, что она вполне здорова, он силился верить этому, хотя и знал, что это неправда. Впрочем, Антуанетта от всей души наслажда-

лась восторгами брата, воздухом и, главное, покоем. Какое блаженство отдохнуть наконец после этих страшных лет!

Оливье пытался брать ее с собой на дальние прогулки; она и сама рада была принять в них участие, несколько раз храбро отправлялась в поход и принуждена была через двадцать минут остановиться, запыхавшись, с отчаянным сердцебиением. Ему поневоле приходилось одному совершать экскурсии — это были вполне безопасные восхождения, но Антуанетта места себе не находила, пока он не возвращался. Иногда они вместе делали небольшие прогулки; она шла не спеша, опираясь на его руку, и они беседовали,— он в особенности стал очень разговорчив: смеялся, строил планы на будущее, рассказывал забавные истории. Дойдя до половины подъема, они останавливались и смотрели, как белые облака отражаются в зеркале озера, как плавают по нему лодки, точно насекомые по поверхности большой лужи; они упивались мягким воздухом, звонкими колокольчиками ближнего стада, музыку которых ветер порывами доносил до них вместе с запахом скошенного сена и разогретой смолы. Они грезили вслух о прошлом, о будущем и о настоящем, которое казалось им самой сказочной и пленительной из всех грез. Временами Антуанетта заражалась детской веселостью брата — тогда они бегали вперегонки, бросали друг в друга пучками травы. Однажды он услышал, что она снова смеется, как прежде, как в детстве,— смеется неудержимым ребяческим смехом, беспечным, чистым, точно ручеек, тем смехом, какого он не слыхал уже много лет.

Но чаще Оливье соблазнялся дальними прогулками. Потом его немножко мучила совесть, а впоследствии он, вероятно, укорял себя, что недостаточно насладился радостью задушевных бесед с сестрой. Даже оставаясь в гостинице, он нередко бросал ее одну. Там собрался небольшой кружок юношей и девушек, от которого оба они вначале держались в стороне. Оливье пугало и привлекало их общество, и в конце концов он примкнул к ним. У него никогда не было друзей; кроме сестры, он знал только товарищей по лицею — грубых мальчишек, да их любовниц, внушавших ему омерзение. Ему было очень приятно очутиться в компании своих сверстников, хорошо воспитанных, приветливых и веселых. Хотя он был настоящим дичком, его простодушное любопытство и нежную целомудренно-чувственную душу неудержимо влекли огоньки, играющие и мерцающие в девичьих глазах. Несмотря на свою застенчивость, сам он тоже нравился. Невинная жажда любить и быть любимым придавала ему неподдельное юношеское

обаяние, внушала нужные слова, жесты, учила милому ухаживанию, особенно привлекательному своей неловкостью. У него была способность чаровать окружающих. Хотя умом, приобретшим в одиночестве весьма иронический уклон, он сознавал всю пошлость, все недостатки людей, зачастую претившие ему, стоило ему непосредственно столкнуться с кем-нибудь, как он видел только глаза — глаза живого существа, которое рано или поздно умрет, которое, как и он, получило в дар одну лишь жизнь и, подобно ему, скоро утратит ее; тогда в нем пробуждалась невольная симпатия: ни за что на свете не согласился бы он огорчить того, с кем общался в данную минуту, и помимо воли становился необычайно приветлив. Он был слаб по натуре и тем самым создан, чтобы нравиться «свету», прощающему все пороки и даже все добродетели, кроме одной — силы, без которой все остальные ничто.

Антуанетта сторонилась компании своих сверстников. Расшатанное здоровье, усталость, беспричинно-угнетенное состояние — все это, вместе взятое, сковывало ее. За долгие годы забот и непосильного труда, изнуряющего тело и душу, они с братом поменялись ролями — теперь она была далека от мира, бесконечно далека... И стать прежней уже не могла; вся эта болтовня, шум, смех, пустячные интересы были ей скучны, утомительны, почти что оскорбляли ее. Она сама страдала от этого, ей хотелось быть похожей на других девушек, волноваться тем, что волновало их, смеяться тому, чему они смеялись. Но это было уже недоступно ей! Сердце у нее сжималось, ей казалось, что она мертва. Вечера она просиживала взаперти у себя в комнате и часто даже не зажигала огня; так она сидела в темноте, пока Оливье проводил время внизу, в гостиной, поглощенный очередной романтической влюбленностью. Она стряхивала с себя оцепенение, только когда слышала, что он поднимается по лестнице, болтая и смеясь со своими приятельницами, подолгу прощается у их дверей и все не может расстаться с ними. Тогда Антуанетта улыбалась в темноте и спешила зажечь электричество. Смех брата вселял в нее жизнь.

Наступила настоящая осень. Солнце скупо грело землю. Природа увядала. Под плотными, точно ватными, октябрьскими облаками краски потускнели, горы окутались снегом, а равнина — туманами. Туристы стали уезжать сперва поодиночке, а потом целыми пачками. Грустно было расставаться с приятелями и даже с посторонними, а грустнее всего — с летней порой, с месяцем счастья и покоя — единственным оазисом в их жизни. Серым осенним днем Оливье и Антуа-

нетта пошли в последний раз погулять по лесу, по горному склону. Они не разговаривали, они грустили, мечтали, держа друг друга за руку, и зябко жались друг к другу, кутаясь в пальто, подняв воротники. Отсыревший лес безмолвствовал и плакал в тишине. Из чащи доносился слабый и жалобный писк птицы, чувствовавшей приближение зимы. Колокольчик дальнего стада звенел в тумане чуть слышно, замирая, и казалось, будто его хрустальный звон отдается у них в груди.

Они вернулись в Париж. Оба были печальны. Здоровье Антуанетты не восстановилось.

Нужно было заняться гардеробом Оливье, необходимым при поступлении в Нормальную школу. Антуанетта потратила на это последние сбережения и даже продала тайком кое-что из драгоценностей. Какая важность! Ведь он все вернет ей со временем. И потом, без него ей так мало надо! Она старалась не задумываться над тем, как пойдет ее жизнь без Оливье,— она была поглощена приготовлением нужных ему вещей, вкладывала в эту работу всю свою страстную любовь к брату, предчувствуя, что больше ей уж ничего не придется сделать для него.

Последние дни, которые им оставалось пробыть вместе, они были неразлучны, боялись потерять хотя бы мгновение. В последний вечер они поздно засиделись у камина: Антуанетта — в единственном их кресле, Оливье — на скамеечке у ее ног, ласкаясь к ней по старой привычке балованного ребенка. Он был озабочен и в то же время увлечен перспективой новой жизни. Антуанетта не переставала думать все о том же — что пришел конец их милому уединению, и с ужасом спрашивала себя, как ей жить дальше. А он, словно нарочно, чтобы сделать ей еще больнее, в этот последний вечер был особенно нежен и с присущим людям его породы невольным и невинным кокетством как бы старался проявить на прощание свои самые лучшие, самые пленительные качества. Он сел к пианино и долго играл ей любимые ими обоими страницы из Моцарта и Глюка — с этими картинами умиленного счастья и светлой грусти столько было связано в их прошлом.

Настал час разлуки, и Антуанетта проводила Оливье до подъезда Школы. Потом вернулась домой. Снова она была одна. Но, в отличие от ее пребывания в Германии, на этот раз она не могла положить конец разлуке, когда ей станет уж очень невмоготу. Теперь дома осталась она, а ушел он, и ушел

надолго, на всю жизнь. Однако в своей материнской любви она в первые минуты думала больше о нем, чем о себе: ее беспокоило, как сложится поначалу эта новая для него жизнь с придирками к новичкам и с мелкими неприятностями, которые могут быть ничтожны по существу, но принимают грозные размеры в воображении того, кто живет одиноко и привык болеть душой за близких. Тревога была для нее даже благодетельна — она заполняла одиночество. Антуанетта уже мечтала о том, как завтра на полчасика встретится с братом в приемной. Она пришла за четверть часа до срока. Он был с ней очень ласков, но всецело поглощен и увлечен своими впечатлениями.

В последующие дни она по-прежнему была полна заботливой нежности, и разница между тем, что значили эти минуты свидания для него и для нее, сказывалась все сильнее. Для нее в этом заключалась теперь вся жизнь. А он — он, разумеется, нежно любил Антуанетту, но нельзя было требовать, чтобы он думал только о ней, как она думала о нем. Раз или два он вышел в приемную с опозданием. В другой раз на ее вопрос, не тоскует ли он, Оливье ответил, что нет. Все эти мелкие уколы больно ранили сердце Антуанетты. Она укоряла себя за такие чувства, винила себя в эгоизме: она отлично понимала, как было бы нелепо, вредно и даже противоестественно, чтобы он не мог обойтись без нее, а она без него, чтобы она не видела в жизни никого и ничего, кроме брата. Да, она все это знала, но что проку в этом знании? Ее ли вина, что в течение десяти лет вся жизнь ее была сосредоточена на мысли об Оливье? Теперь же, когда этот единственный интерес был отнят, у нее не осталось ровно ничего.

Она мужественно пыталась вернуться к обычным занятиям, к чтению, к музыке, к любимым книгам... Господи! Как без него были пусты Бетховен и Шекспир! Да, конечно, это прекрасно... Но Оливье нет с нею. К чему вся красота, если нельзя на нее смотреть глазами того, кого любишь? Что делать с красотой и даже со счастьем, если нельзя наслаждаться ими вместе с любимым?

Будь у нее больше сил, она постаралась бы заново перестроить свою жизнь, найти себе другую цель. Но она дошла до предела. Теперь, когда уже не было причины крепиться, чего бы это ей ни стоило, нервы, напряженные свыше всякой меры, сдали: она свалилась. Гнездившаяся в ней болезнь, которой больше года она не давала воли, теперь завладела ею.

По целым вечерам Антуанетта томилась одна у потухшего камина: она не могла заставить себя снова развести огонь, не

могла собраться с духом и лечь в постель; она сидела до поздней ночи, временами забывалась, грезила, дрожала в ознобе. Она мысленно вновь переживала всю свою жизнь, она вновь была с дорогими покойниками, со своими разбитыми мечтами, и ей становилось нестерпимо жаль утраченной молодости — без любви, без надежды на любовь. Это была глухая боль, смутная, затаенная... Смех ребенка на улице, неуверенные детские шажки этажом ниже... Топот детских ножек болью отдавался в ее сердце. В ней поднимались сомнения, дурные мысли: город себялюбия и наслаждений дохнул своей нравственной заразой в ее ослабевшую душу. Она стыдилась этих желаний и сожалений; она не понимала себя и приписывала свои страдания дурным наклонностям. Снедаемая таинственным недугом, бедная маленькая Офелия с ужасом чувствовала, как из недр ее существа поднимается мутная волна самых грубых и низменных инстинктов жизни. Она перестала работать, отказалась от большей части уроков. Прежде она бодро вскакивала рано утром, а теперь, случалось, оставалась в постели до полудня: ей не к чему было вставать, не к чему было ложиться; ела она кое-как, а то и вовсе не ела. Только в те дни, когда брат бывал свободен — в четверг после обеда и в воскресенье с утра,— она брала себя в руки и при нем старалась быть прежней.

Он ничего не замечал. Его слишком занимала или отвлекала новая жизнь, чтобы он мог пристальнее наблюдать за сестрой. Для него настала та пора молодости, когда с трудом отдаешь другому даже крохи чувства, когда с виду становишься равнодушен к тому, что трогало прежде и будет глубоко волновать впоследствии. Иногда может показаться, что люди более зрелые живее воспринимают впечатления и простодушнее радуются природе и жизни, чем двадцатилетние юноши. Тогда обычно говорят, что молодежь пресыщена и стара душой. Это по большей части неверно. Молодые люди могут показаться бесчувственными не потому, что они пресыщены, а потому, что они поглощены страстями, честолюбивыми планами, желаниями, увлечениями. Когда же тело увядает и нечего больше ждать от жизни, вновь находится место для бескорыстных волнений, и открывается источник детских слез. Оливье был занят тысячами мелких забот, из которых самой важной было глупое увлечение (увлечения у него не переводились), до такой степени завладевшее им, что он стал слеп и равнодушен ко всему на свете. Антуанетта не знала, что происходит с братом, она видела лишь, что он отдаляется от

нее. Но виноват в этом был не только Оливье. Иногда он шел домой, радуясь, что увидит ее, поговорит с нею. Он входил и сразу же словно каменел. Она с такою лихорадочной нежностью цеплялась за него, так пила каждое слово с его губ, предупреждала малейшее его желание, что этот перебыток любви и судорожной заботливости немедленно отбивал у него всякую охоту к откровенности. Ему следовало бы заметить, что с Антуанеттой творится что-то странное. От присущей ей тактичной сдержанности не осталось и следа. Но он не задумывался над этим. На ее расспросы он отвечал сухо «да» и «нет». Чем больше она расспрашивала его, тем упорнее он замыкался в молчании или даже оскорблял ее резким ответом. Тогда она тоже умолкала, совершенно подавленная. И день проходил, пропадал зря. Но уже по дороге из дому в Нормальную школу Оливье начинал корить себя за свое поведение, а потом всю ночь терзался мыслью, что огорчил сестру. Случалось даже, что сейчас же по возвращении в Нормальную школу он садился за письмо к ней. Однако, перечитав письмо на следующее утро, рвал его. И Антуанетта ничего не знала об этом. Она думала, что он ее разлюбил.

Ей довелось еще испытать если не последнюю радость, то хотя бы последний порыв юного чувства, ожививший ее сердце,— судорожную вспышку нерастраченной силы любви, веры в счастье, веры в жизнь. Кстати сказать, то, что произошло, было так нелепо, так противоречило ее уравновешенной натуре! Объяснение происшедшему надо искать в той душевной смуте, которую она переживала, в том угнетенном и возбужденном состоянии, какое предшествует болезни.

Она была вместе с братом на концерте в «Шатле». Оливье вел отдел музыкальной критики в небольшом журнальчике, и потому они сидели на более приличных местах, чем прежде, зато публика здесь была значительно менее приятная. Они занимали откидные сиденья в первых рядах партера. Дирижировать должен был Кристоф Крафт. Ни брат, ни сестра не знали этого немецкого музыканта. Когда Антуанетта увидела его, вся кровь прилила ей к сердцу. Хотя утомленные глаза девушки различали все смутно, сквозь дымку, она сразу же, как только он вошел, узнала незнакомого друга, которого встретила в тяжкую пору своего пребывания в Германии. Она ни разу не говорила о нем брату и вряд ли даже сама вспоминала его — все ее мысли были поглощены житейскими забо-

тами. Кроме того, Антуанетта, как рассудительная юная француженка, не видела смысла в туманном чувстве, явившемся неизвестно откуда и не имевшем будущего. Целая область ее души в своих непознанных глубинах хранила немало чувств, в которых ей стыдно было бы признаться себе самой: она знала, что они кроются где-то тут, но отворачивалась от них в мистическом страхе перед тем таинственным, что ускользает из-под власти разума.

Немного успокоившись, она попросила у брата бинокль, чтобы посмотреть на Кристофа; он стоял за дирижерским пультом и был виден ей в профиль; она сразу узнала сосредоточенное и страстное выражение его лица. На Кристофе был потертый фрак, который очень ему не шел. Молча, застыв от ужаса, присутствовала она при тягостных перипетиях этого концерта, во время которого Кристоф натолкнулся на откровенное недоброжелательство публики, враждебно настроенной в тот момент к немецким музыкантам и к тому же смертельно скучавшей [1]. Когда, после исполнения симфонии, показавшейся слушателям слишком длинной, он снова появился на эстраде, чтобы сыграть несколько фортепианных пьес, его встретили насмешливыми возгласами, из которых со всей очевидностью явствовало, что публика ему отнюдь не рада. Однако он все же начал играть в атмосфере покорной скуки; но двое слушателей на галерке продолжали, как ни в чем не бывало, обмениваться вслух нелестными замечаниями, потешая весь зал. Тогда Кристоф остановился и позволил себе дерзкую, мальчишескую выходку — одним пальцем пробарабанил песенку «Мальбрук в поход собрался», после чего встал из-за рояля и крикнул публике:

— Вот что вам нужно!

Публика в первый момент не поняла, что хочет сказать музыкант, а затем разразилась дикими воплями. Поднялся невообразимый шум, слышались свистки, крики:

— Пусть извинится! Сию же минуту!

Побагровевшие от злости слушатели сами разжигали себя, пытались себя уверить, что они действительно возмущены; возможно, так оно и было, но, главное, они радовались случаю пошуметь в свое удовольствие, точно школьники на перемене после двух часов сидения в классе.

Антуанетта не могла пошевелиться. Она точно оцепенела — только пальцы ее судорожно рвали перчатку. С первых

---

[1] См. «Жан-Кристоф», кн. пятая, «Ярмарка на площади».— *Р. Р.*

же тактов симфонии она уже предвидела, что́ произойдет, она улавливала затаенную, все усиливающуюся враждебность публики, угадывала состояние Кристофа и понимала, что взрыв неминуем; с нарастающим страхом ждала она этого взрыва и напрягала всю свою волю, чтобы предотвратить его; когда же буря разразилась, все происшедшее настолько совпало с ее предчувствиями, что она была совершенно подавлена, точно свершилось нечто роковое, против чего человек бессилен. А так как она не отрывала глаз от Кристофа, который дерзко смотрел на улюлюкающую публику, то взгляды их встретились. Глаза Кристофа, возможно, на миг узнали ее, но ум его, охваченный яростным возмущением, ее не признал. (Кристоф давно перестал думать о ней.) Он ушел с эстрады под свист и шиканье.

Ей хотелось крикнуть, сказать, сделать что-нибудь, но она была скована, как в кошмарном сне. Для нее было облегчением присутствие милого, мужественного Оливье, который волновался и негодовал не меньше, чем она, конечно не подозревая, что́ творится с сестрой. Оливье был музыкант до мозга костей и обладал самостоятельным вкусом, который ничто не могло поколебать. То, что ему нравилось, он готов был отстаивать против целого мира. С самого начала симфонии он почувствовал в ней что-то значительное — такое, чего он еще не встречал в жизни.

— Как хорошо! Ах, как хорошо! — повторял он вполголоса с глубочайшим восхищением.

А сестра в приливе благодарности инстинктивно прижималась к нему. По окончании симфонии он неистово хлопал наперекор насмешливому равнодушию публики.

Когда поднялся скандал, Оливье потерял всякое самообладание: он вскочил, он кричал, что Кристоф прав, стыдил свистунов, лез в драку,— робкий юноша стал неузнаваем. Голос его терялся в шуме; его грубо обрывали, называли молокососом, отмахивались от него. Антуанетта, понимая тщету возмущения, удерживала брата за руку.

— Замолчи, прошу тебя, замолчи! — твердила она.

Он сел, совсем обескураженный, и без конца повторял:

— Стыд! Позор! Мерзавцы!

Антуанетта не говорила ни слова, она страдала молча; брат решил, что ей недоступна эта музыка, и сказал:

— Но ты-то, Антуанетта, понимаешь, как это прекрасно?

Она утвердительно кивнула, все еще не в силах сбросить

с себя оцепенение. Когда же оркестр заиграл другую вещь, она встрепенулась, вскочила и почти с ненавистью шепнула брату:

— Уйдем отсюда, мне противно видеть этих людей.

Они поспешно вышли. На улице, ведя ее под руку, Оливье без умолку говорил, кипятился. Антуанетта упорно молчала.

Весь тот день и все последующие дни, сидя одна в своей комнате, она безвольно подчинялась чувству, которому боялась дать название, но чувство это заглушало все думы, такое же настойчивое, как глухие удары пульса, до боли бившегося в висках.

Спустя несколько дней Оливье принес ей сборник Lieder Кристофа, который обнаружил в каком-то нотном магазине. Антуанетта раскрыла его наугад и на первой же странице, которая попалась ей на глаза, прочла следующее посвящение к одной из пьес, написанное по-немецки:

«Моей бедной милой жертве» —

и под этим дату и год.

Она хорошо знала эту дату. Ее охватило такое волнение, что она не могла смотреть дальше, положила сборник на пианино, попросила брата поиграть, а сама ушла к себе в комнату и притворила дверь. Оливье начал играть, отдаваясь наслаждению, какое рождала в нем эта новая музыка, и даже не заметил состояния сестры. Антуанетта, сидя в соседней комнате, старалась усмирить биение сердца. Внезапно она поднялась и стала искать в шкафу книжечку с записью расходов, чтобы сверить дату своего отъезда из Германии с той таинственной датой. Да, конечно, она знала заранее — это был день спектакля, на котором она очутилась вместе с Кристофом. Она легла на кровать, закрыла глаза и, краснея, прижимая руки к груди, стала слушать дорогую ей музыку. Сердце ее было переполнено благодарностью... Только отчего у нее так болела голова?

Удивляясь отсутствию сестры, Оливье, когда кончил играть, пошел к ней и увидел, что она лежит. Он спросил, не больна ли она. Она пробормотала что-то насчет легкого утомления и встала, чтобы немного посидеть с братом; он о чем-то говорил, а она не сразу отвечала на вопросы. Казалось, мысли ее витают где-то далеко; она улыбалась, краснела, оправдывалась сильной головной болью, от которой становишься совсем бестолковой. Наконец, Оливье ушел. Она попросила, чтобы он

оставил ей сборник Lieder, и до поздней ночи сидела одна у пианино и разбирала их — она не играла, только иногда брала одну-две ноты, еле касаясь клавиш, чтобы не потревожить соседей. А бóльшую часть времени она даже не смотрела в ноты: она мечтала и в приливе благодарности и любви тянулась к тому, кто пожалел ее, кто с чудесной прозорливостью доброты сумел разгадать ее душу. Она не могла собраться с мыслями. Ей было радостно и грустно, очень грустно. И как же у нее болела голова!

Она провела ночь в блаженных и мучительных грезах, в гнетущей тоске. Днем ей захотелось выйти погулять, немного встряхнуться. Несмотря на упорную головную боль, она, чтобы не бродить без цели, отправилась за покупками в универсальный магазин. Но делала все машинально, не думая. Не признаваясь в том самой себе, она думала только о Кристофе. Когда она вышла вместе с толпой из магазина, до смерти измученная и удрученная, на противоположном тротуаре она увидела Кристофа. И он в ту же минуту увидел ее. Тотчас необдуманным, внезапным движением она протянула к нему руки. Кристоф остановился: на этот раз он узнал ее. Вот он уже свернул на мостовую, чтобы добраться до Антуанетты, и Антуанетта устремилась ему навстречу, но беспощадный людской поток понес ее, как соломинку, а прямо перед Кристофом на скользкий асфальт упала впряженная в омнибус лошадь, затормозив двойной поток экипажей и воздвигнув непреодолимую преграду. Кристоф все-таки попытался прошмыгнуть, но застрял между экипажами и не мог двинуться ни вперед, ни назад. Когда ему удалось попасть на то место, где он увидел Антуанетту, она была уже далеко,— сперва она тщетно силилась вырваться из людского водоворота, но потом покорилась и перестала бороться. У нее было такое чувство, будто над ней тяготеет рок, мешающий ее встрече с Кристофом, а против рока восставать бесполезно. И когда она наконец выбралась из толпы, то даже не сделала попытки повернуть назад; ей стало стыдно: что она посмеет ему сказать? Что посмела сделать? Что он может подумать? И она бросилась домой.

Успокоилась она, лишь когда вошла к себе в квартиру. Но, очутившись в своей комнате, она долго сидела в темноте, у стола, не в силах снять шляпку и перчатки. Она страдала оттого, что не могла с ним поговорить, но вместе с тем ощущала всю силу недуга, точившего ее. Она без конца перебирала в памяти подробности только что происшедшей сцены,

мысленно вносила в них изменения, представляя себе, что было бы, если бы обстоятельства сложились иначе. Она вспоминала, как протянула к нему руки, как он просиял, узнав ее, и смеялась и краснела. Она краснела — и в полном одиночестве, в темноте своей комнаты, где никто не мог ее видеть, снова протягивала к нему руки. Что делать? Она не могла совладать с собой: чувствуя, что собственная ее жизнь кончается, она инстинктивно старалась ухватиться за ту полнокровную жизнь, которая встретилась на ее пути и подарила ее добрым взглядом. Сердце ее, полное страха и любви, призывало его во мраке:

«Помогите! Спасите меня!»

Она поднялась, вся дрожа, зажгла лампу, достала бумагу, перо и села писать Кристофу. Никогда эта стыдливая и гордая девушка даже не помыслила бы написать ему, если бы не была во власти болезни. Она сама не знала, что́ пишет. Она уже не владела собой. Она звала его, говорила, что любит... Посреди письма она в ужасе остановилась, хотела написать по-иному, но воодушевление иссякло, голова была пуста и горела, как в огне; слова не шли, ее одолевала усталость и мучил стыд. К чему все это? Она прекрасно понимала, что сознательно обманывает себя, что никогда не отправит этого письма. И даже если бы она решилась, все равно письмо не дошло бы по назначению. Ведь она не знает, где живет Кристоф... Бедный Кристоф! Да и чем бы он помог ей, если бы даже все узнал и пожалел ее? Поздно, поздно! Все напрасно. Это был отчаянный порыв птицы, которая, задыхаясь, бьется из последних сил. Нет, нет, надо смириться...

Еще долго сидела она у стола, погрузившись в думы, и не могла пошевелиться. Было уже за полночь, когда она поднялась, собрав все мужество. Машинально, по привычке, засунула черновики письма в одну из книг своей небольшой библиотечки — ни запечатать, ни порвать его у нее не хватило духа. Потом она легла, дрожа от озноба. Развязка близилась. Антуанетта чувствовала, что свершается воля божия...

И великий покой снизошел на нее.

В воскресенье утром Оливье, придя из школы, застал Антуанетту в постели, временами она даже бредила. Вызванный врач определил скоротечную чахотку.

За последние дни Антуанетта осознала свое состояние, поняла и причину душевного смятения, ужасавшего ее. Бед-

няжка стыдилась самой себя, и мысль, что она тут ни при чем, что виной всему болезнь, была чуть ли не облегчением. У нее достало мужества подумать обо всем, сжечь свои бумаги, оставить письмо для г-жи Натан с просьбой не покидать Оливье в первое время после ее «смерти» (ей трудно было написать это слово).

Врач ничем не мог помочь: болезнь зашла слишком далеко, а организм Антуанетты был совершенно подорван годами непосильного труда.

Антуанетта была спокойна. С той минуты, как она поняла, что положение ее безнадежно, все тревоги кончились. Она перебирала в памяти пережитые испытания, вновь и вновь повторяла себе, что цель достигнута, что дорогой ее Оливье спасен, и несказанная радость охватывала ее. Она твердила мысленно:

«Это дело моих рук!»

И тут же укоряла себя в гордыне:

«Одна я ничего бы не сделала. Господь помог мне».

И она возносила хвалу господу за то, что он не дал ей уйти из жизни, пока она не выполнила своего долга. Правда, ей было больно уходить именно сейчас, но жаловаться она не смела — это значило бы проявить неблагодарность, ведь господь мог раньше призвать ее к себе. А что, если бы ее не стало год назад? Она вздыхала и с благодарностью смирялась.

Хотя ей было очень тяжко, она совсем не жаловалась — только в минуты забытья тихонько плакала, как малый ребенок. На все и всех вокруг она смотрела с улыбкой покорности. Видеть Оливье было для нее неисчерпаемой радостью. Она звала его, беззвучно шевеля губами; ей хотелось, чтобы голова его покоилась на подушке возле нее, и она подолгу молча смотрела ему в глаза. Потом приподнималась, обхватывала его голову руками и шептала:

— Ах, Оливье!.. Оливье!..

Она сняла с шеи образок, который носила постоянно, и надела его на шею брату. Она поручала своего бесценного Оливье доктору, духовнику — словом, всем... Чувствовалось, что отныне она живет только в нем, что на пороге смерти его жизнь для нее — спасительный островок. Минутами она бывала словно опьянена мистическим восторгом любви и веры, уже не ощущала своего недуга, и скорбь претворялась для нее в радость — поистине неземную радость, сиявшую на ее устах, в ее глазах.

— Я так счастлива...— повторяла она.

Надвигалось забытье. В последние минуты ясного сознания губы ее зашевелились, она что-то шептала. Оливье подошел и склонился над ее изголовьем. Она узнала его и слабо ему улыбнулась; губы ее все еще шевелились, а глаза были полны слез. Невозможно было понять, что́ она говорит. Но Оливье уловил в конце концов слабые, как вздох, слова старой и милой песни, которую оба они так любили и которую она столько раз пела ему: «I will come again, my sweet and bonny, I will come again» («Я вновь приду к тебе, любимый, я вновь приду к тебе»).

Потом она снова впала в забытье и тихо отошла.

Сама того не подозревая, Антуанетта внушала глубокую симпатию многим людям, с которыми совсем не была знакома, например — соседям по дому, хотя она не имела понятия, как их зовут. Посторонние лица выражали сочувствие Оливье. На похоронах Антуанетты не было так уныло и безлюдно, как на похоронах ее матери. Друзья, приятели брата, те семьи, где она давала уроки, люди, мимо которых она молча шла своим путем, ни слова не говоря о себе, и которые ни слова не говорили ей, но втайне восхищались ее самоотверженностью, даже бедные труженики: женщина, помогавшая ей по хозяйству, мелкие торговцы их квартала — все пришли проводить ее на кладбище. Г-жа Натан в первый же вечер после смерти Антуанетты забрала Оливье к себе, силой оторвала от его горя.

Пожалуй, это был единственный момент в его жизни, когда он все же мог перенести такой удар, когда он не вправе был целиком отдаться отчаянию. Он только что начал новую жизнь, вошел в определенный круг и помимо воли был захвачен общим потоком. Учебные занятия и заботы, напряженная умственная жизнь, борьба за существование, экзамены — все это не давало ему замкнуться в себе, он не мог уединиться. Он страдал от этого, но в этом и оказалось его спасение. Годом раньше или несколько лет спустя Оливье бы погиб.

Теперь же он, насколько мог, ушел в воспоминания о сестре. К его огорчению, сохранить квартиру, где они жили вместе, не удалось: не хватило денег. Он надеялся, что люди, с виду чуткие и сострадательные, поймут, как ему больно расстаться с тем, что принадлежало ей. Но эта надежда не оправдалась. Тогда он собрал немного денег — частично взял взаймы, частично подработал уроками — и снял мансарду, куда свез все, что поместилось там из вещей сестры: ее кро-

вать, стол, кресло и создал себе храм воспоминаний об ушедшей. Туда он приходил искать прибежища, когда ему бывало особенно тяжело. Товарищи думали, что Оливье завел интрижку. А он часами просиживал один, положив голову на руки, и думал об Антуанетте. К несчастью, у него не осталось ни одного ее портрета, кроме маленькой фотографии, где они были сняты вдвоем еще детьми. Он говорил с ней, плакал... Где она теперь? Ах, будь она хоть на краю света, в самом недосягаемом уголке земного шара,— с каким восторгом, с каким несокрушимым рвением бросился бы он искать ее, претерпел бы любые страдания, шел бы босой, шел годами, столетиями, лишь бы каждый шаг приближал его к ней! Пусть бы у него теплилась хоть слабая надежда добраться до нее. Но нет... Ее не было нигде. И не было средства когда-нибудь обрести ее... Какое беспросветное одиночество! Каким безоружным, подетски неопытным оказался он теперь перед лицом жизни, когда не стало ее, умевшей любить, направлять, утешать... Тот, кому выпало счастье познать однажды полную, неограниченную близость родной души, тот познал самую совершенную радость — радость, которая делает человека несчастным до конца его дней...

Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria...[1]

Худшее горе для слабых и нежных душ — познать и утратить великое счастье.

Но, как ни горько терять на заре жизни тех, кого любишь, все же в ту пору это менее страшно, чем позднее, когда источники жизни уже иссякли. Оливье был молод, и, наперекор его врожденному пессимизму, наперекор постигшему его несчастью, у него была потребность жить. Казалось, будто Антуанетта, умирая, вдохнула в брата частицу своей души. По крайней мере, он сам в это верил. Не будучи религиозным, подобно ей, он бессознательно внушал себе, что сестра не умерла совсем, что она, как обещала ему, живет в нем. По бретонскому поверью, люди, умирающие молодыми, не умирают: они продолжают витать в тех местах, где жили когда-то, пока не завершат положенного им срока бытия. Так и Антуанетта продолжала жить подле Оливье.

Он читал и перечитывал оставшиеся от нее бумаги. К несчастью, она почти все сожгла. Впрочем, она не принадле-

---

[1] Нет большей скорби, чем вспоминать о днях блаженных во дни несчастий... *(итал.)*

жала к тем женщинам, которые ведут запись своих душевных переживаний. Она постыдилась бы обнажать свою мысль. У нее была только записная книжечка с пометками, почти невразумительными для посторонних: она записывала туда, без всяких пояснений, некоторые даты, мелкие происшествия повседневной жизни, послужившие поводом для радости или тревоги: ей не нужно было подробно излагать их, чтобы пережить заново. Почти все эти записи были связаны с какими-нибудь событиями в жизни Оливье. Она сохранила все до единого полученные от него письма. Он, к сожалению, оказался не так внимателен и растерял почти все ее письма. На что ему было беречь их? Он думал, что сестра всегда будет возле него, ему казалось, что этот чудесный источник нежности неистощим и всегда будет освежать его уста и душу; он неосмотрительно расточал любовь, которую пил из этого источника, а теперь рад был бы собрать все до последней капельки. Какое волнение охватило его, когда, просматривая сборник стихов из библиотечки Антуанетты, он увидел слова, написанные карандашом на клочке бумаги:

«Оливье, дорогой мой Оливье!»

Он едва не лишился чувств. Рыдая, припал он губами к незримым устам, взывавшим к нему из могилы. После этого случая он стал перелистывать ее книги в надежде найти еще какое-нибудь признание. Так ему попался черновик письма к Кристофу и открылась зарождавшаяся в ней, никому не ведомая любовь; он впервые заглянул в ее личную жизнь, которую не знал до тех пор и не старался узнать; он мысленно пережил те последние дни, когда, покинутая им, она в смятении своем протягивала руки к неведомому другу. Она ни разу не говорила ему, что видела Кристофа раньше. А из письма явствовало, что они встретились еще в Германии, что Кристоф оказал Антуанетте дружескую услугу при обстоятельствах, о которых не говорилось подробно, и что чувство ее возникло еще тогда, но она до конца сохранила его в тайне.

Оливье уже успел полюбить Кристофа за красоту его искусства, а теперь музыкант сразу стал ему несказанно дорог. Его любила Антуанетта, и Оливье казалось, что сам он в Кристофе любит Антуанетту. Он решил во что бы то ни стало встретиться с ним. Но напасть на его след оказалось нелегко.

После своей неудачи Кристоф затерялся где-то в необъятном Париже; он отгородился от всех, и никто больше не интересовался им. Только спустя несколько месяцев Оливье случайно встретил его на улице — бледного, исхудалого, едва

оправившегося от болезни. Но у юноши не хватило духа остановить его. Он шел за Кристофом до самого его дома и решил написать ему, но так и не отважился. О чем писать? Ведь Оливье был не один, с ним была Антуанетта, ее любовь, ее стыдливость перешли к нему. От сознания, что сестра любила Кристофа, Оливье краснел перед Кристофом, как краснела бы она сама. А между тем до чего же ему хотелось поговорить с Кристофом о ней! Но он не смел — ее тайна сковывала ему уста.

Он искал встречи с Кристофом, бывал всюду, где, по его соображениям, мог бывать Кристоф. Он жаждал пожать ему руку. Но, едва увидев Кристофа, спешил скрыться, чтобы тот не увидел его.

Наконец они столкнулись в гостиной у общих друзей. Оливье держался в стороне, не говорил ни слова, только смотрел на Кристофа. Должно быть, в тот вечер дух Антуанетты реял возле брата, потому что ее увидел Кристоф во взгляде Оливье, и ее образ, внезапно возникший перед ним, заставил его устремиться через всю гостиную к этому неведомому вестнику, который, подобно юному Гермесу, принес ему скорбный привет от блаженной тени.

# КНИГА СЕДЬМАЯ

## В ДОМЕ

ПЕРЕВОД В. СТАНЕВИЧ

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

### К ДРУЗЬЯМ ЖАН-КРИСТОФА

Я привык так часто в течение многих лет мысленно беседовать с моими друзьями, знакомыми и незнакомыми, что сегодня мне хочется побеседовать с ними вслух. Я столь многим им обязан, что счел бы себя неблагодарным, если бы не выразил им здесь своей признательности. С тех пор как я начал писать эту долгую повесть о Жан-Кристофе, я не переставал чувствовать, что пишу для них и они — рядом. Они ободряли меня, терпеливо следовали за мной, согревали мне сердце своим сочувствием. Если я и сделал для них что-нибудь хорошее, то они дали мне неизмеримо больше. Мой труд — это плод тех мыслей, которые рождались у нас сообща.

Когда я начинал, я думал, что нас будет лишь горсточка друзей; я никогда не надеялся, что их соберется больше, чем в доме у Сократа. Но с годами я чувствовал все сильнее, что мы действительно братья и любим одно,— где бы мы ни были: в провинции или в Париже, во Франции или за ее рубежами, страдаем ли мы или радуемся. Я убедился в этом, когда вышел в свет тот том цикла, где Кристоф, так же как и я, следуя велениям совести, заклеймил Ярмарку на площади. Ни одна моя книга не вызвала столь непосредственного отзвука. Да и не удивительно: моими устами говорили и мои друзья. Они знают, что Кристоф — и их достояние, а не только мое. В нем живет и их и моя душа.

* * *

Так как Кристоф принадлежит моим читателям, то я обязан дать им некоторые разъяснения по поводу тома, который сейчас им предлагаю. Так же как и в «Ярмарке на площади», они не найдут здесь романических приключений, и им может показаться, что течение жизни моего героя прервано.

Необходимо изложить обстоятельства, при которых я начал этот цикл.

Я был одинок. Как многие и многие во Франции, я задыхался в морально враждебном мне мире; я хотел дышать, я стремился бороться с этой нездоровой цивилизацией, с этим растленным мировоззрением людей, которые считались «избранными» и которым мне хотелось сказать: «Вы лжете, вы не представляете собой Францию».

Для этой цели мне требовался герой с чистыми глазами и сердцем, у которого была бы душа достаточно возвышенная, чтобы он имел право говорить, и голос достаточно сильный, чтобы заставить себя слушать. Я терпеливо создавал такого героя. Прежде чем решиться написать первую строчку этого произведения, я вынашивал его в себе десять лет; Кристоф только тогда пустился в путь, когда этот путь для меня до конца уяснился; и некоторые главы из «Ярмарки на площади», так же как и некоторые части последних томов «Жан-Кристофа» [1], были написаны раньше «Зари» или одновременно с нею. Образу Франции, как он отражен в Кристофе и Оливье, с самого начала было отведено определенное место в этой книге. Поэтому ее надо рассматривать не как уклонение в сторону, но как предусмотренную заранее остановку в пути, как один из тех высоких уступов жизни, откуда можно созерцать только что пройденную долину и отдаленный горизонт, зовущий дальше в путь.

Ясно, что я отнюдь не собирался писать роман, когда создавал эти два тома — «Ярмарку на площади» и «В доме»,— так же как и все остальные. Но что же такое мое произведение? Поэма? Зачем вам непременно нужно название? Когда вы встречаете человека, разве вы спрашиваете, роман он или поэма? А я создал именно человека. Человеческая жизнь не укладывается в рамки какой-либо литературной формы. Ее закон — в ней самой; а всякая жизнь имеет свои законы. Она подобна силам природы. Есть человеческие жизни, похожие на спокойные озера, другие — на

---

[1] Например, одна из частей «Неопалимой купины», озаглавленная «Анна».— *Р. Р.*

широкое светлое небо с плывущими по нему облаками, третьи — на тучные равнины, иные — на одинокие горные вершины. Жан-Кристоф всегда представлялся мне рекою; я высказал это уже на первых страницах. У самых быстрых рек есть тихие, сонные заводи, и в них отражаются окрестные берега и небо. Но воды не перестают течь и меняться; а иногда под этой мнимой неподвижностью скрыто стремительное течение, сила которого скажется дальше, при встрече с первым же препятствием. Таков образ данного тома «Жан-Кристофа». Теперь, когда этот поток стал таким полноводным, впитав в себя мысли, родившиеся на том и на другом берегу, он снова помчится к морю, к которому идем все мы.

*Р. Р.*

*Январь 1909*

У меня есть друг!.. Как сладостно встретить родную душу, у которой можешь найти защиту от жизненных бурь, ласковый и надежный приют, где наконец переведешь дыхание, ожидая, чтобы унялось бешено бьющееся сердце! Больше не знать одиночества, не быть вечно настороже, всегда бодрствующим, не выпуская из рук оружия, хотя глаза уже обожжены бессонными ночами и ты вот-вот ослабеешь и станешь добычей врага! Иметь рядом с собой бесценного спутника, в руки которого отдаешь всего себя и который также отдал всего себя в твои руки. Наконец отдохнуть,— спать, когда друг бодрствует, и бодрствовать, когда он спит. Познать, какая это радость — быть защитником того, кого любишь и кто доверился тебе, как дитя. Познать еще большую радость оттого, что ты весь отдался ему, понимать, что он знает твои тайны и может располагать тобой. Чувствовать себя постаревшим, изношенным, усталым, после того как столько лет тащил на себе бремя жизни, и возродиться юным и бодрым в теле друга, видеть его глазами обновленный мир, через него впивать красоту преходящего, вкушать его сердцем великолепие жизни... Даже страдать вместе... О, даже страдание — радость, когда нас двое!

У меня есть друг! Вдали от меня, вблизи от меня — он всегда во мне. Он — мой, и я принадлежу ему. Мой друг любит меня. Мой друг владеет мной. Нашими душами владеет любовь, ибо они — одно.

Когда на другой день после вечера у Руссэнов Кристоф проснулся, его первая мысль была об Оливье. И им тут же овладело неудержимое желание увидеть нового знакомого. Кристоф оделся и вышел. Еще не было восьми. Утро стояло теплое, даже парило: над Парижем стлалась грозовая мгла.

«Жан-Кристоф». Книга шестая.

Оливье жил близ холма Сент-Женевьев, на тесной улочке неподалеку от Ботанического сада. Там, где стоял его дом, улочка была всего у́же. В глубине полутемного двора виднелась лестница, и оттуда несло всякими зловониями. Лестница круто поворачивала с этажа на этаж, ступеньки кренились к стене, исчерченной карандашными надписями. На третьем этаже какая-то женщина — седая, нечесаная, в распахнутой ночной кофте,— должно быть, заслышав шаги, приоткрыла дверь, но когда увидела Кристофа, тут же шумно захлопнула ее. На каждую площадку выходило по нескольку квартир. Сквозь щели рассохшихся дверей доносился визг и рев ребят. В этих битком набитых низеньких квартирках, выходящих на вонючий двор, подобный колодцу, так и кишело человеческими существами, грязными, убогими. Кристоф, охваченный отвращением, спрашивал себя, какие же соблазны могли завлечь сюда, в городские трущобы, все эти создания,— так далеко от полей, где хоть воздуху на всех хватает,— и какие выгоды мог сулить им этот Париж, где они обречены жить, как в могиле?

Он наконец добрался до того этажа, на котором находилась квартира Оливье. К звонку была привязана простая бечевка с узелком. Кристоф дернул ее так энергично, что на лестнице снова открылось несколько дверей. Оливье отпер. Кристоф был поражен простым, изысканным изяществом его одежды, и эта изысканность, которой он в другом случае даже не заметил бы, сейчас приятно удивила его: все вокруг было так загажено, а юноша самим своим обликом вносил сюда что-то свежее и здоровое. Увидев перед собой ясные и чистые глаза Оливье, Кристоф испытал то же чувство, что и накануне, и протянул ему руку. Оливье испуганно пролепетал:

— Вы, вы здесь!..

Кристоф, поглощенный желанием постичь душу этого милого юноши, открывшуюся в миг охватившего ее смущения, только улыбнулся и ничего не ответил. Подталкивая перед собой Оливье, он вошел в его единственную комнату, служившую юноше и спальней и кабинетом. Подле окна у стены стояла узенькая железная кровать; Кристоф отметил груду подушек на изголовье. Три стула, выкрашенный черной краской стол, пианино, полки с книгами — вот и вся обстановка. Комната была тесная, темная, низкая; однако на всем словно лежал отблеск светлых глаз ее обитателя. Все было чисто, аккуратно прибрано, как будто всего касалась рука женщины; а несколько роз в графине вносили легкое дыхание весны в эти стены, уве-

шанные репродукциями с картин старых флорентийских мастеров.

— Вы все-таки пришли, пришли ко мне? — взволнованно повторял Оливье.

— Ну, а как же иначе? — сказал Кристоф.— Ведь вы-то сами не пришли бы?

— Вы думаете? — отозвался Оливье. Затем тут же добавил: — Да, вы правы. Но не потому, что я не желал бы этого.

— Что же вас удерживало?

— Мне слишком сильно хотелось прийти.

— Вот так причина!

— Ну да, только не смейтесь надо мной. Я опасался, что вам не так уж хочется меня видеть.

— А вот я не опасался! Захотелось вас увидеть, взял и пришел. Если вам это неприятно, я тут же замечу.

— Нельзя заметить то, чего нет.

Они, улыбаясь, посмотрели друг на друга.

Оливье продолжал:

— Я вел себя вчера очень глупо. Боялся, что не понравлюсь вам. Эта застенчивость у меня прямо болезнь какая-то: иногда слова из себя не выжмешь.

— Не жалуйтесь. В вашей стране говорунов достаточно; и такое удовольствие встретить кого-нибудь, кто иной раз и помолчит, хотя бы из робости, даже против собственного желания.

И Кристоф расхохотался, довольный своей шуткой.

— Значит, вы посетили меня потому, что я молчу?

— Да, потому, что вы молчите, а главное — *как* вы молчите. Ведь молчать можно по-разному. Ваше молчание мне нравится, вот и все.

— Откуда у вас могла возникнуть симпатия ко мне? Вы же меня почти не знаете!

— Уж это мое дело. Я скор на выбор. Если предо мной мелькнет лицо человека, который мне по душе, я, не долго думая, бросаюсь за ним, чтобы его не упустить.

— И вы никогда не ошибаетесь?

— Частенько ошибаюсь.

— Может быть, вы и на сей раз ошиблись?

— Там посмотрим.

— О! Тогда я пропал! Я холодею от одной мысли, что вы за мной наблюдаете; я совсем теряюсь.

Кристоф смотрел с ласковым любопытством на это выразительное лицо, которое то бледнело, то вспыхивало. Чувства отражались на нем, как проплывающие облака в воде.

«Какой нервный мальчик! — подумал он.— Точно женщина».

Кристоф слегка коснулся его колена.

— Бросьте,— сказал Кристоф,— неужели вы думаете, что я пришел сюда с камнем за пазухой? Терпеть не могу, когда люди пускаются в психологические исследования за счет своих друзей. Единственное, чего я хочу для нас обоих,— это иметь право быть свободными и искренними, отдаваться своим чувствам без ложного стыда, не боясь, что узы дружбы превратятся для тебя в вечные цепи, не боясь впасть в противоречие с самим собой,— я хочу иметь право любить сейчас и уже через мгновение — не любить. Разве так не мужественнее, не честнее?

Оливье задумчиво посмотрел на него и ответил:

— Без сомнения. В этом есть мужество, и оно вам по плечу. Но я — я ведь не такой.

— А я уверен, что и вы сильный,— отозвался Кристоф,— только по-другому. Впрочем, я затем и пришел, чтобы помочь вам быть сильным, если вы пожелаете. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, и потому добавлю — и вы мне поверьте: я уже люблю вас, ничего не предрешая.

Оливье залился румянцем. Скованный смущеньем, он не нашелся, что ответить.

Кристоф рассматривал комнату.

— Плохо вы устроились! У вас что — только одна комната?

— Нет, есть еще чулан.

— Уф! Просто дышать нечем. И как вы ухитряетесь жить здесь!

— Привык.

— Я бы никогда не мог привыкнуть.

Кристоф расстегнул жилет. Ему действительно было трудно дышать.

Оливье подошел к окну и распахнул обе створки.

— Вам в любом городе должно быть трудно, мосье Крафт. А по моим силенкам воздуха хватает. Дышу понемногу и везде как-то приноравливаюсь. Хотя, правда, бывает, что иной раз в летние ночи даже мне становится тяжко. Я просто боюсь их, и тогда я до утра сижу в постели, и мне кажется, я вот-вот задохнусь.

Кристоф взглянул на груду подушек, на усталое лицо Оливье и представил себе, как тот задыхается в ночном мраке.

— Переезжайте отсюда,— сказал он.— Зачем вы сидите здесь?

Оливье пожал плечами и равнодушно ответил:

— О, не все ли равно — здесь или в другом месте?

В квартире наверху затопали тяжелые башмаки. Внизу переругивались два раздраженных голоса. Стены ежеминутно вздрагивали от грохота омнибуса, проходившего по улице.

— Один дом чего стоит! — продолжал Кристоф.— Он насквозь пропитан грязью, удушающей вонью, чудовищной нищетой; как вам не противно каждый вечер возвращаться сюда? Разве вас не берет тоска? Я бы ни за что не согласился тут жить. Уж лучше ночевать под мостом!

— Я тоже мучился первое время. И отвратительно мне все это не меньше, чем вам. Когда я был ребенком и меня водили гулять, от одного вида этих грязных трущоб, набитых людьми, у меня сердце сжималось. Мной овладевал какой-то невыразимый ужас, в котором я никому не смел признаться. Я думал: «Если сейчас вдруг произойдет землетрясение, я погибну и навеки останусь лежать здесь мертвый»,— это казалось мне самым страшным несчастьем. Я и не подозревал, что настанет день, когда мне самому, по доброй воле, придется жить в одной из таких трущоб и, вероятно, в ней умереть. Жизнь принудила меня стать менее прихотливым. А отвращение я испытываю до сих пор; но теперь я стараюсь забыть о нем; когда я поднимаюсь по лестнице, я затыкаю уши и нос — выключаю все органы чувств, я точно замуровываюсь в самом себе. А потом, смотрите — там, над крышей, видна верхушка акации. Я сажусь в угол — так, чтобы ничего, кроме нее, не видеть; в сумерках, когда ветер качает деревья, мне чудится, что я далеко от Парижа; никогда шум больших лесов не казался мне таким сладостным, как порою шелковистый шорох этих узорчатых листьев.

— Да, я так и думал,— сказал Кристоф,— вы вечно грезите; но досадно, что в этой борьбе с обидами существования тратится на иллюзии та сила, которая нужна художнику — творцу жизни.

— Разве не такова участь большинства из нас? Да и вы сами, разве вы не растрачиваете себя на гнев, на борьбу?

— Я — другое дело. Так уж мне на роду написано. Посмотрите на мои руки, на мои плечи. Сражаться мне только полезно. Но вы — у вас не больно много сил; это сразу видно.

Оливье грустно посмотрел на свои руки с тонкими кистями и сказал:

— Да, я слабый, я всегда был таким. Но что же делать? Жить нужно.

— А чем вы живете?

— Даю уроки.

— Уроки чего?

— Всего. Репетирую по-латыни, по-гречески, по истории. Готовлю на бакалавра. Потом преподаю основы морали в одной из городских школ.

— Основы чего?

— Морали.

— Это еще что за чертовщина? В ваших школах преподают мораль?

Оливье улыбнулся.

— Ну конечно.

— И у вас хватает материала больше чем на десять минут?

— У меня двенадцать часов в неделю.

— Вы, должно быть, учите творить зло?

— Почему же?

— Чтобы узнать, что такое добро, вовсе не нужно столько слов.

— Или чтобы не знать.

— Пожалуй, верно. И, по-моему, это не худший способ делать добро. Добро — не наука, оно — действие. Только неврастеники занимаются болтовней о морали; первейшая заповедь всякой морали — не быть неврастеником. К черту педантов! Это все равно как если бы калеки вздумали учить меня ходить.

— Они проповедуют не для таких, как вы. Вы-то знаете; но ведь сколько людей не знают.

— Ну и пусть, точно младенцы, ползают на карачках, пока сами не научатся ходить. Все равно — на двух ногах или на четвереньках — лишь бы двигались.

Кристоф большими шагами мерил комнату, в которой и было-то не больше четырех шагов.

Затем он остановился перед пианино, открыл крышку, перелистал ноты, коснулся клавиш и сказал:

— Сыграйте что-нибудь.

Оливье вздрогнул.

— Я? — отозвался он.— Что вы!

— Госпожа Руссэн говорила, что вы хорошо играете. Послушайте, сыграйте!

— При вас? — сказал Оливье.— Да я умру!

В этом испуге было столько наивности и непосредственности, что Кристоф рассмеялся,— рассмеялся смущенно и сам Оливье.

— Вот как! — воскликнул Кристоф.— Разве это может остановить француза?

Однако Оливье продолжал отнекиваться.

— Да зачем? Зачем вам это нужно?
— А я вам потом скажу. Сыграйте.
— Что же?
— Что хотите.

Оливье с тяжким вздохом сел за пианино и, покорный воле нового друга, который так властно ворвался в его жизнь, после долгих колебаний заиграл прекрасное адажио Моцарта в си-миноре. Сначала его пальцы дрожали, и он едва был в силах нажимать на клавиши, но мало-помалу он осмелел и, воображая, что воспроизводит музыку Моцарта, открыл, сам того не ведая, свое сердце. Музыка — неверная наперсница: она выдает самые потаенные мысли тех, кто ее любит,— тем, кто ее любит. Сквозь божественный рисунок моцартовского адажио Кристоф угадывал незримые черты, но не Моцарта, а еще неведомого друга: грустную ясность, улыбку, робкую и нежную, этого чуткого юноши — чистого, любящего, смущенного. Но в самом конце, когда мелодия, полная страдальческой любви, все нарастает и, дойдя до вершины, разбивается, душевное целомудрие помешало Оливье продолжать,— мелодия оборвалась. Он снял руки с клавиш и пробормотал:

— Больше не могу...

Кристоф, стоявший у него за спиной, наклонился, обнял его и докончил на пианино прерванную фразу; затем сказал:

— Теперь, мне кажется, я знаю, как звучит ваша душа.

Он взял молодого человека за руки и долго смотрел на него. Наконец промолвил:

— Как странно! Я вас где-то видел... Я вас знаю так хорошо и так давно!

Губы Оливье дрогнули: он чуть не заговорил. Но промолчал.

Кристоф все еще смотрел на него. Потом безмолвно улыбнулся и вышел.

Кристоф спускался по лестнице. Его сердце ликовало. Он встретил двух поднимавшихся ему навстречу чумазых мальчишек — один тащил хлеб, другой бутылку масла. Кристоф ласково ущипнул их за щеки. Улыбнулся хмурому привратнику. По улице он шел, напевая себе под нос. Потом очутился в Люксембургском саду. Там он прилег на скамейку в тени и закрыл глаза. Воздух был недвижим; гуляющих было мало. Издали доносился приглушенный неровный плеск фонтана и временами — скрип гравия под ногой прохожего. Кристоф испытывал неодо-

лимую лень; дремота охватывала его, как ящерицу, пригретую солнцем; и хотя тень уже ушла, он все не решался пошевельнуться. Мысли вращались по кругу; он не старался задержать их на чем-либо — все они были залиты светом счастья. На Люксембургском дворце прозвонили часы; он не слушал их, но мгновение спустя ему показалось, что они пробили полдень. Он сразу вскочил, понял, что прошатался два часа, пропустил свидание с Гехтом, зря потерял все утро; он рассмеялся и, посвистывая, отправился домой. Тут же сочинил рондо, по всем правилам, на крик торговца. Даже печальные мелодии звучали для него теперь в радостном ритме. Проходя мимо знакомой прачечной, он, по обыкновению, заглянул внутрь и увидел рыженькую прачку: ее матово-бледное личико порозовело от жары; она гладила, худые руки были обнажены до плеч, корсаж расстегнут. Девушка, как всегда, вызывающе стрельнула в него глазами; и в первый раз этот взгляд скользнул по нему, не вызвав раздражения. Он снова засмеялся. Придя к себе в комнату, он не нашел ни одной из тех забот, которые здесь оставил. Раскидав как попало шляпу, пиджак, жилет, Кристоф принялся за работу с таким воодушевлением, точно решил завоевать весь мир. Он подобрал разбросанные повсюду черновики своих композиций и стал читать ноты, но только глазами — мысли его были далеко. Им снова овладело то блаженное оцепенение, которое он только что испытал в Люксембургском саду. Он был, словно пьяный. Почувствовав этот хмель, Кристоф попытался стряхнуть его с себя, но тщетно. Он весело выругался, встал и сунул голову в таз с холодной водой. Вода немного отрезвила его. Вернувшись к столу, он уселся с безмолвной, блуждающей на губах улыбкой.

«Какая же разница между *этим* и любовью?»

Продолжая свое размышление, Кристоф пожал плечами и не то шепнул, не то подумал, точно ему было стыдно:

«Двух видов любви не существует... Или, вернее, их именно два: одни любят, отдаваясь целиком, другие — жертвуя любви только крохами от своего изобилия. Боже, охрани меня от душевной скаредности!»

Какое-то целомудренное чувство мешало ему додумать свои мысли до конца. Долго сидел композитор, улыбаясь своей сокровенной мечте. Сердце его пело среди безмолвия:

...Du bist mein, und nun ist das Meine meiner als jemals... (Ты мой, и, больше чем когда-либо, я принадлежу себе.)

Затем он взял лист нотной бумаги и спокойно записал песнь своего сердца.

Они решили поселиться вместе. Кристоф настаивал на том, чтобы сделать это сейчас же, пусть пропадает квартирная плата за полмесяца. Оливье, более осторожный, хотя и полюбивший своего друга не менее сильно, советовал дождаться срока. Но Кристоф не желал знать столь низменных расчетов. Как и многие люди, привыкшие быть без денег, он легко относился к материальным потерям. Он решил, что Оливье еще более стеснен в средствах, чем он. Однажды, когда его особенно поразила бедность друга, Кристоф внезапно ушел, вернулся только через два часа и торжествующе положил перед Оливье несколько пятифранковых монет — аванс, который он вытянул у Гехта. Оливье покраснел и отказался. Кристоф рассердился и хотел выбросить деньги какому-то итальянцу, игравшему во дворе. Оливье удержал его. Кристоф ушел оскорбленный и все же в душе проклинал себя за то, что своей неловкостью вызвал отказ Оливье. Однако полученное от друга письмо пролило на его рану целительный бальзам. Оливье писал о том, чего не смог высказать вслух: как он счастлив, что узнал Кристофа, и как взволнован тем, что друг хотел ему помочь. Кристоф ответил сумасшедшим и восторженным письмом — такие излияния он писал в пятнадцать лет своему другу Отто; оно было полно Gemüt[1] и всякой чепухи — французских и немецких каламбуров, притом даже положенных на музыку.

Наконец они устроились. На Монпарнасе, возле площади Данфер, на шестом этаже старого дома они нашли квартирку из трех комнат и кухни,— очень маленьких и выходивших в жалкий садик, зажатый между четырьмя стенами. Из окон, поверх противоположной невысокой стены, виден был большой сад — один из тех, никому не ведомых, скрытых от глаз монастырских садов, которых сохранилось в Париже еще немало. Ни души на пустынных аллеях. Старые деревья — выше и гуще, чем деревья в Люксембургском саду — трепетали в лучах солнца. Пели птицы. С рассвета начинали звучать флейты черных дроздов; потом звенел разноголосый ритмичный хорал — это вступали воробьи. Летними вечерами стрижи с пронзительными вскриками рассекали воздух, скользя по синеве, точно конькобежцы. А ночью, при луне, подобно пузырькам воздуха, всплывающим на поверхности пруда, из сада доносились певучие и четкие трели жаб. Можно было совсем позабыть о том, что это Париж, если бы ветхий дом поминутно не сотрясался от грохота тяжелых подвод, точно земля дрожала в судорожном ознобе.

---

[1] Задушевности *(нем.)*.

Одна из комнат была больше и лучше остальных. Кристоф и Оливье долго спорили, уступая ее друг другу. Пришлось бросить жребий, и Кристофу, подавшему эту мысль, удалось с помощью ловкой подтасовки, на которую он до сих пор считал себя не способным, сделать так, что комната досталась Оливье.

И вот для них наступила пора безоблачного счастья. Счастье это состояло не в чем-нибудь определенном, оно было решительно во всем: оно овевало каждый их поступок, каждую мысль, оно было неотделимо от них.

В течение медового месяца их дружбы, этих первых дней глубокого и немого ликования, которое дано изведать тому, «кто во всей вселенной хотя бы единую душу может назвать своей» — «ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund...» — они почти не говорили, едва осмеливались говорить: им было достаточно чувствовать друг друга, достаточно одного слова, взгляда, и вдруг, после долгой паузы, оказывалось, что их мысли текут по одному и тому же руслу. Ни о чем не спрашивая, даже не поднимая глаз, они видели друг друга всегда. Тот, кто любит, бессознательно стремится уподобиться душе любимого; и так велико желание ничем не задеть его, быть во всем таким же, как друг, что внезапно, с помощью таинственной интуиции, он прозревает неуловимые движения чужой души. Друг становится как бы прозрачным для своего друга; два существа обмениваются всем. Один следует образу другого, душа подражает душе — пока не проснутся темные силы и не порвут оболочку любви, которая до сих пор держала их в плену.

Кристоф говорил вполголоса, ходил на цыпочках, он боялся зашуметь, стукнуть чем-нибудь в комнате рядом с комнатой молчаливого Оливье. Дружба преобразила Кристофа: его словно помолодевшее лицо светилось таким счастьем, таким доверием, какого у Кристофа еще не видели. Он обожал Оливье. И тому было бы нетрудно злоупотребить своею властью, если бы она не смущала его, точно незаслуженная награда, ибо он считал себя гораздо ниже Кристофа, а последний был не менее скромен в оценке себя. Эта готовность каждого к самоуничижению, вытекавшая из великой любви, вносила в их дружбу новую прелесть. Было сладостно чувствовать, как много ты значишь для сердца друга, хотя, конечно, этого не заслужил. Оба были за это чуть не до слез благодарны друг другу.

Оливье присоединил свои книги к библиотеке Кристофа; отныне они стали достоянием обоих, и когда речь заходила об этих

книгах, он не говорил: «моя книга», он говорил: «наша книга». Лишь очень немногие предметы он оставил себе, не передав их в общее владение,— те, которые некогда принадлежали его сестре или с которыми была связана память о ней. Кристоф, благодаря той чуткости и такту, которыми его одарила любовь, вскоре заметил это и, хотя не понимал причины, не решался расспрашивать Оливье о его родных. Кристоф знал об утратах Оливье, однако он вообще старался не выражать своих чувств к другу — и не только из самолюбивой сдержанности, но и из гордости; кроме того, его удерживал страх пробудить в душе Оливье былую боль. Странная робость всякий раз сковывала его, когда он подходил к столу Оливье с намерением повнимательнее рассмотреть фотографические карточки, где были сняты господин и дама в чопорных позах, а также двенадцатилетняя девочка с большим спаниелем, лежавшим у ее ног.

Через два-три месяца после того, как они поселились вместе, Оливье простудился и слег. Кристоф, открывший в себе неиссякаемый источник материнских чувств, ухаживал за ним с нежностью и тревогой. Врач, выслушав Оливье, нашел небольшое воспаление в верхушке одного легкого и поручил Кристофу смазывать йодом спину больного. Кристоф, тщательно выполняя предписания врача, вдруг увидел на шее у Оливье образок. Он достаточно знал Оливье, знал, что тот — еще больше, чем он сам,— свободен от религиозной веры, и не сдержал своего удивления. Оливье покраснел и сказал:

— Это память. Я снял его с шейки моей бедненькой Антуанетты, когда она умирала.

Кристоф вздрогнул. Имя Антуанетты что-то осветило в нем, как вспышка молнии.

— Антуанетты? — спросил он.

— Моей сестры,— сказал Оливье.

А Кристоф повторял:

— Антуанетта... Антуанетта Жанен... Так она была вашей сестрой? Но ведь она,— продолжал Кристоф, рассматривая стоявшую на столе фотографическую карточку,— была, видимо, совсем девочкой, когда вы потеряли ее?

Оливье грустно улыбнулся.

— Этот снимок сделан в детстве,— пояснил он.— Увы! У меня только он и есть. Ей было двадцать пять лет, когда она ушла от меня.

— А! — произнес Кристоф, взволнованный.— И она жила одно время в Германии, верно?

Оливье кивнул.

Кристоф схватил руки Оливье.

— Но я же был знаком с нею! — воскликнул он.

— Я это знаю,— ответил Оливье.

И кинулся на шею Кристофу.

— Бедная девочка! Бедная девочка! — повторял Кристоф.

Они поплакали вместе.

Но тут Кристоф вспомнил, что Оливье болен. Он постарался его успокоить, заставил спрятать руки под одеяло, укрыл плечи и по-матерински вытер ему глаза, а затем уселся возле изголовья и стал смотреть на своего друга.

— Так вот откуда я тебя знаю,— сказал он.— С первого же вечера я узнал тебя.

(И неизвестно было, к кому он обращается — к другу, который перед ним, или к той, которой уже нет.)

— Но ты,— продолжал он через мгновение,— ты-то знал?.. Отчего же ты не говорил мне?

И глазами Оливье Антуанетта ответила:

«Мне нельзя было. *Ты* должен был сказать».

Они помолчали; затем среди ночной тишины Оливье, лежа неподвижно в постели, вполголоса рассказал Кристофу историю Антуанетты. Но он не упомянул о том, о чем не должен был говорить: о той тайне, которую она не открыла и которую Кристоф, быть может, и сам знал.

С тех пор душа Антуанетты точно окутала их обоих. Когда они оставались вдвоем, она была с ними. Им незачем было вспоминать о ней: все, что они думали вместе, связывало их думы с нею. Ее любовь была той страной, где сливались их души.

Оливье вызывал в памяти ее образ. Подчас это были разрозненные воспоминания, отдельные эпизоды. Благодаря им выступал вновь, как бы озаренный мимолетным светом, какой-нибудь ее робкий и милый жест, ее юная серьезная улыбка, задумчивая прелесть этого рано угасшего создания. Кристоф слушал молча, и в него проникали как бы отсветы незримой подруги. Он жадно, ненасытно пил жизнь, это было в его натуре, и порой он улавливал в словах Оливье далекое эхо, которого сам Оливье не слышал; он познавал, даже полнее, чем Оливье, то, что составляло сущность умершей девушки.

Он невольно старался заменить ее для Оливье, и трогательно было видеть, как неловкий немец бессознательно вносил

в свои отношения с другом что-то от ее деликатной заботливости, от ее предупредительного внимания. Минутами он уже не знал, любит он Оливье в Антуанетте или Антуанетту в Оливье. Под влиянием нежности он стал тайком посещать могилу Антуанетты и приносил цветы. Оливье долго об этом не догадывался. И узнал только тогда, когда обнаружил на могиле совсем свежие цветы; но удостовериться в том, что сюда действительно приходил Кристоф, оказалось нелегко. Когда Оливье робко заговорил с ним об этом, Кристоф с грубоватой решительностью перевел разговор на другое. Он старался, чтобы Оливье не узнал об его посещениях. И упорствовал до того дня, пока наконец они не столкнулись на кладбище Иври.

Со своей стороны, Оливье, без ведома Кристофа, писал иногда его матери. Он сообщал Луизе о жизни ее сына; рассказывал о том, как привязан к Кристофу и как им восхищается. Луиза отвечала Оливье смиренными, неумелыми письмами, рассыпалась в благодарностях; она говорила о сыне так, будто он все еще маленький мальчик.

После периода почти безмолвной влюбленности — «чудесного покоя и беспричинного блаженства» — они стали разговорчивее. Они могли часами всматриваться друг в друга в поисках еще неведомых глубин.

Очень разные, они оба были все же из чистого металла, без примесей. И любили друг друга именно потому, что, несмотря на глубокое различие, их роднило внутреннее сходство.

Оливье был слаб, тщедушен, неспособен бороться с трудностями жизни. Если он наталкивался на какое-нибудь препятствие, то сразу отступал — не из страха, а отчасти из робости, главным же образом — из отвращения к низменным и грубым способам, которыми добывалась победа. Оливье жил уроками, писал книжки об искусстве, за которые ему, как водится, платили постыдные гроши, а также изредка статьи для обозрений и журналов, но в них он никогда не мог высказаться свободно, да и темы его не интересовали; интересные же темы были ненужны; и никогда с него не требовали того, что он мог делать всего лучше: он был поэтом, а должен был поставлять критические заметки, он был знатоком музыки, а его заставляли писать о живописи. Оливье отлично знал, что его рассуждения в этой области весьма посредственны, но они-то и нравились, ибо он говорил с посредственностью на ее языке. В конце концов его взяло отвращение, и он стал отказываться от подобных ста-

тей. Удовольствие ему доставляло только сотрудничество в маленьких журнальчиках, которые вовсе не платили, но которым он, подобно многим молодым людям, отдавал охотно свои силы, оттого что чувствовал себя там свободным. Лишь на их страницах мог он высказывать все то действительно ценное, что жило в нем.

Он был кроток, вежлив и как будто очень терпелив, но необычайно чувствителен. Любое чуть резкое слово глубоко его ранило, несправедливость потрясала; он страдал и за себя и за других. Гнусности, совершенные века назад, терзали его, как будто он сам был их жертвой. Оливье бледнел, трепетал, невыносимо терзался, вспоминая о муках той или иной жертвы и о том, что предмет его сочувствия отделен от него несколькими веками. А когда ему случалось быть свидетелем какой-нибудь несправедливости, им овладевал приступ негодования, он начинал дрожать всем телом, прямо заболевал, не мог спать по ночам. Оливье знал об этой своей слабости и потому любой ценой старался сохранять спокойствие, ибо, когда он уступал гневу, то переходил всякие границы и говорил людям такие вещи, которые не забываются. Ему прощали меньше, чем Кристофу, хотя последний всегда был резок; что же до Оливье, то казалось, что в минуты бешенства он выдает свои истинные мысли. Так оно и было в действительности. Он судил о людях без слепого преувеличения, присущего Кристофу, но и без иллюзий, с беспощадной трезвостью. А такой трезвости люди не спускают никому. Поэтому он предпочитал молчать, уклонялся от спора, слишком хорошо зная, насколько любые споры бесцельны. Но, обуздывая себя, он страдал. Еще больше страдал он от своей застенчивости, из-за которой иногда отступался от своих мыслей или не отваживался встать на их защиту, а порой готов был даже извиниться, как в споре с Леви-Кэром относительно Кристофа. Не один приступ отчаяния пережил Оливье, прежде чем выбрал определенную позицию по отношению к миру и к самому себе. В годы отрочества, когда он весь находился во власти своих нервов, периоды бурной восторженности вдруг сменялись в нем периодами депрессии. В минуты, когда он испытывал безоблачное счастье, можно было поручиться, что горе уже подстерегает его. И оно действительно вдруг обрушивалось на него, неведомо откуда. Но просто несчастья ему было мало: он непременно начинал винить себя в этом несчастье; вспоминая все свои слова, поступки, брал под сомнение свою честность, становился на сторону других против самого себя. Сердце неистово билось в груди, он мучи-

тельно спорил с самим собой, задыхался. После смерти Антуанетты, а может быть, благодаря этой смерти, благодаря тому умиротворяющему свету, который излучают иногда любимые нами умершие, свету, подобному утренней заре, освежающей очи и душу болящих, Оливье удалось если не избавиться от снедавших его тревог, то, по крайней мере, смириться и не поддаваться им. Немногие догадывались об этих внутренних бореииях. Он скрывал их как унизительную тайну, скрывал неудержимый тревожный трепет измученного тела, на которое взирал, не будучи в силах победить его, но и не подчиняясь ему, свободный и ясный дух, хранящий «тот внутренний покой, который царит нерушимо на дне бесконечных волнений».

Кристоф был поражен. Этот покой он и читал в глазах Оливье. Его друг обладал способностью интуитивно постигать людские души, имел широкий, любознательный, гибкий ум, который ни перед чем не замыкался, ни к чему не испытывал ненависти и созерцал жизнь с великодушным сочувствием,— это была именно та свежесть взгляда, тот бесценный дар, который позволяет юному сердцу наслаждаться вечным обновлением мира. В своей внутренней вселенной, где Оливье чувствовал себя свободным и безграничным властелином, он забывал о слабости, о своих физических недугах. И когда он глядел как бы издали, с иронической жалостью на свое немощное тело, которому каждую минуту грозит уничтожение, он испытывал даже какую-то тихую радость: так, по крайней мере, не рискуешь слишком привязаться к собственной жизни, и тем горячее становится привязанность к жизни как таковой. Оливье переносил в сферу любви и мышления все те силы, от которых отрекся в сфере действия. У него не хватало жизненных соков, чтобы существовать самостоятельно; он был как плющ: он должен был вокруг кого-нибудь обвиться. Лучше всего он ощущал свое богатство, когда отдавал себя. Это была женственная душа с всегдашней потребностью любить и быть любимой. Он прямо был создан для Кристофа. Такими же были те изысканные и обаятельные друзья, что сопутствовали великим художникам и представляются нам цветами, которые питались соками их мощных душ: Бельтраффио — друг Леонардо; Кавальери — друг Микеланджело; умбрийские товарищи молодого Рафаэля; Арент ван Гельдер, оставшийся верным Рембрандту, когда тот постарел и впал в нищету. У них нет величия мастеров, но все, что есть у этих мастеров наиболее благородного и чистого, словно оживает еще более одухотворенным в их друзьях. Это как бы идеальные спутники гениев.

Дружба оказалась благодеянием для обоих. Друг придает жизни ценность: ради него живешь, ради него оберегаешь от ржавчины времени целостность своего существа.

Они обогащали друг друга. Оливье был ясен духом и немощен плотью. У Кристофа было могучее здоровье и мятежная душа. Это была дружба слепца и паралитика. Теперь, когда их жизни соединились, им казалось, что они стали очень сильными. В тени, которую отбрасывал Кристоф, Оливье опять почувствовал влечение к свету; Кристоф точно переливал в него часть своей кипучей жизненной силы, своей физической и нравственной мощи, поддерживавших в нем оптимизм, даже когда его постигали страдания и несправедливости, даже когда он встречал ненависть. Кристоф брал от Оливье гораздо больше, чем Оливье от него, следуя закону, согласно которому гений, сколько бы ни давал, в любви всегда берет больше, чем дает,— quia nominor Leo;[1] и происходит это потому, что он гений, а гений — это на добрую половину умение поглощать все, что есть вокруг великого, и придавать ему еще большее величие. Народная мудрость гласит, что деньги идут к деньгам. А сила приходит к сильному. Кристоф питался мыслью Оливье, проникался спокойствием его ума, свободой его духа, способностью смотреть на жизнь дальнозорким взглядом, молча постигать ее и властвовать над нею. Но перенесенные в Кристофа, на более богатую почву, достоинства друга возрастали стократ.

Оба восхищались теми чертами, которые открывали один в другом. Каждый вносил свой вклад — несметные богатства, ведь до сих пор ни один из них даже не знал, как он богат; то были моральные сокровища их народов: от Оливье шла обширная культура Франции и ее психологическая зоркость; от Кристофа — внутренняя музыкальность Германии и врожденный дар постигать природу.

Кристоф дивился, каким образом Оливье может быть французом. Ведь его друг так непохож на всех тех французов, которых знавал Кристоф! До встречи с Оливье Кристоф почти готов был принять за типичный образец французского интеллигента Люсьена Леви-Кэра, хотя тот и являлся всего лишь карикатурой. И вот теперь, на примере Оливье, он убеждался, что в Париже существуют люди гораздо более свободного ума, чем Люсьен Леви-Кэр, и вместе с тем сумевшие сохранить

[1] Ибо я называюсь Лев *(лат.)*.

чистоту и стоическую твердость духа. Кристоф пытался доказать Оливье, что ни он, ни Антуанетта, вероятно, не чистокровные французы.

— Бедный друг мой,— сказал Оливье,— что ты знаешь о Франции?

Кристоф возразил, что он старался узнать ее; он перечислил всех французов, которых встречал у Стивенсов и у Руссэнов: евреев, бельгийцев, люксембуржцев, американцев, русских, левантинцев и даже нескольких коренных французов.

— Вот именно,— отозвался Оливье.— Ты еще не встречал ни одного настоящего... Что ты видел? Развращенное общество, беспутных скотов, которых и французами-то назвать нельзя, прожигателей жизни и политиканов, всех этих лодырей, всю эту накипь, которая проходит бесследно, не затрагивая недр нации. Ты видел только мириады трутней, привлеченных осенним изобилием и фруктовыми садами. И ты не заметил ульев с неутомимыми пчелами, страны труда и лихорадочной деятельности мысли.

— Прости,— сказал Кристоф,— но я видел и сливки вашей интеллигенции.

— Что? Два-три десятка литераторов? Подумаешь! Сейчас, когда наука и действие приобрели такое величие, стало ясно, насколько неглубок по отношению к мысли народа тот слой, который именуется литературой. Да и в литературе — что ты знаешь кроме театра — театра как роскоши, как интернациональной стряпни, созданной для космополитической клиентуры богатых отелей? Парижские театры? Ты думаешь, рабочий люд знает, что там делается? Пастер за всю свою жизнь не был в театре и десяти раз! Как все иностранцы, ты придаешь слишком большое значение нашим романам, нашим театрам на Бульварах, интригам наших политиков. Я могу показать тебе женщин, которые никогда не читают романов, парижских девушек, которые ни разу не бывали в театре, мужчин, которые никогда не занимались политикой,— и это среди интеллигенции. Ты не видел ни наших ученых, ни наших поэтов. Ты не знаешь ни наших художников-одиночек, угасающих в безвестности, ни наших революционеров, пылающих, как пламя костра. Ты не видел ни одного убежденного верующего, ни одного убежденного атеиста. Я уж не говорю о народе. Кроме той бедной женщины, которая тебе прислуживала, что ты знаешь о нем? Где ты мог видеть его? Много ли ты встречал парижан из тех, что живут выше второго или третьего этажа? Если ты их не знаешь, ты не знаешь Франции. Не

знаешь людей, живущих в квартирах для бедняков, в парижских мансардах, в бессловесной провинции, людей честных и искренних, отдавших всю свою неприглядную жизнь высоким думам и незаметным подвигам самопожертвования; они образуют как бы малую церковь; эта церковь всегда существовала во Франции; она мала только по числу верующих, но велика по духу; и в ней, почти неизвестной, никак не проявляющей себя вовне,— вся сила Франции, сила молчаливая и стойкая; те же, кого мы именуем избранниками, разлагаются, а на их месте вырастают другие. Естественно, что ты удивлен, вдруг встретив француза, живущего не для того, чтобы наслаждаться, наслаждаться любой ценой, но чтобы воплощать в жизнь свои верования или служить им. Существуют тысячи людей, подобных мне, и гораздо достойнее меня, более верных, более смиренных, которые до последнего вздоха преданно служат своему идеалу, своему богу, хотя он их не желает слушать. Ты не знаешь простой народ, маленьких людей, бережливых, аккуратных, трудолюбивых, спокойных, в чьих сердцах дремлет пламя,— народ, вечно приносимый в жертву; его некогда защищал против эгоизма власть имущих мой земляк — голубоглазый старик Вобан. Ты не знаешь народ, ты не знаешь интеллигенцию. Прочел ли ты хоть одну книгу из тех, что мы считаем нашими верными друзьями, спутниками, поддерживающими нас? Ты едва ли даже слышал о наших молодых журналах, в которые вкладывается столько преданности и веры! Ты и не подозреваешь о существовании людей, являющихся образцом такой моральной высоты, что они для нас — как солнце, само существование их излучает свет, наводящий страх на полчища лицемеров: эти господа не осмеливаются бороться с ними, подняв забрало, и склоняются перед ними, чтобы скорее предать их. Лицемер всегда раб, а где есть рабы, есть и господа. Но ты знаешь только рабов, господ ты не знаешь. Ты наблюдал наши схватки и осудил их как дикую нелепость оттого, что не понял их смысла. Ты видишь лишь тени и отблески света, но не видишь внутреннего света нашей древней души. А пытался ли ты когда-нибудь понять ее? Интересовался ли ты когда-нибудь нашими героическими подвигами, начиная от крестовых походов и до Коммуны? Вдумывался ли ты в трагедию французского духа? Склонялся ли когда-нибудь над той бездной, над которой склонялся Паскаль? Как можно себе позволить клевету на такой народ, который вот уже больше десяти веков творит и действует, народ, создавший целый мир по своему образу и подобию — в готике, в творениях семна-

дцатого века, в делах Революции? Народ, который десятки раз проходил через испытания огнем и только закалялся в них, народ, который, побеждая смерть, десятки раз воскресал? Все вы одинаковы! Все твои соотечественники, когда приезжают во Францию, не видят ничего, кроме присосавшихся к ней паразитов, авантюристов от литературы, от политики, от финансов, с их поставщиками, клиентами и проститутками; и они судят о Франции по этим негодяям, пожирающим ее. Ни один из вас не подумает о подлинной, угнетенной Франции, о жизненных силах, таящихся в недрах французской провинции, обо всем нашем народе, который трудится, глубоко равнодушный к свистопляске своих недолговечных хозяев... Да, вполне естественно, что вы ничего этого не знаете, и я не виню вас: откуда вам знать? Ведь и сами французы едва знают свою Францию. Лучшие из нас живут, как в заточении, мы пленники на собственной земле. Никто никогда не узнает всего, что мы выстрадали, верные духу нашего народа, оберегая в себе как святыню полученный от него свет, отчаянно защищая его от враждебных вихрей, стремящихся его задуть. Одинокие, вынужденные дышать воздухом, зачумленным чужаками, которые облепили нашу мысль, точно рой мух, тогда как их гнусные личинки пожирают наш разум и грязнят наше сердце; преданные теми, чьей миссией было защищать нас,— нашими вождями, нашими критиками — глупцами или трусами, пресмыкающимися перед врагом, чтобы вымолить себе прощение за то, что они французы; покинутые нашим народом, которому дела нет до нас, который даже нас не знает. Да и откуда ему знать нас? Нам к нему не пробиться... Вот что самое тяжелое! Мы знаем, что во Франции есть тысячи людей, разделяющих наши взгляды, мы знаем, что говорим от их имени, и мы не можем добиться того, чтобы нас услышали. Враг прибрал к рукам все: газеты, журналы, театры... Пресса боится всякой мысли и допускает только то, что является источником развлечений или служит оружием для какой-нибудь партии. Кружки и салоны щадят лишь того, кто им во всем поддакивает. Мы угнетены непосильным трудом и нищетой. Политики, занятые своим обогащением, интересуются только теми пролетариями, которых можно купить. А буржуазия, равнодушная и эгоистичная, спокойно взирает на то, как мы умираем. Наш народ не знает нас: даже те, что борются так же, как мы, и, как мы, окружены молчанием, не ведают о нас, а мы — о них. О, этот злосчастный Париж! Конечно, и он сослужил свою службу, собрав воедино все силы французской мысли. Но зла он причи-

нил, во всяком случае, не меньше, чем добра; а в такую эпоху, как наша, даже добро обращается во зло. Достаточно кучке каких-то мнимых избранников взять Париж в свои руки и затрубить в иерихонскую трубу общественного мнения,— и вот уже голос всей остальной Франции заглушен. Больше того, сама Франция введена в заблуждение; она молчит, растерянная, она со страху прячет в себе свои идеи... Я очень страдал от всего этого когда-то. Но теперь, Кристоф, я спокоен. Я понял свою силу, силу моего народа. Нужно ждать, пока это наводнение схлынет. Ему не подточить несокрушимую гранитную глыбу Франции. И пусть ее облепила грязь, я помогу тебе прикоснуться к этому граниту. Уже теперь то здесь, то там из воды выступают вершины.

Так Кристофу открылась огромная мощь идеализма, вдохновлявшего поэтов, музыкантов, ученых современной ему Франции. В то время как всевозможные калифы на час заглушали грохотом своего грубого сенсуализма голос французской мысли, она, слишком аристократичная, чтобы силой бороться с наглым криком этой мрази, сосредоточенно продолжала петь для себя и своего бога свою пламенную песнь. Казалось даже, что она, желая бежать как можно дальше от назойливого уличного шума, удалилась в самые потаенные убежища в недрах своей башни.

Поэты, действительно заслуживавшие это прекрасное звание, которым пресса и академии награждали болтунов, жадных до денег и тщеславия,— поэты, презрев и бесстыдную риторику, и рабский реализм, грызущий кору вещей, но неспособный проникнуть в их суть, погрузились в мистическое созерцание, укрылись как бы в самой сердцевине своей души, куда мир мыслей и форм вливался подобно потоку, спадающему в озеро, и окрашивался всеми оттенками их внутренней жизни. Насыщенность этого идеализма, замыкавшегося в себе, чтобы пересоздать мир, делала его недоступным для толпы.

Сам Кристоф вначале не разглядел его. Слишком неожиданным был переход к нему от Ярмарки на площади. Композитору казалось, что, вырвавшись из яростной давки при резком свете дня, он вдруг очутился среди ночи и тишины. В его ушах еще стоял оглушающий шум. Он ничего перед собой не видел и в первую минуту, при своей любви к жизни, был даже возмущен этим контрастом. За стеной с ревом проносились бурные потоки страстей, они потрясали Францию, волновали все

человечество. А в искусстве на первый взгляд не отражалось ничего. Кристоф допытывался у Оливье:

— Вот вас взметнуло до звезд, а потом сбросило в бездну дело Дрейфуса. Где же поэт, через которого прошел этот шквал? Сейчас в душах религиозных людей происходит самая замечательная из битв, какие велись на протяжении многих веков: битва между авторитетом церкви и требованиями совести. Где же тот поэт, который отобразил бы эти священные терзания? Рабочие массы готовятся к войне, одни нации гибнут, другие возрождаются. В Армении резня, Азия просыпается от своего тысячелетнего сна и сбрасывает власть московского колосса, ключаря всей Европы; Турция, как Адам, впервые видит дневной свет; воздух завоеван человеком; старая земля дает трещины под нашими шагами и разверзается; она пожирает целые народы. Все эти чудеса произошли за какие-нибудь двадцать лет, а их хватило бы на двадцать «Илиад»; так где же они? Где их огненные следы в книгах ваших писателей? Неужели только они не видят поэзии жизни?

— Терпение, мой друг, терпение,— отвечал ему Оливье.— Молчи, не говори, слушай...

Понемногу скрип земной оси стихал; грохот тяжелой колесницы действия, громыхавшей по мостовым, смолкал вдали, и начинала звучать божественная песнь безмолвия:

Жужжанье пчел, благоуханье лип,
И ветерок,
Устами золотыми
Ласкающий равнины...
И тихий шум дождя, и запах розы томной.

Слышался звон молота, каким поэты высекали на стенках ваз

Простых вещей величие и скромность,

изображая картины жизни важной и ликующей

Под звуки золотых и деревянных флейт,

благоговейную радость и родники веры, бьющей из людских сердец, для которых

Любая тень светла,

и баюкающей нас с улыбкой блаженного страданья,

Чей лик суровый излучает
Какой-то свет нездешний...

и образ

Смерти ясной с кроткими глазами.

Это была симфония чистых голосов, хотя ни один не мог сравняться с полнозвучным и трубным гласом народов, вещавших устами Корнелей и Гюго; но насколько глубже и богаче тонкими оттенками казалась их гармония! Это была самая драгоценная музыка в современной Европе.

И Оливье сказал Кристофу, который тоже погрузился в безмолвие:

— Теперь ты понимаешь?

Кристоф, в свою очередь, сделал ему знак, чтобы он замолк. И хотя он любил более мужественные напевы, но теперь жадно впивал шепот рощ и ручьев человеческой души, чьи тихие голоса уже научился различать. Среди безрассудной борьбы между народами они воспевали вечную молодость мира и

Красоты благую кротость.

В то время как человечество,

Вопя от ужаса и жалобно стеная,
На том же топчется бесплодном, темном поле,

а миллионы человеческих существ истощают свои силы, стараясь вырвать друг у друга окровавленные клочки свободы,— ручьи и рощи повторяют:

«Свободен... ты свободен... Sanctus, sanctus» [1].

Но их не убаюкивали грезы эгоистического покоя. В хоре поэтов звучали и трагические голоса — голоса гордости, голоса любви, голоса тревоги.

Это был хмельной ураган,

То ласковый, то беспощадный, буйный...

В нем слышались бурлящие силы тех, кто в мощных эпопеях воспевал горячку толп, и битвы между кумирами, и тружеников в поту,

И миллионы лиц, то золотых, то черных,
И спин, то согнутых, то выпрямленных вдруг
В палящем свете домн и богатырских горнов,

кующих Город будущего.

---

[1] Свят, свят *(лат.)*.

Это был свет ослепительный и загадочный, падающий на ледники человеческого разума, это была героическая горечь одиноких душ, терзающих себя с весельем отчаяния.

Многие черты этих идеалистов казались немцу скорее немецкими, чем французскими. Но во всех жила любовь к «французскому изяществу речи», и соки греческих мифов текли в их поэмах. Пейзажи Франции и ее повседневная жизнь с помощью какой-то тайной магии преображались в их зрачках в видения Аттики, как будто в этих французах XX века еще жили души древних, стремившихся сбросить лохмотья современности, чтобы снова обрести себя в своей прекрасной наготе.

От всей этой поэзии в целом веяло благоуханьем богатой цивилизации, созревавшей в течение долгих веков,— другой такой не было нигде в Европе. Тот, кто вдохнул ее, уже не мог ее забыть. Она привлекала поэтов со всех концов земли. И они становились французскими поэтами, французскими до нетерпимости; и у французского классического искусства не было более ревностных учеников, чем эти англосаксы, эти фламандцы, эти греки.

Кристоф, ведомый Оливье, проникался задумчивой прелестью французской музы, хотя втайне все же предпочитал этой аристократической особе, которая была для него, пожалуй, слишком умной,— цветущую девушку из народа, простую, сильную, здоровую, которая меньше рассуждает, но крепче любит.

Тем же odor di bellezza [1] веяло и от всего французского искусства, как веет из осенних, разогретых солнцем лесов запахом созревшей земляники. Одним из этих скрытых в траве маленьких ягодников была музыка. Кристоф, привыкший в своей стране к гораздо более густым музыкальным зарослям, сначала прошел мимо него. Но вот легкий аромат заставил его оглянуться; и с помощью Оливье он открыл между колючек и блеклых листьев, присвоивших себе название музыки, утонченное и свежее искусство горсточки композиторов. Среди огородов и фабричных дымов демократии, посреди Плэн-Сен-Дени, в священной рощице плясали беззаботные фавны. И Кристоф

[1] Запахом красоты *(итал.)*.

изумленно слушал их пение, подобное флейте, безмятежное и насмешливое, непохожее ни на что слышанное им до сих пор:

Мне довольно тростничка,
Чтоб затрепетали травы...
И весь луг,
И тихий тополь,
И ручей, поющий скромно;
Мне довольно тростничка,
Чтобы целый лес запел...

Сквозь небрежную грацию и кажущийся дилетантизм этих пьесок для фортепиано, этих песенок, всей этой французской камерной музыки, которую немецкое искусство не удостаивало взглядом и чьей поэтической виртуозностью пренебрегал даже Кристоф, немецкий композитор начинал улавливать жар обновления и тревогу, неведомые на другом берегу Рейна и говорившие о том, что французские музыканты ищут на невозделанных землях своего искусства живые зародыши плодотворного будущего. В то время как немецкие музыканты окопались в становищах отцов и пытались превратить былые победы в преграду для развития мира, мир продолжал идти вперед; французы, шедшие в первых рядах, бросались в разведку: они исследовали далекие горизонты искусства, потухшие солнца и солнца, которые еще только загорались,— былую Грецию и Дальний Восток, после многовекового сна снова открывающий под лучами света свои удлиненные раскосые глаза, полные безмерных грез. В музыке Запада, текущей по руслам, проложенным духом порядка и классического разума, они открыли шлюзы древних ладов; и в бассейны Версаля начали вливаться воды со всей вселенной: народные мелодии и ритмы, экзотические и античные звукоряды, новые и древние интервалы. И если до них французские художники-импрессионисты — как некие Христофоры Колумбы красок — открыли глазу новый мир, то французские музыканты двинулись на завоевание вселенной звуков: они проникали все дальше в тайники слуха; в этих внутренних морях они открывали неведомые материки. Впрочем, вероятнее всего, они не воспользуются своими завоеваниями и, по обыкновению, останутся только пролагателями новых путей.

Кристоф восхищался дерзанием французской музыки, возродившейся только вчера и уже сегодня идущей в авангарде. А сколько было отваги в этой изящной маленькой особе! Он даже стал снисходительней к тем глупостям, которые еще так

недавно раздражали его. Не ошибается только тот, кто ничего не делает! А заблуждения, вызванные поисками живой истины, более плодотворны, чем истина мертвая.

Каковы бы ни оказались результаты, усилия были сделаны огромные. Оливье показывал Кристофу, что́ было достигнуто за тридцать пять лет и сколько было затрачено энергии, чтобы вывести французскую музыку из того небытия, в котором она пребывала до 1870 года: без собственной симфонической школы, без глубокой культуры, без традиций, без мастеров, без публики — с одним Берлиозом, задыхавшимся от недостатка свежего воздуха и от скуки. И Кристоф начинал уважать тех, что были творцами этого национального пробуждения; ему уже в голову не приходило придираться к ним за узость эстетических взглядов и за отсутствие таланта. Ведь они создали больше чем произведения — они создали целое племя музыкантов. Среди всех этих великих кузнецов, ковавших новую французскую музыку, одно имя было по-настоящему дорого Кристофу — имя Цезаря Франка, который умер, так и не дождавшись подготовленной им победы, и, подобно старику Шюцу, сберег в самый мрачный период французского искусства сокровище своей веры и гений своего народа. Знаменательное явление: среди веселящегося Парижа этому неземному Франку, этому святому от музыки, удалось пронести через жизнь, полную лишений и всеми презираемого труда, немеркнущую ясность терпеливой души, и отсюда — та смиренная улыбка, что осеняла светом добра его творчество.

Для Кристофа, не знавшего подлинной жизни Франции, появление этого верующего музыканта из недр народа-атеиста казалось почти чудом.

Но Оливье, слегка пожав плечами, спросил его, в какой еще европейской стране можно найти художника, сильнее сжигаемого огненным дыханием Библии, чем пуританин Франсуа Милле; ученого с более чистой душой и более глубокой, пламенной и смиренной верой, нежели Пастер. Не он ли преклонял колена перед идеей бесконечности и, когда эта идея овладевала им, «в минуты щемящей тоски», как он сам выражался, «молил свой разум пощадить его, так как готов был отдаться высокому безумию Паскаля». Католицизм не служил препятствием героическому реализму Пастера, так же как и исканиям страстного разума Паскаля, уверенно проходившего, не отклоняясь ни на шаг, «по кругам природных стихий, через непрони-

цаемый мрак бесконечно малых величин и последние бездны бытия, где зарождается жизнь. У народа глубинной Франции, из чьих недр они вышли, почерпнули они эту веру, которая всегда теплилась в толще французской земли и которую тщетно пыталась отрицать кучка краснобаев-демагогов. Оливье хорошо ее знал, эту веру,— он сам когда-то носил ее в своей груди.

Он указывал Кристофу на героические попытки обновить католицизм, предпринимавшиеся на протяжении четверти века, на мощные усилия христианской мысли во Франции найти сочетание веры с разумом, со свободой, с жизнью; на замечательных пастырей церкви, имевших мужество, как выражался один из них, «креститься в человека» и требовать для католицизма пра́ва все понимать, поддерживать каждую честную мысль, ибо «каждая честная мысль, если даже она — заблуждение, священна и божественна». Указывал на тысячи младокатоликов, давших великодушный обет создать христианскую республику, свободную, чистую, объединенную узами братства, открытую для всех людей доброй воли; невзирая на постыдную травлю и обвинения в ереси, несмотря на вероломство справа и слева (особенно справа), объектом которых являлись эти истинные христиане современности,— они, этот небольшой и бесстрашный отряд, продолжали идти вперед через суровое ущелье, ведущее к будущему; взор их был ясен, и они смиренно ожидали испытаний, ибо знали, что нельзя возвести прочное здание, не скрепив его своими слезами и своею кровью.

То же веяние животворящего идеализма и страстного либерализма возродило и другие религии, существовавшие во Франции. В гигантских, давно застывших организмах протестантизма и иудаизма просыпался трепет новой жизни. И все они стали состязаться в благородном стремлении создать религию свободного человечества, при которой ему ничем не пришлось бы жертвовать — ни мощью своего энтузиазма, ни мощью своего разума.

Эта религиозная экзальтация не являлась достоянием одних лишь религиозных людей — ею было проникнуто и революционное движение. И тут она становилась трагической. Кристоф знал до сих пор лишь низкопробный социализм, социализм политиканов, которые пытались ослепить свою изголодавшуюся клиентуру дешевой мишурой ребяческой и примитивной грезы о всеобщем счастье, или, проще говоря, о всеобщем наслаждении, которое, как они уверяли, могло быть обеспечено всем только с помощью науки, опирающейся на власть. И теперь этому тошнотворному оптимизму противостоял страстный

и полный мистической веры порыв интеллигенции, поведшей в бой синдикалистские рабочие организации. Она призывала к «войне, которая одна способна породить возвышенное и вернуть умирающему миру смысл, цель, идеал». Эти великие революционеры, с презрением отвергавшие «буржуазный, торговый, пацифистский социализм на английский лад», противопоставляли ему «трагическую концепцию вселенной, в которой антагонизм царит как закон» и которая жива только постоянной, все вновь приносимой жертвой. Армия, брошенная вожаками на приступ старого мира, вероятнее всего не понимала их воинствующего мистицизма, оправдывавшего свои насильственные действия философией Канта и Ницше одновременно. Однако зрелище этой революционной аристократии, чье опьянение пессимизмом, неистовая жажда героики, вера в войну и в жертву напоминали милитаристские и религиозные идеалы рыцарей Тевтонского ордена или японских самураев, не становилось от этого менее потрясающим.

Вместе с тем это было явление чисто французское, естественное для французской нации, основные черты которой оставались неизменными в течение ряда веков. Глядя на ее историю глазами Оливье, Кристоф узнавал все те же черты, он находил их у трибунов и проконсулов Конвента, у некоторых мыслителей, деятелей и реформаторов, живших при старом режиме. И как бы люди ни называли себя — кальвинистами, янсенистами, якобинцами или синдикалистами,— во всех жил тот же дух пессимистического идеализма, борющегося с человеческой природой, не ведающего иллюзий, но и не знающего разочарований; этот дух служил как бы железным костяком, который поддерживал нацию, а иногда и сокрушал ее.

Кристоф дышал теперь воздухом этих мистических борений и начинал постигать все величие фанатизма, в который Франция вносила такую непримиримую честность, о какой другие нации, более склонные к всевозможным combinazioni [1], и понятия не имели.

Подобно всем иностранцам, Кристоф вначале позволял себе довольно легковесные шуточки по поводу слишком явного противоречия между присущим французам деспотизмом и той магической формулой, которой республика любила украшать фасады зданий. Но теперь Кристоф впервые понял смысл той воинствующей свободы, которой они служили,— это был грозный меч Разума. Нет, культ Разума, оказывается, для них

[1] Комбинациям *(итал.)*.

не просто риторика, не туманная идеология. У народа, для которого требования Разума всего важнее, и борьба за него стоит на первом месте. И пусть народам, считающим себя практическими, подобная борьба кажется лишенной смысла! Ведь если вглядеться поглубже, то разве не столь же суетна борьба за овладение миром, за утверждение власти империи или власти денег? Через миллион лет от всего этого не останется и следа. Но если жизни придает цену как раз та напряженность борьбы, при которой бурно проявляют себя все силы человеческого существа — вплоть до принесения себя в жертву некоему высшему существу,— то едва ли найдется много битв, дающих человечеству право так гордиться собой, как битвы, неустанно ведущиеся во Франции за или против Разума. Тем, кто вкусил их терпкого хмеля, столь прославленная апатичная терпимость англосаксов кажется пресной и лишенной мужества. Англосаксы находят взамен другое применение для своей энергии. Но в эту борьбу они ее не вкладывают. Терпимость же только тогда приобретает черты величия и становится героизмом, когда она остается верной себе даже в самом разгаре борьбы партий. А в наши дни и в современной Европе она свидетельствует чаще всего лишь о равнодушии, отсутствии веры, отсутствии жизненной силы. Англичане, по-своему перефразируя Вольтера, охотно хвастают тем, что «различие верований породило в Англии бóльшую терпимость», чем Революция во Франции. Но во Франции, с ее Революцией, больше веры, чем в Англии со всеми ее верованиями.

Из этого железного круга воинствующего идеализма и боев за Разум Оливье, подобно Вергилию, ведущему Данте, вывел Кристофа за руку на вершину горы, где пребывала в спокойном безмолвии горсточка избранников — подлинно свободных французов.

И не было на свете людей более свободных, чем они. Их спокойствие — это спокойствие птицы, парящей в неподвижном небе. На этих высотах воздух был так чист, так разрежен, что Кристоф едва мог дышать. Там были художники, утверждавшие безграничную свободу мечты,— яростные субъективисты, презиравшие, как Флобер, «тупых скотов, верящих в реальность предметов»; мыслители, чья изменчивая и многообразная мысль, уподобляясь бесконечному потоку вещей, находящихся в движении, «текла и стремилась все дальше», нигде не закрепляясь, нигде не наталкиваясь на твердую почву, на скалу,

«отображая не все сущее, а все преходящее»,— как говорил Монтень,— «вечно *преходящее,* изо дня в день, из минуты в минуту»; там были ученые, познавшие ту вселенскую пустоту и то небытие, в котором человек сотворил свою мысль, своего бога, свое искусство, свою науку, и продолжавшие творить мир и его законы, эту гигантскую мечту-однодневку. Они не требовали от науки ни отдохновения, ни счастья, ни даже истины, ибо сомневались в возможности обрести ее; они любили науку ради нее самой, оттого что она была прекрасна,— только она и была прекрасна и только она была реальна. На вершинах мысли стояли они, эти ученые, эти страстные последователи Пиррона, равнодушные к страданиям и разочарованию, чуть ли не к самой действительности, и прислушивались, закрыв глаза, к безмолвному концерту душ, к сокровенной и величественной гармонии форм и чисел; эти прославленные математики, эти вольнолюбивые философы и вместе с тем самые суровые и позитивные умы находились на грани мистического экстаза; они исследовали вокруг себя пустоту; повиснув над бездной, они опьянялись ее головокружительной глубиной и, упоенные, ликуя, озаряли беспредельную ночь вспышками своей мысли, подобной молнии.

Кристоф, склонившись рядом с ними, тоже пытался заглянуть в бездну, и голова у него кружилась. Он, считавший себя свободным, потому что вышел из-под власти всякого закона, кроме закона своей совести, теперь видел, оторопев, свое ничтожество рядом с этими французами, свободными даже от бесспорных законов разума, от всякого категорического императива, от всякого целеустремленного понимания жизни. Так ради чего же они жили?

— Ради радости быть свободными,— отвечал Оливье.

Но Кристоф, терявший в этой свободе все точки опоры, начинал даже скучать о могучем духе дисциплины, о присущей немцам авторитарности; и он говорил:

— Ваша радость — самообман, греза, приснившаяся курильщику опиума. Вы опьяняетесь свободой, вы забываете о жизни. Абсолютная свобода для разума — безумие, для государства — анархия... Свобода! А кто свободен в этом мире? Кто свободен в вашей республике? Негодяи. Вас же, лучших, вас душат. Вам остается только мечтать. Но скоро вы даже мечтать не сможете.

— Пусть! — отвечал Оливье.— Тебе не понять, мой бедный Кристоф, того блаженства, которое дает свобода. Ради него стоит рискнуть всем, пойти на муки, даже на смерть. Быть сво-

бодным и чувствовать, что все человеческие существа вокруг тебя свободны духом,— да, даже негодяи! — это невыразимое наслаждение; кажется, будто душа парит в бесконечном просторе. И в иной среде она уже не могла бы жить. На что мне безопасность, которую ты мне сулишь, на что твой строгий порядок и безукоризненная дисциплина в четырех стенах твоей императорской казармы? Да я там умру, задохнусь. Воздуху! Все больше воздуху, все больше свободы!

— Для жизни законы необходимы,— возражал Кристоф.— Рано или поздно приходит хозяин.

Но Оливье насмешливо напомнил Кристофу слова старика Пьера д'Этуаля:

Столь же мало во власти
Всех сил земных
Лишить французов свободы слова,
Как запрятать солнце
В какую-нибудь
Яму.

И мало-помалу Кристоф привыкал к воздуху беспредельной свободы. С вершин французской мысли, на которых грезят те, чей дух стал светом, смотрел он на горные склоны, где героические избранники борются за живую веру, какова бы она ни была, и неутомимо рвутся вперед, ввысь,— те, кто ведет священную войну против невежества, болезней, нищеты; те, кого сжигает лихорадка изобретательства, кто охвачен разумным бредом современных Икаров и Прометеев, овладевающих световыми лучами, исследующих воздушные дороги и ведущих гигантское наступление науки на природу, которую они покоряют; немного ниже — кучка мужчин и женщин доброй воли, молчаливых, честных и смиренных, которые ценою бесконечных усилий поднялись до половины горы, но идти выше уже не могут, прикованные к своей убогой и трудной жизни и сгорающие втайне на огне своей молчаливой жертвенности; еще ниже, у самой подошвы, в узких ущельях между крутыми склонами кипел непрерывный бой,— это фанатики абстрактных идей и слепых инстинктов яростно сражались друг с другом, не подозревая о том, что над скалами, обступившими их стеной, есть еще нечто более высокое; а совсем внизу была трясина и скоты, валявшиеся в собственном навозе. И всюду — тут и там — по склонам горы были разбросаны свежие цветы искусства, благоухающие ягодники музыки, слышалось пение ручьев и птиц-поэтов.

И Кристоф спросил Оливье:

— А где же ваш народ? Я вижу только избранников, полезных или вредных.

Оливье отвечал:

— Народ? Он возделывает свой сад. Ему нет дела до нас. Каждая группа избранных старается перетянуть его к себе. А ему на всех наплевать. Сначала он еще слушал, просто забавы ради, зазывания политических скоморохов. Теперь он ради них и пальцем не двинет. Несколько миллионов людей даже не используют своих избирательных прав. Пусть партии грызутся между собой, народу от этого ни тепло, ни холодно,— только бы не потоптали в драке его поля. В таком случае он начинает колотить и правых и левых, не разбирая партий; сам по себе он не действует, а лишь противодействует, когда уж слишком мешают его работе и его отдыху. И кто бы ни управлял им — короли, императоры, республиканцы, священники, франкмасоны, социалисты — единственное, чего народ от них хочет,— это чтобы они защищали его от великих, всенародных бедствий: войны, беспорядков, эпидемий, а что до остального, то лишь бы ему не препятствовали мирно возделывать свой сад. В глубине души он думает:

«И когда только эти скоты оставят меня в покое!»

Но эти скоты настолько глупы, что они будут до тех пор приставать к простому человеку, пока он наконец не схватит вилы и не отшвырнет их прочь,— так он в один прекрасный день и поступит с нашими парламентариями.

Когда-то в прошлом он пылал жаждой великих дел; быть может, запылает опять, хотя он давно уже перебесился; во всяком случае, пыл народа недолговечен: народ быстро возвращается к своей извечной подруге — земле. Это она привязывает французов к Франции, да и не только французов. Столько разнообразных народов бок о бок трудятся уже много веков на этой честной земле, что она объединяет их; она — их великая любовь. И в счастье и в несчастье они неустанно возделывают ее; и все в ней мило им, даже самый маленький клочочек.

Кристоф смотрел вокруг: вдоль дорог, насколько хватал глаз, по краям болот, на скалах, на бывших полях сражений, среди развалин, оставшихся после военных действий, все было возделано — здесь раскинулся большой сад европейской цивилизации. Его несравненное очарование зависело столько же от щедрости плодородной почвы, сколько и от упорных усилий неутомимого народа, который в течение долгих веков не уставал ее рыхлить, засевать и обрабатывать.

Удивительный народ! Все обвиняют его в непостоянстве, а в нем ничто не меняется. Искушенный взгляд Оливье находил в готической скульптуре все типы современных жителей французской провинции; так же как в карандашных рисунках Клуэ и Дюмустье — усталые насмешливые лица представителей высшего общества и интеллигенции; а на картинах братьев Ленен — смышленые и ясные глаза рабочих из Иль-де-Франса и Пикардии. В умах современников продолжали жить мысли прошлого. Дух Паскаля оживал не только в среде рационалистической и религиозной интеллигенции, но и у безвестных буржуа, у синдикалистов-революционеров. Для народа искусство Расина и Корнеля оставалось живым, и парижский мелкий чиновник чувствовал, что какая-нибудь трагедия времен Людовика XIV ему понятнее, чем роман Толстого или драма Ибсена. Средневековые песни и французский «Тристан» были ближе современным французам, чем «Тристан» вагнеровский. Цветы мысли, которые с XII века не переставали распускаться в садах Франции, несмотря на все свое разнообразие, состоят между собой в тесном родстве, и каждый из этих цветков резко отличается от того, что лежит за пределами сада.

Кристоф слишком мало знал Францию, чтобы уловить неизменность ее основных черт, но что больше всего поражало его в ярком французском пейзаже — это крайняя раздробленность земельных богатств. У каждого, как говорил Оливье, имелся свой садик; каждый клочок почвы был отделен от остальных стенами, живыми изгородями и всякого рода оградами. Только изредка попадался общественный луг или рощица, да жители одного берега реки были по необходимости теснее связаны друг с другом, чем с жителями другого берега. Каждый замыкался в своем углу; и этот ревнивый индивидуализм, вместо того чтобы ослабевать после веков, прожитых бок о бок с соседями, казалось, стал теперь еще сильнее, чем когда-либо. И Кристоф говорил себе:

«Как же они одиноки!»

Трудно было найти более характерный пример, чем дом, в котором жили Кристоф и Оливье. Это был целый замкнутый мирок — Франция в миниатюре, честная и трудолюбивая. Но среди разнообразного населения этого уголка не было решительно никакой связи. Дом был шестиэтажный, дряхлый и покривившийся; скрипучие полы, источенные червями потолки. Крыша над Кристофом и Оливье — они жили на верхнем эта-

же — протекала, и пришлось нанять кровельщиков, чтобы хоть как-нибудь залатать ее. Кристоф слышал, как они работают у него над головой и разговаривают. Один особенно веселил и раздражал Кристофа. Он не смолкал ни на минуту: смеялся, пел, насвистывал всякий вздор, разговаривал сам с собой и при этом продолжал работать; что бы он ни делал, он непременно должен был заявить об этом во всеуслышанье:

— Ну-ка, забьем еще гвоздик. Куда же это мой молоток делся? Забил один. Второй. Эх, саданем-ка! Так! Получай, бабка, вот!..

Когда Кристоф начинал играть на рояле, кровельщик на мгновенье смолкал, затем принимался насвистывать еще усерднее; а при особенно увлекательных пассажах отбивал такт, оглушительно ударяя по крыше молотком. Наконец музыкант, выведенный из терпения, влез на стул и высунулся в окно мансарды, намереваясь хорошенько выругать беспокойного кровельщика. Но едва Кристоф увидел своего врага, сидевшего верхом на коньке крыши, увидел его добродушное лицо, его оттопыренную щеку, набитый гвоздями рот, он вдруг расхохотался, и рабочий тоже. Забыв о своей досаде, Кристоф разговорился с ним. Тут он вспомнил о причине, заставившей его высунуться в окно.

— Да, кстати,— сказал он,— я хотел спросить, может быть, моя музыка мешает вам?

Кровельщик заверил его, что нет, ничуть, но попросил, нельзя ли играть что-нибудь более быстрое — ведь он старается подладиться к музыке, а замедлять свою работу не может. Они расстались друзьями, и за эти четверть часа Кристоф наговорил с ним больше, чем за целых полгода со всеми обитателями дома, вместе взятыми.

На каждом этаже было по две квартиры: одна — из трех и одна всего из двух комнат. Комнат для прислуги не полагалось: каждая семья сама себя обслуживала, кроме жильцов первого и второго этажей, занимавших по две спаренные квартиры.

Соседом Кристофа и Оливье, живших на шестом этаже, был аббат Корнель, священник лет около сорока, очень образованный, вольнодумец, человек широкого ума, бывший преподаватель экзегетики в большой семинарии, недавно отстраненный Римом от своих обязанностей за слишком современный образ мыслей. Он принял эту кару, но не смирился, затаил протест в глубине души, не пытаясь бороться, отказываясь от предо-

ставленной ему возможности публично изложить свои взгляды, боясь излишнего шума и предпочитая крушение своих идей атмосфере скандала. Кристоф никак не мог понять этот тип смирившегося бунтовщика и не раз пытался беседовать с ним; аббат очень вежливо, но холодно выслушивал его, не упоминал ни словом о том, что сильнее всего его занимало, и, видимо, считал более достойным заживо похоронить себя.

На пятом, в такой же квартире, как и та, которую занимали друзья, проживало семейство Эли Эльсберже — инженер, его жена и две дочки семи и десяти лет, люди воспитанные, симпатичные; но жизнь они вели крайне замкнутую — главным образом из ложного стыда за свое стесненное положение. Молодая женщина мужественно посвятила себя хозяйству, хоть и считала, что это унижает ее: она согласилась бы работать вдвое, только бы никто ничего не знал,— еще одна черта французского характера, которую Кристоф отказывался понимать. Эльсберже были протестанты, с востока Франции. Несколько лет назад обоих захватила буря, поднятая делом Дрейфуса; они защищали его со страстью, подобно миллионам французов, которых семь лет трепал ветер этой священной истерики. Эльсберже пожертвовали для него своим отдыхом, положением, связями; ради него они порвали дорогие им отношения с людьми, едва не погубили свое здоровье. В течение долгих месяцев не спали по ночам, потеряли аппетит, возвращались с почти маниакальным упорством все к тем же доказательствам, подстрекали друг друга; несмотря на свою застенчивость и страх показаться смешными, участвовали в манифестациях, выступали на митингах. И возвращались оттуда с распаленным воображением и больной душой, а ночью вместе плакали. Они вложили в эту борьбу столько энтузиазма и страсти, что, когда наконец пришла победа, у них уже не хватило сил для радости; растратив энергию, они так и остались на всю жизнь разбитыми, опустошенными.

И так возвышенны были их надежды, так чист огонь жертвы, что реальная победа казалась просто смехотворной в сравнении с тем, о чем они мечтали.

У таких цельных натур, какими были супруги Эльсберже, натур, способных вместить только одну истину, всевозможные ухищрения и политические компромиссы их героев не могли не вызвать горького разочарования. Они оказались свидетелями того, как их соратники — люди, которых они считали во-

одушевленными такой же всепоглощающей жаждой справедливости,— едва враг был разбит, накинулись на добычу, захватили власть, места и почести и сами начали попирать ногами справедливость. Каждому свой черед... Осталась лишь горсточка единомышленников, не изменивших своим убеждениям: они были бедны, одиноки, отвергнуты всеми партиями, и сами, в свою очередь, отвергли их все. Они держались в тени, сторонясь друг друга, уже ни на что не надеясь, снедаемые печалью и неврастенией, охваченные отвращением к людям, придавленные тоской, уставшие от жизни. К числу этих побежденных относились и инженер с женой.

Они жили в доме беззвучно, как мыши, ибо ими владел почти болезненный страх побеспокоить соседей, хотя их самих очень беспокоили. Эльсберже из гордости не жаловались. Кристофу было очень жаль обеих девочек, чья потребность повеселиться, покричать, попрыгать, посмеяться то и дело подавлялась. Он обожал детей и, встречаясь на лестнице со своими маленькими соседками, старался приласкать их. Девочки вначале робели, но скоро привыкли к Кристофу, у которого всегда для них был в запасе смешной рассказ или какое-нибудь лакомство; они рассказывали про него отцу с матерью, и родители, сначала смотревшие косо на его любезность, постепенно поддались искренности и сердечности своего шумливого соседа, которого столько раз бранили за его игру на рояле и за несносную беготню у них над головой (Кристоф, задыхавшийся в своей комнатушке, метался по ней, как зверь в клетке). В разговоры они вступали нелегко. Грубоватые манеры Кристофа не раз вызывали возмущение Эли Эльсберже. Но инженер тщетно пытался остаться за той стеной сдержанности, которою он оградил себя от людей: устоять перед неистощимым добродушием этого человека, когда он смотрел на Эльсберже своим честным и добрым взглядом, было просто невозможно, и Кристофу время от времени удавалось вызвать соседа на откровенность. Эльсберже обладал своеобразным душевным складом — это был человек мужественный и вместе с тем апатичный, меланхолический и смиренный. У него хватало сил на то, чтобы с достоинством нести бремя своей трудной жизни, но не на то, чтобы ее изменить. Казалось, он даже был благодарен жизни, находя в ней оправдание для своего пессимизма. Незадолго перед тем ему предложили выгодное место в Бразилии — взять на себя руководство одним предприятием, но он отказался из-за климата, боясь подвергнуть риску здоровье семьи.

— Ну что ж, оставьте их здесь,— сказал Кристоф.— Поезжайте один и заработайте для них состояние.

— Оставить их здесь? — воскликнул инженер.— Сразу видно, что у вас нет детей.

— Уверяю вас, если бы они и были, я рассуждал бы именно так.

— Ни за что! Ни за что! И потом — уехать из Франции! Нет! Уж лучше страдать здесь.

Кристоф находил довольно странной такую манеру любить свою родину и своих близких, состоящую в том, чтобы вместе влачить жалкое существование. Но Оливье понимал инженера.

— Подумай,— говорил он,— ведь Эльсберже может умереть там, на чужой земле, где его никто не знает, вдали от тех, кто ему дорог! Все лучше, чем такой ужас! А потом, ради нескольких лет, которые людям суждено прожить, стоит ли идти на такую ломку?

— Зачем постоянно думать о смерти? — отвечал Кристоф, пожимая плечами.— И если даже это случится, то разве не лучше умереть, борясь за счастье тех, кого любишь, чем так и угаснуть в равнодушном бессилии?

Против них, тоже на пятом этаже, снимал маленькую квартирку рабочий-электротехник по фамилии Обер. Но если и Обер держался в стороне от всех остальных обитателей дома, то здесь была не только его вина. Этот человек, вышедший из народных низов, страстно желал никогда больше не возвращаться в прежнюю среду. Обер был щуплый, болезненный, с упрямым лбом, резкой чертой бровей и живыми пристальными глазами, взгляд которых вонзался, как бурав; у него были белокурые усы, насмешливый рот и глуховатый голос со свистящими хрипами, шея, вечно обмотанная шарфом, постоянный кашель, который еще усиливался от пристрастия к курению, лихорадочная подвижность,— словом, темперамент чахоточного. Смесью презрения, иронии и горечи он прикрывал душу восторженную, пылкую и наивную, которую постоянно обманывала жизнь. Незаконный сын какого-то буржуа, которого он не знал, воспитанный матерью, не имевшей никаких данных, чтобы заслужить его уважение, Обер видел в раннем детстве немало горя и грязи. Он сменил множество профессий, изъездил всю Францию. Благодаря неутолимой жажде знаний он ценою невероятных усилий стал образованным человеком, но был этим

обязан только себе; читал решительно все — историю, философию, декадентских поэтов; был в курсе всего: посещал театры, выставки, концерты. Он прямо-таки трогательно восхищался буржуазной литературой и буржуазными идеями, имевшими для него неодолимую притягательную силу. Он был весь пропитан той туманной и обжигающей идеологией, которая, как бред, владела буржуазией первых лет Революции. Обер твердо верил в непогрешимость разума, в бесконечный прогресс — quo non ascendam! [1] — в грядущее счастье на земле, верил и в могущество науки, верил в человечество, как в божество, и в величие Франции — старшей дочери этого человечества. Он был восторженным и легковерным антиклерикалом, всякую религию — особенно католицизм — считал мракобесием и видел в каждом священнике исконного врага просвещения. Социализм, индивидуализм, шовинизм — все перемешалось у него в голове. По своим взглядам этот самоучка был гуманист, по темпераменту — деспот, а по сути дела — анархист. Будучи человеком гордым и зная недочеты своего образования, он держался очень осторожно, прислушивался к тому, что говорят другие, но советов не спрашивал: это казалось ему унизительным. Все же, несмотря на его находчивость и сообразительность, эти качества не могли вполне заменить ему образование. Он возомнил себя писателем. Как и многие недоучившиеся французы, он обладал врожденным стилем и наблюдательностью, но в мыслях у него царила путаница. Он показал кое-что из своих писаний очень известному журналисту, в которого верил, а тот поднял его на смех. Глубоко уязвленный, Обер с тех пор уже ни с кем не говорил о своих произведениях. Но писать не бросил: у него была потребность изливаться вовне, и это давало ему горделивую радость. Сам он был весьма доволен своими витиеватыми рассуждениями и философским полетом мысли, которым была грош цена, и ни во что не ставил свои превосходные наблюдения над действительной жизнью. Он вообразил себя философом и непременно желал сочинять драмы с социальным содержанием и идейные романы, с маху решал самые неразрешимые вопросы и на каждом шагу открывал Америки. Убедившись, что они уже давно открыты, он испытывал разочарование, даже горечь, готовый, кажется, и тут усмотреть интригу. Его сжигала любовь к славе и жажда самопожертвования, и он страдал от невозможности найти применение своим силам. Обер хотел бы быть знаменитым писателем, принадлежать к Олимпу бумагомарателей,

[1] Куда я только не взберусь! *(лат.)*

которые представлялись ему облеченными каким-то божественным престижем. Но, невзирая на склонность к самообольщению, он обладал умом настолько трезвым и насмешливым, что не мог не понимать, как мало у него шансов подняться выше. И все-таки ему хотелось хотя бы жить в атмосфере буржуазной мысли и искусства, которая издали казалась такой лучезарной. Это желание, само по себе невинное, приводило, однако, к тому, что он тяготился людьми, в среде которых был вынужден жить. А так как буржуазное общество, с которым он мечтал сблизиться, запирало перед ним двери, он ни с кем не общался. Поэтому Кристофу не стоило никакого труда завязать с ним знакомство. Напротив, ему очень скоро пришлось ограждать себя от вторжений Обера, иначе тот зачастил бы к нему: он был слишком счастлив, найдя наконец себе друга-художника, с которым интересно было поговорить о музыке, театре и т. п. Интерес этот, разумеется, не был взаимным,— с человеком из народа Кристоф предпочел бы говорить о народе. А Обер этого не хотел, да он уже давно и забыл, что такое народ.

Чем ниже этажом, тем отношения между Кристофом и проживавшими там людьми становились, по вполне понятным причинам, все более отдаленными. Впрочем, надо было, вероятно, знать какую-то особую магическую формулу, какой-то «Сезам, отворись», чтобы проникнуть к обитателям четвертого этажа. По одну сторону площадки жили две дамы, точно застывшие в каком-то уже давнем трауре: г-жа Жермен, тридцатипятилетняя женщина, потерявшая мужа и дочку и жившая в глубоком уединении, и ее свекровь, набожная старуха. Против них обитала загадочная личность, мужчина неопределенного возраста — между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами — с девчуркой лет десяти. Он был лыс, носил пышную холеную бороду, говорил вкрадчиво, обладал изысканными манерами и аристократическими руками. Его фамилия была Ватлэ. Его считали анархистом, революционером, иностранцем, но неведомо какой национальности — может быть, русским, может быть, бельгийцем. На самом деле он происходил из северной Франции и едва ли был теперь революционером, хотя жил за счет своей былой репутации. Участник Коммуны 71-го года, приговоренный к смерти, он сам хорошенько не знал, как уцелел; лет десять он скитался по Европе. Ему пришлось быть свидетелем стольких мерзостей — и во время парижского шквала, и после, и в изгнании, и даже по возвращении на родину,— как со стороны былых товарищей, снова

примирившихся с режимом, так и со стороны представителей всех революционных партий, что он отошел от них и мирно хранил про себя свои убеждения, незапятнанные и бесполезные. Он много читал, пописывал осторожные, чуть крамольные книги, держал в своих руках (так, по крайней мере, утверждали) нити анархистских движений где-то очень далеко — не то в Индии, не то на Дальнем Востоке,— интересовался всемирной революцией и вместе с тем — столь же всемирными, но более безобидными вопросами: о всемирном языке, о новом общедоступном методе преподавания музыки. Он не поддерживал знакомства ни с кем из жильцов, ограничиваясь при встречах изысканно вежливым поклоном. Все же он снизошел до Кристофа и в нескольких словах поделился с ним основами своего метода преподавания музыки. Но как раз это меньше всего интересовало Кристофа. Ему было все равно, какими условными знаками тот выражает свои мысли; он сумел бы выразить их на любом языке. Однако Ватлэ настойчиво, с кротким упрямством продолжал объяснять свою систему, а об остальной его жизни Кристофу так ничего и не удалось узнать.

Поэтому, встречаясь с ним на лестнице, музыкант задерживался, только чтобы посмотреть на девчурку, неизменно сопровождавшую его: это была голубоглазая блондиночка, бледненькая и малокровная, с хрупким тельцем, тонким суховатым профилем и болезненным, не очень выразительным личиком. Кристоф считал, как все, что она родная дочь Ватлэ. Но она была сиротой, дочерью рабочего. Ватлэ удочерил ее, когда ей было четыре-пять лет, после того как ее родители умерли во время эпидемии. Он испытывал почти беспредельную любовь к бедным, особенно к детям бедняков. Эта нежность носила у него какой-то мистический оттенок, в духе Венсена де Поля, но так как Ватлэ относился с недоверием ко всякой официальной благотворительности и знал цену филантропическим обществам, он творил милостыню в одиночестве; он скрывал это ото всех, обретая в этом тайную радость. Чтобы стать людям полезным, он изучил медицину. Однажды, войдя к жившему поблизости рабочему, он нашел там больных и принялся их лечить. Он имел кое-какие медицинские познания и решил пополнить их. Ватлэ просто не мог видеть страдающего ребенка; сердце у него разрывалось на части. Но зато какая ни с чем не сравнимая радость охватывала его, когда удавалось вырвать из когтей болезни одно из этих бедных маленьких созданий, когда на худеньком личике опять появлялась слабая улыбка! Ватлэ таял от счастья. Это были поистине райские минуты. Он забывал тогда обо всех неприятно-

стях, которые обычно причиняли те, кто был ему обязан. Благодарными они бывали редко. Привратница просто бесилась оттого, что по ее лестнице ходит столько людей и натаскивает грязь, и с раздражением жаловалась на него. Домовладелец, обеспокоенный этими собраниями анархистов, стал наблюдать за жильцом. Ватлэ уже подумывал о том, чтобы переменить квартиру, но никак не мог на это решиться: у него были свои безобидные чудачества; мягкий и упрямый, он равнодушно относился к злословию соседей.

Своей любовью к детям Кристофу до известной степени удалось завоевать его доверие. Нашлась точка соприкосновения. Когда Кристоф видел девчурку Ватлэ, его сердце неизменно сжималось: благодаря какому-то необъяснимому сходству, которое он уловил инстинктивно, бессознательно, девочка напомнила ему дочку Сабины — той его первой, далекой любви, той воздушной тени, чья безмолвная прелесть неизгладимо запечатлелась в его душе. И потому он интересовался этой бледнушкой, которая никогда не прыгала, не бегала,— ее не было слышно; она жила без единой подружки-сверстницы, всегда одна, молча играла только в бесшумные, сидячие игры — с куклой или с деревяшкой, едва шевеля губами и шепотом рассказывая себе разные истории. Она была ласкова и вместе с тем равнодушна; в ней чувствовалась какая-то странная и непонятная отчужденность, но приемный отец не видел этого: он любил ее. Увы, эту отчужденность, эту непонятность не ощущаем ли мы всегда, даже в наших собственных детях, нашей плоти и крови?

Кристоф попытался познакомить маленькую отшельницу с девочками инженера. Однако и со стороны Эльсберже, и со стороны Ватлэ он наткнулся на решительный отпор — вежливый, но категорический. Казалось, что для каждого из этих людей похоронить себя заживо в своем одиноком углу — вопрос чести. В случае крайней нужды каждый из них, вероятно, и согласился бы помочь другому, но каждый боялся, как бы не подумали, что именно он-то и нуждается в помощи; и так как обе стороны были одинаково самолюбивы — и в одинаково стесненных обстоятельствах,— то не оставалось надежды на то, что один из них наконец решится протянуть руку другому.

Большая квартира на третьем обычно пустовала. Домовладелец оставил ее для себя, однако почти здесь не жил. Некогда он был коммерсантом, но ушел от дел, как только накопленное им состояние достигло суммы, которую он себе наметил. Боль-

шую часть года он проводил вне Парижа: зиму — в отеле на Лазурном берегу; лето — на Нормандском пляже, и жил жизнью мелкого рантье, который за небольшие деньги создает себе иллюзию роскоши, созерцая роскошь других, и ведет, как и они, бесполезное существование.

Маленькую квартиру снимала бездетная пара: г-н и г-жа Арно. Муж, лет сорока — сорока пяти, был преподавателем в лицее. Замученный уроками, исправлением тетрадей и занятиями с отстающими учениками, он так и не удосужился написать диссертацию и кончил тем, что отказался от мысли о ней. Жена, десятью годами моложе его, была миловидна и чрезвычайно застенчива. И муж и жена обладали умом, образованием и любили друг друга, но они не имели никаких знакомств и никогда нигде не бывали. У мужа совсем не оставалось свободного времени; у жены его было с избытком, но эта маленькая женщина честно и мужественно боролась с приступами меланхолии и, главное, умело скрывала их, стараясь развлечь себя всеми доступными для нее средствами: читала, сама делала выписки для мужа, систематизировала его выписки, чинила его одежду, мастерила себе платья и шляпки. Она с удовольствием бывала бы время от времени в театре, но самого Арно никуда не тянуло: к вечеру он слишком уставал. И жена смирялась.

Их величайшей радостью была музыка. Они обожали ее. Он не умел играть, а она, хоть и умела, однако была слишком застенчива, и, когда ей приходилось играть при ком-нибудь, даже при муже, казалось, что клавиши перебирает ребенок. Но и этого им было достаточно: Глюк, Моцарт, Бетховен — произведения которых под ее пальцами звучали, как лепет, были их близкими друзьями; оба они знали жизнь своих любимцев во всех подробностях, и страдания великих композиторов вызывали в сердцах супругов Арно горячую любовь и жалость. Счастье давали им и книги — хорошие книги, которые они читали вместе. Но в современной литературе так мало хороших книг: писателям нет дела до тех, кто не может дать им ни славы, ни наслаждений, ни денег,— вернее, нет дела до скромных читателей, ведь они никогда не бывают в высшем обществе, нигде не пишут и умеют только любить и молчать. Этого безмолвного сияния искусства, которое в честной и благоговейно внимавшей душе супругов Арно светилось почти неземным светом, и любви друг к другу было достаточно, чтобы они жили в мире, счастли-

вые, хотя и немного печальные (одно другого не исключает), очень одинокие и слегка ушибленные жизнью. Оба стояли гораздо выше той участи, которая выпала им в жизни. Голова г-на Арно была полна интересных мыслей, но у него не хватало времени, а теперь и смелости, чтобы изложить их на бумаге. Для опубликования статей и книг пришлось бы много хлопотать; игра не стоила свеч,— пустое тщеславие! Что он такое по сравнению с мыслителями, перед которыми он преклонялся! Он слишком любил искусство, чтобы взять на себя смелость «творить» самому! Такую претензию он счел бы смехотворной и дерзкой. Его удел, как он полагал, знакомить других с великими произведениями искусства. Так его идеи становились достоянием его учеников; когда-нибудь они напишут книги и в них разовьют эти идеи, разумеется даже не упомянув имени г-на Арно. Никто, кажется, не тратил столько денег на выписку всевозможных изданий. Бедняки ведь щедрее всех — они покупают книги; богатые же считают для себя чуть ли не оскорблением, если им не удается получить книгу даром. Арно разорялся на книги; они были его слабостью, его пороком. Он стыдился его и скрывал от жены, но она не упрекала мужа — на его месте она поступала бы так же. Они постоянно мечтали о сбережениях для путешествия в Италию, хотя отлично знали, что никогда туда не поедут, и смеялись над своей неспособностью копить деньги. Арно утешал себя: у него есть его дорогая жена и жизнь, полная труда и своих духовных радостей. А для нее разве этого недостаточно? И она отвечала: да. Она не решалась сказать, что ей было бы приятно, если бы муж приобрел некоторую известность, отблеск которой упал бы и на нее, осветил бы и ее жизнь, внес бы в дом благосостояние; духовная радость, конечно, вещь прекрасная, но немного света извне — это тоже неплохо! Все же она не протестовала, ибо была робка; и потом, она чувствовала, что если бы даже он стремился к известности, то вряд ли добился бы ее, да к тому же теперь и слишком поздно! Больше всего их огорчало, что у них нет детей. Они скрывали друг от друга свою печаль, и тем глубже была их нежность. Они словно просили друг у друга прощения. Г-жа Арно была доброй и ласковой, она охотно сблизилась бы с г-жой Эльсберже, но не решалась: та не шла ей навстречу. Что же касается Кристофа, то муж и жена с удовольствием познакомились бы с ним: он заворожил их своей музыкой, доносившейся к ним с пятого этажа. Тем не менее они ни за что на свете не сделали бы первого шага: нельзя же быть навязчивыми.

Весь второй этаж был занят г-ном и г-жой Феликс Вейль, богатыми бездетными евреями, проводившими полгода в окрестностях Парижа. Хотя они жили в этом доме уже двадцать лет (правда, только по привычке, ибо, конечно, могли бы найти квартиру, более соответствующую их состоянию), они казались здесь случайными, временными жильцами. Вейли ни разу не заговорили ни с кем из соседей, и об этой паре было известно не больше, чем в первый день их приезда, что, однако, не мешало людям судачить о них,— их не любили. Да они как будто и не старались вызвать любовь. Все же они заслуживали того, чтобы к ним пригляделись получше: оба были превосходными людьми и притом выдающегося ума. Муж, уже шестидесятилетний старик, прославился своими раскопками в Средней Азии,— он занимался историей Ассирии; обладая широким кругозором и любознательностью, как это присуще большинству мыслителей его народа, он не ограничивался узкими рамками своей специальности, а интересовался также искусством, социальными вопросами, всеми явлениями современной мысли. Но ни одно из них не захватывало его целиком, ибо все было интересно и ничто не удовлетворяло. Он был очень умен, слишком умен, слишком свободен от всяких оков и всегда готов левой рукой разрушить то, что создал правой, а создавал он немало — большие труды и собственные теории; он был настоящим тружеником и в силу привычки и ради гигиены мышления продолжал терпеливо и основательно вспахивать свою ниву знаний, не веря, впрочем, в полезность того, что делает. Вейль имел несчастье всю жизнь быть богатым: ему так и не пришлось испытать, что такое борьба за существование; после своих исследований на Востоке, через несколько лет уже наскучивших ему, Вейль отказался вообще от всех официальных должностей. Однако, помимо изысканий, он с присущей ему прозорливостью занимался и злободневными проблемами, а также социальными реформами, имевшими непосредственное практическое значение,— как, например, реорганизация народного образования во Франции. Он любил выдвинуть новую идею, создать какое-нибудь течение; приводил в действие интеллектуальные механизмы и тотчас испытывал к ним отвращение. Сколько раз вызывал он негодование тех, кого сам побудил отстаивать какую-нибудь затею, а потом вдруг обрушивался на них с беспощадной и ядовитой критикой.

Делалось это не нарочно — такова была потребность его натуры; крайне нервный и насмешливый, он едва был в силах выносить все то нелепое в жизни и людях, что невольно подме-

чал со свойственной ему проницательностью. И так как нет ни одного благого начинания и ни одного хорошего человека, в которых, если взглянуть на них с определенной точки зрения и через увеличительное стекло, не оказалось бы смешных сторон, то ирония Вейля не щадила никого. А таким путем друзей не наживешь. И все-таки он искренне желал делать и делал людям добро, но люди не очень-то ценили это добро: даже те, кто был обязан ему, в глубине души не могли простить, что оказались в его глазах смешными. Он мог любить людей, лишь когда не видел их слишком уж близко. Не потому, что был мизантропом. Для такой роли ему не хватало самонадеянности. Он робел перед этим миром, который высмеивал, и в глубине души не чувствовал уверенности, что прав он, а не этот мир; поэтому он старался не слишком выделяться среди остальных людей, заставляя себя подражать им и в своем поведении, и во взглядах. Но тщетно: он не мог удержаться от критики, ибо слишком остро воспринимал всякое нарушение чувства меры, всякий недостаток простоты и не умел скрывать свою досаду. Особенно был он чувствителен к смешным сторонам в характере евреев. Вейль слишком хорошо знал их. Невзирая на все свое свободомыслие, отрицавшее любые преграды между народами, он все же нередко поневоле наталкивался на барьер, воздвигнутый перед ним людьми других национальностей; и так как Вейль, не признававший таких барьеров, все же чувствовал себя чуждым христианскому мышлению, то, не теряя собственного достоинства, уходил в себя, довольствуясь иронией и действительно глубокой привязанностью к жене.

Хуже всего было то, что даже ее не щадила ирония Вейля. Это была добрая, энергичная женщина, жаждавшая быть полезной людям и отдававшая все свое время делам благотворительности. Натура гораздо менее сложная, чем муж, она как бы остановилась в своем развитии, не идя дальше того, что — при всей своей доброй воле — несколько рассудочно и узко считала своим высоким долгом; и вся ее жизнь, не слишком веселая, жизнь без детей, без большой радости и большой любви, опиралась на эту моральную веру, скорее на стремление верить. Муж не мог не чувствовать той доли самовнушения, которая крылась в этом, и, повинуясь непреодолимой потребности иронизировать, подшучивал над женой. Он весь состоял из противоречий: перед идеей нравственного долга он преклонялся, быть может, не меньше, чем жена, но вместе с тем испытывал непобедимое желание анализировать и критиковать, вечно опасаясь, что кто-то оставит его в дураках, а это вынуждало его топтать

и крушить принятый и проверенный им «категорический императив». Муж не замечал, что вырывает почву из-под ног жены и самым жестоким образом лишает ее мужества. Когда он это чувствовал, то страдал даже сильнее ее; но зло было уже сделано. Тем не менее они продолжали преданно любить друг друга, работать и делать добро. Однако холодная чопорность жены отталкивала людей не меньше, чем насмешки мужа, и так как они были слишком горды, чтобы кричать о своих добрых делах, их сдержанность принималась за равнодушие, а замкнутость — за эгоизм. Но чем острее они чувствовали отношение к себе людей, тем меньше старались его изменить. Как бы в противовес бесцеремонной навязчивости многих представителей их нации, они оказались жертвами чрезмерной сдержанности, под которой таилось немало гордыни.

Что касается первого этажа, откуда по нескольким ступенькам можно было спуститься в маленький садик, то там жил майор Шабран, отставной артиллерийский офицер колониальных войск. Этот еще не старый, крепкий человек участвовал в ряде блестящих кампаний в Судане и на Мадагаскаре; затем внезапно все послал к черту, засел в этом доме, объявил, что больше слышать не хочет об армии, и проводил целые дни, копаясь на своих клумбах; безуспешно учился играть на флейте, ворчал на политику и изводил дочь, которую обожал. Это была молодая женщина лет тридцати, не красавица, но очень миловидная, преданно любившая отца и не вышедшая замуж, только чтобы не расставаться с ним. Кристоф часто видел их обоих из окна. И — что вполне естественно — больше обращал внимания на дочь, чем на отца. Она же под вечер проводила по нескольку часов в саду, шила, мечтала, возилась с цветами и была неизменно ласкова со своим ворчуном-отцом. До Кристофа доносился ее спокойный, звонкий голос, весело отвечавший отцу, говорившему обычно сердитым и повелительным тоном и без конца шагавшему по песку дорожек. Затем он возвращался домой, а она оставалась сидеть на садовой скамейке и шила в течение долгих часов, не меняя позы, не произнося ни слова, улыбаясь мечтательной улыбкой, в то время как бывший вояка упражнялся в комнатах на своей пискливой флейте или для разнообразия неловкими пальцами извлекал аккорды из расстроенной фисгармонии, вызывая у Кристофа то смех, то досаду (смотря по настроению).

Все эти люди жили бок о бок в доме, отрезанном от улицы садом, укрытые от жизненных бурь, отделенные даже друг от друга непроницаемыми перегородками. Только Кристоф, со своей потребностью общения и избытком жизненных сил, распространял на них всех, хотя и без их ведома, свою симпатию — слепую и прозорливую; Кристоф их не понимал, да и мог ли он их понять? Ему недоставало той способности психологического проникновения, которой был наделен Оливье. Но он любил их; невольно ставил себя на их место,— и медленно, таинственно и неуклонно, как прилив, возникало в нем смутное понимание этих жизней — таких близких и вместе с тем таких далеких; тогда он чувствовал, как цепенела в своей скорби вдова, и постигал стоическую и гордую скрытность священника, еврея, инженера, анархиста; и бледное пламя кроткой нежности и веры, сжигавшее сердце обоих Арно; и простодушное стремление к знанию человека из народа; и затаенный бунт и бесполезную энергию майора, которые тот подавлял в себе; и покорное спокойствие девушки, грезившей в тени сирени. Но в эту безмолвную музыку душ способен был проникнуть только Кристоф; они сами ее не слышали — каждый был поглощен своей собственной печалью и своими грезами.

Впрочем, все они работали — и старый ученый скептик, и инженер-пессимист, и священник, и анархист, все эти гордецы и неудачники. А надо всем пел свою песнь кровельщик.

И за стенами дома Кристоф замечал у лучших из людей то же моральное одиночество, даже когда они объединялись.

Оливье познакомил его с членами редакции маленького журнальчика, где сотрудничал сам. Журнальчик назывался «Эзоп» и взял себе в качестве девиза следующие строки Монтеня:

«Эзопа выставили для продажи вместе с двумя рабами. Покупщик спросил первого раба, что он умеет делать. И тот, желая похвалиться, наговорил с три короба; второй столько же, коли не больше. Когда дело дошло до Эзопа и его тоже спросили, что он умеет делать, то он ответствовал: «Ничего, ибо эти двое все себе забрали; они все умеют».

Таков был презрительный ответ журнала на «бесстыдство», как выражался Монтень, тех, «кто всегда все знает и непомерно заносится». На самом деле скептики из «Эзопа» обладали са-

мой искренней верой, но публику эта маска иронии, конечно, не очень привлекала,— больше того, сбивала с толку. Народ идет лишь за тем, кто ему говорит о жизни простой, ясной, разумной и надежной. Пышущую здоровьем ложь он предпочитает худосочной истине. Скептицизм приемлем для него лишь в том случае, если за ним скрывается либо природная сила, либо христианское идолопоклонство. Тот презрительный пирронизм, в который драпировался «Эзоп», мог быть понят лишь очень немногими alme sdegnose [1], уверенными в своей внутренней силе. Но для действия эта сила не годилась.

Впрочем, это их не тревожило. Чем Франция становилась демократичнее, тем, казалось, все более аристократичными становились ее мысль, ее искусство, ее наука. Наука, говорившая на своем особом языке, укрывшаяся в глубине своего святилища под тройным покрывалом, приподнять которое могли только посвященные, была куда менее доступна, чем в эпоху Бюффона и энциклопедистов. Искусство,— по крайней мере, то, которое уважало себя и служило прекрасному,— также было замкнутым: оно презирало народ. Даже среди писателей, для которых действие было важнее красоты, среди тех, для кого на первом плане стояли идеи нравственного порядка, а не эстетические,— даже среди них царил какой-то странный дух аристократизма. Казалось, им важнее сохранить в чистоте свой внутренний огонь, чем зажечь им других. Как будто главное — исповедание своих идей, а не их победа в жизни.

Все же среди них попадались люди, которых занимали проблемы народного искусства. Одни, из числа наиболее искренних, провозглашали в своих произведениях идеи анархические и разрушительные, истины, еще далекие и годные лишь для грядущего, быть может и благотворные через столетие или двадцать веков, но в настоящее время действовавшие на души, как огонь и ржавчина; другие писали пьесы, полные горечи, грусти или иронии, без всяких иллюзий. Кристоф, прочитав такую пьесу, обычно бывал дня на два выбит из колеи.

— И вы это показываете народу? — спрашивал он, охваченный жалостью к людям, приходившим в театр, чтобы хоть на несколько часов забыть о своих горестях, и вместо этого вынужденным развлекаться столь мрачными произведениями.— Ведь так можно совсем доконать человека.

— Не беспокойся,— отвечал, смеясь, Оливье.— Народ туда не ходит.

---

[1] Гневными душами *(итал.)*.

— И очень умно делает, черт возьми! Вы просто сумасшедшие! Вы, что же, хотите лишить его последнего мужества, подорвать его волю к жизни?

— Почему же? Разве ему не следует, как и нам, научиться понимать, насколько жизнь печальна, и все-таки мужественно выполнять свой долг?

— Мужественно? Сомневаюсь. И, уж во всяком случае, удовольствия от этого он не получит. А если в человеке убить радость жизни, он далеко не уйдет.

— Но что же делать? Мы не вправе искажать истину.

— Однако нельзя и открывать ее всем до конца.

— И это говоришь ты? Но ты же сам не устаешь требовать истины, уверяешь, что любишь ее больше всего на свете!

— Да, я требую истины для себя и для тех, чьи плечи достаточно сильны, чтобы нести ее бремя. Но открывать ее другим глупо и жестоко. Теперь я это вижу со всей ясностью. В моей стране мне бы это никогда в голову не пришло; там, в Германии, люди не болеют, как здесь, жаждой истины: они слишком дорожат жизнью и предпочитают — из осторожности — видеть только то, что хотят видеть. А я и люблю вас за то, что вы не такие: вы — смелые, вы играете в открытую. Но вы бесчеловечны. Когда вам кажется, что вы откопали какую-нибудь истину, вы выпускаете ее в мир, не заботясь о том, что она, подобно библейским лисицам с пылающими хвостами, может поджечь этот мир. Вы предпочитаете истину собственному счастью, и за это я вас уважаю. Что же касается счастья других — тут уж оставьте! Слишком много на себя берете. Истину нужно любить больше самого себя, но ближнего — больше истины.

— И поэтому ему нужно лгать?

Кристоф ответил словами Гете:

«Среди самых высоких истин мы имеем право высказывать только те, которые могут послужить ко благу человечества. Остальные мы должны хранить в себе; подобные мягким отблескам незримого солнца, они будут озарять своим светом все наши поступки.

Однако такого рода щепетильность была чужда французским писателям. Они не спрашивали себя, посылает ли тот лук, который они натянули, стрелу «идеи» или «смерти», или и то и другое вместе. Им недоставало любви. Если у француза появляются идеи, он жаждет навязать их всем, он жаждет этого и в том случае, когда идей вовсе нет. Если же он убедится, что

это не в его силах, то он отходит в сторону. Вот почему эти сливки интеллигенции так мало интересовались политикой. Каждый замыкался в своей вере или в своем неверии.

Немало было сделано попыток бороться с этим индивидуализмом и создавать какие-то группировки, но большинство подобных объединений тут же превращалось в литературные говорильни или переходило в нелепую кружковщину. И лучшие из них разносили друг друга в клочья. В этой среде были личности выдающиеся, полные силы и веры, прямо предназначенные для того, чтобы объединить и направить людей доброй, но слабой воли. Однако у каждого имелось свое стадо, и он не соглашался, чтобы оно растворилось в общем стаде. Так существовала эта небольшая горсточка журнальчиков, союзов, обществ, имевших решительно все нравственные добродетели, кроме одной: способности к самоотречению, ибо ни одно из этих объединений не желало ничем поступиться ради другого; и, оспаривая таким образом друг у друга крохи внимания, уделяемые им честными читателями — весьма немногочисленными и еще менее удачливыми,— они некоторое время кое-как существовали — худосочные, голодные; затем распадались, чтобы уже не воскреснуть. И притом не от ударов врага, а, что обиднее всего, от ударов, наносимых своими же собратьями. Представители всех этих разнообразных профессий — литераторы, драматурги, поэты, прозаики, педагоги, журналисты — образовали множество мелких каст, делившихся, в свою очередь, на еще более мелкие, причем доступ членам одной касты в другую был закрыт. Никакого общения. Во Франции ни по одному вопросу не существовало единодушия, за исключением редких случаев, когда это единодушие принимало эпидемический характер, но тогда охваченные им люди обычно совершали ошибки, ибо оно имело нездоровую основу. Во всех сферах деятельности господствовал индивидуализм — в области научных исследований не меньше, чем в торговле, где он не позволял коммерсантам объединяться и создавать предпринимательские организации. Этот индивидуализм не бросался в глаза, не переливался через край, но он сидел в людях крепко и упорно. Каждый хотел быть сам по себе, не брать на себя обязательств, не смешиваться с другими — из страха перед их возможным превосходством,— не нарушать покоя своего горделивого одиночества; таковы были тайные побуждения почти всех этих людей, основывавших «особые» журналы, «особые» театры, «особые» группы; чаще всего подобные театры, журналы и группы возникали единственно потому, что люди старались обособиться,

не умели объединиться с другими в каком-либо деле или идее, не доверяли другим; или же это была вражда между партиями, натравливавшими друг на друга людей достойных, близких по образу мыслей.

Даже когда уважающие друг друга литераторы объединялись вокруг какого-нибудь общего начинания, подобного хотя бы «Эзопу», они, казалось, были все время настороже, им не хватало того неудержимого добродушия, которое столь часто встречается у немцев и становится подчас даже обременительным. В этой группе молодых людей один [1] особенно привлекал к себе Кристофа, так как музыкант чуял в нем исключительную силу; это был писатель, обладавший железной логикой, стойкой волей, всего себя отдававший служению высшей морали, служению бескорыстному, и готовый пожертвовать во имя ее целым миром и самим собой; чтобы отстаивать свои взгляды, он создал журнал, причем почти все в этом журнале писалось им самим; он поклялся бороться за идею чистой, героической и свободной Франции, авторитет которой признали бы не только во Франции, но и во всей Европе. Он твердо верил, что настанет день, когда все поймут, что он вписал в историю французской мысли одну из ее самых смелых страниц; и он не ошибался. Кристофу очень хотелось узнать его поближе и сойтись с ним. Но как? Хотя Оливье постоянно приходилось иметь с ним дело, они встречались редко, и их разговоры никогда не принимали интимного характера; самое большее, если они обменивались иногда отвлеченными мыслями; вернее (для точности следует отметить, что никакого обмена не было, каждый оставался при своем), они произносили в присутствии друг друга монологи, каждый в отдельности. И все-таки были настоящими боевыми товарищами и знали себе цену.

Их сдержанность вызывалась многими причинами, разобраться в которых даже им самим было бы трудно. Прежде всего — чрезмерным критицизмом, который видит в слишком беспощадном свете непреодолимые различия между людьми с разным складом ума, и чрезмерным интеллектуализмом, придающим слишком большое значение этим различиям. Может быть, здесь играл роль недостаток непосредственной, горячей симпатии, которая может возникнуть только из любви, только у того, кому любовь необходима, чтобы жить. Может быть, сказывалась также давящая тяжесть взятой на себя задачи, слишком трудная жизнь, лихорадочная работа мысли, после которой уже

[1] Шарль Пеги.— *Р. Р.*

не хватает сил наслаждаться вечером дружеской беседой. Или, наконец, то ужасное чувство, в котором француз боится сознаться даже самому себе, но которое порой гремит в его душе, как отдаленный гром: *не все французы принадлежат к одной расе;* на одной и той же французской земле живут люди разных рас, разных национальностей, оставшихся от разных эпох, и хотя они объединены в один народ, они все же мыслят по-разному, и не следует, в общих интересах, даже желать единомыслия. А сверх всего этого — опьяняющая и опасная страсть к свободе: раз вкусив ее, чем ради нее не пожертвуешь! Это одиночество свободного индивидуума тем более драгоценно, что куплено оно годами испытаний. Избранные искали его, чтобы избежать порабощения со стороны посредственности. Оно явилось реакцией на тиранию религиозных и политических блоков и гнет такого чудовищного пресса, как семья, как общественное мнение, как государство, тайные общества, партии, кружки, школы, которые во Франции придавливают личность. Представьте себе узника; чтобы освободиться, ему нужно одолеть одну за другой два десятка стен. Если он все-таки их одолеет, не сломав себе шеи, значит он действительно силен. Суровая школа для свободной воли! Но те, кто прошел через нее, на всю жизнь сохраняют в своем характере какую-то жесткость — они помешаны на независимости и не способны слиться с другими людьми.

Помимо одиночества из гордости, существовало одиночество, вызванное отречением от жизни. Сколько во Франции отличных людей, которых доброта, любовь, чувство собственного достоинства заставляют удалиться от мира! Тысячи причин уважительных и неуважительных мешают им действовать. У одних — это покорность, робость, сила привычки. У других — уважение к человеческому достоинству, страх быть смешным, боязнь оказаться слишком на виду, стать жертвой осуждения черни, опасение, что самые бескорыстные поступки будут истолкованы как служение личным интересам. Один уклоняется от участия в политической и социальной борьбе, другая не участвует в делах благотворительности, ибо оба видят, что слишком многие занимаются этим без всякой совести и смысла, и опасаются, как бы их также не причислили к шарлатанам и глупцам. И почти во всех чувствуется усталость, боязнь действия, страданий, уродства, глупости, риска, ответственности и роковое «зачем», из-за которого в наши дни опускаются руки у стольких французов. Они слишком умны (причем это ум бескрылый), слишком отчетливо видят все «за» и «против». У них не хватает сил, не хватает жизни. Когда человек полон жизни,

он не спрашивает, зачем ему жить,— он живет, оттого что жить — это замечательно!

Наконец, лучших удерживает от действия сочетание привлекательных и довольно распространенных черт: кроткая философия, умеренность желаний, любовь к семье, к родным местам, к определенным нравственным навыкам, деликатность, боязнь оказаться навязчивым, помешать, стыдливость чувств, постоянная сдержанность. Иногда все эти милые, симпатичные черты совмещаются даже с безмятежностью духа и мужеством; однако во всем этом сказывалось усиливающееся малокровие и постепенный упадок жизненных сил французской нации.

Прелестный садик, как бы расцветший на дне колодца и прилегавший к дому, где жили Кристоф и Оливье, мог бы служить символом этой особой маленькой Франции. Зеленый уголок, закрытый для внешнего мира. Только иногда носившийся на воле буйный ветер вихрем налетал на него сверху и приносил мечтавшей в нем девушке дыхание далеких полей и необъятных зеленых просторов.

Теперь, когда Кристоф начинал понимать, какие скрытые источники сил таит в себе Франция, его возмущало, что она позволяет всякому сброду угнетать себя. Кристоф задыхался в том сумраке, в котором жили эти избранные. Стоицизм хорош только для беззубых. Кристофу же необходим был вольный воздух, широкая аудитория, солнце славы, любовь миллионов, возможность обнять тех, кто ему дорог, обличать врагов, бороться и побеждать.

— Ты сильный,— сказал ему Оливье,— ты можешь, ты создан для того, чтобы побеждать даже при помощи твоих (извини меня ) пороков, а не только добродетелей, и потом ты имеешь счастье принадлежать к народу, не страдающему избытком аристократизма. Действие тебе не претит. Ты способен — при необходимости — даже стать политическим деятелем! И тебе дано неоценимое счастье выражать свои мысли в музыке. Тебя не понимают. Поэтому ты можешь все им говорить. Если бы люди знали, сколько презрения к ним в твоей музыке, сколько веры в то, что они отрицают, и слышали бы этот несмолкающий гимн в честь того, что они всячески стараются убить, они бы тебе не простили; они подвергли бы тебя такой травле, таким преследованиям, что ты растратил бы свои лучшие силы на борьбу с ними; и как бы ты ни был прав, тебя бы уже не хватило на то,

чтобы выполнить свое назначение: твоя жизнь была бы кончена. Торжество великих людей— обычно плод недоразумения: их принимают за нечто как раз обратное тому, что они есть на самом деле, и поэтому ими восхищаются.

— Ну, еще бы! — пробурчал Кристоф.— Вы не знаете, насколько трусливы ваши хозяева. Я сначала считал, что ты одинок, и извинял твою пассивность. А оказывается, вас целая армия единомышленников. Да вы во сто крат сильнее ваших угнетателей, им грош цена по сравнению с вами, как же вы позволяете всяким наглецам командовать собой! Я отказываюсь понимать вас! У вас самая лучшая страна, самая лучшая интеллигенция, самое высокое представление о человечности, а вы — точно безрукие и еще позволяете какой-то шайке прохвостов ездить на вас верхом, попирать вас ногами! Какого черта, станьте же самими собой! Нечего ждать, пока вам поможет господь бог или какой-нибудь Наполеон! Вставайте! Объединяйтесь! За дело! Выметайте мусор из своего дома.

Однако Оливье, насмешливо и устало пожав плечами, сказал:

— Что же? Драться с ними? Нет, это не наша роль, у нас есть дела поважнее. Мне лично насилие претит. Я слишком хорошо знаю, к чему оно приводит. Озлобленные старики неудачники, молодые щелкоперы-роялисты, гнусные апостолы всякого зверства и ненависти примазались бы к моему делу и обесчестили бы его. Ты что же, хочешь, чтобы я вернулся к древнему девизу ненависти: «Fuori Barbari!» [1] — или: «Франция для французов»?

— А почему бы и нет? — спросил Кристоф.

— Это, друг мой, недостойно француза! И напрасно у нас пропагандируют такие идеи под видом патриотизма. Подобный лозунг годится только для варваров. Наша страна не создана для ненависти. Гений нашего народа утверждает себя, не разрушая других, а поглощая их. Пусть к нам приходит и глубокомысленный Север, и болтливый Юг.

— И ядовитый Восток?

— И ядовитый Восток; мы растворим его в себе, как и остальных! Не он первый, не он последний. Мне просто смешон его победоносный вид, а также малодушие некоторых моих соотечественников. Пусть воображает, что завоевал нас; пусть распускает веером хвост на наших бульварах, в наших газетах и журналах, на наших подмостках — и театральных и политиче-

[1] Вон варваров! *(итал.)*

ских. Глупец! Он же побежден! Напитав нас собой, он сам себя уничтожит. У Галлии хороший желудок: за двадцать веков она переварила не одну цивилизацию. Нам яды уже не опасны... А вы, немцы, трепещите,— ваше дело! Вы либо сохраните свою чистоту, либо исчезнете. Для нас же дело вовсе не в чистоте, а в универсальности. У вас есть император, Великобритания называет себя империей, но на самом деле надо всем этим царит наш латинский гений. Мы — граждане вселенского города. Urbis. Orbis.

— Все это так,— ответил Кристоф,— пока нация здорова и в расцвете сил. Но в один прекрасный день ее энергия иссякает; и тогда она рискует быть затопленной чужеземцами. Между нами: тебе не кажется, что этот день наступил?

— Сколько раз уже это говорилось на протяжении веков! И всегда наша история опровергала все страхи! Мы выдерживали испытания и посерьезнее, начиная с времен Орлеанской девственницы, когда по опустевшему Парижу рыскали стаи голодных волков. Безудержный разврат, погоня за наслаждениями, бесхарактерность и равнодушие, современная анархия — все это меня не трогает. Терпение! Кто хочет выжить, тот должен выдержать. Я отлично знаю, что последует моральная реакция,— она, впрочем, ничем не будет лучше и, вероятно, приведет также к ряду глупостей; и ее самыми усердными служителями как раз и окажутся те, кто сейчас живет за счет коррупции общества. Но что нам до того! Все эти волнения никак не затрагивают подлинного народа Франции. Гнилое яблоко не портит яблони. Оно просто падает. Эти люди вне нации. И какое нам дело, будут ли они жить или умрут? Неужели же мне из-за них тревожиться и устраивать какие-то общества и революции? Нынешнее зло — не результат того или иного режима. Бацилла этой проказы — роскошь; эти люди паразитируют на нашем материальном и интеллектуальном богатстве, но от них и следа не останется.

— После того, как они высосут из вас все.

— Когда речь идет о народе, подобном нашему, не имеешь права отчаиваться. В нем столько скрытых достоинств, такая сила света и действенного идеализма, что эти качества сообщаются даже тем, кто этот народ эксплуатирует и разоряет. Даже своекорыстные политиканы испытывают на себе его влияние. Самые ничтожные, придя к власти, бывают потрясены величием его судеб; народ как бы заставляет их подняться над их ничтожеством; он передает им из рук в руки свой факел; и, один за другим, они возобновляют извечную борьбу против тьмы. Гений их народа увлекает их за собой; и волей-неволей они выполняют

законы того бога, которого отрицают: Gesta Dei per Francos[1]. Родина, дорогая родина, никогда я не усомнюсь в тебе! И если даже на твою долю выпадут самые грозные испытания, они только усилят чувство гордости, которое вызывает во мне наша миссия на земле. Я вовсе не хочу, чтобы моя Франция трусливо сидела взаперти, как больной, боящийся свежего воздуха. Я не хочу прозябать. Когда народ достиг такого величия, какого достигли мы, лучше умереть, чем утратить его. Так пусть же весь мир обрушит на нас поток своей мысли! Я не боюсь его. Воды схлынут, напитав и удобрив своим илом мою землю.

— Бедненький мой,— сказал Кристоф,— но ведь пока-то уж очень невесело! И где ты будешь, когда твоя Франция вынырнет из этого Нила? Разве не лучше бороться? В борьбе ты рисковал бы только поражением, на которое ты сознательно обрекаешь себя до скончания своих дней.

— Я рисковал бы гораздо большим, чем поражение,— сказал Оливье.— Я рисковал бы потерять спокойствие духа, а оно мне дороже, чем победа. Я не хочу ненавидеть. Я хочу воздавать должное даже врагам. Я хочу сохранить в пылу страстей ясность взгляда, все понимать и все любить.

Но Кристоф, для которого эта любовь к жизни вдали от жизни скорее походила на покорное приятие смерти, чувствовал, подобно старику Эмпедоклу, как в нем начинает греметь гимн к ненависти и к любви — сестре ненависти, к любви плодоносной, которая вспахивает и обсеменяет землю. Он не разделял спокойного фатализма Оливье; и так как, в отличие от своего друга, плохо верил в живучесть нации, которая не защищает себя, видел выход только в том, чтобы призвать к действию ее здоровые силы, поднять на бой всех честных людей Франции.

Подобно тому как за одну минуту любви больше узнаешь о человеке, чем за месяцы наблюдений, так же и Кристоф больше узнал о Франции после недели, проведенной дома, с Оливье, чем за год постоянных странствий по улицам Парижа с заходом в политические и литературные салоны. Посреди этой всеобщей анархии, в которой он терял почву под ногами, душа друга показалась ему каким-то Иль-де-Франсом — островом разума и тишины среди бурного моря. И внутренний покой, который Кристоф почувствовал в сердце нового друга, был тем поразительнее, что основой ему служили не доводы разума, не то, что он не знал

[1] Дело божье, творимое руками франков *(лат.)*.

спокойной и благополучной жизни (Оливье был беден, одинок, и его страна, казалось, клонилась к закату), а был подвержен болезням и обладал не слишком крепкими нервами; не казалось это спокойствие и плодом каких-либо волевых усилий (воля у него была слабая),— нет, оно рождалось из недр его существа и его народа. Кристоф замечал далекий отблеск того же ευφροσυνη — «безмолвного покоя неподвижного моря» — у многих из окружавших Оливье; и музыкант, слишком хорошо знавший, какое смятенье и какие бури таятся в глубинах его собственной души,— порой всей воли его едва хватало на то, чтобы укрощать и удерживать в равновесии буйные силы своей натуры,— музыкант восхищался этой скрытой от мира гармонией.

Открывшаяся перед ним картина внутренней жизни Франции скоро окончательно опрокинула все прежние представления о французском характере. Вместо веселого и общительного народа, блестящего и беззаботного, он видел людей, сосредоточенных в себе, одиноких, таящих под лучезарной дымкой оптимизма глубокий и спокойный пессимизм людей, одержимых навязчивыми идеями, страстями интеллекта и наделенных такой душевной стойкостью, что их легче было бы уничтожить, чем сбить с пути. Это были, конечно, только избранники, только лучшие представители французской нации. Кристоф, недоумевая, как-то спросил, что служит источником такого стоицизма и такой веры. Оливье ответил:

— Поражение. Это вы, мой добрый Кристоф, перековали нас. Увы, операция была мучительная. Вы даже не подозреваете, как мрачна была та атмосфера, в которой мы выросли — дети униженной и израненной Франции, заглянувшей в глаза смерти и всегда ощущавшей смертельную угрозу насилия. Наша жизнь, наш гений, наша французская цивилизация, величие десяти веков — мы знали, что все это попало в руки грубого завоевателя, который не понимает ее, втайне ненавидит и готов в любую минуту окончательно ее раздавить. И нам приходилось жить с сознанием этого. Вспомни о маленьких людях, о простодушных французах, о тех, кто родился в домах, отмеченных печатью траура и поражения, кто вскормлен унылыми рассуждениями, воспитан для кровавого реванша, рокового и, быть может, бесцельного; ибо они с раннего детства прежде всего усвоили ту мысль, что справедливости нет, ее не существует на земле: сила попирает право! Подобные открытия способны сломить юное поколение или закалить его душу навсегда; у многих опустились руки; они думали: раз так — зачем бороться? Зачем действовать? Ничто и есть ничто. Перестанем думать об этом. Будем наслаж-

даться жизнью. Но те, кто выдержал, прошли как бы испытание огнем. Их веру уже не поколеблют никакие разочарования, ибо с первого же дня они поняли, что их путь не имеет ничего общего с дорогой к счастью и что все же — поскольку иного выбора нет — нужно идти, иначе задохнешься. Эта уверенность приходит не сразу. И нельзя требовать ее от пятнадцатилетних мальчиков. Им предстоит пережить немало тяжелого и пролить немало слез. Но так нужно. Так должно быть.

О вера, дева светлая, как сталь,
Вспахай своим копьем растоптанное сердце наций!

Кристоф молча пожал руку Оливье.

— Дорогой Кристоф,— сказал Оливье,— твоя Германия доставила нам много мук.

И Кристоф начал чуть ли не извиняться, как будто он был тому причиной.

— Не сокрушайся,— сказал Оливье с улыбкой.— Добро, которое она против воли сделала нам, перевешивает зло. Поражение принудило снова вспыхнуть факел нашего идеализма, оживило пламень науки и пламень веры; это вы заставили нас покрыть всю Францию сетью школ, это вы пробудили творческие силы наших Пастеров, открытия которых намного ценнее пяти миллиардов военной контрибуции. Вам мы обязаны возрождением нашей поэзии, нашей живописи, нашей музыки и пробуждением нашего национального самосознания. Нелегко было предпочесть счастью радость веры, но мы вознаграждены: среди всеобщей апатии мы ощутили в своей душе такую моральную силу, что перестали сомневаться в себе, даже в своей способности победить. Видишь ли, мой добрый Кристоф, как нас ни мало и какими бы слабыми мы ни казались,— ведь мы только капля в океане германской мощи,—но мы верим, что как раз эта капля окрасит весь океан. Македонская фаланга врежется в вооруженные массы европейской черни.

Кристоф посмотрел на тщедушную фигурку Оливье, глаза которого сверкали горячей верой.

— Бедные, хилые французики! Вы же сильнее нас!

— О, благое поражение,— повторял Оливье.— Да будет благословен наш разгром! Мы не станем отрекаться от него! Мы его дети!

В поражении перековываются лучшие силы нации, происходит отбор стойких и чистых духом, и они становятся еще более чистыми, еще более стойкими. Но тем быстрее происходит крушение в другом лагере, где гаснут все порывы. Так, основная масса не выдерживает испытания, отделяется от лучших, от тех, которые продолжают идти вперед. Лучшие сами знают это и страдают от этого; даже в сердце наиболее отважных живет скрытая печаль, сознание своего бессилия и своего одиночества. И самое худшее в том, что они оторваны не только от корней народа, но и друг от друга. Каждый борется на свой страх и риск. Сильные думают только о собственном спасении. «О человек, *сам себе помоги!*» Они забывают, что закон мужества гласит: «О люди, помогайте друг другу!» И ни у кого нет доверия, нет щедрости сердца, нет той потребности действовать сообща, которую рождает в нации победа, ощущение своего расцвета и полноты своих сил.

Кристоф и Оливье знали кое-что на этот счет: здесь, в Париже, где, казалось бы, не было недостатка в понимающих душах, в этом доме, населенном неведомыми друзьями, они были так же одиноки, как в азиатской пустыне.

Положение их было нелегкое. Источников существования почти никаких. У Кристофа бывала иногда кое-какая переписка нот и музыкальная транспонировка, которые ему заказывал Гехт. Оливье имел неосторожность уйти из университета в тот период, когда, после смерти сестры, его охватило отчаяние, и уже окончательно выбился из колеи после неудачного романа с одной девушкой, принадлежавшей к кругу г-жи Натан (он никогда не рассказывал об этом романе Кристофу: что касалось

собственных горестей, Оливье был крайне стыдлив, и одно из его самых милых качеств состояло в том, что какие-то интимные уголки его внутренней жизни оставались закрытыми даже для ближайших друзей).

В этом состоянии душевной подавленности, когда молодой человек особенно жаждал тишины, преподавательская деятельность стала для него просто мукой. Педагогика не была призванием Оливье: она его отталкивала необходимостью все время быть на виду и вслух высказывать свои мысли, не знать ни минуты блаженного одиночества. Преподавание лишь тогда становится занятием благородным, когда в нем есть что-то от апостольского служения, а для Оливье это было не так. Преподавательская деятельность на факультете требует непрерывного контакта с аудиторией — мучительного для человека, чья душа жаждет одиночества. Два-три раза Оливье пришлось говорить публично, и он испытал при этом такое чувство, как будто его унизили. Это показывание себя публике было ему отвратительно. Он видел своих слушателей, ощущал — как будто с помощью особых проводов,— что в большинстве своем здесь сидят бездельники, которые хотят только одного: как-нибудь развлечься; а роль официального развлекателя была ему не по вкусу. Но хуже всего то, что слова, произносимые с кафедры, искажают и уродуют мысль; нужно быть все время настороже, чтобы они не привели к актерству — в жестах, в декламации, в позах, в способе излагать свои идеи, даже в самой сути этих идей. Ведь лекция — это определенный жанр, лавирующий между двумя подводными камнями: скучной комедией и светским педантизмом. В этой форме монолога, произносимого вслух перед сотнями неведомых и безмолвных людей, в этой готовой одежде, которая должна годиться для всех, а не годится никому, есть для художников с сердцем диким и гордым что-то нестерпимо фальшивое, и Оливье, испытывавший потребность внутренне сосредоточиться и говорить только то, что является правдивым выражением его мыслей, отказался от преподавания, которого с таким трудом добился; и так как подле него уже не было сестры, чтобы обуздывать его фантазию, он начал писать. Оливье наивно верил в то, что, раз у него есть художественное дарование, оно будет признано без всяких усилий с его стороны.

Он жестоко обманулся. Напечатать что-либо было невозможно. Оливье ревниво любил свободу, и эта любовь внушала ему ужас перед всем, что ограничивало его свободу, и заставляла его жить в одиночестве. Подобно цветку в расселине стены, он был зажат между тяжелыми глыбами политических пар-

тий, разных враждебных друг другу группировок, державших в руках всю страну и всю прессу. Оливье не примыкал ни к одной из них, так же как и к литературным кружкам, а те, в свою очередь, отвергали его. В этих кружках у него не было ни одного друга, да и не могло быть. Его отталкивали черствость, сухость и эгоизм этих интеллигентов (за исключением горсточки тех, кто следовал подлинному призванию или целиком отдавался каким-либо научным исследованиям). Человек, принесший свое сердце в жертву мозгу,— причем не очень могучему,— представляет собой печальное зрелище. В нем уже нет ни капли доброты, ибо такой ум подобен кинжалу в ножнах: кто поручится, что в любую минуту он не нанесет вам удара; волей-неволей не выпускаешь из рук оружия. Дружба возможна лишь с добрыми, кто любит прекрасное без всякой корысти, а такие люди живут обычно за пределами литературной среды.

Воздух искусства годится не для всех, многие задыхаются в нем. Только самые великие способны жить в такой атмосфере, не теряя способности любить,— этого источника жизни.

Оливье мог рассчитывать лишь на себя. Весьма ненадежная опора. Каждый шаг стоил ему усилий. Но унижаться, чтобы напечатать свои произведения, он не желал и краснел от стыда, наблюдая, сколь позорно заискивают молодые авторы перед директорами театров, которые, видя это пресмыканье, обходились с ними так, как не обошлись бы со своим лакеем. Оливье не пошел бы на такое унижение, даже если бы это был для него вопрос жизни и смерти. Он ограничивался тем, что посылал свои рукописи по почте, заносил их в контору театра или в редакцию журнала, и там они валялись месяцами непрочитанные. Но случаю было угодно, чтобы Оливье однажды встретил своего бывшего товарища по лицею; этот милый лентяй, сохранявший к Оливье чувство благодарности за его неизменную готовность помочь товарищу и восхищения перед той легкостью, с какою Оливье делал за него уроки, ничего не смыслил в литературе, но он был знаком с литераторами, что гораздо важнее, и даже, как человек богатый и светский, из снобизма разрешал им втайне эксплуатировать себя. Он замолвил за Оливье словечко секретарю редакции одного толстого журнала, акционером которого он состоял; тотчас одну из погребенных в папках рукописей откопали и прочли и, после долгих колебаний (если произведение и представляло интерес, то имя автора было неизвестно, и поэтому творение его не имело никакой цены), решились принять. Получив эту добрую весть, Оливье вообразил, что его бедствиям пришел конец. Но они только начинались.

В Париже не так уж трудно добиться, чтобы приняли какое-нибудь произведение; гораздо труднее обстоит дело с его напечатанием. Приходится ждать и ждать месяцами, иногда целую жизнь, если не обладаешь даром обхаживать нужных людей или приставать к ним, появляясь время от времени на утренних приемах этих карманных монархов и неустанно напоминая им о том, что ты существуешь и что твердо решил надоедать им, пока не достигнешь цели. Оливье же умел только сидеть дома и изводиться в ожидании ответа. Самое большее, на что он был способен,— писать письма, на которые ему не отвечали. Он нервничал, не мог работать. Нелепо! Но в таких случаях разум бессилен. Сидя за своим столом, охваченный мучительным и смутным томлением, он поджидал почту и выходил, только чтобы заглянуть в свое отделение почтового ящика, внизу у привратника, причем надежда тотчас сменялась разочарованием; иногда он прогуливался по улице, ничего не замечая, с одним желанием поскорее вернуться домой; и когда почтальон уже не мог прийти, когда тишина его комнаты уже бесцеремонно не нарушалась шагами соседей над головой, Оливье начинал задыхаться от этого равнодушия. Хоть слово! Одно только слово! Неужели ему откажут даже в этом подаянии? А тот, кто отказывал, вероятно, и не подозревал, какую он причиняет боль! Каждый судит о мире по-своему. Тем, у кого душа мертва, вселенная кажется иссохшей; они и не думают о том трепете ожидания, надежды и муки, который волнует молодые сердца; а если и думают, то холодно осуждают с тупой иронией пресыщенности.

Наконец произведение Оливье было опубликовано. Он ждал так долго, что не почувствовал никакого удовольствия: для него это детище уже было мертво. Однако он надеялся, что для других оно живо. Не могли же остаться незамеченными такие вспышки ума и поэзии. И все-таки оно кануло в бездну молчания. Оливье сделал еще одну-две попытки. Не будучи связан ни с какой литературной группой, он неизменно наталкивался на то же молчание или, вернее, враждебность. Молодой автор ломал голову, но ничего понять не мог. В своей наивности он полагал, что новое произведение должно быть встречено с естественным доброжелательством, даже если оно и не вполне удалось. Людям следует быть благодарными тому, кто захотел дать им немного красоты, силы или радости. Он же встречал только равнодушие или насмешку. Вместе с тем Оливье был уверен, что не он один пережил то, о чем писал, что и другие тоже разделяют его мысли. Но он и не догадывался, что эти уважаемые господа просто-напросто не читали его и что они не имеют ни

малейшего отношения к литературной критике. А если даже двум-трем из них и попадутся на глаза его строки и они посочувствуют ему, то он этого никогда не узнает, ибо они замкнулись в своем молчании. Эти люди не желали придерживаться определенных взглядов на искусство, так же как не желали голосовать на выборах в парламент; они не читали книги, если книга вызывала их возмущение, не ходили в театр на пьесу, если пьеса была им противна; но они предоставляли своим врагам голосовать, предоставляли выбирать этих врагов в парламент, способствовали скандальному успеху и шумному рекламированию произведений и идей, выражавших взгляды одного лишь наглого меньшинства.

Оливье не мог рассчитывать на поддержку со стороны своих единомышленников, ибо те не знали о его существовании, и в результате оказался совсем беззащитным перед враждебной толпой отвергавших его взгляды литераторов и лакействующих перед ними критиков.

Эти первые соприкосновения с литераторами мучительно ранили его. Он был чувствителен к критике, как старик Брукнер, который даже противился исполнению своих вещей, столько он натерпелся от злобных нападок прессы. Однако Оливье не нашел поддержки и у своих бывших университетских коллег, которые, в силу своей профессии, все же сохранили какое-то сознание истинных традиций французской мысли и которые могли бы его понять. Вообще это были превосходные люди, но они слишком привыкли к ярму дисциплины, слишком были поглощены работой; к тому же, несколько озлобленные своей неблагодарной профессией, не могли простить Оливье того, что он попытался идти иным путем, чем они. Будучи добросовестными чиновниками, они склонны были признавать превосходство таланта, только когда он сочетался с превосходством по служебной линии.

При таком положении вещей возможны были три выхода: силой разрушить препятствия, пойти на унизительные компромиссы или же примириться с тем, что ты пишешь только для себя. На первое, как и на второе, Оливье был неспособен; он избрал третье: через силу давал уроки, чтобы не умереть с голоду, и писал произведения, которые, не имея никаких шансов распуститься на свежем воздухе, становились все более слабыми, химерическими и далекими от реальности.

И вот в это сумеречное существование, точно гроза, ворвался Кристоф. Он был в равной мере возмущен и гнусностью людей, и терпением Оливье.

— Да у тебя что, вода в жилах или кровь? — воскликнул он однажды.— Как ты можешь переносить такую жизнь? Ты знаешь, насколько ты выше этого стада, а позволяешь им топтать себя?

— Что поделаешь,— отвечал Оливье,— я не умею защищаться, мне противно бороться с теми, кого я презираю; они могут пустить в ход против меня любое оружие, а я не могу. Мне не только отвратительно было бы прибегать к низким средствам, я боялся бы причинить зло. Когда я был маленький, я глупейшим образом позволял товарищам колотить меня. И меня считали трусом, думали, что я боюсь побоев. А я гораздо больше боялся побить кого-нибудь, чем быть побитым. Однажды, когда один из моих мучителей преследовал меня и мне сказали: «Да проучи его как следует, дай ему хорошенько ногой в живот!» — я пришел в ужас. Пусть уж лучше меня бьют.

— Просто у тебя вода, а не кровь в жилах,— повторил Кристоф.— И потом, еще эти твои дурацкие христианские идеи! И все это ваше религиозное воспитание во Франции, которое сводится к изучению катехизиса, выхолощенного Евангелия и подсахаренного, бесхребетного Нового завета. Болтовня про гуманного боженьку, и всегда со слезой. А революция, Жан-Жак, Робеспьер, сорок восьмой год и, вдобавок, евреи? Съедай каждое утро добрый, сочный, с кровью, кусок старой Библии!

Оливье протестовал. К Ветхому завету он питал какую-то прирожденную антипатию. Это чувство возникло у него еще в детстве, когда он тайком перелистывал Библию с иллюстрациями, которая имелась в их провинциальной библиотеке и которую никто не читал (детям было даже запрещено читать ее). Напрасная предосторожность! Оливье не мог долго читать эту книгу. Он закрывал ее рассерженный, огорченный; и какое он испытывал потом облегчение, погружаясь в «Илиаду», или «Одиссею», или в «Тысячу и одну ночь».

— Боги «Илиады» — это люди красивые, сильные, порочные; они мне понятны, я могу их любить или не любить; но, даже не любя, я все-таки их люблю; я в них влюблен. Я вместе с Патроклом лобзаю прекрасные ноги окровавленного Ахилла. А бог Библии — это старый еврей, маньяк, злобный безумец, который только и знает, что греметь, угрожать, воет, точно бешеный волк, неистовствует в своем облаке. Я не понимаю его, не люблю, от его вечных проклятий у меня голова трещит, а его свирепость мне противна:

Приговор моавитянам.

Приговор Дамаску.

Приговор Вавилону.
Приговор Египту.
Приговор пустыне моря.
Приговор долине видений.

Это сумасшедший, который вообразил себя судьей, обвинителем и палачом одновременно и выносит смертные приговоры цветам и камешкам во дворе своей тюрьмы. Задыхаешься от воплей упорной ненависти, которыми полна эта кровожадная книга: «крик гибнущих... крик наполнил землю моавитян; этот вопль дошел до Эглазиона, этот вопль дошел до Беара...»

Время от времени он отдыхает посреди этой бойни, посреди раздавленных младенцев, изнасилованных и заколотых женщин и, усевшись за трапезу, после разорения какого-нибудь города, смеется смехом старого солдафона из войска Иисуса Навина:

«И вождь воинства устроил пир своим народам из жирного мяса, из нежного тука, пир со старыми винами, старыми, хорошо очищенными... И меч господа обагрен был кровью, пресыщенный почетным туком овнов...»

Но хуже всего — коварство, с каким этот бог посылает своего пророка, чтобы он сделал людей как бы слепыми, и тогда бог подвергнет их новым страданиям.

«Иди, ожесточи сердце этого народа, закрой глаза и уши его, чтобы потерял он понимание, чтобы не отвратился и не исцелился бы.— Доколе, о господи? — Дотоле, покуда не останется жителей в домах и земля их не будет опустошена...»

Нет! В жизни не видал такого злого человека!

Я не так глуп, чтобы не понимать всей мощи библейского языка. Но не могу отделять мысль от формы, и если иногда восхищаюсь этим еврейским богом, то лишь так, как восхищался бы тигром. Даже Шекспиру, этому творцу чудовищ, не удалось создать подобного героя ненависти — ненависти святой и добродетельной. Эта книга просто ужасна. Ведь всякое безумие заразительно. А опасность здесь тем больше, что эта смертоносная гордыня притязает на какую-то очистительную силу. Меня просто дрожь берет, когда я думаю о том, что Англия веками всасывала подобный яд. И мне приятно сознавать, что нас разделяет ров нашего Ла-Манша. Я не могу считать вполне цивилизованным народ, который все еще находит для себя духовную пищу в Библии.

— В таком случае рекомендую держаться от меня подальше,— заметил Кристоф.— Меня эта книга просто опьяняет. В ней львиная мощь. Сильные сердца от нее крепнут. Евангелие без противовеса Ветхого завета — пресное и даже вредное

кушанье. Библия — это костяк народов, которые хотят жить. Нужно бороться, нужно ненавидеть.

— А я ненавижу ненависть,— сказал Оливье.

— Если бы ты ее хоть ненавидел! — отозвался Кристоф.

— Ты прав, у меня на это не хватает сил. Я не могу не признать правоты моих врагов. И повторяю про себя слова Шардена: «Кротости! Побольше кротости!»

— Вот чертов баран! — воскликнул Кристоф.— Но, как ни упирайся, я заставлю тебя перескочить через ров и поведу в атаку с барабанным боем.

И он действительно взялся за дело. Однако начало его хлопот было не очень удачным. С первого же слова он раздражался и так защищал своего друга, что невольно вредил ему; а осознав содеянные ошибки, приходил в отчаяние от своей неумелости.

Оливье не оставался в долгу. Он тоже вступил в бой за Кристофа, хотя обычно избегал всякой борьбы, будучи наделен умом трезвым и ироническим, которому казалась смешной всякая крайность в словах и поступках. Когда вопрос шел о том, чтобы защищать Кристофа, Оливье своей резкостью превосходил даже самого Кристофа, уже не говоря о прочих. Он прямо терял голову. Но в любви надо уметь быть безрассудным. И вот это Оливье удавалось прекрасно. Как бы то ни было, он действовал искуснее Кристофа. Этот юноша, непримиримый и неловкий во всем, что касалось его самого, умел вести тонкую политику и даже становился изворотливым ради своего друга; он с неистощимой энергией и удивительной изобретательностью вербовал ему сторонников и сумел пробудить к нему интерес музыкальных критиков и меценатов, хотя просить о себе не решился бы ни за что на свете.

Но, несмотря на все их усилия, им все же не удалось избежать нищеты. Взаимная любовь заставляла их делать множество глупостей. Кристоф влез в долги, чтобы тайком от Оливье издать книжку его стихов, причем не было продано ни одного экземпляра.

А Оливье уговорил Кристофа дать концерт, на который почти никто не явился. Кристоф, глядя на пустой зал, утешал себя словами Генделя: «Отлично! Так моя музыка будет звучать еще лучше!» Но эта бравада не могла им вернуть истраченных денег! И они возвратились домой с тяжелым сердцем.

Среди всех этих трудностей единственным человеком, который пришел им на помощь, был еврей лет сорока, Таддэ Моох. У него был магазин художественных репродукций; он любил свое дело и вносил в него немало вкуса и ловкости; однако он любил столько вещей и помимо магазина, что нередко пренебрегал своей торговлей. Когда же он занимался ею, то лишь затем, чтобы применить новые технические усовершенствования или освоить новые способы репродукции, хотя все эти опыты, несмотря на их остроумие, удавались редко и стоили слишком дорого. Он очень много читал и был всегда в курсе новейших идей — в области философии, искусства, науки, политики; Моох обладал изумительным чутьем по части новых дарований, его как бы притягивало к ним магнитом. Он служил связующим звеном между друзьями Оливье, также державшимися особняком и работавшими в одиночку: ходил от одних к другим, и благодаря ему между всеми этими людьми, хотя они и не сознавали этого, постепенно установился постоянный обмен мыслями.

Когда Оливье захотел познакомить с ним Кристофа, тот сначала отказался: ему надоели все эти эксперименты с сынами Израиля. Однако Оливье со смехом продолжал настаивать, уверяя, что Кристоф так же плохо знает евреев, как и французов. И Кристоф согласился, но, увидев в первый раз Таддэ Мооха, он сделал гримасу. Моох был по внешнему виду даже слишком еврей — еврей, каким его изображают те, кто не любит евреев: маленький, лысый, кособокий, нос рыхлый, выпуклые косящие глаза, скрытые большими очками, все лицо заросло густой, клочкастой бородой, жесткой и черной, руки волосатые, длинные, ноги толстые, кривые,— словом, настоящий сирийский Ваал. Но в чертах его светилась такая доброта, что Кристоф был тронут. А главное, Моох держался очень просто. Никаких ненужных слов. Никаких преувеличенных похвал. Только иногда сдержанное одобрение. Но при этом чувствовалась постоянная готовность быть полезным: не дожидаясь просьбы, он уже спешил оказать услугу. Он приходил часто, даже слишком часто, но почти всегда — с доброй вестью для одного из друзей: то это был заказ на статью об искусстве или курс лекций для Оливье, то уроки музыки для Кристофа. Он никогда не засиживался, подчеркивая свою боязнь быть в тягость. Вероятно, он заметил, что, когда в дверях появлялось его бородатое лицо карфагенского идола (Кристоф прозвал его Молохом), музыкант не мог скрыть свое раздражение, но тут же оно сменялось горячей благодарностью к Мооху за его доброту.

Доброта — не редкость у евреев: из всех добродетелей это самая для них приемлемая, даже когда они и не проявляют ее на деле. Правда, у большинства она не идет дальше негативной или пассивной формы, являясь следствием их терпимости, безразличия, отвращения к злым поступкам, насмешливой снисходительности. Доброта у Мооха была страстной и деятельной. В любую минуту он готов был служить кому-нибудь или чему-нибудь: беднякам-единоверцам, русским эмигрантам, угнетенным всех стран, неудавшимся художникам, всем несчастным, всякому великодушному начинанию. Кошелек его был открыт для всех, и, как бы ни был тощ этот кошелек, Моох всегда находил в нем обол для нуждающихся; а если не находил, заставлял других выкладывать свою лепту. Когда требовалось оказать кому-нибудь услугу, он не жалел ни трудов, ни усилий. Он все делал просто, даже чересчур просто. Напрасно только он так часто повторял, что он прост и искренен; самое замечательное, что он и был таким в действительности.

Кристоф, обуреваемый противоречивыми чувствами то досады, то симпатии к Мооху, однажды не выдержал; тронутый каким-то благодеянием Мооха, он схватил его за обе руки и с жестокой наивностью ребенка воскликнул:

— Какое несчастье... какое несчастье, что вы еврей!

Оливье вздрогнул и покраснел, как будто речь шла о нем самом. Он очень огорчился и всячески старался загладить обиду, нанесенную Мооху его другом.

Моох улыбнулся с грустной иронией и спокойно ответил:

— Гораздо большее несчастье быть человеком.

Кристоф решил, что Моох просто сострил. Однако пессимизм, крывшийся в этих словах, был глубже, чем казалось Кристофу. Оливье же, с его обостренной чуткостью, уловил это. Под оболочкой того Мооха, какого они знали, таился совсем другой человек, и, быть может, во многом ему совершенно противоположный. Внешние проявления его характера сложились в процессе долгой внутренней борьбы с его истинной природой. Этот человек, казавшийся столь простым, был полон противоречий. Когда он не следил за собой, было заметно, что ему хочется усложнять простое и придавать самым искренним своим чувствам оттенок какой-то манерной насмешливости. Этот человек, на вид такой скромный, иногда даже слишком скромный, таил в душе гордыню, которую сам отлично видел и за которую сурово себя казнил. Его жизнерадостный оптимизм, его неутомимая деятельность, всегда направленная на то, чтобы помочь людям, прикрывали глубокий нигилизм, смертельное отчаяние, в кото-

ром он боялся себе сознаться. Моох как будто верил во многое: в человеческий прогресс, в светлое будущее еврейства, дух коего очистится, в великие судьбы Франции — этого поборника обновления, он охотно отождествлял эти три миссии, но Оливье, которого трудно было провести, говорил Кристофу:

— В сущности, он ни во что не верит.

Несмотря на весь свой здравый смысл и насмешливое спокойствие, Моох был неврастеником, не желавшим видеть свою внутреннюю опустошенность. На него находили приступы страха перед небытием; иногда вдруг, просыпаясь среди ночи, он стонал от ужаса. И жадно искал поводов для деятельности, стараясь зацепиться за эту лихорадочную активность, как тонущий за буек.

Дорого обходится людям принадлежность к древней расе. Они несут гнетущий груз прошлого, испытаний, изжившего себя опыта, разочарований ума и сердца — и на дне этого резервуара многовековой жизни скопился едкий осадок тоски и скуки... безмерной семитской тоски, не имеющей ничего общего с нашей арийской тоской, которая хотя и заставляет нас тоже немало страдать, но порождается все же вполне определенными причинами и исчезает вместе с ними: для нас она чаще всего только сожаление о том, чего мы не имеем. Но есть евреи, у которых самый источник жизни как будто заражен каким-то смертельным ядом. Им уже ничего не хочется, их ничто не влечет: ни честолюбие, ни любовь, ни наслаждения. В этих людях Востока, утративших корни, уже обессиленных многовековым расточением своей энергии, жаждущих атараксии, лишенных возможности обрести ее, живет только одно — не первоначальное цельное, а болезненно гипертрофированное мышление, бесконечное анализирование, заранее отнимающее всякую надежду на радость, парализующее всякую деятельность. Наиболее энергичные стараются взять на себя какую-нибудь роль, предпочитают разыгрывать ее, чем действовать из собственных побуждений. Любопытное явление, наблюдающееся у многих из них — и притом у наиболее интеллигентных, наиболее серьезных,— а именно: отсутствие подлинного интереса ко всем сторонам реальной жизни, кроме своей профессии, или желание *быть актером*, играть в жизнь, ибо для них это единственная возможность жить!

Моох тоже был по-своему актером. Постоянными хлопотами он старался как-нибудь себя одурманить. Но если множество людей хлопочут ради личных, эгоистических целей, то он хлопотал ради счастья других. Его преданность Кристофу была трогательна и утомительна. Кристоф осаживал его, а потом жалел

об этом. Но на Кристофа Моох никогда не сердился. Ничто не могло остановить его. Не потому, что он так уж любил Кристофа — он любил свою преданность, а не людей, которым был предан. Люди являлись для него лишь предлогом, чтобы делать добро, чтобы жить.

И он добился даже того, что Гехт опубликовал «Давида» и еще некоторые композиции Кристофа. Гехт ценил талант Кристофа, но не спешил создать ему известность. Когда Гехт увидел, что Моох готов напечатать их за собственный счет у другого издателя, он из самолюбия решил сделать это сам.

Именно Мооху пришло в голову — в критическую минуту, когда заболел Оливье и денег не было,— обратиться к Феликсу Вейлю, богатому археологу, жившему в том же доме, что и друзья. Моох и Вейль были знакомы, но мало симпатизировали друг другу — уж слишком они были разные: Моох, хлопотун, мистик и революционер, с «простонародными» манерами, которые он, пожалуй, еще утрировал, вызывал насмешки Вейля, невозмутимого и ироничного, с изысканной внешностью и консервативным складом ума. Правда, между ними было много общего: обоим в одинаковой мере недоставало подлинных стимулов к действию и обоих поддерживала только их жизненная сила, стойкая и почти автоматическая. Но оба не хотели себе в этом сознаться: они были заняты только взятой на себя ролью, а роли их имели между собой мало общего. Поэтому Вейль встретил Мооха довольно холодно; когда последний попытался заинтересовать археолога творческими замыслами Оливье и Кристофа, он натолкнулся на иронию и скепсис. Постоянные увлечения Мооха то одной, то другой утопией вызывали насмешки еврейского общества, где его считали ловким попрошайкой. Но и в данном случае он, как обычно, не пал духом, продолжал настаивать, рассказал о дружбе, связывающей Кристофа и Оливье, и наконец пробудил в Вейле интерес к ним. Моох понял это, и его доводы стали еще горячей.

Ему удалось коснуться чувствительной струнки Вейля. Старик археолог, одинокий, без друзей, видел в дружбе святыню, но его друг покинул его на жизненном пути; Вейль берег свое чувство глубоко в душе, как сокровище; когда он вспоминал о дружбе, он становился лучше. Он учредил несколько стипендий имени своего друга, посвятил его памяти несколько книг. То, что рассказал ему Моох о любви между Кристофом и Оливье, растрогало его. Все это напоминало ему его собственную историю. Друг, которого он потерял, был для него как бы старшим братом, товарищем его юности, наставником, которого он обожал.

Это был один из тех молодых евреев, которых сжигает пылкий ум и великодушие, они страдают от окружающей их косной среды, они ставят себе цель возродить свой народ, а с помощью своего народа и весь мир. Они жгут свою жизнь с обоих концов и горят совсем недолго, как смоляной факел. Его огонь растопил апатию молодого Вейля. Пока был жив друг, Вейль шел с ним в ногу, озаренный тем же светом веры — веры в науку, в мощь человеческой мысли, в счастливое будущее — светом, который излучала эта пророческая душа. И когда она покинула Вейля, он — слабый, насмешливый — не удержался на высотах идеализма и скатился в бесплодные пески Екклезиаста, которые таятся в каждом еврейском интеллекте и всегда готовы его засосать. Но Вейль не забыл часов, проведенных с другом в лучах света: он ревниво берег в душе их почти угасший отблеск. Он никому не говорил о нем, даже жене, хотя и любил ее: память о друге была для него священна. И вот старик, которого считали прозаичным и черствым, в конце своей жизни вспомнил нежные и горькие слова одного древнего индийского брамина:

«Ядовитое древо жизни приносит два плода, более сладостных, чем вода из источника жизни: один — это поэзия, другой — дружба».

С этого дня он заинтересовался судьбой Кристофа и Оливье. Зная их гордость, он тайком взял у Мооха только что вышедшую в свет книжку стихов Оливье; и хотя друзья ни о чем его не просили и даже не подозревали о его планах, добился для Оливье академической премии, которая при их стесненных обстоятельствах оказалась весьма кстати.

Когда Кристоф узнал, что эта неожиданная помощь пришла от человека, к которому он был склонен относиться недоброжелательно, он почувствовал укоры совести за то, что говорил о нем или думал, и, преодолев свою нелюбовь к визитам, отправился поблагодарить старика. Однако его доброе намерение не было вознаграждено. Юношеский энтузиазм Кристофа пробудил в старике Вейле обычную иронию, хотя он и пытался ее скрыть, и из их встречи ничего не вышло.

В тот день, когда Кристоф, испытывая одновременно и благодарность и досаду, возвращался после посещения Вейля к себе, кроме добряка Мооха, пришедшего, чтобы оказать Оливье какую-то новую услугу, он обнаружил еще журнальную статью, принадлежавшую перу Люсьена Леви-Кэра и написанную не в духе честной и открытой критики, а с оскорбительной снисходительностью, причем автор, пользуясь хитроумной игрой слов,

забавлялся тем, что низводил Кристофа до уровня композиторов третьего и четвертого сорта, которых Кристоф не выносил.

— А ты замечаешь,— сказал Кристоф Оливье, когда Моох ушел,— что мы вечно имеем дело с евреями, с одними евреями? Черт побери, да уж не стали ли мы сами евреями? Успокой меня, пожалуйста, на этот счет! Точно мы их магнитом притягиваем! Они нам всюду попадаются на пути — и враги и союзники.

— Оттого, что они умнее других,— сказал Оливье.— Евреи у нас почти единственные люди, с кем свободный человек может говорить о новом, о живом. Остальные закисают в прошлом, в мертвечине. К несчастью, для евреев этого прошлого не существует, или, во всяком случае, оно иное, чем у нас. С ними мы можем говорить только о сегодняшнем, а с людьми моей национальности — только о вчерашнем. Посмотри, насколько евреи активны во всех областях жизни: в торговле, промышленности, педагогике, науке, искусстве, в делах благотворительности.

— Ну, об искусстве говорить не приходится,— отозвался Кристоф.

— Я не утверждаю, что все их дела и действия мне по душе: иногда я даже чувствую отвращение! Но они, по крайней мере, живые люди и способны понять живых людей. Мы не можем обойтись без них.

— Пожалуйста, не преувеличивай,— насмешливо возразил Кристоф.— Я сумею обойтись.

— Ты-то, может быть, и сумеешь. Но какой толк, если твоя жизнь и твое творчество останутся для всех неизвестными, как это, наверно, случилось бы, не будь их. Неужели ты воображаешь, что наши единоверцы придут нам на помощь? Да католицизм пальцем не шевельнет, чтобы спасти от гибели даже своих лучших сынов. Всякого, кто истинно религиозен, кто жизнь свою готов отдать для защиты господа бога, гнусная банда лицемеров, именующих себя католиками, готова объявить равнодушным к религии или даже враждебным ей, если только он осмелится отступить от устава католической церкви или откажется подчиниться авторитету Рима; деятельность таких людей замалчивают, их отдают на растерзание общим врагам. Как бы человек свободного ума ни был велик, если он христианин в душе, но не подчиняется требованиям христианского послушания, католикам уже нет дела до него, им не важно, что в нем, быть может, воплощены самые чистые черты их веры, истинно божественные черты. Он не принадлежит к послушному стаду, к секте слепых и глухих, не способных мыслить самостоятельно. Его отвергают, радуются, когда он страдает в одино-

честве и, растерзанный врагами, призывает на помощь своих братьев, за чью веру гибнет. В современном католицизме есть сила убийственной инерции. Он охотнее простит своих врагов, чем тех, кто хочет разбудить его и вернуть ему жизнь. Что сталось бы с нами, мой бедный Кристоф, чего могли бы достичь мы, католики по рождению, но сбросившие с себя иго церкви, если бы нас не поддерживала кучка свободных протестантов и евреев? Сейчас в Европе евреи — самые живые проводники всего, что есть лучшего, и всего, что есть худшего. Они разносят повсюду оплодотворяющую пыльцу мысли. Разве с самого начала твоей деятельности не среди евреев встретил ты и своих лучших друзей, и своих злейших врагов?

— Это правда,— согласился Кристоф,— они ободряли меня, поддерживали, от них я услышал слова, которые воодушевляют человека в бою, ибо он начинает чувствовать, что понят. Конечно, из всех этих друзей верными мне остались очень немногие — их дружба вспыхнула и погасла, как солома. Но не в том дело! И такие вспышки среди ночного мрака — это уже немало! Ты прав, не будем неблагодарными!

— Особенно же не будем глупцами,— сказал Оливье.— Постараемся не искалечить окончательно нашу и без того уже больную цивилизацию, обламывая ее самые жизнеспособные ветви. Если, по несчастью, евреев изгонят из Европы, она настолько оскудеет мыслью и действием, что ей будет грозить полная немощь. Особенно в нашей стране, при том упадке, до которого дошли жизненные силы нации, их изгнание явилось бы для нас еще более опасным кровопусканием, чем изгнание протестантов в семнадцатом веке. Конечно, в настоящее время они занимают место, не соответствующее их действительной ценности. Они злоупотребляют теперешней моральной и политической анархией и даже сами немало способствуют ее росту как в силу *своих природных* влечений, так и оттого, что чувствуют себя в ней, как рыба в воде. Лучшие — вроде этого славного Мооха — вполне искренни, напрасно только они отождествляют судьбы Франции со своими еврейскими мечтами, которые нам чаще опасны, чем полезны. Однако их нельзя винить за то, что они мечтают пересоздать Францию по собственному образу и подобию. Это у них от любви к Франции. Если их любовь для нас опасна, кто мешает нам не пускать их дальше того места, которое они должны занимать, а место это — во втором ряду. Не потому, чтобы я считал их нацию хуже нашей (эти разговоры о расовом превосходстве просто глупы и отвратительны), но нельзя допускать, чтобы чужая нация, еще не слившаяся с на-

шей, утверждала, будто она лучше нас знает, что нам нужно. Евреи чувствуют себя хорошо во Франции,— что ж, я очень рад! Но пусть не мечтают уподобить ее Иудее! Умное и сильное правительство, умеющее держать их в границах, сделало бы их одним из наиболее полезных орудий для возвеличения Франции и тем оказало бы услугу и им и нам. Они чересчур нервны, беспокойны и неустойчивы и нуждаются в твердом законе, который бы сдерживал их, а также в повелителе, решительном, но справедливом, который бы их укротил. Евреи — точно женщины: они превосходны, если держать их в узде; но господство, как первых, так и вторых, невыносимо; а те, кто подчиняется этому господству, просто смешны.

Несмотря на то, что взаимная любовь давала возможность Оливье и Кристофу проникать в душу друг друга, в каждом обнаруживались такие черты, которых другой никак не мог понять и которые даже отталкивали его. В первое время дружбы, когда каждый старается сохранить только то, что сходно в нем с другом, они этого не замечали. Но постепенно их национальные различия снова начали сказываться, и всей их нежности не всегда удавалось предотвратить взаимные легкие обиды.

Они погрязали в недоразумениях. Душа Оливье была смесью веры, свободы, страсти, иронии и сомнения во всем, но формулу этой смеси Кристофу никак не удавалось постичь. А Оливье отчасти коробила в Кристофе некоторая душевная прямолинейность; когда Оливье, с высоты аристократизма древней нации с утонченным интеллектом, взирал на мощный и монолитный, но неуклюжий и тяжеловесный ум Кристофа, не способный к самоанализу и вечно вводимый в обман и другими и собой, он не мог не улыбаться. Сентиментальность Кристофа, его бурные излияния, его пылкость порой раздражали Оливье и казались даже несколько смешными, так же как и пресловутый культ силы и чисто немецкая вера в превосходство кулачного права — Faustrecht, в справедливости которых Оливье и его народ имели достаточно оснований усомниться.

А Кристоф не выносил в Оливье иронии, доводившей его иногда до бешенства; не выносил его резонерства, стремления к вечному анализу, какой-то аморальности ума, особенно удивительной при его неизменном стремлении к моральной чистоте и проистекавшей от широты интеллекта, который не хотел ничего отрицать и любил играть самыми противоположными идеями. Оливье взирал на жизнь как бы с точки зрения истории, словно

перед ним развертывалась некая панорама; в нем жила столь сильная потребность понимать решительно все, что он обычно видел в одно и то же время все «за» и «против» и защищал их по очереди, смотря по тому, какой из этих противоположных тезисов отстаивал собеседник, так что в конце концов запутывался в собственных противоречиях. Тем более сбивал он этим с толку Кристофа. Однако это не было вызвано ни желанием непременно возражать, ни влечением к парадоксам, а просто проистекало от настойчивого стремления к справедливости и здравому смыслу: его оскорбляла нелепая ограниченность любого предвзятого мнения, и он не мог оставаться равнодушным. Та резкая прямолинейность, с какою Кристоф осуждал безнравственных людей и безнравственные поступки, притом огрубляя факты, шокировала Оливье, который, будучи не менее чист, чем Кристоф, не обладал его стальной несгибаемостью — внешние влияния задевали его, затрагивали, заражали. Он протестовал против склонности Кристофа все преувеличивать и совершал сам ту же ошибку, только в обратном смысле. И что ни день этот своеобразный склад ума побуждал его становиться не на сторону друзей, а на сторону противников. Тогда Кристоф сердился. Он упрекал Оливье за его софизмы, за его снисходительность. Оливье улыбался: он-то слишком хорошо знал, какое отсутствие иллюзий кроется в подобной снисходительности, знал, что Кристоф верит во многое, во что не верит он, Оливье, и со многим мирится. Но Кристоф, не глядя ни направо, ни налево, накидывался на своего друга, как дикий вепрь. Особенно бесила его так называемая «доброта» парижан.

— Главный аргумент для «прощения» негодяев, которым наши парижане так гордятся,— говорил он,— сводится к тому, что эти негодяи и так несчастны оттого, что они негодяи; другой аргумент — что они не отвечают за свои поступки. Но, во-первых, неверно, будто творящий зло несчастен. Это один из предрассудков ходячей морали, который проповедуют авторы дурацких мелодрам и представители тупого оптимизма, вроде того, каким простодушно кичатся Скриб и Капюс. (Скриб и Капюс — это ваши парижские знаменитости, а ваше буржуазное общество — все эти кутилы, лицемеры, наивные младенцы, слишком трусливые, чтобы смотреть в лицо собственной низости,— вполне заслужили таких писателей.) Негодяй отлично может быть счастливым человеком. Он имеет даже больше шансов, чтобы стать счастливым. Что же касается его мнимой безответственности, то вот тебе вторая глупость. Имейте же мужество признать, что если природа равнодушна к добру и злу и потому скорее даже

зла, то человек может быть преступным и одновременно вполне здоровым. Добродетель отнюдь не явление природы. Она — создание человека. Так пусть же он и защищает ее! Человеческое общество строила горсточка сильных и великих. Их долг — охранять свое героическое творение от всякой сволочи с песьим сердцем.

По своей сути эти взгляды вовсе не были так уж далеки от взглядов Оливье; но в силу инстинктивного влечения к равновесию, когда Оливье слышал боевые речи Кристофа, он особенно остро чувствовал себя зрителем.

— Да ты не волнуйся, дружок,— говорил он Кристофу.— Предоставь миру умирать. Будем, как друзья «Декамерона», мирно дышать ароматом садов мысли, и пусть у подножья холма, заросшего кипарисом и увитого розами, Флоренцию опустошает чума.

Он по целым дням с увлечением старался разъять искусство, науку, мысль, отыскивая движущие ими силы; он доходил иногда до пирронизма, согласно которому все, что существует, признается лишь плодом нашей фантазии, воздушным замком, чье существование не имеет даже того смысла, какое имеют геометрические фигуры, ибо последние необходимы для человеческого ума. Тут Кристоф приходил в бешенство.

— Но ведь машина работает хорошо! Зачем же разбирать ее на части? Ты рискуешь сломать ее. Чего ты этим добьешься? Что ты хочешь доказать? Что ничто есть ничто? Черт побери! Я и так это знаю! Именно потому, что небытие со всех сторон наступает на нас, я и борюсь! Ничего не существует? Я существую. Нет смысла действовать? Но я-то действую. Те, кому мила смерть, пусть умирают, раз им так хочется. А я живу, я хочу жить. На одной чаше весов — моя жизнь, на другой — мысль... Ну, так к черту мысль!

Он отдавался во власть своему гневу, и во время спора у него вырывались обидные слова. Но едва Кристоф успевал произнести их, как уже раскаивался. Он охотно взял бы их обратно, однако было уже поздно. Оливье отличался чрезвычайно уязвимым самолюбием, и его легко было обидеть: резкое слово, особенно из уст того, кого он любил, мучительно ранило молодого человека. Он не показывал этого из гордости, но замыкался в себе. С другой стороны, Оливье не мог не замечать у Кристофа тех внезапных вспышек бессознательного эгоизма, которым подвержены все большие художники. Бывали минуты, когда он чувствовал, что его жизнь не стóит в глазах Кристофа одной странички прекрасной музыки (да Кристоф и не пытался скрывать

это). Оливье это понимал и соглашался с другом, но его охватывала печаль.

И потом, в натуре Кристофа таились всевозможные трудно уловимые стихийные силы, тревожившие Оливье. Иногда они сказывались в неожиданных вспышках ядовитого и причудливого юмора. В иные дни Кристоф не желал разговаривать; или им овладевали приступы бесовского коварства, и он старался оскорбить Оливье; или вдруг исчезал, не показывался весь день и возвращался только под утро. Однажды он отсутствовал в течение двух суток. Одному богу было известно, где он пропадал. Он и сам хорошенько не помнил. И действительно, его мощной натуре нестерпима была эта жизнь, эта душная, как курятник, квартирка, и минутами он готов был разнести в щепы все. Спокойствие Оливье нестерпимо его раздражало, и Кристофу хотелось причинить другу боль. Тогда он убегал из дому, старался утомить себя до изнеможения. Он бродил по улицам Парижа и его предместий, бессознательно ища приключений, которые иногда и находил; он был бы даже рад какой-нибудь сомнительной встрече, лишь бы разрядиться и истратить избыток силы хотя бы в драке. Оливье же, при его хилом здоровье и физической слабости, не мог этого понять. Да и сам Кристоф не очень-то понимал. Опомнившись после своих скитаний, он чувствовал себя, как после мучительного сновиденья; ему было немного стыдно того, что он натворил и может натворить еще. Но когда вихрь безумия затихал, ему казалось, что он — широкое небо, омытое грозою, и, как оно,— спокоен, очищен от всякой скверны, хозяин своих чувств; обращался он с Оливье нежнее, чем когда-либо, и мучился сознанием той боли, которую причинил. Кристоф тогда не понимал, как могли возникать между ними мелкие ссоры. Не всегда он был виноват; и все-таки винил себя одного. Винил за ту страстность, с какою старался доказать свою правоту; говорил себе, что лучше ошибаться вместе с другом, чем быть правым за счет друга.

Недоразумения эти были особенно тяжелы, когда они возникали вечером и обоим предстояло провести ночь в разладе, который вызывал у них душевное смятение. Уже улегшись, Кристоф вскакивал и, набросав несколько слов, подсовывал записку под дверь Оливье, а на другой день, когда Оливье просыпался, просил у него прощения. Или даже среди ночи стучался к нему: он не мог дождаться утра. Оливье тоже не спал. Юноша отлично знал, что Кристоф его любит и оскорбил невольно; но ему хотелось, чтобы Кристоф сам заявил об этом. И Кристоф говорил.

Тогда все бывало забыто. Какое наступало восхитительное успокоение! И как крепко они потом спали!

— Ах,— вздыхал Оливье,— почему так трудно понимать друг друга?

— А зачем непременно всегда понимать? — отвечал Кристоф.— Я, лично, отказываюсь. Главное — нужно любить.

Эти маленькие обиды, которые они потом старались загладить с какой-то особой тревожной нежностью, делали их, пожалуй, еще дороже друг для друга. В минуту ссоры Кристоф видел, как глаза Оливье словно становятся глазами Антуанетты, и друзья проявляли тогда друг к другу чисто женскую заботливость и внимание. Кристоф каждый раз отмечал день рождения Оливье каким-нибудь новым, посвященным ему произведением, цветами, тортом, купленными неведомо как! (Ибо денег частенько не хватало даже на хозяйство.) А Оливье портил себе зрение, тайком переписывая по ночам партитуры Кристофа.

Но пока в их отношения не вмешалось третье лицо, нелады между ними не принимали серьезного характера. Рано или поздно это должно было случиться: слишком многие в нашем суетном мире вмешиваются в дела своих ближних, с тем чтобы их поссорить.

Оливье был знаком со Стивенсами, у которых некогда бывал и Кристоф, и тоже поддался обаянью Колетты. Кристоф не встретился с ним при маленьком дворе своей бывшей приятельницы лишь потому, что в те времена Оливье, удрученный смертью сестры, замкнулся в своем горе и никуда не ходил. Колетта, со своей стороны, не делала никаких усилий, чтобы его увидеть; ей очень нравился Оливье, но ей не нравились люди несчастные. Она уверяла, что слишком чувствительна и не выносит вида чужой печали. Поэтому она ждала, чтобы печаль Оливье прошла. Когда до нее дошли слухи, что он как будто исцелился и что ей не грозит опасность заразиться, она рискнула подать ему знак. Оливье не заставил себя просить. Он был одновременно и нелюдимым и светским, его легко было увлечь; к тому же он питал слабость к Колетте. Когда он сообщил Кристофу о своем намерении вновь посетить ее, Кристоф, слишком уважавший свободу друга, чтобы высказать какое-либо неодобрение, только пожал плечами и насмешливо сказал:

— Ну что ж, иди, мой мальчик, если тебе так хочется.

Однако сам не пошел. Он твердо решил больше не знаться с такими кокетками. Не потому, что был женоненавистником,—

отнюдь нет. Он испытывал особую нежность к молодым женщинам, вынужденным трудиться, к работницам, продавщицам, конторщицам, которые по утрам, полусонные, боясь опоздать, бегут в свои мастерские и конторы. Женщина казалась ему полноценной, только когда она была деятельна, старалась ни от кого не зависеть, зарабатывала свой хлеб и отстаивала свою независимость. Больше того, он считал, что только при такой жизни может открыться вся прелесть женщины, появиться живость и ловкость движений, пробудятся все ее чувства и воля, развернутся во всей полноте ее жизненные силы. Он терпеть не мог женщин праздных, ищущих лишь наслаждений,— они представлялись ему какими-то нечистыми животными, которые только и знают, что переваривать пищу да скучать, отдаваясь во власть нездоровых мечтаний. Оливье же, наоборот, обожал женщин, предающихся far niente [1], похожих на цветы, которые созданы только для того, чтобы радовать взор своей красотой и прельщать своим благоуханьем. Он был больше артист, а Кристоф — человек.

Кристоф особенно любил натуры, противоположные Колетте,— тех, на чью долю выпало больше земных страданий. Его как бы связывали с ними узы братского сочувствия.

С тех пор как Колетта узнала о дружбе Оливье с Кристофом, ей нестерпимо захотелось снова повидать его, так как она жаждала узнать все подробности его жизни. Молодая девушка была еще немного в обиде на Кристофа за ту пренебрежительную легкость, с какою он, казалось, забыл ее; и без всякого желания мстить — ведь месть всегда требует усилий — она с удовольствием подстроила бы ему какую-нибудь каверзу. Так, играя, покусывает кошка, чтобы привлечь к себе внимание. При своем уменье обольщать она легко вызвала Оливье на откровенность. Трудно было найти человека, который был бы так проницателен, как Оливье, по отношению к людям, когда они находились далеко от него; но каким же он становился наивным и доверчивым в присутствии чьих-нибудь ласковых глаз! А Колетта обнаруживала такой искренний интерес к их отношениям с Кристофом, что он размяк, поведал ей историю их дружбы и даже описал некоторые их дружеские стычки, казавшиеся ему теперь забавными и за которые он целиком винил себя. Он открыл ей также творческие замыслы Кристофа и сообщил некоторые из его суждений — притом отнюдь не лестных — о Франции и французах. Все эти сведения сами по себе не имели особо-

[1] Ничегонеделанью *(итал.)*.

го значения, но Колетта поспешила разболтать их, прибавила еще кое-что от себя, не только чтобы придать им большую пикантность, но и потому, что втайне злилась на Кристофа. И так как первым, кому она все это выложила, был, конечно, ее неизменный рыцарь Люсьен Леви-Кэр, не имевший никаких оснований хранить ее рассказы в тайне, то они получили широкую огласку, украсились попутно еще многими подробностями и приобрели оттенок иронической и довольно оскорбительной жалости в отношении Оливье, которого изображали как жертву Кристофа. Казалось бы, вся эта история мало кого могла интересовать, ибо обоих ее героев почти никто не знал; но таковы уж парижане — они всегда интересуются тем, что их не касается. В результате Кристоф в один прекрасный день услышал свои тайны из уст г-жи Руссэн. Встретившись с ним в концерте, она спросила, правда ли, что он поссорился с бедненьким Оливье Жаненом, а затем принялась расспрашивать о его музыкальных работах, намекая на такие детали, которые, казалось, могли быть известны лишь ему и Оливье. И когда он спросил ее, откуда ей все это известно, она ответила, что от Люсьена Леви-Кэра, а он узнал это от Оливье.

Кристоф был сражен. Как всегда порывистый и безрассудный, он даже не задумался над тем, насколько правдоподобно это сообщение. Он понимал только одно: тайны, которые он доверил своему Оливье, выданы Люсьену Леви-Кэру. Он уже не мог больше слушать музыку и тотчас покинул концертный зал. Ему казалось, что все вокруг опустело; он твердил лишь: «Друг предал меня!»

Оливье был у Колетты. Кристоф заперся на ключ, чтобы Оливье не зашел к нему, как обычно, поболтать перед сном. Он услышал, когда Оливье, вернувшись, попытался открыть к нему дверь, а потом через замочную скважину пожелал ему спокойной ночи, но Кристоф не шевельнулся. Он сидел в темноте на кровати, сжав голову руками, и все повторял: «Друг предал меня!» Так он просидел почти до утра. И тут только он понял, как сильно любит Оливье: он не мог гневаться на него за предательство, а только страдал. Ведь тот, кого любишь, имеет над тобой все права, даже право разлюбить тебя. На него нельзя сердиться, а можно лишь винить себя за то, что ты, верно, недостоин любви, раз он тебя оставил. И это непереносимо больно.

На другое утро, встретившись с Оливье, Кристоф ничего не сказал: всякие упреки казались ему отвратительными, даже упреки в том, что Оливье злоупотребил его доверием и отдал его тайны на посмеяние врагам; Кристоф не мог выдавить из

себя ни слова. Но лицо его было красноречивее всех слов — враждебное, ледяное. Оливье был потрясен; он ничего не понимал и робко попытался узнать, чем недоволен его друг; Кристоф резко отвернулся и промолчал. Оливье, оскорбленный в свою очередь, тоже смолк и молча предался своему горю. В этот день они больше не виделись.

Но даже если бы друг заставил его страдать в тысячу раз сильнее, Кристоф никогда не стал бы мстить и не стал бы защищаться: Оливье был для него существом священным. Однако негодование, которое он испытывал, должно было найти себе выход; и так как он не мог излить его на Оливье, то отыгрался на Люсьене Леви-Кэре. С присущей ему несправедливостью и горячностью Кристоф тотчас же свалил на него всю ответственность за вину Оливье; Кристоф испытывал нестерпимую ревность и боль при мысли, что господин подобного сорта мог похитить у него привязанность друга, подобно тому как раньше он уже разрушил его дружбу с Колеттой Стивенс. В довершение всего Кристофу в тот же день попалась на глаза статья Леви-Кэра по случаю постановки «Фиделио». Критик говорил в ней о Бетховене ироническим тоном и игриво высмеивал героиню, уверяя, что она заслуживает премии Монтиона. Кристоф видел лучше, чем кто-либо, нелепые стороны оперы и даже некоторые погрешности в музыке. Он и сам бывал иногда не слишком почтителен к общепризнанным корифеям. Но он и не притязал на непогрешимую последовательность и чисто французскую логику. Кристоф принадлежал к числу людей, которые сами охотно подмечают ошибки тех, кого любят, но не позволяют этого другим. Впрочем, одно дело критиковать большого мастера, даже самым резким образом, как это умел делать Кристоф, движимый слишком пламенной верой в искусство и даже, пожалуй, слишком нетерпимой любовью к славе своего кумира, когда не прощаешь ничего посредственного, и другое — критиковать его, лишь бы попасть в тон низменным вкусам публики, как это делал Леви-Кэр, и смешить галерку за счет великого художника. Кроме того, каковы бы ни были оценки Кристофа, существовала музыка, которой он втайне отводил особое место и которой не позволял касаться,— та музыка, которая была не просто музыкой, а больше и лучше ее — музыкой, созданной великой благодетельной душой, источником утешения, силы и надежды. Такова была музыка Бетховена. И то, что какой-то пошляк смеет поносить ее, выводило Кристофа из себя. Это был уже не вопрос искусства, а дело чести; речь шла обо всем, что придает жизни ценность: о любви, героизме, пылкой

добродетели — здесь все ставилось на карту, и нельзя было допускать никаких посягательств на эту музыку, как нельзя в своем присутствии допускать, чтобы оскорбляли почитаемую и любимую женщину,— оскорбитель вызывает ненависть, и его убивают. А в данном случае оскорбителем являлся человек, которого из всех людей на земле Кристоф презирал больше всех!

Судьбе было угодно, чтобы в тот же вечер они встретились лицом к лицу.

Не желая оставаться наедине с Оливье, Кристоф, против обыкновения, отправился на вечер к Руссэнам. Его попросили сыграть. Он сел за рояль с неохотой. Через несколько минут, уже поглощенный музыкой, он случайно поднял глаза и заметил в нескольких шагах от себя, среди группы гостей, Люсьена Леви-Кэра, насмешливо наблюдавшего за ним. Кристоф оборвал игру на половине такта. И, встав, повернулся спиной к роялю. Наступило неловкое молчание. Удивленная, с натянутой улыбкой, г-жа Руссэн подошла к Кристофу; она не знала — может быть, пьеса уже кончилась,— и осторожно спросила:

— Что же вы не продолжаете, господин Крафт?

— Я кончил,— сухо отозвался он.

Но едва он произнес эти слова, как понял совершенную им оплошность; однако, вместо того чтобы образумиться, он еще больше обозлился. Не обращая внимания на иронические взгляды слушателей, он ушел в дальний угол гостиной, откуда мог наблюдать за Леви-Кэром, и уселся там. Его сосед, старый генерал с водянисто-голубыми глазами и ребячливым выражением розового и сонного лица, счел своим долгом похвалить оригинальность сыгранной пьесы. Кристоф поклонился и что-то недовольно пробурчал в ответ. Генерал, однако, продолжал говорить чрезвычайно вежливо, с той же кроткой и невыразительной улыбкой: он хотел бы знать, каким образом Кристоф умудряется запоминать наизусть целые страницы нот. А Кристоф спрашивал себя, не спихнуть ли ему несносного старичка с дивана. Он старался расслышать слова Леви-Кэра, ища повода, чтобы на него накинуться. Вот уже несколько минут, как Кристоф чувствовал, что сейчас совершит глупость, но ничто на свете не могло бы его остановить. А тем временем Леви-Кэр своим тонким, писклявым голосом разъяснял группе дам скрытые побуждения великих музыкантов и их помыслы. Среди наступившего молчания Кристоф услышал, как он игриво намекает на дружбу Вагнера с королем Людовиком.

— Довольно! — заорал Кристоф, ударив кулаком по стоявшему рядом столику.

Все обернулись, пораженные. Леви-Кэр встретился взглядом с Кристофом и, слегка побледнев, сказал:

— Вы ко мне обращаетесь?

— К тебе, собака! — отозвался Кристоф. И вскочил.— Ты не можешь не пачкать все, что есть в мире великого! — продолжал он в бешенстве.— Вон отсюда, шут, или я вышвырну тебя в окно!

И направился к нему. Дамы попятились с испуганными восклицаниями, произошло некоторое замешательство. Кристофа окружили. Люсьен Леви-Кэр привстал было, затем снова опустился в кресло, приняв ту же небрежную позу. Он подозвал вполголоса проходившего мимо слугу и вручил ему свою визитную карточку; затем продолжал беседовать как ни в чем не бывало; однако веки его нервически вздрагивали, и он, растерянно моргая, украдкой поглядывал на окружающих. Руссэн же, решительно став перед Кристофом и держа его за лацканы фрака, подталкивал музыканта к двери. Охваченный яростью и стыдом, Кристоф, опустив голову, разглядывал широкий пластрон белой рубашки хозяина дома и пересчитывал брильянтовые запонки на нем; он чувствовал на своем лице отрывистое дыхание толстяка.

— Послушайте, дорогой мой, послушайте,— говорил Руссэн,— что это на вас нашло? Разве так поступают! Нужно, черт возьми, владеть собой! Вы забыли, где вы? Или вы спятили?

— Будь я проклят, если когда-нибудь переступлю ваш порог! — сказал Кристоф, вырываясь. И направился к двери.

Гости из осторожности расступились перед ним. В прихожей слуга подошел к нему с подносом: на нем лежала визитная карточка Леви-Кэра. Кристоф, не понимая, в чем дело, взял ее, прочел вслух, потом, задыхаясь от гнева, принялся шарить по карманам, извлек оттуда самые разнообразные предметы и в числе их три-четыре грязных и смятых карточки.

— Нате! Нате! Нате! — буркнул он и швырнул их на поднос с такою силой, что одна упала на пол.

Затем вышел.

Оливье ни о чем не подозревал. Кристоф взял себе секундантами первых попавшихся знакомых: музыкального критика Теофиля Гужара и одного немца, доктора Барта, приват-доцента

швейцарского университета, с которым он встретился как-то вечером в пивной и завязал знакомство, хотя доктор не слишком ему нравился. Но с ним Кристоф мог вспоминать свою родину. В результате переговоров с секундантами Люсьена Леви-Кэра было решено стреляться на пистолетах. Кристоф в равной мере не умел владеть ни одним из видов оружия, и Гужар посоветовал ему отправиться в тир, чтобы предварительно взять несколько уроков стрельбы. Кристоф отказался и в ожидании завтрашнего дня снова засел за работу.

Однако он был рассеян. Точно в тяжелом сне, смутная, но настойчивая мысль неотступно сверлила ему мозг: «Неприятно... очень неприятно... Но что же? Ах да, эта завтрашняя дуэль... Вздор! Обычно стреляют в воздух... А все-таки бывает... И тогда что? Вот в этом-то все и дело... Этот мерзавец нажмет пальцем — и одним движеньем может вычеркнуть меня из числа живых... Ах, вздор! Да, завтра, может быть послезавтра, я уже буду лежать в этой вонючей земле. Ну, не все ли равно, здесь или где-нибудь в другом месте! Что это? Неужели я трус? Нет, но было бы слишком гнусно, если из-за какой-то глупости погибнет целый мир мыслей, которые зреют во мне... К черту эту современную дуэль, в которой будто бы шансы противников равны! Хорошо равенство, когда жизнь негодяя ценится наравне с моею! Почему нам не дают драться дубинками и кулаками? Одно удовольствие! Но хладнокровный расстрел! И эта скотина, разумеется, умеет стрелять, а я никогда пистолета в руках не держал. Секунданты правы — нужно подучиться... Он хочет меня убить? Ну, так я его убью!»

Кристоф вышел на улицу. В нескольких шагах от дома, где он жил, находился тир. Кристоф попросил дать ему пистолет и объяснить, как с ним обращаться. Первым выстрелом он чуть не убил заведующего тиром; выстрелил еще два-три раза, но все так же безуспешно. Тогда он разозлился. Дело шло все хуже и хуже. Несколько молодых людей, находившихся тут же, начали смеяться. Он не обращал на них внимания. Он был так равнодушен к их насмешкам и с такой решимостью старался добиться своего, что, как это часто бывает, зрители скоро заинтересовались этим неловким, но терпеливым упрямцем. Кто-то стал давать ему советы. И Кристоф, обычно столь резкий, выслушал их, как покорный ребенок: он старался сдержать нервную дрожь руки; напрягался, сдвинув брови; по лицу его лил пот; он не произносил ни слова; время от времени в нем снова вспыхивал гнев; потом он опять принимался за стрельбу. Два часа пробыл Кристоф в тире. И через два часа уже попадал в цель.

Это упорство, подчинявшее себе непокорное тело, потрясло зрителей и внушило им невольное уважение. Насмешники частью разошлись, частью смолкли, но никак не могли оторваться от захватившего их зрелища. Когда Кристоф уходил, они дружески раскланялись с ним.

Вернувшись домой, Кристоф застал у себя добряка Мооха, который в тревоге дожидался его. Мооху уже было известно о столкновении Кристофа с Леви-Кэром; он хотел узнать причину их ссоры. Несмотря на недомолвки Кристофа, не желавшего обвинять Оливье, Моох в конце концов догадался. Как человек хладнокровный и к тому же хорошо знавший обоих друзей, он понял, что Оливье неповинен в том маленьком предательстве, в котором его обвинял Кристоф. Он расследовал всю эту историю и без труда установил, что все зло произошло от сплетен Колетты и Леви-Кэра. Тогда он поспешно вернулся к Кристофу с неоспоримыми доказательствами, воображая, что таким образом можно предотвратить дуэль. Однако произошло как раз обратное: узнав, что из-за Леви-Кэра он усомнился в своем друге, Кристоф еще больше обозлился. Чтобы отделаться от Мооха, заклинавшего его не драться, он обещал тому все, что угодно. Но решение его осталось неизменным. Теперь он даже был рад: он будет стреляться, защищая Оливье, а не себя.

Замечание, брошенное одним из секундантов, когда экипаж катил по дороге через лес, вдруг насторожило Кристофа. Он попытался отгадать их мысли и понял, что они к нему глубоко равнодушны. Доктор Барт высчитывал, в котором часу он освободится и успеет ли, вернувшись, закончить работу, начатую им в отделе рукописей Национальной библиотеки. Из трех спутников Кристофа он больше всех был озабочен исходом дуэли из чисто германского самолюбия. Гужар не интересовался ни Кристофом, ни другим немцем и беседовал на скабрезные медицинские темы с доктором Жюльеном. Это был молодой врач из Тулузы; он некогда жил дверь в дверь с Кристофом и занимал у него то спиртовку, то зонтик, то кофейные чашки и все предметы неизменно возвращал в негодном для употребления виде. Взамен он бесплатно лечил Кристофа, испытывал на нем новые препараты и забавлялся его наивностью. Под внешностью невозмутимого кастильского идальго жила неистребимая страсть к зубоскальству. Сейчас врачу страшно нравилось это приключение, казавшееся ему нелепым, и он заранее представлял себе все промахи неловкого Кристофа. Он находил очень приятной

прогулку в экипаже по лесу, и притом за счет добряка Крафта. Видимо, эта мысль преобладала у всего трио: инцидент сводился для них к веселой загородной поездке, вдобавок еще даровой. Ни один не относился к этой дуэли серьезно. Впрочем, они спокойно приготовились к любым случайностям.

На место условленной встречи они приехали первыми. Рядом был скрытый в лесной чаще грязноватый ресторанчик, куда парижане приезжали покутить и смывать пятна со своей чести. Изгороди были сплошь из цветущего шиповника. В тени дубов с бронзовой листвой стояли столики. За одним сидело трое велосипедистов: набеленная женщина в штанах и черных носочках и двое мужчин в фланелевых костюмах, одуревшие от жары и издававшие время от времени только какое-то хрюканье, точно они уже давно разучились говорить.

Приезд Кристофа вызвал в публике некоторое оживление. Гужар, который давно знал и этот ресторанчик, и хозяев, заявил, что все берет на себя. Барт увлек Кристофа в беседку и заказал пива. Необычайно теплый воздух был полон жужжания пчел. Кристоф чуть не забыл, для чего сюда приехал. Барт, выливая себе в стакан остатки пива, сказал после минутного молчания:

— Я знаю, что я сделаю! — Он выпил и продолжал: — У меня еще останется время: успею съездить в Версаль.

До них доносился голос Гужара, раздраженно торговавшегося с хозяйкой относительно цены за место для дуэли. Жюльен не терял времени: проходя мимо велосипедистов, он шумно восхитился голыми икрами дамы; воспоследовал поток непристойных восклицаний, причем Жюльен не отставал от остальных. Барт сказал вполголоса:

— Французы отвратительны. Пью за твою победу, брат.

Он коснулся стаканом стакана Кристофа. А Кристоф грезил,— гармонично жужжали насекомые, и в голове его проносились обрывки музыкальных фраз. Его клонило ко сну.

Подъехал второй экипаж, под колесами заскрипел песок аллеи. Кристоф увидел Леви-Кэра с обычной улыбкой на бледном лице, и гнев снова овладел им. Он встал, Барт тоже.

Леви-Кэр, в тесном высоком воротничке, был одет с изысканностью, еще более подчеркивавшей небрежность одежды его противника. За ним из экипажа вышел граф Блох, спортсмен, известный своими любовными похождениями, коллекцией старинных дароносиц и ультрароялистскими взглядами; затем Леон Муэ — на него сейчас также была мода,— ставший депутатом благодаря своей литературной деятельности и литератором бла-

годаря своему политическому честолюбию,— молодой, лысый, бритый, испитой, желчный, с птичьей головкой, длинноносый и круглоглазый; и, наконец, доктор Эммануэль, с тонким семитским лицом, приветливый и равнодушный, член Медицинской академии и директор одной из больниц, прославившийся как теоретик своими учеными трудами, а как врач — своим скептицизмом; он выслушивал с ироническим сочувствием жалобы своих пациентов и ничего не предпринимал, чтобы их вылечить.

Вновь прибывшие любезно раскланялись. Кристоф едва приподнял шляпу, но с досадой отметил угодливость своих секундантов и их заискивающую любезность по отношению к секундантам Леви-Кэра. Жюльен был знаком с Эммануэлем, а Гужар с Муэ, и они подошли к прибывшим, подобострастно улыбаясь. Муэ встретил их холодно и вежливо, а Эммануэль — с обычной насмешливой бесцеремонностью. Что касается графа Блоха, оставшегося подле Леви-Кэра, то он быстрым взглядом окинул сюртуки и белье представителей противного лагеря, а затем, почти не разжимая губ, стал перебрасываться короткими ироническими замечаниями с Леви-Кэром. Оба держались корректно и невозмутимо.

Леви-Кэр, сохраняя полнейшее спокойствие, ожидал знака графа, руководившего поединком. Он считал эту дуэль простой формальностью. Будучи сам превосходным стрелком и отлично зная, насколько неопытен его противник, он не задумался бы использовать свои преимущества и постарался бы попасть в Кристофа лишь в том случае (весьма, впрочем, маловероятном), если бы секунданты не соблюли равенства условий для обоих дуэлянтов. Леви-Кэр отлично понимал, что нельзя сделать большей глупости, чем превратить в жертву врага, которого гораздо безопаснее устранить без шума. Тем временем Кристоф сбросил куртку, расстегнул ворот рубашки на мощной шее и стоял в ожидании, опустив сильные руки, наклонив голову, впившись исподлобья жестким взглядом в Леви-Кэра; он собрал воедино всю свою энергию, каждая черта его лица совершенно явственно выражала беспощадную волю к убийству; и граф Блох, наблюдавший за ним, невольно подумал, что цивилизация сделала, к счастью, все возможное, чтобы свести на нет опасности дуэли.

После того как противники обменялись выстрелами,— разумеется, без всякого результата,— секунданты бросились их поздравлять. Честь была удовлетворена. Но не Кристоф. Он все еще стоял на месте, держа в руке пистолет, и никак не мог поверить, что все уже кончилось. Он охотно согласился бы

остаться здесь, как вчера в тире, до тех пор, пока чья-нибудь пуля не попадет в цель. Когда до него дошли слова Гужара, предлагавшего ему пожать руку своему противнику, который с рыцарским великодушием уже сделал несколько шагов ему навстречу, улыбаясь своей неизменной улыбкой,— вся эта комедия возмутила его. В бешенстве отбросил он свое оружие, оттолкнул Гужара и ринулся на Леви-Кэра. Его едва удалось удержать от продолжения поединка с помощью кулаков.

Секунданты схватили его, а Леви-Кэр удалился. Кристоф вырвался и, не слушая их шуток и упреков, крупными шагами направился в лес — он разговаривал вслух с самим собой и яростно жестикулировал. Кристоф не заметил, что оставил на месте поединка пиджак и шляпу. Он углубился в лес. До него доносились голоса секундантов, со смехом звавших его; потом им надоело, и они махнули на него рукой: по стуку удалявшихся экипажей он понял, что они уехали. Он остался один среди безмолвных деревьев. Его ярость улеглась. Он бросился наземь и зарылся лицом в траву.

Вскоре к ресторанчику подъехал Моох. Он с утра гонялся за Кристофом. Ему сказали, что его друг ушел в лес. Моох отправился на поиски, но тщетно он обшаривал кусты и звал Крафта; только уже возвращаясь обратно, он услышал его пение; Моох пошел на голос и наконец обнаружил музыканта на маленькой лужайке: задрав ноги, Кристоф катался по траве, как теленок. Увидев Мооха, Кристоф весело окликнул его, назвал «своим старым Молохом», заявил, будто насквозь изрешетил противника, заставил старика играть с ним в чехарду и прыгать; прыгая, он награждал Мооха звучными шлепками. Несмотря на свою неуклюжесть, добродушный Моох веселился, пожалуй, не меньше, чем Кристоф. Затем они под руку вернулись в ресторан и на ближайшей станции сели в поезд.

Оливье пребывал в полном неведении относительно происшедшего. Его удивила внезапная нежность Кристофа. Он никак не мог понять причины всех этих перемен. Лишь на другой день он узнал из газет, что Кристоф дрался на дуэли, и чуть не заболел, представив себе опасность, которой подвергался его друг. Он спросил, из-за чего была дуэль. Кристоф не хотел говорить. Наконец после долгих приставаний он заявил, смеясь:

— Из-за тебя.

Но больше Оливье ничего не добился от Кристофа. Все рассказал ему Моох. Оливье, охваченный негодованием, порвал с Колеттой и умолял Кристофа простить его неосторожность. Но Кристоф, как всегда неисправимый, привел ему старинную

французскую поговорку, хитроумно перефразировав ее, чтобы позлить Мооха, который сидел тут же, счастливый счастьем примирившихся друзей:

— Мой малыш, это тебе впредь наука:

От бабы ленивой да болтливой,
От еврея хитрого,
От друга двуличного,
От врага давнишнего,
От вина прокисшего
Libera nos, Domine [1].

Дружба между Кристофом и Оливье возобновилась. И оттого, что они чуть было не утратили ее, их близость стала им еще дороже. Малейшие недоразумения исчезли: даже несходство в характерах казалось им теперь милым. Кристоф как бы вмещал в своей душе душу двух родин, гармонически слившихся друг с другом. Он чувствовал, что его сердце полно и богато; и это блаженное изобилие изливалось, как обычно, ручьем музыки.

Оливье восхищался. При своем неудержимом скептицизме он уже готов был утверждать, что обожаемая им музыка сказала свое последнее слово. Его преследовала нездоровая мысль, что на известной ступени развития любой прогресс роковым образом сменяется упадком, и он ожидал со страхом, что это прекрасное искусство, ради которого он любил жизнь, вдруг иссякнет, исчезнет, как вода, впитанная землей. Кристоф смеялся над этими малодушными опасениями. Из духа противоречия он утверждал, что еще ничего не было сделано до него и все еще впереди. Оливье приводил ему в пример французскую музыку, которая как будто достигла предельного совершенства и утонченности, и дальше идти ей некуда. Кристоф пожимал плечами.

— Французская музыка? Да ее еще и не было... А ведь сколько прекрасного вы можете сказать миру! И если вы сами еще не поняли этого, значит, вы просто не музыканты. Ах, будь я французом!

И он начал перечислять все, что мог бы написать француз.

— Вы держитесь за жанры, которые созданы не для вас, и не делаете ничего, что соответствует вашему гению. Вы — народ, рожденный для изящного, для светской поэзии, для красоты жестов, движений, поз, моды, одежды, а у вас больше не

[1] Избави нас, господи. *(лат.)*

пишут балетов, тогда как могли бы создать неподражаемое искусство поэтического танца. Вы — народ умного смеха, а вы больше не пишете комических опер или предоставляете этот жанр самым низкопробным музыкантам. Ах, будь я французом, я бы оркестровал Рабле, творил бы эпопеи-буфф... У вас лучшие в мире романисты, а вы не сочиняете романов в музыке (ибо фельетоны Гюстава Шарпантье я таковыми не считаю). Вы не используете свой дар психологического анализа, проникновения в характеры. Ах, будь я французом, я бы писал музыкальные портреты! Хочешь, я сделаю тебе набросок с той девушки, которая сидит вон там в саду под сиренью? Я бы переложил Стендаля для струнного квартета. Вы — первая демократия в Европе, и у вас нет народного театра, нет народной музыки. Ах, будь я французом, я бы переложил на музыку вашу Революцию: четырнадцатое июля, десятое августа, Вальми, Федерацию, я всю жизнь народную переложил бы на музыку! Нет, конечно, не в фальшивом стиле Вагнеровых декламаций. Я хочу симфоний, хоров, танцев. Никаких речей! Хватит с меня. Молчите, слова! Писать широкими мазками огромные симфонии с хорами, необъятные пейзажи, гомеровские и библейские эпопеи, землю, огонь, воду, сияющее небо, жар сердец, зов инстинктов, судьбы целого народа, утверждать торжество Ритма, этого властителя вселенной, который подчиняет себе миллионы людей и гонит их армии на смерть... Музыка всюду, музыка во всем. Будь вы музыкантами, у вас была бы особая музыка для каждого вашего общественного празднества, для ваших официальных церемоний, для ваших рабочих корпораций, для ваших студенческих союзов, семейных торжеств. Но прежде всего, будь вы музыкантами, вы писали бы чистую музыку, музыку, которая ничего не хочет сказать, музыку, которая годится только на то, чтобы согревать душу, облегчать дыхание, жизнь. Создавайте солнце! Sat prata! [1] (Кажется, так по-латыни?) Довольно с вас дождей. У меня насморк делается от вашей музыки. Света не видно: пора опять зажечь фонари... Вы теперь жалуетесь на итальянские porcherie [2], которые наводняют ваши театры, переманивают вашу публику и выгоняют вас из вашего собственного дома! А кто виноват? Публика устала от вашего сумеречного искусства, от ваших неврастенических гармоний, от вашего педантического контрапункта. Она идет туда, где жизнь — пусть самая грубая, но жизнь! Почему вы отстраняетесь от нее?

---

[1] Довольно лугов! *(лат.)*
[2] Свинства *(итал.)*.

Ваш Дебюсси — большой мастер, но он вреден вам. Он еще больше убаюкивает вас. А вас нужно хорошенько встряхнуть.

— Ты хочешь навязать нам Штрауса?

— Отнюдь. Он бы вас окончательно разрушил. Нужно иметь желудок моих соотечественников, чтобы переварить его излишества. И даже они не выдерживают их. «Саломея» Штрауса! Действительно, шедевр!.. Не хотел бы я быть ее автором! Я вспоминаю, как мой бедный дедушка и дядя Готфрид рассказывали мне с почтением и трогательной любовью о прекрасном искусстве звуков! Владеть этими божественными силами и так злоупотребить ими! Метеор, поджигающий дома! Изольда в образе еврейской проститутки! Мучительная и скотская похоть, жажда убийства, насилия, порока, преступлений — вот угроза, которая таится в бездне германского декадентства! А у вас — в вашем французском декадентстве — спазмы сладострастного самоубийства. У нас — зверь, у вас — добыча! Где же человек?.. Ваш Дебюсси — гений хорошего вкуса; Штраус — дурного. Первый очень слащав. Второй очень неприятен. Первый — это серебристый пруд, заросший осокой и издающий тлетворный аромат, второй — грязный поток. Ах, как он отдает низкопробной итальянщиной и неомейерберовщиной; какие отбросы чувств несет эта пена! Гнусный шедевр! Саломея, дочь Изольды... Интересно, чьей матерью станет Саломея?

— Да,— сказал Оливье,— я хотел бы жить на полвека позднее. Ведь конь мчится к пропасти, и это должно так или иначе кончиться, остановится ли он или сорвется вниз. Тогда мы вздохнем свободно. К счастью, земля не перестанет цвести, будет музыка или ее не будет. На что нам это бесчеловечное искусство? Запад сжигает себя. Скоро... Скоро... Я вижу другие огни, они поднимаются из глубин Востока.

— Ах, оставь, пожалуйста, твой Восток! — сказал Кристоф.— Запад еще не сказал своего последнего слова. Напрасно ты думаешь, что я от него отрекаюсь! С меня хватит еще на века. Да здравствует жизнь! Да здравствует радость! Да здравствует битва с нашей судьбой! Да здравствует любовь, от которой ширится сердце! Да здравствует дружба, которая согревает нашу веру,— дружба, которая сладостнее любви! Да здравствует день! Да здравствует ночь! Слава солнцу! Laus Deo [1], богу мечты и действия, богу, сотворившему музыку! Осанна!

Тут он сел за свой стол и начал записывать все, что приходило ему в голову, уже забыв свою длинную речь.

---

[1] Слава богу *(лат.)*.

В ту пору Кристоф был в полном расцвете и равновесии всех своих сил и способностей. Он мало придавал значения эстетическим спорам о ценности той или иной музыкальной формы и рассудочным поискам нового; ему даже не приходилось делать никаких усилий, чтобы находить сюжеты для своей музыки. Все годилось. Поток музыки лился непрерывно, и Кристоф даже не знал, какие именно чувства он выражает. Он был счастлив — вот и все, счастлив оттого, что мог излить себя в этом потоке, счастлив, что слышит в себе биение вселенской жизни.

Эта радость, эта душевная полнота сообщались и окружающим.

Дом, с огороженным со всех сторон садиком, был тесен для Кристофа. Правда, из сада калитка вела в монастырский парк с широкими аллеями и вековыми деревьями; но все это было прекрасно, слишком прекрасно, и долго это длиться не могло. Как раз напротив его окна строился шестиэтажный дом, который должен был скоро все заслонить и окончательно замуровать Кристофа. Он имел удовольствие слышать каждый день с утра до вечера, как скрежещут блоки, как рабочие долбят камень, прибивают доски. Он вскоре обнаружил здесь своего приятеля — кровельщика, с которым некогда познакомился на крыше. Они издали обменивались кивками, выражавшими взаимное расположение. Встретив его однажды на улице, Кристоф даже повел кровельщика в винный погребок, где они вместе выпили, чем Оливье был весьма озадачен и даже несколько шокирован. А Кристофа забавлял смешной жаргон кровельщика, его неистощимое благодушие. Тем не менее он проклинал и своего знакомца, и всю компанию этих муравьев, возводивших перед ним заслон, который лишал его дневного света. Оливье не жаловался: он готов был довольствоваться и стенами вместо горизонта,— это напоминало ему печь Декарта, откуда стесненная мысль тем стремительнее рвется в свободные небеса. Но Кристофу необходим был воздух. Зажатый в этом тесном углу, он тем охотнее общался с окружавшими его людьми. Он впивал в себя их души, перекладывал на музыку. Оливье уверял, что Кристоф похож на влюбленного.

— Ах, если бы это было так! — отвечал Кристоф.— Я бы ничего не видел, ничем бы не интересовался, кроме моей любви.

— Тогда что же с тобой?

— Просто я здоров, и у меня прекрасный аппетит.

— Какой ты счастливый, Кристоф,— вздыхал Оливье.— Уступи нам хоть немного своего аппетита.

Здоровье так же заразительно, как и болезнь. И Оливье на себе испытал этот благодетельный закон. Именно силы ему больше всего и не хватало. Он удалялся от общественной жизни, потому что ее грубость и вульгарность возмущали его. При широком уме и незаурядных художественных данных он был слишком утончен, чтобы стать большим мастером. Крупные художники не испытывают отвращения к жизни; основной закон для каждого здорового существа — это воля к жизни; и когда это существо — гений, она особенно могущественна, ибо гений живет гораздо интенсивнее обыкновенного человека. Оливье бежал от жизни, предпочитая плавать в море поэтических вымыслов, бестелесных, бесплотных, нереальных; он принадлежал к числу тех представителей избранной интеллигенции, которые в поисках красоты устремляются либо в далекое прошлое, либо в царство фантазии! Как будто волшебный напиток жизни не был сегодня таким же опьяняющим, каким был когда-то! Но усталые души избегают непосредственного соприкосновения с жизнью; они терпят ее, только когда она укрыта туманом миражей, созданных отдаленностью прошлого и отзвучавшими словами тех, кто давно исчез. Дружба Кристофа помогала Оливье выбраться из мрачного преддверия искусства. И солнце уже проникало в темные закоулки его души.

Инженер Эльсберже также заразился оптимизмом Кристофа. Однако в его привычках не было заметно никакой перемены; и нечего было рассчитывать на то, что в его характере наконец появится предприимчивость и он уедет из Франции искать счастья в другой стране. Это значило бы требовать слишком многого. Все же его апатия начинала проходить; в нем снова проснулся вкус к изысканиям, к лекциям, к своим научным работам, которые он давно забросил. Эльсберже очень удивился бы, если бы кто-нибудь сказал ему, что он обязан Кристофу этим возрождением интереса к своей профессии; и больше других удивился бы, конечно, сам Кристоф.

Из всех жильцов дома Кристоф быстрее всего сошелся с молодой четой, жившей на третьем этаже. Проходя мимо их квартиры, он не раз прислушивался к доносившимся оттуда звукам рояля, на котором г-жа Арно, оставшись в одиночестве, играла с большим вкусом. Однажды он послал им билеты на свой концерт. Арно горячо поблагодарили его. С тех пор он стал иногда заходить к ним по вечерам. Однако ни разу не удалось ему во время этих посещений послушать игру хозяйки: она была слишком робка, чтобы сесть за рояль при посторонних, а

узнав, что ее слышно с лестницы, стала вообще играть под сурдинку. Но Кристоф, придя к ним, сам садился за рояль; потом они долго разговаривали о музыке. Супруги Арно вносили в эти беседы восхищавшую Кристофа юношескую пылкость. Он раньше даже не представлял себе, что французы могут так сильно любить музыку.

— Ведь ты встречался до сих пор только с музыкантами,— возражал ему Оливье.

— Я отлично знаю,— отвечал Кристоф,— что музыканты меньше всего любят музыку; но, пожалуйста, не уверяй меня, что во Франции такие люди, как ты и Арно,— обычное явление.

— Таких тысячи.

— Значит, это просто эпидемия, последняя мода?

— Нет, не мода,— заметил Арно.— «Если кто-нибудь, внимая сладостной гармонии инструментов или нежным звукам человеческого голоса, не радуется, не возмущается и не трепещет с головы до ног, восхищенный и как бы ставший вне себя, это верный знак того, что душа у него лживая, порочная и развращенная и следует его остерегаться, как рожденного под недоброй звездой...»

— Знаю, откуда это,— заявил Кристоф,— из моего друга Шекспира.

— Нет,— мягко возразил Арно,— это сказал наш Ронсар, который жил до Шекспира. Как видите, для Франции это довольно старая мода.

Но еще больше, чем любви французов к музыке, Кристоф удивлялся тому, что и любят-то они примерно ту же музыку, что и немцы. В среде парижских музыкантов и снобов, которых он только и видел до сих пор, считалось хорошим тоном относиться к немецким мастерам, как к знатным иностранцам, и, восхищаясь ими, все же держать их на расстоянии; здесь охотно иронизировали над тяжеловесностью Глюка и варварством Вагнера; им противопоставлялась французская утонченность. И Кристоф, ознакомившись ближе с французской манерой исполнения, в конце концов усомнился, да понимают ли вообще во Франции немецкую музыку. Однажды он вернулся с постановки Глюка просто возмущенный: эти ловкачи-французы ухитрились подрумянить грозного старца! Они принарядили его, украсили бантами, обложили ватой его суровые ритмы, уснастили его музыку импрессионистскими полутонами, изощренной порочностью! Бедный Глюк! Что осталось от его горячего красноречия, душевной чистоты, неприкрытых мук? Неужели фран-

цузы не способны почувствовать все это? — думал тогда Кристоф. А теперь он открыл в сердце своих новых друзей глубокую и нежную любовь к самому сокровенному, что было в германской душе, в старых Lieder, в немецких классиках. И он спросил: так, значит, неправда, что эти немцы им чужды и что француз может любить только мастеров своей нации?

— Неправда! — горячо запротестовали они.— Это наши критики берут на себя смелость писать от нашего имени. И так как они сами раболепствуют перед модой, то утверждают, что и мы следуем их примеру. Но нам до них так же мало дела, как и им до нас. Это просто шуты гороховые, которые берутся учить нас тому, что следует считать французским и что нет. Нас, французов старой Франции! Они объясняют нам, что наша Франция — это Рамо или Расин, а не кто-либо другой! Как будто Бетховен, Моцарт или Глюк не приходили посидеть и у нашего камелька, не проводили бессонных ночей у постели наших близких, не страдали вместе с нами, не воскрешали наших надежд! Как будто они не стали своими в нашей семье! Если говорить начистоту, то уж скорее какой-нибудь французский художник, столь превозносимый нашими парижскими критиками, чужд нам.

— Правда заключается в том,— сказал Оливье,— что если для искусства и существуют границы, это не столько преграды национальные, сколько преграды классовые. Я не знаю, существует ли особое французское искусство и особое немецкое, но я знаю, что есть искусство богатых и искусство тех, у кого нет богатства. Глюк — великий человек из буржуазной среды, он принадлежит к нашему классу. А некий французский композитор, которого я не хочу называть, к нему не принадлежит; и хотя он родился в семье буржуа, он стыдится нас, отрекается от нас; а мы, мы отрекаемся от него.

Оливье был прав. Чем больше Кристоф узнавал французов, тем больше поражался сходству между честными французами и честными немцами. Чета Арно напоминала ему дорогого старого Шульца с его любовью к искусству, такой чистой, такой бескорыстной, с его самозабвенной преданностью всему прекрасному. И он полюбил их в память Шульца.

Убедившись в нелепости моральных преград между честными людьми разных национальностей, Кристоф увидел также, насколько нелепы преграды, возникающие между честными людьми одной и той же национальности, но разных взгля-

дов. Благодаря ему, хотя и без его стараний, два человека, казавшиеся особенно чуждыми друг другу и неспособными к взаимопониманию — аббат Корнель и г-н Ватлэ,— познакомились и сошлись ближе.

Кристоф брал у обоих книги и с бесцеремонностью, шокировавшей Оливье, передавал книги одного — другому. Аббат Корнель этим не возмущался: он умел проникать в людские сердца и, незаметно для своего молодого соседа, угадал в душе Кристофа всю глубину его великодушия и даже неведомой самому музыканту религиозности. Сближение началось с взятой у г-на Ватлэ книжки Кропоткина, которую — правда, по разным причинам — любили все трое. Однажды аббат и г-н Ватлэ случайно встретились у Кристофа. Сначала Кристоф опасался, как бы его гости не наговорили друг другу каких-нибудь колкостей. Но те, наоборот, были друг с другом чрезвычайно любезны. Они беседовали на самые безобидные темы: о своих путешествиях, о встречах с людьми. И открыли друг в друге сердце, исполненное снисхождения, евангельской кротости и несбыточных надежд, хотя особых оснований для надежд у них не было. И между ними возникла взаимная, чуть ироническая симпатия, но симпатия очень сдержанная. Никогда не касались они сути своих верований. Виделись редко и не искали встреч, но когда встречались, то оба испытывали удовольствие.

Оказалось, что аббат обладал большей внутренней независимостью, чем г-н Ватлэ. Кристоф никак этого не ожидал. Перед ним понемногу раскрывалось величие религиозного и свободного мышления аббата, его мощный и светлый мистицизм, лишенный всякой горячности, пронизывавший все помыслы священника, все поступки его повседневной жизни, все его представления о вселенной и побуждавший его жить во Христе, как, согласно его вере, Христос жил в боге.

Он ничего не отрицал — ни одной из сил, действующих в жизни. Для него все писания, древние и современные, религиозные и светские, от Моисея до Бертело, были достоверными, божественными, были проявлением бога. Священное писание являлось только одним из наиболее ярких образцов такого рода, подобно тому как церковь была наиболее высокой избранницей объединившихся в боге братьев; но ни Писание, ни церковь не замыкали дух в косной истине. Христианство было для него живым Христом. История мира была только историей неуклонного роста и расширения идеи божьей. Разрушение Иерусалимского храма, гибель языческого мира, не-

удача крестовых походов, пощечина Бонифацию VIII, Галилей, бросивший нашу землю в беспредельные пространства, мощь бесконечно малых частиц по сравнению с большими, конец королевской власти и конкордатов,— все это на время сбивало с пути сознание людей. Одни с отчаянья цеплялись за то, что было обречено на гибель, другие хватались за какую-нибудь случайную доску и плыли по воле волн. Аббат Корнель только спрашивал себя: «Что сейчас исповедуют люди? Что помогает им жить?» — ибо верил: «Где жизнь, там и бог». Вот почему он почувствовал симпатию к Кристофу.

Со своей стороны, и Кристоф с радостью слушал прекрасную музыку, какой полна возвышенная религиозная душа. Она будила в нем отдаленные и глубокие отзвуки. Случилось так, что вследствие его постоянного стремления живо отзываться на всё,— у сильных натур подобные реакции это инстинкт жизни, инстинкт самосохранения, как бы тот удар весла, который восстанавливает равновесие и дает лодке новое направление,— омерзительный парижский сенсуализм и неудержимый рост скептицизма вот уже два года, как воскресили бога в сердце Кристофа. Не то чтобы он поверил в него. Он отрицал бога. Но он был полон им. Аббат Корнель говорил ему, улыбаясь, что, подобно доброму великану, его патрону, он, сам того не ведая, несет бога в себе.

— Почему же я не вижу его? — спрашивал Кристоф.

— Вы — как миллионы других людей: вы видите его каждый день, хотя и не подозреваете, что это он. Бог открывается под самыми различными формами: одним — в повседневной жизни, как святому Петру в Галилее; другим (например, вашему другу Ватлэ) — как святому Фоме, в осязаемых ранах и в бедах, которые нужно исцелять; вам — в величии вашего идеала: «Noli me tangere» [1]. Наступит день — и вы узнаете его.

— Никогда я не отрекусь от своих взглядов,— отвечал Кристоф.— Я свободный человек!

— А с богом вы еще свободнее! — спокойно отвечал священник.

Но Кристоф не допускал, чтобы из него можно было сделать христианина помимо его воли. Он защищался с наивной горячностью, как будто тот или иной ярлык, наклеенный на его мысли, мог что-либо изменить. Аббат Корнель слушал его с легкой, едва уловимой, чисто пастырской иронией и с боль-

[1] Не прикасайся ко мне *(лат.)*.

шой добротой: у него был неиссякаемый запас терпения, вошедшего, как и вера, в его плоть и кровь. Испытания, постигавшие современную церковь, закалили его; хотя они повергли его в искреннюю печаль и заставили пережить мучительные душевные потрясения, они не затронули глубин его веры. Конечно, тяжело было сознавать, что начальники притесняют тебя, что епископы следят за каждым твоим шагом, что свободомыслящие стараются воспользоваться твоими взглядами и борются твоим же оружием против твоей веры, что ты не понят и преследуем и твоими единоверцами, и врагами твоей религии. Противиться невозможно, ибо нужно покоряться. Но покоряться искренне тоже невозможно, ибо знаешь, что старшие ошибаются; поэтому нельзя молчать. И нельзя говорить — из страха быть понятым неправильно. Тем более, если иметь в виду другие души, за которые отвечаешь, которые ждут от тебя совета, помощи и чьи страдания ты видишь. Аббат Корнель страдал вдвойне — за них и за себя, но все-таки смирялся. Что значат в сравнении с многовековой историей церкви нынешние испытания? Однако, замыкаясь в безмолвной покорности, он как-то захирел, становился робким, боялся высказывать свои взгляды, а это затрудняло ему каждый шаг, и он все больше погружался в оцепенение. Он с грустью замечал это, но не боролся. Знакомство с Кристофом явилось для него огромной поддержкой. Тот юношеский пыл, тот дружеский и простодушный интерес, с каким отнесся к аббату его сосед, его вопросы, подчас даже слишком прямолинейные, действовали на аббата целительно. Кристоф уговаривал его возвратиться в общество живых.

Обер, электромонтер, встретился с аббатом у Кристофа. Увидев священника, он сделал невольный жест удивления. Ему трудно было скрыть свою неприязнь. Даже справившись со своим чувством, он продолжал испытывать какую-то неловкость в присутствии этого мужчины в юбке, этого непонятного существа. Все же влечение к разговорам с людьми воспитанными и образованными взяло верх над его неприязнью к духовенству.

Обера удивила та дружественность, какая установилась между Ватлэ и аббатом Корнелем; он был не менее поражен тем, что видит перед собой священника-демократа и революционера-аристократа. Это опрокидывало все его привычные представления. Обер тщетно искал, к каким бы категориям их отнести, ибо ему необходимо было классифицировать людей, чтобы понимать их. А к какой рубрике причислить мирное свободолю-

бие этого священника, который читал Анатоля Франса и Ренана и отзывался о них спокойно, метко и справедливо? В вопросах познания аббат взял себе за правило больше доверять людям науки, чем представителям власти. Он чтил власть, но считал, что наука — это более высокая ступень, ибо плоть, дух, милосердие и образуют три основных ступени божественной лестницы — лестницы Иакова. Разумеется, Обер, с его простодушием, даже не подозревал о возможности такой системы взглядов.

А аббат Корнель мягко говорил Кристофу, что Обер напоминает ему французских крестьян. Он как-то присутствовал при одном весьма характерном эпизоде: молодая англичанка спрашивала у крестьян дорогу. Она говорила по-английски. Крестьяне слушали и не понимали. Потом они заговорили по-французски. И теперь она их не понимала. Тогда они поглядели на нее с состраданием, покачали головой и заметили, принимаясь за прерванную работу:

— Вот жалость-то! А еще такая красавица!

В первое время Обер, смущенный ученостью и изысканными манерами аббата и г-на Ватлэ, молчал, упиваясь их беседами. Понемногу он сам стал принимать участие в разговорах, уступая ребяческому желанию послушать и себя. И принялся выкладывать свои туманные идеи. Оба вежливо слушали и про себя улыбались. Восхищенный Обер этим не ограничился: он воспользовался, а потом и злоупотребил неисчерпаемым терпением аббата Корнеля и прочел ему свою писанину. Священник покорно слушал; ему было не очень скучно: ведь он слушал не столько слова, сколько человека. А когда Кристоф выразил ему свое соболезнование, он заметил:

— Пустяки! То ли приходится слышать!

Обер был благодарен г-ну Ватлэ и аббату Корнелю; и все трое, не слишком заботясь о том, чтобы уяснить себе в конце концов взгляды друг друга, прониклись взаимной привязанностью, хорошенько даже не зная почему. И были удивлены, заметив, что они так близки. Никогда они не думали, что это возможно. Кристоф соединил их.

Он обрел чистых сердцем союзников в лице трех детей — двух девочек Эльсберже и приемной дочки г-на Ватлэ. Кристоф сделался их другом. Ему было жаль детишек — уж очень одиноко они жили. Постоянно рассказывая девочкам Эльсберже о неведомой маленькой соседке, он внушил им неудержимое желание познакомиться с нею. И теперь они сигнализировали друг другу в окно, обменивались торопливыми словами на лестнице.

И в конце концов, при поддержке Кристофа, добились того, что им разрешили встречаться в Люксембургском саду. Кристоф, обрадованный успехом своей политики, решил присутствовать при их первой встрече; однако они держались смущенно и неестественно, не зная, что им делать с этим неожиданным счастьем. Но Кристоф мгновенно растопил лед, придумал игры, заставил их бегать, догонять друг друга и сам бегал с таким увлечением, словно и ему было десять лет. Гуляющие с удивлением поглядывали на рослого малого, который бегал, кричал и прятался за деревьями от трех ловивших его девочек. Однако родители, с их обычной недоверчивостью, были весьма мало склонны к тому, чтобы встречи в Люксембургском саду повторялись слишком часто (ибо там было трудно следить за детьми). Тогда Кристоф устроил так, что майор Шабран, проживавший в квартире первого этажа, предложил детям играть тут же в саду, при доме.

С Шабраном Кристофа свел случай, который обычно идет навстречу тому, кто умеет им воспользоваться. Рабочий стол Кристофа стоял у окна. Однажды ветер унес несколько исписанных нотных листов в сад. Кристоф побежал за ними без шляпы, в чем был. Он думал, что ему откроет кто-либо из слуг. Но дверь отворила молодая девушка. Несколько смущенный, он объяснил ей цель своего посещения. Она улыбнулась и пригласила зайти; они вместе отправились в сад. Кристоф собрал свои листки и поспешил ретироваться. Девушка пошла проводить его, и тут они столкнулись с отставным офицером, который возвращался домой. Майор с удивлением взглянул на чудно́го гостя. Молодая девушка, смеясь, представила ему Кристофа.

— Ах, так это вы музыкант? — сказал офицер.— Очень рад! Мы с вами собратья.

Он пожал Кристофу руку. Затем они поговорили с дружелюбной иронией о концертах, которыми угощали друг друга: Кристоф на рояле, майор на флейте. Кристоф хотел уйти. Шабран удержал его; и они пустились в бесконечные рассуждения о музыке. Вдруг офицер предложил:

— Зайдемте ко мне. Посмотрите мои пушки.

Кристоф последовал за ним, удивляясь, зачем майору понадобилось знать его мнение о французской артиллерии. А тот, торжествуя, показал ему свои музыкальные *каноны* [1]. Это были настоящие пьесы-ребусы, которые можно было играть с конца к началу или в четыре руки, причем один играл страничку сверху вниз, а другой — снизу вверх. Бывший воспитанник По-

[1] Французское слово «canon» означает «пушка», а также «канон».

литехнического института с детства чувствовал влечение к музыке. Однако больше всего любил он в музыке замысловатые эксперименты: она представлялась ему (отчасти она и была такою) блистательной игрой ума; и он ставил себе и решал задачи на всевозможные музыкальные построения — одно причудливее и бесцельнее другого. Разумеется, служба не позволяла ему отдавать много времени удовлетворению этой страсти, но, с тех пор как Шабран вышел в отставку, он целиком отдался ей; он вкладывал в эти занятия ту же энергию, с какой некогда преследовал в африканской пустыне племена негритянских царьков или ускользал от их засад. Кристоф нашел забавными его шарады и, в свою очередь, предложил еще более сложную. Офицер был в восторге; они начали состязаться в изобретениях и забрасывали друг друга музыкальными головоломками. Когда они наигрались всласть, Кристоф поднялся к себе. Но на следующее же утро он получил от соседа новую задачу, настоящий ребус, над которым майор просидел чуть не всю ночь; Кристоф ответил, и так продолжалось до тех пор, пока композитор, которому игра уже до смерти надоела, не объявил себя побежденным; офицер был в восторге, он считал этот успех как бы реваншем, взятым над Германией. Затем майор пригласил Кристофа на завтрак. Прямота Кристофа, заявившего, что музыкальные творения самого Шабрана отвратительны, и пришедшего в ужас, когда тот принялся терзать на своей фисгармонии какое-то *анданте* Гайдна, окончательно покорили майора. С тех пор они беседовали довольно часто, но уже не о музыке. Кристофа мало интересовали нелепые рассуждения Шабрана на этот счет, он предпочитал разговор на военные темы. А майор был рад. Несчастному старику ничего другого не оставалось, как развлекать себя музыкой, но в глубине души он тосковал.

Он охотно пускался в рассказы о своих африканских походах. Это были невероятные приключения, достойные Писарро и Кортеса. Перед изумленным Кристофом воскресала эта удивительная и варварская эпопея, о которой он решительно ничего не знал и относительно которой сами французы были полными невеждами, хотя в течение почти двух десятилетий горсть французских завоевателей сражалась в дебрях Черного материка с отчаянным героизмом, смелой изобретательностью и сверхчеловеческой энергией: эти люди, затерянные там и лишенные самых элементарных средств для ведения войны, были окружены армиями чернокожих и притом вынуждены действовать вопреки трусливому обществу и трусливому правительству; тем не менее они завоевали для Франции и наперекор Франции страну,

обширнее ее самой. От всего этого на Кристофа веяло радостной мощью и запахом крови. Перед ним возникали образы современных кондотьеров, героев-авантюристов, что так мало вязалось с теперешней Францией и о чем Франция не могла думать без краски стыда: она старалась поскорее набросить на них покрывало забвения.

Когда майор возвращался к этим воспоминаниям, голос его звучал браво; он вел свой рассказ с грубоватым добродушием и сообщал подробные сведения (причудливо переплетая их с эпическими повествованиями) об особенностях почвы, о бесконечных пустынях и об охотах, когда человек в этой беспощадной борьбе был то охотником, то дичью. Кристоф слушал его, смотрел на него и испытывал сострадание к этому прекрасному животному человеческой породы, обреченному на бездействие, вынужденному искать исход для своей энергии в бессмысленных забавах. Он недоумевал, каким образом офицер мог примириться со своей участью, и однажды спросил его об этом. Вначале майор был, видимо, не очень склонен открывать свои обиды совершенно чужому человеку. Но в конце концов все французы — болтуны, особенно когда речь идет о взаимных обвинениях.

— А какого черта мне там делать,— ответил он,— в их теперешней армии? Моряки стали писаками. Пехотинцы — социологами. Они делают решительно все, только не воюют. Они даже не готовятся к войне, а готовятся к тому, чтобы больше никогда не воевать, и занимаются философией войны... Философия войны! Игра побитых ослов, которые рисуют себе, как их побьют в следующий раз. А мне с болтунами не по пути. Лучше уж засесть дома и отливать музыкальные пушки!

Из стыдливости он не открыл своих главных горестей: не стал рассказывать о том, как офицеры по вине наушников стали коситься друг на друга, об унизительной необходимости подчиняться наглым приказаниям зловредных и невежественных политиканов, о страданиях армии, которую используют для несения гнусных полицейских обязанностей, для конфискации церковного имущества, подавления рабочих стачек, о том, как их заставляли служить корыстным и мстительным интересам правящей партии — этих мелких буржуа, радикалов и антиклерикалов — против всей остальной страны, уж не говоря об отвращении старого «африканца» к новым колониальным войскам, которые правительство в подавляющем большинстве набирает из худших элементов нации, потакая эгоизму тех, кто не желает участвовать в почетном и рискованном деле укрепления обороны «большой Франции» — Франции, лежащей за морями.

Кристоф не собирался вмешиваться в эту французскую междоусобицу: это его не касалось. Но он сочувствовал бывшему офицеру. Как бы Кристоф не относился к войне, он понимал, что армия должна создавать солдат — для того она и существует,— так же как яблоня должна приносить яблоки; и примешивать сюда политиков, эстетов, социологов — большая ошибка. И все-таки ему было непонятно, как мог этот энергичный, решительный человек уступить место другим. Не бороться с врагами — значит быть худшим врагом самому себе. Но, видно, во всех сколько-нибудь достойных французах есть эта своеобразная склонность к отказу, к самоотречению. Кристоф обнаружил это свойство в иной, более трогательной, форме и у дочери майора.

Ее звали Селиной. У нее были тонкие, тщательно расчесанные, стянутые в узел волосы, открывавшие высокий выпуклый лоб и заостренные ушки, худые щеки, прелестный подбородок, какой бывает у деревенских красоток, чудесные темные глаза — умные, доверчивые, очень кроткие и близорукие, толстоватый нос, родинка в уголку верхней губы, молчаливая улыбка, от которой на лице появлялась милая гримаска и нижняя губка слегка выступала вперед. Селина была добра, деятельна, остроумна, но удивительно равнодушна ко всякого рода умственным интересам. Она почти не читала, не знала ни одной новой книги, никогда не ходила в театр, никогда не путешествовала (чтобы не раздражать отца, который когда-то путешествовал слишком много), не участвовала в светской благотворительности (отец критиковал подобные начинания), не пыталась заняться какой-нибудь наукой (отец издевался над учеными женщинами) и почти не покидала своего садика, замкнутого четырьмя высокими стенами и напоминавшего огромный колодец. Вместе с тем Селина не скучала, развлекалась, как могла, и бодро мирилась со своей судьбой. От Селины и от того мира, который бессознательно создает себе каждая женщина, веяло чем-то шарденовским: та же теплая тишина; внимательные лица и спокойные (немного застывшие) позы людей, занятых своим обычным делом, дышали поэзией будней, когда в один и тот же час повторяются заранее известные мысли и движения, которые любишь от этого не менее глубоко и нежно. Здесь чувствовалась та безмятежная ограниченность прекрасных душ, которою бывают иногда наделены некоторые представители буржуазной среды: их добросовестность, честность, правдивость, их спокойный труд, спокойные и все же поэтические радости, здоровое

изящество, опрятность моральная и физическая; все отдавало здесь хорошо выпеченным хлебом, запахом лаванды, откровенностью, добротой, мирной жизнью предметов и людей, мирной жизнью старых домов и умиленных душ. Кристоф, чья сердечная доверчивость будила в людях ответное доверие, подружился с Селиной. Они беседовали довольно непринужденно; он даже начал задавать ей вопросы, на которые она, к своему удивлению, отвечала; молодая девушка поведала ему то, что не открыла бы никому другому.

— Это потому,— пояснил Кристоф,— что вы меня не боитесь. Нам не грозит опасность полюбить друг друга: для этого мы слишком добрые друзья.

— Любезно, нечего сказать! — отвечала она, смеясь.

Ее здоровая натура, так же как и натура Кристофа, испытывала отвращение к так называемой «влюбленной дружбе», которой обычно ищут люди непрямые и привыкшие лукавить со своими чувствами. Кристоф и Селина были просто добрыми товарищами.

Однажды он спросил ее, как это она может целыми вечерами сидеть неподвижно в саду на скамейке, не прикасаясь к лежащему на коленях рукоделию. Она покраснела и стала уверять, что вовсе не часами, а если и сидит так, то всего несколько минут, да и то изредка,— всего четверть часика, чтобы «досказать себе историю».

— Какую историю?

— Историю, которую я себе рассказываю.

— Вы рассказываете себе истории! Расскажите мне!

Нет, он слишком любопытен. Но, во всяком случае, не она героиня этих историй.

Он очень удивился:

— Вот охота! По-моему, естественнее рассказывать себе свою собственную историю, но приукрашенную: представлять себе, что живешь более счастливой жизнью.

— Ну нет,— отозвалась Селина,— от этого можно прийти в отчаяние.— Она снова покраснела, понимая, что приоткрыла потаенный уголок своей души. Затем продолжала: — И потом, когда я в саду и меня овевает ветер, я счастлива. Сад кажется мне живым. А когда ветер дует мне в лицо, он столько мне рассказывает — ведь он мчится издалека.

Кристоф, невзирая на сдержанность Селины, прозревал в ее душе грусть, таившуюся за веселым спокойствием и постоянной занятостью, которою она, однако, себя не обманывала, ибо хлопотала без цели. Почему же она не старалась сбросить с себя

это иго? Ведь она была прямо создана для жизни деятельной и осмысленной!

Она ссылалась на привязанность к отцу, который и слышать не хотел о разлуке с нею. Напрасно Кристоф возражал, уверяя ее, что человек столь сильный и энергичный, как майор, в ней не нуждается, что при такой закалке он может остаться один и не имеет права приносить ее в жертву. Но Селина защищала отца и, следуя поговорке, что «и ложь бывает во спасение», уверяла Кристофа, будто бы не отец, а она сама не в силах с ним расстаться. В известной мере это было, пожалуй, правдой. И ей, и ее отцу, и всем их близким казалось, что так суждено от века и не может быть иначе. У нее был женатый брат, считавший вполне естественным, что она жертвует собой и остается подле отца. А брат был занят только своими детьми. Он относился к ним с ревнивой любовью и преследовал их своей мелочной опекой. Эта любовь являлась для него и для его жены своего рода веригами, добровольно надетыми и сковывавшими все их действия: глядя на них, можно было подумать, что с рождением детей всякая личная жизнь кончается и что нужно навсегда отказаться от возможности идти вперед,— этот человек, деятельный, умный, еще молодой, высчитывал, сколько лет ему осталось до выхода в отставку. Брат и его жена, будучи превосходными людьми, поддались обессиливающей атмосфере семейных привязанностей, которые во Франции, при всей их глубине, душат человека, сжимают его, словно тисками. Они оказывают тем более гнетущее действие, что французская семья обычно состоит из отца, матери и одного или двух детей, и в результате получается какая-то зябкая, пугливая, сосредоточенная на себе любовь, похожая на скупца, зажавшего в руке горсть золота.

Неожиданное обстоятельство усилило интерес Кристофа к Селине, и он еще раз убедился, насколько тесен для француза круг его привязанностей, насколько эти люди боятся жить и брать то, что им принадлежит по праву.

У инженера Эльсберже был брат, на десять лет моложе его, тоже инженер. Честный малый, каких много в буржуазных семьях, и притом с некоторыми художественными наклонностями. Такие юноши мечтают заниматься искусством, но боятся скомпрометировать себя в глазах буржуазного общества. На самом деле проблема эта не так уж сложна, и большинство художников в наши дни решает ее без всякого риска для себя. Но прежде всего нужно хотеть, а не все способны даже на это усилие: они не вполне уверены, что действительно хотят того, что им хочется; и, по мере того как их положение в буржуазном

обществе становится все более прочным, они сливаются с этим обществом без шума и возмущения. Стань они просто добродетельными буржуа, вместо того чтобы сделаться плохими художниками, их и корить бы не за что. Но первые разочарования нередко оставляют в их душе тайное недовольство, некое qualis artifex pereo, прикрывающееся тем, что условно называется философией, и отравляющее им жизнь, пока время и новые заботы не сотрут следов былой горечи. Так же случилось и с Андре Эльсберже. Его влекла литература, но брат, крайне прямолинейный в своих взглядах на жизнь, настаивал, чтобы и младший пошел по пути науки. Андре был умен и очень способен к наукам, впрочем, и к литературе тоже. Он не был вполне уверен, что сможет сделаться литератором, но что станет буржуа — это он знал слишком хорошо; и вот, сначала временно (а известно, к чему это ведет), он покорился воле брата. Он поступил в Политехнический институт, сдав приемные экзамены без большого блеска, окончил его далеко не блестяще и стал работать инженером — добросовестно, но без всякого интереса к своему делу. Разумеется, в нем заглохли и те небольшие художественные задатки, которыми он был наделен от природы: говорил он теперь о своих несбывшихся мечтах только с иронией.

— К тому же,— обычно добавлял Андре (Кристоф узнавал в его рассуждениях пессимизм Оливье),— жизнь, право же, не стоит того, чтобы мучиться из-за неудавшейся карьеры. Одним плохим поэтом больше или меньше...

Братья Эльсберже любили друг друга; у обоих был один и тот же душевный склад, но они не ладили. Оба были в свое время дрейфусарами. Однако Андре, увлекавшийся синдикализмом, стал антимилитаристом; Эли же был патриотом.

Иногда Андре посещал Кристофа, не заходя к брату. Кристоф удивлялся этому, ибо они с Андре никакой особой симпатии друг к другу не питали. Последний, сидя у него, открывал рот только затем, чтобы пожаловаться на кого-нибудь или на что-нибудь, а это было очень утомительно; когда же говорил Кристоф, Андре его не слушал. В конце концов Кристоф уже не стал скрывать, что посещения Андре ему тягостны. Однако Андре с этим не считался и как будто даже не замечал отношения Кристофа. Наконец, Кристоф разгадал тайну: однажды он увидел, что гость не слушает его, а, высунувшись в окно, занят тем, что происходит в саду. Кристоф сказал ему об этом, и Андре довольно охотно признался, что да, он знаком с мадемуазель

Шабран и отчасти из-за нее бывает у Кристофа. Затем, разговорившись, признался, что издавна питает к молодой девушке дружеские чувства, а может быть, и нечто большее: семья Эльсберже уже много лет связана узами знакомства с семьей маїора. Вначале они были очень близки, но политика разлучила их, и с тех пор они не встречаются. Кристоф не скрыл от Андре, что считает это глупым. Неужели нельзя придерживаться тех взглядов, каких хочется, и вместе с тем уважать друг друга? Андре запротестовал, уверяя Кристофа в своем свободомыслии, но тут же выделил два-три вопроса, на которые, по его мнению, терпимость не распространяется и смотреть на них следует только так, как смотрел он, Андре Эльсберже. Первым он назвал знаменитое дело Дрейфуса. Затем Андре, как всегда бывает в таких случаях, понес чепуху. Кристоф знал эту манеру и не пытался спорить, но спросил: неужели дело Дрейфуса так никогда и не кончится и, как проклятие, будет тяготеть до скончания века над нами и над детьми наших детей и наших правнуков? Андре рассмеялся и, не ответив Кристофу, принялся растроганно восхвалять Селину Шабран, обвиняя в эгоизме ее отца, находившего вполне естественным, что дочь всю себя посвятила ему.

— Почему же вы не женитесь на ней, раз вы ее любите и она вас любит? — спросил Кристоф.

Андре с грустью пояснил, что Селина — клерикалка. Кристоф спросил, что это значит. Молодой человек ответил: это значит — исполнять религиозные обряды и покоряться какому-то божеству и его жрецам.

— Да вам-то что?

— А то, что моя жена должна принадлежать мне целиком.

— Как? Вы стали бы ревновать вашу жену даже к ее убеждениям? Значит, вы еще больший эгоист, чем ее отец!

— Вам легко говорить со стороны! Разве вы женились бы на женщине, которая не любит музыки?

— Я пытался!

— Но как жить вместе, если взгляды различны?

— Да оставьте вы в покое эти ваши взгляды! Ах, бедный друг мой! Какое значение имеют идеи, когда любишь! И какое мне дело, любит музыку любимая мной женщина или не любит? Она сама для меня музыка! Когда человеку посчастливится, как вам, найти милую девушку, которую он полюбил и которая полюбила его, да пусть она верит во все, что ей угодно, и вы верьте во все, что вам угодно! В конечном счете все ваши идеи стоят одна другой; на свете одна истина — она в том, чтобы любить друг друга.

— Вы рассуждаете, как поэт. И не видите жизни. Я знаю слишком много браков, в которых люди очень страдали от расхождения во взглядах.

— Значит, они любили недостаточно сильно. Надо выбирать, что важнее.

— Одного желания мало. Если бы я и захотел жениться на мадемуазель Шабран, я бы не смог.

— Интересно знать — почему?

Андре заговорил о своих колебаниях. Прочного положения у него до сих пор нет; состояния нет; здоровье неважное. Имеет ли он право жениться? Ведь это огромная ответственность. Не рискует ли он сделать несчастной и ту, которую любит, и себя самого, не говоря уже о детях? Не лучше ли подождать или совсем отказаться?

Кристоф пожал плечами.

— Хороша любовь. Нечего сказать! Если она вас любит, она будет счастлива посвятить вам свою жизнь. Что же касается детей, то вы, французы, смешной народ! Вы хотите пустить их в жизнь, только уверившись, что сделаете из них пузатых рантье, которым не придется страдать. Да какого черта! Это же вас не касается; ваше дело — произвести ребенка на свет, привить ему любовь к жизни и мужество, чтобы защищать ее. А там... пусть живут, пусть умирают — это участь всех. Неужели лучше не жить совсем, чем бояться жизни со всеми ее удачами и неудачами?

Непоколебимая уверенность, которой веяло от Кристофа, невольно заражала и его собеседника, но не могла убедить. Он отвечал:

— Да, может быть...

Однако дальше этого не шел. Казалось, он, подобно другим французам, поражен бессилием и не способен ни желать, ни действовать.

Кристоф начал борьбу с той косностью, которую обнаруживал вновь и вновь у большинства своих друзей-французов, притом в странном сочетании с усердной и подчас лихорадочной деятельностью. Почти все, кого он встречал в среде буржуазии, были чем-нибудь недовольны. Почти все испытывали отвращение к калифам на час, к их растленным взглядам. Почти во всех жило горестное и гордое сознание того, что предатели покушаются на самую душу нации. И тут играла роль не личная неприязнь, не горечь побежденных людей и побежден-

ных классов, лишившихся власти и возможности активно участвовать в жизни, не обида деятелей, не находящих уже применения своей энергии, и не обида старой аристократии, удалившейся в свои поместья и прячущейся от постороннего ока, как насмерть раненный лев. Это было чувство морального возмущения, глухое, глубокое, всеобщее; оно ощущалось повсюду — в армии, в суде, в университетских кругах, в канцеляриях, во всех жизненно важных частях правительственного механизма. Но все эти люди не предпринимали ничего и заранее капитулировали, повторяя:

— Все равно ничего не изменишь.

И, трусливо уклоняясь от печальных размышлений, искали прибежища в семейной жизни.

Если бы еще они отстранились только от участия в политической деятельности! Но даже в своем повседневном существовании каждый из этих честных людей старался действовать как можно меньше. Они терпели унизительное соседство негодяев: презирали их, но бороться с ними воздерживались, считая это бесполезным. Почему, например, спрашивал себя Кристоф, его знакомые художники и музыканты так легко мирятся с наглостью газетных Скарамушей, диктующих им свои законы? Среди этих последних имелось немало форменных ослов, невежество которых in omni re scibili [1] было общеизвестно, и все же они считались непогрешимыми авторитетами именно in omni re scibili. Они даже не давали себе труда самолично писать свои статьи и книги, а держали в качестве секретарей голодных оборванцев, готовых душу продать, если таковая имелась, за хлеб и женщину. В Париже все это ни для кого не составляло тайны. И все-таки они продолжали царить и обращались свысока с людьми искусства. Кристоф, читая некоторые их статьи, чуть не вопил от бешенства.

— Ах, подлецы! — восклицал он.

— Кого это ты так? — спрашивал Оливье.— Опять каких-нибудь прохвостов с Ярмарки на площади?

— Нет. Честных людей. Подлецы занимаются тем, чем им и надлежит заниматься: лгут, громят, воруют, убивают. А других, которые умеют только презирать, но со всем мирятся,— этих я ненавижу в тысячу раз сильнее. Если их собратья по перу, если честные и знающие критики, на спине которых кривляются эти арлекины, не потакали бы им из робости, из страха себя скомпрометировать, из низменных соображений кумовства

[1] Во всех вещах познаваемых *(лат.)*.

или по тайному сговору с врагом, чтобы избежать его ударов,— если бы честные не позволяли подлецам щеголять их покровительством и дружбой, смехотворность этого наглого засилия скоро стала бы всем ясна, и власть подлецов рухнула бы. Посмотри, та же дряблость во всем. Мне иногда двадцать человек говорят о ком-нибудь, что он негодяй. И все-таки каждый величает его «дорогим коллегой» и жмет ему руку. Негодяев на свете слишком много, говорят обычно эти честные. Нет, слюнтяев слишком много. Слишком много трусов среди честных.

— Но что же, по-твоему, делать?

— Наведите у себя порядок! Чего вы ждете? Чтобы господь бог занялся вашими делами? За примерами недалеко ходить. Уже три дня, как выпал снег. Улицы завалены сугробами. Ваш Париж стал болотом. А вы чем заняты? Ругаете вашу администрацию, которая не убирает эту грязь. Но сами-то вы что делаете? Ровно ничего! Стоите, скрестив руки. Никто не решается расчистить тротуар хотя бы перед собственным домом! Никто не исполняет своего долга — ни государство, ни частные лица; все валят друг на друга — и ладно. За долгие века монархического воспитания вы до того привыкли ничего не делать по собственной инициативе, что только ротозейничаете, ожидая чуда. А единственное возможное чудо — это если бы вы наконец решились действовать. Видишь ли, мой миленький Оливье, ума и добродетелей у вас хоть отбавляй, а вот горячей крови не хватает. И у тебя первого. Не ум у вас болен, не душа: поражена сама жизнь. Она уходит от вас.

— Что поделаешь? Нужно ждать, пока она вернется.

— Нужно хотеть, чтобы она вернулась. А для этого нужно прежде всего впустить в дом свежий воздух. Если не желаете выходить из дому, то пусть хоть в доме воздух будет чист. А он у вас заражен миазмами Ярмарки. Ваше искусство и ваша мысль — это на две трети подделка. И вы уже настолько пали духом, что вам даже в голову не приходит возмутиться, вы почти ничему не удивляетесь. Кое-кто из вас, честных людей, в своей запуганности доходит до того, что начинает убеждать себя, будто виноват он, а правы шарлатаны. Разве в редакции твоего «Эзопа» — хотя вы там все и уверяете, что вас не обманешь,— разве я не встречал и там несчастных молодых людей, внушающих себе, что они любят тот или иной жанр искусства, хотя на самом деле вовсе его не любят? Они одурманивают себя без всякого удовольствия, просто из тупого чувства стадности. Лгут, а сами умирают от скуки!

Кристоф проносился среди этих нерешительных людей, как ветер, сотрясающий спящие деревья. Он не старался привить им свои взгляды. Он вдыхал в них энергию независимого мышления. Он говорил:

— Вы слишком смиренны. Ваш главный враг — это неврастения и скепсис. Можно и должно быть терпимым и человечным. Но сомневаться в том, что считаешь истиной и добром, недопустимо. Во что веришь, то и защищай. Как бы ни были ничтожны наши силы — отступать непозволительно. Самый ничтожный человек в этом мире должен исполнять некий долг — так же как и самый великий. И, кроме того (хоть он и не сознает этого), ему также дана некая власть. Не думайте, что ваш одинокий бунт бесполезен! Чистая совесть, дерзающая утверждать себя,— это сила. За последние годы вы не раз были свидетелями того, как и государство и общество оказывались вынужденными считаться с мнениями честного человека, не имевшего иного оружия, кроме моральной силы, которую они, благодаря его упорству, должны были признать.

*Зачем,* спросите вы, делать такие усилия, *зачем* бороться, *зачем*? Ну так знайте же: затем, что Франция умирает, что умирает Европа и наша цивилизация, это прекрасное здание, созданное человечеством ценой многовековых страданий, рухнет в бездну, если мы не будем бороться. Родина в опасности, наша европейская родина, и больше всего ваша родина, ваша маленькая французская родина. Ваше равнодушие убивает ее. Она умирает с каждой из ваших угасающих энергий, в ваших мыслях, которые смиряются, в ваших бесплодных усилиях, в каждой капле вашей крови, застойной, бесполезной... Вставайте! Нужно жить! А уж если суждено вам умереть, так умрите стоя.

Но самое трудное состояло даже не в том, чтобы побудить людей к действию, а в том, чтобы побудить их к действию сообща. И тут их невозможно было сдвинуть с места. Они вечно косились друг на друга. И лучшие оказывались самыми упрямыми. Кристоф видел этому пример в их же доме. Г-н Феликс Вейль, инженер Эльсберже и майор Шабран относились друг к другу с давней молчаливой враждебностью. А между тем все трое, вопреки ярлыкам различных партий и национальностей, хотели одного и того же.

Господину Вейлю и майору было бы нетрудно сговориться. В силу контраста, нередко встречающегося у представите-

лей интеллигенции, г-н Вейль, не расставшийся со своими книгами и живший исключительно в мире мысли, страстно увлекался вопросами военной стратегии. «В нас есть всего понемногу», — говорил полуеврей Монтень, распространяя на всех людей то, что справедливо лишь по отношению к людям определенного духовного склада, к которым принадлежал и Вейль. Старый интеллигент Вейль благоговел перед Наполеоном. Он обложился рукописями и мемуарами, в которых оживали видения этой парадной военной эпопеи. Подобно многим его современникам, он был ослеплен далекими лучами этого солнца славы. Он заново проделывал наполеоновские кампании, давал сражения, обсуждал военные операции; Вейль принадлежал к тем доморощенным стратегам, которыми кишит академия и университет и которые по сей день толкуют Аустерлиц и исправляют ошибки Ватерлоо. Он первый высмеивал эпидемию, именуемую «наполеонит», и всячески иронизировал по этому поводу; однако сам он продолжал опьяняться легендарными историями, словно дитя играми; от некоторых эпизодов у него навертывались слезы на глаза. Но стоило ему заметить эту свою слабость, как он начинал хохотать и обзывал себя старым дураком. Говоря по правде, его культ Наполеона вытекал не столько из патриотических чувств, сколько из склонности к драматическим выдумкам и чисто платонической любви к действию. Все же он был отличным патриотом и привязан к Франции гораздо сильнее, чем многие коренные французы. Французские антисемиты совершают глупость и оказывают родине плохую услугу, подрывая своими оскорбительными подозрениями любовь к Франции живущих в ней евреев. Помимо того что каждая семья через одно-два поколения, естественно, привязывается к той земле, на которой она осела, у евреев есть особые причины, чтобы любить народ, представляющий на Западе наиболее передовые идеи интеллектуальной свободы. Их привязанность тем сильнее, что сами они в течение столетия немало потрудились над созданием этой свободы и свобода эта является отчасти делом их рук. Так как же им было не защищать ее от угроз феодальной реакции? А стараться порвать связь этих приемных детей Франции с усыновившей их страной — как того желала шайка преступных болванов — значило играть на руку врагу.

Майор Шабран принадлежал к числу безрассудных патриотов, которых прежде всего сбивает с толку пресса, расписывая каждого французского иммигранта как тайного врага, и они, невзирая на врожденное гостеприимство, готовы подозре-

вать, ненавидеть и отрицать историческую необходимость быть великодушным, забывая о том, что они сами нация, в которой слились многие нации. Так, Шабран считал себя обязанным игнорировать жильца первого этажа, хотя с удовольствием бы с ним познакомился. Г-н Вейль также охотно побеседовал бы с офицером; но, зная о его национализме, Вейль втайне презирал его.

Еще меньше причин интересоваться г-ном Вейлем было у Кристофа. Но он не терпел несправедливости. Поэтому и ломал копья за Вейля, когда на него нападал Шабран.

Однажды, когда Шабран, как обычно, громил существующий порядок вещей, Кристоф сказал ему:

— Вы сами виноваты. Вы все умываете руки. Когда дела во Франции идут не так, как вашей душе угодно, вы торжественно отступаете. Можно подумать, что для вас высшая доблесть — признать себя побежденными. Где это видано, чтобы люди с таким восторгом проигрывали битвы. Послушайте, майор, вы же сами были на войне,— ну разве так сражаются?

— Не о сражениях речь,— ответил майор,— против Франции никто не сражается. В таких схватках надо убеждать, спорить, соперничать на выборах, иметь дело со всякой сволочью,— это не для меня.

— Вы слишком брезгливы! В Африке еще и не то бывало!

— Честное слово, там было не так противно. И там всегда можно заткнуть глотку кому надо. Да и потом, чтобы сражаться, нужны солдаты. И у меня были мои стрелки. Здесь же я один.

— Честных людей не так уж мало.

— А где они?

— Да везде.

— Тогда какого же черта они прячутся?

— Они поступают, как вы, они ничего не делают и говорят, что сделать ничего нельзя.

— Назовите мне хоть одного.

— Трех назову, и даже в нашем доме.

Кристоф назвал г-на Вейля (майор даже издал какое-то восклицание) и Эльсберже (майор подпрыгнул).

— Этот еврей? Эти дрейфусары?

— Дрейфусары? — переспросил Кристоф.— Ну так что же?

— Это они погубили Францию.

— Они любят ее не меньше, чем вы.

— Тогда это сумасшедшие, опасные сумасшедшие.

— Неужели нельзя отдавать должное своим противникам?

— Я прекрасно могу понять лояльных противников, которые сражаются честным оружием. Доказательство — что я беседую с вами, господин немец. Я уважаю немцев, хотя и желал бы рано или поздно воздать им сторицей за то, что они нас так поколотили. Но другие, внутренние враги, нет, это не одно и то же: они пользуются бесчестным оружием, вредной идеологией, растлевающим гуманизмом.

— А вы напоминаете средневековых рыцарей той поры, когда они впервые увидели огнестрельное оружие. Что поделаешь! Война тоже эволюционирует.

— Допустим! Но тогда не будем лгать — заявим во всеуслышанье, что это война.

— Представьте себе, что общий враг угрожает Европе, разве вы не объединитесь с немцами против него?

— Мы так и сделали в Китае.

— Посмотрите же вокруг. Разве в нашей стране, разве во всех наших странах героический идеализм народов не находится под угрозой? Разве все они не попали в руки политических и идейных авантюристов? Разве перед лицом общего врага вам не следовало бы протянуть руку тем из ваших противников, которые хоть чего-нибудь стоят и обладают хоть какой-то моральной силой? Как может человек, подобный вам, так мало считаться с реальностью? Пусть эти люди отстаивают другой идеал, не ваш! Но идеал — это сила, вы не можете это отрицать; в борьбе, которую вы недавно вели, вы были побеждены именно потому, что у ваших противников был идеал; и, вместо того чтобы растрачивать себя попусту, не лучше ли, опираясь на свои и чужие идеалы, биться бок о бок против врагов всякого идеала, против эксплуататоров родины, против растлителей европейской цивилизации?

— А ради чего? Давайте уточним: ради торжества наших противников?

— Когда вы были в Африке, вы не спрашивали, за кого вы сражаетесь,— за короля или за республику. Вероятно, многие из вас и не думали о республике.

— Плевать нам было на нее.

— Так-так! А Франции это было на благо. Вы побеждали для нее и для себя. Ну вот! Поступайте так же и теперь! Расширьте фронт сражения! Бросьте мелкие политические и религиозные распри. Все это вздор. Будет ли ваша нация старшей дочерью церкви или Разума, это не важно. Но пусть она живет! Хорошо все то, что одухотворяет, дает жизненную силу. Существует только один враг: сластолюбивый эгоизм — он гряз-

нит и иссушает источники жизни. Славьте силу, свет, творческую любовь, радость жертвы. И никогда не перекладывайте на другого то, что вы должны делать сами. Действуйте! Действуйте! Объединяйтесь! Смелее!

И он принялся барабанить на рояле первые такты си-бемольного марша из бетховенской «Симфонии с хорами».

— Знаете что,— вдруг прервал он себя,— будь я французским композитором — Шарпантье или Брюно (черт бы его побрал!), я бы соединил вас всех в хоровой симфонии: «К оружию, граждане!» Интернационал. Да здравствует Генрих Четвертый! Боже, защити Францию! Словом, все травы Ивановой ночи... (вот послушайте, что-нибудь в этом роде...) Я состряпал бы такую похлебку, что у вас глаза на лоб полезли бы, такое бы придумал... Во всяком случае, не хуже того, чем вас пичкают ваши композиторы! Согрел бы вам кишки как следует, и, ручаюсь, вы бы у меня зашагали!

И он звонко расхохотался.

Майор тоже засмеялся.

— Вы славный малый, господин Крафт, жалко, что вы не из наших.

— Наоборот, я ваш! Везде та же борьба. Сомкнем ряды!

Майор соглашался. Но все оставалось по-прежнему. Тогда Кристоф упрямо переводил разговор на Вейля и Эльсберже. А офицер, не менее упрямый, повторял все те же возражения против евреев и дрейфусаров.

Кристоф огорчался. Оливье сказал ему:

— Не расстраивайся. Один человек не может сразу изменить дух целого общества. Это было бы слишком уж хорошо! Но ты и так много делаешь, сам того не подозревая.

— Что же я делаю? — спросил Кристоф.

— Ты — Кристоф.

— А какая польза от этого другим?

— Очень большая. Будь таким, какой ты есть, милый Кристоф. А о нас не беспокойся.

Но Кристоф не успокоился. Он продолжал спорить с майором Шабраном и иногда доходил до резкостей. Селину это забавляло. Она присутствовала при их разговорах, безмолвно склоняясь над шитьем. Молодая девушка не вмешивалась в споры, но она как будто стала веселей: глаза ее блестели ярче, точно стены вокруг нее раздвинулись и ей легче было дышать. Она принялась за чтение, стала чаще выходить, круг ее интересов расширился. И однажды, когда отец ее раскипятился по поводу

Эльсберже, он увидел на ее лице улыбку; он спросил, что она думает на этот счет. Девушка спокойно ответила:

— Я думаю, что господин Крафт прав.

Шабран, пораженный, сказал:

— Ну, знаешь... В конце концов, прав он или не прав, нам и так хорошо. И совершенно незачем знакомиться с этими людьми. Верно, девочка?

— Нет, папа, нужно,— ответила она,— это доставило бы мне удовольствие.

Офицер умолк, сделав вид, что не слышит. Кристоф влиял на него гораздо сильнее, чем майор желал показать. Узость и нетерпимость суждений не мешали ему быть прямым и великодушным. Он любил Кристофа, любил его искренность и душевное здоровье и часто жалел, что Кристоф немец. И хотя он раздражался в спорах с ним, но сам искал этих споров, и доводы Кристофа оказывали на него свое действие. Конечно, он ни за что бы в этом не сознался. Однажды Кристоф застал майора углубленным в чтение какой-то книги, которую тот не пожелал ему показать. Когда Селина, провожая Кристофа, осталась с ним наедине, она промолвила:

— Вы знаете, что он читал? Книгу господина Вейля.

Кристоф обрадовался:

— И как он ее находит?

— Он говорит: «Вот скотина...» Но не может оторваться.

Увидевшись снова с майором, Кристоф ни словом не обмолвился относительно книги. Тот сам спросил музыканта:

— Почему это вы больше не пристаете ко мне с вашим иудеем?

— Оттого, что не стоит,— отозвался Кристоф.

— Почему не стоит? — взъерошился офицер.

Кристоф не ответил и ушел, посмеиваясь.

Оливье оказался прав. Не словами человек влияет на других, а всем своим существом. Есть люди, которые излучают вокруг себя какое-то умиротворение — так действуют их жесты, взгляды, безмолвное прикосновение их ясной и безмятежной души. Кристоф излучал жизнь. Она проникала в других тихотихо, как теплое дуновение весны проникает сквозь древние стены и запертые окна застывшего за зиму дома, она воскрешала сердца, уже, казалось, иссохшие и мертвые,— так долго их подтачивали страдания, слабость, одиночество. Велика ты, власть души над душой! И об этом не подозревает ни тот, кто воздей-

ствует, ни тот, кто поддается воздействию. А между тем жизнь вселенной связана с приливами и отливами, которыми управляет таинственная сила притяжения.

Двумя этажами ниже Кристофа и Оливье жила, как уже упоминалось, тридцатипятилетняя женщина, г-жа Жермен, овдовевшая два года назад и потерявшая в прошлом году свою восьмилетнюю дочку. Она жила со свекровью. У них никто не бывал. Из всех жильцов дома г-жа Жермен меньше всего сталкивалась с Кристофом; они изредка встречались, но ни разу не заговорили друг с другом.

Вдова была высокая худощавая женщина, стройная, с красивыми черными, но тусклыми и невыразительными глазами, в которых иногда вспыхивал мрачный и суровый огонь, подчеркивавший восковую желтизну лица, впалые щеки, судорожно сжатый рот. Старая г-жа Жермен была очень набожна и проводила в церкви целые дни. Молодая женщина ревниво замыкалась в своем трауре. Она решительно ничем не интересовалась; окружала себя реликвиями и фотографиями своей девочки и так часто смотрела на них, что перестала ее видеть: мертвые изображения убивают живой образ. И вот она уже не видела дочки, но упорствовала. Г-жа Жермен хотела во что бы то ни стало думать только о ней. И в конце концов, как бы довершая дело смерти, теряла способность думать вообще. Тогда молодая женщина каменела без слез, чувствуя, как жизнь уходит из нее, как леденеет душа. Религия не приносила ей утешения. Она выполняла обряды, но без любви, а следовательно, и без живой веры. Она давала деньги на заупокойные службы, но не участвовала в делах благотворительности; вся религия сводилась для нее к одной-единственной мысли: свидеться с дочерью. А до остального — что ей за дело? Бог? Какое отношение она имеет к богу? Только бы свидеться! Но она далеко не была уверена в этом свидании. Она хотела верить — хотела упорно, исступленно и все-таки сомневалась. Она не выносила вида других детей и думала:

«Почему вот эти не умерли?»

В том же квартале жила девочка, и ростом и походкой напоминавшая ей дочь. Когда г-жа Жермен видела ее спину и две косички, она, задрожав, спешила за нею следом; а когда девочка оборачивалась и мать видела, что это не она, ей хотелось задушить ребенка. Она постоянно жаловалась на детей Эльсберже, очень тихих и сдержанных, ибо они были воспитаны в строгости, и утверждала, будто они шумят у нее над

головой; и как только бедные дети начинали топотать у себя в комнате, она посылала наверх прислугу и требовала тишины. Кристоф, возвращаясь однажды с девочками, был поражен суровым взглядом, который она бросила на них.

Как-то летним вечером, когда эта живая покойница, завороженная пустотой небытия, сидела в темноте у окна своей комнаты, она услышала игру Кристофа. Он имел обыкновение в этот час грезить за роялем. Музыка раздражала ее, нарушая спокойствие оцепенения, в которое она была погружена. С гневом захлопнула она окно. Но звуки преследовали ее и в самом дальнем углу комнаты. Г-жа Жермен возненавидела музыку. Ей хотелось запретить Кристофу играть, но по какому праву? И вот каждый вечер в определенный час она стала ждать с нетерпеливым раздражением, чтобы раздались звуки рояля, и если Кристоф запаздывал, раздражение ее росло. Против воли она слушала музыку до конца; а когда звуки смолкали, оказывалось, что привычная апатия куда-то исчезла. Как-то вечером, когда г-жа Жермен сидела, забившись в угол неосвещенной комнаты, и слушала доносившуюся сквозь закрытые ставни далекую музыку, она вдруг задрожала, и в ней вновь забил источник слез. Она открыла окно; и с тех пор слушала, плача, игру Кристофа. Музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивалась в ее иссохшее сердце и оживляла его. Она снова видела небо, звезды, летнюю ночь; и перед ней снова начинал брезжить, как едва уловимый рассвет, какой-то интерес к жизни, какое-то смутное и непривычное сочувствие к людям. А ночью, впервые после многих месяцев, образ ее девочки снова предстал ей во сне. Ибо самый верный путь, приближающий нас к дорогим умершим,— это не смерть, а жизнь. Они живут нашей жизнью и с нашей смертью умирают.

Госпожа Жермен не искала встреч с Кристофом. Но когда он шел по лестнице с девочками, она пряталась за дверью, чтобы услышать их ребячий лепет, от которого у нее сердце переворачивалось.

Однажды г-жа Жермен, собираясь куда-то, услышала топот маленьких ножек,— девочки спускались по лестнице чуть шумнее, чем обычно, и голос одной из них говорил сестре:

— Да тише ты, Люсетта, ты же помнишь: Кристоф говорил, там эта тетя, у которой горе!

Другая пошла на цыпочках и ответила совсем шепотом. Тогда г-жа Жермен не выдержала: она распахнула дверь, обняла детей и стала бурно целовать их. Они испугались.

Одна из девочек закричала. Г-жа Жермен отпустила их и вернулась к себе.

С тех пор всякий раз, завидев их, она с насильственной, словно вымученной улыбкой (г-жа Жермен совсем отвыкла улыбаться) бросала два-три отрывистых ласковых слова, а оробевшие девочки испуганно что-то шептали в ответ. Они все еще боялись этой дамы, боялись даже больше, чем раньше; и теперь, проходя мимо ее двери, пускались бежать в страхе, как бы она не поймала их. А она пряталась, чтобы посмотреть на них. Ей было стыдно. Казалось, она крадет у своей умершей девочки частицу той любви, на которую только та имела право, все права. Г-жа Жермен бросалась на колени и просила у нее прощения. Но теперь, когда инстинкт жизни и любви был пробужден, он оказался сильнее ее, и она ничего не могла с собой поделать.

Однажды, когда Кристоф возвращался, он заметил в доме необычное волнение. Ему сообщили, что внезапно умер от приступа грудной жабы г-н Ватлэ. Кристофа охватило горячее сочувствие — не столько при мысли о несчастном Ватлэ, сколько о девочке, оказавшейся в полном одиночестве. Г-н Ватлэ, видимо, не имел никаких родственников, и были все основания предполагать, что он оставил дочь без средств к жизни. Шагая через две ступеньки, Кристоф поднялся на верхний этаж. Дверь в квартиру покойного была открыта. Возле умершего находились аббат Корнель и девочка, которая, заливаясь слезами, звала своего папу; привратница тщетно старалась ее успокоить. Кристоф взял девочку на руки и обратился к ней с ласковыми словами. Она с отчаяньем вцепилась в него; когда же он попытался унести ее из квартиры, девочка уперлась, и Кристофу пришлось остаться с ней. Сидя у окна в надвигавшихся сумерках, Кристоф тихонько укачивал ее на руках. Понемногу девочка затихла и, все еще всхлипывая, наконец уснула. Кристоф положил ее на кровать и неловко попытался развязать шнурки ее башмачков. Наступала ночь. Дверь квартиры так и забыли запереть. Вдруг прошуршало платье. Возникла какая-то тень. В последних отсветах дня Кристоф узнал лихорадочно горевшие глаза соседки в трауре. Остановившись на пороге, она едва выговорила сдавленным голосом:

— Я пришла... Пожалуйста... Отдайте ее мне!

Кристоф взял ее руку. Г-жа Жермен плакала. Немного успокоившись, она села в ногах кроватки и, помолчав, сказала:

— Позвольте мне остаться с ней...

Кристоф поднялся к себе вместе с аббатом Корнелем. Священник, слегка смущенный, стал извиняться за свое появление у Ватлэ. Он надеялся, смиренно сказал аббат, что умерший простит его: ведь он явился не как священнослужитель, а как друг.

Когда Кристоф на другое утро спустился в квартиру покойного, девочка сидела, обняв за шею г-жу Жермен с той простодушной доверчивостью, с какой эти маленькие создания сейчас же привязываются к тем, кто сумел их привлечь. Она согласилась последовать за своей новой покровительницей... Увы! Она уже успела забыть приемного отца и привязаться к своей новой маме. Надолго ли... Понимала ли это г-жа Жермен, будучи вся во власти эгоизма своей любви? Может быть. Но не все ли равно? Главное — любить. Счастье в этом...

Недели через три после похорон г-жа Жермен увезла девочку в деревню, далеко от Парижа. Кристоф и Оливье присутствовали при отъезде. На лице молодой женщины они подметили выражение невиданной раньше затаенной радости. Она не обращала на них никакого внимания. Однако в последнюю минуту все-таки заметила Кристофа, протянула ему руку и сказала:

— Вы меня спасли.

— Что она, с ума сошла? — спросил удивленный Кристоф, когда они поднимались к себе.

Через несколько дней он получил по почте фотографическую карточку незнакомой девочки — она сидела на скамеечке, аккуратно сложив ручонки на коленях, и смотрела перед собой светлыми и задумчивыми глазками. Внизу было написано: «Моя маленькая покойница благодарит вас».

Так на всех этих людей повеяло дыханием новой жизни. Там, в мансарде, на шестом этаже, жил человек, в сердце которого пылал очаг горячей человечности, и лучи его постепенно согревали весь дом.

Однако Кристоф не замечал этого. Все шло слишком медленно, казалось ему.

— Ах,— вздыхал он,— неужели невозможно связать узами братства всех честных людей, хотя бы они и были самых разных верований, принадлежали к разным классам и не желали знать друг друга? Неужели нет никакого средства?

— Что поделаешь! — отвечал Оливье.— Для этого нужна та внутренняя радость, которая порождает и взаимную терпимость, и настоящую симпатию,— радость оттого, что ты живешь

нормальной, гармонической жизнью, радость оттого, что находишь полезное применение своей энергии, чувствуешь, что служишь чему-то великому. А для этого нужно жить в стране, находящейся в расцвете своего величия или (что еще лучше) на пути к величию. И потом (одно от другого неотделимо) нужна такая власть, которая сумела бы пустить в дело все силы народа, власть умная и твердая, стоящая выше партий. Стоять же выше партий может только такая власть, которая черпала бы свою мощь в самой себе, а не в человеческих толпах, не пыталась бы опереться на анархическое большинство, но была бы авторитетом для всех, благодаря своим заслугам,— ну, скажем, какой-нибудь генерал, одержавший ряд побед, или диктатура во имя общественного блага, идейная гегемония... И не только это. Тут решает не просто наша воля. Нужно, чтобы представился случай, и нужны люди, умеющие воспользоваться им; нужна удача и нужен гений. Будем ждать и надеяться. Силы есть: сила веры, науки, силы труда старой Франции и Франции новой, самой великой из всех Франций... Какой толчок это дало бы, будь произнесено заветное слово, магическое слово, при звуке которого устремились бы вперед, объединившись, все силы народа! Но это слово произнесем не ты и не я. А кто его скажет? Победа? Слава? Нужно терпение! Главное, чтобы все, что есть крепкого в нации, сплотилось воедино, не разрушалось бы, до срока не изверилось бы. Счастье и гений приходят лишь к тем народам, которые сумеют заслужить их веками терпения, труда и веры.

— Как знать,— сказал Кристоф.— Они часто приходят гораздо раньше, чем можно думать, и тогда, когда их меньше всего ожидают. Вы слишком много возлагаете надежд на силу времени. Нет, готовьтесь уже сейчас! Препояшьте бедра свои. Пусть ноги ваши будут обуты. И посох — в руке... Ибо вы не можете знать, не пройдет ли господь сегодня ночью мимо вашей двери.

И он действительно в ту ночь прошел совсем близко. И тень от крыла его коснулась порога их дома.

В результате незначительных с виду событий отношения между Францией и Германией резко обострились. За какие-нибудь три дня обычная добрососедская приветливость сменилась тем вызывающим тоном, который предшествует войне.

Это не удивляло никого, кроме тех, кто воображал, что миром управляет разум. Но и таких оказалось во Франции немало; и они были поражены, когда увидели, как в печати по ту сторону Рейна со дня на день усиливаются яростные галлофобские выпады. Некоторые газеты — а такие имелись в обеих странах — присваивали себе монополию патриотизма и, выступая от имени народа, диктовали правительству его политику (иногда, впрочем, по тайной договоренности с этим же правительством); в Германии подобные газеты выступили с оскорбительным ультиматумом. Конфликт возник между Германией и Англией; и Германия не признавала, что Франция имеет право принимать или не принимать в нем участие; обнаглевшие немецкие газеты принуждали Францию стать на сторону Германии и угрожали, что в противном случае ей придется первой расплачиваться за войну. Они старались принудить ее к союзничеству страхом и заранее обращались с ней как с побитым и уже смирившимся вассалом,— говоря короче, как с Австрией. В этом сказывалась мания величия немецкого империализма, опьяненного своими победами, и абсолютная неспособность государственных деятелей Германии понять другие нации, к которым они прикладывали одну и ту же мерку, годную лишь для самих немцев и гласившую: сила — вот высший аргумент. Разумеется, древняя нация, имевшая за собой долгие века славы и господства в Европе, которых Германия никогда не знала, реагировала на столь грубый вызов совсем иначе, чем ожидали немцы: уснувшая было гордость Франции вновь пробудилась; страна встрепенулась от корней до вершины; у самых равнодушных вырвался крик гнева.

Массы немецкого народа были ни при чем в этих провокациях: честные люди всех стран хотят одного — жить в мире; а в Германии они особенно миролюбивы, доброжелательны, стремятся ладить со всеми и склонны скорее восхищаться другими и подражать им, чем с ними сражаться. Но как раз мнения честных людей не спрашивают; а они не настолько смелы, чтобы сами его высказать. Те, кто не имеет ни привычки, ни мужества действовать на общественной арене, обречены стать игрушкой в руках власть имущих. Они звонкое и бессмысленное эхо, повторяющее и злобные вопли прессы, и вызовы, бросаемые вожаками: оно может звучать и как «Марсельеза» и как «Стража на Рейне».

Для Кристофа и Оливье происшедшее явилось страшным ударом. Они так привыкли любить друг друга, что уже не понимали, почему и между их странами нет такой же любви.

Причины этой внезапно пробудившейся упорной враждебности ускользали от обоих, особенно от Кристофа, который как немец не имел уж никаких оснований для неприязни к народу, побежденному его народом. Он был возмущен нестерпимым высокомерием некоторых своих соотечественников и в известной мере разделял негодование французов по поводу полученного ими дерзкого вызова в духе манифеста герцога Брауншвейгского, но вместе с тем ему было непонятно, почему бы Франции в конце концов не согласиться стать союзницей Германии: казалось, обе страны имеют столько веских причин для объединения, столько общего во взглядах и столько им предстоит осуществить совместно великих задач, что просто досадно видеть эту упорную и бесплодную вражду между ними. Как и все немцы, он считал Францию главной виновницей происходящих недоразумений, и хотя соглашался, что ей тяжело мириться с пережитым поражением, тем не менее с его точки зрения для Франции все это было только вопросом самолюбия, которое должно смириться во имя более высоких интересов цивилизации и самой Франции. Никогда не давал он себе труда разобраться в проблеме Эльзас-Лотарингии. В школе его научили смотреть на аннексию этих областей как на акт справедливости, благодаря которому, после многовекового иноземного ига, исконная немецкая земля вернулась в состав немецкого отечества. Поэтому он точно с неба упал, узнав, что его друг считает эту аннексию преступлением. Кристоф еще ни разу не говорил с Оливье на эту тему, настолько он был уверен в их единодушии; и вот Оливье, беспристрастный и свободомыслящий Оливье, вдруг заявляет ему без горячности, без гнева, но с глубокой печалью, что великий народ еще может отказаться от мести за такое преступление, но не может признать его справедливым, не уронив своей чести.

Им было очень трудно понять друг друга. Исторические причины, приводимые Оливье в доказательство того, что Франция имеет право вернуть себе Эльзас как латинскую землю, не произвели никакого впечатления на Кристофа. Ведь существовали не менее убедительные доказательства обратного: история снабжает политику всеми аргументами, в которых та нуждается для защиты любой точки зрения. Кристофа гораздо больше волновала не французская, а чисто человеческая сторона этого вопроса: дело не в том, являются эльзасцы немцами или нет, а в том, что они не хотят быть немцами — только это и должно приниматься в расчет. Кто вправе ска-

зать: этот народ принадлежит мне, ибо он брат мой? Если брат отрекается от брата, хотя бы и неправильно, вина падает на того, кто не сумел заставить полюбить себя, и он не имеет никакого права принудительно связывать судьбу брата со своей. После сорока лет насилий, явных и тайных обид, несмотря на услуги, которые, возможно, были даже оказаны эльзасцам справедливой и умной немецкой администрацией, они все же настаивали на своем нежелании быть немцами. И когда их воля наконец не выдержала и была сломлена, ничто уже не смогло изгладить из их памяти страданий многих поколений, изгнанных с родной земли или — что было еще тяжелее — не имевших возможности покинуть ее, вынужденных сгибаться под ненавистным игом и видеть, как отнимают у них землю и порабощают их народ.

Кристоф простодушно признался, что никогда не подходил к вопросу с такой стороны, и был этим очень смущен. Честный немец обычно вносит в спор ту добросовестность, которой иной раз не хватает страстному и самолюбивому латинянину, как бы он ни был искренен. Кристоф не считал нужным ссылаться на примеры подобных преступлений, совершавшихся во все исторические эпохи, всеми народами. Он был слишком горд, чтобы искать столь унизительных оправданий; он знал, что чем выше поднимается в своем развитии человечество, тем отвратительнее выглядят подобные преступления, ибо вокруг становится светлее. С другой стороны, он понимал, что если бы победительницей оказалась Франция, она выказала бы себя едва ли более умеренной, чем Германия, и что к цепи преступлений прибавилось бы еще одно звено. Так грозил затянуться на века трагический конфликт, способный привести к гибели лучшие завоевания европейской цивилизации.

Но как ни мучителен был этот вопрос для Кристофа, еще мучительнее он оказался для Оливье. Дело заключалось не только в братоубийственной войне между двумя нациями, созданными для того, чтобы объединиться,— даже в самой Франции одна часть нации готовилась бороться против другой. Уже в течение ряда лет пацифистские и антимилитаристские теории широко распространялись как самыми благородными, так и самыми недостойными представителями наций. Государство, с той болезненной близорукостью, которую оно вносило во все, что не задевало непосредственно интересов политиканов, давно уже предоставило им свободу действия и не думало о том, что, быть может, менее рискованно открыто под-

держивать самые опасные теории, чем позволить им созревать в крови народа и тем самым заранее проиграть войну, которая еще только подготовлялась. Пацифистские теории не могли не волновать свободные умы, мечтавшие о братской Европе и объединении усилий ради создания жизни, более справедливой и человечной. И они же были на руку трусливому эгоизму всяких подонков, не желавших рисковать своей шкурой ради кого бы и чего бы то ни было. Этими идеями был заражен и Оливье, а также многие из его друзей. Раз или два Кристофу пришлось присутствовать у себя дома при разговорах, которые просто поразили его. Добряк Моох, который был пропитан гуманистическими иллюзиями, сверкая глазами, кротко заявлял, что войне нужно помешать и что самое лучшее средство для этого — поднять солдат на мятеж: пусть стреляют в своих командиров! Он уверял, что успех обеспечен. Инженер Эли Эльсберже с упрямой резкостью отвечал ему, что если война разразится — ни он, ни его друзья не двинутся к границе, пока не сведут счеты с внутренним врагом. Андре Эльсберже становился на сторону Мооха. Однажды Кристоф оказался свидетелем ужасной сцены, разыгравшейся между братьями. Один брат кричал другому, что его нужно расстрелять. Невзирая на шутливый тон, каким произносились эти страшные слова, было ясно, что оба способны осуществить свою угрозу. Кристоф с удивлением наблюдал эту странную нацию, испокон веков готовую ради абстрактной идеи на самоубийство. Сумасшедшие. Сумасшедшие, несмотря на всю свою логику. Каждый видит только собственную идею и твердо решает дойти до конца, не желая поступиться ничем. И, конечно, они взаимно уничтожают друг друга. Гуманисты воюют с патриотами, патриоты с гуманистами. А тем временем приходит враг, топчет землю родины и попирает гуманность.

— Но все-таки,— спрашивал Кристоф у Андре Эльсберже,— вы сговорились с пролетариями других стран?

— Надо же кому-нибудь начать. Пусть это будем мы. Мы всегда были первыми. Нам и надлежит подать сигнал!

— А если другие не откликнутся?

— Откликнутся.

— У вас есть какое-нибудь соглашение? Заранее намеченные планы?

— На что нам соглашения? Мы сильнее всякой дипломатии.

— Но ведь это вопрос не идеологии, а стратегии. Если вы хотите убить войну, пользуйтесь ее же приемами. Выработайте план действий в обеих странах. Организуйте одновременное выступление ваших сторонников во Франции и в Германии. Назначьте день и час. А если вы рассчитываете на случай, ничего хорошего не получится. С одной стороны, случай, с другой — огромные организованные силы, и вы будете раздавлены, можете не сомневаться.

Однако Андре Эльсберже не слушал. Он пожимал плечами и довольствовался неопределенными угрозами по адресу врага: достаточно, заявлял он, бросить горсть песку в соответствующую шестерню, и машина сломается.

Но одно дело — теоретические споры и другое дело — применять свои взгляды на практике, особенно если надо решать немедленно. Страшный час, когда сердце чувствует, что тебя уносит волной! Ты воображаешь, что свободен, что ты хозяин своих мыслей. И вот события захватывают тебя и увлекают за собой, твоей воле противостоит чья-то неведомая воля. И тогда ты узнаешь, кто твой хозяин: та незримая сила, законы которой управляют океаном человечества.

Умы самые непреклонные, самые уверенные в себе, видели, как их вера таяла, шаталась, трепетала перед выбором, и нередко, к собственному удивлению, избирали совсем другой путь, чем тот, который намечали себе. Иные из наиболее пылких противников войны вдруг чувствовали, как в них неожиданно просыпалась страстная гордость и любовь к своему отечеству. Кристоф видел, что социалисты и даже революционные синдикалисты разрываются между этими противоречивыми чувствами и обязанностями. В первые часы конфликта, когда Кристоф еще не верил в серьезность происходящего, он как-то сказал Андре Эльсберже с чисто немецкой бестактностью, что вот настало время претворить в жизнь его теории, если он не желает, чтобы Германия захватила Францию. Андре привскочил и с гневом ответил:

— Только попробуйте! Сволочи! Не сумели сами заткнуть рот вашему кайзеру и сбросить с себя ярмо, несмотря на вашу любимую социалистическую партию, в которой четыреста тысяч членов, да на три миллиона избирателей! Ну так мы это сделаем! Только посмейте захватить нас! Мы вас сами захватим!

По мере того как тянулось ожидание, всеми овладевала лихорадка. Андре терзался. Знать, что твои верования пра-

вильны, и не быть в состоянии защищать их, чувствовать, что и ты заражен той моральной эпидемией, во время которой в народах распространяется неодолимая сила массового безумия и дыхание войны! Все, окружавшие Кристофа, да и он сам, оказались во власти этого безумия. Люди избегали друг друга, перестали разговаривать.

Но терпеть долго эту неизвестность было невозможно. Вихрь действия волей-неволей отбрасывал колеблющихся в тот или иной лагерь. И в один прекрасный день, когда ожидался ультиматум, когда в обеих странах все пружины действия были напряжены и этим действием было готовящееся убийство, Кристоф вдруг заметил, что каждый уже сделал свой выбор. Все враждовавшие друг с другом партии инстинктивно стали на сторону ненавистной или презираемой ими власти, представлявшей Францию. Эстеты, мастера разлагающегося искусства, вставляли в игривые новеллы свое патриотическое credo. Евреи твердили о необходимости защищать священную землю праотцев. При одном упоминании слова «знамя» взор Гамильтона [1] увлажнялся. И все это совершенно искренне — всех коснулась зараза. Андре Эльсберже и его друзей-синдикалистов — не меньше других, даже, пожалуй, больше: загнанные в тупик обстоятельствами, связанные с ненавистной им партией, они все-таки решились выступить, но с угрюмым бешенством, с пессимистической яростью, превращавшей их в свирепое орудие военных действий. Рабочий Обер, разрывавшийся между наносным гуманизмом и инстинктивным шовинизмом, чуть голову не потерял. После нескольких бессонных ночей он наконец нашел всепримиряющую формулу: Франция и есть воплощение человечества. С этой минуты он перестал разговаривать с Кристофом. Да и двери почти всех обитателей дома закрылись перед ним. Даже добрейшие Арно уже не приглашали его к себе. Они по-прежнему занимались музыкой, окружали себя предметами искусства, стараясь забыть о том, что волновало всех. И всё равно думали. Каждый в отдельности, встречая Кристофа, сердечно пожимал ему руку, но торопливо, украдкой. А если в этот же день Кристоф встречал их снова, но вместе, они проходили мимо, смущенные, не останавливаясь, и ограничивались поклоном. Наоборот, люди, не говорившие друг с другом годами, снова сблизились. Однажды вечером Оливье знаком подозвал Кристофа к окну и указал

[1] См. книгу пятую — «Ярмарка на площади».— *Р. Р.*

ему на чету Эльсберже, разговаривавшую в саду с майором Шабраном.

Кристофа не удивил этот переворот в умах — он был слишком занят собственными переживаниями. В нем что-то закипало, и ему никак не удавалось справиться с собой. Оливье, который, казалось, должен был иметь больше причин для тревоги, был куда спокойнее. Точно он один имел иммунитет от этой эпидемии. Как ни угнетала его близость надвигавшейся войны и внутренних раздоров, которые он, несмотря на все, считал неотвратимыми, Оливье сознавал величие двух враждебных мировоззрений, чье столкновение было рано или поздно неизбежно, и знал, что Франции предстоит стать опытным полем для человеческого прогресса и что новые идеи расцветут лишь тогда, когда будут политы ее кровью. Что касалось его, то он не намерен был участвовать в схватке и при мысли об этой взаимной резне двух цивилизаций готов был провозгласить вслед за Антигоной: «Я создан для любви, а не для ненависти». Для любви и для понимания, которое та же любовь, только в иной форме. Одной его нежной привязанности к Кристофу было бы достаточно, чтобы понять свой долг. И в этот час, когда миллионы существ готовы были возненавидеть друг друга, он чувствовал, что долг и счастье двух людей, подобных ему и Кристофу, в том, чтобы среди надвигавшейся бури сохранить нерушимыми свою любовь и разум. Он вспоминал, как Гете отказался разделить то чувство очистительной ненависти, которым дышало движение, поднявшее в 1813 году Германию против Франции.

Кристоф все это понимал и все-таки был неспокоен. Он, который в некотором смысле дезертировал из Германии и не мог туда вернуться, он, который так глубоко проникся общеевропейскими идеями великих немцев XVIII века, столь дорогих его другу Шульцу, и так ненавидел дух новой милитаристической и меркантильной Германии,— он чувствовал, как в нем просыпается ураган страстей; и не знал, в какую сторону его понесет этот ураган. Он ничего не говорил Оливье, но каждый день с тревогой ждал новостей. Втайне от Оливье Кристоф собирал свои вещи, укладывал чемодан. Он не рассуждал. Надвигавшееся было сильнее его. Оливье следил за ним с беспокойством, догадываясь о внутренней борьбе, происходившей в душе друга, и не решался его расспрашивать. В эти дни они испытывали потребность сблизиться еще теснее: их любовь еще никогда не была так сильна; но они избегали говорить друг с другом, боясь вдруг обнаружить такое рас-

хождение во взглядах, которое могло бы лечь между ними преградой. Нередко их глаза встречались с выражением тревожной нежности, словно они были накануне вечной разлуки. И оба подавленно молчали.

А между тем на крыше дома, строившегося по ту сторону двора, в эти горькие дни, под дождем, налетавшим порывами, рабочие забивали последние гвозди, и приятель Кристофа, болтливый кровельщик, смеясь, кричал ему издали:

— А дом-то я все-таки достроил!

К счастью, гроза прошла так же внезапно, как и началась. Официальные правительственные ноты, словно барометр, возвестили наступление ясной погоды. Злобные газетные шавки вынуждены были опять забиться в свои конуры. За какие-нибудь несколько часов всеобщее напряжение упало. Стоял летний вечер. Кристоф, запыхавшись, прибежал сообщить Оливье радостную весть. Он сиял и едва переводил дух. Оливье смотрел на него с чуть грустной улыбкой и не решался задать другу мучивший его вопрос. Он сказал:

— Ну что ж, ты теперь видел, как все эти люди, которые никак не могли сговориться, вдруг соединились?

— Да, видел,— весело ответил Кристоф.— Ну и шутники вы. Ругаете друг друга, а по сути дела, вы все заодно.

— Ты как будто доволен этим,— заметил Оливье.

— Почему бы и нет? Оттого, что их единодушие достигнуто за мой счет? Чепуха! У меня силы хватит! И потом, все-таки хорошо чувствовать, как этот поток тебя уносит, как в душе просыпаются демоны...

— А у меня они вызывают ужас. По мне, уж лучше вечное одиночество, чем единодушие моего народа, купленное такой ценой.

Оба умолкли, и ни тот, ни другой не решался коснуться смущавшего их предмета. Наконец Оливье сделал над собой усилие и сдавленным голосом спросил:

— Скажи откровенно, Кристоф: ты собирался уехать?

Кристоф ответил:

— Да.

Оливье не ждал иного ответа, и все же сердце его сжалось. Он продолжал:

— Кристоф, неужели ты бы мог...

Кристоф провел рукой по лбу и ответил:

— Не будем говорить об этом, я больше не хочу об этом думать.

А Оливье с болью повторял:

— И ты стал бы сражаться против нас?

— Не знаю, я не задавал себе этого вопроса.

— Но в глубине души ты уже решил?

Кристоф ответил:

— Да.

— Против меня?

— Против тебя — никогда. Ты мой. Где я, там и ты.

— Но против моей родины?

— За мою родину.

— Это ужасно,— сказал Оливье.— Я, как и ты, люблю свою родину. Люблю свою дорогую Францию; но могу ли я убить ради нее свою душу? Могу ли ради нее пойти против своей совести? Это все равно, что пойти против Франции. А как мог бы я ненавидеть, не чувствуя ненависти, или разыгрывать комедию ненависти и при этом не лгать? Современное государство совершило гнусное преступление, под бременем которого оно само погибнет,— в тот день, когда оно потребовало, чтобы его железному закону подчинилось свободное сообщество людей, объединенных в духе, сущность которого — понимание и любовь. Пусть кесарь остается кесарем, но пусть не притязает стать богом! Пусть отнимает у нас деньги, жизнь, но наши души ему не подвластны: ему не удастся залить их кровью. Мы пришли в этот мир, чтобы зажечь свет, а не гасить его. Каждому свое! Если кесарю угодно воевать — пусть держит для этого армию, как в старину, такую армию, для которой война — ремесло. Я не настолько глуп, чтобы тратить время на бесплодное нытье, когда мне угрожает сила. Но я принадлежу не к армии силы, а к воинству духа; в его рядах вместе с тысячами моих братьев я представляю Францию. Пусть кесарь, если хочет, завоевывает весь мир,— мы завоевываем истину.

— Чтобы ее завоевать,— сказал Кристоф,— нужно побеждать, нужно жить. Истина — это не отвердевший догмат, который выделяется и образуется мозгом, как сталактиты — сводами пещеры. Истина — это жизнь. И не в своем мозгу должны вы искать ее, а в сердцах других людей. Объединитесь с ними, исповедуйте какие угодно взгляды, но окунайтесь каждый день в живую воду человечности. Нужно жить жизнью других, принимать свой удел и любить его.

«Жан-Кристоф». Книга седьмая.

— Наш удел — быть тем, что мы есть. Не от нас зависит — мыслить или не мыслить, даже если мыслить опасно. Мы поднялись на такую ступень цивилизации, откуда повернуть вспять уже нельзя.

— Да, вы подошли к самому краю возвышенности, к той критической точке, которой ни один народ не может достигнуть, не испытав желания броситься вниз. И религия и инстинкт ослабели в вас. Остался один только интеллект. Но на нем вы сломаете себе шею! Вас ожидает смерть.

— Смерть ожидает все народы: это неизбежно, столетием раньше, столетием позже.

— А ты этими веками не пренебрегай. Вся наша жизнь складывается из дней. Нужно жить черт его знает в каком отвлеченном мире, чтобы мечтать об абсолюте, тогда как надо отдаваться пролетающему мгновению.

— Что же делать! Факел сгорает в своем пламени. Нельзя быть и перестать быть.

— А нужно.

— Великое прошлое — это великое дело.

— Великое только в том случае, если и сейчас еще есть великие люди, способные оценить его.

— А разве ты не предпочел бы быть одним из древних греков, которые уже умерли, чем принадлежать к тем народам, которые ныне прозябают?

— Я предпочитаю быть живым Кристофом.

Оливье замолчал, хотя мог бы возразить еще многое. Но не это ему было важно. Во все время их спора он думал только о Кристофе. И потому он сказал, вздохнув:

— Ты любишь меня меньше, чем я тебя.

Кристоф с нежностью взял его руку.

— Милый Оливье,— сказал он,— я люблю тебя больше моей жизни. Но, прости, я люблю тебя не больше Жизни вообще, этого солнца наших народов. Я ненавижу мрак, в который меня тащит ваш мнимый прогресс. Ваш отказ от действия прикрывает ту же бездну. Живо только действие, даже когда оно убивает. В этом мире нам дано лишь выбирать между пожирающим нас пламенем и тьмою. Несмотря на всю сладостную меланхолию грез, предшествующих сумраку, мне не нужен этот покой, предвестник смерти. Молчание бесконечных пространств внушает мне ужас. Так будем же бросать в костер все новые охапки! Еще! Еще! А если нужно — и меня самого туда же вместе с ними! Я не хочу, чтобы огонь погас! Если он погаснет, нам конец, конец всему, что существует.

— Я узнаю твой голос,— сказал Оливье.— Он звучит из глубин древнего варварства.

Затем снял с полки книгу индийского поэта и прочел высокий призыв бога Кришну:

— «Встань и сражайся решительно и смело. Равнодушный к радости и муке, к удаче и неудаче, к победе и поражению, сражайся изо всех своих сил...»

Кристоф выхватил у него книгу и прочел дальше:

— «Нет в мире ничего, что принуждало бы меня к действию, ибо нет ничего, что не было бы моим; и все же я не бегу от действия. Если бы я не действовал без отдыха и срока, подавая людям пример, которому они должны следовать, все погибли бы. Если бы я на единый миг перестал действовать, я вверг бы вселенную в хаос и был бы убийцей жизни».

— Жизнь,— повторил Оливье,— что такое жизнь?

— Трагедия,— отвечал Кристоф.— Урра!

Буря утихала. С тайным страхом все старались как можно скорее забыть ее. Никто, казалось, уже не помнил о происшедшем. И все-таки — помнили, судя по той радости, с какою вернулись опять к милой обыкновенной жизни, всю ценность которой чувствуешь, только когда она под угрозой. И как всегда после перенесенной опасности, люди набросились на эту жизнь, стремясь насытиться ею вдвойне.

Кристоф с удесятеренным воодушевлением снова отдался творчеству. Он увлек с собой и Оливье. Как бы в отместку мрачным мыслям, они принялись сочинять вместе эпопею на темы из Рабле. Эпопея была пропитана тем сочным материализмом, который обычно следует за периодами нравственной депрессии. К прославленным героям Рабле — Гаргантюа, брату Жану, Панургу,— Оливье, под влиянием Кристофа, прибавил новый персонаж — крестьянина Пасьянса — простодушного, хитрого пройдоху: его лупят, обворовывают — он терпит; у него сманивают жену, грабят поля — он терпит и упорно продолжает обрабатывать землю; его угоняют на войну, бьют все, кто ни попало,— он терпит, ждет, смеясь над подвигами своих господ и их ударами, и только приговаривает: «Не вечно же это будет продолжаться» — он предвидит конец, когда все полетит вверх тормашками, и заранее беззвучно хохочет своим широко раскрытым ртом. И действительно, в один прекрасный день Гаргантюа и брат Жан отправились в крести-

вый поход и по пути свалились в воду. Пасьянс от души пожалел их, спас тонувшего Панурга и сказал: «Я знаю, что ты мне еще наделаешь пакостей, но я не могу обойтись без тебя: ты разгоняешь мою желчь, смешишь меня».

На текст этой поэмы Кристоф написал симфонические картины с хорами, с героико-комическими битвами, буйными гульбищами, вокальными буффонадами, мадригалами в духе Жанекена, с бурей на море, звенящим островом и его колоколами, и в заключение — пасторальную симфонию; она была полна ароматом лугов, ликованьем веселых флейт и гобоев и народными песнями. Друзья работали с радостным подъемом. Бледнолицый худышка Оливье точно окунался в поток целительной силы. Через их мансарду проносились вихри радости... Творить из глубин своего сердца вместе с сердцем друга! Объятье двух возлюбленных не было более сладостным и жгучим, чем эта близость двух душ. Слияние было столь полным, что у них иногда одновременно вспыхивала одна и та же мысль. Кристоф писал музыку для какой-нибудь сцены, а Оливье потом сочинял для нее слова. Кристоф увлекал его по пути своего мощного творческого порыва. Его дух осенял и оплодотворял дух Оливье.

К счастью творчества присоединялась радость победы. Гехт наконец решился выпустить в свет «Давида», и его партитура, появление которой было заранее объявлено, сейчас же вызвала отклик за границей. Один видный дирижер-вагнерианец, друг Гехта, живший в Лондоне, заинтересовался произведением Кристофа; он дирижировал им в нескольких концертах с немалым успехом, и этот успех продолжался в Германии, где его исполнил еще один дирижер — поклонник Крафта. Дирижер стал переписываться с Кристофом, попросил прислать другие его сочинения, предложил свои услуги, упорно пропагандировал его. В Германии произошло вторичное открытие «Ифигении», некогда там освистанной. Кристофа объявили гением. Романтические детали его биографии немало способствовали интересу к нему. «Франкфуртерцейтунг» первая поместила восторженную статью. Другие газеты последовали ее примеру. Тогда спохватился кое-кто из французов, вспомнив, что среди них живет великий композитор. Один из организаторов парижских концертов попросил Кристофа дать его музыкальную эпопею на темы Рабле, хотя она еще не была закончена; а Гужар, предчувствуя восхождение нового светила, заговорил таинственными намеками о некоем гении, которого он открыл

среди своих друзей. Он написал статью, превознося «Давида» и совершенно забыв о том, что в прошлом году посвятил ему лишь несколько ругательных строк. И никто из окружающих также об этом не вспомнил. Сколько людей в Париже в свое время поносили Вагнера и Франка, а теперь восхваляли их, чтобы уничтожить новых композиторов, которых будут восхвалять завтра!

Для Кристофа этот успех был неожиданностью. Он знал, что рано или поздно победит, но не думал, что этот день так близок; кроме того, он не доверял столь скороспелому признанию, пожимал плечами и просил оставить его в покое. Кристоф понял бы успех «Давида» в прошлом году, когда вещь была написана; но теперь он уже ушел далеко вперед, поднялся еще на несколько ступеней. С каким удовольствием он сказал бы людям, которые восторгались в его присутствии этим, уже отжившим для него произведением:

«Не приставайте ко мне с этой дрянью! Она мне противна. Да и вам тоже».

И снова отдавался своей новой работе, слегка раздосадованный тем, что его оторвали. Все же втайне он был доволен. Ведь первые лучи славы так сладостны. Побеждать — это благо, это здоровье. Это — точно распахнувшееся окно, через которое в комнату вливается первое дыхание весны. Как ни старался Кристоф относиться свысока к своим прежним композициям, и особенно к «Ифигении», все же теперь, когда немецкие критики расхваливали, а театры наперебой требовали у него эту убогую стряпню, принесшую ему некогда столько горестей,— Кристоф воспринимал это как своего рода реванш за прошлое. Он получил письмо, в котором директор Дрезденского театра извещал его, что был бы весьма счастлив поставить его вещь в будущем сезоне.

В тот самый день, когда Кристоф получил это предложение, открывавшее перед ним, после стольких лет нужды, возможность более обеспеченной жизни и сулившее наконец победу, пришло еще одно письмо.

Была середина дня. Кристоф умывался, весело переговариваясь с Оливье, который находился в соседней комнате, когда привратница сунула под дверь письмо. Почерк матери... А он как раз хотел ей написать и радовался, что может сообщить о своем успехе. Он вскрыл письмо: всего несколько строк!.. И как дрожала ее рука!

«Мой дорогой мальчик, я чувствую себя очень скверно. Если бы это было возможно, я бы очень хотела повидать тебя еще раз. Целую.

*Мама».*

Кристоф застонал. Оливье в испуге бросился к нему. Не в силах произнести ни слова, Кристоф молча указал на лежавшее перед ним письмо. Он продолжал стонать, не слушая Оливье, который мгновенно пробежал письмо глазами и попытался успокоить друга, затем Кристоф метнулся к своей кровати, где лежал пиджак, торопливо оделся и, не пристегивая воротничка (пальцы не слушались его), вышел. Оливье догнал его на лестнице: что он собирается делать? Уехать с первым поездом? Но до вечера поездов нет. Лучше ждать дома, чем на вокзале. А денег у него хватит? Они обшарили карманы — у обоих набралось всего около тридцати франков. Сейчас сентябрь. Никого из их друзей в Париже не было, уехали и Гехт и Арно. Обратиться не к кому. Кристоф, сам не зная, что говорит, заявил, что часть пути он пройдет пешком. Оливье упросил его подождать хотя бы час и обещал достать нужную сумму. Кристоф покорился; он неспособен был думать ни о чем. Оливье поспешил в ломбард — впервые в жизни: сам он предпочел бы любые лишения, только бы не закладывать ничего из вещей, столь дорогих для него по воспоминаниям; но вопрос шел о Кристофе, и нельзя было терять ни минуты. Оливье заложил свои часы, за которые ему дали гораздо меньше, чем он ожидал. Пришлось вернуться домой, взять несколько книг и отнести к букинисту. Очень жаль. Но в эту минуту он не думал о книгах. Все его мысли были о Кристофе и его горе. Возвратившись, он застал Кристофа на том же месте, в полной прострации. С теми тридцатью франками, которые у них были, сумма, собранная Оливье, оказалась более чем достаточной. Но Кристоф был слишком подавлен, он не стал даже спрашивать, каким образом Оливье раздобыл деньги и оставил ли он себе достаточно, чтобы прожить во время его отсутствия. Оливье об этом тоже не подумал: он отдал Кристофу все, что у него было. Ему пришлось заботиться о своем друге, точно о ребенке. Он проводил его на вокзал и расстался с ним, только когда поезд тронулся.

Кристоф, глядя широко раскрытыми глазами перед собой, в надвигавшуюся ночь, думал:

«Застану ли я ее?»

Он знал, что уж если мать позвала его, значит, медлить невозможно. И его лихорадочное волнение точно подгоняло содрогавшийся от быстрого хода курьерский поезд. Он горько упрекал себя за то, что покинул Луизу. И вместе с тем понимал, что всякие упреки бесполезны,— в его ли власти изменить ход событий?

Все же однообразный стук колес и покачиванье вагона постепенно успокоили его и укротили душевное смятенье, подобно тому как мощный ритм обуздывает бурные волны музыки. Перед Кристофом проходила вся его жизнь, начиная с мечтаний далекого детства: увлечения, надежды, разочарования, утраты и — ликующая сила, упоенность страданием, радостью, творчеством, жажда обнять и прижать к сердцу всю жизнь с ее блеском и ее величественными тенями, ибо эта жизнь была душой его души, его сокровенным богом. Теперь, на расстоянии, все прояснялось. Порывы изменчивых желаний, смятение мыслей, ошибки, заблуждения, яростные битвы — все вставало перед ним в образе водоворотов и вихрей, уносимых великим потоком к вечной цели. Он постигал теперь скрытый смысл этих лет, полных испытаний; каждое испытание было преградой, которую сносила своим напором все более полноводная река; и каждый раз из более узкой долины она изливалась в более широкую; кругозор раздвигался, дышалось свободнее. Река пробила себе дорогу между холмами Франции и германской равниной, заливая луга, подмывая подножье холмов, вбирая в себя воды обеих стран. Так она текла — не для того, чтобы разделить их, но чтобы соединить; в ней они сочетались. И Кристоф впервые понял свое предназначение — оно состояло в том, чтобы вливать, подобно артерии, в два враждующих народа все жизненные силы, шедшие от обоих берегов.

Перед Кристофом, в самый мрачный час его жизни, открылась удивительная ясность, покой, нежданный свет... Затем видение исчезло, и в памяти осталось только скорбное и нежное лицо его старенькой мамы.

Когда он приехал в маленький немецкий городок, день едва брезжил. Надо было остерегаться, чтобы его не узнали, так как ему все еще угрожал арест. Но на вокзале на него решительно никто не обратил внимания; городок еще спал, дома были заперты, улицы безлюдны; стоял тот серый предутренний час, когда ночные огни уже гаснут, а дневного света еще нет, когда сон особенно сладок и на сновидениях лежит бледный отблеск восхода. Молоденькая служанка открывала ставни какой-то лавочки, напевая старинную немецкую песню.

Кристофа душило волнение. О, родина! Возлюбленная... Он готов был целовать землю, по которой ступал. Слушая эту простодушную песню, согревавшую ему сердце, Кристоф почувствовал, как был несчастен вдали от родины и как он ее любит. Он шел, едва переводя дыхание. Когда он увидел родной дом, то вынужден был остановиться и зажать рот рукой, чтобы не закричать. В каком состоянии найдет он ту, которая здесь живет и которую он покинул? Отдышавшись, он почти бегом поспешил к двери. Она была приотворена. Кристоф толкнул ее. Никого... Старая деревянная лестница заскрипела под его ногами. Он поднялся наверх. Казалось, дом пуст. Дверь в комнату матери была закрыта.

Кристоф, с бьющимся сердцем, взялся за ручку. Он был не в силах открыть...

Луиза лежала одна и чувствовала, что это конец. Второй ее сын — Рудольф — поселился в Гамбурге, третий — Эрнст — уехал в Америку и не подавал о себе вестей. Никто не интересовался умирающей, только одна из соседок заглядывала два раза в день — узнать, не нужно ли ей что-нибудь; присаживалась на несколько минут возле кровати и снова уходила, занятая собственными делами; особой точностью соседка не отличалась и часто опаздывала. Луиза считала вполне естественным, что люди ее забывают, как считала вполне естественным, что ей стало худо. Она привыкла страдать, и терпенье у нее было ангельское. Ее мучила боль в сердце, бывали припадки удушья, когда ей казалось, что она умирает: глаза выкатывались, руки судорожно сжимались, по лицу струился пот. Но Луиза не жаловалась, ибо знала, что так и должно быть. Она была готова к смерти и уже причастилась. Одно только тревожило ее — что бог сочтет ее недостойной войти в его рай. Все остальное она терпеливо принимала.

Дальний угол ее каморки был обращен в алтарь воспоминаний: на стене алькова, возле изголовья, она развесила фотографии тех, кто был ей дорог,— трех своих мальчуганов, своего мужа, которого любила в воспоминаниях любовью первых дней супружества, старого дедушки и своего брата Готфрида; в ее сердце продолжала жить трогательная привязанность ко всем, кто был хоть сколько-нибудь добр к ней. На простыне, у самого лица, она приколола последнюю карточку Кристофа, а его последние письма лежали у нее под подушкой. Она любила порядок и безукоризненную чистоту и стра-

дала от того, что в комнате недостаточно аккуратно прибрано. Больная внимательно прислушивалась ко всем доносившимся к ней с улицы шорохам и шумам, ибо по ним определяла время. Ведь она слышала их уже столько лет! Вся ее жизнь прошла в этом тесном уголке! Она думала о своем дорогом Кристофе. Как мучительно ей хотелось, чтобы он сейчас был здесь, подле нее! Но даже то, что его не было здесь, Луиза принимала со смирением. Она была уверена, что там, на небесах, встретится с ним. Она закрывала глаза — и уже видела его. Погруженная в прошлое, больная проводила целые дни в забытьи...

Вот Луиза в старинном доме на берегу Рейна... День праздничный... Чудесный летний день. Окно открыто. Белая дорога, солнце. Поют птицы. Мельхиор и дедушка, сидя на крыльце, болтают, покуривают и громко хохочут. Луизе их не видно, но она так рада, что муж именно сегодня дома, а дедушка в хорошем настроении. Она в комнате нижнего этажа и стряпает обед — отличный обед: она вложила в него всю душу. И даже готовит сюрприз: торт с каштанами. Она заранее предвкушает радостные возгласы малыша. Малыш, где-то он сейчас? Да, наверху. Она слышит, как он упражняется на рояле. Она не понимает его музыки, но для нее — счастье слышать это знакомое журчанье, знать, что он тут, послушно сидит за инструментом... Какой ясный день! Как весело звенят бубенчики проехавшей по дороге повозки! Ах, господи! Жаркое-то! Неужели пригорело, пока она смотрела в окно? Луиза боится, как бы дедушка, которого она так любит и перед которым все же робеет, не рассердился и не начал бранить ее... Нет, слава богу, все в порядке! Вот обед готов и стол накрыт. Она зовет Мельхиора и дедушку. Они весело отзываются. А малыш? Он перестал играть. Уже несколько мгновений, как его рояль умолк, а она и не заметила. Кристоф!.. Что он делает? Ни звука. Вечно он запаздывает к обеду! Она торопливо поднимается по лестнице... Кристоф!.. Молчанье. Она распахивает дверь комнаты, в которой сын обычно занимается. Никого. Комната пуста, рояль закрыт... У Луизы от страха сжимается сердце. Куда он пропал? Окно стоит настежь. Господи! Вдруг он выпал из окна! Луиза в смятении. Она высовывается наружу... Кристоф!.. Нигде нет. Она ищет во всех комнатах. А снизу дедушка кричит ей: «Иди же, не беспокойся, придет». Она не хочет спускаться вниз; она знает, что он здесь... Спрятался нарочно, чтобы напугать. Ах, злой мальчишка! Да, так и есть, скрипнула половица; он тут, за дверью. Но ключа в двери нет.

Ключ! Она торопливо шарит в ящике, ищет среди других ключей. Этот, этот... нет, не то... А! вот он наконец! Но ключ не лезет в замок. Руки Луизы дрожат. Она торопится. Нужно торопиться. Зачем? Она не знает, но чувствует, что нужно. Если она не будет спешить, она не успеет. Она слышит дыхание Кристофа за дверью. Ах, этот ключ! Наконец-то! Дверь открывается. Луиза радостно вскрикивает. Это он! Сын бросается к ней на шею... Ах ты, злой, добрый, любимый мальчик.

Она открыла глаза. Он здесь, перед нею.

Кристоф уже с минуту смотрел на нее, на ее изменившееся до неузнаваемости, исхудавшее и в то же время отекшее лицо; выражение немого страдания стало еще более жалким, когда на этом лице появилась улыбка... Сердце у Кристофа разрывалось...

Мать увидела его. Она не удивилась и улыбнулась неизъяснимо доброй улыбкой, но была не в силах ни раскрыть объятия, ни вымолвить слово. Он бросился ей на шею, поцеловал ее, она поцеловала его; крупные слезы текли по ее щекам. Она прошептала:

— Постой...

Кристоф увидел, что мать задыхается.

Оба затихли. Только рука ее тихонько гладила его по голове, а слезы так и лились из ее глаз. Он целовал ей руки и, рыдая, зарылся лицом в простыни.

Когда приступ прошел, она попыталась заговорить. Она с трудом находила нужные слова, путалась, и он едва понимал ее. Но не все ли равно? Они любили друг друга, видели, могли друг до друга дотронуться — это было главное. Он с негодованием спросил, почему ее оставляют одну. Мать попыталась найти оправдание для соседки:

— Не может она все время быть тут: у нее своя работа есть...

Слабым, срывающимся голосом, проглатывая слоги, она торопливо что-то наказала ему насчет своей могилы. Затем попросила Кристофа передать двум его братьям, которые, видно, забыли о ней, как она их любит.

Вспомнила и про Оливье. Она знала о его привязанности к Кристофу и попросила сына сказать, что посылает его другу свое благословение (затем тут же робко поправилась, заменив эти слова более скромными) — «свою почтительную любовь».

Она снова начала задыхаться. Кристоф, поддерживая мать, посадил ее в кровати. Лицо Луизы покрылось испариной. Она силилась улыбнуться, говоря себе, что желать ей больше нечего, ведь ее рука лежит в руке сына.

Внезапно Кристоф почувствовал, как эта рука судорожно сжалась. Рот открылся. Мать посмотрела на сына с беспредельной нежностью — и скончалась.

Вечером того же дня приехал Оливье. В эти трагические часы,— а он слишком хорошо знал на собственном опыте, как они тяжелы,— друг Кристофа не мог оставить его одного. Боялся он также и опасностей, которым подвергал себя Кристоф, вернувшись в Германию. Оливье хотел быть с ним, чтобы охранять его. Но не было денег на поездку. Проводив Кристофа и вернувшись с вокзала, он решил продать несколько оставшихся у него фамильных драгоценностей. Так как ломбард в этот час был уже заперт, а Оливье непременно хотел уехать с первым же поездом, он решил пойти к ближайшему скупщику случайных вещей, но на лестнице встретил Мооха. Узнав о планах Оливье, Моох был искренне огорчен, что тот сразу не обратился к нему, и заставил взять у него нужную сумму. Моох был в полном отчаянии оттого, что Оливье заложил часы и продал книги, желая достать денег на поездку Кристофа,— ведь он, Моох, был бы так счастлив оказать им услугу. Желая во что бы то ни стало помочь, он даже предложил Оливье поехать вместе с ним. Оливье едва удалось его отговорить.

Приезд Оливье был благодеянием для Кристофа. Подавленный горем, он провел весь день наедине с усопшей. Приходила соседка, кое-что прибрала, затем ушла и уже не возвращалась. Часы текли, а Кристоф все сидел, погруженный в оцепенение смерти. Он был так же неподвижен, как и покойница; он не сводил с нее глаз, не плакал, не размышлял; он был сам подобен мертвецу... Чудо дружбы, совершенное Оливье, вернуло ему способность плакать и жить.

Getrost! Es ist der Schmerzen werth das Leben,
So lang...
mit uns ein treues Auge weint.

(Мужайся! Наша жизнь еще страданий стоит,
Покуда...
очи друга с нами плачут.)

Они обнялись и никак не могли разомкнуть объятия. Потом сели около Луизы и начали беседовать вполголоса... Спус-

тилась ночь... Кристоф, опершись о кровать, делился с Оливье воспоминаниями детства, и, как они ни были бессвязны, в них всюду присутствовал образ матери. Иногда он на несколько минут умолкал, потом снова продолжал рассказывать. Наконец он умолк совсем, разбитый усталостью, закрыв лицо руками. Оливье подошел и увидел, что Кристоф заснул. Тогда он решил бодрствовать один. Но и его в конце концов сморил сон, и он задремал, положив голову на спинку кровати. Луиза кротко улыбалась и, казалось, была счастлива, что бодрствует возле этих двух спящих детей.

Рано утром их разбудил громкий стук в дверь. Кристоф пошел открывать. Это был сосед, столяр: он явился предупредить Кристофа, что его выдали и что, если он хочет избежать ареста, нужно немедленно уезжать. Но Кристоф отказался: он не расстанется с матерью до тех пор, пока не проводит ее на место вечного успокоения. Оливье умолял его уехать с первым же поездом, клялся, что заменит его подле покойницы, уговорил его выйти из дому; и, боясь, что Кристоф передумает, сам повел его на вокзал. Кристоф упирался, он не желал уезжать, не повидав хотя бы великой реки, вблизи которой прошло все его детство и чьи мощные звуки, точно в морской раковине, навсегда остались жить у него в душе. Несмотря на опасность, которой Кристоф подвергался, показываясь в городе, Оливье пришлось уступить. Они прошли по набережной Рейна, с мощным спокойствием мчавшего свои волны между низкими берегами, чтобы умереть среди песков Севера. Смутно проступал сквозь туман огромный стальной мост, опустивший в серую воду две своих арки, две половинки колес гигантской колесницы. В утренней мгле терялись далекие очертания лодок — они плыли против течения по речным излучинам, поблескивавшим среди лугов. Кристоф был погружен в свои мечты. Оливье заставил его очнуться и, взяв под руку, отвел на вокзал. Кристоф не противился: он шел, как лунатик. Оливье посадил его в поезд, они условились встретиться завтра на первой французской станции, чтобы Кристофу не возвращаться одному в Париж.

Поезд отошел, а Оливье вернулся в дом Луизы и увидел у входа двух жандармов, поджидавших Кристофа. Они решили, что перед ними Кристоф. А Оливье не спешил с выяснением ошибки, благоприятствовавшей бегству Кристофа. Впрочем, жандармы не так уж были разочарованы, они не обна-

ружили особого рвения в поисках беглеца, и Оливье даже показалось, что исчезновение Кристофа не слишком огорчило полицию.

Оливье остался до следующего утра, когда должны были состояться похороны. На них присутствовал также сын-коммерсант, Рудольф: он пробыл от поезда до поезда. Этот самоуверенный господин степенно проводил гроб на кладбище и тут же уехал, не сказав Оливье ни слова, не спросив о брате, даже не поблагодарив за все, что друг Кристофа сделал для их матери. Оливье провел еще несколько часов в этом городе, в котором не знал никого из живых, но в котором обитало столько близких ему видений прошлого: маленький Кристоф, те, кого он любил, те, из-за кого он страдал, и дорогая Антуанетта... Что осталось от всех этих людей, когда-то здесь живших? От семьи Крафтов, которая разбрелась по свету?.. Только любовь к ним, жившая в сердце чужеземца.

Под вечер Оливье нашел Кристофа на пограничной станции, где они условились встретиться. Это была просто деревушка среди лесистых холмов. Они не стали дожидаться следующего поезда на Париж, а решили пройти часть пути пешком — до ближайшего города. Оба чувствовали необходимость остаться наедине. Они зашагали через безмолвный лес; лишь издали доносились до них тяжелые удары топора. Затем выбрались на прогалину на вершине холма. Внизу, где была еще немецкая земля, лежал тесный дол, и они увидели домик лесничего с красной крышей и лужок, напоминавший зеленое лесное озерцо. А вокруг — океан темно-синих, окутанных мглою лесов. Туман волнами скользил между ветвями елей. Прозрачная дымка стирала резкость очертаний, смягчала яркость красок. Все было неподвижно. Ни шума шагов, ни человеческого голоса. Редкие капли дождя падали, звеня, на позолоченную медь буков, уже тронутых осенью. Между камнями журчала струйка ручейка. Кристоф и Оливье остановились и замерли. Каждый вспоминал о своих утратах. Оливье думал:

«Антуанетта, где ты?»

А Кристоф:

«На что мне успех теперь, когда ее уже нет?»

И каждый услышал в ответ голос дорогих покойниц, утешавших его:

«Любимый наш, не оплакивай нас. Не думай о нас. Думай о нем...»

Они обменялись взглядом, и каждый почувствовал уже не собственную боль, а боль друга. Они взялись за руки. Обоих охватила светлая печаль. Медленно, хотя не было ни единого дуновения, пелена тумана растаяла; небо снова расцвело голубизной. Как трогательна кротость земли после дождя! Она обнимает нас с прекрасной и любящей улыбкой; она говорит нам:

«Отдохни. Все хорошо...»

Кристофу становилось легче. Эти два дня он жил только воспоминаниями, словно в него проникла душа дорогой мамы,— он видел вновь эту смиренную жизнь, однообразные, одинокие дни, которые проходили в тишине дома, где уже не было детей, но где каждая минута была полна только мыслями о детях, покинувших ее, бедную, больную, но мужественную старуху; вспоминал ее спокойную веру, мягкий юмор, веселое смирение, жертвенность... И еще думал обо всех смиренных душах, которые он знал. Как близки они были ему в эти минуты! Теперь, когда самые трудные годы остались позади, годы изнуряющей борьбы среди накаленного Парижа, где в яростных схватках перемешивались идеи и люди, где они только что пережили тот трагический час, когда уже повеяло вихрем смертоносного бреда, бросающего друг против друга обезумевшие народы,— теперь Кристоф понял, как он устал от этой лихорадочной и бесплодной жизни, от столкновения людских эгоизмов, от всех этих избранников человечества, честолюбивых и тщеславных, возомнивших, что они соль земли, тогда как они лишь ее дурной сон. И вся его любовь устремилась к тем миллионам простых душ, которые есть в каждом народе и которые безмолвно пылают, как чистые светочи добра, веры, самопожертвования, как подлинное сердце мира.

«Да, я узнаю вас. Это вы, наконец-то я нашел вас вновь, вы мне кровно близки, вы — мои! Как блудный сын я покинул вас, погнался за призраками и тенями, мелькающими на пути. Я возвращаюсь к вам — примите же меня. Мы с вами — единое существо, живые и умершие.

Где я, там и вы со мной. Отныне я ношу тебя в себе, о мать, носившая меня! И все вы — Готфрид, Шульц, Сабина, Антуанетта — все вы во мне. Вы — мое богатство. Мы вместе пойдем дальше. Я буду вашим голосом. Соединив наши силы, мы достигнем цели...»

Луч солнца скользнул между мокрыми ветвями деревьев, медленно ронявших капли. С лужка под горой были слышны

детские голоса — три девочки, взявшись за руки, плясали около домика и пели старинную немецкую песню. И, как запах розы, западный ветер доносил издали, из Франции, звон колоколов...

«О мир, божественная гармония, музыка освобожденной души, где сливаются воедино боль и радость, смерть и жизнь, народы-враги и народы-друзья. Я тебя люблю, я тебя зову, ты станешь моим, мир, ты придешь!»

Покрывало ночи опустилось на землю. Кристоф, очнувшись от своих мыслей, увидел дышавшее верностью лицо друга, улыбнулся ему и обнял его. Они молча углубились в лес, и Кристоф прокладывал путь Оливье.

Taciti, soli e senza compagnia,
n'andavan l'un dinnanzi, e l'altro dopo,
come i frati minor vanno per via [1].

---

[1] Безмолвны, одиноки и без свиты,
Мы шли путем, неведомым для нас,
Друг другу вслед, как братья минориты.— *Данте, «Божественная комедия», «Ад», песнь XXIII.*

# КНИГА ВОСЬМАЯ

## ПОДРУГИ

ПЕРЕВОД Н. КАСАТКИНОЙ

Хотя за границей известность Кристофа росла, им с Оливье жилось немногим лучше, чем прежде. Время от времени возникали перебои с финансами и приходилось туже стягивать пояс. Раздобыв денег, друзья спешили вознаградить себя и ели за двоих. Но в конце концов такой режим порядком изматывал.

Сейчас как раз была полоса оскудения. Кристоф полночи просидел за скучнейшей работой — он доканчивал переложение какой-то музыкальной пьесы по заказу Гехта; лег он только на рассвете и спал крепким сном, наверстывая упущенное. Оливье ушел рано утром: у него был урок на другом конце города. Часов около восьми позвонил привратник, принесший почту. Обычно он не дожидался, чтобы открыли, и подсовывал письма под дверь. А тут он упорно стучал.

Кристоф пошел отворять, сонный и сердитый; он не стал слушать ухмылявшегося привратника, который толковал про какую-то статью в газете, взял, но не просмотрел письма, закрыл, но не запер дверь и лег досыпать.

Через час его опять разбудили шаги — на этот раз уже в самой комнате; вскочив спросонья, он с изумлением увидел, что в ногах кровати стоит какой-то незнакомый господин и церемонно приветствует его. Это был репортер, который обнаружил, что дверь отперта, и, не долго думая, вошел. Кристоф в ярости спрыгнул с кровати.

— Какого черта вам тут нужно? — закричал он.

Схватив подушку, он собрался запустить ею в непрошеного гостя, тот увернулся и поспешил объясниться. В качестве репортера газеты «Насьон» он желал бы проинтервьюировать г-на Крафта по поводу статьи, напечатанной в «Гран журналь».

— Какой статьи?

— Неужели вы не читали? — Газетчик предложил ознакомить его с содержанием статьи.

Кристоф улегся снова. Не будь он таким сонным, он непременно выставил бы этого субъекта за дверь, а тут он смирился и стал слушать. Зарывшись в подушку, он закрыл глаза и сделал вид, что засыпает. Он и в самом деле не замедлил бы уснуть. Но репортер, человек настойчивый, зычным голосом принялся читать статью. С первых же слов Кристоф насторожился. В статье говорилось о г-не Крафте как о талантливейшем музыканте нашего времени. Кристоф перестал разыгрывать роль спящего, выругался от удивления и сел в постели.

— Что это на них нашло? Они, верно, спятили,— произнес он.

Воспользовавшись этим, репортер прервал чтение и забросал Кристофа вопросами. Кристоф отвечал, не думая. Он взял газету и растерянно уставился на свой портрет посреди первой страницы, но прочесть статью ему так и не удалось — в комнату вошел второй репортер. Кристоф разозлился не на шутку. Он потребовал, чтобы оба газетчика немедленно очистили помещение. Но они покорились лишь после того, как наспех обследовали обстановку комнаты, фотографии на стенах, а главное, физиономию чудака, который как был, в одной рубашке, хохоча и бранясь, выталкивал их за плечи и, когда довел до порога, запер за ними дверь на засов.

Но в этот день все словно сговорились мешать ему. Не успел он умыться, как в дверь опять постучали условным стуком, известным лишь самым близким друзьям. Кристоф отпер, увидел перед собой третьего незнакомца и собрался было без дальних слов выставить его, однако незнакомец уперся, заявив, что он и есть автор статьи. Попробуйте-ка выставить человека, который провозгласил вас гением! И Кристоф с хмурым видом выслушал излияния своего почитателя. Он поражался этой внезапной известности, свалившейся на него, как снег на голову, и решил уже, что вчера исполняли какой-нибудь шедевр, который он создал, сам того не подозревая. Но не успел спросить. Репортеру было поручено во что бы то ни стало сию же минуту доставить его в редакцию газеты, потому что главный редактор — сам великий Арсен Гамаш — желал его видеть; автомобиль дожидался внизу. Кристоф попробовал отнекиваться, но по наивности расчувствовался от ласковых слов и в конце концов согласился.

Через десять минут он был представлен властелину, перед которым все трепетало. Это был крепко сбитый человек лет пятидесяти, приземистый, плотный, головастый, краснолицый, с

подстриженной ежиком седой щетиной; говорил он безапелляционным тоном, отрывисто и высокопарно, временами переходя на косноязычную скороговорку. Своей необъятной самоуверенностью он принудил весь Париж признать его авторитет. По натуре наивный и хитрый, увлекающийся и самовлюбленный эгоист, он одинаково ловко ворочал делами и вертел людьми, отождествляя свои интересы с интересами Франции и даже всего человечества. Собственная выгода, процветание его газеты и salus publica [1] представлялись ему явлениями одного порядка, тесно связанными между собой. Он был убежден, что всякий наносящий ущерб ему, Гамашу, наносит ущерб Франции, и, чтобы уничтожить своего личного врага, он, не задумываясь, произвел бы государственный переворот. Впрочем, он был способен и на добрые поступки. Иной раз в приливе послеобеденного прекраснодушия он не прочь был, в подражание богу-отцу, извлечь из праха какого-нибудь горемыку, дабы воочию показать свое всемогущество, из ничего создать нечто, как он создавал министров, а при желании мог бы венчать и развенчивать королей. Не было области, на которую не простиралось бы его влияние. Когда ему приходила фантазия, он создавал гениев.

В этот день он «создал» Кристофа.

Невольным зачинщиком всей шумихи оказался Оливье.

Оливье, палец о палец не ударяя для себя самого, остро ненавидел рекламу и бежал от журналистов, как от чумы, но в корне менял взгляды, когда дело касалось его друга. Он напоминал примерную жену и любящую мамашу из числа честных мещанок, которая готова торговать собой, лишь бы пристроить на теплое местечко своего оболтуса-сынка.

Сотрудничая в журналах и встречаясь с множеством критиков и любителей музыки, Оливье пользовался всяким удобным случаем, чтобы поговорить о Кристофе, и с некоторых пор не без удивления замечал, что его слушают. Вокруг чувствовалась атмосфера любопытства, в литературных и светских кругах ходили какие-то таинственные толки. Что дало для них повод? Быть может, отклики некоторых газет на недавнее исполнение вещей Кристофа в Англии и Германии? Более определенных причин как будто не было. Но для Парижа характерны люди с тонким нюхом, которые чуют, чем пахнет в столице, и вернее метеорологической обсерватории на башне Сен-Жак могут пред-

[1] Общественное благо *(лат.)*.

сказать, какой ветер подует завтра и что он с собой принесет. В этом городе-гиганте, нервно реагирующем на все, насыщенном электричеством, таятся невидимые токи славы, скрытая известность предшествует явной, салоны полны глухих толков, вроде nescio quid majus nascitur Iliade;[1] все это в определенный миг прорывается рекламной статьей, оглушительным трубным гласом, доводящим до слуха самых тугоухих имя нового кумира.

Случается, что лучшие, ближайшие друзья новоявленной знаменитости обращаются в бегство от этих хвалебных фанфар, хотя иногда сами же дали к ним повод.

Так, Оливье был причастен к статье в «Гран журналь». Он воспользовался явным интересом к Кристофу и постарался разжечь этот интерес интригующими подробностями. Из боязни скандала он остерегался сводить Кристофа с журналистами, но по просьбе «Гран журналь» ухитрился за столиком кафе устроить встречу ничего не подозревавшего Кристофа с одним из репортеров. Такого рода предосторожности лишь сильнее возбуждали любопытство и делали Кристофа еще более интересной фигурой. Оливье не успел узнать, что такое реклама, и не рассчитал, что, пустив в ход этот грандиозный механизм, он уже не в силах будет направить и сдержать его.

Он был совершенно уничтожен, когда по дороге на урок прочел статью в «Гран журналь». Такого удара обухом он не предвидел. А главное, не ожидал, что это будет так скоро. Он думал, что газета, прежде чем писать, соберет все сведения и постарается несколько лучше ознакомиться с тем предметом, о котором намерена говорить. Святая простота! Когда газета берет на себя труд открыть нового гения, она прежде всего старается присвоить его и отнять у собратьев честь открытия. Поэтому ей надо торопиться, и где уж тут разбираться в том, что́ хвалишь. Редкий случай, чтобы автор пожаловался,— раз им восхищаются, значит, его вполне поняли.

В начале статьи газета плела несусветный вздор о бедности Кристофа, выставляла его жертвой германского деспотизма, апостолом свободы, вынужденным бежать из императорской Германии сюда, во Францию, в прибежище свободных душ (великолепный предлог для шовинистических разглагольствований!), а дальше обрушивалась умопомрачительными славословиями на его творчество, о котором не знала ровно ничего, если не считать нескольких пошленьких песенок из времен первых

[1] Рождается нечто более великое, чем «Илиада» *(лат.)*.

его опытов еще в Германии, но как раз сам-то Кристоф стыдился их и рад был бы уничтожить. Не зная произведений Кристофа, автор статьи отыгрывался на его замыслах — вернее, на тех, какие ему приписывал. По двум-трем словам, оброненным случайно Кристофом и Оливье или даже каким-нибудь Гужаром, который хвастал полной осведомленностью, бойкий автор ухитрился создать образ Жан-Кристофа — «гениального композитора, певца демократии и республиканца чистейшей воды». При этом он не преминул лягнуть современных французских композиторов — сильнее всего досталось наиболее самобытным и независимым за то, что они не помышляют о демократии. Исключение было сделано для одного-двух человек, чьи политические воззрения признавались безупречными. К несчастью, того же нельзя было сказать об их музыке. Но это мелочь. Да и вообще главное было не в похвалах им и даже Кристофу, а в нападках на остальных. Когда в Париже читаешь статью, где кого-нибудь хвалят, не мешает задать себе вопрос: «А кого тут ругают?»

Оливье краснел от стыда, проглядывая газету. Он думал: «И все это дело моих рук!»

Он еле довел урок до конца и тут же бросился домой. Каков же был его ужас, когда он узнал, что Кристофа увели журналисты! Он не стал завтракать, решив дождаться Кристофа. Но тот все не возвращался. Тревога Оливье нарастала с каждым часом.

«Каких только глупостей они не выудят из него!» — думал он.

Кристоф вернулся около трех часов, настроенный очень игриво. Он завтракал с Арсеном Гамашем, и в голове у него стоял легкий туман от выпитого шампанского. Он не понимал, о чем тревожится Оливье, почему так настойчиво выпытывает, что Кристоф говорил и делал.

— Что делал? Превосходно позавтракал. Давно я так вкусно не ел.

И принялся перечислять, что подавали на завтрак.

— А вина... Самые разнообразные... Я все перепробовал.

Оливье перебил его и стал допрашивать, кто был за столом.

— Кто был? Не помню. Был Гамаш — славный толстяк, душа нараспашку; еще был Клодомир, автор статьи, милейший человек; потом трое или четверо не известных мне журналистов, все очень веселые, добрые и все замечательно относятся ко мне. Словом, чудесные люди.

Оливье, по-видимому, не был в этом убежден. Кристофа удивила его сдержанность.

— Ты что? Не читал статьи?

— В том-то и дело, что читал. А ты сам внимательно прочел ее?

— Прочел... Вернее, проглядел... Некогда было.

— Так вот, прочти как следует.

Кристоф начал читать. И с первых же строк прыснул.

— Ну и дурень! — заметил он, смеясь.— Э, ерунда! Все критики друг друга стоят. Ни один ничего не смыслит.

Однако чем дальше он читал, тем больше злился — уж очень все это было глупо и его же выставляло в смешном свете. Подумать только — «композитор-республиканец»! Но это еще не самое страшное. А вот что они противопоставляют его «республиканское искусство пропахшей ладаном музыке» великих мастеров, его предшественников, тогда как он был вскормлен их духовным богатством,— это уж слишком...

— Ах, болваны! С ними, того и гляди, прослывешь идиотом!

И потом, зачем же ради него поносить талантливых французских композиторов, которые ему самому могли нравиться в большей или меньшей степени (скорее в меньшей, чем в большей), но, без сомнения, превосходно владели своим ремеслом. А хуже всего, что ему бесцеремоннейшим образом приписывали гадкие чувства по отношению к его родине! Нет, этого нельзя так оставить...

— Я сейчас же напишу им,— сказал Кристоф.

— Нет, не надо,— воспротивился Оливье,— ты слишком раздражен. Лучше завтра, на свежую голову.

Кристоф заупрямился. Когда ему хотелось высказаться, он не мог ждать до завтра. Он только обещал, что даст Оливье прочитать письмо. Это оказалось нелишним. После того как текст был должным образом отредактирован, причем Кристоф считал для себя самым главным опровергнуть навязанное ему мнение о Германии, он побежал опустить письмо в почтовый ящик.

— Ну, теперь все улажено,— сказал он, вернувшись,— письмо будет напечатано завтра.

Оливье с сомнением покачал головой. Отнюдь не успокоившись, он испытующе заглянул в глаза Кристофу и спросил:

— Ты ничего не сболтнул лишнего за столом?

— Да нет же,— смеясь, ответил Кристоф.

— Наверняка?

— Говорю тебе — нет, трусишка.

У Оливье немного отлегло от сердца. Зато теперь стало неспокойно Кристофу. Он припомнил, что говорил без умолку, не

задумываясь, сразу же почувствовав себя, как дома. Ему и в голову не приходило быть настороже: все присутствующие так старались показать ему свое сердечное расположение. Да они и в самом деле были к нему расположены. Люди всегда расположены к тем, кому благодетельствуют. А Кристоф так искренне веселился, что заражал своим весельем и остальных. Он вел себя с такой добродушной бесцеремонностью, отпускал такие сочные шутки, столько ел, с такой быстротой, ничуть не хмелея, поглощал спиртные напитки, что внушил уважение Арсену Гамашу; тот сам был не промах поесть и по своей примитивной, грубой, здоровой натуре глубоко презирал хилых людишек, парижских заморышей, которые боятся съесть и выпить лишнее. О людях он судил за столом. И потому высоко оценил Кристофа. Тут же на месте он предложил переделать его «Гаргантюа» в оперу и поставить в «Гранд опера». В ту пору среди парижских буржуа считалось, что инсценировать «Осуждение Фауста» или девять симфоний — это высшее достижение искусства. Кристофа рассмешила такая нелепая мысль, он с трудом удержал Гамаша, который хотел немедленно отдать по телефону соответствующее распоряжение в дирекцию «Гранд опера» или в министерство изящных искусств. (Если верить Гамашу, там у него сидели свои люди.) Это предложение напомнило Кристофу, в каком странном обличье в свое время была преподнесена его симфоническая поэма «Давид», и он пустился рассказывать о спектакле, который устроил депутат Руссэн для первого дебюта своей любовницы [1]. Гамаш терпеть не мог Руссэна и слушал с удовольствием, а Кристоф, воодушевленный щедрыми возлияниями и сочувствием слушателей, стал припоминать другие случаи, не всегда подлежащие оглашению, причем его собеседники не упускали ни одной подробности. В отличие от них, Кристоф все забыл, едва встал из-за стола. А тут, когда Оливье стал допытываться, многое всплыло у него в памяти, и по спине пробежала дрожь, ибо он был достаточно умудрен опытом, чтобы, не обольщаясь, предвидеть дальнейший ход событий: хмель прошел, и ему явственно представилось, как его неосторожные признания будут искажены в хронике злопыхательской бульварной газетки, а его выпады по линии искусства превращены в полемическое оружие. Что же касается написанного им опровержения, то на этот счет у него было не больше иллюзий, чем у Оливье: отвечать сотруднику газеты — значит зря переводить чернила; последнее слово всегда остается за газетой.

[1] См. «Ярмарку на площади».— *Р. Р.*

Как Кристоф предвидел, так все и сбылось — точка в точку. Болтовню его напечатали, а опровержение нет. Гамаш велел только передать ему, что отдает должное его душевному благородству, что такая щепетильность делает ему честь, но предпочел сохранить проявление этой щепетильности в строгой тайне; и ложные взгляды, приписанные Кристофу, продолжали распространяться, вызывая резкую критику в парижских газетах, а когда они дошли до Германии, там возмутились, как мог музыкант-немец таким недостойным образом отзываться о своей родине.

Кристоф решил, что придумал способ поправить дело, и в ответ на вопросы репортера из другой газеты рассыпался в изъявлениях любви к Deutsches Reich [1], где, по его словам, люди ничуть не менее свободны, чем во Французской республике. А так как репортер представлял консервативную газету, он не замедлил приписать Кристофу антиреспубликанские высказывания.

— Час от часу не легче! — воскликнул Кристоф.— Да какое отношение имеет моя музыка к политике?

— У нас так уж водится,— ответил Оливье.— Ты только посмотри, как люди рвут на части Бетховена. Одни делают из него якобинца, другие церковника, для этих он «папаша Дюшен», для тех — царедворец.

— Эх, дал бы он им всем пинка в зад!

— Ну вот ты и дай.

Кристоф был бы очень не прочь, но он таял от первого приветливого слова. Оливье ни на минуту не знал покоя, когда оставлял его одного, Кристофа по-прежнему осаждали репортеры, и, сколько он ни обещал, что будет держать себя в узде, устоять он не мог и в приливе умиления доверчиво выкладывал все, что приходило ему в голову. Являлись к нему и репортеры женского пола, рекомендовались его почитательницами и выспрашивали о его любовных похождениях. Другие пользовались случаем, чтобы в связи с Кристофом позлословить о ком-то еще.

Возвратясь домой, Оливье замечал, что Кристоф чем-то озабочен.

— Опять натворил глупостей? — спрашивал он.

— Как всегда,— отвечал пристыженный Кристоф.

— Неисправимый ты человек!

— Меня на цепи надо держать... Но теперь кончено: больше этого не будет.

---

[1] Германскому государству *(нем.)*.

— Да, да, до следующего раза...

— Нет, на этот раз окончательно.

На другой день Кристоф торжествующе заявил Оливье:

— Опять тут приходил один. Я его выставил вон.

— Незачем впадать в крайности,— сказал Оливье,— с ними надо быть осторожным. «Это злобные твари...» Тронь их, они тебя ударят. Им ничего не стоит отомстить тебе. Каждое оброненное тобой словечко они истолкуют по-своему.

Кристоф схватился за голову.

— О, господи!

— Что еще?

— А то, что я сказал, когда захлопывал за ним дверь.

— Что именно?

— Наполеоновское словцо.

— Наполеоновское?..

— Ну, не его, так кого-то из его приближенных...

— Сумасшедший! Оно будет напечатано на первой странице.

Кристоф содрогнулся. Но в газете на следующий день было напечатано описание его квартиры, куда репортер не попал, и интервью, которого он не получил.

Сведения по мере распространения все приукрашались. В иностранных газетах они сдабривались всякими нелепостями. После того как французы в своих статьях сообщили, что Кристоф ради куска хлеба аранжировал музыкальные произведения для гитары, он прочел в какой-то английской газете, что ему случалось ходить по дворам с гитарой.

На глаза ему попадались не только хвалебные отзывы. Отнюдь нет! Достаточно было покровительства «Гран журналь», чтобы на Кристофа ополчились другие газеты. Они не могли допустить, что кто-то из их собратьев открыл гения, которого они проглядели. Одни злословили вовсю. Другие жалели Кристофа. Гужар, досадуя, что его обскакали, напечатал статью, чтобы, как он выразился, восстановить истину. Он панибратским тоном говорил о своем старом приятеле — Кристофе, о том, как руководил первыми его шагами в Париже; конечно, Кристоф очень даровитый музыкант, но — кому как не другу знать это! — с большими срывами, с пробелами в образовании, без всякой самобытности и с непомерной гордыней. Плохую услугу оказывают ему те, кто поощряет эту гордыню, доходя в своих похвалах до смешного, тогда как Кристофу нужен мудрый, знающий, справедливый наставник, доброжелательный и строгий и т. д. (словом, точная копия самого Гужара). Композиторы, те кисло

улыбались, подчеркивая полнейшее презрение к музыканту, который пользуется поддержкой прессы, и, делая вид, что им отвратительно servum pecus [1], отклоняли дары Артаксеркса, ничего им не предлагавшего. Одни поносили Кристофа, другие нападали на Оливье (это были преимущественно его коллеги). Они радовались случаю отплатить ему за то, что он держался непримиримо и не подпускал их к себе — по правде говоря, больше из любви к одиночеству, чем из презрения к кому бы то ни было. Но для людей горчайшая обида услышать, что можно обойтись без них. Кое-кто даже намекал, что самому Оливье небезвыгодны статейки в «Гран журналь». Находились охотники защитить Кристофа от Оливье: они сокрушались по поводу того, что Оливье, не щадя тонкой душевной организации художника-мечтателя — Кристофа, недостаточно вооруженного для жизни,— бросает его в самую сутолоку Ярмарки на площади, где тот неизбежно погибнет. Из их слов выходило, что Кристоф — неразумный младенец, которого надо водить за ручку. Те, кто курит ему дешевый фимиам, говорили они, губят его будущее, а ведь он, хоть и лишен таланта, но своим упорством и трудолюбием заслуживает лучшей участи. Жаль человека! Почему не дали ему поработать еще несколько лет в безвестности?

Оливье мог бы сколько угодно твердить им:

«Чтобы работать, нужно есть. А кто даст ему хлеба?»

Это бы их не остановило. Они ответили бы с невозмутимым спокойствием:

«Это мелочь. Нужно терпеть. Неужели нельзя потерпеть?»

Понятно, такой стоицизм проповедовали люди светские и вполне обеспеченные.

Так, один миллионер ответил наивному человеку, который просил у него помощи для нуждающегося художника:

— Помилуйте, сударь, ведь и Моцарт умер от нужды.

Эти люди сочли бы крайне бестактным возражение Оливье, что Моцарт предпочел бы не умирать и что Кристоф твердо намерен жить.

В конце концов Кристофу надоели эти лакейские сплетни. Неужели они никогда не кончатся? — думал он. Однако через две недели все затихло. Но отныне он стал известностью. Услышав его имя, никто не говорил: «Это автор «Давида» и «Гаргантюа», а каждый спешил сказать: «Ах да, о нем писали в «Гран журналь».

[1] Стадо рабов *(лат.)*.

Это была слава.

Оливье ощущал ее по количеству писем, которые получал Кристоф, а рикошетом и он сам: тут были предложения либреттистов, устроителей концертов, излияния друзей, объявившихся за последнее время, из коих многие недавно еще были врагами, приглашения от женщин. Для газетных анкет Кристофу задавали самые разнообразные вопросы: о падении рождаемости во Франции, об идеале в искусстве, о дамских корсетах, о наготе на сцене, не считает ли он, что Германия идет к упадку, что музыки больше не существует и т. д. и т. д. Они вдвоем хохотали над всем этим, но смех смехом, а Кристоф, по природе дикарь, тут вдруг вздумал принимать приглашения на званые обеды! Оливье глазам своим не верил.

— Как? Ты? — спрашивал он.

— Да, я,— посмеиваясь, отвечал Кристоф.— Ты думал, тебе одному можно бывать у шикарных дам? Как бы не так, голубчик! Теперь мой черед развлекаться.

— Развлекаться?! Что ты, милый мой!

Все дело было в том, что Кристоф слишком засиделся дома и ему вдруг неудержимо захотелось новых впечатлений. Кроме того, он с непривычки простодушно наслаждался атмосферой славы. Впрочем, ему бывало нестерпимо скучно на этих вечерах, и «свет» казался ему донельзя глупым. Но, возвращаясь домой, он нарочно, назло говорил Оливье обратное. Раз побывав в каком-нибудь доме, он вторично туда не шел и под самым нелепым предлогом бесцеремоннейшим образом отклонял повторные приглашения. Оливье возмущался. А Кристоф хохотал до упаду. Он бывал в обществе вовсе не для того, чтобы поддержать свою популярность, а только чтобы пополнить запасы, которые поставляла ему жизнь,— коллекцию человеческих взглядов и жестов, оттенков голоса, словом, материал — формы, звуки, краски,— необходимый художнику для обогащения его палитры. Не одной музыкой жив музыкант. Интонация человеческой речи, ритм движений, гармония улыбки дают ему больше музыкальной пищи, чем симфония какого-нибудь собрата. Правда, надо сознаться, что в светских гостиных музыка лиц и душ так же бесцветна и однообразна, как и музыка профессионалов.

Каждый вырабатывал себе свои приемы и раз навсегда застывал на них. Улыбка хорошенькой женщины так же трафаретно завлекательна, как парижская песенка. Мужчины еще пошлее женщин. Под разлагающим воздействием «света» воля катастрофически быстро слабеет, тускнеет и сглаживается самобытность характера. Кристоф был потрясен количеством нежи-

вых и отживающих людей, которых он встречал в мире искусства. Вот, например, молодой талантливый композитор в расцвете творческих сил: успех выбил его из колеи, убаюкал, превратил в ничто, и ему теперь хочется только блаженствовать и дремать, вдыхая аромат низкопробной лести, которым его, того и гляди, удушат. А вот в другом углу гостиной образец того, чем этот молодой музыкант станет через двадцать лет,— напомаженный старец, маститый, прославленный, богатый, член всех академий, достигший вершины на своем поприще; ему, казалось бы, нечего бояться, не с кем считаться, а он пресмыкается перед всем и перед всеми, дрожит перед общественным мнением, перед властью, перед прессой, не смеет высказать свои мысли, да и не мыслит уже вовсе, не существует и только красуется,— осел, несущий собственные мощи. За каждым из этих художников или мыслителей, которые были или могли быть великими, непременно скрывалась женщина, подтачивавшая их силы. Женщины все были одинаково опасны — глупые и умные, любящие и себялюбивые; и лучшие были хуже всех: они еще вернее душили талант в тисках своей неразумной любви, с самыми благими намерениями приручали его, приспособляли к своим вкусам, подравнивали, приглаживали, корнали, опрыскивали духами, пока не доводили до уровня своей убогой чувствительности, меленького тщеславия, до посредственности своей и своего круга.

Хотя Кристоф только мимоходом побывал в их кругу, он успел почуять опасность. Каждой, естественно, хотелось заполучить его для своей гостиной, в свое распоряжение; и Кристоф чуть было не клюнул на приманку ласковых слов и многообещающих улыбок. Если бы он не обладал несокрушимым здравым смыслом и не видел на чужом примере, во что современные Цирцеи превращают людей, ему вряд ли удалось бы уйти невредимым. Но он вовсе не жаждал сделаться лишним гусаком в стаде этих прелестных пастушек. Опасность была бы много больше, если бы они не проявляли такой настойчивости. Теперь же, когда всякому и всякой стало ясно, что среди них объявился гений, они, по своему обыкновению, любыми способами старались загубить его. У людей такого сорта всегда одна мысль: при виде цветка — пересадить его в горшок; при виде птицы — запереть ее в клетку; при виде свободного человека — превратить его в угодливого пошляка.

У Кристофа на миг закружилась голова, но он быстро овладел собой и послал их всех к черту.

Судьба — насмешница. Люди беспечные еще могут проскользнуть между петлями ее сетей, но осторожных, искушенных скептиков она не упустит ни за что. Так, жертвой парижских соблазнов пал не Кристоф, а Оливье.

Он оказался в выигрыше от успехов друга. Отблеск славы Кристофа упал и на него. Две-три фразы о нем как о человеке, открывшем Кристофа, принесли молодому поэту бóльшую известность, чем все его писания за шесть лет. Поэтому, приглашая Кристофа, многие приглашали и его, и он сопровождал друга, чтобы незаметно следить за ним. Должно быть, он был слишком поглощен этой задачей и потому не уследил за самим собой. Любовь пришла и увлекла его.

Она была юная девушка, худенькая и хорошенькая; легкие белокурые волосы мелкими волнами вились над ее узким и гладким лбом, брови у нее были тонкие, а веки тяжеловатые, глаза голубые, как прóлески, изящный носик с трепещущими ноздрями, чуть вдавленные виски, своенравный подбородок, выразительный, чувственный рот с приподнятыми уголками, пармиджаниновская улыбка еще ничего не ведающего юного фавна. У нее была длинная и гибкая шея, тонкая талия, худощавая и стройная фигурка и что-то тревожно-радостное в выражении юного лица, окутанного волнующей и поэтической тайной пробуждения весны — Frühlingserwachen. Звали ее Жаклина Ланже. Ей еще не исполнилось двадцати лет. Она была из богатой, культурной, свободомыслящей католической семьи. Отец ее — инженер, неглупый, толковый человек с изобретательским складом ума, восприимчивый к новым идеям,— создал себе положение собственным трудом, политическими связями и браком. Он женился по любви и по расчету (в этой среде брак по любви немыслим без денежного расчета) на красивой женщине, истой парижанке, из финансовых кругов. Деньги остались, а любовь прошла. Но искорки ее все же сохранились. Уж очень она была когда-то пылкой и с той и с другой стороны; однако супруги не ставили верность во главу угла. У каждого были свои дела, свои развлечения, и они превосходно ладили, как два добрых приятеля, думающих только о себе,— не считались с моралью, но остерегались огласки.

Дочь была связующим звеном и вместе с тем предметом скрытого соперничества между родителями, потому что оба любили ее ревнивой любовью. Каждый видел в ней себя со своими самыми милыми сердцу недостатками, только облагороженными обаянием юности, и каждый исподтишка старался отнять ее у другого. Девочка сразу же почуяла это с невинной хитрецой,

свойственной юным существам, которые и без того склонны считать, что мир вращается вокруг них,— она непрерывно толкала обоих на соперничество в проявлении родительских чувств. Не было прихоти, которую не удовлетворил бы отец, если мать отказала в ней, а мать в досаде, что ее опередили, спешила превзойти мужа в баловстве. Девочку портили самым непростительным образом; счастье ее, что в ней не было дурных задатков, не считая эгоизма, присущего почти всем детям, только у слишком богатых и балованных детей он достигает болезненных размеров ввиду отсутствия препятствий.

При всей любви к дочери родители ни за что не поступились бы ради нее своими привычками и вкусами. Удовлетворив все бессчетные прихоти девочки, они на целый день оставляли ее одну. У нее было достаточно времени для размышлений. И она не теряла его даром. Не по годам смышленая и осведомленная (при ней не стеснялись вести всякие разговоры), она в шесть лет рассказывала куклам про любовь, причем действующими лицами были муж, жена и любовник. Разумеется, все это было вполне невинно; но с той минуты, как она угадала за словами намек на чувство, рассказы про любовь стали относиться уже не к куклам, а к ней самой. В натуре ее была заложена неосознанная чувственность, которая вибрировала где-то глубоко, подобно звону невидимых колоколов, доносящемуся издалека, из-за грани горизонта. Не поймешь, что это такое. Временами это набегало волной с порывами ветра, неведомо откуда, обволакивало, бросало в краску, перехватывало дыхание. Было и страшно, и радостно, и непонятно. А потом это так же внезапно затихало. Ни звука больше. Разве что смутный гул, еле уловимый отголосок, тающий в голубой дали. Знаешь только, что это где-то там, по ту сторону гор, и что туда надо идти как можно скорее,— там счастье. Ах, только бы дойти!

Но поскольку идти было еще далеко, откуда-то являлись самые фантастические представления о том, что ждет там, за горами. Ум девочки был всецело поглощен догадками. У нее была подружка Симона Адан, ее сверстница, и они часто вместе обсуждали этот важный вопрос. Каждая вносила собственные домыслы, опыт своих двенадцати лет, сведения, почерпнутые из подслушанных разговоров и тайком проглоченных книжек. Они становились на цыпочки, цеплялись за выступы, силясь заглянуть через старую стену, за которой было скрыто будущее. Но как они ни изощрялись, ни воображали, будто что-то видят сквозь щели,— они не видели ровно ничего. Фривольная мечтательность и парижский скепсис сочетались в них с подлинной

чистотой. Они говорили чудовищные вещи, сами того не подозревая, и усматривали невесть что в самых простых вещах. Жаклина беспрепятственно шарила повсюду, совала носик во все отцовские книги. К счастью, от дурных знакомств ее ограждали настоящая невинность и инстинкт по существу целомудренной девочки: малейшее вольное слово или описание вызывали у нее отвращение; она сразу же бросала книгу и обходила сомнительные знакомства, как напуганная кошечка лужу грязи, ничуть не запачкавшись.

Романы вообще не привлекали ее: в них все было слишком трезво и сухо. Но когда она читала стихи — разумеется, любовные,— сердечко ее билось от волнения и надежды найти в них разгадку тайны. Стихи в какой-то мере приближались к ее детскому восприятию. Они не показывали явлений, а пропускали их сквозь призму желания или сожаления; они, как и она, словно заглядывали через щели в старой стене. Но знали они гораздо больше: они знали все, что требовалось знать, и облекали это в такие нежные, таинственные слова, которые надо вскрывать очень, очень бережно, чтобы добраться до... Увы, добраться ни до чего не удавалось, но все время чудилось, что вот-вот доберешься.

Любопытствующие искательницы не отчаивались. Они шепотом, замирая, читали друг другу стихи Альфреда де Мюссе или Сюлли-Прюдома, в которых им виделись бездны разврата; они переписывали эти стихи; доискивались скрытого смысла даже в тех строфах, где его подчас и не было вовсе. Эти маленькие тринадцатилетние женщины, целомудренные и бесстыдные, ничего не знавшие о любви, не то в шутку, не то всерьез рассуждали о любви и страсти; и на промокательной бумаге, под отеческим оком учителя, очень кроткого и вежливого старичка, записывали в классе стихи вроде тех, которые он однажды перехватил и, прочтя, чуть не умер на месте:

О, дайте, дайте вас в объятья заключить,
Любовь безумную в лобзаньях ваших пить,
По капле, медленно!..

Они учились в популярной среди высшего круга фешенебельной школе, где преподавали университетские профессора. Здесь нашлось, к чему приложить их любовные мечты. Почти каждая девочка была влюблена в кого-нибудь из преподавателей. Только бы он был молод и относительно недурен собой. Они трудились, как самые примерные девочки, лишь бы угодить сво-

ему кумиру. Какие проливались слезы, если плохую отметку за сочинение ставил он, именно он! Когда же он их хвалил, они краснели, бледнели, бросали на него благодарные, кокетливые взгляды. А уж если он беседовал с кем-нибудь отдельно и что-то объяснял или одобрял — это был верх блаженства. Чтобы их очаровать, вовсе не требовалось быть орлом. Когда на уроке гимнастики учитель подсаживал Жаклину на трапецию, девочку даже в жар бросало. И как же они старались друг перед дружкой! Как втайне терзались ревностью! Как умильно строили глазки, чтобы отбить своего героя у выскочки-соперницы! Стоило ему на уроке раскрыть рот — и все мигом хватались за карандаши и перья. Понять они не старались — главное было не упустить ни слова. Они усердно писали и в то же время украдкой, любопытным взглядом следили за своим божеством, за каждым его движением, и кто-нибудь, Жаклина или Симона, шептал:

— Представляешь, как бы ему пошел галстук в синюю крапинку!

Потом они стали выбирать себе кумиров в духе олеографий, сентиментальных дамских стишков, картинок в модных журналах — влюблялись в музыкантов, поэтов, актеров, живых и мертвых, в Мупе-Сюлли, Самэна, Дебюсси; переглядывались с незнакомыми молодыми людьми в концерте, в светской гостиной, на улице и тут же мысленно сочиняли любовные приключения — лишь бы все время увлекаться, любить, иметь предлог для любви. Жаклина и Симона все поверяли друг другу — вернейшее доказательство, что по-настоящему они ничего не чувствовали, а также лучший способ оградить себя от истинного чувства. Зато их состояние становилось чем-то вроде хронической болезни, и хотя они первые смеялись над собой, но сами же ревностно культивировали эти настроения и взвинчивали друг друга. Симона — бóльшая фантазерка и вместе с тем более благоразумная — была необузданнее в своих выдумках. А Жаклина — более непосредственная и более страстная — скорее способна была осуществить любую фантазию. Раз двадцать она собиралась натворить отчаянных глупостей, но только собиралась, как и бывает обычно в отрочестве. У этих жалких зверюшек (какими были и мы все) случаются минуты такого безумия, когда одни чуть не бросаются в объятия смерти, а другие — в объятия первого встречного. По счастью, у большинства дело не идет дальше намерений. Жаклина сочинила вчерне десяток пылких посланий людям, которых знала только по виду; но отправила, и то без подписи, лишь восторженное письмо одному

«Жан-Кристоф». Книга восьмая.

критику, уроду, пошляку, самовлюбленному и ограниченному сухарю.

Она влюбилась в него из-за трех строчек, в которых усмотрела бездну чувства. Затем она воспылала страстью к знаменитому актеру; он жил по соседству, и всякий раз, проходя мимо его парадного, она думала:

«Что, если войти!»

Однажды она расхрабрилась и добралась до того этажа, где была его квартира, но тут же бросилась наутек. О чем бы она стала с ним говорить? Ей нечего, ну, просто нечего было ему сказать. Она его не любила, и сама превосходно это знала. Ее увлечения наполовину были сознательным самообманом, а наполовину извечной, чудесной и глупой потребностью любить. Жаклина была из породы очень рассудительных и не заблуждалась на этот счет, что не мешало ей безумствовать. Безумец, сознающий свое безумие, опасен вдвойне.

Она часто бывала в обществе. Ее обаяние привлекало молодых людей, многие влюблялись в нее. Она же никого не любила и кокетничала со всеми, не заботясь о том, какую может причинить боль. Хорошенькая девушка превращает любовь в жестокую забаву. Ей кажется естественным, что ее любят, но считается она только с тем, кого любит сама. Она даже склонна думать, что любить ее — само по себе великое счастье. В ее оправдание надо сказать, что она понятия не имеет о том, что такое любовь, хотя целый день мечтает о любви. Принято считать, что светская девица-парижанка, воспитанная в оранжерейной атмосфере, осведомленнее деревенской девушки; это совершенно неверно. Правда, книги и разговоры сосредоточивают ее внимание на любви, и от безделья это превращается чуть не в навязчивую идею; случается, что такая девица заранее наизусть знает всю драму, от слова до слова, а потому никак не чувствует ее. В любви, как в искусстве, надо не читать то, что говорили другие, а говорить то, что чувствуешь сам; тому же, кто спешит говорить, не имея, что сказать, грозит опасность никогда ничего не сказать.

Итак, Жаклина, подобно большей части молодежи, дышала пылью чувств, пережитых другими, от чего ее постоянно лихорадило, горели руки, пересыхало в горле, но что заслоняло действительность от ее воспаленных глаз. Ей казалось, что она все постигла, и она старалась все постичь. В доброй воле недостатка не было. Она читала, слушала и многое схватывала — то тут, то там, на лету, урывками, из разговоров и книг. Она даже пыталась читать в самой себе. Она была лучше своей среды, искреннее.

На нее имела благотворное, но слишком кратковременное влияние одна женщина — сестра ее отца, старая дева лет сорока — пятидесяти. У Марты Ланже, несмотря на правильные черты, лицо было какое-то унылое и невыразительное; ходила она всегда в черном, отличалась сдержанностью, даже скупостью жестов и движений, говорила мало, почти шепотом. Она не привлекла бы ничьего внимания, если бы не ясный взгляд умных серых глаз и добрая улыбка на скорбно искривленных губах.

В доме брата она появлялась в те дни, когда у них никого не было. Брат питал к ней почтение, но скучал в ее присутствии. Г-жа Ланже не скрывала от мужа, что посещения золовки ей не слишком приятны. Однако они считали необходимым из приличия приглашать ее раз в неделю к обеду и старались не очень ясно показывать, что делают это только по обязанности. Брат говорил о себе — тема, никогда не терявшая для него интереса. Его жена думала о чем-то постороннем и улыбалась по привычке, отвечая наобум. Все шло гладко, по всем правилам вежливости. И родственные чувства выражались особенно горячо, если тетка из деликатности уходила раньше, чем ожидали; а чарующая улыбка г-жи Ланже становилась совсем лучезарной в те минуты, когда ее отвлекали особенно приятные воспоминания. Тетя Марта все это замечала, от ее внимания не ускользало почти ничего; а в доме брата она наблюдала много такого, что коробило или огорчало ее, но она не показывала и виду: к чему? Она любила брата, гордилась его умом, его успехами, как и вся их семья, считавшая, что не зря они терпели лишения ради блестящей карьеры, сделанной старшим сыном. Но только сестра не обольщалась насчет брата. Она была не глупее его, при этом устойчивее в нравственном смысле, мужественнее (столько французских женщин несравненно выше мужчин!) — она видела его насквозь; и когда брат спрашивал ее мнение, она высказывалась с полной откровенностью. Впрочем, он уже давно перестал спрашивать! Он считал, что благоразумнее не знать или закрывать глаза (знал-то он все не хуже ее). Она же замыкалась в себе из гордости. Никого не интересовал ее внутренний мир. Помимо всего прочего, окружающим было спокойнее не вникать в него. Марта жила одна, почти нигде не бывала, у нее имелся небольшой круг друзей, и то не очень близких. Она могла бы создать себе положение с помощью брата и благодаря собственному дарованию, но не сделала этого. В одном из крупных парижских журналов были напечатаны две-три ее статьи — исторические и литературные портреты, обратившие на себя внимание сжатостью, четкостью и яркостью изложения. Этим она

ограничилась. Ей ничего бы не стоило завязать знакомство с рядом выдающихся людей — они проявляли к ней интерес, и сама она, вероятно, не прочь была сойтись с ними поближе. Но она не приложила к этому никаких стараний. Иногда, взяв билет в театр, где играли хорошую, любимую ею вещь, она оставалась дома, и если у нее была возможность совершить приятное путешествие, отказывалась от этой возможности. В ней удивительным образом сочетались стоицизм и неуравновешенность. Последняя ни в малейшей степени не влияла на ясность мыслей. Изъян был в ее жизни, а не в мышлении. На сердце наложило печать давнее горе, о котором знала она одна. Еще глубже скрыта от всех и от нее самой была печать судьбы — болезнь, уже подтачивавшая ее изнутри. Но супруги Ланже видели только ее светлый взгляд, который временами даже смущал их.

Жаклина почти не замечала тетки, пока была весела и беспечна, а другой она в годы детства и не бывала. Но с приближением возраста, когда потихоньку назревают телесные и душевные перемены, а с ними — тревога, отвращение, страх, порывы беспросветной тоски, в такие минуты нелепого и жестокого смятения,— по счастью недолгого,— когда девочке казалось, будто она гибнет, умирает, тонет, не смея крикнуть: «Спасите!» — тут одна только тетя Марта очутилась возле нее и протянула ей руку помощи. А как далеки были остальные! Как чужды оказались и отец и мать, любящие, но эгоистичные, слишком довольные собой, чтобы заниматься детскими горестями четырнадцатилетней куколки! Тетка же угадывала эти горести и сострадала им. Словами она ничего не выражала. Она просто улыбалась, и когда Жаклина поднимала глаза, ее взгляд встречался через стол с добрым взглядом Марты. Девочка чувствовала, что та понимает ее, и искала у тетки прибежища. Марта молча гладила голову Жаклины.

Девочка рассказывала ей обо всем, как на духу. Если на сердце у нее бывало тяжело, она шла к тетке как к старшему другу и знала, что, когда бы она ни пришла, ее неизменно встретит понимающий, снисходительный взгляд и перельет в нее немного душевного спокойствия. О своих выдуманных влюблениях ей было стыдно говорить тете Марте: она чувствовала, что все это неправда. Правдой, единственной правдой было смутное, неосознанное томление, которое она и поверяла тете.

— Как бы мне хотелось быть счастливой, тетя! — вздыхала она иногда.

— Бедная детка! — улыбаясь, говорила Марта.

Жаклина клала голову на колени тети и, целуя гладившие ее руки, спрашивала:

— А я буду счастлива? Скажи, тетя, буду я счастлива?

— Не знаю, душенька. Это ведь и от тебя немного зависит. Когда хочешь, всегда можешь быть счастливой.

Жаклину это не убедило.

— А ты сама счастлива?

Марта грустно улыбнулась.

— Да.

— Правда? В самом деле счастлива?

— Ты не веришь?

— Верю. Только...

Жаклина замялась.

— Ну что?

— Я хочу быть счастливой по-иному, чем ты.

— Глупенькая! Надеюсь, оно и будет по-иному,— сказала Марта.

— А так я бы просто не могла,— заявила Жаклина, решительно тряхнув головой.

— Мне тоже сперва казалось, что я не могу. Жизнь многому учит.

— Не хочу я учиться,— вскипела Жаклина.— Я хочу быть счастливой, как мне хочется.

— Если бы тебя спросили: как именно,— ты не знала бы, что ответить!

— Нет, я отлично знаю, чего мне хочется.

Ей хотелось многого, но назвать она могла только одно, и это одно звучало постоянным припевом ко всему, что бы она ни говорила.

— Главное, я хочу, чтобы меня любили.

Марта молча шила. Немного погодя она сказала:

— На что тебе любовь, если сама ты не любишь?

Жаклина недоуменно воскликнула:

— Странная ты, тетя! Ну конечно же, я говорю о том, что люблю сама. Остальное меня не касается.

— А если ты ничего не полюбишь?

— Этого не бывает. Люди всегда, всегда любят!

Марта с сомнением покачала головой.

— Не любят... хотят любить,— сказала она.— Способность любить — величайшая благодать божия. Моли бога, чтобы он ее тебе даровал.

— А если меня не будут любить?

— Даже если не будут. Это еще большее счастье.

Личико у Жаклины вытянулось.

Надув губы, она сказала:

— Этого я не хочу. Что тут приятного?

Марта ласково засмеялась, посмотрела на Жаклину, вздохнула и снова принялась за шитье.

— Бедная детка! — повторила она.

— Почему ты все время говоришь: бедная, бедная? — забеспокоилась Жаклина.— Не хочу я быть бедной! Я очень, очень хочу быть счастливой.

— Потому-то я и говорю: бедная детка!

Жаклина надулась. Но ненадолго. Добродушный смех Марты обезоруживал ее. Она целовала тетю, все еще притворяясь, будто сердится. В эти годы грустные предсказания на будущее, на далекое будущее втайне даже льстят немножко. На большом расстоянии горе предстает в поэтическом свете, а страшнее всего кажется серенькая жизнь.

Жаклина не замечала, что тетя Марта становится все бледнее. Правда, она видела, что тетя почти совсем уже не выходит из дому, но ее и всегда дразнили домоседкой. Раз или два девочка столкнулась с выходившим от нее врачом.

— Ты больна? — спросила она тетку.

— Нет, так, пустяки,— ответила Марта.

Но вот тетя Марта даже перестала бывать у них на еженедельных обедах. Жаклина явилась к ней с гневными упреками.

— Мне это трудно, деточка,— мягко сказала Марта.

Но Жаклина даже слушать не желала. Пустые отговорки, и больше ничего.

— Подумаешь, какой труд прийти к нам на два часа раз в неделю. Просто ты меня не любишь. Ты только и любишь, что сидеть в своем углу.

Но когда она дома с гордостью рассказала о своей выходке, отец отчитал ее:

— Не беспокой тетю! Разве ты не знаешь, что она, бедняжка, серьезно больна?

Жаклина побледнела и дрожащим голосом спросила, что с тетей. Родители не хотели говорить. В конце концов она узнала, что у тети Марты рак желудка и жить ей осталось считанные месяцы.

Жаклина не могла прийти в себя от ужаса. Успокаивалась она немного только при виде тети Марты с ее неизменной спокойной улыбкой, которая казалась теперь на этом прозрачном лице отблеском внутреннего света. Девочка твердила себе:

«Нет, не может этого быть, они ошиблись, она бы не была так спокойна...»

И продолжала поверять тете свои детские тайны, а та слушала еще внимательнее, чем прежде. Только иногда она выходила из комнаты посреди разговора, однако не показывая вида, что страдает; когда приступ боли кончался, она возвращалась с невозмутимым лицом. Она никому не позволяла даже заикаться об ее состоянии, всячески скрывала его; должно быть, ей хотелось от себя самой отвести мысли о болезни,— недуг, точивший ее, был страшен и отвратителен, и она старалась не видеть его, сосредоточивала все усилия на том, чтобы прожить спокойно хоть последние месяцы. Развязка приближалась быстрее, чем ожидали. Вскоре Марта отказалась принимать кого бы то ни было, кроме Жаклины. И посещения Жаклины поневоле становились все короче. Наконец, наступил день разлуки. Марта, уже много недель не покидавшая постели, со словами ласки и утешения отпустила навеки своего юного друга. И осталась умирать одна.

Жаклина пережила несколько месяцев настоящего отчаяния. Смерть Марты совпала с самым острым периодом того душевного смятения, которое только тетя умела облегчить. Девочка чувствовала себя бесконечно одинокой. Ее могла бы поддержать вера. Казалось бы, в этой поддержке недостатка быть не должно: ее с детства приучали молиться богу, мать усердно соблюдала обряды. Но в том-то и дело, что мать соблюдала, а тетя Марта не соблюдала. Сравнение напрашивалось само собой. От детских глаз не ускользала фальшь, на которую позднее уже не обращаешь внимания: дети тонко подмечают и слабости и противоречия. Жаклина видела, что мать и другие люди, называвшие себя верующими, так же боятся смерти, как если бы они не верили вовсе. Нет, какая уж тут поддержка... К этому добавился еще личный опыт, протест, возмущение бестактностью духовника... Она продолжала исполнять обряды, но уже не веруя, просто из благовоспитанности. В религии она видела ту же пустоту, что и в светской жизни. Единственным спасением ей представлялись воспоминания о покойнице, и она с головой уходила в них. Во многом могла она себя упрекнуть по отношению к той, которую частенько забывала в своем детском эгоизме, а теперь из того же эгоизма тщетно старалась воскресить. Она идеализировала образ тетки и под влиянием прекрасного примера ее жизни, исполненной мудрости, отрешенной от мирской суеты, готова была возненавидеть свет, где все ничтожно и лживо. Она во всем теперь видела одно лице-

мерие; ей стали противны легкомысленные сделки с совестью, хотя раньше они только позабавили бы ее. Она находилась в том состоянии повышенной чувствительности, когда все причиняет боль, когда душа как будто обнажена. У нее открылись глаза на многое, чего она в беспечности своей раньше не замечала. Один случай особенно больно ранил ее сердце.

Как-то днем она была в гостиной. К ее матери пришел визитер — модный художник, франтоватый, напыщенный, частый гость у них в доме, но не из числа близких друзей. Жаклина почувствовала, что ее присутствие нежелательно, и именно поэтому решила остаться. Г-жа Ланже немного нервничала, в голове у нее стоял легкий туман от мигрени или от порошков против мигрени, которые заменяют нашим дамам конфеты и окончательно сводят на нет их птичьи мозги. Поэтому она не очень следила за своими словами и по рассеянности назвала художника: «любимый».

Но сразу же спохватилась. Он тоже не подал виду, и оба продолжали чинно беседовать. Жаклина в это время разливала чай; она была так поражена, что чуть не выронила чашку. Ей почудилось, что те двое многозначительно улыбаются за ее спиной. Она обернулась и успела перехватить их недвусмысленный взгляд, хотя они сразу же отвели глаза. Открытие потрясло ее. Она, девушка, получившая свободное воспитание, часто слышавшая об интрижках такого рода и сама со смехом говорившая о них, испытала мучительную боль, обнаружив, что ее мать... Ее мама — нет, это ведь совсем другое дело! С присущей ей склонностью к преувеличениям, Жаклина впала в новую крайность. Раньше она ничего не подозревала. Теперь же стала подозревать все. Каждую мелочь в поведении матери она толковала как улику. Конечно, легкомыслие г-жи Ланже давало достаточный повод для любых толкований, но Жаклина преувеличивала сверх меры. Ей захотелось больше сблизиться с отцом. Кстати, он всегда был ей ближе и привлекал ее остротой ума. Ей захотелось еще крепче любить его, жалеть. Но отец, по-видимому, ничуть не нуждался в жалости; и возбужденное воображение девушки пронизала страшная, страшнее первой, догадка, что отцу все известно, но он предпочитает ничего не знать, лишь бы ему самому дали волю,— остальное его не трогает.

Жаклина решила, что для нее все погибло. Презирать родителей она не смела. Она их любила. Но жить тут больше не желала. Дружба с Симоной Адан не могла ей быть поддержкой. Жаклина сурово порицала слабости своей прежней

подружки, не щадила она и себя. Она страдала от того дурного и недостойного, что видела в себе, и судорожно цеплялась за воспоминание о светлом образе тети Марты. Но и это воспоминание тускнело. Жаклина чувствовала, что дни, набегая волна за волной, смоют самый его след. И тогда все будет кончено. Она сделается такой, как все, погрязнет в трясине... Нет, во что бы то ни стало вырваться из этого болота! «Спасите! Спасите меня!»

В эти дни болезненного отчуждения, страстного протеста, трепетного ожидания, когда она простирала руки к неведомому спасителю, произошла ее встреча с Оливье.

Госпожа Ланже не преминула пригласить Кристофа, который в ту зиму был модным композитором. Кристоф пришел и, по обыкновению, не очень старался показать себя в выгодном свете. Тем не менее г-жа Ланже нашла его обворожительным: те считанные месяцы, пока он был в моде, ему все разрешалось, в нем все восхищало. Жаклина не разделяла материнского восхищения; одно то, что Кристофа превозносили определенные люди, уже настораживало ее. А главное, ее коробило от грубоватых манер и громкого голоса Кристофа, от его веселости. В своем теперешнем положении она считала радость жизни вульгарной и воображала, что ей могут нравиться только меланхолические, сумеречные души. А в Кристофе все было слишком светло. Но однажды в беседе с ней он заговорил об Оливье; у него была потребность приобщать друга ко всему приятному, что с ним случалось. Говорил он так красноречиво, что Жаклина, втайне взволнованная тем, что на свете есть душа, созвучная ей, постаралась, чтобы пригласили и Оливье. Он откликнулся не сразу, так что Кристоф и Жаклина вполне успели дорисовать его портрет, когда наконец явился оригинал. Для Жаклины он полностью слился с воображаемым портретом.

Он пришел, но говорил мало. Да ему и незачем было говорить. Его умный взгляд, улыбка, мягкость в обращении, излучаемое им спокойствие и без того уже пленили Жаклину. Контраст с Кристофом еще подчеркивал достоинства Оливье. Жаклина ничем не выдала своего впечатления, боясь зарождающегося чувства; она по-прежнему разговаривала только с Кристофом, но разговор шел об Оливье. Кристоф так был рад поговорить о друге, что не замечал, как приятна эта тема Жаклине. Говорил он и о себе, и Жаклина слушала с готовностью, но без всякого интереса, а сама незаметно переводила беседу на те события его жизни, в которых участвовал Оливье.

Внимание Жаклины было небезопасно для такого доверчивого молодого человека, как Кристоф. Незаметно для себя он начал увлекаться, охотно бывал у Ланже, тщательно одевался; и чувство, хорошо ему знакомое — нежная и радостная истома,— снова примешивалось ко всем его мыслям. Оливье тоже влюбился с первого дня, но думал, что его не замечают, и молча страдал. Кристоф растравлял его страдания, когда по дороге домой, захлебываясь, рассказывал о своих разговорах с Жаклиной. Оливье и в голову не приходило, что он мог понравиться Жаклине. Хотя длительное общение с Кристофом прибавило ему оптимизма, он по-прежнему не верил в себя, не верил, что его могут полюбить, смотрел на себя слишком трезвым взглядом: и кто, спрашивается, достоин быть любимым в силу собственных заслуг, а не волшебных чар снисходительной любви?

Однажды, когда их обоих пригласили на вечер к Ланже, Оливье почувствовал, что ему будет слишком тяжело видеть равнодушие Жаклины, и, сославшись на усталость, сказал, чтобы Кристоф шел один. Ничего не подозревавший Кристоф с легким сердцем отправился в гости. В своем простодушном эгоизме он радовался, что Жаклина будет всецело занята им. Но, узнав, что Оливье не придет, Жаклина насупилась, была явно разочарована и раздосадована; сегодня ей ничуть не хотелось нравиться, она не слушала Кристофа, отвечала невпопад; он увидел, как она подавила нервный зевок, и упал духом. А Жаклине хотелось плакать. В конце концов она внезапно исчезла посреди вечера и больше не появлялась.

Кристоф ушел, совсем сбитый с толку. Всю дорогу он пытался понять эту неожиданную перемену, и вдруг перед ним блеснул луч истины. Дома Оливье поджидал его и деланно равнодушным тоном спросил, как он провел вечер. Кристоф рассказал о своей неудаче. Во время его рассказа лицо Оливье заметно прояснилось.

— Ты же был утомлен! Почему ты не лег? — спросил Кристоф.

— Я чувствую себя гораздо лучше,— ответил Оливье.

— Оно и заметно, тебе очень помогло то, что ты не пошел,— насмешливо сказал Кристоф.

Он лукаво и ласково посмотрел на друга, ушел к себе и, очутившись один в своей комнате, залился беззвучным смехом; он смеялся до слез, приговаривая про себя:

«Ах, негодница! Водила меня за нос. А он-то как меня обманывал. Ловко же они притворялись!»

С этой минуты он вырвал из сердца всякие личные помыс-

лы о Жаклине и, как заботливая наседка ревниво оберегает цыпленка, стал по-матерински оберегать роман юных влюбленных. Не показывая виду, что ему известна их тайна, и не выдавая одного другому, он незаметно помогал и Жаклине и Оливье.

Он счел священным долгом изучить характер Жаклины, чтобы узнать, будет ли Оливье счастлив с нею. Но по своей неловкости только раздражал девушку, задавая ей самые нелепые вопросы о ее вкусах, нравственных понятиях и так далее.

«Вот дурень! Он-то зачем вмешивается!» — со злостью думала Жаклина и, не отвечая, поворачивалась к нему спиной.

А Оливье весь сиял, видя, что Жаклина больше не обращает внимания на Кристофа. И Кристоф сиял, видя, как счастлив Оливье. При этом он гораздо шумнее выражал свою радость, чем Оливье. И так как ему, казалось бы, не из-за чего было радоваться, Жаклина, не подозревая, что Кристоф лучше ее самой разгадал их любовь, находила его несносным и не понимала, как может Оливье дружить с таким бестактным, назойливым человеком. Добряк Кристоф, видя все это, из озорства старался поддразнить Жаклину, а потом вдруг устранялся, под предлогом работы отклонял приглашения Ланже, чтобы влюбленные могли побыть наедине.

Однако будущее внушало ему немалые опасения. Он считал себя в значительной мере ответственным за предстоящий брак и мучился этим; он не заблуждался относительно Жаклины, и многое пугало его; прежде всего ее богатство, воспитание, среда, а главное, ее непостоянство. Она напоминала ему Колетту. Конечно, он признавал, что Жаклина правдивее, способна искреннее увлечься; в этой юной девушке было страстное, почти героическое желание жить настоящей трудной жизнью.

«Но желать — это что!» — думал Кристоф, припоминая острое словцо старика Дидро: «Надо силу иметь!»

Он собирался предостеречь Оливье. Но, видя, какую радость излучают глаза друга, когда тот приходил от Жаклины, Кристоф не решался заговорить. Он думал: «Бедные дети так счастливы! Зачем омрачать их счастье?»

В своей любви к Оливье Кристоф мало-помалу стал разделять его иллюзии. Он спокойно смотрел в будущее и под конец убедил себя, что Жаклина именно такова, какой ее считает Оливье и какой она хочет считать себя сама. У нее были благие намерения. Она любила Оливье за то, что он был так непохож на нее и на всех людей ее круга: за бедность, за твердость нравственных устоев, за неумение вести себя в обществе. Она любила такой цельной и чистой любовью, что ей хотелось тоже быть

бедной, а иногда... да, да, иногда ей даже хотелось стать дурнушкой, чтобы не сомневаться, что ее любят не за красоту, а за любовь, которой полно ее сердце, изголодавшееся по любви... Порой она бледнела в его присутствии, у нее дрожали руки. Она силилась смеяться над своим волнением, делала вид, будто занята чем-то посторонним и почти не замечает Оливье; говорила ироническим тоном. Потом вдруг обрывала разговор на полуслове и убегала к себе в комнату; там, за запертой дверью, за спущенными занавесками, она сидела, стиснув колени, обхватив грудь скрещенными руками, чтобы обуздать бурное биение сердца; подолгу сидела она так, вся сжавшись, затаив дыхание, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть счастье малейшим движением, и молча вбирала в себя свою любовь.

Теперь уже и Кристоф жаждал успеха Оливье, по-матерински заботился о его наружности, тоном знатока подавал советы насчет костюма, повязывал — и как повязывал! — ему галстук. Оливье все сносил терпеливо, а отделавшись от Кристофа, заново перевязывал галстук на лестнице. Он улыбался про себя, но был глубоко тронут этой самоотверженной дружбой. Впрочем, любовь делала его робким, неуверенным, и он не раз советовался с Кристофом, рассказывал, как провел время у Ланже. Кристоф волновался не меньше его и иногда по целым ночам изыскивал способы расчистить путь к счастью друга.

Объяснение между Оливье и Жаклиной, решившее их судьбу, произошло в парке при вилле Ланже, в дачной местности близ Парижа, на опушке Иль-Аданского леса.

Кристоф приехал вместе с Оливье, но, обнаружив в доме фисгармонию, сел играть и предоставил влюбленных самим себе. По правде говоря, они вовсе этого не желали. Они боялись остаться наедине. Жаклина была молчалива и настороженна. Уже в предыдущий раз Оливье почувствовал в ней перемену, неожиданную холодность; во взгляде ее мелькало отчужденное, злое, почти что неприязненное выражение. Его это совсем обескуражило. Он не решался объясниться: слишком страшно было ему услышать от любимой жестокие слова отказа. Он весь задрожал, увидев, что Кристоф уходит: ему казалось, что только присутствие друга может его оградить от неизбежного удара.

Жаклина любила Оливье ничуть не меньше. Она любила его даже сильнее, но именно это и настраивало ее враждебно. Раньше она играла любовью, мечтала о любви, и вот теперь любовь была тут, перед ней, точно бездна, раскрывшаяся у ее ног, а она отшатывалась в ужасе, задавая себе недоуменный вопрос:

«Зачем? Что это значит?»

Она смотрела на Оливье тем взглядом, от которого ему становилось больно, и думала:

«Кто этот человек?»

И не знала.

«Почему я люблю его?»

И этого не знала.

«А люблю ли?»

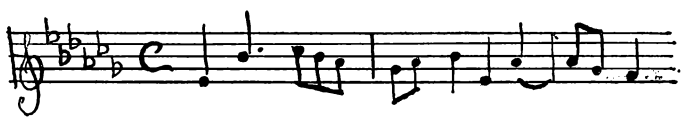
Этого она тоже не знала. Ничего не знала. Знала только одно: что любовь завладела ею, заполонила ее, что она отдаст все — волю, независимость, себялюбие, мечты о будущем — и все поглотит это чудовище. И девушка внутренне возмущалась, минутами почти что ненавидела Оливье.

Они дошли до дальнего конца парка — до фруктового сада, отгороженного стеной высоких деревьев. Они медленно шли по дорожкам, окаймленным кустами смородины, с которых свисали грозди красных и янтарных ягод, и грядами клубники, наполнявшими воздух благоуханием. Стоял июнь месяц, но от частых гроз похолодало. День был серенький, ветер гнал по небу клубы тяжелых, низко нависших туч. Мощное дуновение этого далекого ветра не достигало земли: ни один листок не шевелился. Беспредельная грусть окутывала природу и сердца влюбленных. А с другого конца сада, из приотворенных окон невидимого дома долетали звуки фисгармонии — звуки ми-бемоль-минорной фуги Иоганна Себастьяна Баха. Жаклина и Оливье присели рядом на закраину колодца, оба бледные, безмолвные. И Оливье увидел, что по щекам Жаклины катятся слезы.

— Вы плачете? — дрожащими губами прошептал он.

И у него из глаз тоже покатились слезы.

Он взял ее руку. Белокурая головка склонилась ему на плечо. Она больше не пыталась сопротивляться; она была побеждена; и какая в этом была отрада! Они тихонько плакали, слушая музыку под колышущимся балдахином тяжелых туч, которые в своем беззвучном движении чуть не задевали верхушки деревьев. Оба думали о том, что им пришлось выстрадать, а может быть,— кто знает? — и о том, сколько им еще суждено страдать. Бывают мгновения, когда музыка навевает всю скорбь, какая соткана судьбой вокруг целой человеческой жизни...



Немного погодя Жаклина отерла слезы, взглянула на Оливье, и они бросились друг другу в объятья. О, несказанный, трепетный восторг! Блаженство, такое сладостное и глубокое, что оно даже причиняет боль.

Жаклина спросила:

— Ваша сестра была похожа на вас?

Оливье вздрогнул от неожиданности.

— Почему вы заговорили о ней? — сказал он.— Вы были с ней знакомы?

— Мне рассказывал Кристоф... Вы очень горевали?

Оливье молча кивнул: он был слишком взволнован, чтобы говорить.

— У меня тоже было большое горе,— сказала Жаклина.

Она заговорила о своем умершем друге — о тете Марте; едва сдерживая рыдания, рассказала, как плакала по ней, чуть не умерла от горя.

— Вы поможете мне? — молящим голосом закончила она.— Поможете мне жить, стать хорошей и хоть немножко походить на нее? И ее, мою тетю Марту, вы тоже будете любить?

— Мы будем любить их обеих, как они любят друг друга.

— Ах, если бы они были с нами!

— Они с нами.

Оливье и Жаклина сидели, тесно прижавшись друг к другу, сдерживая дыхание, и слышали, как бьются их сердца. Моросил мелкий дождик. Жаклина поежилась.

— Пойдемте домой,— сказала она.

Под деревьями было почти темно. Оливье поцеловал мокрые волосы Жаклины; она подняла голову, и он впервые почувствовал на губах прикосновение любимых губ,— горячих, чуть потрескавшихся полудетских губ. У обоих туманилось сознание.

Не доходя до дома, они опять остановились.

— Как мы были раньше одиноки! — сказал он.

Кристофа он уже забыл.

Потом они все-таки вспомнили о нем. Музыка умолкла. Они вошли в дом. Кристоф сидел, облокотясь о фисгармонию, положив голову на руки, и мысленно тоже перебирал свое прошлое. Услышав, как отворяется дверь, он встрепенулся и обратил к ним свое доброе лицо, озарившееся задумчивой и нежной улыбкой.

По их глазам он прочел, что̀ произошло, пожал им обоим руки и сказал:

— Сядьте и слушайте.

Они сели, а он начал играть, изливая в звуках все, что было у него на сердце, всю свою любовь к ним.

Когда он кончил, все трое долго молчали. Потом Кристоф встал и посмотрел на них. У него был такой ласковый взгляд, он казался настолько взрослее и сильнее их! Жаклина впервые поняла ему цену. Он обнял их обоих и сказал Жаклине:

— Вы ведь будете крепко любить его? Будете крепко любить друг друга, правда?

Чувство глубокой благодарности охватило их. Но Кристоф сразу же заговорил о другом, засмеялся, подошел к окну и выпрыгнул в сад.

Все последующие дни он уговаривал Оливье сделать официальное предложение родителям Жаклины. Оливье не решался, предвидя отказ. Кристоф настаивал также, чтобы он занялся подысканием себе места. Допустим, родители согласятся выдать за него Жаклину, так не может же он принять ее приданое, если сам не будет в состоянии заработать на жизнь? Оливье был с этим согласен, хотя и не разделял до комизма отрицательного отношения Кристофа к женитьбе на богатой. В голове у Кристофа крепко засела мысль, что богатство — смерть для души. Он не прочь был повторить ответ нищего мудреца богатой вертихвостке, которую беспокоило, что̀ ждет ее в загробной жизни:

«Как, сударыня! У вас есть миллион, а вам вдобавок понадобилась еще и бессмертная душа?»

— Остерегайся женщины,— полушутя, полусерьезно говорил он Оливье.— Остерегайся женщины, а тем паче женщины богатой. Не отрицаю, женщина может любить искусство, но она губит художника. Богатая женщина — это отрава для того и для другого. Богатство — это болезнь, и женщина переносит ее еще хуже, чем мужчина. Богач, как правило, существо неполноценное... Ты смеешься? Надо мной смеешься? А как по-твоему? Разве богач знает, что такое жизнь? Разве он соприкасается с суровой действительностью? Разве ему бьет в лицо жестокое дыхание нужды, запах хлеба, добытого своим трудом, и вскопанной своими руками земли? Да он ничего не понимает, не видит ничего и никого... Когда я был совсем маленьким, меня раза два возили на прогулку в придворном экипаже. Коляска катилась среди лугов, где я знал каждую травинку, по любимым моим местам, где я резвился один. Так вот, из коляски я ровно ничего не видел. Все милые сердцу картины природы становились сразу такими же прилизанными и вылощенными, как те олухи, которые сопровождали меня. Не только крахмальные души загораживали от меня зелень лугов. Достаточно было ощущать эти

движущиеся подмостки, поднимавшие меня над природой. Я хочу чувствовать, что земля мне мать, а для этого мне надо упираться ногами в ее чрево, как младенцу, который рождается на божий свет. Богатство разрывает узы, соединяющие человека с землей и связующие между собой всех сынов земли. Как же тут остаться художником? Устами художника говорит земля. Богач не может быть великим художником. Чтобы творить при таких неблагоприятных условиях, ему понадобилось бы во сто крат больше таланта. И если бы ему это даже удалось, он все-таки был бы тепличным растением. Что ни говори о великом Гете, какие-то частицы его души отмерли, богатство убило в нем самые чувствительные нервы. А у тебя-то ведь закваска не гетевская, тебя богатство поглотит окончательно,— тем более богатая жена. Гете хоть этого удалось избежать. Мужчина один еще может противостоять этой напасти. В нем так могуч животный инстинкт, такой запас здоровой, черноземной силы привязывает его к земле, что один он кое-как способен уцелеть. Но женщина беззащитна против этой отравы и губит ею других. Она с наслаждением вдыхает раздушенный смрад богатства и уже не может без него обходиться. Женщина, сохранившая в богатстве здоровую душу,— такое же чудо, как гениальный миллионер... И, кроме того, я не терплю выродков. А человек, который имеет больше, чем ему нужно на жизнь,— выродок. Это злокачественный нарост, высасывающий соки из других людей.

Оливье смеялся.

— Что поделаешь? — говорил он.— Не могу же я разлюбить Жаклину, потому что она богатая, или заставить ее отказаться от богатства из любви ко мне.

— Раз ты не можешь спасти ее, спасай себя. Тем самым ты и ее спасешь. Сохрани нравственную чистоту. Трудись.

Оливье вовсе не требовались советы Кристофа: в вопросах порядочности он был, пожалуй, еще щепетильнее своего друга. Выпадов Кристофа против денег он, разумеется, не принимал всерьез, потому что сам когда-то был богат; он не презирал богатства и находил, что оно очень идет к хорошенькому личику Жаклины. Но ему была нестерпима мысль, что в его любви могут заподозрить хоть намек на корысть. Он подал ходатайство о зачислении в учебное ведомство. Пока что он мог рассчитывать только на скромную должность преподавателя в провинциальном лицее. Такой свадебный подарок не очень-то порадует Жаклину. Оливье робко заговорил с ней об этом. Сперва она не желала признать его доводы — приписывала их болезненному самолюбию, влиянию Кристофа. Ей это все казалось смешным —

разве не естественно, когда любишь, разделять с любимой равно как богатство, так и бедность, и что за мелочное чувство — нежелание принять из рук любимой помощь, хотя ей это только приятно. Тем не менее она одобрила намерение Оливье — оно соблазняло ее именно своей непривлекательной, аскетической стороной: это даст ей возможность удовлетворить свою жажду нравственного подвига. В своем благородном возмущении окружающей средой, которое породила скорбь утраты и подогревала любовь, она дошла до отрицания всего, что в ее натуре противоречило такому жертвенному пылу; напрягая всю свою волю, точно натянутую тетиву, она стремилась к высокому идеалу чистой, трудной жизни, озаренной счастьем... И тяготы и убожество предстоящего существования — все только радовало ее. Как это будет прекрасно!

Госпожа Ланже была слишком занята собою, чтобы обращать внимание на происходящее вокруг; с некоторых пор она занималась исключительно своим здоровьем, тратила все время на лечение мнимых болезней, обращалась к одному врачу, меняла его на другого; каждый в течение двух недель был ее Спасителем с большой буквы; потом наступал черед следующего. Она по целым месяцам жила в дорогих лечебницах и свято выполняла самые пустяковые предписания. А про дочь и мужа даже не вспоминала.

Господин Ланже был более внимателен и что-то уже заподозрил. Отцовская ревность открыла ему глаза. Он любил Жаклину сложной и вместе с тем чистой любовью, которую многие отцы втайне питают к дочерям; в это чувство входит острое и благоговейное любопытство по отношению к существу, в котором видишь себя, свою плоть и кровь, но которое родилось женщиной. В тайниках сердца много таких темных и светлых пятен, но в них предпочтительно не вглядываться. До сих пор г-на Ланже забавляло наблюдать за тем, как его дочурка кружит головы юношам: ему нравилось, что она именно такая — кокетливая, увлекающаяся и в то же время рассудительная (совсем в него). Но, увидев, что дело принимает серьезный оборот, он забил тревогу. Сперва он только подтрунивал над Оливье в присутствии Жаклины, затем критика его стала более язвительной. Однажды Жаклина заметила, смеясь:

— Не говори о нем так дурно, папа; тебе же будет неловко, если я вздумаю выйти за него замуж.

Отец поднял крик, обозвал ее безумицей. Это был лучший способ довести ее до полного безумия. Он заявил, что она не

выйдет за Оливье. Она заявила, что выйдет. Иллюзии рассеялись. Отец понял, что его мнение в счет не идет. В своем отцовском эгоизме он даже мысли подобной не допускал и был глубоко возмущен. Он поклялся, что отныне не пустит на порог ни Оливье, ни Кристофа. Это только озлобило девушку, и в одно прекрасное утро не успел Оливье отворить на звонок дверь, как в комнату вихрем влетела бледная как полотно Жаклина.

— Увезите меня! — заявила она решительно.— Родители не хотят, а я хочу. Вы должны меня скомпрометировать!

Оливье растерялся, расчувствовался и даже не пытался спорить. По счастью, Кристоф был дома. Обычно он не отличался благоразумием. А тут постарался вразумить их, предсказывая, какой поднимется шум и как они оба будут от этого страдать. Сердито кусая губы, Жаклина сказала:

— Ну что ж, тогда мы покончим с собой.

Этот довод не только не отпугнул Оливье, а, наоборот, убедил его. Кристоф с превеликим трудом добился от влюбленных безумцев согласия повременить — прежде чем прибегнуть к таким отчаянным средствам, надо испробовать все остальные: Жаклина должна вернуться домой, а он, Кристоф, сам пойдет к г-ну Ланже и постарается уговорить его.

Странный это был ходатай! Он так начал свою речь, что г-н Ланже чуть сразу же не выставил его вон, но, почувствовав комизм положения, решил дослушать смеха ради. Однако серьезный тон Кристофа, его искренность и убежденность мало-помалу оказали свое действие; г-н Ланже, правда, не хотел сдаваться и время от времени вставлял насмешливые замечания. Но Кристоф все пропускал мимо ушей,— только при самых язвительных колкостях останавливался на миг и внутренне ощетинивался, затем продолжал говорить. Подчеркивая свои слова ударами кулака по столу, он сказал:

— Смею вас уверить, что этот разговор не доставляет мне ни малейшего удовольствия; некоторые ваши замечания мне трудно стерпеть, но я считал своим долгом поговорить с вами. Забудьте обо мне — я тут ни при чем, и взвесьте мои слова.

Господин Ланже слушал; когда речь зашла о намерении покончить с собой, он пожал плечами и деланно расхохотался, но видно было, что его это встревожило: он был слишком умен, чтобы не принять всерьез подобную угрозу,— он знал, что надо помнить о неуравновешенности влюбленных девушек. Когда-то одна из его любовниц, избалованная хохотушка, которую он не считал способной на подобный шаг, у него на глазах выстрелила в себя из револьвера, но умерла не сразу; он, как сейчас, во всех

подробностях видел эту страшную сцену. Да, от таких сумасбродных девчонок можно ждать чего угодно. У него сжалось сердце... «Ей так хочется? Хорошо, пусть так и будет. Сама пожалеет, дурочка!» Конечно, он мог бы пуститься на хитрость, на словах дать согласие, выиграть время и постепенно отвлечь Жаклину от Оливье. Но это стоило бы усилий, которые он не хотел или не мог тратить; кроме того, он был человек слабый и, однажды решительно сказав Жаклине «нет», очень не прочь был поправить свою резкость и сказать «да». В конце концов, можно ли все предугадать? Пожалуй, девчонка права. Самое главное — любить друг друга. Г-н Ланже знал, что Оливье — юноша серьезный, не лишенный дарований. И он дал согласие на брак.

Накануне свадьбы Оливье и Кристоф не ложились до поздней ночи. Им не хотелось потерять ни одной минуты уходившего от них дорогого прошлого. Но оно уже стало прошлым. Такими бывают грустные прощания на вокзальной платформе, когда бесконечно тянутся последние минуты, оставшиеся до отхода поезда: провожающие стоят, смотрят, говорят, но душа молчит, друг уже не здесь. Кристоф попытался разговаривать и оборвал беседу на полуслове; заметив рассеянный взгляд Оливье, он сказал с улыбкой:

— Как ты уже далеко!

Оливье смущенно оправдывался. Ему самому было грустно, что он не может сосредоточиться на этих последних мгновениях, когда они еще вместе. Но Кристоф пожал ему руку и сказал:

— Ничего! Не насилуй себя. Я очень рад. Мечтай, мой мальчик.

Они стояли рядом у окна и, облокотясь на подоконник, смотрели в темноту сада. После долгого молчания Кристоф обратился к Оливье:

— Ты убегаешь от меня? И рассчитываешь, что тебе удастся улизнуть? Ты думаешь о своей Жаклине. Погоди, я тебя поймаю. Я тоже думаю о ней.

— Друг ты мой,— сказал Оливье,— а я-то ведь о тебе думал, даже...

Он запнулся.

— Даже несмотря на то, что мне это было очень трудно,— смеясь, докончил за него Кристоф.

Кристоф прихорошился и даже прифрантился к свадьбе.

Ни безразличный к религии Оливье, ни восставшая против нее Жаклина не пожелали венчаться в церкви.

Кристоф написал симфоническую пьесу для исполнения в мэрии, но отказался от этого замысла, когда представил себе церемонию гражданского брака, казавшуюся ему такой нелепой. Чтобы иначе относиться к такого рода обряду, надо быть полностью лишенным и веры, и внутренней свободы. Если уж истинный католик идет на такое вольнодумство, то никак не затем, чтобы чиновник подменил для него священнослужителя. Между богом и свободой совести нет места ни для какой государственной религии. Государство регистрирует, но соединять не его дело.

Присутствуя на свадьбе Оливье и Жаклины, Кристоф не пожалел о своем решении. Оливье слушал с рассеянным, немного насмешливым видом. Мэр расточал низкопробную лесть молодым, богатой родне, сановным свидетелям. Жаклина не слушала вовсе: она украдкой показывала язык Симоне Адан, с которой поспорила, что «ни капельки не будет волноваться во время свадьбы», и теперь явно выигрывала пари. Она не вдумывалась в происходящее — ее только забавляло, что она выходит замуж. Остальные позировали для публики; а публика смотрела во все глаза. Г-н Ланже чувствовал себя в своей стихии; несмотря на искреннюю любовь к дочери, его больше всего интересовало, кто из знакомых приехал и не забыл ли он кого-нибудь пригласить. Один Кристоф был растроган за всех: за родителей, за новобрачных, за мэра; он не сводил глаз с Оливье, а тот даже не оглянулся.

Вечером молодые уехали в Италию, Кристоф и отец Жаклины провожали их на вокзал и видели, что они довольны, ни о чем не жалеют и не скрывают, как им не терпится поскорее уехать. Оливье казался подростком, а Жаклина совсем девочкой. Сколько трогательной и милой грусти в таких проводах! Отцу немножко горько, что его дочурку увозит чужой мужчина, муж! Увозит навсегда. А те оба упоены ощущением свободы. Перед ними больше нет преград, ничто их не держит,— кажется, что они достигли вершины: теперь, когда владеешь всем, не страшно умереть, ничего не страшно... Позднее убеждаешься, что это лишь один из этапов: дорога идет дальше, все в гору, и мало кто доходит до следующего этапа...

Поезд умчал их в темноту. Кристоф и г-н Ланже возвращались вместе. Кристоф сказал с лукавым простодушием:

— Овдовели мы с вами!

Господин Ланже засмеялся. Они распрощались, и каждый отправился к себе домой. Обоим было грустно. Но к грусти примешивалось умиление. Сидя один у себя в комнате, Кристоф думал:

«Лучшая часть моего «я» счастлива».

В спальне Оливье все было по-прежнему. Друзья решили, что, пока Оливье не вернется и не устроится на новой квартире, его обстановка и все дорогие ему вещи останутся у Кристофа. Казалось, и сам он еще здесь. Кристоф посмотрел на карточку Антуанетты, поставил ее перед собой на стол и спросил:

— Ты довольна, дорогая?

Он писал Оливье часто,— пожалуй, слишком часто. А в ответ получал редкие письма, небрежные и все более не похожие на прежнего Оливье. Кристоф был разочарован. Но убеждал себя, что иначе быть не могло, и не сомневался, что дружба их останется неизменной.

Одиночество не тяготило его. Даже наоборот: он бы предпочел еще меньше общаться с людьми. Опека «Гран журналь» стала действовать на него раздражающе. Арсен Гамаш имел поползновение считать себя собственником открытых им гениев: ему казалось вполне закономерным приобщать их славу к своей, подобно Людовику XIV, который собрал вокруг своего престола Мольера, Лебрена и Люлли. Кристоф находил, что его покровитель из «Гран журналь» обладает не менее самодержавными замашками и является не меньшей помехой искусству, чем автор «Гимна Эгиру», ибо журналист, будучи столь же невежественным, как император, столь же безапелляционно судил об искусстве — все не угодное ему просто не имело права на существование, объявлялось плохим, вредным и истреблялось в интересах общества. Смешное и страшное зрелище, когда дельцы, даже не понюхавшие культуры, берутся руководить не только политикой и финансами, но и духовной жизнью, предлагают художнику собачью конуру, ошейник и кормушку, а в случае отказа могут натравить на него сотни болванов из числа своей угодливой своры! Но Кристоф не принадлежал к тем, кто поддается дрессировке. Он не мог допустить, чтобы какой-то хам указывал ему, что должно и чего не должно делать в музыке, и недвусмысленно дал понять, что искусство требует более основательной подготовки, чем политика. Точно так же он без церемоний отказался положить на музыку бездарное либретто, которое, с благословения хозяина, попытался всучить ему один из главных приспешников газеты. Это положило начало его размолвке с Гамашем.

Кристоф отнюдь не огорчился. Едва выйдя из безвестности, он жаждал вернуться в прежнее состояние. «Будучи на виду,

человек теряет себя и растворяется в других». Слишком многим было до него дело. Ему вспомнились слова Гете:

«После того как писатель обратил на себя внимание произведением незаурядным, публика всеми способами мешает ему написать второе такое же... Таланту не дают углубиться в себя, вовлекают его в мирскую суету, потому что каждый рассчитывает урвать себе частицу».

Он замкнулся от внешнего мира и вновь сблизился кой с кем из старых друзей. Он побывал у Арно, которых почти забыл последнее время. Г-жа Арно полдня проводила одна, и у нее было время вникать в чужие горести. Она поняла, какую пустоту ощутил Кристоф после отъезда Оливье, и, поборов свою застенчивость, пригласила его обедать. Если бы у нее хватило духу, она даже предложила бы ему присмотреть за его хозяйством; но на это она не отважилась и хорошо сделала — Кристоф не любил, чтобы его опекали. Однако от обеда он не отказался и мало-помалу привык проводить вечера у Арно.

Чета Арно жила все так же дружно, но к прежней атмосфере немного грустной, почти болезненной взаимной привязанности прибавилось что-то будничное, серое. Сам Арно переживал полосу угнетения, которую приписывал усталости от преподавательского труда — труда изматывающего, сегодня такого же, как вчера, точно колесо, когда оно вертится на месте, не останавливаясь ни на миг и не двигаясь вперед. При всем своем терпении бедняга Арно дошел чуть не до отчаяния. Ему претили явные несправедливости, а собственное самопожертвование казалось бесцельным. Г-жа Арно ободряла его ласковым словом; с виду она была так же уравновешенна, как прежде, хотя заметно поблекла. Кристоф в ее присутствии внушал ее мужу, какое счастье иметь такую рассудительную жену.

— Да, она у меня умница, ее трудно вывести из себя,— отвечал Арно.— Это и ее и мое счастье. Если бы она тяготилась нашей жизнью, я бы, пожалуй, не выдержал.

Госпожа Арно краснела и молчала. Потом своим обычным ровным голосом начинала говорить о чем-нибудь постороннем. Посещения Кристофа, как всегда, были благотворны. Они несли с собой свет. А его, в свою очередь, согревало общество этих сердечных людей.

У него появился еще один друг — женщина. Вернее, он сам отыскал ее, потому что она хоть и мечтала познакомиться с ним, однако ни за что не сделала бы первого шага. Это была девушка

лет двадцати пяти с небольшим, музыкантша, с отличием окончившая консерваторию по классу фортепиано; звали ее Сесиль Флёри. Она не могла похвастать ни высоким ростом, ни стройностью. У нее были густые брови, большие, красивые, подернутые влагой глаза, толстоватый и красноватый, вздернутый на конце, утиный носик, толстые мягкие и добродушные губы, тяжелый, упрямый подбородок и довольно низкий широкий лоб; волосы были стянуты на затылке пышным узлом. Руки у нее были крепкие, а кисть, как полагается пианисту, крупная, с отставленным большим пальцем и подушечками на концах. Весь ее облик оставлял впечатление грубоватой силы и крестьянского здоровья. Она жила с матерью, которую обожала; старушка нимало не интересовалась музыкой, но, слыша бесконечные разговоры на эту тему, тоже стала говорить о музыке и знала все, что творится в музыкальном мире. У Сесиль была несладкая жизнь. Целые дни она бегала по урокам, изредка давала концерты, которые пишущая братия обходила полным молчанием. Возвращалась она поздно, пешком или в омнибусе, до смерти усталая, но жизнерадостная; не унывая долбила гаммы, сама мастерила себе шляпки, любила поговорить, посмеяться и часто пела для собственного удовольствия.

Жизнь не избаловала ее, и она умела ценить немудреные развлечения и скромное благополучие, достигнутое собственным трудом, умела радоваться малейшему, едва заметному успеху на своем поприще или в своем творчестве. Да, если в этом месяце ей удалось заработать на пять франков больше, чем в предыдущем, или наконец-то получилась та шопеновская фраза, над которой она билась несколько недель, она была вполне довольна. К своей работе, отнюдь не чрезмерной, вполне соответствующей ее возможностям, она относилась как к полезному физическому упражнению. Игра, пение, уроки давали ей приятное ощущение правильной, размеренной затраты энергии, обеспечивая в то же время средний достаток и скромный успех. Она отличалась прекрасным аппетитом, хорошо ела, хорошо спала и никогда не хворала.

Обладая трезвым, рассудительным, непритязательным и вполне уравновешенным умом, она ничем не терзалась, жила настоящей минутой, не допекала себя тем, что было, и тем, что будет. А так как она была наделена крепким здоровьем и, по-видимому, ограждена от неожиданных ударов судьбы, то и чувствовала себя почти всегда счастливой. Ей нравилось упражняться на фортепиано — так же как нравилось хозяйничать, разговаривать о домашних делах или просто бездельничать. Нельзя

сказать, чтобы она не думала о завтрашнем дне, она была расчетлива и предусмотрительна, но она умела жить каждой данной минутой. Ее не волновали высокие идеалы; единственное ее стремление — идеалом его никак не назовешь — довольно мещанское и мирное, незаметно направляло все ее поступки, все мысли; а суть его заключалась в том, чтобы спокойной любовью любить каждое свое дело, все, что ни делаешь. По воскресеньям она ходила в церковь. Но религия почти не занимала места в ее жизни. Она восхищалась натурами увлекающимися, вроде Кристофа, фанатиками или гениями, но не завидовала им: как бы она могла вместить их страстное волнение, их талант?

Каким же образом она понимала их музыку? Она и сама затруднилась бы это объяснить, но твердо знала, что понимает. Несокрушимое физическое и духовное равновесие давало ей преимущество перед другими исполнителями. Избыток жизни, когда собственные страсти молчат,— превосходная почва, где пышным цветом распускаются чужие страсти. Эти грозные страсти, терзавшие своего творца, не потрясали ее: она передавала всю их мощь, не испытывая на себе действия их отравы, и ощущала только подъем сил, а потом приятную усталость. Окончив игру, она вставала — вся потная, разбитая,— спокойно улыбалась и была довольна.

Кристоф услышал однажды вечером, как она играет, и поразился, а по окончании концерта поспешил пожать ей руку. Ее тронуло его внимание — зал был не очень полон, да и вообще она не успела пресытиться похвалами. В свое время у нее не хватило пронырливости, чтобы примкнуть к определенной музыкальной клике, не хватило ловкости, чтобы окружить себя почитателями, она не старалась щеголять техникой, не оригинальничала в трактовке классических произведений, не присваивала себе право собственности на того или другого великого композитора — на Иоганна Себастьяна Баха или Бетховена, не подводила никаких теорий под свое исполнение, а попросту играла так, как чувствовала, и потому на нее не обращали внимания и критики не знали ее,— ведь никто не сказал им, что она играет хорошо, сами же они никогда бы до этого не додумались.

Кристоф стал часто встречаться с Сесиль. В этой здоровой и спокойной девушке его привлекало как загадка сочетание силы с вялостью. Кристоф не мог примириться с тем, что ее так плохо знают, и сказал, что попросит своих приятелей из «Гран журналь» написать о ней. Хотя Сесиль и была не прочь, чтобы ее похвалили, она уговорила Кристофа не хлопотать. Ей не хотелось бороться, затрачивать усилия, возбуждать зависть: важ-

нее всего жить спокойно. О ней не пишут — тем лучше! Сама она была чужда зависти и первая восхищалась мастерством других исполнителей. Она не знала честолюбивых желаний. Для этого у нее было слишком ленивое воображение. Она либо занималась каким-нибудь определенным делом, либо не делала ровно ничего,— даже не мечтала и ночью в постели, когда не спала, не думала ни о чем. У нее не было болезненной жажды непременно выйти замуж — жажды, отравляющей жизнь многим девушкам, которые дрожат, как бы не остаться в старых девах. Когда ее спрашивали, разве ей не хочется найти хорошего мужа, она отвечала:

— Только и всего? А почему не пятьдесят тысяч годового дохода? Надо довольствоваться тем, что имеешь. Встретится подходящий — тем лучше! А нет — обойдемся и без него. Когда не дают пирога, можно и в хорошем хлебе находить вкус. Особенно после того, как долго пришлось сидеть на черством!

— А мало ли людей, у которых и хлеб-то не каждый день бывает,— вторила ей старушка мать.

У Сесиль были основания критически относиться к мужчинам. Отец ее, умерший несколько лет назад, был человек слабый и нерадивый, причинивший много зла жене и детям. Брат сбился с пути; никто толком не знал, что он делает; изредка он появлялся и требовал денег; его боялись и стыдились, каждый миг ждали самой страшной вести о нем и все-таки его любили. Однажды с ним столкнулся Кристоф. Он был в гостях у Сесиль; на парадном позвонили; мать пошла отворить. В соседней комнате начался громкий разговор, минутами переходивший в крик. Сесиль было явно не по себе; наконец она не вытерпела, тоже вышла и оставила Кристофа одного. Спор не утихал, в незнакомом голосе зазвучали угрожающие нотки. Кристоф счел своим долгом вмешаться: он открыл дверь и едва успел разглядеть еще молодого, немного сутулого мужчину, стоявшего к нему спиной; но тут Сесиль бросилась к Кристофу, умоляя его не входить, и сама ушла вместе с ним. Они снова сели и долго молчали. В комнате рядом посетитель еще покричал немного, потом ушел, хлопнув дверью. Тогда Сесиль вздохнула и сказала Кристофу:

— Да... это мой брат.

Кристофу все стало ясно.

— Вот что! — сказал он.— Понимаю... У меня тоже есть такой...

Сесиль с нежным сочувствием взяла его руку:

— Такой? У вас тоже?

— Да,— ответил он.— У каждого свои семейные радости.

Сесиль засмеялась, и они переменили тему разговора. Нет, семейные радости отнюдь не привлекали ее, и в замужестве она видела мало заманчивого: мужчины недорого стоят. В независимой жизни, на ее взгляд, было куда больше преимуществ: ее мать ведь долгие годы вздыхала об утраченной свободе! Зачем же добровольно терять эту свободу? Единственно, о чем Сесиль грезила наяву,— это когда-нибудь впоследствии — бог знает когда! — поселиться в деревне. Но она даже не старалась представить себе во всех подробностях эту жизнь: утомительно думать о таких туманных перспективах; лучше спать или заниматься своим делом...

Не довольствуясь воздушными замками, она пока что снимала на лето дачку в окрестностях Парижа; там они жили вдвоем с матерью. Езды туда было двадцать минут поездом, но стояла дача уединенно, довольно далеко от станции, посреди пустырей, которые именовались полями; а Сесиль часто возвращалась из города поздно вечером. Однако ей не было страшно: она не верила в опасность. Правда, у нее был револьвер, который она постоянно забывала дома. Да и вряд ли она умела им пользоваться.

Когда Кристоф бывал у Сесиль, он обязательно усаживал ее за рояль. Он любил слушать, как она передает музыкальное произведение, особенно если он сам подсказывал ей интерпретацию. Случайно он обнаружил, что у нее великолепный голос,— до этого она никогда не занималась пением. Кристоф требовал, чтобы она упражнялась, заставлял ее петь старинные немецкие песни или свои собственные вещи; она увлеклась пением и делала успехи, поражавшие ее так же, как Кристофа. Она была необычайно талантлива. Судьба каким-то чудом заронила искру музыкального дарования в эту девушку, дочь мелких парижских буржуа, полностью лишенных артистического чутья. Филомела, как прозвал ее Кристоф, иногда говорила с ним о музыке, но исключительно в практическом плане, без всяких сантиментов: казалось, ее интересует только техника пения и фортепианной игры. Чаще всего, когда они бывали вместе и не занимались музыкой, они разговаривали на самые обыденные темы: о хозяйстве, о кухне, о домашних делах. Кристоф не вытерпел бы и минуты такого разговора с буржуазной дамой, а с Филомелой вел его как ни в чем не бывало.

Так они проводили вдвоем целые вечера, искренне любя друг друга самой спокойной и, пожалуй, самой холодной любовью. Как-то раз, когда он пришел обедать и поздно засиделся

у них, разразилась жестокая гроза. Несмотря на ливень и ветер, Кристоф все-таки собрался уходить, надеясь попасть на последний поезд. И тут Сесиль сказала ему:

— Куда же вы пойдете? Уедете завтра утром.

Ему постелили в крохотной гостиной; тоненькая перегородка отделяла его от спальни Сесиль; двери не запирались. Лежа в кровати, он слышал, как скрипит ее кровать, слышал ровное дыхание молодой женщины. Через пять минут она уже спала; он не замедлил последовать ее примеру, и даже тень волнения ни на миг не коснулась их.

Одновременно у него стали появляться новые, неизвестные друзья, которых привлекало его творчество. Они жили по большей части либо вне Парижа, либо очень уединенно, и вряд ли им суждено было когда-либо встретиться с Кристофом. Даже самый вульгарный успех имеет свою положительную сторону: художника узнают тысячи хороших людей, и пусть этому способствуют дурацкие газетные статьи, но без них он остался бы навсегда неизвестен. С некоторыми из своих далеких почитателей Кристоф завязал дружеские отношения. Это были одинокие молодые люди, которые вели трудную жизнь, всем существом стремились к какому-то не вполне ясному идеалу, и знакомство с Кристофом и его творчеством утоляло их жажду братской дружбы. Это были скромные провинциалы, которые, услышав его Lieder, писали ему, как некогда старик Шульц, и чувствовали свою глубокую внутреннюю связь с ним. Это были неудачливые музыканты — среди прочих один композитор,— которые не только не могли добиться успеха, но не умели даже воплотить свои мысли в образы и были теперь счастливы, что это сделал за них Кристоф; однако дороже всех ему были, пожалуй, те, что писали, не называя себя, а потому не стеснялись говорить откровенно, и бесхитростно изливали свои чувства, как перед старшим братом, подающим им руку помощи. Кристоф с грустью думал, что никогда не узнает этих чудесных людей, которых ему было бы так радостно полюбить; и, случалось, он целовал какое-нибудь безыменное послание, как тот, кто писал его, целовал страницы Lieder Кристофа; и каждый думал в свой черед: «Милые строчки, сколько радости вы мне дарите!»

Так, согласно непреложному ритму, управляющему вселенной, вокруг Кристофа, как вокруг всякого гения, собиралась тесная семья, которая, питаясь его творчеством, в свою оче-

редь, дает пищу ему и, мало-помалу разрастаясь, образует единую собирательную душу, светоносный мирок, где средоточием является он,— некую духовную планету, совершающую свой путь в пространстве и слитным хором вторящую гармонии сфер.

По мере того как между Кристофом и его невидимыми друзьями завязывались таинственные узы, в его творческом сознании совершался переворот: оно раздвигало свои пределы, становилось общечеловеческим. Кристофа уже не удовлетворяла музыка как монолог, как разговор с самим собой, а тем паче как хитроумный фокус для узкого круга профессионалов. Ему хотелось, чтобы его музыка была средством общения с другими людьми. Обособленное искусство не может быть жизненным. В горчайшие часы одиночества Иоганна Себастьяна Баха связывала с другими людьми вера, и ее он выражал в своем искусстве. Гендель и Моцарт, в силу обстоятельств, писали для публики, а не для самих себя. Даже Бетховену приходилось считаться с толпой. И это благотворно. Нужно, чтобы человечество время от времени напоминало гению:

«Что в твоем искусстве предназначено для меня? Ничего? Так ступай прочь!»

Это принуждение прежде всего полезно самому гению. Разумеется, есть великие художники, выражающие только себя. Но истинно велики те, чье сердце бьется для всех. Кто хочет узреть бога живого лицом к лицу, должен искать его не в пустынных высотах своей мысли, а в любви человеческой.

Современным художникам была чужда эта любовь. Они творили для самовлюбленной нигилистической верхушки, оторванной от общественной жизни, вменявшей себе в заслугу то, что она не разделяет устремлений остального человечества или же превращает их в игрушку. Велика заслуга — выключить себя из жизни, лишь бы не походить на других! Такие пусть и умирают! А мы, мы идем в ногу с живыми, мы пьем от сосцов земли, мы вскормлены самым заветным, самым священным для рода человеческого — любовью к семье и к родной почве. В эпоху наибольшей свободы юный властелин итальянского Возрождения Рафаэль прославлял материнство своими транстеверинскими мадоннами. А кто теперь создаст нам в музыке «Мадонну в креслах»? Кто создаст музыку на каждый час жизни? У вас во Франции нет ничего, ровно ничего. Когда вы хотите дать своему народу песни, вам остается только присваивать музыку немецких композиторов прошлого. Французским художникам надо начинать сначала или все переделывать сверху донизу...

Кристоф переписывался с Оливье, который обосновался теперь в одном из провинциальных городков. С помощью писем он старался вновь наладить то содружество, которое было так плодотворно, пока они жили вместе. Он надеялся, что Оливье создаст для него поэтические песенные тексты, созвучные повседневным мыслям и делам, наподобие старинных немецких Lieder, в основу которых были бы положены отрывки из Священного писания, из индусских поэм, коротенькие религиозные или нравоучительные стихотворения, картинки природы, строфы, выражающие чувство любви и чувство привязанности к семье, поэзию утра, вечера и ночи, доступную простым и здоровым сердцам. Для песни довольно четырех или шести строк, выраженных просто, без витиеватых ходов и сложных гармоний. К чему мне ваши эстетские ухищрения? Полюбите мою жизнь, помогите мне полюбить и прожить ее. Напишите для меня «Часы Франции», «Большие и малые часы». А потом вместе поищем для них самое ясное музыкальное выражение. Как чумы будем избегать того условного кастового жаргона, каким в наши дни говорят многие французские композиторы. Надо иметь мужество говорить языком человеческим, а не артистическим. Оглянись на наших отцов. Их возвращению к общенародному музыкальному языку обязаны мы искусством классиков конца XVIII века. У Глюка, у зачинателей симфонии и современных им творцов песни мелодическая фраза порой по-обыденному примитивна по сравнению с искусной и утонченной мелодией Иоганна Себастьяна Баха и Рамо. Своим обаянием и популярностью в народе великие классики обязаны тем, что они корнями своими уходят глубоко в родную почву. Они отталкивались от простейших музыкальных форм, от Lied, от Singspiel;[1] ароматом этих скромных цветочков повседневной жизни пронизаны ранние годы Моцарта и Вебера. Следуйте их примеру. Сочиняйте песни для всех. А на их основе воздвигайте уж потом квартеты и симфонии. Зачем сразу устремляться ввысь? Пирамиду не строят с вершины. Ваши современные симфонии — это мозг без тела. Обретите плоть, отвлеченные умы! Нужны целые поколения музыкантов-тружеников, которые по-братски слились бы со своим народом. Музыкальное искусство не создается в один день.

Кристоф не только руководствовался этими взглядами в музыке; он убеждал Оливье внести их в литературу.

— Современные писатели,— говорил он,— стараются изо-

[1] Пьесы с музыкальным сопровождением *(нем.)*.

бражать редкостные человеческие экземпляры или случаи, типичные для категории выродков, стоящих вне пределов великого сообщества здоровых и деятельных людей. Но раз они добровольно выбросили себя из жизни, порви с ними и ступай к людям, к обычным людям, изображай обычную жизнь: она глубже и беспредельнее моря. Самый ничтожный из нас носит в себе бесконечность. Бесконечность заключена в каждом человеке, который не боится быть просто человеком,— в любовнике, в друге, в женщине, что муками платит за гордость и счастье материнства, в том, кто жертвует собой и о чьей жертве никто никогда не узнает. Это и есть могучий поток жизни, который течет от одного к другому, от того к этому. Пиши о простой жизни простого человека, напиши безбурную повесть сменяющих друг друга дней и ночей — таких одинаковых и таких разных, с первого дня создания мира рожденных одной матерью. Пиши ее просто. Не старайся щеголять вычурным слогом, на что расстрачивают себя современные художники. Ты обращаешься ко всем. Говори же, как все. Нет слов благородных или грубых, а есть люди, которые точно или не точно выражают то, что им нужно выразить. Целиком отдавайся всему, что ты делаешь: думай то, что думаешь, и чувствуй то, что чувствуешь. Пусть ритм твоего сердца согревает твои писания. Стиль — это душа.

Оливье соглашался с Кристофом, но при этом подпускал легкую насмешку:

— Конечно, такое произведение прекрасно; только оно вряд ли дойдет до тех, кому предназначено: критика удушит его на полпути.

— Узнаю моего милого французского буржуа,— отвечал Кристоф.— Главная его забота: что подумает о его книге критика! Критики, дружок, занимаются только тем, что констатируют победу или поражение. Сумей быть победителем. Я-то ведь обошелся без них! Научись обходиться и ты...

Но Оливье уже научился обходиться и без многого другого. Без искусства, без Кристофа, без всего на свете. Сейчас он думал только о Жаклине, и Жаклина думала только о нем.

Эгоизм любви создавал вокруг них пустоту, неосмотрительно сжигая все свои запасы и ничего не оставляя на будущее.

Опьянение первой поры, когда у двух любящих, слитых воедино, мысль одна — раствориться друг в друге. Они соприка-

саются, они ощущают друг друга каждой частицей тела и души, они пытаются проникнуться друг другом. Они вдвоем — целая вселенная, не подвластный никаким законам любовный хаос, где перемешанные между собой стихии еще не осознали, в чем их различие, и жадно стремятся поглотить друг друга. Все восхищает любящего в любимом, ведь любимый — это тоже я сам. На что им весь мир? Как у мифического андрогина, убаюканного грезой о гармонии сладострастия, их глаза тоже закрыты для мира, ибо мир в них...

Дни и ночи, как переплетение все тех же грез; часы, что проносятся, точно пушистые белые облака, оставляя лишь лучистый след перед ослепленным взором; мягкое дуновение, обволакивающее весенней истомой; солнечное тепло двух тел; пронизанный светом цветущий приют любви; целомудренное бесстыдство, неистовство, объятия, вздохи, радостный смех, слезы радости — что сохраняется от вас, пылинки счастья? Сердце с трудом припоминает вас: ведь когда были вы, время не существовало.

Один день похож на другой... Мирная заря... Тела вместе вынырнули из бездны сна; глаза раскрылись одновременно и посмотрели друг на друга; улыбающиеся губы, смешав свое дыхание, слились в поцелуе... Юная свежесть утренних часов, девственно чистый воздух умеряют жар разгоряченных тел... Сладостная лень нескончаемых дней, в которых звенит отголосок ночного сладострастия... Летние сумерки, мечтания вдвоем среди лугов, на бархатных полянках, под шелест высоких серебристых тополей... Мечтательное возвращение рука об руку прекрасным летним вечером, под сияющим небом, к ложу любви. Ветер шуршит ветками кустарника. На ясной глади небес колышется белый пушок от серебряной луны. Вот упала и угасла звезда, и сердце дрогнуло — беззвучно умер целый мир. По дороге мимо них мелькают редкие тени, торопливые и безмолвные. В городе звонят колокола, возвещая завтрашний праздник. Влюбленные остановились на мгновение; она прижалась к нему; они стоят, не произнося ни слова... Ах, если бы жизнь могла остановиться, как это мгновение! Жаклина говорит, вздохнув:

— Почему я так тебя люблю?

После нескольких недель путешествия по Италии они обосновались в одном из городов на западе Франции, куда Оливье был назначен преподавателем. Они почти ни с кем не встречались, ничто их не занимало. Во время обязательных визитов это

их непозволительное равнодушие проявлялось так наглядно, что у одних оно вызывало обиду, у других улыбку. Слова скользили мимо, не задевая их. Присущим молодоженам высокомерно строгим видом они как бы говорили:

«Ничего вы все не понимаете...»

На миловидном личике Жаклины, задумчивом и немного сердитом, в счастливом и рассеянном взгляде Оливье можно было прочесть:

«До чего же вы нам надоели! Когда мы наконец будем одни?»

Впрочем, они не стеснялись в обществе и вели себя так, будто они одни. Посторонние ловили их взгляды, которые переговаривались между собой о чем-то, не имевшем никакого отношения к общей беседе. Они видели друг друга, даже не глядя, и улыбались, зная, что думают об одном и том же. Избавившись от светских обязательств и очутившись вдвоем, они радостно визжали и резвились, как малые дети. Казалось, им лет по восьми.

В разговоре они дурачились. Давали друг другу забавные прозвища. Она называла его Олив, Оливэ, Олифан, Фанни, Мами, Мим, Мино, Кауниц, Козима, Кобур, Пано, Нако, Понетт, Накэ и Кано. Она играла в маленькую девочку, но в то же время хотела быть для него всем: матерью, сестрой, женой, возлюбленной, любовницей.

Она делила с ним не только радости, а, как и собиралась, делила также его труды: это тоже была игра. На первых порах она взялась за дело с жаром. Для нее — женщины, привыкшей к праздности,— работа была в новинку; казалось, ей нравился самый неблагодарный труд: выписка цитат в библиотеках, перевод скучнейших книг — все это входило в ее планы очень честной, серьезной жизни, всецело посвященной благородным идеалам и совместной работе. Все шло отлично, пока обоих озаряла любовь, потому что Жаклина думала об Оливье, а не о том, что ей приходится делать. И удивительно: что бы она в ту пору ни делала, было сделано хорошо. Она свободно разбиралась в самых отвлеченных сочинениях, которые были бы ей не под силу в другое время,— любовь как бы возносила ее над землей; сама она этого не замечала; точно сомнамбула, которая блуждает по крышам, она безмятежно, ни на что не оглядываясь, преследовала свою заветную и радостную мечту...

Но вот постепенно она стала замечать крыши; это ее не смутило; она только с удивлением подумала: «Что я делаю тут, наверху?» — и спустилась на землю. Работа казалась ей теперь

скучной. Она убеждала себя, что работа — помеха для любви. Должно быть, сама любовь уже ослабела. Но это ни в чем не проявлялось. Наоборот, они теперь минуты не могли прожить друг без друга. Они отгородились от мира, заперлись от всех и нигде больше не бывали. Они ревновали друг друга к знакам внимания со стороны чужих, ревновали даже к собственным занятиям, ревновали ко всему, что отвлекало их от взаимной любви. Переписка с Кристофом становилась все реже. Жаклина его не любила: он был для нее соперником, он олицетворял целую полосу в прошлом Оливье, когда еще не было Жаклины, и чем больше места в жизни Оливье занимал Кристоф, тем решительнее — хоть и бессознательно — старалась она отвоевать у него это место. Без особого расчета она исподволь отдаляла Оливье от друга, высмеивая повадки Кристофа, его наружность, его письма, его творческие замыслы; делала она это без злобы, без всякой хитрости,— советницей ей служила добрая мать-природа. Оливье забавляли ее замечания; он не видел в них ничего дурного; ему казалось, что он по-прежнему любит Кристофа; но любил он уже просто хорошего человека, а для дружбы этого недостаточно; он не замечал, что мало-помалу перестает понимать Кристофа, утрачивает интерес к его идеям, к тому героическому идеализму, который объединял их... Для молодого сердца обаяние любви так сильно, что рядом с ней не устоит никакая вера. Тело любимой, ее душа, которой любуешься как цветком этой благословенной плоти, заменяют все науки, все верования. И теперь уже с улыбкой сожаления смотришь на то, перед чем преклоняются другие и перед чем сам преклонялся когда-то,— изо всей могучей, полнокровной жизни с ее суровой борьбой видишь только цветок, живущий один лишь день, и считаешь его бессмертным... Любовь поглотила Оливье. Вначале его еще хватало на то, чтобы выражать свое счастье в изящных стихах; а потом и это показалось ему лишним — к чему похищать время у любви? Жаклина тоже, как и он, не желала видеть иного смысла в жизни, подтачивала самое дерево жизни, тот ствол, вокруг которого плющом обвивается любовь и без которого любовь погибает. Так оба они в своем счастье отрекались от самих себя.

Увы! К счастью привыкаешь слишком быстро! Когда в жизни нет иной цели, кроме себялюбивого счастья, жизнь вскоре становится бесцельной. Счастье входит в привычку, как наркотик, без него уже нельзя обойтись! А обходиться надо! Счастье —

**«Жан-Кристоф». Книга восьмая.**

это лишь одно из биений вселенского ритма, один из полюсов, между которыми качается маятник жизни,— остановить маятник можно, только сломав его.

Они познали «ту скуку блаженства, которая доводит до сумасбродства». Блаженные часы текли теперь медленнее, томительнее, блекли, как цветок без воды. Небо было по-прежнему безоблачно; но уже не чувствовалось утренней свежести. Все замерло; природа молчала. Они были одни, как им хотелось. Откуда же эта тяжесть на сердце?

Какое-то смутное ощущение пустоты, беспредметная тоска, не лишенная прелести, с недавних пор тревожила их. Они становились болезненно впечатлительными. В настороженной тишине нервы были напряжены и, точно листья, трепетали от каждого неожиданного толчка. Жаклина то и дело плакала без всякого повода, и хотя уговаривала себя, что плачет от любви, это не всегда было верно. После двух-трех лет беспокойных мечтаний, предшествовавших браку, всем порывам внезапно пришел конец; мечты осуществились даже свыше всяких чаяний, впредь делать было нечего, да и то, что она делала прежде, тоже, пожалуй, было ни к чему, и теперь внезапная пауза порождала внутреннее смятение, которое казалось ей необъяснимым и тем более удручающим. Она не признавалась себе самой в своем состоянии, приписывала его нервной усталости, силилась над ним смеяться; но смех ее был не менее тревожен, чем слезы. Тогда она решила быть мужественной и опять взялась за работу. Однако после первых же попыток ей стало непонятно, как ее могли заинтересовать такие бессмысленные занятия, и она с гадливостью отбросила их. Она попробовала было возобновить светские знакомства, но так же безуспешно: привычка успела пустить корни, отучить ее от тех пустых встреч и разговоров, которые в «свете» считаются обязательными; Жаклине они показались теперь нелепыми, и она вернулась к прежнему одиночеству вдвоем, сделав из своих неудачных попыток вывод, что в жизни по-настоящему хороша только любовь. Некоторое время она и правда как будто была влюблена сильнее, чем когда-либо; на самом же деле ей только хотелось, чтобы это было так.

Оливье, натура менее страстная и более привязчивая, был лучше огражден от таких терзаний; он лишь время от времени ощущал какой-то неясный страх. К тому же тяготы повседневного труда и неблагодарной профессии до известной степени спасали его любовь. Но, как человек очень чуткий, он всем сердцем отзывался на малейшее волнение в сердце любимой, и скрытая тревога Жаклины передавалась ему.

Однажды под вечер они гуляли за городом. Они заранее радовались этой прогулке. Все кругом веселило взгляд. Однако с первых же шагов томительная, угрюмая тоска навалилась на них, сковала их холодом. Говорить было невозможно. И когда они все-таки пытались говорить, каждое слово гулко отзывалось в душевной пустоте. Они завершили прогулку машинально, ничего не видя и не чувствуя. И вернулись домой с тяжелым сердцем. Ночь уже совсем надвинулась, в квартире было пусто, холодно и темно. Они не сразу зажгли свет, чтобы не видеть друг друга. Жаклина вошла к себе в спальню и, не снимая шляпы и пальто, молча села у окна. А Оливье уселся в соседней комнате, облокотившись на стол. Дверь между обеими комнатами осталась открытой; они были так близко, что могли слышать дыхание друг друга. Оба сидели в полумраке и горько, безмолвно плакали, зажимая рот рукой, чтобы приглушить рыдания.

Наконец, Оливье не выдержал и позвал:

— Жаклина...

Глотая слезы, Жаклина откликнулась:

— Что?

— Поди ко мне.

— Сейчас.

Она сбросила пальто, пошла умыть глаза. Он тем временем зажег лампу. Через несколько минут она вернулась. Они не смотрели друг на друга. Каждый знал, что другой плакал. И оба были безутешны, потому что знали, о чем плакали.

Настало время, когда они уже не могли скрыть друг от друга свое смятение.

А так как им не хотелось признаться себе в истинной причине, они стали искать другую и без труда нашли, взвалив всю вину на скуку провинциальной жизни и на окружающую среду. От этого им стало легче. Г-н Ланже не очень удивился, узнав из письма дочери, что ей надоело быть подвижницей. Он пустил в ход свои политические связи и добился для зятя места в Париже.

Когда пришло радостное известие, Жаклина запрыгала от восторга и снова почувствовала себя счастливой. Теперь, перед разлукой, скучный городок стал им вдруг дорог — столько в нем было рассеяно воспоминаний их любви! Напоследок они целыми днями бродили по следам этих воспоминаний. Их паломничество было овеяно нежной грустью. Все эти мирные дали видели их счастье. И внутренний голос шептал им:

«Ты знаешь, с чем расстаешься. А знаешь ли ты, что тебя ждет?»

Накануне отъезда Жаклина расплакалась. Оливье спросил, о чем она плачет. Она не хотела говорить. Тогда они взяли листок бумаги и стали писать, как обычно делали, когда их пугало звучание слов:

«Оливье, любимый...»

«Жаклина, любимая...»

«Мне грустно уезжать...»

«Откуда?..»

«Оттуда, где мы друг друга любили...»

«Куда?»

«Туда, где мы будем старее».

«Где мы будем вдвоем».

«Но уже так любить не будем».

«Будем все сильнее».

«Как знать?»

«Я знаю».

«А я желаю».

Внизу страницы каждый нарисовал кружок, обозначающий поцелуй. И Жаклина отерла слезы, засмеялась и нарядила Оливье в костюм фаворитов Генриха III: нацепила на него свою шляпу и белую пелерину со стоячим воротником, похожим на брыжи.

В Париже они увидели тех, кого не так давно покинули. Но увидели их уже иными. Узнав о приезде Оливье, вихрем примчался Кристоф. Оливье обрадовался не меньше его. Однако с первого же взгляда оба ощутили неожиданную неловкость. Они попытались подавить ее, но тщетно. Как ни был ласков Оливье, что-то в нем все-таки изменилось; и Кристоф это чувствовал. Ничего не поделаешь — друг, который женился, уже не может быть прежним другом. На душу мужа теперь наложила свою печать душа жены. Кристоф ощущал это во всем: в неуловимом блеске глаз Оливье, в незнакомой складке возле рта, в новых оттенках голоса и оттенках мысли. Оливье этого не сознавал и только удивлялся, почему Кристоф стал совсем другим за время разлуки. Он не думал, конечно, что изменился Кристоф, понимая, что перемена произошла в нем самом, и приписывал ее возрасту; ему казалось неестественным, что годы не оказали такого же влияния на Кристофа, что Кристоф застыл на тех же взглядах, которые некогда были дороги и ему самому,

а теперь представлялись ребяческими и устарелыми; в действительности же они были не по вкусу чужой душе, незаметно заполонившей его душу. Особенно ясно чувствовалось это, когда при разговоре присутствовала Жаклина,— тогда между Оливье и Кристофом вставала пелена иронии, застилая им глаза. Они всячески скрывали друг от друга свои ощущения. Кристоф исправно навещал супругов. Жаклина с невинным видом подпускала ему шпильки, вставляла язвительные и колкие замечания. Он все терпел. Но возвращался домой опечаленный.

Первые месяцы в Париже были относительно счастливым временем для Жаклины, а значит, и для Оливье. Вначале она усиленно хлопотала, устраивая свое жилье. На одной из старинных улиц Пасси они нашли премилую квартирку окнами в палисадник. Выбор мебели и обоев занимал Жаклину несколько недель. Она вкладывала в это столько стараний и даже страсти, как будто от тона обивки или формы старинного поставца зависело спасение ее души. Затем она возобновила общение с родителями, с друзьями. Весь этот год она была настолько поглощена любовью, что совершенно забыла их, и теперь каждая встреча была поистине откровением, тем более что не только ее душа примешалась к душе Оливье, но и к ней пристала какая-то частица его души, а потому она смотрела на старых знакомых новыми глазами. Ей показалось, что они значительно выиграли. Сперва Оливье от этого не проиграл. Они выгодно оттеняли его, а он — их. Поскольку спутник ее жизни был натурой углубленной, сотканной из лирических полутонов, Жаклина находила теперь больше удовольствия в обществе светских людей, которые думают лишь о том, чтобы наслаждаться, блистать и пленять, а соблазнительные, но опасные пороки этих светских людей, которых она знала тем лучше, что сама принадлежала к их числу, заставляли ее особенно ценить верное сердце друга. Она забавлялась такого рода сопоставлениями, упорствовала в этой игре, чтобы оправдать свой выбор. И доигралась до того, что временами переставала понимать, почему сделала именно этот выбор. К счастью, такие настроения длились недолго, а потом ее мучили угрызения совести, и она бывала очень нежна с Оливье, но тут же возобновляла сравнения. Когда это занятие вошло в привычку, оно перестало быть забавным, и сравнения сделались менее безобидными. Оба противоположных мира уже не служили друг другу взаимным дополнением, а начали войну. Жаклина задавала себе вопрос: почему Оливье не обладает теми достоинствами и даже отчасти недостатками, которые нравились ей теперь в ее парижских приятелях? Вслух она этого не гово-

рила, но Оливье чувствовал на себе критический взгляд своей юной подруги; его это тревожило и оскорбляло.

Однако любовь все еще давала ему власть над Жаклиной, и молодая чета могла бы и дальше жить уютной и согласной трудовой жизнью, если бы не изменились материальные обстоятельства и не нарушили ее непрочного равновесия.

«Quivi trovammo Pluto il gran nemico...» [1]

Скончалась сестра г-жи Ланже, бездетная вдова богатого коммерсанта. Весь ее капитал достался семейству Ланже. Состояние Жаклины увеличилось больше чем вдвое. Когда наследство было получено, Оливье вспомнил все, что Кристоф говорил о деньгах.

— Нам так было хорошо,— сказал он.— А вдруг от этого будет только хуже.

Жаклина посмеялась над ним.

— Дурачок! От этого никогда не бывает хуже,— возразила она,— да в нашей жизни ничего и не изменится.

С виду действительно все осталось по-прежнему. Настолько по-прежнему, что спустя некоторое время Жаклина начала жаловаться на недостаток средств — явное доказательство происшедшей перемены. И в самом деле, хотя доходы их увеличились вдвое и даже втрое, все уходило неизвестно куда. Следовало лишь удивляться, как они раньше сводили концы с концами. Деньги таяли, их поглощали бесчисленные новые траты, которые сразу становились привычными и обязательными. Жаклина завязала знакомство с модными портными; она рассчитала домашнюю портниху, которая обшивала ее, когда она была еще ребенком. Прошло время грошовых шляпок, которые мастерились из ничего и все же были к лицу; прошло время платьиц, не безупречных в смысле шика, но носивших отпечаток ее собственного изящества. С каждым днем улетучивалась ласковая теплота домашнего уюта, которую излучало все окружающее. Поэзия испарилась. Уют становился мещанским.

Они переменили квартиру. Прежняя — та, которую устраивали так заботливо и радостно,— показалась тесной и убогой. Вместо скромных комнаток, где все было таким родным, где в окна дружески кивало тоненькое деревцо, они теперь сняли большую, роскошную, удобно распланированную квартиру, к которой не лежало и не могло лежать сердце, где им было до смерти тоскливо. Старое, привычное убранство заменили новой,

---

[1] «Нам Плутос, враг великий, встал навстречу» *(итал.).— Данте, «Божественная комедия», «Ад», песнь VI.*

чужой для них мебелью. Воспоминаниям уже не было места. Первые годы супружеской жизни оказались вытесненными из сознания. Когда двое любящих рвут нити, связующие их с прошлым, озаренным любовью, они накликают на себя большую беду. Образы этого прошлого — лучшая защита от разочарования и враждебности, которые неотвратимо приходят на смену первоначальному чувству... Возможность не стесняться в расходах сближала Жаклину и в Париже и во время путешествий (разбогатев, они стали часто путешествовать) с кругом богатых и праздных людей, в обществе которых она испытывала своего рода презрение к остальному человечеству, к тем, кто трудится. С присущей ей поразительной способностью приспособления она мгновенно уподобилась этим бесплодным, тронутым червоточиной существам. Всякое противодействие было бесполезно. Она сразу же возмущалась, раздражалась, называла «мещанской пошлостью» убеждение, что можно и должно быть счастливой, исполняя домашние обязанности и довольствуясь aurea mediocritas. Она теперь уже не понимала, как могла еще недавно жертвовать собой во имя любви.

А Оливье был слишком слаб для борьбы. Он тоже переменился. Бросив преподавание, он не имел теперь определенных обязанностей и только писал, отчего равновесие его жизни нарушилось. Раньше он огорчался, что не может всецело отдаться искусству. Теперь он всецело принадлежал искусству и чувствовал себя потерянным в этих заоблачных сферах. Когда искусство не уравновешено ремеслом, когда оно не имеет опоры в серьезной практической деятельности, когда его не подхлестывает необходимость работать изо дня в день ради хлеба насущного, тогда искусство утрачивает свою силу, свою связь с жизнью. Оно становится тепличным растением, предметом роскоши. Оно перестает быть тем, чем оно бывает у великих художников — по-настоящему великих,— священным плодом человеческого труда... Оливье томился бездействием и все чаще задавал себе вопрос: «К чему?» Ему некуда было торопиться. Он подолгу мечтал с пером в руке, слонялся, не знал, куда себя девать. Он потерял связь с представителями своего класса, с теми, кто терпеливо и трудно прокладывает себе путь в жизни. Он попал в другой мир, где ему было не по себе и где ему все-таки нравилось. Человек слабый, покладистый и любопытный, он с интересом наблюдал этот мир, не лишенный привлекательности, но какой-то легковесный; и сам не замечал, что мало-помалу уподобляется ему и становится менее тверд в своих убеждениях.

Разумеется, он менялся не так быстро, как Жаклина. Женщина обладает опасной способностью преображаться сразу и целиком. Такое мгновенное умирание и возрождение пугает тех, кто ее любит. Однако для существа, в котором кипит жизнь и у которого недостает воли, чтобы держать себя в узде, вполне естественно сегодня быть одним, а завтра другим. Оно подобно текучей воде. Кто любит его, должен следовать за ним или увлечь его в свое русло. В том и другом случае неизбежно надо меняться. Это страшное и вместе с тем самое верное испытание любви, но без него не узнаешь ей цену. А равновесие любви очень хрупко, особенно в первые годы совместной жизни, и порой достаточно малейшего изменения в одном из супругов, чтобы все рухнуло. Что же сказать о внезапной перемене материального положения или среды! Нужно быть очень сильным или очень равнодушным, чтобы устоять.

Жаклина и Оливье не были ни равнодушными, ни сильными. Они видели друг друга в новом свете; и облик близкого человека становился чужим. Когда им случалось сделать это печальное открытие, они избегали друг друга, щадя свою любовь, потому что они все еще любили друг друга. Оливье находил прибежище в работе — постоянная, хоть и не обязательная, работа успокаивала его. У Жаклины не было и этого; у нее не было никакого дела. Она бесконечно долго валялась в постели или часами сидела полуодетая за туалетным столом, не шевелясь, о чем-то задумавшись; и глухая тоска сгущалась капля за каплей, как ледяной туман. Она была не в силах отвлечься от неотступной мысли о любви. Любовь! Самое чудесное, что есть в жизни человеческой, когда беззаветно приносишь себя в дар любимому. И самое никчемное, неверное, когда она лишь погоня за счастьем... Другой цели в жизни Жаклина себе не представляла. Иногда в благом порыве она пыталась принять участие в других людях, в их горестях, но безуспешно. Чужие страдания непреодолимо отталкивали ее, расстраивали ей нервы. Чтобы успокоить свою совесть, она раза два-три попыталась совершить что-то похожее на доброе дело,— результаты были самые жалкие.

— Вот видите,— говорила она Кристофу.— Хочешь сделать добро, а делаешь зло. Лучше уж воздержаться. Должно быть, у меня нет к этому призвания.

Кристоф смотрел на нее и вспоминал одну из своих случайных подруг, гризетку: это была черствая женщина, не способная на искреннюю привязанность, но как только она видела чужое страдание, у нее вспыхивало материнское чувство к че-

ловеку, который был ей вчера безразличен или вовсе незнаком. Ее не отталкивал самый неприятный уход — ей даже доставляло особое удовольствие делать то, что требует наибольшего самоотвержения. И все это бессознательно — по-видимому, она находила в этом применение для смутных, не имевших случая воплотиться, порывов к чему-то высшему; ее душа, бесчувственная в обычной жизни, воскресала в эти редкие минуты,— утолив в меру своих сил чье-то страдание, она была так счастлива, так внутренне ликовала, что радость ее казалась даже неуместной. Доброта этой женщины, черствой по натуре, и черствость доброй, по существу, Жаклины — что это: порок или добродетель? Нет, только вопрос душевной гигиены. И первая была здоровее.

Жаклину угнетала мысль о страдании. Физической боли она предпочла бы смерть. Она предпочла бы смерть утрате одного из источников радости — красоты или молодости. Ей казалось жесточайшей несправедливостью, что кто-то может быть счастливее, чем она, что на ее долю не выпало все то счастье, на которое, по ее убеждению, она имеет право (а она была убеждена в существовании счастья, верила в него — слепо, не рассуждая, как верят в бога). Она не только верила в счастье,— она считала его высшей добродетелью. Быть несчастным — все равно что быть калекой. И она строила свою жизнь в соответствии с этим убеждением. Подлинная ее натура выглянула из-за тех покровов идеала, в которые она целомудренно и пугливо куталась девушкой. В противовес былому идеализму она теперь смотрела на жизнь трезвым и холодным взглядом. Правильно было лишь то, что соответствовало общественному мнению и житейским удобствам. Она усвоила навыки матери: ходила в церковь, соблюдала обряды — аккуратно и равнодушно. Она уже не терзалась сомнениями, есть ли в этом хоть крупица истины,— у нее были терзания посерьезней, и она со снисходительной усмешкой думала о своем ребяческом бунте против религии. Впрочем, теперешняя рассудочность была так же искусственна, как прежний идеализм. Она себя принуждала. На деле же она не была ни ангелом, ни демоном. Она была обыкновенной скучающей женщиной.

А скучала она ужасно и, скучая, не могла даже найти себе оправдание в том, что Оливье ее не любит или что она сама ненавидит его. Ей казалось, что она заперта, замурована заживо, что у нее нет будущего; она мечтала о новом, непрерывно обновляющемся счастье,— детские мечтания, совсем уж бессмысленные при ее неумении быть счастливой. Ее супружеская

жизнь была похожа на жизнь многих других супругов, пребывающих в праздности,— у них есть все основания чувствовать себя счастливыми, а они постоянно чем-то терзаются. Сколько их видишь вокруг — они и богаты и здоровы, неглупы и способны понимать красоту; у них прелестные дети; ничто не мешает им быть деятельными, творить добро, украшать жизнь себе и другим людям. Они же все время стонут, что не любят друг друга, а любят кого-то еще или не любят никого, вечно заняты собой, своими душевными или сексуальными эмоциями, какими-то своими особыми правами на счастье, борьбой своих эгоистических притязаний и вечно спорят, спорят, спорят, разыгрывают комедию большой любви, больших страданий и под конец начинают верить, что это трагедия. Кто скажет им:

«Ничего в вас нет исключительного. Неприлично жаловаться, имея столько возможностей быть счастливыми!»

Кто отнимет у них богатство, здоровье, все эти чудесные дары, которых они недостойны! Кто наденет ярмо нищеты и настоящих тягот на этих рабов, которые не способны быть счастливыми и которых сводит с ума свобода! Если бы им в поте лица пришлось зарабатывать свой хлеб, они с радостью поедали бы его, а если бы страдание показало им свой грозный лик, они не посмели бы разыгрывать гнусную комедию страданий...

Но, как бы то ни было, они страдают, они больны. Можно ли их не пожалеть? Бедненькая Жаклина была так же неповинна в том, что отдаляется от Оливье, как и он — в том, что не может ее удержать. Она была такою, какой ее сделала природа, и не знала, что брак — это вызов природе, а бросив природе вызов, надо приготовиться к тому, что она его примет, надо храбро вступить в бой, на который сам же напросился. Жаклина поняла, что совершила ошибку, досадовала на себя, и эта досада превращалась в озлобление против всего, что ей было дорого, против взглядов Оливье, которые она разделяла. Умная женщина в минуты озарения лучше, чем мужчина, понимает извечные вопросы, но ей трудно удержаться на уровне их. Мужчина же, раз обратившись к этим вопросам, служит им всю жизнь. Для женщины они являются утехой в жизни — она питается ими, но не решает их. Ее сердце и ум непрерывно нуждаются в новой пище, которой она не находит в себе. И когда женщина не верит и не любит, она должна разрушать, если только ей не дарована величайшая из добродетелей — спокойствие.

В свое время Жаклина горячо верила в возможность союза, основанного на общих стремлениях. Считала счастьем вместе

бороться, вместе работать, творя одно дело. Но в это дело, в эти стремления она верила до тех пор, пока они были позлащены солнцем любви; по мере того как закатывалось солнце, они превращались для нее в мрачные, голые скалы на фоне пустынного неба; она не находила в себе сил продолжать подъем: к чему карабкаться на вершину? Что найдешь там, по ту сторону? Какой чудовищный обман!.. Жаклина не могла понять, как это Оливье поддается химерам, поглощающим всю его жизнь; она мысленно твердила себе, что он неумен и далек от жизни. Ей было трудно дышать в этой атмосфере, и в силу инстинкта самосохранения, она защищалась, нападая. Она силилась обратить в прах враждебные ей верования того, кто еще был ей дорог, она пускала в ход весь арсенал насмешки и сладострастия, обволакивая Оливье путами своих желаний и мелочных забот, стараясь, чтобы он стал сколком с нее, хотя сама она перестала понимать, чего хочет и что собой представляет! Ее унижало, что Оливье не преуспел в жизни, а справедливо это или несправедливо — она уже не задумывалась, придя к убеждению, что в конечном итоге успех отличает талантливого человека от неудачника. Это недоверие угнетало Оливье, отнимая у него душевные силы. Однако он боролся добросовестно, как боролись и будут бороться многие другие, по большей части терпя поражение в этой неравной борьбе, где эгоистическая природа жены находит опору против духовного эгоизма мужа в его слабости, в его разочарованиях и в его здравом смысле,— этикетка, которой он прикрывает свое малодушие и усталость от жизни. Жаклина и Оливье в этом единоборстве были все-таки выше большинства. Он никогда бы не отрекся от своих убеждений в противовес тысячам мужчин, которые, уступая объединенному натиску лености, суетности и любви, предают свою бессмертную душу. Если бы Оливье пошел на это, Жаклина стала бы его презирать. Но сама, в своем ослеплении, старалась разрушить его силу, которая была и ее силой, их общим спасением; руководствуясь инстинктивной хитростью, она всячески подрывала именно те дружеские отношения, на которые эта сила опиралась.

После того как было получено наследство, Кристофу стало не по себе в обществе молодой четы. Не зря, разговаривая с ним, Жаклина подчеркивала свой снобизм и пошловатую практическую сметку,— ее лукавый маневр достиг цели. Не выдержав, Кристоф начинал говорить резкости и получал такой же резкий отпор. Однако это никогда не привело бы к ссоре двух друзей,— слишком сильна была их привязанность. Оливье ни за что на свете не пожертвовал бы Кристофом. Но он не мог навязывать

Кристофа Жаклине, ибо это бы огорчило ее,— любовь делала его безвольным. Кристоф видел, что́ происходит в Оливье, как он страдает, и сам облегчил ему выбор, устранившись добровольно. Он понял, что, оставаясь с ними, ничем не поможет Оливье,— скорее причинит ему вред, и первый выдвинул доводы, в силу которых им следует расстаться, а Оливье по слабости принял эти несостоятельные доводы, догадываясь, что Кристоф приносит себя в жертву, и терзаясь раскаянием.

Кристоф не сердился на него. Правильно говорят, думал он, что жена — половина мужа. Ибо женатый мужчина уже полмужчины.

Кристоф попробовал построить свою жизнь по-другому — без Оливье, но как он ни старался, как ни уговаривал себя, что разлука их временная,— при всем его оптимизме ему нередко бывало очень грустно. Он отвык от одиночества. Конечно, пока Оливье жил в провинции, он тоже был одинок, но тогда он обольщал себя надеждой, что друг сейчас далеко, однако когда-нибудь все же вернется. Но вот друг вернулся и стал более далеким, чем прежде. У Кристофа вдруг отняли привязанность, которой были заполнены многие годы его жизни, и он словно потерял главный стимул к деятельности. С тех пор как он подружился с Оливье, у него вошло в привычку посвящать друга во все свои мысли и дела. Работа не могла заполнить пустоту. Кристоф привык, чтобы образ друга сопутствовал ему и в работе. А теперь, когда Оливье охладел к нему, Кристоф словно утратил равновесие: чтобы восстановить это равновесие, ему нужна была другая привязанность.

Госпожа Арно и Филомела по-прежнему любили его. Но в данную минуту их спокойной дружбы было недостаточно.

Тем не менее обе женщины, очевидно, угадывали горе Кристофа и втайне соболезновали ему. Кристоф был очень удивлен, когда однажды вечером к нему вдруг пришла г-жа Арно. До сих пор она ни разу не решалась навестить его и теперь была явно взволнована. Кристоф не обратил на это внимания, приписав ее волнение робости. Она села, не произнося ни слова. Желая успокоить ее, Кристоф стал показывать ей свое жилище; разговор зашел об Оливье — все здесь напоминало о нем. Кристоф говорил о друге весело, просто, ни намеком не касаясь того, что произошло. Но г-жа Арно все знала и, с невольной жалостью взглянув на Кристофа, спросила:

— Вы теперь почти не встречаетесь?

Он решил, что она пришла его утешать, и рассердился: он не любил, чтобы вмешивались в его дела.

— Когда хотим, тогда и встречаемся,— ответил он.

— Я вовсе не собиралась быть навязчивой,— покраснев, сказала она.

Он пожалел о своей резкости и обеими руками сжал руки г-жи Арно.

— Простите! — сказал он.— Я не хочу, чтобы его осуждали. Бедняга! Он страдает не меньше меня... Да, мы совсем не встречаемся.

— И он вам не пишет?

— Нет,— немного смущенно ответил Кристоф.

— Какая грустная штука — жизнь! — немного помолчав, заметила г-жа Арно.

Кристоф вскинул голову.

— Нет, не грустная,— возразил он.— В жизни бывают грустные минуты.

— Люди любили друг друга, потом разлюбили. Кому это было нужно? — с затаенной горечью вновь заговорила г-жа Арно.

— А все-таки любили,— ответил Кристоф.

— Вы жертвовали собой ради него,— настаивала она.— Хоть бы наши жертвы шли на пользу тем, кого мы любим. Но ведь он тоже несчастлив!

— Я и не думал жертвовать собой,— рассердился Кристоф.— А если и жертвовал, значит, мне так нравилось. Нечего об этом толковать. Каждый делает то, что должен делать. Иначе уж наверняка будешь несчастен! Дурацкое слово — «жертва»! Какие-то английские пасторы в своем душевном убожестве примешали сюда понятие протестантской скорби, чопорной и унылой. Выходит, что жертва хороша, только когда она неприятна... К черту! Если жертва для вас горе, а не радость, незачем ее приносить, вы ее не стоите. Мы жертвуем собой не ради кого-то, а ради самих себя. Раз вы не способны ощущать счастье самопожертвования — ну и бог с вами! Вы недостойны жить на свете.

Госпожа Арно слушала Кристофа, не решаясь взглянуть на него. Потом вдруг поднялась и сказала:

— До свидания.

Тогда он решил, что она пришла чем-то поделиться с ним, и поспешил сказать:

— Простите меня! Я думаю и говорю только о себе. Посидите еще, хорошо?

— Нет, мне некогда... Благодарю вас...

Она ушла.

Некоторое время они не встречались. Она не подавала признаков жизни, а он не бывал ни у нее, ни у Филомелы. Он их очень любил, но боялся, что с ними придется говорить на грустные темы. И, кроме того, их спокойное, серенькое существование, разреженный воздух, которым они дышали, все это не подходило ему сейчас. Ему нужно было видеть новые лица, найти себя в новом увлечении, в новой любви.

Чтобы рассеяться, он после долгого перерыва стал бывать в театрах. Театр всегда представлялся ему любопытной школой для композитора, который стремится уловить и запечатлеть голоса страстей.

Как и в начале своего пребывания в Париже, Кристоф не слишком увлекался французскими пьесами. Помимо того что его не прельщала их неизменно пошлая и откровенная тематика, вращающаяся вокруг психологии и физиологии любви, язык французской драматургии казался ему нестерпимо фальшивым, особенно в пьесах, написанных стихами. Ничего общего с живым языком народа, с его духом. Проза представляла собой, в лучшем случае, язык светских хроникеров, а в худшем — бульварных газетчиков. Поэзия же вполне оправдывала язвительное замечание Гете:

«Поэзия хороша для тех, кому нечего сказать».

В сущности, это была та же проза, многословная и манерная; изобилие образов, неумело, без всякой логики чувства втиснутых в ткань вещи, производило на любого искреннего человека впечатление фальши. Кристофу эти драмы в стихах претили не меньше, чем итальянские оперы со слащавыми завываниями и замысловатыми фиоритурами. Гораздо больше его интересовали актеры. Недаром драматурги старались подладиться к актерам. «Питать надежду, что пьеса будет разыграна с успехом, можно, лишь сообразуя характеры действующих лиц с пороками комедиантов». Положение почти не изменилось с тех пор, как Дидро писал эти строки. Исполнители служили моделью для произведений искусства. Едва только актер добивался успеха, как он уже заводил себе свой театр, своих угодливых закройщиков-драматургов, которые делали пьесы по его мерке.

Изо всех законодательниц литературных мод Кристофа интересовала лишь Франсуаза Удон. Париж увлекался ею уже года два. Разумеется, и у нее был свой театр, свои поставщики ролей; однако играла мадемуазель Удон не только в пьесах,

которые для нее мастерили; репертуар ее, довольно пестрый, простирался от Ибсена до Сарду, от Габриэля д'Аннунцио до Дюма-сына, от Бернарда Шоу до Анри Батайля. Она отваживалась заглядывать в царственные аллеи классического стиха и даже бросалась в бурливый поток шекспировских творений. Но там ей было неуютно. Что бы она ни играла, она играла себя, себя одну, всегда и во всем... Это была ее слабость и ее сила. До тех пор, пока она как таковая, как Франсуаза Удон, не привлекла к себе внимания публики, игра ее не имела никакого успеха. Но как только заинтересовались ею самой, что бы она ни играла, все стало казаться замечательным. По правде говоря, у нее были веские основания рассчитывать, что зрительный зал, глядя на нее, забудет, как ничтожна пьеса, в которую она вдохнула жизнь. И Кристофа волновала не столько пьеса, сколько загадка этой женщины, которая умела преображаться физически, воплощая чью-то неведомую душу.

У нее был красивый, четкий профиль немного трагического склада. Черты ее лица были по-парижски тонки, в духе Жана Гужона, и могли принадлежать юноше. Нос — короткий, но правильный. Красивый рот с нежными, печально изогнутыми губами. Изящно очерченные, по-отрочески худощавые щеки, в которых было что-то трогательное, словно отражение душевной муки. Подбородок волевой. Лицо бледное — из тех лиц, что приучены быть невозмутимыми, но помимо воли в каждой их черточке сквозит и трепещет душа. Волосы и брови у нее были очень тонкие, глаза переменчивые, пжелта-черные, принимавшие то зеленоватый, то золотистый оттенок,— глаза кошки. Она и всеми своими повадками напоминала кошку — внешне бесстрастная, всегда словно дремавшая с открытыми глазами, недоверчиво настороженная, с внезапными, порой жестокими, нервными вспышками. Она казалась выше и стройнее, чем была на самом деле; у нее были пышные плечи, изящные руки, длинные и тонкие пальцы. Одевалась и причесывалась она скромно и строго, без артистической небрежности и крикливой элегантности некоторых актрис,— это была тоже кошачья черта, врожденный аристократизм, хотя вышла она из низов и, по существу, оставалась неисправимой дикаркой.

Ей было лет около тридцати. Кристоф услышал о ней у Гамаша: там ею восхищались в бесцеремонных выражениях, как женщиной свободных нравов, умной и смелой, с железной волей и ненасытным честолюбием, но резкой, капризной, взбалмошной, несдержанной, которая прошла через много рук, прежде чем достигла теперешнего успеха, и не перестает за это мстить.

Однажды Кристоф собрался навестить Филомелу. Подойдя к медонскому поезду, он открыл дверцу своего купе и увидел уже расположившуюся там Франсуазу. Она казалась взволнованной, расстроенной, и появление Кристофа было ей явно неприятно. Она повернулась к нему спиной и стала смотреть в противоположное окно. Но Кристофа поразило страдальческое выражение ее лица, и он уставился на нее с простодушным и нескромным участием. Франсуазу это рассердило; она метнула на него свирепый взгляд, значения которого он не понял. На первой же остановке она вышла и пересела в другой вагон. Только тут — с опозданием — он догадался, что она попросту сбежала от него, и огорчился.

Через несколько дней он возвращался в Париж по той же дороге и сидел на станционной платформе в ожидании поезда. Появилась она и села рядом на единственную скамью. Он хотел встать. Она сказала:

— Сидите.

Они были одни. Он извинился, что принудил ее в тот раз перейти в другое купе: он непременно ушел бы сам, если бы догадался, что мешает. Она ограничилась тем, что подтвердила с насмешливой улыбкой:

— Правда, вы ужасно назойливо смотрели на меня.

— Простите. Я не мог иначе... У вас был такой страдальческий вид,— сказал он.

— Ну и что же? — спросила она.

— Это получилось помимо моей воли. Да если бы вы увидели, что кто-то тонет, разве вы не протянули бы ему руку?

— Я? Даже не подумала бы,— ответила она.— Скорее помогла бы ему потонуть.

Она сказала это не то в шутку, не то с горечью, но, заметив озадаченный вид Кристофа, рассмеялась.

Подошел поезд. Только в последнем вагоне были свободные места. Она вошла первая. Кондуктор торопил их. Кристоф не хотел повторения недавней сцены и собрался поискать себе другое место.

— Входите,— сказала она.

Он вошел. Она добавила:

— Сегодня мне это безразлично.

Они разговорились. Кристоф с большой горячностью пытался втолковать ей, что нельзя быть равнодушным к окружающим и что люди могут друг другу помочь хотя бы утешением...

— На меня утешения не действуют,— сказала она.

Кристоф стал возражать; тогда она добавила со своей обычной дерзкой усмешкой:

— Роль утешителя очень выигрышна.

Он понял не сразу. А когда понял, когда решил, что она подозревает его в личной заинтересованности, меж тем как ему искренне жаль ее, он с негодованием вскочил, распахнул дверцу и собрался спрыгнуть, хотя поезд уже тронулся. Ей стоило труда удержать его. Он сердито сел на место и закрыл дверцу, как раз когда поезд входил в туннель.

— Вот видите,— сказала она.— Вы могли погибнуть.

— Наплевать,— ответил он.

Он больше не желал с ней разговаривать.

— Мир очень глупо устроен,— сказал он.— Люди мучают друг друга, мучаются сами; а когда хочешь помочь человеку, он тебя в чем-то подозревает. Вот гадость! Это не люди, а какие-то уроды.

Она, смеясь, пыталась его успокоить. Положила ему на руку свою затянутую в перчатку ручку и, ласково уговаривая, назвала его имя.

— Как, вы знаете меня? — удивился он.

— А кто кого не знает в Париже? Мы ведь одним миром мазаны. И напрасно я с вами так говорила. Я вижу, вы славный малый. Успокойтесь же. Дайте руку. Ну, помирились?

Они пожали друг другу руку и стали беседовать по-дружески.

— Я не виновата,— объяснила она.— Слишком горький у меня опыт, и теперь я не верю никому.

— Меня тоже часто обманывали,— отвечал Кристоф.— А я продолжаю верить людям.

— Сразу видно, что вы родились простофилей.

Он рассмеялся.

— Правда, мне немало пришлось проглотить разочарований. Но я не смущаюсь. Желудок у меня выносливый. Мне случалось справляться и с более крупным зверьем — с голодом, с нуждой, а иногда и с мерзавцами, которые портили мне кровь. Все это только пошло мне на пользу.

— Вам хорошо,— сказала она,— вы — мужчина.

— А вы — женщина.

— Это не бог весть что.

— Это красота, а может быть, и сама доброта,— ответил он.

Она засмеялась:

— *Это!* А что с *этим* делают люди?

— Надо защищаться.

— Тогда доброты ненадолго хватит.

— Значит, ее и было немного.

— Возможно. А главное — не к чему страдать. Все, что слишком,— иссушает душу.

Он собрался было пожалеть ее, но вспомнил, какой отпор встретили недавно его соболезнования.

— Вы опять скажете, что роль утешителя выигрышна.

— Нет, больше не скажу,— ответила она.— Я чувствую, что вы по-настоящему добрый и искренний. Спасибо. Только не говорите мне ничего. Вы не знаете... Благодарю вас.

Поезд подходил к Парижу. Они расстались, не обменявшись ни адресами, ни приглашениями.

Месяца через два она сама пришла к Кристофу.

— Я пришла потому, что мне необходимо поговорить с вами. После нашей встречи я изредка вспоминала вас.— Она уселась.— Только на минутку. Я вас не задержу.

Он начал что-то говорить. Она его прервала:

— Погодите немножко.

Они помолчали. Потом она сказала, улыбаясь:

— Я дошла до предела. Теперь мне лучше.

Он попытался расспросить ее.

— Нет, не надо! — сказала она.

Она осмотрелась по сторонам, задерживая взгляд на отдельных предметах и по-своему оценивая их; наконец, увидела фотографию Луизы.

— Это мама? — спросила она.

— Да.

Она взяла карточку и пристально, ласковым взглядом всмотрелась в нее.

— Милая старушка! Вы — счастливый!

— Увы, она умерла.

— Ничего не значит, все-таки она у вас была.

— А у вас?

Но она нахмурила брови, отклоняя эту тему. Она не желала никаких расспросов.

— Лучше поговорим о вас. Расскажите мне... Ну, что-нибудь о вашей жизни...

— Вам это ни к чему...

— А все-таки расскажите...

Кристоф не хотел рассказывать, но поневоле отвечал на ее вопросы, потому что она умела спрашивать. И рассказал именно то, что его мучило,— историю своей дружбы, охлаждение

Оливье... Она слушала с улыбкой, в которой было и сочувствие и насмешка. Внезапно она спросила:

— Который час? Господи! Я уже два часа сижу здесь! Простите... Но, право же, легче стало на душе... Мне хотелось бы приходить к вам,— добавила она.— Не часто. Иногда... Мне это поможет. Но я боюсь докучать вам, отнимать у вас время. Ну, хоть ненадолго... Изредка...

— Хотите, я буду приходить к вам,— предложил он.

— Нет, нет, ко мне не надо. Лучше у вас...

Но она долго не приходила.

Где-то на вечере Кристоф случайно узнал, что она тяжело больна и не играет уже несколько недель. Несмотря на запрет, он отправился к ней. Ему ответили, что никого не приказано принимать; но после того, как он, назвав себя, вышел за дверь, его вернули. Франсуаза лежала в постели, ей было лучше; она перенесла воспаление легких и сильно изменилась, но взгляд остался тот же — пронзительный, непокорный. Однако она явно обрадовалась Кристофу. Усадила возле постели и заговорила о себе с ироническим безразличием. Сказала, что чуть не умерла. Он взволновался. Она высмеяла его. Он упрекнул ее за то, что она ничего не сообщила ему.

— Сообщить вам? Чтобы вы пришли? Ни за что на свете!

— Готов поручиться, что вы даже не вспомнили обо мне.

— И будете правы,— подтвердила она с обычной своей насмешливой и чуть грустной улыбкой.— Во время болезни не вспомнила ни разу. А вот сегодня вспомнила. Да не огорчайтесь вы! Когда я больна, мне ни до кого нет дела, я хочу только, чтобы меня все оставили в покое. Уткнусь носом в стену, лежу и жду... Я хочу быть одна, подохнуть одна, как крыса.

— Но ведь тяжело страдать одной!

— Я привыкла. Я столько лет была несчастна. И никто ни разу не помог мне. А теперь я обтерпелась... И вообще так лучше. Никто все равно ничем не поможет. Только шумят в комнате, пристают, надоедают, лицемерно охают... Нет. Я предпочитаю умереть в одиночестве.

— Какое смирение!

— Смирение? Не понимаю, что это такое. Нет, я просто стискиваю зубы и проклинаю боль.

Он спросил, неужели никто не навещал ее, не заботился о ней. Она сказала, что товарищи по театру — неплохие люди,

хоть и дураки: они рады услужить и посочувствовать, но, конечно, больше на словах.

— Я же вам сказала, что сама не хочу их видеть. Со мной трудно ужиться.

— Я бы не прочь попробовать,— заметил он.

Она с сожалением посмотрела на него.

— И вы туда же! Вы тоже не лучше других.

— Простите меня, простите,— сказал он.— Боже правый! Я и в самом деле становлюсь парижанином. Мне стыдно... Клянусь, я это сболтнул, не подумав.

Он зарылся лицом в одеяло. Она искренне расхохоталась и легонько шлепнула его по затылку.

— Вот это уже совсем не по-парижски! И слава богу! Это в вашем стиле. Ну, покажитесь-ка мне. Хватит поливать слезами мое одеяло.

— Вы меня простили?

— Простила. Только смотрите, чтоб это не повторялось.

Она еще немного поболтала с ним, спросила, чем он сейчас занят, потом устала, соскучилась и выставила его.

Решено было, что он навестит ее опять на следующей неделе. Кристоф уже собрался идти, как получил телеграмму: Франсуаза писала, что приходить не надо, она не в настроении. Но через день сама позвала его. Он пришел. Она уже поправлялась и полулежала у окна. Стояла ранняя весна, день был солнечный, на деревьях появились молодые побеги. Такой ласковой и мягкой он еще ни разу ее не видел. Она сказала, что в тот день не могла ни с кем говорить и его бы возненавидела, как всех остальных мужчин.

— А сегодня?

— Сегодня я чувствую себя молодой, неиспорченной, и мне мило все, что молодо и неиспорчено,— вы, например.

— Я отнюдь не так уж молод и неиспорчен.

— Вы таким будете до самой смерти.

Они поговорили о том, что он делал с тех пор, как они не виделись, о театре, где она вскоре опять начнет работать; по этому поводу Франсуаза высказала свое отношение к театру: она его ненавидит и в то же время привязана к нему.

Она больше не позволила Кристофу приходить и обещала, что сама возобновит свои посещения,— только беспокоилась, что помешает ему. Он сказал, в какое время обычно не работает. Они вместе придумали условный стук; она постучит, а он откроет или нет — как ему заблагорассудится.

Франсуаза не сразу воспользовалась разрешением. Но однажды она согласилась читать стихи в чьем-то салоне, по дороге раздумала и позвонила, что не может приехать, а вместо этого решила заглянуть к Кристофу — на минутку, только поздороваться. Однако вышло так, что в этот вечер она разоткровенничалась с ним и рассказала всю свою жизнь с самого детства.

Печальное детство! Она — плод случайной связи и отца своего даже не знала. Мать — содержательница подозрительного кабачка в предместье одного из городов на севере Франции. Завсегдатаями там были возчики; они пили, оставались на ночь с хозяйкой и избивали ее. Один из таких гостей женился на матери Франсуазы, польстившись на ее убогие сбережения; он тоже напивался и тоже бил ее. У Франсуазы была старшая сестра, прислуживавшая в кабачке; она надрывалась от непосильной работы; отчим сделал ее своей любовницей, не постеснявшись матери; она была чахоточной и вскоре умерла. Франсуаза росла среди этой грязи и вечно терпела колотушки. Она была худосочным, озлобленным, замкнутым ребенком, дичком со страстной душой. На ее глазах плакали, страдали, терпели, унижались, чахли ее мать и сестра. Она же во что бы то ни стало решила не покоряться и вырваться из этой гнусной среды: по натуре она была бунтаркой. Несправедливость доводила ее до истерики; когда ее колотили, она царапалась и кусалась. А однажды попробовала даже повеситься, но тут же раздумала, испугалась, что и в самом деле умрет, и когда она, уже задыхаясь, сведенными пальцами торопливо и неумело развязывала петлю, в ней билась исступленная жажда жизни. Раз ей нет спасения в смерти (Кристоф печально улыбался, вспоминая свои собственные детские страдания), она поклялась победить, стать свободной, богатой и растоптать всех своих мучителей. Эту клятву она дала себе как-то вечером в своей конурке, когда рядом раздавались ругательства отчима, крики матери, которую он бил, и рыдания сестры. Как она была несчастна! Но после клятвы ей стало легче. Стискивая зубы, она думала:

«Я вам всем покажу!»

В этом безрадостном детстве был один светлый луч.

Как-то раз соседский мальчишка, с которым она играла на улице, сын швейцара при театре, несмотря на строгий запрет, провел ее на репетицию. Дети прошмыгнули в самый дальний и темный угол зала. Франсуаза была потрясена волшебством сцены, озаренной огнями среди окружающего мрака, и теми пышными непонятными фразами, которые там произ-

носились, и королевской осанкой актрисы — та действительно играла королеву в романтической мелодраме. Девочка оцепенела от волнения, но сердечко ее сильно билось... «Вот, вот кем надо быть!.. Ах, мне бы стать такой!» Когда репетиция кончилась, она решила во что бы то ни стало посмотреть вечерний спектакль. Пропустив вперед своего приятеля, она сделала вид, что идет за ним следом, а сама вернулась и спряталась под скамейкой; так она просидела три часа, задыхаясь от пыли, но перед самым началом, когда зрители стали собираться и когда она уже намеревалась выползти из своего убежища, ее поймали, с позором выволокли под смешки публики и отвели домой, где ее вдобавок высекли. В эту ночь она бы умерла от унижения, если бы отныне не знала твердо, кем ей надо сделаться, чтобы стать выше всех этих людишек и отомстить им.

План ее был выработан. Она поступила горничной в «Театральный отель и ресторан», где останавливались актеры. Она едва умела читать и писать, да ничего никогда и не читала — ей и нечего было читать. Она стала учиться с неимоверным напряжением воли, таскала книги у постояльцев и читала их ночью при лунном свете или на заре, чтобы не жечь свечи. Из-за актерской безалаберности ее воровство проходило незамеченным; в крайнем случае владельцы книг поворчат и успокоятся. Впрочем, прочитав книги, она их возвращала, но возвращала не совсем сохранными: понравившиеся ей страницы она вырывала. Обычно она засовывала книги под кровать или под кресло, будто их и не выносили из комнаты. Она подслушивала у дверей, как актеры разучивают роль. И потом, подметая коридор, вполголоса подражала их интонациям, жестам. Ее ловили на этом занятии, высмеивали, ругали. Она молчала, затаив злобу. Обучение по такому методу могло бы продолжаться до бесконечности, если бы она не осмелела до того, что однажды выкрала из номера у какого-то актера роль. Актер поднял шум. К нему никто не входил, кроме горничной,— он обвинил ее в воровстве. Она дерзко отпиралась, он пригрозил ей обыском. Тогда она бросилась ему в ноги и призналась во всем, а заодно и в том, что крала другие книги и вырывала страницы,— словом, открыла все свои тайны. Актер отчаянно чертыхался, но, по существу, он был вовсе не злой человек. Он полюбопытствовал, зачем она все это делала. Когда она сказала, что хочет быть актрисой, он долго хохотал. Потом начал ее экзаменовать. Она стала читать ему на память целые страницы; он был поражен и спросил:

— Хочешь, я буду давать тебе уроки?

Она пришла в восторг, бросилась целовать ему руки.

— Ах, как бы я его любила! — сказала она Кристофу.

Но актер тут же добавил:

— Только, знаешь, голубушка, даром ничего не дают...

Она была невинна, она всегда с пугливым целомудрием отбивалась от наглых приставаний. Страстная стыдливость, омерзение ко всякой низменной чувственности без любви жили в ней с давних пор, с самого детства: их породило отвращение к тем гнусным картинам, которых она насмотрелась дома; они жили в ней и сейчас... Несчастная, как же она была наказана! Как посмеялась над ней судьба!

— И вы согласились? — спросил Кристоф.

— Да, я готова была на что угодно. Ведь он грозился, что велит меня арестовать как воровку. У меня не оставалось выбора. Так я приобщилась к искусству... и к жизни.

— Мерзавец! — сказал Кристоф.

— Да. Я его возненавидела. Но с тех пор мне стольких пришлось узнать, которые были не лучше его! Он-то хоть сдержал слово — обучил меня тому немногому, что знал сам из актерского ремесла, и ввел в труппу. Сперва все мною помыкали. Играла я выходные роли. Но как-то раз заболела субретка, и мне попробовали дать ее роль. Так оно и пошло. Меня считали несуразной, смешной, никуда не годной. Я тогда была дурнушкой. И слыла ею до тех пор, пока меня не провозгласили если не богиней, то женщиной в высшем, совершенном смысле этого слова,— Женщиной с большой буквы... Дурачье! Игру мою находили неверной, экстравагантной. Публике я не нравилась. Товарищи надо мной издевались. Однако меня держали, потому что я все-таки была полезна и обходилась недорого. Мало того что обходилась недорого,— я платила. Да. За каждый успех, за каждый шаг вперед платила своим телом. Актеры, директор, антрепренер, приятели антрепренера...

Она замолчала, смертельно бледная, и сжала губы, глядя в одну точку; глаза ее были сухи, но чувствовалось, что душа ее плачет кровавыми слезами. В один миг пережила она весь прошлый позор и жгучую волю к победе — все более жгучую после каждой новой гнусности, которую ей приходилось терпеть. Она хотела умереть, но слишком мерзко было пасть, не поднявшись над унижениями. Покончить с собой в начале жизненного пути или уже после победы — куда ни шло! Но столько унижаться и ничего не достичь...

Она молчала. Кристоф гневно шагал по комнате: ему хо-

телось истребить всех подлецов, мучивших, маравших эту женщину. Потом он остановился перед нею, с жалостью посмотрел на нее, нежно сжал руками ее голову, виски, лоб и произнес:

— Бедняжечка!

Она хотела отстранить его.

— Не бойтесь меня,— сказал он.— Я вам друг.

И тут по ее бледным щекам потекли слезы. Кристоф опустился перед нею на колени и поцеловал la lunga man d'ogni bellezza piena — прекрасные, узкие и нежные руки, на которые упали две слезы.

Затем он сел на прежнее место. Франсуаза овладела собой и уже спокойно продолжала свой рассказ.

Успех ей создал один драматург. В этой странной женщине он обнаружил гениальную, демоническую натуру и, что было еще важнее для него, «новую женщину, женщину нашего времени». Разумеется, он, как и все его предшественники, сделал ее своей любовницей, и она отдалась ему, как всем его предшественникам, без любви и даже с чувством, противоположным любви. Но он дал ей славу, и она прославила его.

— Зато теперь никто уже ничего не может вам сделать. Теперь вы делаете из них, что хотите.

— Вы так думаете? — с горечью спросила она.

И рассказала ему еще об одной насмешке судьбы — о своей страсти к ничтожному человеку, которого она сама же презирала: он был писателем и всячески эксплуатировал ее, выпытывая самые унизительные ее тайны и пользуясь ими для своих писаний; потом бросил ее.

— Я его презираю как последнюю мразь и вся дрожу от ярости при мысли, что люблю его; но стоит ему только подать знак, и я бегу к этому негодяю и пресмыкаюсь перед ним. Что я могу поделать? Сердце у меня так устроено: оно не желает любить то, что ему приказывает ум. И мне приходится приносить в жертву либо веления сердца, либо веления ума. Сердце и плоть кричат, требуют своей доли счастья. А у меня нет на них узды, я ни во что не верю, я свободна... Свободна? Нет, я раба моего сердца, моей плоти — чаще всего, почти всегда их желания сильнее меня. Они берут верх. Я стыжусь, а поделать ничего не могу.

Она замолчала на миг, машинально помешивая пепел в камине.

— Я много раз читала, что сами актеры ничего не чувствуют,— продолжала она.— И действительно, почти все, кого я

знаю,— большие тщеславные дети: они страдают, только когда затронуто их мелкое самолюбие. Не могу решить, они ли настоящие актеры или я. Мне кажется, что все-таки я. Как бы то ни было, я расплачиваюсь за других.

Она кончила свой рассказ и собралась уходить. Было три часа ночи. Кристоф предложил ей дождаться утра и лечь на его кровать. Она предпочла сидеть в кресле у потухшего камина и мирно беседовать среди окружающей тишины.

— Завтра вы будете сонной.

— Я привыкла. А вот вы... Что вы делаете завтра?

— Ничего. У меня только урок в одиннадцать часов. Да ведь я крепкий.

— Таким и полагается крепко спать.

— Правда, я сплю, как убитый, несмотря ни на какие огорчения. Меня иногда даже досада берет. Сколько зря пропадает времени! Я буду очень рад хоть разок обмануть сон, украсть у него одну ночь.

Они продолжали разговаривать вполголоса, с долгими паузами. В конце концов Кристоф заснул. Франсуаза улыбнулась и прислонила его голову к спинке кресла, чтобы он не упал... Сама же пересела к окну и стала задумчиво смотреть на темный, начинавший светлеть сад. Около семи часов она бережно разбудила Кристофа и простилась с ним.

В течение целого месяца она приходила и не заставала Кристофа — дверь была на запоре. Потом Кристоф дал ей ключ от квартиры, чтобы она могла войти, когда захочет. Несколько раз после этого она попадала в отсутствие Кристофа. Тогда она оставляла букетик фиалок или записочку, наспех набросанный на листке бумаги рисунок, карикатуру — знак, что она была. Но как-то вечером она пришла к Кристофу прямо из театра снова поговорить по душе. Он работал. Они начали разговаривать, однако с первых же слов поняли, что ни тот, ни другой не настроены так рассудительно, как в прошлый раз. Франсуаза собралась уйти, но было поздно. Не то чтобы Кристоф ее удерживал. Собственная воля уже не пускала ее. Они остались вместе, чувствуя, как ими все сильнее овладевает желание.

И стали любовниками.

После этой ночи она не показывалась несколько недель. В нем эта ночь разбудила пыл чувственности, дремавшей долгое время, и ему уже трудно было мириться с отсутствием

Франсуазы. Она запретила ему приходить к ней. Он решил посмотреть на нее в театре, скрытый от посторонних глаз, где-то в последнем ряду; он весь горел и дрожал от любви и волнения. Страстный трагизм, который она вкладывала в свою игру, сжигал и его. В конце концов он не выдержал и написал ей:

«Вы сердитесь на меня, дорогая? Простите, если я обидел Вас».

Получив эти смиренные строки, она примчалась к нему и бросилась в его объятия.

— Лучше было бы остаться просто друзьями. Но раз это невозможно, незачем противиться неизбежному. Будь что будет!

Они соединили свои жизни. Однако каждый сохранил прежнюю квартиру и прежнюю свободу. Франсуаза неспособна была бы терпеть каждодневное присутствие Кристофа. Да и по роду ее занятий это было неудобно. Она приходила к Кристофу, изредка проводила с ним часть дня и ночи, но неизменно возвращалась к себе, а иногда и на ночь оставалась дома.

На те месяцы, что театр был закрыт, они вместе сняли домик в окрестностях Парижа, возле Жифа. Там они прожили счастливые дни, хоть и омрачавшиеся порой дымкой печали. Дни взаимной близости и мирного труда. У них была прекрасная, светлая спальня в верхнем этаже, откуда открывался широкий вид на поля и дальние просторы. Ночью с кровати они видели в окна, как по густой и блеклой синеве неба проплывают фантастические тени облаков. Лежа в объятиях друг друга, они слышали сквозь дремоту стрекот упоенных восторгом кузнечиков, шум грозового ливня; осеннее дыхание земли — запахи жимолости, ломоноса, глицинии, скошенного сена пропитывали и дом и их самих. Ночная тишь. Сон вдвоем. Безмолвие. Далекий лай собак. Пение петухов. Светает. Жиденький благовест несется с дальней колокольни сквозь холодную, утреннюю мглу, от которой в теплом гнездышке пробирает дрожь холода, и они еще теснее и любовнее льнут друг к другу. В диком винограде, увивающем стену, проснулись птицы. Кристоф открывает глаза и, затаив дыхание, с умилением смотрит на милое, усталое лицо спящей рядом подруги, побледневшее от любви...

Их любовь не была самодовлеющей страстью. Это была настоящая дружба, а тело только требовало своей доли. Они не стесняли друг друга. Каждый был занят своим делом.

Франсуазу пленял талант Кристофа, его доброта, его нравственные устои. Во многом она чувствовала себя старше его, и это доставляло ей материнскую радость. Она огорчалась, что не понимает его произведений,— музыка вообще была ей недоступна и только в редких случаях вызывала у нее порывы безудержного волнения, но причина тут была не столько в музыке, сколько в самой Франсуазе, в тех страстях, которые владели ею в ту пору и окрашивали собой все окружающее — природу, людей, цвета и звуки. Тем не менее она улавливала талант Кристофа сквозь таинственный, непонятный ей язык музыки, словно смотрела игру большого актера, говорящего на незнакомом языке. И творчество Кристофа живительно действовало на ее собственный талант.

А Кристоф, создавая новое произведение, воплощал свои чувства в образе любимой женщины, проводил свои мысли сквозь призму ее мыслей; и они становились прекраснее, чем были первоначально, когда зародились в нем. Неоценимый дар — близость такой души, поистине женственной, слабой, доброй и жестокой, со вспышками гениальности. Благодаря ей он многое узнал о жизни и людях, о женщинах — их он знал еще очень плохо, а Франсуаза судила о них с беспощадной проницательностью. Главное же, она научила его лучше понимать театр, помогла ему проникнуть в суть этого замечательного искусства, самого совершенного, самого трезвого и полноценного из искусств. Она открыла ему красоту этого волшебного орудия человеческой фантазии, убедила его, что нельзя писать только для самого себя, к чему у Кристофа была склонность — склонность очень многих художников, подобно Бетховену не желающих писать «для какой-то дурацкой скрипки, когда в них говорит дух божий». Самый великий драматург не стыдится писать для определенного театра и считаться с актерами, которые станут истолкователями его мысли. Он знает, что это не может его унизить, ибо если красота в мечте, то величие в ее воплощении. Театр, как фресковая живопись, выполняет главную миссию искусства. Он — поистине живое искусство.

Такого рода мысли, высказанные Франсуазой, были созвучны собственным мыслям Кристофа, стремившегося на данном этапе своего пути к коллективному искусству, создаваемому в тесном общении с людьми и ради этого общения. То, что поверяла ему Франсуаза, помогало Кристофу улавливать тайну взаимодействия, которое возникает между зрителем и актером. Несмотря на всю трезвость ума и полное отсутствие иллюзий,

Франсуаза все-таки ощущала власть взаимного внушения, волны братского понимания, которые соединяют актера со зрительным залом, так что голос актера, возносящийся над великим молчанием многих тысяч человеческих душ, становится их собственным голосом. Разумеется, такое чувство бывало у нее очень редко, оно возникало отдельными проблесками и почти никогда не повторялось в том же месте той же пьесы. В остальное время это было ремесло без души, рассудочная и холодная техника. Но увлекательно именно такое исключение — яркая вспышка, при свете которой открывается бездна, единая душа многих миллионов людей, чья сила сейчас воплощена в вас.

Вот эту единую душу и должен выражать большой художник. Идеалом такого художника является древний аэд, отождествляющий себя со всеми теми, для кого он поет, аэд, который, освобождаясь от своего «я», проникается коллективными страстями, бушующими над миром. Франсуаза особенно остро ощущала эту потребность, потому что она-то была неспособна на такое самоотречение и всегда играла только себя. Буйное цветение личной лирики за последние полтора столетия приобрело какой-то болезненный характер. Признак нравственной высоты — это способность сильно чувствовать и с такой же силой обуздывать себя, быть сдержанным в речах и целомудренным в мыслях, не кичиться ими, уметь взглядом, словом, исполненным глубокого смысла, без детской восторженности, без женских излияний, говорить для тех, кому все понятно с полуслова, для настоящих людей. Современная музыка, которая говорит больше всего о себе и назойливо сует всюду личные тайны, лишена стыдливости и лишена вкуса. Она напоминает больных, которые не устают говорить о своих болезнях и описывают их с противными и смешными подробностями. Франсуаза, не будучи музыкантшей, усматривала чуть ли не признак упадка в том, что музыка развивается за счет поэзии, глушит ее, точно нарост. Кристоф возражал, но, поразмыслив, готов был признать в этом долю правды. Первые Lieder, написанные на слова Гете, были сдержаны и точны; вскоре Шуберт извратил их романтической чувствительностью, Шуман — девичьей томностью, и так вплоть до Гуго Вольфа все нарастало тяготение к нарочитой декламации, к непристойному самоанализу, старанию осветить малейшие закоулки собственной души. С сердечных тайн сорваны все покровы. То, что было в строгих словах сказано Софоклом, ныне горланят менады, нахально щеголяя своей наготой.

Кристоф немного стыдился этого искусства, чувствуя, что и сам заражен им; не думая возвращаться вспять (нелепое и противоестественное желание), он черпал силы у тех гениальных мастеров прошлого, которые были горделиво скрытны в своем творчестве и причастны к великому коллективному искусству. Так, Гендель пренебрег слезливым ханжеством своей эпохи и своей нации, написав монументальные хоры и оратории, эти героические эпопеи, пропетые народами для народов. Но нелегко было найти темы, способные, как Библия во времена Генделя, пробудить чувства, общие для всех современных народов. У современной Европы нет больше общей книги — ни поэмы, ни молитвы, ни вероучения, которые были бы достоянием всех. Поистине позор для писателей, художников и мыслителей современности! Никто не писал, никто не мыслил для всех. Один лишь Бетховен оставил несколько страниц нового евангелия, дарящего утешение, но понятно оно только музыкантам, большинство же людей никогда не прочтет его. Вагнер попытался было создать на своем байрейтском холме религиозное искусство, объединяющее всех людей. Но его великому духу были слишком уж присущи все пороки упадочной музыки и философии его времени, и на священный холм пришли не галилейские рыбаки, а фарисеи.

Кристофу было ясно, что́ именно нужно делать, но ему недоставало помощи поэта и приходилось творить собственными силами, в пределах одной только музыки. А музыка, что бы ни утверждали, пользуется отнюдь не общедоступным языком,— нужна тетива слов, чтобы стрелы звуков могли проникнуть во все сердца.

Кристоф задумал цикл симфоний на темы обыденной жизни. Между прочим он собирался написать «Домашнюю симфонию» — только на свой лад, иначе, чем Рихард Штраус. Он вовсе не думал с кинематографической точностью, пользуясь условной азбукой, воплотить в музыке картину семейной жизни, где музыкальные темы, по прихоти автора, соответствовали бы различным персонажам. Все это казалось Кристофу ученым ребячеством, которым забавлялся великий мастер контрапункта. Сам он хотел изобразить не каких-то определенных людей и их поступки, а чувства, знакомые всем, в которых каждый может услышать отголоски собственной души. Первая часть говорила о мирном и простодушном счастье молодой любящей четы, о ее сладострастной нежности, о вере в будущее. Вторая часть была элегия на смерть ребенка. Кристофу претили реалистические изыски в изображении горя; отдельные образы у

него отсутствовали: была лишь великая скорбь — ваша, моя, любого человека,— перед лицом несчастья, которое постигает или может постичь всех. Душа подавлена отчаянием; но вот она выпрямляется тяжким усилием воли, приносит свое страдание в дар богу и мужественно продолжает свой путь в непосредственно вытекающей из второй части энергичной фуге с четким рисунком и властным ритмом, постепенно захватывающим все существо человека и приводящим его сквозь битвы и слезы к мощному маршу, полному несокрушимой веры. В финале изображены сумерки жизни. Здесь вновь возникают темы первой части, темы трогательной надежды и нестареющей любви, но теперь в них чувствуется бóльшая зрелость и как бы усталость от жизни; они пробиваются из мрака скорби, увенчанные сиянием, и, точно цветущий сноп, возносят в небеса гимн благоговейной любви к жизни, которой нет конца.

Кроме того, Кристоф старался найти в древних книгах величавые, простые и человечные сюжеты, находящие отзвук в каждом сердце. Выбрал он два: «Иосифа» и «Ниобею». Но тут, кроме отсутствия поэта, вставала и другая проблема, чреватая опасностями,— проблема сочетания поэзии и музыки. Разговаривая об этом с Франсуазой, он вспомнил, как некогда набрасывал с Коринной [1] план музыкальной драмы,— нечто среднее между речитативной оперой и разговорной драмой, где искусство свободной речи сочеталось бы со свободной музыкой; о таком виде искусства не помышляет почти никто из современных композиторов, а рутинеры-критики, начиненные вагнерианством, отвергают его. Это искусство новаторское, ибо тут надо было не просто идти по стопам Бетховена, Вебера, Шумана и Бизе, как бы гениально ни владели они формой мелодрамы; не прилаживать какую попало декламацию к какой попало музыке, лишь бы любой ценой, с помощью самых вульгарных фиоритур, угодить на вульгарный вкус публики,— нет, тут надо было создать новый жанр, где музыкальные голоса сочетались бы с близкими им по звучанию инструментами и где бы их мелодическим строфам тактично вторили мечты и вздохи музыки. Само собой разумеется, что такая форма приемлема только для очень ограниченного круга сюжетов, ибо ее назначение — передать благоуханную поэзию души в минуты сокровенных раздумий. Это самый строгий и аристократический вид искусства. Ясно, что оно вряд ли способно расцвести в такую эпоху, когда, невзирая на самообольщения совре-

[1] См. «Бунт».— *Р. Р.*

менных деятелей искусства, тон все-таки задают пошляки и выскочки.

Возможно, что и Кристоф был мало пригоден для такого рода искусства,— самый характер его дарования, его плебейская мощь служили тому помехой. Он лишь стремился к этому искусству и с помощью Франсуазы сделал кое-какие наброски.

Так, он воплотил в музыке некоторые страницы Библии, почти ничего не изменив в них,— например, ту бессмертную сцену, когда Иосиф открывается братьям, когда он, после всего пережитого, изнемогая от волнения и любви, шепчет слова, которые без слез не мог читать в старости Толстой:

«Я больше не могу... Я — Иосиф. Жив ли еще отец мой? Я брат ваш, ваш давно потерянный брат. Я — Иосиф...»

Прекрасная свободная связь Франсуазы и Кристофа не могла быть прочной. Правда, им случалось ощущать вместе полноту жизни, но они были слишком разными людьми и при этом одинаково несдержанными, что вызывало частые столкновения. Эти столкновения никогда не доходили до грубости: Кристоф уважал Франсуазу. А Франсуаза, хоть и могла быть жестокой, но ни за что на свете не причинила бы зла тем, кто был добр к ней. К тому же оба они обладали чувством юмора. Франсуаза первая смеялась над собой. И вместе с тем не переставала терзаться, не могла изжить свою страсть к прежнему любовнику, не могла забыть этого подлеца,— ей было мучительно такое унижение, а еще больше — мысль, что Кристоф догадывается об ее тайне.

Кристоф же видел, что она по целым дням молчит, уйдя в себя, погрузившись в свои горькие думы, и не понимал, чего ей недостает для счастья. Ведь она достигла всего. Стала знаменитой артисткой, ее окружают лесть и поклонение.

— Все это так,— отвечала она,— но я не принадлежу к тем прославленным актрисам с душой торговок, для которых театр — та же коммерция. Им ничего больше не надо — только бы занять первое место, выйти замуж за богатого буржуа и, как nec plus ultra [1], получить крест, который дают за храбрость. А для меня этого мало. Для неглупого человека удача значит еще меньше, чем неудача. Тебе не к чему это объяснять.

— Еще бы,— отвечал Кристоф.— Боже ты мой! Такой ли воображал я славу в детские годы! Я страстно жаждал ее и

[1] Самое высшее *(лат.)*.

благоговел перед ней. Она мне казалась ослепительной. И все-таки одно в ней поистине прекрасно: она дает возможность сделать что-то хорошее.

— Да что ты можешь сделать? Допустим, ты победил. Ну, а дальше? Ничто не изменилось. Театры, концерты — все осталось, как прежде. Только одна мода сменила другую. Тебя либо не поняли, либо, едва поняв, сразу же занялись другим. А разве сам ты понимаешь своих собратьев по искусству? Они, во всяком случае, тебя не понимают. И меньше всего понимают те, кто тебе особенно дорог. Вспомни хотя бы твоего Толстого...

Кристоф писал Толстому. Он преклонялся перед ним, плакал, читая его книги, и, послав ему свои Lieder, попросил разрешения положить на музыку одну из его сказок для народа. Толстой не ответил, как Гете не ответил Шуберту и Берлиозу, пославшим ему свои лучшие творения. Толстой пожелал послушать музыку Кристофа — она показалась ему непонятной, раздражающей. Ведь он и Бетховена называл декадентом, а Шекспира шарлатаном. Зато он одобрял тех жеманников, чьими вещицами для клавесина услаждал свой слух король-парик, и считал «Дневник горничной» истинно христианской книгой...

— Великим людям мы не нужны,— говорил Кристоф,— поневоле нам надо думать о других.

— О ком? О мещанах, заслоняющих от нас жизнь? Как?! Играть, творить для такой публики, ради нее губить свою жизнь! Да это же обидно!

— Э! Я этих людей вижу насквозь не хуже, чем ты,— возражал Кристоф,— но ничуть не огорчаюсь. Не так уж они плохи.

— Славный ты мой немецкий оптимист! Учитель Панглос!

— Они такие же люди, как я. Почему они меня не поймут? А если и не поймут, отчаиваться мне, что ли? Среди сотен тысяч таких людей непременно найдутся две-три сочувствующие души, и этого мне вполне достаточно,— ведь достаточно форточки, чтобы впустить в комнату свежий воздух... Вспомни неискушенных зрителей, подростков, простодушных старушек и старичков. Твое появление, твой голос, ты сама как воплощение трагической красоты,— все это возносит их над скудостью будничного прозябания. Вспомни, наконец, себя ребенком! Ведь приятно же нести другим, пусть даже одному-единственному, то счастье и утешение, какое в свое время кто-то принес тебе.

— А ты уверен, что найдется такой единственный? Я в конце концов усомнилась и в этом... Разве любят нас даже луч-

шие из тех, кто нас любит? Разве понимают по-настоящему! Их восторги оскорбительны, им точно так же нравится игра любой комедиантки. Они ставят нас на одну доску с теми ничтожествами, которых мы презираем. Они привыкли валить в одну кучу всех знаменитостей.

— И все-таки самыми великими потомство признает именно самых великих.

— На расстоянии все виднее. Горы вырастают по мере того, как отдаляешься от них. Их вышина становится заметнее, но они уже далеко... И кто поручится, что это самые великие? Ведь ты не знаешь тех, кто исчез бесследно.

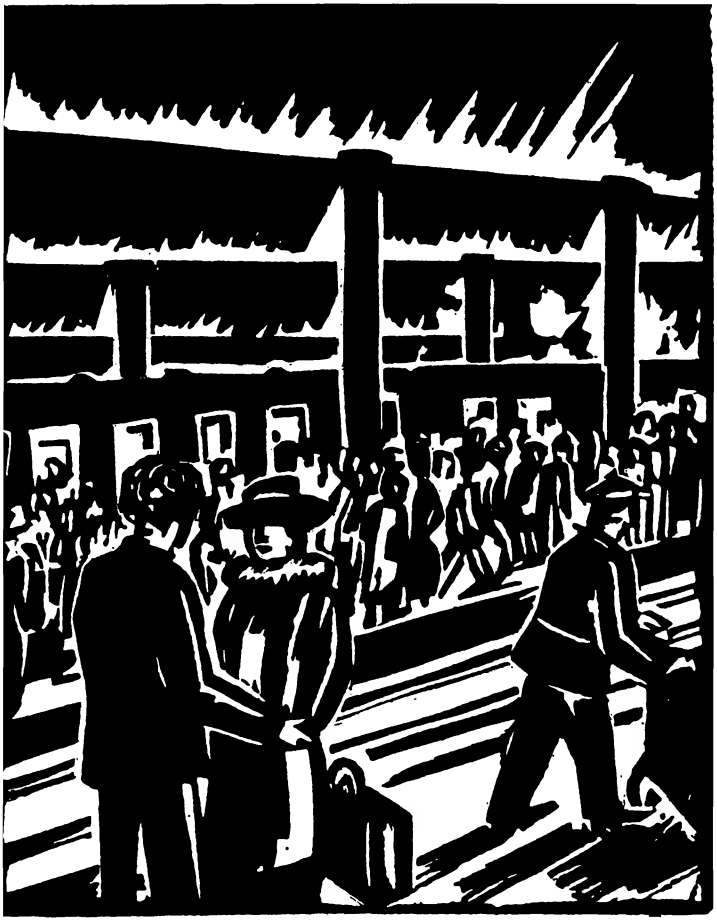
— Наплевать! — заявил Кристоф.— Пусть никто не поймет, что́ я думаю и что собой представляю, важно, что я — это я. У меня есть моя музыка, я люблю ее, верю в нее — она никогда не подведет.

— Ты-то свободен в своем творчестве, ты можешь делать, что хочешь. А я? Я должна играть все, что мне навязывают, мусолить одно и то же до тошноты. Слава богу, что мы не стали еще вьючными животными, как американские актеры,— ведь они по десять тысяч раз играют «Рипа» или «Робера Макэра» и двадцать пять лет жизни убивают на какую-нибудь одну идиотскую роль. Но и мы уже близки к этому. Наши театры так оскудели. Публика переваривает талант только в самых ничтожных дозах, да еще требует, чтобы его приправили всякими модными вывертами... Разве не смешно звучат слова «модный талант»? Какая бессмысленная растрата сил! Ты только подумай, что сделали из Муне, что́ заставляли его играть всю жизнь? Две-три роли, ради которых стоило жить: Эдип, Полиевкт. А все остальное — чепуха, пошлятина. Сколько великих, замечательных образов мог бы он создать... И в других странах не лучше, чем у нас. Что сделали из Дузе? На какие бессмысленные роли растрачены ее силы...

— По настоящему ваша роль состоит в том, чтобы показывать миру истинные произведения искусства,— сказал Кристоф.

— А мы гибнем зря, без всякой пользы. Как только какое-нибудь из этих истинных произведений попадет на сцену, оно утрачивает всю свою высокую поэтичность, становится лживым. Дыхание толпы иссушает его. Публика душных городов позабыла, что такое простор, природа, здоровая, сочная поэзия,— она требует поэзии театральной, в мишуре и гриме. Ну, хорошо. Допустим, я добилась успеха. Все равно это не может заполнить жизнь, это не заполняет моей жизни...

— Ты все думаешь о нем?



«Жан-Кристоф». Книга восьмая.

— О ком?

— Ты же знаешь... О том человеке.

— Да, думаю.

— Признайся, даже если бы он был с тобой и любил тебя, ты все равно не была бы счастлива и нашла бы предлог для мучений.

— Возможно... Не знаю, почему я такая. Должно быть, мне слишком много пришлось бороться и терзать себя, и теперь я не нахожу покоя. Меня вечно гложет какая-то тревога.

— Эта тревога жила в тебе, даже когда ты не знала жизни.

— Пожалуй. Да, верно, она пожирала меня с самого раннего детства, с тех пор как я себя помню.

— Чего же ты хочешь?

— Сама не знаю. Хочу того, что мне не по силам.

— Это и мне знакомо. Подростком я был таким же,— сказал Кристоф.

— Да, но ты стал взрослым. А я так и осталась вечным недорослем, недоразвитым существом.

— А кому удавалось развить все свои способности? Счастлив тот, кто знает свои пределы и довольствуется ими.

— Я перешагнула через эти пределы. И больше не могу. Довольно уже жизнь насиловала, трепала, калечила меня. А ведь я могла быть обыкновенной женщиной, здоровой и красивой и при этом непохожей на толпу.

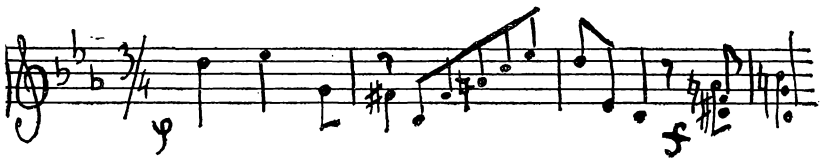
— Не все упущено. Я отчетливо вижу тебя именно такой.

— Ну скажи, какой?

Он описал, какой бы она была в иных условиях, где могла бы развиваться естественно и гармонично, любить, быть любимой и счастливой. Ей было отрадно его слушать. Но немного погодя она сказала:

— Нет, теперь уже поздно.

— Что ж, тогда остается сказать себе то, что сказал старик Гендель, когда ослеп:



What ever is, is right.
(Все, что есть,— все благо.)

Кристоф подошел к роялю и напел эту фразу. Франсуаза расцеловала его, своего милого необузданного оптимиста. Для нее общение с Кристофом было благом, но она-то причиняла ему зло,— так, по крайней мере, со страхом думала сама Франсуаза. У нее бывали приступы отчаяния, и она не могла утаить их: любовь лишала ее воли. Ночью она лежала рядом с ним в постели и молчала, скрывая смятение, но он догадывался и умолял ее, свою подругу, такую близкую и такую далекую, разделить с ним гнетущее ее бремя; и тут, не выдержав, она открывала ему душу, рыдала в его объятиях; потом он долгие часы утешал ее, терпеливо, без всякой досады, но под конец это постоянное беспокойство стало угнетать его. Франсуаза боялась, что он заразится ее тоской. Она любила его по-настоящему и не могла допустить, чтобы он страдал из-за нее. Ей предложили ангажемент в Америку; она согласилась, чтобы отрезать себе все пути. Он был унижен тем, что она покидает его. Она тоже чувствовала себя униженной. Почему они не могут дать друг другу полное счастье?

— Ах ты, мой бедненький! — говорила она, улыбаясь грустно и ласково.— Какие же мы с тобой нескладные! Когда еще мы найдем такой случай, такую чудесную дружбу? Но ничего, ничего не выходит. Такими уж мы уродились дураками!

Они посмотрели друг на друга растерянным и печальным взглядом. Засмеялись оба, чтобы не расплакаться, обнялись и расстались со слезами на глазах. Никогда они так не любили друг друга, как в час расставания.

Когда она уехала, он вернулся к искусству — своему неизменному спутнику... О, блаженный покой звездного небосвода!

Вскоре Кристоф получил письмо от Жаклины. Писала она ему редко, это было третье по счету письмо, и оно разительно отличалось от предыдущих. Она выражала сожаление, что давно не видела милого Кристофа, и ласково просила заходить, чтобы не огорчать двух любящих его друзей. Кристоф очень обрадовался, но не слишком удивился. Он всегда считал, что Жаклина когда-нибудь поймет, как была к нему несправедлива. По этому поводу он вспоминал ехидное замечание деда:

«Рано или поздно у женщины выпадают светлые минуты, надо только терпеливо выжидать».

Итак, он отправился к Оливье и был встречен очень радушно. Жаклина выказала ему много внимания, воздержива-

лась от привычного ей насмешливого тона, боялась сказать что-нибудь обидное для Кристофа, проявила интерес к его занятиям и сделала несколько умных замечаний, когда беседа перешла на серьезные темы. Кристоф решил, что она переродилась. В действительности она только старалась подладиться к нему. До нее дошли слухи о связи Кристофа со знаменитой актрисой, о чем болтали во всех парижских гостиных; и Кристоф явился ей совсем в новом свете — он внушил ей любопытство. Встретившись с ним, она нашла, что он стал гораздо приятнее. Даже недостатки его приобрели привлекательность в ее глазах. Она обнаружила, что Кристоф талантлив, и задумала обворожить его.

Отношения молодых супругов не улучшились, а даже стали хуже. Жаклина ужасно скучала — просто погибала от скуки... Как одинока женщина! Лишь ребенок заполняет ее жизнь, да и то не может заполнить всецело; если она настоящая женщина, а не только самка, если у нее сложная душа и большая жадность к жизни, ей столько всего нужно сделать, что она не может со всем справиться одна, без посторонней помощи! Мужчина, даже самый одинокий, никогда не бывает так одинок — звучащий в нем внутренний голос оживляет для него пустыню; одиночество вдвоем тоже не властно над ним,— он почти его не замечает, продолжая свой монолог. Ему и в голову не приходит, что от звука его невозмутимого голоса молчание становится еще страшнее для его спутницы, а одиночество — еще нестерпимее, потому что для женщины мертвы слова, не оживленные любовью. Он этого не замечает, ведь он не делает из любви ставки всей жизни — его жизнь направлена на другое. А куда направит свою жизнь женщина, во что превратятся ее беспредельные желания, тот огромный запас благодетельных сил, которые все сорок веков, что существует человечество, бесплодно сгорали на алтаре двух кумиров: один из них — любовь, слишком недолговечен, а другой — материнство, обманчив в своем величии, ибо тысячам женщин в нем отказано, у остальных же оно заполняет лишь считанные годы.

Жаклина дошла до отчаяния. Минутами ужас пронизывал ее, как острием меча. Она думала:

«Зачем я живу, зачем я родилась на свет?»

И сердце ее больно сжималось.

«Господи, я сейчас умру, я умираю, господи».

Эта мысль преследовала ее, не давала покоя по ночам. Ей снилось, будто она говорит:

«Сейчас у нас тысяча восемьсот восемьдесят девятый год».

«Нет,— отвечал ей кто-то,— тысяча девятьсот девятый».

И она впадала в отчаяние от того, что оказывалась двадцатью годами старше.

«Скоро всему конец, а я и не жила! На что ушли эти двадцать лет? На что ушла жизнь?»

Ей снилось, будто она — четыре маленьких девочки и будто все четыре лежат в одной комнате, но в разных кроватках. Все четыре одного роста, и лица у всех одинаковые; только одной из них восемь лет, другой — пятнадцать, третьей — двадцать, четвертой — тридцать. И вдруг — эпидемия. Трое из них уже умерли. Четвертая смотрится в зеркало и с ужасом видит, что нос у нее заострился, щеки впали... значит, она тоже сейчас умрет, и тогда все кончено...

«На что ушла моя жизнь?»

Она просыпалась в слезах; но кошмар не рассеивался, кошмар был явью. На что она растратила жизнь? Кто украл у нее жизнь? Ее охватывала ненависть к Оливье, ни в чем не повинному пособнику (пусть не повинному — от этого не легче) — пособнику слепого закона, убивавшего ее. Потом ей самой становилось стыдно,— она не была злой по натуре, но она слишком страдала и не могла удержаться, чтобы не выместить свои страдания на другом человеке, который был привязан к одной с нею тачке и губил ее жизнь, хотя он и сам страдал не меньше. После этого она чувствовала себя еще несчастнее, ненавидела себя, но сознавала, что будет поступать еще хуже, если не найдет какого-нибудь выхода. И она ощупью искала выхода, цеплялась, как утопающий, за что попало, силилась отвлечься чем-нибудь, каким-нибудь делом или человеческим созданием, которое могло бы в известной мере стать делом ее рук, ее созданием. Она пробовала вновь заняться умственным трудом, изучала иностранные языки, садилась писать статью, рассказ, пробовала рисовать, сочинять музыку... Все напрасно. В первый же день у нее опускались руки. Все это слишком трудно. «Да и что такое книги, произведения искусства? Я не уверена, что люблю их, что они нечто реальное...» Бывали дни, когда Жаклина оживлялась, говорила, смеялась вместе с Оливье, старалась заинтересоваться разговором, работой мужа, старалась забыться, но не могла, как не могла и плакать... Возбуждение спадало, сердце холодело, в глубоком отчаянии она спешила уединиться. Ей отчасти удалось перевоспитать Оливье. У него появился скептицизм, светскость. Жаклина отнюдь не ставила этого ему в заслугу, а считала, что он такой

же безвольный, как она. Вечерами они почти никогда не сидели дома, она влачила по парижским гостиным свою тоскливую тревогу, которую никто бы не угадал под неизменно настороженной, иронической улыбкой. Она искала кого-нибудь, кто полюбил бы ее и удержал над бездной... Напрасно, все напрасно. На ее отчаянный призыв ответом было одно молчание...

Кристофа она недолюбливала; ей были противны его грубоватые манеры, его оскорбительная прямота, а главное, его равнодушие. Да, она его попросту не любила, но чувствовала, что он хотя бы по-настоящему сильный человек,— скала, которую не сокрушит смерть. И ей хотелось ухватиться за эту скалу, за этого пловца, которого не захлестнут волны, или уж вместе с собой увлечь его на дно.

Кроме того, теперь ей мало было разлучить мужа с его друзьями — она хотела отнять их у него.

Даже самых порядочных женщин иногда тянет испытать свою власть и порой перейти за ее предел. Этим превышением власти слабые утверждают свою силу. Женщины себялюбивые и тщеславные ощущают особую, злобную радость, отнимая у мужа дружбу его друзей. Задача нетрудная — достаточно нескольких томных взглядов. Нет такого мужчины, даже сверхпорядочного, который бы не клюнул на приманку. Правда, настоящий друг вряд ли обманет на деле, но помыслом обманет почти неизбежно. И если пострадавший заметит обман, дружбе придет конец: отныне все между ними будет по-иному. Женщина, затеявшая эту опасную игру, чаще всего не идет дальше, а довольствуется тем, что, рассорив друзей, держит обоих в своей власти.

Кристоф замечал внимание Жаклины и не удивлялся. Когда он питал к кому-нибудь теплое чувство, то в простоте сердечной считал естественным, что и его любят искренне, без задних мыслей. Он охотно отвечал на заигрывания молодой женщины, от души веселился вместе с ней и считал ее такой хорошей, что готов был укорять Оливье в неуменье быть счастливым и сделать счастливой ее.

Он вместе с ними совершил автомобильную прогулку, продолжавшуюся несколько дней, и поехал погостить к ним в бургундскую усадьбу Ланже,— дом там был старый, заброшенный, его не продавали только потому, что с ним были связаны семейные воспоминания. Стоял он уединенно посреди виноградников и лесов; внутри все пришло в ветхость, окна плохо закрывались, пахло плесенью, сыростью, зрелыми плодами и смолой, разогретой на солнце. Постоянно общаясь с Жаклиной,

Кристоф мало-помалу начал поддаваться заманчивому и сладостному чувству, однако не тревожился этим; ему доставляло невинное, но отнюдь не духовное наслаждение смотреть на нее, слушать ее, ощущать рядом ее изящную фигурку, впивать ее дыхание. Оливье хмурился, но молчал. У него не было подозрений — была только смутная тревога, в которой он постыдился бы признаться самому себе; чтобы наказать себя, он часто оставлял их вдвоем. Жаклина ясно видела, что с ним происходит, и была растрогана; ей хотелось сказать:

«Не огорчайся, дружок, ты все-таки мне дороже всех».

Но она этого не говорила, и все трое отдавались уносившему их течению: Кристоф совсем бездумно, Жаклина — сама не зная, чего хочет, и полагаясь на волю случая; один Оливье все предвидел и предчувствовал, но, щадя свое самолюбие и свою любовь, старался не задумываться. Когда воля безмолвствует, поднимает голос инстинкт; когда отсутствует душа, свои права заявляет тело.

Как-то вечером, после обеда, соблазнившись красотой ночи — ночи звездной, безлунной,— они решили погулять по саду. Оливье и Кристоф первые вышли из дому. Жаклина поднялась к себе в спальню, чтобы накинуть платок, и все не появлялась. Кляня женскую медлительность, Кристоф отправился за ней. (С некоторых пор роль мужа, сам того не замечая, играл он.) Он услышал ее шаги. В комнате, где он ждал, закрыли ставни и было совсем темно.

— Поскорее собирайтесь, мадам Копушка,— шутливо крикнул Кристоф,— а не то проглядите все зеркала.

Она не ответила. Шаги смолкли. Кристоф чувствовал, что она здесь, в комнате, но она не шевелилась.

— Где вы? — спросил он.

Она не ответила. Кристоф тоже замолчал и ощупью стал пробираться в темноте; внезапно его охватило волнение, сердце усиленно забилось, он остановился. Совсем близко, возле себя, он ощутил легкое дыхание Жаклины. Он сделал еще шаг и опять остановился. Она была тут, рядом, он это знал, но не мог сдвинуться с места. Несколько секунд полного молчания. И вдруг две руки хватают его руки, притягивают его, ее губы на его губах. Он привлек ее к себе. Оба замерли без звука, без движения. Потом губы разъединились, Жаклина вышла из комнаты. Кристоф, весь дрожа, пошел за нею. Ноги у него подкашивались. Он постоял с минуту, прислонясь к стене, пока не улеглась буря в крови. Потом тоже спустился в сад. Жаклина и Оливье гуляли, мирно беседуя между собой. Кристоф, со-

вершенно уничтоженный, поплелся за ними. Оливье остановился и подождал его. Кристоф остановился тоже. Оливье ласково окликнул его. Кристоф не ответил. Зная, как прихотлив нрав друга и как он иногда на тройной запор замыкается в молчанье, Оливье не стал настаивать и пошел дальше с Жаклиной. А Кристоф, как пес, бессознательно плелся следом, в десяти шагах от них. Когда они останавливались, останавливался и он. Когда они шли, он шел тоже. Так они обошли весь сад и вернулись в дом. Кристоф поднялся к себе в комнату и заперся на ключ. Он не зажег света, не лег в постель. Он ни о чем не думал. Среди ночи он задремал сидя, положив руки и голову на стол. Через час он проснулся, зажег свечу, торопливо собрал свои рукописи, вещи, упаковал их, бросился на кровать и проспал до зари. Когда рассвело, он встал, захватил свои пожитки и ушел. Его прождали все утро. Его искали весь день. Дрожа от злости, но стараясь казаться равнодушной, Жаклина с оскорбительной иронией демонстративно пересчитала столовое серебро. Только на следующий день, к вечеру, Оливье получил письмо от Кристофа:

«Дорогой друг, не сердись, что я удрал, как сумасшедший. Ты ведь знаешь — я и в самом деле сумасшедший. Что поделаешь? Такой уж я уродился. Благодарю тебя за радушный прием. Мне было очень хорошо. Только, видишь ли, я не приспособлен к жизни с другими людьми. Сомневаюсь, приспособлен ли я вообще к жизни. Мне надо сидеть в своем углу и любить людей... издалека: так будет вернее. Когда я их вижу вблизи, то становлюсь человеконенавистником. А этого я не хочу. Я хочу любить людей, всех вас любить. Как мне хочется помочь вам всем! Если бы я мог сделать вас, сделать тебя счастливым! Взамен я с восторгом отдал бы все счастье, какое только суждено мне самому... Но это сделать нельзя. Можно лишь указать другим путь. Нельзя пройти этот путь вместо них. Спасение каждого в нем самом. Спасай себя! Спасайте себя!

Я тебя очень люблю.

*Кристоф.*

Почтительный привет госпоже Жанен».

«Госпожа Жанен» читала письмо, поджав губы и презрительно усмехаясь. Окончив, она сухо заметила:

— Что ж, последуй его совету — спасай себя!

Но когда Оливье протянул руку за письмом, Жаклина скомкала листок, швырнула его на пол, и две крупных слезы выкатились у нее из глаз. Оливье схватил ее руку.

— Что с тобой? — взволнованно спросил он.

— Оставь меня! — сердито закричала она и повернулась, чтобы уйти. С порога она крикнула: — Только о себе и думают!

В конце концов Кристоф умудрился превратить своих покровителей из «Гран журналь» во врагов. Этого следовало ожидать. Небо даровало Кристофу добродетель, которую восславил Гете, а именно — *неблагодарность*.

«Нелюбовь к выражению благодарности,— иронически писал Гете,— встречается редко и свойственна людям выдающимся, вышедшим из неимущих классов и принужденным на каждом шагу принимать помощь, которая бывает особенно горька из-за грубости благодетеля».

Кристоф не считал себя обязанным унижаться только потому, что ему оказали услугу, ни тем более поступаться своей свободой. Сам он не требовал процентов за благодеяния, а расточал их бесплатно. Его благодетели смотрели на дело несколько иначе. Они предъявляли к своим должникам весьма высокие нравственные требования и были глубоко оскорблены, когда Кристоф отказался положить на музыку глупейший гимн для праздника, устроенного газетой в целях рекламы. Они поставили ему на вид недопустимость его поведения. Кристоф огрызнулся и вскоре окончательно вывел их из себя, в резкой форме опровергнув утверждения, приписанные ему газетой.

И тут началась травля. Все средства были пущены в ход. Из арсенала клеветы извлекли на свет божий старое оружие, которое служило поочередно всем бесплодным бездарностям против всех творцов; оно никогда еще никого не убило, но зато без промаха действует на дураков. Кристофа обвинили в плагиате. Из того, что создал он и что создавали его безвестные собратья, набрали по кусочкам несколько пассажей, ловко подали их и доказали, что он обкрадывает чужое вдохновение. Заодно уж его обвинили в том, что он глушит молодые дарования. Добро бы нападали одни критиканы, которые лаются по призванию,— те карлики, что карабкаются на плечи великану и кричат: «Я выше тебя!» Но нет, талантливые люди тоже грызутся между собой, и каждый старается насолить своим собратьям, хотя, как сказано, мир достаточно велик и всем хватит места, чтобы спокойно трудиться; собственное дарование и без того причиняет немало хлопот.

В Германии среди музыкантов отыскались завистники, которые взялись снабжать врагов Кристофа такого рода оружием

и даже, если нужно, изобретать новое. Нашлись они и во Франции. Националисты из музыкальных журналов, сами в большинстве своем иностранцы, поносили его за немецкое происхождение. Успех Кристофа сильно возрос, известную роль тут сыграла мода; естественно, что неумеренные славословия раздражали даже беспристрастных людей, не говоря уж о прочих. У Кристофа появились теперь восторженные почитатели среди посетителей концертов, светской публики и сотрудников передовых журналов — они восхищались всем, что он сочинял, и спешили заявить, что до Кристофа музыки не существовало. Одни занимались толкованием его произведений и усматривали в них философский смысл, которого сам он даже отдаленно не подозревал. Другие твердили, что это переворот в музыке и вызов традициям, тем самым традициям, которые Кристоф уважал больше, чем кто-либо. Возражать было бесполезно. Поклонники доказали бы ему, что он сам не понимает своих творений. Восхищаясь им, они восхищались собой. Не мудрено, что поход против Кристофа вызвал живейший отклик у его собратий, возмущенных «шумихой», в которой он был неповинен. Впрочем, им не требовалось повода, чтобы отрицать ценность его музыки; для людей, не имеющих собственных мыслей и орудующих заученными формулами, это было естественным раздражением против человека, у которого мыслей избыток и выражает он их не совсем складно, подчиняясь своей творческой фантазии, беспорядочной с виду. Сколько раз он слышал упреки в безграмотности от тех начетчиков, для которых стиль заключается в готовых рецептах, составленных определенными кружками и группами, в кухонных формочках, куда предлагается вливать свою мысль! Настоящие друзья Кристофа, которые не старались его понять, одни только и понимали его на самом деле, просто потому, что любили его за ту радость, какую он дарил им, но это были рядовые слушатели, не имевшие права голоса. Оливье один мог дать достойный отпор клеветникам, но Оливье в это время отдалился от своего друга и, казалось, забыл о нем. Итак, Кристоф был брошен на съедение противникам и поклонникам, и они наперебой старались повредить ему. Он махнул на все рукой и перестал отвечать вовсе. Когда какой-нибудь самонадеянный критик из влиятельной газеты, законодатель эстетических норм, с наглостью, какую дает невежество и безнаказанность, выносил очередной приговор Кристофу, тот лишь пожимал плечами и говорил: «Ты меня судишь. И я тебя сужу. Через сто лет потолкуем!» Но пока что клеветники не унимались; и обы-

ватели, как всегда, жадно ловили самые грубые и подлые вымыслы.

Словно желая еще больше осложнить положение, Кристоф как раз в это время решил рассориться со своим издателем — и вдобавок без всяких оснований. Гехт исправно печатал его новые произведения и в делах был честен. Правда, честность Гехта не мешала ему навязывать Кристофу невыгодные договоры, но выполнял он их точно, и даже слишком точно. Однажды Кристоф с изумлением увидел, что написанный им секстет, не спросясь его, переделали в квартет, а ряд фортепианных пьес для двух рук неумело переложили для четырех. Он бросился к Гехту и, ткнув вещественное доказательство ему под нос, спросил:

— Вам это знакомо?

— Разумеется,— ответил Гехт.

— И вы посмели... вы осмелились без спроса коверкать мои произведения!..

— О чем тут спрашивать? — невозмутимо возразил Гехт.— Ваши произведения принадлежат мне.

— И мне тоже, смею надеяться!

— Нет,— кротко сказал Гехт.

Кристоф подскочил:

— Мои произведения мне не принадлежат?

— После того как вы мне их продали — нет.

— Да вы что, смеетесь? Я продал вам бумагу. Можете делать из нее деньги, если хотите. Но все, что на ней написано, это мое, кровью моей написано.

— Вы продали мне все. За это вот произведение я обязался выплатить вам общую сумму в триста франков, из расчета тридцать сантимов за каждый проданный экземпляр первого издания. А вы взамен предоставили мне безоговорочно и безо всяких ограничений все права на ваше произведение.

— Даже право его уничтожить?

Гехт пожал плечами, позвонил и сказал вошедшему конторщику:

— Принесите договорную папку господина Крафта.

Он обстоятельно прочел Кристофу текст того договора, который Кристоф в свое время подписал, не читая, и из которого явствовало, в соответствии с обычными в те времена условиями договоров, заключаемых издателями музыкальных произведений, что господин Гехт «приобретает все права, привилегии, функции автора — в частности, преимущественное перед всеми право издавать, публиковать, гравировать, печатать, пе-

реводить, давать в пользование, продавать в своих интересах вышеназванное произведение в каком ему заблагорассудится виде, разрешать данное произведение к исполнению на концертных и ресторанных эстрадах, в бальных залах, театрах и т. д., издавать любые переложения его для отдельных инструментов, даже со словами, а также изменять его название» и т. д. и т. д.[1].

— Как видите, я еще очень скромен,— заметил Гехт.

— Должно быть, мне надо вас благодарить,— сказал Кристоф,— что вы не состряпали из моего секстета шансонетку.

Он умолк, в отчаянии уронив голову на руки.

— Я продал душу,— стонал он.

— Не беспокойтесь, я не употреблю ее во зло,— насмешливо заметил Гехт.

— Хороша ваша республика, допускающая такие сделки! — сказал Кристоф.— Вы заявляете, что человек свободен, и с торгов продаете мысль.

— Вам за нее заплатили,— возразил Гехт.

— Да, заплатили,— тридцать сребреников! Получайте их обратно,— ответил Кристоф.

Он шарил по карманам, чтобы отдать Гехту триста франков, но не мог их наскрести. Гехт презрительно усмехнулся. Кристоф разъярился от этой усмешки.

— Я желаю взять назад свои произведения, откупить их у вас,— заявил он.

— Вы не имеете на это никакого права,— сказал Гехт.— Но не в моих привычках силой держать людей. Я согласен вернуть вам все, если вы имеете возможность уплатить мне неустойку.

— Самого себя заложу, а найду такую возможность,— отозвался Кристоф.

Он беспрекословно принял все условия, которые Гехт предложил ему через две недели. У него хватило безумия выкупить издания своих произведений по ценам, в пять раз превышающим то, что он получил за них; на самом деле Гехт ничего не преувеличил: он исходил из точной цифры доходов, какие получал сам. Кристоф был не в состоянии расплатиться; Гехт на это и рассчитывал. Он уважал Кристофа как музыканта и человека больше, нежели всех остальных молодых композиторов, и не собирался притеснять его, а только хотел его проучить: Гехт не мог потерпеть, чтобы кто-то посягал на его права. Не он ввел

[1] Текст подлинный.— *Р. Р.*

такие условия договора, они были тогда приняты повсеместно, и потому он считал их справедливыми. Впрочем, он был искренне убежден, что от них выигрывают и автор и издатель, который лучше автора умеет распространять произведения искусства, потому что не смущается, подобно автору, соображениями высшего порядка,— пусть весьма почтенными, но идущими в разрез с подлинными интересами дела. Он был намерен сделать из Кристофа знаменитость, но только своими методами, связав его при этом по рукам и ногам. А теперь он хотел доказать Кристофу, что без Гехта обойтись нелегко. Они столковались так: если по истечении полугода Кристофу не удастся расплатиться, его произведения останутся собственностью Гехта. Заранее можно было предсказать, что Кристоф не соберет и четверти нужной суммы.

Однако он упорствовал: сменил квартиру, полную милых воспоминаний, на другую, более дешевую, начал распродавать вещи и был очень удивлен, что ни одна из них не представляет ценности, делал долги, прибегал к содействию Мооха, на беду крайне стесненного в средствах и, кроме того, прикованного ревматизмом к постели, искал другого издателя и наталкивался на такие же грабительские условия, что и у Гехта, или же на прямой отказ.

Как раз в это время кампания, поднятая против Кристофа в музыкальной печати, достигла апогея. Особенно яростно травила его одна из крупнейших парижских газет. Его избрал мишенью для нападок кто-то из сотрудников, скрывавшийся под псевдонимом: недели не проходило, чтобы в хронике не появилось ехидной заметки, выставляющей Кристофа на осмеяние. Музыкальный критик дополнял своего анонимного собрата и пользовался любым предлогом, чтобы мимоходом лягнуть Кристофа, но это была только артиллерийская подготовка — критик грозился вернуться к этой теме на досуге и в скором времени разделать Кристофа по всем правилам. Враги не торопились, они знали, что точно сформулированное обвинение гораздо меньше действует на публику, чем ряд упорно повторяющихся коварных намеков. Они играли с Кристофом, как кошка с мышью. Кристофу присылали эти статейки, он презрительно отмахивался, но все-таки страдал. И при этом страдал молча, вместо того чтобы отвечать (впрочем, даже при желании ему это вряд ли удалось бы); он из самолюбия упорствовал в бесцельной и неравной борьбе со своим издателем, зря терял время, силы, деньги и не пускал в ход главного своего

оружия — музыки, добровольно отказываясь от рекламы, которую создавал ей Гехт.

И вдруг все переменилось. Обещанная статья не была опубликована. Зловредные намеки прекратились. Травля оборвалась. Мало того, недели через две или три музыкальный критик как бы мимоходом обронил в газете несколько хвалебных строк, видимо желая подчеркнуть, что мир заключен. Крупный лейпцигский издатель предложил Кристофу выпускать его произведения, и договор был составлен на выгодных условиях. В письме с печатью австрийского посольства в самых лестных выражениях высказывалось пожелание внести некоторые из вещей Кристофа в программу парадных вечеров, устраиваемых в посольстве. Филомелу, которой Кристоф покровительствовал, пригласили спеть на одном из этих приемов, после чего ее наперебой стали звать в аристократические гостиные немецкой и итальянской колоний в Париже. Самому Кристофу пришлось побывать на таком музыкальном вечере, и посол оказал ему весьма теплый прием. Однако из краткой беседы выяснилось, что радушный хозяин, вообще мало сведущий в музыке, не имеет понятия о его произведениях. Откуда же явился такой внезапный интерес? Казалось, рука незримого покровителя устраняла с пути Кристофа все препятствия.

Кристоф стал расспрашивать. Посол упомянул о каких-то двух друзьях Кристофа — графе и графине Берени, искренне расположенных к нему. Кристоф впервые слышал это имя, а в тот вечер, когда он был в посольстве, ему не случилось представиться супругам Берени. Он и не добивался знакомства с ними. Он переживал полосу отвращения к людям, полагался на друзей не больше, чем на врагов,— те и другие были одинаково ненадежны, изменяясь от малейшего дуновения; лучше было обходиться без них и повторять вслед за старым мудрецом XVII века:

«Бог дал мне друзей; бог отнял их у меня. Они покинули меня. Я сам покину их и даже поминать не буду».

После того как он уехал от Оливье, Оливье ни разу не подал признаков жизни; казалось, все кончено между ними. У Кристофа не было охоты заводить новых друзей. Он не сомневался, что граф и графиня Берени ничем не отличаются от тех снобов, которые любили выдавать себя за его друзей, и потому палец о палец не ударил, чтобы с ними встретиться. А если бы встретился, то скорее убежал бы от них. Он готов был убежать от всего Парижа. Ему хотелось побыть какое-то время одному, в близкой сердцу обстановке. Хорошо бы несколько дней, всего не-

сколько дней, подышать живительным воздухом родины! Малопомалу эта мысль переросла в болезненную потребность. Ему хотелось увидеть родную реку, родное небо, дорогие могилы. Он жаждал повидать их и не мог, не рискуя свободой: опасность ареста, нависшая над ним после бегства из Германии, не миновала. Тем не менее он готов был на любые безумства, лишь бы хоть день побыть там.

По счастью, он заговорил об этом с одним из своих новоявленных покровителей. На вечере, где исполнялись его произведения, молодой атташе германского посольства сказал ему, что Германия гордится таким композитором, на что Кристоф с горечью ответил:

— Гордится-то гордится, а не впустит к себе, хотя бы я умер у ее порога.

Молодой дипломат попросил объяснить, в чем дело, а через несколько дней приехал к Кристофу и сообщил:

— В высших сферах вами интересуются. О вашем положении было доведено до сведения очень высокого лица, могущего своею властью остановить исполнение приговора, тяготеющего над вами. Оно соизволило принять в вас участие. Удивительно, что ему понравилась ваша музыка. Между нами говоря, вкус у него не слишком хороший, однако голова светлая и сердце великодушное. Отменить приговор в данный момент не находят возможным, но если вы пробудете двое суток в родном городе и повидаете родных, на это закроют глаза. Вот вам паспорт. Не забудьте, что нужно завизировать его по приезде и при отъезде. Будьте осторожны и старайтесь не привлекать к себе внимания.

Кристоф вновь повидал родную землю. Те два дня, что были ему отпущены, он провел в общении с ней и с теми, кто в ней покоился. Он побывал на могиле матери. Могила поросла травой; но кто-то положил на холмик свежие цветы. Рядом покоились отец и дед. Он сел в ногах могилы. Она была у самой кладбищенской ограды. Ее осеняло каштановое дерево, росшее по ту сторону, у проезжей дороги. Через низенькую ограду виднелись золотые нивы, волнующиеся от теплого ветерка; солнце царило над разомлевшей землей; слышался крик перепелов во ржи и легкий шелест кипарисов над могилами. Кристоф задумался в одиночестве. На сердце у него было покойно. Он сидел, обхватив руками колено, прислонившись к ограде, и глядел в небо. На миг глаза его сомкнулись. Как все было ясно и просто! Он чувствовал себя дома, среди своих близких. Он сидел подле

них, словно рука с рукой. Часы текли. Под вечер на песке дорожки зашуршали шаги. Прошел сторож и оглянулся на сидящего Кристофа. Кристоф спросил его, кто положил цветы на могилу. Сторож ответил, что буирская фермерша бывает здесь два раза в год.

— Лорхен? — сказал Кристоф.

— Вы, должно быть, сын? — спросил сторож.

— У нее было трое сыновей,— сказал Кристоф.

— Я про гамбургского говорю. Остальные вышли непутевые.

Кристоф сидел молча, не шевелясь, откинув назад голову. Солнце заходило.

— Пора запирать,— сказал сторож.

Кристоф встал и медленно обошел вместе с ним кладбище. Сторож показывал свои владения, как радушный хозяин. Кристоф останавливался и читал имена на памятниках. Сколько знакомых увидел он здесь! Старик Эйлер, его зять, подальше друзья детства, девочки, с которыми он играл, а вот имя, от которого у него сжалось сердце: Ада... Вечный им всем покой...

Зарево заката опоясывало мирные дали. Кристоф вышел с кладбища и долго еще бродил по полям. Загорались звезды...

Назавтра он опять пришел сюда и провел полдня на вчерашнем месте. Но вчерашний чудесный, молчаливый покой всколыхнула зазвучавшая в сердце беззаботная, радостная песня. Сидя на краю могилы и положив на колено нотную тетрадку, он набрасывал карандашом эту звучавшую в нем мелодию. Так прошел день. Ему казалось, что он работает в своей прежней каморке, а за перегородкой возится мама. Когда он кончил и собрался уходить, даже отошел уже на несколько шагов от могилы, он вдруг вернулся и положил тетрадку в траву, под плющом. Начал накрапывать дождь. Кристоф подумал:

«Она быстро сотрется. Тем лучше!.. Для тебя одной. Больше ни для кого».

Повидал он и реку, и знакомые улицы, где многое переменилось. Вдоль бульвара, проложенного за городской стеной между старинными бастионами, разрослась рощица акаций, которую насадили у него на глазах, теперь она глушила старые деревья. Проходя мимо сада фон Керихов, он узнал тот столбик, на который взбирался мальчишкой, чтобы заглянуть за ограду парка, и был очень удивлен, увидев, какими маленькими стали улица, ограда и сад. У ворот он на минуту задержался. И только двинулся дальше, как услышал стук колес проезжающего экипажа. Он невольно поднял взгляд и встретился со взглядом молодой

дамы, пухленькой, румяной, оживленной; она с любопытством рассматривала Кристофа. Вдруг дама удивленно вскрикнула, приказала кучеру остановиться и позвала:

— Господин Крафт!

Он повернулся.

Она, смеясь, пояснила:

— Я — Минна...

Он бросился к ней почти с таким же волнением, как в день первой встречи [1]. Она представила сидевшего с ней рядом рослого, толстого, лысого господина с победоносно закрученными вверх усами: «Господин юстиции советник фон Бромбах», ее муж. Она настаивала, чтобы Кристоф зашел к ним. Он пытался уклониться. Но Минна твердила:

— Нет, нет, вы должны, непременно должны пообедать с нами.

Говорила она очень громко и очень быстро и, не дожидаясь вопросов, пустилась рассказывать о себе. Ошеломленный ее многословием и шумливостью, Кристоф слушал рассеянно, а больше смотрел на нее. Так это его маленькая Минна! Она расцвела, раздобрела, приобрела пышные формы, цвет лица у нее был прекрасный, нежно-розовый, но черты расплылись, особенно крупным и мясистым стал нос. Движения, манеры, жеманство остались прежними, изменились только формы.

А она тем временем говорила без умолку: рассказывала Кристофу о своем прошлом, самом интимном прошлом, о том, как она влюбилась в своего мужа и как муж влюбился в нее. Кристоф чувствовал себя неловко. Она все видела в розовом свете, безоговорочно считала самыми лучшими, лучше всех других — особенно в присутствии других — свой город, свой дом, свою семью, своего мужа, свою кухню, своих четверых детей и себя самое. При муже она говорила о нем, что «это замечательнейший из людей, каких ей доводилось видеть», что он обладает «сверхчеловеческой силой». «Замечательнейший из людей», смеясь, трепал Минну по щеке и заверял Кристофа, что она «весьма достойная женщина». Господин юстиции советник, по-видимому, был осведомлен о делах Кристофа и не знал, выказывать ли ему уважение или неуважение, имея в виду, с одной стороны, вынесенный ему приговор, а с другой — высочайшее покровительство; в конце концов он решил избрать нечто среднее. А Минна все говорила. Наговорившись о себе, она заговорила о Кристофе и стала донимать его вопросами столь же интимного характера, как и те ответы, которые она давала на вопросы, не

[1] См. «Утро».— *Р. Р.*

заданные им. Она была в восторге от встречи с Кристофом, о его музыке она понятия не имела, но слыхала, что он стал знаменитостью, и ей было лестно, что он любил ее (и что она ему отказала). Она игривым тоном довольно бестактно напомнила ему об этом и потребовала от него автограф для альбома. Она приставала к нему с расспросами о Париже, проявив столько же любопытства, сколько и презрения к этому городу. Она была убеждена, что знает Париж, потому что побывала в «Фоли Бержер» и в Опере, на Монмартре и в Сен-Клу. С ее точки зрения, все парижанки были кокотки, негодные матери, старались иметь поменьше детей, оставляли их дома без присмотра, а сами бегали по театрам и увеселительным заведениям. Возражений она не терпела. После обеда она пожелала, чтобы Кристоф сыграл на рояле, и похвалила его, но в глубине души она не меньше восхищалась игрой мужа.

Кристоф был рад встрече с матерью Минны, фрау фон Керих. Он сохранил к ней тайную симпатию, помня ее доброту. Она и теперь не утратила доброжелательности и держала себя естественнее, чем Минна; но в обращении ее с Кристофом попрежнему был оттенок ласковой насмешки, которая так раздражала его в свое время. Она ни в чем не изменилась с тех пор; у нее остались те же вкусы, и ей казалось немыслимым, что можно уйти дальше, стать лучше. Она противопоставляла прежнего Жан-Кристофа нынешнему и отдавала предпочтение первому.

Никто вокруг нее внутренне не переменился, кроме Кристофа. А ему была тягостна эта провинциальная косность, ограниченность кругозора. Полвечера хозяева дома занимали его сплетнями о не знакомых ему людях, подмечали все смешное у своих близких и объявляли смешным то, что было непохоже на их собственные нравы и обычаи. Под конец Кристофу стало невмоготу это злобное, мелочное любопытство. Он попытался перевести разговор на свою жизнь за границей, но сразу же почувствовал, что невозможно объяснить им, какова эта французская цивилизация, из-за которой он столько выстрадал и все обаяние которой ощущал сейчас, выступая ее представителем у себя на родине; невозможно объяснить им, что такое широта латинского духа, чей основной закон — стараться понять как можно больше, не боясь погрешить против так называемой нравственности. А с ними, в особенности с самой Минной, он вновь чувствовал то, от чего немало натерпелся в свое время и о чем успел позабыть: гордыню, проистекающую из слабости не меньше, чем из добродетели, беспощадную честность, которая кичится своей доброде-

телью и не способна понять, как это можно оступиться, преклонение перед приличиями, негодующее презрение к «неположенному» превосходству. Минна была невозмутимо и безоговорочно убеждена в своей неизменной правоте. В суждениях о других — грубая прямолинейность. Впрочем, она и не старалась их понять; ее интересовала только собственная особа, свое себялюбие она прикрывала легкой метафизической дымкой, то и дело толковала о своем «я», о развитии своего «я». Возможно, что она была неплохая женщина, была способна любить. Но она слишком любила себя. А главное, слишком себя уважала; казалось, она непрерывно молится на это свое «я». Чувствовалось, что она совершенно и окончательно разлюбила бы горячо любимого человека, если бы он на миг погрешил против почтения, которое обязан был оказывать ее «я» (хотя бы он потом каялся всю жизнь). К черту ваше «я»! Вспомните хоть раз, что существует «ты»!..

И все же Кристоф смотрел на нее очень снисходительным взглядом. Он, обычно такой несдержанный, с ангельским терпением слушал ее разговоры и всячески старался не осуждать ее. Он, точно ореолом, окружал ее благоговейными воспоминаниями отроческой любви и силился найти в ней сходство с девочкой Минной. В некоторых движениях, пожалуй, проскальзывало что-то прежнее, и отдельные звонкие нотки в ее голосе будили волнующий отголосок. Он ловил их, молчал и не слушал того, что она говорила, но делал вид, будто слушает, и проявлял к ней умиленную почтительность. Ему трудно было сосредоточиться — своей шумливостью она заглушала былую Минну. В конце концов он утомился и встал.

«Бедненькая малютка Минна! Они хотят уверить меня, что ты и эта нарядная толстуха, такая крикливая и нудная,— одно и то же. Но я-то знаю, что это неправда. Давай уйдем, Минна. Что у нас с ними общего?»

Он ушел, пообещав заглянуть на другой день. Если бы он сознался, что уезжает в тот же вечер, они бы не отпустили его до самого отхода поезда. С первых же шагов по темной улице к нему вернулось то отрадное состояние духа, какое было у него до появления экипажа. Воспоминание о тоскливом вечере стерлось, исчезло без следа, потонуло в рокоте Рейна. Кристоф пошел берегом в ту сторону, где стоял дом, в котором он родился, и сразу же узнал этот дом. Там все спали. Ставни были заперты. Кристоф остановился посреди улицы; если он постучится, дверь, казалось ему, откроют знакомые тени. Он вошел в палисадник возле дома, у самой реки, и сел посидеть на том месте, куда хо-

дил когда-то по вечерам беседовать с Готфридом. И минувшие дни ожили перед ним. Воскресла вновь и милая девочка, вместе с ним вкусившая мечту первой любви. Вновь переживали они юную страсть со сладостными слезами и беспредельными надеждами. И, добродушно улыбаясь, он подумал про себя:

«Ничему-то меня не научила жизнь. Я все вижу... все знаю... и никак не расстанусь с прежними иллюзиями».

Какое счастье — неиссякаемая способность любить и верить! Все, что осенено любовью, неподвластно смерти.

«Настоящая Минна со мной... со мной, а не с ним, и эта Минна всегда останется юной!»

Луна выплыла из дымки облаков, и под ее лучами заискрилась серебристая чешуя волн. Кристофу казалось, что раньше река не подступала так близко к пригорку, на котором он сидел. Он пригляделся. Ну да. Раньше перед этой вот грушей тянулась песчаная коса, над ней пологий зеленеющий склон, где он резвился так часто. Река похозяйничала тут и, подступая все ближе, подтачивала уже корни грушевого дерева. У Кристофа сжалось сердце. Он пошел по направлению к станции. Здесь вырос новый квартал — рабочие казармы, строящиеся верфи, высокие заводские трубы. Кристоф вспомнил о рощице акаций, которую видел днем, и подумал:

«Тут тоже все подтачивает река...»

Спящий в темноте старинный городок со всеми его обитателями, живыми и мертвыми, стал еще роднее Кристофу, потому что над ним нависла угроза...

Hostis habet muros... [1]

Надо скорей спасать самое дорогое! Смерть подкарауливает все, что мы любим. Поспешим навеки запечатлеть в бессмертной бронзе преходящий лик. Отвоюем у пламени сокровища отчизны, прежде чем огонь пожрет дворец Приама...

Кристоф сел в поезд, и тот помчался, словно убегая от потопа. Но, подобно мужам, что спасали из гибнущего города его богов, Кристоф увозил в себе искорку жизни, брызнувшую из родной земли, и священную душу прошлого.

Жаклина и Оливье на время сблизились снова. У Жаклины умер отец. Она была глубоко потрясена его смертью. Перед лицом настоящего горя она почувствовала, как мелки и пошлы все другие огорчения; ласка, которой окружил ее Оливье, оживила

[1] Враг владеет [этими] стенами *(лат.)*.

ее привязанность к нему. Жизнь вернула ее на несколько лет назад, к печальным дням болезни и смерти тети Марты, после которых настали блаженные дни любви. Жаклина поняла, что не ценила жизни и что надо быть ей благодарной, если она не спешит отобрать то немногое, что дарит нам. Теперь же, почувствовав всю цену этого немногого, она ревниво старалась его удержать. Врач посоветовал на время увезти ее из Парижа, чтобы рассеять скорбь утраты, и путешествие вместе с Оливье — своего рода паломничество по тем местам, где они любили друг друга в первый год их супружества, совсем растопило ее сердце. Когда где-нибудь на перекрестке перед ними возникал грустный и милый образ любви, казалось давно исчезнувшей, и они видели, как она проходит мимо, и твердо знали, что она неизбежно исчезнет вновь,— надолго ли? — быть может, навсегда...— они с особенной страстностью цеплялись за нее...

«Побудь, побудь с нами!»

Но оба сознавали, что удержать ее нельзя. Когда Жаклина вернулась в Париж, она ощутила в себе трепет новой, крохотной жизни, зажженной любовью. А сама любовь уже ушла. Бремя, которое Жаклина носила в себе, становилось все тяжелее, но не воскрешало ее привязанности к Оливье и не давало ей той радости, какую она ожидала. Она с тревогой заглядывала в себя. Прежде, когда она тосковала, ей казалось, что появление малютки спасет ее. И вот теперь она ожидает ребенка, а спасения не видно. Она с ужасом чувствовала, как это живое растение пускает в ней корни, становится все больше и больше, сосет ее кровь. По целым дням она сидела, глядя в пространство, сосредоточенная, вся без остатка поглощенная неведомым существом, которое завладело ею. Что-то баюкало ее, какое-то смутное, нежное и томительное жужжание. Очнувшись от забытья, она вскакивала в испарине, в ознобе, в ней вспыхивало возмущение. Она пыталась вырваться из сетей, которыми опутала ее природа. Ей хотелось жить, быть свободной, и казалось, что природа обманула ее. Потом она стыдилась таких мыслей, обзывала себя чудовищем, думала: «Неужели же я хуже других женщин или сделана из другого теста, чем они?» И мало-помалу стихала, отдавая, словно дерево, все силы, все соки живому плоду, зревшему в ее чреве, и мечтала о нем: «Какой он? Какой он будет?..»

Когда она услышала первый крик народившегося на свет младенца, когда увидела его жалкое, трогательное тельце, на душе у нее стало тепло. В один миг в ней вспыхнула торжествующая радость материнства, самая могучая на земле,— сознание, что из твоих мук родилась плоть от плоти твоей, родился

человек. И великая волна любви, движущая миром, обдала ее с головы до пят, подхватила, захлестнула, подняла до небес... Женщина, когда рождает, уподобляется тебе, господи; но ты не ведаешь радости, какую испытывает она, ибо ты не страдал...

Немного погодя волна спала, и душа спустилась на землю.

Дрожа от волнения, Оливье нагнулся над ребенком и, улыбаясь Жаклине, старался понять, какие таинственные нити связывают их обоих и этого червячка, еще не похожего на человека. С чувством легкой гадливости он бережно прикоснулся губами к сморщенному, желтому лобику. Жаклина следила за ним: ревнивым движением она оттолкнула мужа, схватила ребенка, прижала к груди и принялась целовать. Ребенок запищал, тогда она отдала его и, повернувшись к стенке, заплакала. Оливье подошел к ней, приласкал ее, поцелуями осушил ее слезы; она тоже поцеловала его, насильственно улыбнулась; потом попросила, чтобы ее оставили в покое, но не уносили от нее ребенка. Увы, что делать, когда любовь умерла? Мужчина, в значительной степени живущий интеллектом, не может до конца изжить сильное чувство — в сознании всегда остается какой-то след, какая-то мысль... Пусть он больше не любит, но он не забывает, что любил. А женщина и полюбила, не размышляя, всем существом, и разлюбила, также не размышляя, всем существом; как же ей быть? Принудить себя, обманываться? А если она слишком безвольна, чтобы принудить себя, и слишком правдива, чтобы обманываться?

Облокотившись на подушку, Жаклина с нежной жалостью смотрела на ребенка. Какой он будет? Каким бы он ни был, не все в нем от нее. Что-то в нем есть и от «него». А «его» она больше не любит. Бедный малыш! Родной мой малыш! Она сердилась на это существо, которое привязывало ее к прошлому, и целовала его, склонившись над ним, целовала без конца...

Великая беда современных женщин в том, что они и слишком свободны, и недостаточно свободны. Будь они более свободны, они старались бы чем-нибудь связать себя и находили бы в этом своего рода прелесть и успокоение. Будь они менее свободны, они примирились бы с наложенными на них узами, зная, что все равно уз не порвать, и от этого меньше терзали бы себя. Хуже всего узы, которые не связывают, и обязанности, которые можно не выполнять.

Если бы Жаклина думала, что ей назначено жить в том же скромном уголке до конца дней, этот уголок показался бы ей

менее тесным и неудобным,— она постаралась бы сделать его уютнее и кончила бы тем, с чего начала: полюбила бы его. Но она знала, что может вырваться отсюда, и потому задыхалась здесь, могла бунтовать и пришла к выводу, что бунтовать — ее долг.

Удивительные существа — современные моралисты, в них все отмерло, кроме способности наблюдать. Они стремятся только видеть жизнь, почти не стараются понять ее и уж отнюдь не думают ее направлять. Усмотрев в человеческой природе то, что в ней есть, и отметив это, они считают свою задачу выполненной, констатируют:

— Это есть.

И не пытаются ничего изменить. Кажется, будто в их глазах самый факт существования является уже добродетелью. Таким образом, за любыми слабостями признаны священные права. Это признаки явной демократизации. Раньше безответственность была привилегией короля. Теперь этой привилегией пользуются все — и шире всех прохвосты. У них замечательные советчики! С величайшим усердием и добросовестностью господа моралисты стараются показать слабым, до какой степени они слабы и что слабость их исконна является законом природы. Слабым ничего не остается, как примириться с неизбежностью. А то, чего доброго, и возгордиться! После того как женщине прожужжали уши, что она — больное дитя, ей это стало нравиться. Ее недостатки поощряют, даже культивируют. Никому бы не пришло в голову любезно сообщать ребенку, что в отроческую пору человек способен и на преступление, и на самоубийство, и на любые физические и нравственные извращения и они вполне простительны потому, что душа еще не обрела равновесия,— ведь это значило бы плодить преступников. Даже и взрослому достаточно услышать, что он лишен свободной воли, как он перестанет владеть собой, и животное начало возьмет над ним верх. Внушите женщине, что она ответственна за свои поступки, что она хозяйка своих желаний, своей воли, и она ею будет. Но вы трусы, вы не считаете нужным говорить ей это, вам выгоднее, чтобы она об этом не знала!..

Пошлая среда, в которую попала Жаклина, окончательно сбила ее с толку. Отдалившись от Оливье, она вернулась в то общество, которое так презирала в годы девичества. Вокруг нее и ее замужних приятельниц образовался кружок молодых людей и молодых дам, неглупых, богатых, шикарных, праздных, беспринципных. Там была принята полнейшая свобода мыслей и выражений, которую обуздывали и сдабривали только остро-

умием. Участники кружка не прочь были присвоить себе девиз Телемского аббатства у Рабле:

«Делай, что хочешь».

Но они приписывали себе слишком много,— в сущности, желания их были довольно ограниченны; это были худосочные телемцы. Они усиленно проповедовали свободу инстинктов; но самые инстинкты у них порядком потускнели, и распутство их было чисто мозговым. Им нравилось нежиться в огромной купели цивилизации, барахтаться в этой тепловатой и пресной грязи, где размягчаются волевые импульсы, стихийные жизненные силы, первобытные чувствования, все, что способно дать пышные всходы веры, воли, долга и страсти.

Жаклина всем своим изящным телом погружалась в эту студенистую ванну салонной мудрости. И Оливье не мог ей помешать. Впрочем, его тоже коснулась болезнь века: он считал себя не вправе посягать на чужую свободу и от любимой женщины хотел получать лишь то, к чему ее побуждала любовь. А Жаклина не ставила ему этого в заслугу, считая себя свободной по праву.

Хуже всего, что и в этом двуличном мире она осталась цельной натурой, чуждой всякой раздвоенности: уверовав во что-нибудь, она отдавалась всей душой, слабенькой, но пылкой и великодушной, несмотря на эгоизм, и сжигала за собой все корабли; а из совместной жизни с Оливье она вынесла нравственную прямолинейность, которую готова была вложить даже и в безнравственные поступки.

Новые ее друзья, люди осмотрительные, старались не показываться посторонним в истинном свете. Правда, на словах они проповедовали полное освобождение от общественных и моральных предрассудков, но на деле превосходно уживались с теми из них, какие считали для себя выгодными. Они эксплуатировали и мораль и общество, изменяя им, как нечестные слуги, обкрадывающие хозяев. Они обкрадывали даже друг друга — по привычке и из праздности. Среди них было много мужей, знавших, что у жены есть любовник. А женам было известно, что у мужей есть любовницы. И все с этим мирились. Нет огласки — не будет и скандала. Основой этих образцовых супружеств была молчаливая договоренность между партнерами... вернее, сообщниками. Но Жаклина, по своей прямоте, играла честно, в открытую. Прежде всего быть искренней. Всегда и во всем искренней. Искренность тоже принадлежала к числу модных в то время добродетелей. Но тут-то особенно наглядно сказывается, что для здоровых все здорово и все порча для испорченных сердец! До

какого уродства доходит порой искренность! Для посредственных людей пагубно заглядывать в себя. Убеждаясь в своей посредственности, они и тут находят повод для самолюбования.

Жаклина по целым дням изучала себя, как в зеркале, и видела такие черточки, которые ей лучше было бы не видеть; но, однажды увидев их, она уже не могла оторвать от них глаз; и, вместо того чтобы бороться с ними, наблюдала, как они разрастаются, становятся огромными, захватывают все поле ее зрения, все помыслы.

Ребенок не мог заполнить ее жизнь. Ей не удалось самой выкормить его,— он чуть было совсем не захирел у нее. Пришлось взять кормилицу. Сперва Жаклина очень огорчалась. А потом все пошло как нельзя лучше. Малыш сразу поздоровел; он рос толстеньким, крепеньким бутузом, никого не тревожил, большую часть времени спал и почти не пищал по ночам. Настоящей его матерью стала кормилица, дородная нивернезка — она выкармливала уже не первого младенца и к каждому из своих питомцев питала животную, ревнивую, требовательную любовь. Когда Жаклина высказывала какое-нибудь пожелание, кормилица не слушалась и поступала по-своему, а если Жаклина пробовала возражать, то вскоре сама убеждалась в своем невежестве. С самого рождения ребенка она все прихворывала: ее ужасно угнетало начавшееся у нее воспаление вен, которое приковало ее на несколько недель к постели; она непрерывно грызла себя, как в бреду мысленно твердя все ту же жалобу: «Я не жила, совсем не жила, а теперь жизнь кончена...» Больное воображение внушило ей уверенность, что она искалечена навсегда, и в ней поднималась глухая, жгучая, затаенная злоба против невольного виновника ее страданий, против ребенка. Такое чувство вовсе не редкость, но о нем обычно умалчивают, и женщина, испытывающая его, стыдится признаться в нем даже самой себе. Жаклина осуждала себя, материнская любовь боролась в ней с себялюбием. Она умилялась, глядя на ребенка, спящего сном праведника, а через минуту уже думала со злобой: «Он меня убил»,— и не могла подавить раздражение при виде этого безмятежного сна, купленного ценой ее мук. Даже после того как она выздоровела, а ребенок подрос, смутное чувство враждебности осталось. Стыдясь этого чувства, она переносила его на Оливье. Ей все казалось, что она еще больна, и, в вечном страхе за свое здоровье, она окончательно сосредоточила все мысли на себе, чему способствовали врачи, поощряя ее безделье, источник всех бед,— ей не дали кормить ребенка, не позволяли ничего делать, никого к ней не пускали, несколько недель продержали в

постели, откармливая, как на убой. Удивительны эти новейшие методы лечения неврастении, при которых болезнь моего «я» заменяется другой болезнью — гипертрофией моего «я». А вместо этого следовало бы применить кровопускание, оттянуть кровь от разбухшего эгоизма, или же, если субъект и без того малокровный, перегнать ее от головы к сердцу, вызвав сильную нравственную реакцию!

Жаклина вполне оправилась физически, пополнела, помолодела, но нравственный ее недуг усилился. Несколько месяцев вынужденного одиночества порвали последнюю духовную связь между нею и Оливье. Несмотря на многие уступки, Оливье оставался неизменно верен своим идеалам, и, пока Жаклина была подле него, она испытывала на себе его благодетельное влияние; тщетно старалась она избавиться от порабощения своей воли человеком более стойким, уклониться от взгляда, видевшего ее насквозь и вынуждавшего порой, против воли, признать свою неправоту. Но как только случай разъединил ее с Оливье, как только ее перестала стеснять его проницательная любовь и она почувствовала себя свободной, так сразу же дружеское доверие сменилось злобной досадой на то, что она подчинялась столько лет и терпела ярмо привязанности, которой сама уже не испытывала. Сколько неумолимой злобы таится порой в сердце человека, в чью любовь веришь, как в свою! Все меняется в один миг. Вчера еще казалось, что она любит, и она сама так думала. И вот она разлюбила. Тот, кого она любила, вычеркнут из ее сознания. Он видит вдруг, что перестал для нее существовать, и недоумевает — он не заметил постепенно происходившей в ней перемены, не подозревал, что против него нарастала затаенная враждебность, и теперь ему не хочется думать о причинах этой мстительной ненависти. А причины, многообразные и неясные, зачастую зародились давно — одни погребены под покровами алькова, другие идут от оскорбленного самолюбия, от того, что сокровенные побуждения были разгаданы и осуждены, третьи... да женщина и сама не отдает себе в них отчета. Бывают обиды, нанесенные бессознательно, но женщина не прощает их никогда; до них никогда не докопаешься, сама она толком не помнит их, но обиды впились в ее плоть, и плоть не забудет их.

Не такому человеку, как Оливье, было бороться с этой крепнущей волной неприязни; тут требовалась натура менее сложная, более примитивная и в то же время лучше приспособляющаяся, без чрезмерной душевной щепетильности, но наделенная острым чутьем и способная, когда нужно, на поступки, которые умом отвергаешь решительно. А Оливье заранее был

побежден и сложил оружие: с присущей ему проницательностью он давно уже видел, что у Жаклины наследственность берет верх над волей, что тут сказывается материнский характер; он видел, что ее неудержимо тянет на дно голос крови, и все его беспомощные, неловкие старания удержать ее только ускоряют падение. Он принуждал себя быть спокойным. А она, в силу бессознательного расчета, старалась вывести его из этого спокойствия, вызвать на бестактность, грубость, резкость, чтобы иметь право презирать его. Если он раздражался, она презирала его. Если после такой вспышки он ходил с пристыженным видом, она еще больше презирала его. Если же ему удавалось сдержать раздражение, она начинала его ненавидеть. А хуже всего было молчание, в котором они проводили друг подле друга целые дни. Такое молчание душит, давит, лишает разума, доводит до исступления самых кротких людей, так что минутами им хочется причинить боль, закричать самому и другого заставить кричать. Молчание, беспросветное молчание, оно окончательно разрушает любовь, и люди, подобно мирам, следуя каждый своей орбите, исчезают во тьме. Жаклина и Оливье дошли до такого состояния, когда даже попытка сблизиться отдаляет людей. Их жизнь стала нестерпима. Случай ускорил развязку.

Последний год Сесиль Флёри стала часто бывать у Жаненов. Оливье встретился с нею у Кристофа; затем Жаклина пригласила ее, и Сесиль продолжала у них бывать даже после того, как Кристоф разошелся с ними. Жаклина была с ней приветлива; хотя сама она не очень разбиралась в музыке и находила, что Сесиль несколько вульгарна, однако поддавалась обаянию ее пения и ее умиротворяющему воздействию. Оливье охотно музицировал с Филомелой. Мало-помалу она стала своим человеком в доме. От нее веяло благожелательством; от ее открытого взгляда, здорового, жизнерадостного вида, добродушного, пожалуй чересчур громкого смеха сразу делалось веселее, и когда она входила в гостиную Жаненов, казалось, будто солнечный луч пронизывает пелену тумана. Оливье и Жаклине становилось легче на душе. Когда она собиралась уходить, каждому из них хотелось сказать ей:

«Нет, нет, побудьте еще, без вас мне холодно!»

Во время отсутствия Жаклины Оливье все чаще встречался с Сесиль и частично проговорился ей о своих горестях. Он совершил такую неосторожность в порыве откровенности, свойственной людям нежным и слабым, которым нужно излить душу, чтобы не задохнуться. Сесиль пожалела его и постаралась утешить словами материнской ласки. Она сострадала им обоим

и уговаривала Оливье не падать духом. Но потому ли, что она сильнее, чем он, почувствовала всю неловкость такого рода признаний, или по какой-нибудь другой причине, только она стала бывать реже. Должно быть, ей казалось, что она поступает нечестно по отношению к Жаклине, что ей не следует знать их интимные тайны. Во всяком случае, Оливье именно так истолковал это и одобрил ее поведение, потому что сам упрекал себя за свою откровенность. Но, реже встречаясь с Сесиль, он понял, чем она для него стала. Он привык делиться с ней мыслями. Она одна умела облегчить его тяжелое состояние. Он слишком хорошо разбирался в своих чувствах, чтобы не дать верного названия чувству к ней. Самой Сесиль он ни слова не сказал об этом. Но не устоял перед искушением описать для себя свои переживания. С некоторых пор он вернулся к опасной привычке беседовать на бумаге с самим собой. За годы любви он отучился от этой привычки, но теперь, когда он опять стал одинок, наследственная тяга взяла верх — это приносило некоторое облегчение и отвечало потребности писателя в самоанализе. Итак, он описывал себя, свои горести, как будто рассказывал о них Сесиль, только тут он был гораздо откровеннее — ведь она этого никогда не прочтет.

Но волею судьбы эти записки попали на глаза Жаклине. И случилось это именно в такой день, когда она чувствовала себя ближе к Оливье, чем все последние годы. Убирая у себя в шкафу, она перечитывала любовные письма, полученные когда-то от него, и была растрогана до слез. Бросив уборку, она сидела в уголке у шкафа, вспоминала прошлое и горько каялась, что сама разрушила его. Она думала о том, сколько огорчений причинила Оливье,— эту мысль она никак не могла перенести равнодушно; она могла забыть Оливье, но сознание, что он страдает из-за нее, было ей нестерпимо. У нее сердце разрывалось, ей хотелось броситься в его объятия, крикнуть ему:

«Оливье, Оливье, что мы с тобой сделали? Ведь это безумие, безумие! Не надо, не надо терзать друг друга!»

Ах, если бы он вошел в этот миг!

Но как раз в этот миг она наткнулась на его записки. Все было кончено. Поверила ли она, что он в самом деле изменил ей? Возможно. Да и не все ли равно? Для нее измена была не в поступках, а в помыслах. Она скорее простила бы любимому человеку то, что он завел любовницу, чем то, что он тайком отдал другой сердце. И была права.

«Экая важность»,— скажут некоторые люди. (Бедняги, они страдают только от реальных измен! А ведь плотские утехи не

имеют значения, лишь бы сердце хранило верность. Когда же изменяет сердце, остальное уже не важно).

Жаклина ни минуты не подумала о том, чтобы вернуть любовь Оливье. Поздно! Она и сама теперь недостаточно любила его. Или любила еще слишком сильно... Нет, то, что она испытывала, не было ревностью. Это было крушение последнего оплота, тех остатков веры в Оливье, упования на него, какие сохранились в тайниках ее души. Она не признавалась себе, что сама по собственной небрежности оттолкнула его, довела до отчаяния, что она повинна в этой его новой любви, кстати вполне безгрешной, а главное, что человек не властен любить или не любить. Ей в голову не пришло провести параллель между этим невинным увлечением и своим флиртом с Кристофом,— ведь она-то не любила Кристофа, значит, это не могло идти в счет. Ослепленная обидой, она доходила до крайностей, уверяла себя, что Оливье лжет ей, что она для него больше не существует. Последняя опора ускользала от Жаклины, как раз когда она протянула руку, чтобы ухватиться за нее... Все было кончено.

Оливье так никогда и не узнал, что́ она выстрадала в этот день. Но, увидев ее, он тоже почувствовал, что все кончено.

С этой минуты они разговаривали только на людях. Они зорко следили друг за другом, как два затравленных зверя, которые боятся друг друга. Иеремия Готхельф где-то с невозмутимым простодушием описывает мучительное существование двух супругов, которые разлюбили друг друга и заняты взаимным наблюдением, каждый старается подметить у другого признаки болезни, и хотя отнюдь не собирается ускорить его смерть и даже не желает ее, но позволяет себе помечтать о непредвиденной случайности, и каждый надеется, что именно он окажется более живучим. Минутами Жаклина и Оливье готовы были заподозрить друг друга в таких мыслях. Их не было ни у одного, ни у другого, но достаточно и того, что Жаклина приписывала подобные помыслы Оливье и по ночам в минуты лихорадочной бессонницы твердила себе, что он крепче ее, что он нарочно старается ее доконать и скоро добьется своего. Чудовищный бред расстроенного воображения и смятенной души. И при этом лучшей, самой сокровенной стороной своего «я» они любили друг друга!..

Обессилев под этим бременем, Оливье не пытался бороться, устранился, выпустил из рук кормило и предоставил Жаклину самой себе. Когда она почувствовала себя на свободе, без рулевого, у нее закружилась голова — ей нужен был повелитель, чтобы возмущаться против него, а раз его не стало, необходимо

было найти нового повелителя. И ею овладела навязчивая идея. До тех пор, несмотря на все обиды, ей ни разу не приходила в голову мысль расстаться с Оливье. А тут она решила, что все узы порваны. Ей захотелось, пока не поздно, любить и быть любимой (несмотря на свою молодость, она считала себя старухой),— и она стала влюбляться, переживала воображаемую, но всепоглощающую страсть, увлекалась первым встречным, какой-нибудь знаменитостью или даже просто именем; но, раз увлекшись кем-то, уже думаешь, что без этого избранника нельзя жить, уже не можешь стряхнуть наваждение, оно опустошает душу, вытесняет все, что прежде наполняло ее: другие привязанности, нравственные понятия, воспоминания, собственную гордость и уважение к окружающим. А после того как все сожжено, навязчивая идея отмирает в свой черед, за отсутствием горючего, но из развалин поднимается совершенно новый человек, зачастую озлобленный, жестокий, состарившийся, во всем изверившийся, которому остается только прозябать в жизни, как прозябает трава у подножья разрушенных памятников!

Навязчивая идея и на этот раз отыскала объект, способный принести одно лишь разочарование. На свою беду, Жаклина влюбилась в завзятого сердцееда, в парижского писателя, немолодого, некрасивого, обрюзгшего, потасканного, с сизобагровым лицом, гнилыми зубами и ужасающей душевной черствостью; зато он был в моде и разбил сердце множеству женщин. У Жаклины не было даже того оправдания, что она не знала об эгоизме своего героя; наоборот, он выставлял его напоказ в своем творчестве и делал это умышленно: эгоизм в оправе искусства — то же, что блестящая приманка птицелова или огонь, гипнотизирующий слабовольных. Многие из приятельниц Жаклины попались в его силки: он без особого труда соблазнил, а затем бросил одну молодую женщину, недавно вышедшую замуж... Жертвы от этого не умирали, но, к вящему удовольствию публики, довольно неумело скрывали свою обиду. Впрочем, даже те из них, которые были особенно жестоко уязвлены, старались в своем распутстве не выходить за пределы здравого смысла, так как больше всего оберегали свои интересы и светские обязанности. Ни скандала, ни огласки они не допускали, втихомолку обманывали мужа и подруг и сами втихомолку страдали от обмана. Это были подвижницы, ради мнения света способные на все.

Но Жаклина была безумица — она не только могла сделать то, о чем говорила, но и говорить о том, что сделала.

В своих безумствах она не рассчитывала, не думала о себе. Она обладала опасным качеством — никогда не лукавила перед собой и не пугалась ответственности за свои поступки. Она была лучше окружающих и потому поступала хуже их. Полюбив и решившись на измену, она очертя голову бросилась в любовную авантюру.

Госпожа Арно сидела одна у себя дома и вязала с тем судорожным спокойствием, с каким, должно быть, трудилась Пенелопа над своим пресловутым рукоделием. И, как Пенелопа, она тоже ждала мужа. Г-н Арно отсутствовал по целым дням. У него были и утренние и вечерние уроки. Обычно он приходил домой завтракать; хотя он прихрамывал, а лицей помещался на другом конце Парижа, это длинное путешествие он совершал не столько из любви к жене или из экономии, сколько по привычке. Но иногда его задерживали дополнительные занятия или же соблазняла близость библиотеки, и он уходил туда поработать. Люсиль Арно сидела одна в пустой квартире. Никто не заглядывал к ней, кроме прислуги, приходившей с восьми до десяти часов для черной работы, и кроме поставщиков, которые по утрам приносили то, что было заказано, и получали заказы на завтра. В доме у нее не осталось знакомых. Кристоф переехал, и новые жильцы расположились в сиреневом саду. Селина Шабран вышла замуж за Андре Эльсберже. Эли Эльсберже уехал с семьей в Испанию, работать на руднике. Старик Вейль овдовел и почти не жил на парижской квартире. Только Кристоф и его приятельница Сесиль продолжали бывать у Люсиль Арно; но жили они далеко, целый день были заняты утомительной работой и по нескольку недель не заглядывали к ней. Ей приходилось довольствоваться собственным обществом.

Да она и не скучала. Любая мелочь занимала ее — какое-нибудь домашнее дело, комнатное растеньице, чахлую листву которого она каждое утро обтирала с материнской заботливостью. Ее любимец — ленивый серый кот, как многие избалованные домашние животные, отчасти перенял привычки хозяйки: целые дни проводил у камина или на столике под лампой и следил, как мелькают ее пальцы, а иногда обращал к ней загадочный взгляд, с минуту пристально смотрел на нее, потом взгляд угасал и снова становился равнодушным. Даже мебель помогала ей коротать время. Она сроднилась со многими вещами, ей доставляло детскую радость холить их, бережно сти-

рать пыль, она ставила каждый предмет на привычное место и вела с ним молчаливый разговор, улыбалась изящному секретеру с откидной крышкой эпохи Людовика XVI, единственной своей старинной вещи. Каждый день она все с тем же удовольствием смотрела на него. Не меньше времени уходило на пересмотр белья: она часами простаивала на стуле, засунув голову и руки в просторный деревенский шкаф, перебирала и раскладывала, а кот часами с любопытством смотрел на нее.

Но самые блаженные минуты наступали после того, как, закончив все домашние хлопоты, наспех позавтракав в одиночестве (она ела очень мало), побывав в городе по самым неотложным делам, она около четырех часов возвращалась домой и усаживалась у окна или у камина с работой и с неизменным котом на коленях. Иногда она придумывала предлог, чтобы не выходить вовсе: ей приятнее всего было сидеть дома, особенно зимой, когда шел снег. Она терпеть не могла холода, ветра, грязи, дождя, потому что и сама была по натуре чистоплотной кошечкой, избалованной неженкой. Она предпочла бы ничего не есть, лишь бы не ходить покупать себе завтрак, если поставщики забывали про нее. В таких случаях она довольствовалась тем, что находила в буфете,— кусочком шоколада или яблоком. Мужу она в этом ни за что бы не призналась. Впрочем, это были ее единственные проказы. И вот в такие серенькие дни, а иногда и в ясные, солнечные (когда небо сияло синевой, уличные шумы глухо доносились до тихой, прохладной квартиры и словно светлый мираж окутывал душу) она сидела с вязанием в своем любимом уголке, поставив ноги на скамеечку, погрузившись в думы, не шевелясь,— только пальцы двигались неутомимо. Рядом лежала любимая книжка, чаще всего шаблонный томик в красном переплете, перевод английского романа. Читала она не спеша, по главе в день; и книжка у нее на коленях подолгу оставалась открытой на той же странице или не открывалась вовсе — она и так уже знала ее и в мечтах переживала заново. Длинные романы Диккенса и Теккерея читались по целым неделям, а в мечтах растягивались на годы, обволакивали ее своим теплом. Современные люди читают торопливо и невнимательно, а потому и не знают, какую волшебную силу излучают хорошие книги, когда медленно смакуешь их. Для г-жи Арно жизнь их героев была такой же реальностью, как и ее собственная. Некоторым она рада была бы отдать душу. Леди Каслвуд, нежная ревнивица с материнским и девственным сердцем, умевшая любить и молчать, была ей точно сестра; маленький Домби был ее лю-

бимым сыночком, а сама она чувствовала себя Дорой, девочкой-женой, обреченной на раннюю смерть; она раскрывала объятия всем этим созданиям с чистой детской душой, которые проходят по жизни, глядя вокруг смелым и ясным взором; а хоровод славных бродяг и безобидных чудаков проносился мимо в погоне за своей нелепой и трогательной грезой; и всех их любовно вел добрый гений — Диккенс и сам смеялся и плакал над порождением своей фантазии. Когда Люсиль смотрела в такие минуты в окно, ей казалось, будто среди прохожих нет-нет да и мелькнет любимый или ненавистный персонаж из этого воображаемого мира.

А за стенами домов, конечно, жили такие же люди. Она не любила выходить на улицу именно потому, что боялась этого мира, полного волнующих тайн. Кругом ей чудились скрытые драмы, разыгранные напоказ комедии. И это не всегда был самообман. Проводя целые дни в одиночестве, она научилась каким-то сверхъестественным чутьем угадывать во взглядах прохожих тайны их прошлого и будущего, зачастую неведомые им самим. Эти реальные картины она переплетала с вымыслом, искажавшим их. Она чувствовала себя затерянной в этом необъятном мире и спешила домой, чтобы не потонуть в нем.

Но можно было и не читать, не встречаться с людьми. Достаточно было заглянуть в себя. Каким бесцветным, тусклым казалось извне ее существование и как озарялось оно изнутри! Какая кипучая полнота жизни! Какая сокровищница воспоминаний, о которых никто и не подозревал! Что в них было реального? Да всё, раз они существовали для нее... Сколько скудных жизней преображено волшебной палочкой фантазии!

Госпожа Арно мысленно возвращалась к прошедшим годам, вплоть до самого раннего своего детства; и каждый хилый цветочек угасших надежд расцветал в тишине... Детская любовь к взрослой девушке, очаровавшей ее с первого взгляда. Она любила эту девушку так, как можно в полной невинности любить настоящей любовью; она замирала от волнения, когда та прикасалась к ней; ей хотелось целовать ноги своей святыне, быть ее дочкой, женой; девушка вышла замуж, была несчастна в браке, у нее умер ребенок, сама она умерла... Новая любовь — лет в двенадцать — к своей сверстнице, белокурому бесенку, своенравной хохотушке, которая тиранила ее, нарочно доводила до слез, а потом душила поцелуями; они вместе строили самые романтические планы на будущее — и вдруг подружка постриглась в монахини; это было неожи-

данностью для всех, ее считали счастливицей... Дальше Люсиль страстно влюбилась в человека много старше ее. Об этом увлечении не узнал никто, даже и тот, кто его внушил. А она вложила в свое чувство истинный жар самопожертвования, неисчерпаемые сокровища нежности. Затем новое увлечение, на этот раз взаимное, но, по непонятной робости и неуверенности в себе, она не поверила, что ее могут любить, и утаила свою любовь. Счастье прошло мимо, и она не постаралась его удержать. Потом... Но к чему рассказывать другим то, что полно значения только для себя самого! А тут мельчайшие события приобретают смысл: дружеское внимание, приветливое слово, которое случайно обронил Оливье, радость от посещений Кристофа, его музыка, вводящая в зачарованный мир, взгляд какого-нибудь незнакомца. Да, и эта безупречная, порядочная и чистая женщина порой в мыслях была неверна мужу, теряла равновесие и стыдилась самой себя, но не слишком боролась с этими невольными изменами,— ведь они были так невинны и, точно солнечный луч, согревали ее сердце... Мужа она любила, хоть и не о таком спутнике жизни мечтала когда-то; но он был очень добрый человек; однажды он сказал ей:

— Голубка моя, ты и сама не знаешь, как ты мне дорога. Для меня вся жизнь в тебе.

От этих слов сердце ее растаяло, и она поняла, что отныне соединена с ним навеки, безраздельно,— и никогда не покинет его. С каждым годом они становились все ближе друг другу. Вместе мечтали. Мечтали о работе, о путешествиях, о детях. Что сбылось из этих чудесных мечтаний? Ничего... А г-жа Арно продолжала мечтать. Она так много, так сосредоточенно думала о ребенке, что почти видела его воочию. Она годами воображала его, непрерывно украшая всем, что встречалось ей самого прекрасного, самого дорогого ее сердцу... Не надо об этом!

Это было так мало. И это были целые миры... Сколько безвестных трагедий, порой затрагивающих самое заветное, таят в себе такие спокойные, такие будничные существования! И вот что, пожалуй, трагичнее всего: на самом деле *ничего не происходит,* а люди питаются надеждой, отчаянно тянутся к тому, чего вправе добиваться, что им обещано природой и в чем им отказано, они мечутся в страстной тоске... и скрывают свои терзания!

К счастью г-жи Арно, она не была всецело поглощена собой. Собственная жизнь лишь частично занимала ее мечты. Она жила также жизнью тех, кого знала или знавала раньше; она ставила себя на их место, она думала о Кристофе, о его

приятельнице Сесиль. Вот и сегодня она думала о Сесиль. Обе женщины очень привязались друг к другу. И как ни странно, но оказалось, что крепкая с виду Сесиль ищет опоры у слабенькой г-жи Арно. Эта жизнерадостная, пышущая здоровьем девушка была, в сущности, не так уж сильна. Она переживала внутреннюю драму. Самые уравновешенные люди не застрахованы от неожиданностей. Нежное чувство незаметно закралось в сердце Сесиль; сперва она не хотела замечать его; но оно все росло, и в конце концов от него уже нельзя было отмахнуться — она любила Оливье. Он сразу же привлек ее ласковой мягкостью манер, несколько женственным обаянием своей личности, какой-то слабостью и беззащитностью. (Женщин с сильно развитым материнским инстинктом всегда влечет к тем, кто нуждается в них.) Позднее семейные неурядицы Жаненов внушили ей опасную жалость к Оливье. Конечно, были и другие причины. Да разве можно объяснить, почему кто-то в кого-то влюбляется? Часто тут ни при чем ни та, ни другая сторона, а просто наступает такая минута, когда любая привязанность может застигнуть врасплох незащищенную душу. Как только у Сесиль не осталось никаких сомнений, она сделала мужественную попытку вырвать жало любви, которую считала преступной и бессмысленной; она долго терзала себя, но излечиться не могла. Никто бы не догадался, что она страдает. Героическим усилием воли она старалась казаться веселой. Только г-жа Арно знала, чего ей это стоило. Иногда ей случалось прильнуть своей массивной головой к худенькой груди г-жи Арно, всплакнуть потихоньку и, тут же расцеловав подругу, засмеяться и уйти. Она благоговела перед этой хрупкой женщиной, чувствовала ее нравственную силу, ее превосходство над собой. Она не откровенничала с г-жой Арно, но г-жа Арно умела угадывать с полуслова. И мир казался ей печальным недоразумением. Исправить его немыслимо. Можно только любить его, жалеть и мечтать.

А когда гудящий рой мечтаний мешал ей думать связно, она садилась за фортепиано, и пальцы ее скользили по клавишам, наугад, еле слышно, обволакивая умиротворяющими лучами звуков фантасмагорию жизни...

Но стойкая маленькая женщина не забывала о повседневных обязанностях: когда Арно приходил домой, лампа была зажжена, ужин приготовлен, а бледное личико жены улыбалось ему навстречу. И он даже представить себе не мог, из каких далеких странствий она возвратилась.

Труднее всего было оградить от столкновений обе жизни —

будничную, повседневную, и ту, вторую, главную жизнь — духовную, с беспредельным горизонтом. Это давалось нелегко. К счастью, сам Арно тоже наполовину жил воображаемой жизнью, поглощенный книгами, произведениями искусства, чей неугасимый пламень поддерживал тлеющий огонек его души. Но за последние годы он совсем погряз в мелких служебных заботах, досадах на несправедливость, страхах, как бы его не обошли повышением, дрязгах с коллегами или учениками; это его ожесточило; он все чаще разглагольствовал о политике, поносил правительство и евреев, возлагал на Дрейфуса вину за свои неприятности по службе. Его мрачное настроение отчасти сообщалось жене. Ей было под сорок. Она достигла того возраста, когда жизненные силы идут на убыль и тщетно стремятся восстановить нарушенное равновесие. В сознании ее образовались огромные разрывы. Оба супруга временами чувствовали, что жить незачем, не за что зацепить паутину, которую ткало их воображение. Нужно, чтобы мечты хоть в самой малой степени опирались на действительность. А тут этой опоры внезапно не стало. И друг в друге они тоже не находили поддержки. Вместо того чтобы помочь Люсиль, муж искал помощи у нее. А Люсиль сознавала, что не в силах поддержать его; тогда она и сама пала духом. Только чудо могло ее спасти. Она призывала чудо...

И оно пришло изнутри. Из глубин одинокой души возникла высокая и безрассудная потребность созидать наперекор всему, во имя радости созидания, наперекор всему ткать паутину в пространстве, уповая на то, что дуновение ветра или дыхание божие перенесет ее туда, где ей надлежит быть. И дыхание божие привязало ее к жизни, даровало ей незримый оплот. Тогда оба супруга вновь начали неутомимо ткать чудесную и эфемерную паутину, вкладывая в нее все, что было ими выстрадано, всю кровь своего сердца.

Госпожа Арно сидела одна у себя дома. Смеркалось.

На парадной раздался звонок. Г-жа Арно вздрогнула. Кто-то раньше времени вспугнул ее мечты. Она аккуратно сложила вязание и поспешила отворить. Вошел Кристоф. Он был очень взволнован. Она ласково взяла обе его руки и спросила:

— Что с вами, друг мой?

— Оливье вернулся,— сказал он.

— Вернулся?

— Пришел сегодня утром и сказал: «Кристоф, спаси меня». Я обнял его. Он заплакал и сказал: «У меня больше никого нет, кроме тебя. Она ушла».

Госпожа Арно в смятении всплеснула руками и произнесла:

— Несчастные люди!

— Ушла. К любовнику,— пояснил Кристоф.

— А ребенок? — спросила г-жа Арно.

— Бросила и мужа и ребенка!

— Несчастная женщина! — повторила г-жа Арно.

— Он любил ее. Одну ее любил,— сказал Кристоф.— Он этого не переживет. Он все твердит: «Она изменила мне, она, лучший мой друг, изменила мне». И не слушает, когда я говорю: какой же это друг, раз она тебе изменила? Она — враг тебе. Забудь ее или убей!

— Что вы говорите, Кристоф! Какой ужас!

— Да, я знаю, все вы ужасаетесь: убить — какое первобытное варварство! Слушать тошно, как наш миленький парижский свет восстает против животных инстинктов, которые толкают мужа на убийство неверной жены, как проповедует разумную снисходительность! Вот уж лицемеры! И эта свора блудливых псов еще смеет возмущаться, когда люди слушаются голоса природы. Сами же оплевали жизнь, отняли у нее всякую цену, а теперь объявляет ее святыней. В самом деле, стоит благоговеть перед этим бездушным, бесславным, бессмысленным, утробным существованием, перед куском мяса, где пульсирует кровь! А они трясутся над этой говядиной, каждое посягательство на нее объявляют преступлением. Душу можно убить, но к телу притронуться не смей...

— Страшнее всего — убить душу; но одним преступлением нельзя оправдать другое, вы это сами знаете.

— Да, мой друг, знаю. Вы правы. Думать я так не думаю... Но сделать, может быть, и сделал бы.

— Не клевещите на себя — вы добрый.

— В порыве страсти я становлюсь не менее жестоким, чем другие. Вы сами только что были свидетельницей такой вспышки. Но если видишь, что плачет любимый друг, как не проклинать причину его слез? Самые жестокие слова слишком мягки для дрянной бабенки, которая бросила свое дитя и убежала к любовнику.

— Не говорите так, Кристоф. Что вы знаете?

— Как? Вы можете ее защищать?

— Я и ее жалею.

— А я жалею тех, кто страдает, но не тех, кто причиняет страдания.

— И вы думаете, она не страдала? Думаете, ей легко было бросить ребенка и загубить собственную жизнь? Ведь ее жизнь тоже загублена. Я очень ее мало знаю, Кристоф. Я видела ее всего два раза, да и то мельком; ничего приятного я от нее не слыхала и, видимо, не понравилась ей. А знаю ее все-таки лучше, чем вы. И уверена, что она не такая уж плохая. Воображаю, сколько она, бедняжка, выстрадала!

— И вы, дорогая, можете об этом судить, когда ваша собственная жизнь — образец честности и благоразумия!

— Да, Кристоф, могу. Вы не понимаете. Хоть вы и добрый, но вы мужчина, и при всей доброте в вас есть чисто мужская жестокость, вы глухи ко всему, что не касается непосредственно вас. Вы, мужчины, никакого представления не имеете о женщинах, живущих бок о бок с вами. По-своему вы любите их, но даже не пытаетесь их понять. Вы слишком довольны собой! И не сомневаетесь, что прекрасно изучили нас... Ох, знали бы вы, какая для нас мука сознавать не то что вы нас вовсе не любите, а то, как вы нас любите и чем является женщина даже для самого любящего мужчины! Бывают минуты, когда мы впиваемся ногтями в ладонь, чтобы удержаться и не крикнуть вам: «Не любите, не любите нас совсем. Все лучше такой любви!» Помните слова поэта: «Даже в кругу семьи, среди детей, когда женщина с виду окружена всеми почестями, она вынуждена сносить презрение, которое в тысячу крат горше любых несчастий»? Вдумайтесь в эти слова, Кристоф.

— Вы меня поразили. Я не совсем понимаю... Но, значит, и вы сами?..

— Мне знакомы эти терзания.

— Быть не может... Ну, все равно, вы меня не убедите, что способны были бы поступить, как эта женщина.

— У меня нет ребенка, Кристоф. А на ее месте — не знаю, что бы я сделала.

— Нет, нет, это невозможно, я верю в вас, я вас слишком уважаю и готов поклясться, что это невозможно.

— Не клянитесь! Я чуть-чуть не поступила, как она... Мне тяжело разочаровывать вас. Но я хочу, чтобы вы хоть немножко научились нас понимать, иначе вы будете несправедливы. Да, я была на волосок от такого же безрассудного шага. И отчасти вы сами удержали меня. Это было два года тому назад. Я переживала полосу гнетущей тоски. Мне казалось, что я никчемное существо, никто меня не любит, никому я не

нужна, и даже муж отлично бы обошелся без меня, что жизнь моя прожита зря... Я собиралась уйти, сделать бог знает что. Я поднялась к вам. Вы, верно, забыли?.. Вы не поняли, зачем я пришла. А я пришла проститься... И тут, уж не помню, что произошло, что-то вы мне сказали, не могу точно повторить... Знаю только, что ваши слова были для меня как откровение (вы даже не подозревали этого)... Достаточно было маленького толчка, чтобы погубить меня или спасти... Я ушла от вас, заперлась у себя и проплакала весь день! И тоску как рукой сняло!

— А теперь вы об этом жалеете? — спросил Кристоф.

— Жалею? — повторила она.— О, я бы уже давно была на дне Сены, если бы решилась на этот отчаянный поступок. Я бы не могла жить с подобным позором и с сознанием, что нанесла такой удар бедному моему мужу.

— Значит, вы счастливы?

— Да, насколько можно быть счастливой на земле. Ведь это такая редкость, что в совместной жизни люди понимают и уважают друг друга, знают, что могут друг на друга положиться не только из доверия, основанного на любви,— оно так часто бывает обмануто,— а по опыту многих лет, прожитых вместе, унылых и скучных лет. И тут уж воспоминания о преодоленных соблазнах не мешают, а скорее способствуют взаимному согласию. Впрочем, к старости все налаживается.

Она замолчала и вдруг вся вспыхнула.

— Господи, как это я могла рассказать вам! Что я наболтала! Прошу вас, Кристоф, забудьте. Никому ничего не говорите.

— Не бойтесь. Ваша тайна для меня священна,— сказал Кристоф, пожимая ей руку.

Госпожа Арно отвернулась, стыдясь своей откровенности. Немного погодя она сказала:

— Не надо было говорить, но, понимаете, мне хотелось доказать вам, что даже в самых дружных семьях, даже у женщин, которых вы уважаете, Кристоф, даже у них бывает не только минутное помрачение, как вы говорите, а подлинные терзания, да такие, которые нередко толкают на безумства и губят жизнь одного, а то и двух человек. Не будьте слишком строги. Люди очень мучают друг друга, даже когда любят по-настоящему.

— По-вашему, надо жить одиноко, каждый сам по себе?

— Это для нас еще хуже. Когда женщина живет одна, борется за жизнь, как мужчина, а часто и против мужчины, для

нее это ужас, потому что наше общество не освоилось с этой мыслью и в большинстве своем относится к ней враждебно...

Госпожа Арно замолчала, подавшись вперед и устремив глаза на пламя камина; потом начала снова, глуховатым голосом, запинаясь, останавливаясь, однако договорила до конца:

— Но мы-то ведь тут ни при чем, женщина живет так не по своей прихоти, а по необходимости; она вынуждена зарабатывать себе на хлеб самостоятельно, обходиться без помощи мужчины — бедные мужчинам не нужны. Она обречена на одиночество, но радости оно ей не дает; стоит только женщине наравне с мужчиной воспользоваться своей независимостью, даже самым невинным образом, как поднимется шум; ей все запрещено. У меня есть подружка, учительница в провинциальном лицее; она там задыхается в одиночестве, как будто ее заперли в душную темницу. Буржуазия на порог к себе не пускает тех женщин, которые пытаются жить своим трудом; она открыто выказывает им презрительное недоверие; каждый их шаг толкуется недоброжелательно; преподаватели мужского лицея сторонятся своих коллег-женщин то ли из боязни сплетен, то ли из скрытой враждебности, а то еще и потому, что одичали, привыкли к сидению в кафе, к вольным разговорам, устают за день от работы, а женщины-интеллигентки им надоели и опротивели. Бедняжки и друг другу становятся ненавистны, особенно когда они принуждены жить вместе в коллеже. Начальница обычно не способна понять нежную душу юных учительниц, и те доходят до отчаяния в первые годы безрадостного труда и чудовищного одиночества; они молча изнемогают от тоски, а начальница даже не пытается помочь им и вдобавок называет их гордячками. Никому они не нужны. Замуж они не могут выйти, у них нет ни приданого, ни знакомств. Не могут найти интерес и утешение в умственной жизни: слишком много времени отнимает работа. Если не иметь опоры в религии или в особо развитом чувстве долга — я бы сказала даже ненормально, болезненно развитом, потому что полное самопожертвование противоестественно,— это значит быть похороненной заживо... Итак, исключим умственный труд. Что может дать женщине благотворительность? Одни разочарования, если женщина слишком правдива, чтобы довольствоваться официальной или светской благотворительностью, человеколюбивыми фразами, гнусной помесью развлечения, филантропии и казенщины, если ей претит возиться с нищетой, в промежутке между двумя флиртами! Но когда она наберется храбрости и отправится одна взглянуть на эту самую нищету, о которой

знает понаслышке, какое непереносимое зрелище представится ей! Поистине ад! И чем тут можно помочь? Она тонет в этом море отчаяния. Однако она пытается бороться, спасти хоть кого-нибудь из обездоленных, надрывается для них, вместе с ними идет ко дну. Счастье ее, если ей удастся спасти одного или двух. А кто спасет ее? Кому охота ее спасать? Но ведь она тоже настрадалась и чужими страданиями и своими. Чем больше веры старается она внушить другим, тем сильнее разочаровывается сама. Обездоленные цепляются за нее, ей же не за что ухватиться. Никто не протянет ей руки. Случается, в нее даже бросят камень... Вы ведь знавали, Кристоф, ту чудесную женщину, которая посвятила себя самому неблагодарному и самому доблестному из дел милосердия: она давала пристанище роженицам — проституткам с улицы. От этих несчастных отмахивается официальная благотворительность, да они и сами часто боятся официальной благотворительности, а та женщина старалась спасти их физически и нравственно, оставить при них детей, пробудить в них материнское чувство, создать им домашний очаг и честную, трудовую жизнь. Она не жалела сил на выполнение этой тяжкой задачи, а взамен видела одни огорчения и неприятности. (Много ли их удается спасти, и многие ли хотят, чтобы их спасали! А сколько умирает младенцев, ни в чем не повинных и отверженных с рождения!) Эта подвижница взвалила на себя все бремя людских страданий, решила добровольно искупить преступления чужого эгоизма, и как же, вы думаете, к этому отнеслись? Злобная молва обвиняла ее в том, что она наживается на своем начинании и даже на своих подопечных... Ей пришлось покинуть насиженное место, она уехала, отчаявшись во всем... Вы и не представляете себе, какую борьбу приходится выдерживать самостоятельным женщинам против современного общества — общества косного и жестокого! Оно отмирает, а последние остатки сил тратит на то, что мешает жить другим.

— Не думайте, мой друг, что это удел исключительно женщин. Всем нам знакома эта борьба. Но я-то знаю, в чем от нее спасение!

— В чем?

— В искусстве.

— Спасение для вас, а не для нас. Да и среди мужчин оно доступно очень немногим.

— Взгляните на нашу общую приятельницу Сесиль. Она вполне счастлива.

— Почем вы знаете? Нельзя судить так опрометчиво. Да, она не падает духом, не носится со своими горестями и не жалуется, а вы отсюда уже делаете вывод, что она счастлива! Конечно, она счастлива тем, что у нее есть здоровье и силы для борьбы. Но вы не знаете всего, с чем ей приходится бороться. Да и почему вы думаете, что она рождена для искусства, для этой жизни, полной превратностей? Искусство! Есть же такие женщины, которые жаждут стать писательницами, актрисами, певицами. Им кажется, что это верх блаженства! Бедняжки! Значит, они уже совсем обездолены, и им не на что излить свою потребность в любви. Искусство! Да на что нам искусство, разве оно заменит все остальное? На свете только одно может заставить забыть все, все остальное — обожаемое маленькое существо!

— Как видите, этим не всегда удовлетворяются.

— Не всегда, конечно... Женщины вообще не очень счастливы. Трудно быть женщиной. Куда труднее, чем быть мужчиной. Вы это плохо понимаете. Вас может целиком поглотить какая-нибудь отвлеченная страсть, какая-нибудь деятельность. Вы совершаете насилие над своей природой, но вам это дает особое удовлетворение. А для нормальной женщины это слишком мучительно. Человек не может безнаказанно подавлять часть своего «я». Нам, женщинам, мало одностороннего счастья. В нас живет много душ. А у вас душа одна, более сильная, в своей силе доходящая порой до грубости, до бесчеловечности. Я преклоняюсь перед вами. Но не будьте так эгоистичны. Вы сами не сознаете своего эгоизма и даже не замечаете, как мучаете нас.

— Что поделаешь! Не наша вина...

— Да, не ваша, милый мой Кристоф. Не ваша и не наша вина. Все дело, видите ли, в том, что жизнь очень сложная штука. Говорят — живите естественной жизнью. А что для нас естественно?

— Вы правы. Все в нашей жизни неестественно. Безбрачие неестественно. И брак не более естествен. А в свободном союзе сильные по-хищнически расправляются со слабыми. Да и само общество наше сложилось отнюдь не естественным путем: оно дело наших рук. Говорят, человек — животное общественное. Какая чушь! Ему пришлось стать таким, чтобы выжить. Он сделался общественным животным ради выгоды, ради удовольствия, ради самозащиты, ради того, чтобы возвысить свой род. При этом он был вынужден взять на себя кое-какие обязательства. Но природа бунтует и мстит за насилие.

Природа создана не в угоду человеку. Мы пытаемся обуздать ее, боремся с нею и, разумеется, часто бываем биты. Что тут делать? Надо быть сильным.

— Надо быть добрым.

— О, господи! Быть добрым, сорвать с себя броню эгоизма, дышать полной грудью, любить жизнь, свет, свой скромный труд и тот уголок земли, куда врастаешь корнями. И если нельзя развернуться вширь, надо стремиться вглубь и ввысь, как дерево, когда ему тесно, тянется к солнцу.

— Да. И главное — любить друг друга. Пусть бы мужчина понял по-настоящему, что он брат женщине, а не только ее добыча, как и она не его добыча. Пусть бы они оба смирили свою гордость, поменьше думали о себе и побольше о другом!.. Мы слабы — так будем друг другу поддержкой. Не станем отворачиваться от того, кто пал, а скажем ему: «Мужайся, друг. Все обойдется».

Оба замолчали; они сидели у камина, котенок между ними, и все трое, не шевелясь, сосредоточенно смотрели в огонь. Последние вспышки пламени точно взмахами крыла ласкали худенькое лицо г-жи Арно, порозовевшее от непривычного волнения. Она сама удивлялась своей откровенности. Никогда этого с ней не бывало. И никогда больше не будет.

Она положила руку на руку Кристофа и спросила:

— Куда вы денете ребенка?

Вот о чем думала она с самого начала. Она говорила, говорила, как в дурмане, она словно переродилась. А думала только об одном. С первых же слов Кристофа она сочинила целый роман. Она думала о ребенке, брошенном матерью, о том, какое счастье было бы растить его, обвить эту детскую душу своими грезами и своей любовью. Мысленно она усовещевала себя:

«Это дурно, нельзя радоваться чужому горю».

Но не могла сладить с собой. Она говорила, говорила, а сердце молчало, упоенное надеждой.

— Мы, понятно, уже об этом думали,— сказал Кристоф.— Бедный малыш! Мы с Оливье не способны заниматься его воспитанием. Ему нужен женский уход. Я и решил: наверно, кто-нибудь из наших приятельниц не откажется нам помочь.

Госпожа Арно затаила дыхание.

— Я хотел поговорить с вами,— продолжал Кристоф.— А тут как раз пришла Сесиль. Когда она все узнала и увидела

ребенка, она так разволновалась, так обрадовалась и сказала мне: «Кристоф...»

Кровь застыла в жилах г-жи Арно: она не слышала того, что сказала Сесиль; все поплыло у нее перед глазами. Ей хотелось крикнуть:

«Нет, нет, отдайте его мне!»

А Кристоф все говорил. Она не слышала его слов. Но потом сделала над собой усилие. Вспомнила признания Сесиль и подумала:

«Ей это нужнее, чем мне. У меня ведь есть мой милый Арно... и мой домашний уют... И потом, я старше ее...»

И, улыбнувшись, она сказала:

— Это очень хорошо.

Но огонь угас в камине, угас и розовый отблеск на ее лице. На этом милом усталом личике осталось только привычное выражение безропотной доброты.

«Моя подруга изменила мне».

Эта мысль не давала жить Оливье. Тщетно Кристоф из любви к нему стыдил и распекал его.

— Что поделаешь! — говорил он.— В конце концов, измена друга такая же рядовая неприятность, как болезнь, бедность, как необходимость бороться с дураками. Надо быть вооруженным против этой беды. И жалок тот, кто не может ей противостоять.

— Да, ты прав. В любви у меня нет гордости... Да, я жалкий человек, мне нужна любовь, без нее я не могу жить.

— Твоя жизнь не кончена — у тебя еще найдется, кого любить.

— Я больше никому не верю. Друзей нет.

— Оливье!

— Прости. В тебе я не сомневаюсь. Хотя бывают минуты, когда я сомневаюсь во всем... даже в себе. Но ты-то сильный, тебе никто не нужен, ты можешь обойтись и без меня.

— Она еще лучше без тебя обходится.

— Какой ты жестокий, Кристоф.

— Дорогой мой, я нарочно мучаю тебя, чтобы ты возмутился наконец. Ведь это же черт знает что, это просто позор — жертвовать теми, кто тебя любит, собственную свою жизнь приносить в жертву человеку, которому на тебя наплевать.

— Какое мне дело до тех, кто меня любит? Я-то люблю ее.

— Работай. Тебя многое интересовало когда-то...

— И перестало интересовать. Я устал. Я как будто вне жизни. Все кажется мне бесконечно далеким. Я смотрю и не понимаю. Мне дики люди, которые не устают изо дня в день, как заведенная машина, тянуть ту же бессмысленную лямку, ведут газетную полемику, гонятся за убогими развлечениями, страстно ратуют за или против кабинета министров, за или против какой-нибудь книги или актрисы... Ах! Каким я себя чувствую старым! У меня ни против кого нет ни ненависти, ни обиды: все мне наскучило. Я ощущаю только пустоту... Писать? К чему? Кто меня поймет? Я писал только для нее одной, всем, чем я был, я был для нее. А теперь все пусто. Я устал, Кристоф, устал. Мне хочется спать.

— Ну, и поспи, мой милый. А я постерегу твой сон.

Но спать Оливье совсем не мог. Ах, если бы тот, кто страдает, мог спать месяцами, спать до тех пор, пока следы горя не изгладятся из его обновленной души, пока он не станет другим! Но никто не в силах даровать ему такой сон; да он и сам бы отказался от этого дара. Для него горше всего лишиться своего горя. Оливье был точно больной, которого держит на ногах лихорадка. Это и была настоящая лихорадка, она находила на него приступами, в одни и те же часы, особенно к вечеру, когда начинает смеркаться. Он бродил разбитый, отравленный любовью, терзаясь воспоминаниями, перебирая все те же мысли, точно слабоумный, который без конца пережевывает и никак не может проглотить один и тот же кусок; все умственные силы его были подавлены, поглощены одной неотвязной мыслью.

Кристоф на его месте только озлился бы и, не задумываясь, взвалил всю вину на ту, что была причиной его несчастья. Оливье же, как человек более проницательный и справедливый, понимал, что тут есть доля и его вины и что несчастен не он один — Жаклина тоже по-своему жертва, его жертва. Она вручила ему свою судьбу, а как он ею распорядился? Если он не мог дать ей счастье, зачем он связал ее жизнь со своей? Она была права, порвав узы, причинявшие ей страдания.

«Она не виновата,— думал он.— Виноват я. Я недостаточно любил ее, хоть и любил сильно. Но любил не так, как надо, раз не сумел внушить ей ответную любовь».

Итак, он обвинял себя, и, возможно, обвинял справедливо, но что проку осуждать прошлое? Это не мешает при случае повторить все те же ошибки, зато мешает жить. Сильный человек забывает зло, которое ему причинили, а также, к сожалению, забывает и то зло, которое причинил он сам, едва убе-

дится, что оно непоправимо. Но силу дает не разум, а страсть. Любовь и страсть только отчасти сродни друг другу и редко идут рука об руку. Оливье любил; и силы у него хватало лишь для того, чтобы обратить эту силу против самого себя,— он впал в состояние такой апатии, что оказался беззащитен против всяческих немощей. Инфлуэнца, бронхит, воспаление легких разом навалились на него. Он прохворал часть лета. Кристоф с помощью г-жи Арно самоотверженно ухаживал за ним; болезнь удалось пресечь; но против душевного недуга друзья были бессильны; мало-помалу их утомила и даже стала тяготить эта постоянная грусть, им захотелось бежать прочь.

Горе создает вокруг человека своего рода пустыню. Люди питают безотчетный ужас перед чужим горем, как будто считают, что оно заразительно, во всяком случае, оно надоедает, хочется быть подальше от него. Очень немногие люди снисходительны к чужим страданиям. Повторяется извечная история с друзьями Иова. Элифаз Феманитянин обвиняет Иова в том, что он нетерпелив к страданиям. Вилдад Савхеянин утверждает, что несчастия Иова — кара за грехи. Софар Наамитянин уличает его в самомнении. «Тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, Вузитянина из племени Рамова: воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели бога». Мало людей, способных скорбеть по-настоящему. Много званых, мало избранных. Оливье принадлежал к числу последних. По меткому выражению некоего мизантропа, «казалось, ему нравится быть обиженным. Мало проку разыгрывать из себя страдальца — только становишься ненавистен людям».

О своих переживаниях Оливье не мог говорить ни с кем, включая и самых близких. Он видел, что им убийственно скучно его слушать. Даже лучшего его друга Кристофа раздражала такая упорная и назойливая скорбь. К тому же Кристоф знал, что не годится в утешители. По правде говоря, этот великодушный человек, сам немало перестрадавший, не мог по-настоящему понять страдания друга. Таково бессилье человеческой природы! Как бы ни были вы добры, жалостливы, вдумчивы, сколько бы вы ни выстрадали, все равно вам не станет больно оттого, что ваш друг мается от зубной боли. Если болезнь затягивается, вы склонны сделать вывод, что больной несдержан и нетерпелив. Тем паче, когда боль не внешняя, а скрытая в тайниках души! Тот, кого это не задевает непосредственно, возмущается, как можно портить себе кровь из-за чувства, до которого ему лично нет дела. А для успокоения собственной совести говорит:

— Что я могу поделать? Никакие мои уговоры не помогают.

Уговоры и не могут помочь. Облегчить страдания возможно, лишь любя того, кто страдает, любя попросту, не стараясь что-то внушить ему, исцелить его, а только любя и жалея. Любовь — единственное лекарство против ран, нанесенных любовью. Но источник любви способен иссякнуть даже у тех, кто любит всей душой: ее запасы не беспредельны.

После того как друзья устно или письменно высказали однажды все слова участия, какие только могли подыскать, а следовательно, выполнили, по их мнению, свой долг, они благоразумно устраняются, и вокруг страдальца, точно вокруг преступника, образуется пустота. Но друзьям все-таки немножко стыдно за свою малую помощь, и потому они помогают все меньше и меньше, чтобы скорбящий друг забыл о них, и сами стараются забыть о нем. А если горе оказывается упорным и отголоски его назойливо проникают сквозь все стены, друзья в конце концов строго осудят друга за слабость, за неумение переносить испытания. Если же горе окончательно сломит его, к их искренней жалости неизбежно примешается оттенок презрения:

«Бедняга! Я не думал, что он так малодушен».

Посреди этого всеобщего себялюбия, какое несказанное облегчение может принести просто ласковое слово, ненавязчивая забота, взгляд, в котором прочтешь жалость и любовь! Только тут узнаешь цену доброте. Как все ничтожно рядом с нею! Именно доброта сближала Оливье с г-жой Арно больше, чем с остальными, даже больше, чем с Кристофом. Хотя Кристоф прилагал похвальные усилия к тому, чтобы быть терпеливым, и из любви к Оливье не показывал ему, что́ думает о нем, но Оливье тонким чутьем, еще обострившимся от страданий, угадывал, какая борьба происходит в душе Кристофа, как тяготит его присутствие тоскующего друга. Этого было достаточно, чтобы он сам отдалился от Кристофа и порой едва сдерживался, чтобы не крикнуть: «Уходи прочь!»

Так горе нередко разлучает любящие сердца. Когда сортируют зерно, то в одну сторону откладывают то, что жизнеспособно, в другую — то, что обречено умереть. Жестокий закон жизни сильнее любви! Мать, видя, как умирает сын, а друг, видя, как тонет друг, и убедившись, что спасение невозможно, все-таки не забывают о собственном спасении и не умирают вместе с ними. Но ведь сын, друг им дороже собственной жизни.

При всей своей огромной любви к другу Кристоф минутами не выдерживал и убегал от Оливье. Он был слишком сильным, слишком здоровым человеком и задыхался в этой застойной тоске. Как ему потом бывало стыдно! Он казнил себя и, не зная, на ком выместить досаду, рвал и метал против Жаклины. Несмотря на мудрые речи проницательной г-жи Арно, он по-прежнему сурово осуждал Жаклину, как свойственно молодым, цельным и страстным людям, еще недостаточно познавшим жизнь, а потому беспощадным к житейским слабостям.

Он навещал Сесиль и порученного ее попечениям ребенка. Став приемной матерью, Сесиль преобразилась — помолодела, повеселела, казалась женственнее, мягче. Уход Жаклины не пробудил в ней затаенной надежды на счастье. Она знала, что мысли о Жаклине еще больше отдаляют от нее Оливье, чем присутствие самой Жаклины. Впрочем, буря, взбудоражившая ее, улеглась, критическая минута прошла, чему способствовал и плачевный пример Жаклины; привычное спокойствие вернулось к ней, и она уже сама толком не понимала, что же вывело ее из равновесия. Весь свой нерастраченный запас любви Сесиль отдала ребенку. С присущей женщинам чудесной силой воображения и проникновения она в этом крошечном существе видела любимого человека, словно сам он был в ее власти, слабый, беспомощный, принадлежал ей и она могла любить его, страстно любить любовью такой же чистой, как душа этого младенца, как его ясные глазки — брызги света... Конечно, была в ее чувстве и доля грустного сожаления. Ах! Будь это дитя собственной ее плотью и кровью!.. Но и так тоже было хорошо.

Кристоф смотрел теперь на Сесиль совсем иными глазами. Ему вспоминались насмешливые слова Франсуазы Удон:

«Вы с Филомелой словно рождены быть мужем и женой. Понять не могу, почему вы не влюбились друг в друга?»

Но сама Франсуаза лучше Кристофа могла ответить на этот вопрос: такие, как Кристоф, редко любят тех, с кем им может быть хорошо; гораздо чаще они любят тех, с кем им бывает плохо. Противоположности привлекают друг друга; природа стремится к самоистреблению, она предпочитает полнокровную жизнь, беспощадно сжигающую себя, жизни благоразумной, которая боится себя растратить. И закон таких людей, как Кристоф,— жить возможно интенсивнее, а не возможно дольше.

Кристоф был менее проницателен, чем Франсуаза, и считал, что любовь — безжалостная, слепая сила. Она соеди-

няет людей, ненавистных друг другу. И разлучает тех, кто сделан из одного теста. По сравнению с тем, что любовь уничтожает, ее вдохновляющая сила не так уж велика. Счастливая любовь расслабляет волю. Несчастная — разбивает сердце. Где же ее блага?

Но в разгар своих поношений он увидел насмешливую и ласковую улыбку любви, говорившую ему:

«Неблагодарный!»

Кристофу пришлось еще раз скрепя сердце побывать на вечере в австрийском посольстве. Филомела исполняла песни Шуберта, Гуго Вольфа и Кристофа. Она радовалась и собственному успеху, и успеху Кристофа, который стал теперь любимцем избранного круга. И даже среди широкой публики имя Кристофа становилось известнее день ото дня; такие, как Леви-Кэр, уже не могли игнорировать его. Произведения его исполнялись в концертах; одну вещь приняли к постановке в «Опера комик». Незримые нити участия тянулись к нему. Таинственный друг, не раз выручавший его, по-прежнему во всем ему помогал. Не раз Кристоф ощущал содействие чьей-то любящей руки: кто-то опекал его, а сам упорно держался в тени. Кристоф пытался дознаться, кто же этот друг, но тот, по-видимому, был обижен, что Кристоф спохватился слишком поздно, и оставался неуловим. Впрочем, Кристофа отвлекали другие заботы: мысли об Оливье, мысли о Франсуазе; как раз в это утро он прочел в газете, что Франсуаза тяжело заболела в Сан-Франциско; он рисовал себе, как она лежит одна в номере гостиницы, в чужом городе, и никого не хочет видеть, не хочет писать друзьям, стиснув зубы, лежит одна и ждет смерти.

Под гнетом таких мыслей он искал уединения и нашел себе прибежище в маленькой отдаленной гостиной. Тут в полутемном уголке, отгороженном вечнозелеными растениями и цветами, он стоял, прислонясь к стене, и слушал чудесный, задушевный и страстный голос Филомелы — она пела шубертовскую «Липу»; прозрачная музыка будила грусть воспоминаний. Напротив, в большом трюмо отражались огни и оживленные лица в соседней зале. Но Кристоф не видел ничего; он углубился в себя, и перед глазами его стояла пелена слез... И вдруг, подобно ветвям старой шубертовской липы, он весь затрепетал, сам не зная отчего, и несколько мгновений простоял, не шевелясь, весь бледный. Потом туман перед глазами рассеялся, и он увидел в зеркале таинственную женщину —

друга, смотревшую на него... Друг? Но кто же она? Он понимал только одно, что она и есть тот самый друг и что он знает ее; и, глядя ей в глаза, он стоял, прислонясь к стене, и дрожал. Она улыбалась. Он не видел черт ее лица, ее фигуры, не видел, какого цвета у нее глаза, высокая она или маленькая, как одета. Он видел только одно: неземную доброту ее сострадательной улыбки.

И от этой улыбки у Кристофа вдруг всплыло далекое воспоминание раннего детства... Ему лет шесть-семь, он в школе и чувствует себя очень несчастным, его только что обидели и отколотили другие школьники, мальчишки постарше и посильнее; все смеялись над ним, а учитель несправедливо наказал его; остальные играют, он же забился в уголок, сидит один-одинешенек и плачет тихонько. Только одна девочка, всегда какая-то грустная, не пошла играть с другими (она, как живая, стояла перед ним сейчас, хотя он ни разу с тех пор не вспоминал о ней; большеголовая коротышка, светлые, почти белые волосы и ресницы, водянисто-голубые глаза, бледные щеки, толстые губы, лицо скуластое, одутловатое и красные руки); засунув большой палец в рот, она долго смотрела, как он плачет; потом положила ручонку ему на голову и сказала застенчиво, торопливо, с такой же точно сострадательной улыбкой:

— Не плачь!..

Тогда Кристоф не выдержал и расплакался, уткнувшись носом в фартук девочки, а она все твердила срывающимся нежным голоском:

— Не плачь...

Она умерла вскоре, чуть ли не через несколько недель; когда происходила эта сцена, смерть уже, должно быть, занесла над ней руку... Почему он вспомнил ее в эту минуту? Ничего общего не было между этой маленькой бедной мещаночкой из далекого немецкого городка и молодой аристократкой, смотревшей на него сейчас. Однако душа у всех одна; и пусть миллионы людей различны между собой, как миры, свершающие свой путь во вселенной, та же любовь молнией вспыхивает в сердцах, разделенных веками. И Кристоф увидел сейчас то сияние, которое промелькнуло когда-то на бескровных губах маленькой утешительницы...

Это длилось одно мгновение. Толпа хлынула в двери и заслонила от Кристофа соседнюю залу. Боясь, чтобы его волнение не заметили, Кристоф поспешил отступить в темный угол, не отражавшийся в зеркале. Но, успокоившись немного,

он захотел еще раз взглянуть на нее. Он испугался, что она уедет. Войдя в залу, он сразу же увидел ее среди гостей, хотя она была совсем иной, чем тогда, в зеркале. Теперь она сидела в кругу нарядных дам и была ему видна в профиль; облокотясь на ручку кресла и слегка нагнувшись, подперев голову рукой, она с умной и рассеянной усмешкой слушала разговор; выражением и чертами лица она напоминала юного апостола Иоанна, каким изобразил его Рафаэль в своем «Споре», где он, полузакрыв глаза, улыбается собственным мыслям...

Но вот она подняла глаза, увидела его и ничуть не удивилась. И он понял, что она улыбается именно ему. Он смущенно поклонился и подошел к ней.

— Вы меня не узнали? — спросила она.

В этот миг он ее узнал.

— Грация...— произнес он [1].

Проходившая мимо супруга посла выразила удовольствие, что столь желанная встреча наконец состоялась, и представила Кристофа «графине Берени». Но Кристоф был так взволнован, что даже не расслышал и не заметил незнакомой фамилии. Для него она по-прежнему была его юная Грация.

Грации исполнилось двадцать два года. Она год как была замужем за атташе австрийского посольства, молодым аристократом очень знатной фамилии, родственником имперского премьер-министра, снобом, кутилой, модным денди, уже порядком потасканным; она по-настоящему влюбилась в него и продолжала его любить, хотя и знала ему цену. Старик отец ее умер. Муж был назначен в посольство в Париж. Благодаря связям графа Берени и собственному обаянию и уму застенчивая и пугливая девочка превратилась в одну из самых модных дам парижского света, не сделав для этого ни малейшего усилия и ничуть этим не смущаясь.

Великая сила — быть молодой, красивой, нравиться и знать, что нравишься. И не меньшая сила — обладать спокойным сердцем, очень трезвым и невозмутимым, и обрести счастье в полном сочетании своих желаний со своей судьбой. Прекрасный цветок жизни распустился, не утратив гармонического строя своей латинской души, вскормленной светом и несокрушимым покоем родной Италии. Самым естественным образом Грация стала играть видную роль в парижском высшем свете.

---

[1] См. «Ярмарка на площади».— *Р. Р.*

Она этому не удивлялась и с присущим ей тактом употребляла свое влияние на пользу художественным и благотворительным начинаниям, всякий раз как прибегали к ее помощи; официально возглавлять эти начинания она предоставляла другим, сама же, хоть и держала себя соответственно своему положению, втайне сохранила внутреннюю независимость девочки-дикарки из уединенной виллы среди полей, и «свет» в равной мере утомлял и забавлял ее; впрочем, она умела скрыть скуку под приветливой улыбкой, свидетельствующей о врожденной воспитанности и доброте.

Она не забыла своего взрослого друга Кристофа. Конечно, девочки, молча пылавшей невинной любовью, больше не существовало. Теперешняя Грация была женщиной весьма рассудительной, без малейшего налета романтизма. Она с ласковой насмешкой вспоминала о своем не в меру пылком детском увлечении. И тем не менее эти воспоминания умиляли ее. Мысль о Кристофе была связана с самыми чистыми минутами ее жизни. Она испытывала удовольствие всякий раз, как слышала его имя, и радовалась его успехам, словно здесь была и ее доля,— ведь она предугадала его славу. Едва приехав в Париж, она стала искать встречи с Кристофом. Под пригласительным письмом, посланным ему, стояла и ее девичья фамилия. Кристоф не обратил на это внимания и, не ответив, бросил приглашение в корзину для бумаг. Грация не обиделась. Без его ведома она продолжала следить за его творчеством и отчасти даже за его жизнью. Именно ее дружеская рука поддержала его во время недавней травли, поднятой газетами. Вообще говоря, Грация брезговала газетным миром, но когда требовалось помочь другу, она была способна пустить в ход все свое коварство, чтобы лукаво обольстить самого неприятного человека. Она пригласила к себе редактора газеты, возглавлявшей свору клеветников, и мигом вскружила ему голову; умело польстив его самолюбию, она так пленила его и вместе с тем внушила ему такой трепет, что достаточно было ей вскользь выразить презрительное недоумение по поводу нападок на Кристофа, и травля разом оборвалась. Редактор немедленно изъял разносную статью, которая готовилась на завтра, и намылил голову хроникеру, когда тот посмел справиться о причинах изъятия. Мало того, он приказал одному из своих приспешников, мастеру на все руки, в двухнедельный срок состряпать хвалебную статью о Кристофе; статья была состряпана и оказалась как нельзя хвалебнее и глупее. Мысль об исполнении произведений Кристофа на вечерах в посольстве тоже принадле-

жала Грации, и она же, узнав, что он покровительствует Сесиль, помогла той проявить свое дарование. И, наконец, пользуясь своими связями в немецком дипломатическом мире, она исподволь, со спокойной уверенностью стала привлекать внимание властей к изгнанному из Германии Кристофу; мало-помалу она побудила определенные круги общества добиваться от императора указа, который открыл бы доступ в отечество большому музыканту, прославившему Германию. Правда, надежды на этот милостивый жест были преждевременны, но пока что, благодаря хлопотам Грации,— на краткое пребывание Кристофа в родном городе посмотрели сквозь пальцы.

Кристоф давно уже чувствовал, что его осеняет незримое присутствие женщины-друга, но не мог обнаружить, кто же она, и вдруг узнал ее в облике юного апостола Иоанна, улыбавшегося ему в зеркале.

Они говорили о прошлом. Кристоф не знал, что, собственно, они говорили. Любимую не видишь и не слышишь. Ее любишь. А чем сильнее любишь, тем меньше сознаешь свою любовь. Кристоф ни о чем не думал. Ему достаточно было, что она тут. Все остальное не существовало...

Грация остановилась на полуслове. Долговязый, довольно красивый, элегантный, бритый, лысеющий молодой человек с презрительно-скучающей миной разглядывал Кристофа в монокль; вот он отвесил высокомерно-учтивый поклон, а Грация сказала:

— Мой муж.

Снова стал слышен шум гостиной. Внутренний свет померк. Кристоф замолчал, весь сжавшись, и, ответив на поклон, поспешил ретироваться.

Как смешны и как ненасытны притязания души художника и те ребяческие законы, которые управляют его чувствами! В свое время он пренебрег любовью этой женщины, не вспоминал о ней долгие годы, но стоило им встретиться, как он уже решил, что Грация принадлежит ему, что она его собственность, и если другой завладел ею, значит, тот украл ее,— сама она не имела права отдать себя другому. Кристоф не понимал, что̀ с ним происходит. Это понимал за него демон музыки, создавший в эти дни ряд самых прекрасных его песен о страданиях любви.

Довольно долго они не виделись. Горе и болезнь Оливье всецело поглотили Кристофа. Но однажды он обнаружил адрес, который дала ему Грация, и решился пойти к ней.

Поднимаясь по лестнице, он услышал стук молотков — рабочие что-то забивали. Вся передняя была загромождена ящиками и сундуками. Лакей ответил, что графиня не принимает. Но когда Кристоф, оставив визитную карточку, понуро пошел прочь, слуга нагнал его, с извинением попросил вернуться и ввел в небольшую гостиную, где ковры уже были сняты и скатаны. Грация вышла к нему, сияя улыбкой, и в радостном порыве протянула руку. Нелепые обиды мигом испарились. Он схватил и поцеловал ее руку в таком же порыве счастья.

— Как я рада, что вы пришли! — сказала она.— Мне очень жаль было бы уехать, не повидавшись с вами!

— Уехать! Вы уезжаете?

Все снова омрачилось для него.

— Как видите,— ответила она, указывая на беспорядок в комнате,— мы покидаем Париж в конце недели.

— Надолго?

Она развела руками:

— Как знать!

У него сдавило горло. Он с трудом проговорил:

— Куда же вы едете?

— В Соединенные Штаты. Муж назначен туда первым секретарем посольства.

— Так, значит,— с трудом выдавил он (у него дрожали губы),— значит, все кончено?..

— Нет, не кончено, друг мой,— ответила она, тронутая его тоном.

— Только я нашел вас и сразу же опять теряю!

На глаза у него навернулись слезы.

— Друг мой! — повторила она.

Он прикрыл глаза рукой и отвернулся, чтобы не показать волнения.

— Не огорчайтесь,— сказала она, касаясь рукой его руки.

Тут он снова вспомнил немецкую девочку. Оба замолчали.

— Почему вы так долго не приходили? — заговорила она наконец.— Я искала встречи с вами, а вы не откликались.

— Да ведь я не знал, не знал,— ответил он.— Скажите, это вы столько раз помогали мне? Вам я обязан тем, что меня пустили в Германию? Вы были моим ангелом-хранителем?

— Для меня было радостью хоть чем-нибудь быть вам полезной. Я вам стольким обязана!

— Да чем же? — спросил он.— Я ничего для вас не сделал.

— Вы сами не знаете, что̀ вы значили для меня,— ответила она.

И Грация заговорила о тех временах, когда, девочкой, встретила его у своего дяди Стивенса и его музыка показала ей все то прекрасное, что есть в мире. Постепенно оживляясь, она легкими, туманными и прозрачными намеками открыла ему свои ребяческие чувства, рассказала, как сострадала его горестям, как плакала, когда его освистали в концерте, и как послала ему письмо, на которое он не ответил, потому что оно не дошло до него. А Кристоф слушал ее и чистосердечно относил к прошлому нынешнее свое чувство и нежность, какую внушало ему милое лицо, обращенное к нему.

Они по-дружески весело разговаривали на самые безразличные темы. Говоря, Кристоф взял руку Грации. И вдруг оба замолчали — Грация поняла, что Кристоф ее любит. И Кристоф тоже это понял...

В свое время Грация любила Кристофа, а его это не трогало. Теперь Кристоф любил Грацию. У Грации же осталось к нему спокойное, дружеское чувство — она любила другого. Нередко случается, что часы жизни одного опережают часы жизни другого, и от этого меняется вся жизнь обоих.

Грация отняла руку, и Кристоф покорился. Несколько мгновений они смущенно молчали.

— Прощайте,— произнесла Грация.

— Значит, все кончено,— повторил Кристоф свою жалобу.

— Должно быть, так лучше.

— Мы не увидимся до вашего отъезда?

— Нет,— сказала она.

— Когда же мы увидимся?

Она с грустным недоумением развела руками.

— Так зачем же, зачем мы встретились снова? — сказал Кристоф.

Но, увидев упрек в ее глазах, поторопился сам ответить:

— Нет, нет, простите, я несправедлив.

— Я буду думать о вас постоянно,— сказала она.

— Увы! Я даже думать о вас не могу,— ответил он,— я ничего не знаю о вашей жизни.

Спокойно, в нескольких словах описала она свою жизнь, свои повседневные занятия. Она говорила о себе и о муже с обычной своей светлой, задушевной улыбкой.

— Так вы любите его? — ревниво произнес Кристоф.

— Да,— ответила она.

Он встал.

— Прощайте.

Она тоже поднялась. Тут только он заметил, что она беременна. И от этого у него в душе поднялось неизъяснимое чувство, в котором сочетались отвращение, нежность, ревность, жгучая жалость. Она проводила его до порога гостиной. В дверях он обернулся, склонился над ее руками и припал к ним долгим поцелуем. Она стояла, не шевелясь, полузакрыв глаза. Наконец он выпрямился и, не взглянув на нее, торопливо вышел.

...E chi allora m'avesse domandato di cosa alcuna, la mia risposizione sarebbe stata solamente Amore con viso vestito d'umiltà... [1]

День всех святых. На улице пасмурно, холодный ветер. Кристоф сидел у Сесиль. Она не отходила от колыбельки, над которой склонилась и г-жа Арно, заглянувшая мимоходом. Кристоф задумался. Он чувствовал, что упустил счастье; он не собирался жаловаться: он знал, что счастье существует. Солнце, мне не нужно тебя видеть, чтобы любить тебя! В те долгие зимние дни, когда я прозябаю в темноте, сердце мое полно тобой; меня согревает любовь — я знаю, что ты существуешь...

Задумалась и Сесиль. Она смотрела на ребенка и почти не помнила, что это не ее ребенок. Благословенна сила воображения, творческая сила жизни! Жизни... А что такое жизнь? Совсем не то, что видно глазам и холодному разуму. Жизнь такова, какой мы ее воображаем. А мерило жизни — любовь.

Кристоф смотрел на Сесиль. Ее грубоватое лицо и широко раскрытые глаза так и сияли всей полнотой материнского чувства — она была больше матерью, чем настоящая мать. Он смотрел и на тонкое усталое лицо г-жи Арно и, как в волнующей книге, читал в нем повесть затаенных, никому не ведомых радостей и горестей, которыми жизнь женщины-жены подчас бывает богата так же, как любовь Джульетты и Изольды. Только больше в ней самоотречения и величия...

[1] ...И если бы тогда меня о чем-нибудь спросили, то со смирением во взоре я ответил бы только: Любовь *(итал.).— Данте, «Новая жизнь», гл. XIV.*

Socia rei humanae atque divinae...[1]

И равно как вера или отсутствие веры, думал он, так и дети или отсутствие детей не составляют счастья или несчастья замужних или незамужних женщин. Счастье — это аромат души, музыка, поющая в тайниках сердца. Прекраснейшая музыка души — это доброта.

Вошел Оливье. Движения его были спокойны; лицо его светилось небывалым умиротворением. Он улыбнулся малышу, пожал руку Сесиль и г-же Арно и принялся спокойно разговаривать. Они следили за ним с дружеским удивлением. Он словно переродился.

В одиночестве, в котором он замкнулся со своим горем, как гусеница в коконе, ему тяжким усилием удалось стряхнуть с себя бремя скорби, точно пустую оболочку. Когда-нибудь мы расскажем, как он нашел, или думал, что нашел, высокую цель, достойную того, чтобы отдать ей жизнь, а жизнь была теперь ценна для него только потому, что ею можно пожертвовать. Но таков закон природы: едва в душе он отрешился от жизни, как она вновь возгорелась в нем. Друзья не спускали с него глаз. Они не знали, что же произошло, и не решались спросить; но они чувствовали, что он освободился, что у него уже нет сожалений, нет и горечи против чего бы то ни было и против кого бы то ни было.

Кристоф поднялся, подошел к роялю и сказал Оливье:

— Хочешь, я спою тебе песню Брамса?

— Брамса? — спросил Оливье.— Ты стал играть вещи своего давнего недруга?

— Сегодня день всех святых, день всепрощения,— ответил Кристоф.

И он вполголоса, чтобы не разбудить ребенка, пропел несколько тактов швабской народной песни:

...Für die Zeit, wo du g'liebt mi hast
Da dank'i dir schön,
Und i wünsch', dass dir's anderswo
Besser mag geh'n...

(Благодарю тебя я за любовь,
За ласку и участье;
Дай бог тебе в других краях
Узнать побольше счастья...)

[1] Союзница в делах человеческих и божественных *(лат.)*.

— Кристоф! — сказал Оливье.

Кристоф крепко обнял его.

— Бодрись, мой мальчик,— сказал он,— нам выпал благой удел.

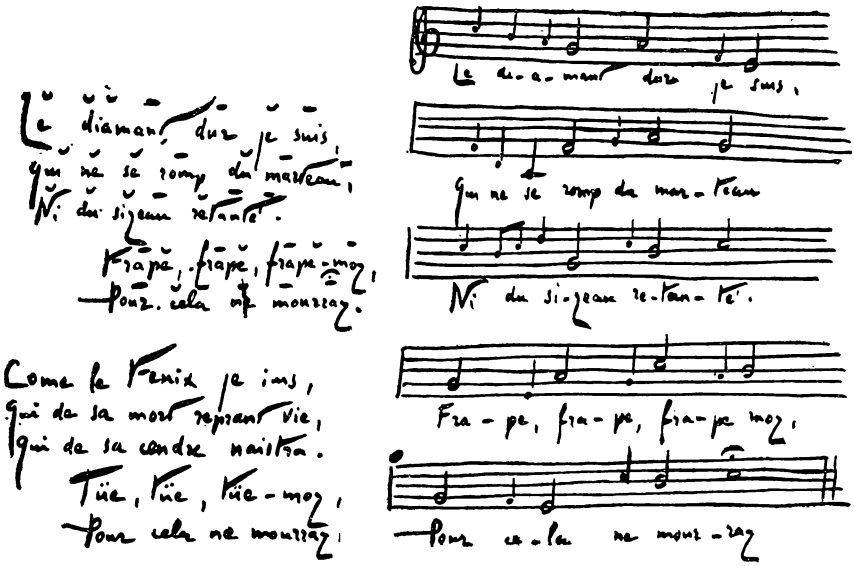
Они сидели вчетвером у колыбели спящего ребенка. И никто не говорил ни слова. А если бы их спросили, что у них в мыслях, то со смирением во взоре они ответили бы только:

«Любовь».

# КНИГА ДЕВЯТАЯ

## НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

ПЕРЕВОД С. ПАРНОК




Baïf | Chansonnettes mesurées,
mises en musique par
Jacques Mauduit

Тверд я и крепок: я — алмаз;
Молотом не разбить меня,
Острым не расколоть резцом.
Стучи, стучи, стучи по мне —
Все равно не убьешь.

Фениксу-птице подобен я,
Той, что и в смерти находит жизнь,
Той, что из пепла родится вновь.
Так бей же, бей же, бей же по мне —
Все равно не убьешь.

*(Баиф, «Ритмическая песенка», положенная на музыку Жаном Модюи)*

Сердце утихло. Примолкли ветры. Недвижим воздух... Кристоф успокоился; мир водворился в нем. Он испытывал некоторую гордость от такого достижения. И втайне был опечален им. Он дивился этой тишине. Страсти его уснули; он искренне верил, что они уже не проснутся.

Большая его сила, немного грубая, не находя себе применения, бесцельно дремала. В глубине — тайная пустота, скрытое «к чему?», быть может, ощущение счастья, которым он не сумел завладеть. Ему уже не надо было бороться ни с самим собой, ни с другими. Даже работа не представляла теперь для него особых трудностей. Он пришел к концу некоего этапа и пожинал плоды прежних своих усилий. Он со слишком большой легкостью истощал открытую им музыкальную жилу; и в то время как публика, всегда запаздывающая, начинала понимать его прежние произведения и восхищалась ими, сам он уже охладевал к ним, еще не зная, куда пойдет дальше. В творчестве он наслаждался теперь ровным, однообразным счастьем. Искусство в эту пору его жизни было для него лишь прекрасным инструментом, которым он владел с мастерством виртуоза. К стыду своему, он чувствовал, что становится дилетантом.

«Для того, чтобы двигаться вперед в искусстве,— говорит Ибсен,— нужно нечто иное и нечто большее, чем природное дарование: страсти, страдания, которые наполняют жизнь и дают ей смысл. Иначе не творишь, а пишешь книги».

Кристоф писал книги. Это было ему непривычно. Книги эти были прекрасны. Он предпочел бы, чтобы они были менее прекрасны, но более живы. Этот атлет на отдыхе, не знающий, что делать со своими мускулами, зевая, как скучающий зверь, смотрел на предстоящие ему долгие годы спокойной работы. И с

бродившей в нем старой закваской германского оптимизма охотно убеждал себя, что все к лучшему, думая, что таков, без сомнения, положенный ему предел; он обольщал себя мыслью, что покончил с бурями, что поборол их. Это не бог весть что. Но в конце концов управляешь только тем, что тебе дано, становишься только тем, чем суждено быть. Ему казалось, что он причалил к пристани.

Друзья не жили вместе. Когда Жаклина ушла, Кристоф подумал было, что Оливье опять переедет к нему. Но Оливье не в силах был сделать это. Несмотря на потребность близости с Кристофом, он чувствовал невозможность вернуться к прежнему существованию. После прожитых с Жаклиной лет ему казалось невыносимым, даже кощунственным ввести в интимную свою жизнь кого-нибудь другого, хотя бы этот другой любил его и был им любим больше, чем Жаклина. Рассудком этого не понять.

Кристоф с трудом понял это. Он настаивал, удивлялся, огорчался, негодовал... Наконец чутье, более тонкое в нем, чем ум, подсказало ему разгадку. Он внезапно умолк и нашел, что Оливье прав.

Но виделись они каждый день и никогда еще не были так близки; правда, в своих беседах они не обменивались самыми сокровенными мыслями. Да им и не нужно было этого. Они понимали друг друга без слов, благодатью, дарованной любящим сердцам.

Оба они говорили мало: один поглощенный искусством, другой — своими воспоминаниями. Страдание Оливье притуплялось, но он ничего не делал для этого, он почти упивался им; в течение долгого времени это было единственным смыслом его существования. Он любил своего ребенка, но ребенок — крикливый младенец — не мог занимать большого места в его жизни. Иные мужчины больше любовники, чем отцы. Бесполезно возмущаться этим. Природа не однообразна, и нелепо было бы предписывать всем одни и те же законы сердца. Никто не вправе жертвовать долгом во имя сердца. Но зато, исполняя свой долг, человек имеет право не быть счастливым. В своем ребенке Оливье больше всего любил женщину, плотью и кровью которой был этот ребенок.

До последнего времени он мало уделял внимания страданиям других. Он был мыслителем, слишком замкнутым в самом себе человеком. Это был не эгоизм, а какая-то болезненная при-

вычка жить в мечтах. Жаклина лишь увеличила окружавшую его пустоту; ее любовь провела между Оливье и другими людьми некий магический круг, который остался и после того, как любовь уже прошла. Да к тому же, по темпераменту своему, Оливье был аристократом. Несмотря на чувствительное сердце, он с самого детства, в силу телесной и душевной своей хрупкости, инстинктивно сторонился толпы. Ее запах, ее мысли всегда отталкивали его.

Но все изменилось благодаря одному обыкновенному происшествию, свидетелем которого ему пришлось быть.

Он снял скромную квартирку в верхней части Мопруж, неподалеку от Кристофа и Сесили. Квартал был демократический, и дом населен мелкими рантье, чиновниками и несколькими рабочими семьями. В другое время Оливье страдал бы от этой среды, столь ему чуждой; но теперь ему было все равно, где жить, здесь ли, там ли: везде он был чужим. Он не знал, кто были его соседи, да и не хотел этого знать. Возвращаясь с работы (он устроился на службу в каком-то издательстве), он запирался у себя со своими воспоминаниями и выходил из дому только для того, чтобы повидать своего ребенка и Кристофа. Квартира не была для него домашним очагом: это была темная комната, наполненная образами прошлого; и чем темнее и оголеннее были стены, тем отчетливее выступали эти образы. Он едва замечал лица, с которыми встречался на лестнице. Помимо его воли, однако, некоторые из них запечатлевались в его памяти. Есть люди, которые хорошо видят лишь то, что прошло. Но тогда ничто уже не ускользает от них, и мельчайшие подробности точно резцом врезаются в их сознание. Таков был Оливье, населенный тенями живых. Они всплывали в нем при каждом потрясении; и Оливье, никогда не знавший их дотоле, вдруг узнавал их, протягивал к ним руки, силился их схватить... Увы, слишком поздно.

Однажды, выходя из дому, он увидел у подъезда толпу, собравшуюся вокруг привратницы, которая громко о чем-то разглагольствовала. Он был так мало любопытен, что продолжал бы свой путь, не осведомившись, в чем дело, но привратница, жаждавшая завербовать лишнего слушателя, остановила его, спросив, знает ли он, что приключилось с беднягами Руссель. Оливье, который понятия не имел, кто такие «бедняги Руссель», стал слушать ее с учтивым безразличием. Когда он узнал, что семья рабочих — отец, мать и пятеро детей — только что в этом

доме покончили самоубийством от нищеты, он, как и все другие, впился глазами в стены, продолжая слушать рассказчицу, которая без устали, вновь и вновь повторяла свое повествование. По мере того как она говорила, к Оливье возвращались воспоминания; он припоминал, что видел этих людей; он задал несколько вопросов. Да, он вспоминал их. Отец (он слышал его свистящее дыхание на лестнице) — рабочий-пекарь, с испитым лицом, из которого вся кровь точно высосана была жаром печи, со впалыми небритыми щеками; в начале зимы у него было воспаление легких, он вышел на работу, еще не оправившись от болезни; она вспыхнула вновь, и последние три недели он был без работы и без сил. Мать, постоянно беременная, разбитая ревматизмом, надрывалась, работая в нескольких домах поденщицей, целыми днями бегала по городу, домогаясь у попечительств скудного пособия, которое все никак не выдавали. А тем временем непрерывной чередой появлялись на свет дети: одиннадцати лет, семи, трех лет,— не говоря уже о двух, умерших в младенчестве; и в довершение всего — близнецы, которые выбрали для своего появления весьма удачный момент: они родились в прошлом месяце.

— В день их рождения,— рассказывала соседка,— старшая из пятерки, одиннадцатилетняя Жюстина — бедная девочка! — расплакалась и все спрашивала, как же она будет таскать двоих сразу.

Глазам Оливье тотчас же представилась эта девочка — большой лоб, бесцветные, гладко зачесанные назад волосы, мутно-серые, навыкате, глаза. Он всегда встречал ее то с провизией, то с младшей сестренкой на руках; а иногда она вела за руку семилетнего брата, худенького, хилого мальчика с миловидным личиком. Когда они сталкивались на лестнице, Оливье со свойственной ему рассеянной вежливостью произносил:

— Виноват, мадемуазель.

Она ничего не отвечала; она проходила мимо — торопливо, почти не сторонясь, но его учтивость втайне доставляла ей удовольствие. Накануне, под вечер, часов в шесть, спускаясь по лестнице, он встретил ее в последний раз: она тащила наверх ведро, наполненное древесным углем. Ноша казалась очень тяжелой. Но ведь дети из простого народа привычны к этому. Оливье поклонился, по обыкновению не взглянув на нее. Спустившись на несколько ступенек и машинально подняв голову, он увидел склоненное над перилами маленькое искаженное страдальческой гримасой личико и глаза, следившие за тем, как он спускался. Она тотчас же пошла дальше наверх. Знала ли

она, что ее ждет там? Оливье не сомневался в этом, и его преследовала мысль о ребенке, тащившем в своем слишком тяжелом ведре смерть — избавление... Несчастные дети, для которых не быть означало не страдать! Он не мог продолжать прогулку. Он вернулся к себе. Но знать, что там, рядом, эти мертвецы... Всего лишь несколько стенок отделяло его от них... И подумать только, что он жил бок о бок с такими страданиями!

Он отправился к Кристофу. Сердце у него сжималось; он думал, что чудовищно с его стороны предаваться пустым любовным сожалениям, в то время как столько людей терзаются муками в тысячу раз более жестокими,— ведь можно было бы их спасти. Он был глубоко потрясен; волнение его сразу передалось Кристофу. Тот, в свою очередь, разволновался. Выслушав рассказ Оливье, он разорвал только что написанную им страницу, обозвав себя эгоистом, забавляющимся детскими игрушками. Но потом он собрал оставшиеся клочья. Он слишком был захвачен музыкой; и чутье подсказывало ему, что оттого, что одним произведением искусства станет меньше, в мире не станет одним счастливцем больше. Для него эта трагедия нищеты не представляла ничего нового: с детства он привык ходить по краю таких бездн и не срываться вниз. Он сурово относился к самоубийству в эту пору своей жизни, чувствуя себя в расцвете сил и не постигая, как это, из-за каких бы то ни было страданий, можно отказаться от борьбы. Страданье и борьба — что может быть законнее? Это — стержень, позвоночник вселенной.

Через подобные же испытания прошел и Оливье, но никогда не мог примириться с ними — ни для себя, ни для других. Его ужасала нищета, в которой зачахла милая его Антуанетта. Женившись на Жаклине и поддавшись разнеживающему влиянию богатства и любви, он легко отстранил от себя воспоминание о тех грустных годах, когда сестра его и он сам выбивались из сил, отвоевывая день за днем право на существование и не зная, удастся ли им это. Теперь, когда ему уже не надо было оберегать свой эгоистический любовный мирок, образы эти вновь всплывали перед ним. Вместо того чтобы бежать от страдания, он пустился в погоню за ним. Чтобы найти его, далеко ходить не понадобилось. В том душевном состоянии, в котором находился Оливье, он видел страдание всюду. Оно наполняло весь мир. Мир — эту огромную больницу. О, терзания агонии! Пытки раненой, трепещущей, заживо гниющей плоти! Безмолвные муки сердец, снедаемых горем! Дети, лишенные ласки, девушки, лишенные надежды, женщины, соблазненные и обманутые, мужчины, разуверившиеся в дружбе, в любви и в вере,— скорбное

шествие несчастных, пришибленных жизнью людей!.. Но самое ужасное — не нищета, не болезнь, а жестокость людей друг к другу. Не успел Оливье приподнять люк, закрывающий человеческий ад, как до него донесся ропот всех угнетенных — эксплуатируемых пролетариев, преследуемых народов, залитой кровью Армении, задушенной Финляндии, четвертованной Польши, замученной России, Африки, отданной на растерзание волкам-европейцам,— вопли обездоленных всего рода человеческого. Оливье задыхался от этих стонов; он слышал их всюду, он не понимал, как могут люди думать о чем-нибудь другом. Он беспрерывно говорил об этом Кристофу. Кристоф, взволнованный, обрывал его:

— Замолчи. Дай мне работать.

И так как ему было трудно прийти в равновесие, он раздражался, бранился:

— К черту! Весь день потерян! Вот чего ты добился!

Оливье извинялся.

— Не надо все время заглядывать в бездну, мой милый,— говорил Кристоф.— Так невозможно жить.

— Нужно протянуть руку тем, кто там, в бездне.

— Конечно. Но как? Не бросаться же туда самому? Ведь именно этого ты хочешь. Ты склонен теперь не видеть в жизни ничего, кроме горя. Господь с тобой! Пессимизм этот, несомненно, полон милосердия, но он расслабляет. Хочешь создавать счастье? Сначала сам будь счастливым.

— Счастливым? Разве это возможно, когда столько страданий вокруг? Счастье можно найти, лишь стараясь их облегчить.

— Пусть так. Но лезть в драку очертя голову не значит помогать несчастным. Одним плохим солдатом больше — что в этом толку! А искусством моим я могу утешать, разливать вокруг себя силу и радость. Знаешь ли ты, скольких несчастных поддерживала в их страданиях красота какой-нибудь крылатой песни! Каждому свое ремесло! Вот вы, французы, великодушные ветрогоны, вы всегда первыми выступаете против всех несправедливостей, будь они в Испании или в России, сами толком не зная, в чем дело. За это я вас и люблю. Но неужели вы думаете, что хоть сколько-нибудь влияете на события? Вы безрассудно бросаетесь в бой и не достигаете ничего, а то и вред приносите... И заметь, никогда еще ваше искусство не было более пошлым, чем в наши дни, когда ваши художники воображают, что принимают участие в мировой борьбе. Смешно, что столько дилетантов и распутных фатов провозглашает себя апостолами! Куда лучше было бы, если б они угощали народ менее

подкрашенным вином. Мой долг прежде всего — хорошо делать то, что я делаю, писать для вас здоровую музыку, которая должна обогатить вашу кровь и насытить вас солнцем!

Чтобы озарять светом других, нужно носить солнце в себе. Оливье его недоставало. Как лучшие люди наших дней, он не был достаточно силен, чтобы излучать силу в одиночку. Он мог бы это делать, лишь объединившись с другими. Но с кем объединиться? Человек свободной мысли и верующий в душе, он был отвергнут всеми политическими и религиозными партиями. Все они соперничали друг с другом в нетерпимости и ограниченности. Стоило им захватить власть, как они начинали злоупотреблять ею. Одни только угнетенные привлекали Оливье. В одном, по крайней мере, он разделял мнение Кристофа, что, прежде чем бороться с далекой, отвлеченной несправедливостью, необходимо бороться с несправедливостью, совершающейся вблизи,— с той, что нас окружает и за которую мы более или менее ответственны. Слишком многие возмущаются злом, совершенным другими, не задумываясь над тем, которое совершают сами.

Сначала он принялся помогать бедным. Его приятельница г-жа Арно участвовала в каком-то благотворительном обществе. Оливье вступил в его члены. На первых порах ему не раз приходилось разочаровываться: не все вверенные его заботам бедняки достойны были участия; они плохо откликались на его сочувствие, относились к нему с недоверием, дичились его. Да к тому же человек интеллектуальный с трудом может удовлетвориться простой благотворительностью: она охватывает такую маленькую область в стране страдания и действует почти всегда раздробленно, случайно,— она точно идет наугад и врачует раны по мере того, как их находит; вообще она слишком скромна и слишком тороплива, чтобы докапываться до корней зла. А от этой-то попытки и не мог отказаться ум Оливье.

Он взялся за изучение проблемы социальной нищеты. Недостатка в руководителях у него не было. В ту пору социальный вопрос был в моде. О нем говорилось в гостиных, в романах, в театре. Всякий считал себя в нем знатоком. Часть молодежи отдавала ему лучшие свои силы.

Каждому новому поколению необходимо какое-нибудь прекрасное безумство. Даже в самых эгоистичных молодых людях таится некий избыток жизни, некий запас энергии, которая

рвется наружу, протестуя против бездействия. Они жаждут истратить ее на какую-нибудь деятельность или (что более осторожно) на разработку теории. Авиация или Революция. Спорт — упражнение для мускулов или для идей. Когда мы молоды, у нас есть потребность создать себе иллюзию, будто мы участвуем в великом движении человечества, будто мы обновляем мир. Чувства наши отзываются на все дуновения вселенной! Мы так свободны и так легки! Мы не обременены еще обузой семьи, у нас ничего нет, нам нечем рисковать. Мы очень щедры, когда можем отречься от того, чем еще не владеем. И к тому же так хорошо любить и ненавидеть и верить, что преображаешь мир своими мечтаниями, своим боевым кличем! Юноши — как сторожевые псы: они волнуются, прислушиваются и лают на ветер. Несправедливость, совершенная на другом конце света, приводит их в исступление.

Лай в ночи. С одной фермы на другую, среди лесных чащ, шла беспрерывная перекличка. Ночь была бурная. Нелегко было спать в то время! Ветер разносил по воздуху отклик стольких несправедливостей! Несправедливость неисчислима: исправляя одну, рискуешь причинить другую. Что такое несправедливость? Для одного — это позорный мир, растерзанное отечество. Для другого — война. Для одного — попранное прошлое, изгнанный государь; для другого — ограбленная церковь; для третьего — задушенное будущее, опасность, угрожающая свободе. Для народа — неравенство, а для избранников — равенство. Существует столько разнородных несправедливостей, что каждая эпоха выбирает себе свою — ту, с которой она борется, и ту, которую поощряет.

В то время главные усилия мира были направлены на борьбу с несправедливостями социальными — и бессознательно способствовали подготовке новых несправедливостей.

Несомненно, несправедливости эти были тяжкими и бросались в глаза, особенно с тех пор, как рабочий класс, чья численность и мощь все возрастали, сделался одним из важнейших двигателей государства. Но, вопреки шумным уверениям его трибунов и бардов, положение этого класса было не хуже, а лучше, чем в прошлом; и перемена состояла не в том, что он стал меньше страдать, а в том, что он окреп. Окреп же он именно благодаря силе враждебного ему капитала, благодаря непреложному закону развития экономики и промышленности, который сплотил рабочих в мощные, готовые к бою армии и с помощью механизации вложил им в руки оружие, сделав из

каждого подмастерья мастера, управляющего светом, молнией, мировой энергией. От этой огромной массы первобытных сил, которую вожди с недавних пор старались организовать, шел жар пылающего костра, струились электрические волны, пробегавшие по организму человеческого общества.

Не справедливостью своей, не новизной и яркостью идей волновала проблема защиты народа буржуазную интеллигенцию, как ни хотелось ей в это верить, а своею жизненностью.

Справедливость? Множество других справедливостей было попрано в мире, однако мир и не думал тревожиться. Идеи? Обрывки истин, подобранные наугад, приноровленные к мерке одного класса в ущерб остальным.

Credo — нелепые, как вообще все credo — божественное право королей, непогрешимость пап, царство пролетариата, всеобщее избирательное право, равенство людей — все одинаково нелепые, если рассматривать лишь идейную их ценность, а не силу, их оживляющую. Пусть они посредственны, что из этого? Идеи завоевывают мир не как идеи, а как живые силы. Они захватывают людей не интеллектуальным содержанием, а жизненным сиянием, излучаемым ими в иные моменты истории. От них точно идет какой-то звериный запах — самое грубое обоняние чует его. Прекраснейшая идея не оказывает никакого воздействия до того дня, пока не становится вдруг заразительной,— не в силу своих достоинств, а благодаря тем общественным кругам, которые ее воплощают и вливают в нее свою кровь. Тогда это засохшее растение, эта иерихонская роза вдруг расцветает, разрастается, наполняет воздух своим буйным благоуханием. Идеи, эти сверкающие знамена, с которыми рабочий класс шел на приступ твердынь буржуазии, зародились в мозгу буржуазных мечтателей. Пока они пребывали в буржуазных книгах, они были как бы мертвыми: музейные диковинки, выставленные в витринах, спеленатые мумии, на которые никто не смотрит. Но народ, едва завладев ими, сделал их народными, сообщил им лихорадочное биение жизни, исказившее и в то же время одушевившее их, вдохнул в эти отвлеченные истины свои пламенные надежды — знойный ветер Гиджры. Они стали передаваться от одного к другому. Они увлекали всех, и никто не знал, кем и как они занесены. Личности здесь роли не играли. Эпидемия идей быстро распространялась, и бывало иногда, что люди ограниченные заражали людей выдающихся. Каждый, сам того не зная, был очагом заразы.

Такие явления заразы, овладевающей умами, свойственны всем временам и всем странам; они наблюдаются даже в госу-

дарствах, где у власти стоит аристократия и где стараются удержаться обособленные касты. Но нигде не вспыхивают они так молниеносно, как в демократиях, где не сохранилось никакого санитарного кордона между избранниками и толпою. Толпа заражается мгновенно. Вопреки своему разуму и гордости она не может противостоять заразе, ибо толпа куда слабее, чем она думает. Разум — это островок, который подтачивают, размывают и затопляют человеческие приливы. Он вновь показывается над водой, лишь когда прилив отхлынет. Иные восторгаются самоотверженностью французских аристократов, отрекшихся в ночь на 4 августа от своих прав. Однако самое замечательное здесь то, что они не могли поступить иначе. Я представляю себе, что многие из них, вернувшись в свои особняки, подумали: «Что я наделал? Я был пьян...» Великолепное опьянение! Хвала доброму вину и винограднику, его дающему! Лоза, опьянившая своим соком аристократов старой Франции, не ими была посажена. Но вино перебродило, оставалось только его пить. Кто пил его, тот безумствовал. Даже у тех, кто не пил, кружилась голова лишь оттого, что они мимоходом вдохнули запах брожения. О, виноградные жатвы Революции!.. От вина 1789 года в фамильных погребах осталось теперь всего несколько выдохшихся бутылок, но дети наших внуков вспомнят, что от этого вина их прадеды хмелели.

Более терпким, но не менее крепким было вино, одурманивавшее буржуазную молодежь поколения Оливье. Эти молодые люди принесли свой класс на алтарь нового бога, Deo ignoto [1] — народа.

Не все они, разумеется, были одинаково искренни. Многие просто пользовались случаем выделиться из своего класса, делая вид, что презирают его. Для большинства это было умственной забавой, ораторским увлечением, которое они не принимали всерьез. Приятно думать, что веришь в какое-нибудь дело, что сражаешься, будешь сражаться или, скажем, мог бы сразиться за него. Не худо даже воображать, что при этом ты чем-то рискуешь. Чисто театральные переживания!

Они весьма невинны, когда отдаешься им бесхитростно, не примешивая сюда корыстных интересов. Иные, более осмотрительные, действовали только наверняка; народное движение являлось для них средством достижения своих целей. Подобно

[1] Неведомого бога *(лат.)*.

норманнским пиратам, они пользовались приливом, чтобы ввести свои корабли в глубь страны; они старались подальше проникнуть в устья больших рек и остаться в завоеванных городах после того, как море отхлынет. Фарватер был узок, волна капризна; требовалась немалая ловкость. Но два или три поколения демагогов создали породу корсаров, изощренных в своем ремесле. Они смело плыли вперед, даже не оглядываясь на тех, кто шел ко дну.

Эти мерзавцы встречаются во всех партиях; слава богу, ни одна за них не отвечает. Но отвращение, внушаемое этими авантюристами людям искренним и убежденным, заставило многих разочароваться в своем классе. Оливье встречался с богатыми и образованными молодыми людьми из буржуазного общества, которые сознавали упадок буржуазии и собственную свою бесполезность. Он, пожалуй, был даже слишком склонен им сочувствовать. Уверовав сначала в обновление народа через посредство избранников, основав ряд народных университетов и истратив на них много денег и времени, они убедились в своей полной неудаче; надежды их были чрезмерны, таково же было и их уныние. Народ либо не пришел на их зов, либо сбежал. Когда он приходил, то понимал все шиворот-навыворот и воспринимал от буржуазной культуры только ее пороки. К тому же немало паршивых овец втерлось в ряды буржуазных апостолов и подорвало к ним доверие, эксплуатируя одновременно и народ и буржуазию. Тогда людям искренним начало казаться, что буржуазия обречена, что она может лишь заразить народ и что народ должен любой ценой освободиться от нее и один идти своим путем. Таким образом, им ничего другого не оставалось, как провозгласить движение, которое должно было начаться без них и против них. Иные находили в служении народу радость отречения, братского сочувствия, глубокую и бескорыстную радость, питающуюся жертвенностью. Любить, отдавать себя! Юность так богата собственным богатством, что может обойтись без ответных даров: ей не страшно оставаться ни с чем. Другие находили усладу в рассуждениях, в неумолимой логике; они жертвовали собой не во имя людей, а во имя идеи. Это были самые бесстрашные. Они испытывали какое-то гордое наслаждение, приходя к логическому выводу о роковом конце, уготованном их классу. Увидеть свои предсказания опровергнутыми было бы им тягостнее, чем оказаться раздавленными насмерть. В своем умственном опьянении они кричали тем, кто был снаружи: «Сильней! Бейте сильней! Пусть от нас ничего не останется!» Они стали теоретиками насилия.

Насилия, совершаемого другими. Ибо эти проповедники грубой силы почти всегда были людьми слабыми и утонченными. Некоторые из них были чиновниками того самого государства, которое на словах они собирались уничтожить, и чиновниками добросовестными, исполнительными, покорными. Их теоретическая жестокость была отместкой за их бессилие в жизни, затаенные обиды, подневольное положение. Но главным образом она была показателем бушующих вокруг них бурь. Теоретики — точно метеорологи: они в научных терминах определяют погоду — не ту, что будет завтра, а ту, что стоит сегодня. Это флюгеры, указывающие, откуда дует ветер. Когда они вертятся, они почти готовы верить, что управляют движением ветра.

Ветер переменился.

Идеи в демократической стране быстро изнашиваются,— тем быстрее, чем быстрее они распространились. Сколько республиканцев во Франции менее чем за пятьдесят лет пресытилось республикой, всеобщим голосованием и столь многими с таким трудом и вдохновением завоеванными свободами. После восторженного поклонения массам, после блаженного оптимизма, уверовавшего в святое большинство и в прогресс человечества, вдруг повеяло духом насилия; неспособность всякого большинства управлять самим собою, его продажность, слабость, скрытое и трусливое отвращение ко всему, что выше его, его гнетущее малодушие — все возбуждало возмущение. Энергичные меньшинства — все меньшинства — взывали к силе. Странное и вместе с тем роковое сближение происходило между роялистами «Аксьон франсез» и синдикалистами Всеобщей конфедерации труда. Бальзак где-то говорит о подобном явлении своего времени — «об аристократах по духу, становившихся республиканцами с досады, для того лишь, чтобы видеть побольше низших среди себе равных». Жалкое утешение! Надо заставить этих низших признать себя таковыми, а для этого нет иного средства, как власть, утверждающая превосходство избранников — рабочих или буржуа — над подавляющим их большинством. Молодые интеллигенты, надменные мелкие буржуа становились роялистами или революционерами из чувства оскорбленного самолюбия и ненависти к демократическому равенству. И бескорыстные философы, теоретики насилия, настоящими флюгерами вздымались над ними, точно некие знамена бури.

Была еще группа литераторов, искавших вдохновения, из тех, кто умеет писать, но не знает толком, о чем писать; как греки в Авлиде, задержанные затишьем, они не могли плыть

дальше и нетерпеливо выжидали попутного ветра, который надул бы наконец их паруса. Были среди них и знаменитости — из тех, кого дело Дрейфуса неожиданно оторвало от их стилистических упражнений и кинуло в общественные сборища. Пример, которому, по мнению зачинщиков, слишком уж быстро последовали. Множество литераторов занималось теперь политикой и мнило себя вершителями государственных дел. Они по каждому поводу основывали союзы, выпускали воззвания, спасали Капитолий. За интеллигентами передового отряда следовали интеллигенты тыла; все они стоили друг друга. Каждая из двух партий называла другую мудрствующей, себя же почитала мудрой. Те, кому посчастливилось иметь в своих жилах несколько капель народной крови, гордились этим: они макали в нее свои перья. И все сплошь были обывателями, недовольными, брюзжащими и стремящимися вернуть власть, которую буржуазия из-за своего эгоизма безвозвратно утратила. Редко случалось, чтобы эти апостолы долго сохраняли свое апостольское рвение. Вначале их деятельность доставляла им успех — вероятно, не заслуженный их ораторскими способностями. Самолюбие их было приятнейшим образом польщено. Потом они продолжали выступать уже с меньшим успехом и с некоторой тайной боязнью показаться чуть-чуть смешными. Под конец стало одерживать верх последнее чувство, усугубленное усталостью от роли, слишком трудной для людей столь изысканных вкусов и столь скептического склада. Чтобы начать отступление, они выжидали благоприятного ветра, а также благоприятного настроения своей свиты. Ибо они были пленниками и того и другого. Эти Вольтеры и Жозефы де Местры наших дней за смелостью своих писаний скрывали робкую неуверенность в себе, то и дело нащупывали почву, боялись осрамиться перед молодежью, лезли из кожи вон, чтобы ей понравиться, разыгрывали из себя юнцов. Революционеры или контрреволюционеры, в своих произведениях они покорялись литературной моде, созданию которой сами способствовали.

Самый любопытный тип, которого Оливье встретил в этом маленьком буржуазном авангарде Революции, был тип революционера из робости.

Образец этот, находившийся у него перед глазами, именовался Пьером Канэ. Происходил он из богатой буржуазной и консервативной семьи, герметически закрытой для всяких новых идей; из нее выходили судьи и чиновники, знаменитые тем,

что бранили правительство или самовольно выходили в отставку, а также крупные буржуа из квартала Марэ, которые заигрывали с церковью и думали мало, но зато благонамеренно. Женился он от безделья на женщине с аристократическим именем, которая думала так же мало и не менее благонамеренно. Этот тесный и отсталый мир ханжей, беспрерывно, как жвачку, пережевывавший свою спесь и свои обиды, довел его под конец до крайнего раздражения,— тем более, что жена его была дурна собой и смертельно ему надоедала. Будучи человеком средних способностей, но ума довольно восприимчивого, он склонен был к либеральным стремлениям, сам не зная толком, в чем они состоят; уж во всяком случае, не в своей среде мог бы он узнать, что такое свобода. Он знал одно — что там свободы не было; и он воображал, что достаточно выйти оттуда, чтобы ее найти. Он неспособен был идти в одиночку. С первых же шагов на воле он охотно примкнул к своим школьным товарищам, многие из которых были одержимы идеями синдикализма. В этом мире он чувствовал себя еще более чуждым, чем в том, из которого вышел, но не решался в этом сознаться: надо же было ему где-нибудь жить; людей своей окраски (то есть лишенных всякой окраски) он не мог найти. Известно, однако, что эта порода отнюдь не редкость во Франции! Но они стыдятся самих себя: они прячутся или перекрашиваются в один из модных политических цветов, а то и в несколько цветов сразу.

Как водится, он особенно привязался именно к тому из новых своих товарищей, который более всех был ему чужд. Этот француз, французский обыватель и провинциал в душе, сделался неразлучным спутником молодого врача-еврея, Мануссы Геймана, русского эмигранта, который, подобно многим своим соотечественникам, обладал двойным даром: устраиваться у других как у себя дома и так быстро приноравливаться ко всякой революции, что неясно было, что же больше всего занимало его в ней — сама игра или же причины, ее вызвавшие. Собственные и чужие испытания были для него развлечением. Будучи искренним революционером, он, по привычке к научному мышлению, смотрел на революционеров, в том числе и на самого себя, как на своего рода помешанных. Он наблюдал это помешательство, в то же время культивируя его. Восторженное дилетантство и крайнее непостоянство мнений толкали его в самые разнородные общественные круги. У него были тесные связи со всеми, начиная от людей, стоящих у власти, до полицейского мира включительно. Он рыскал всюду с тем опасным и болезненным любопытством, которое придает поведению стольких

русских революционеров видимость двойной игры и иногда превращает эту видимость в действительность. Это не предательство, это — непостоянство, зачастую совершенно бескорыстное. Сколько существует людей действия, для которых действие — арена, куда они вступают как хорошие актеры, вполне честные и добросовестные, но всегда готовые менять роли! Роли революционера Манусса был верен, поскольку он мог быть верным,— эта роль наиболее согласовалась с его врожденным анархизмом и с тем удовольствием, которое он находил в разрушении устоев всех стран, в каких ему доводилось жить. И все-таки это была только роль. Никак нельзя было разграничить вымысел и правду, заключавшиеся в его словах; в конце концов он и сам перестал это различать.

Умный и насмешливый, одаренный тонкостью психологического анализа двух рас, великолепно разбирающийся как в своих, так и в чужих слабостях и умеющий на них играть, он без всякого труда подчинил Канэ своему влиянию. Его забавляло вовлекать этого Санчо Пансу в разные приключения в духе Дон-Кихота. Он распоряжался им без всякого стеснения,— его волей, временем, деньгами, не для своих нужд (у него самого не было никаких потребностей, и никто не знал, на что, собственно, он существует), а для самых рискованных революционных выступлений. Канэ не противился: он старался уверить себя, что думает так же, как Манусса. Втайне он убежден был в обратном — идеи эти страшили его, оскорбляли его здравый смысл. И он совсем не любил народ. К тому же он не был храбрым. Этот здоровенный малый, высокий, широкоплечий и плотный, с кукольным, совершенно бритым лицом, с отрывистой речью, ласковый, высокопарный и ребячливый, с грудью Геркулеса Фарнезского, силач, боксер и забияка был самым застенчивым человеком на свете. Если он и гордился тем, что в своем кругу слыл вольнодумцем, то втайне трепетал перед дерзостью своих друзей. Правда, этот легкий трепет был отчасти даже приятен, до тех пор, пока речь шла только об игре. Но игра становилась опасной. Эти негодники его приятели делались все требовательнее, их претензии возрастали; это тревожило Канэ — человека от природы эгоистичного, с глубоко укоренившимся чувством собственности и свойственной буржуазии трусостью. Он не осмеливался спросить: «Куда вы меня ведете?» — но втихомолку проклинал бесцеремонность людей, для которых первое удовольствие — свернуть себе шею, ничуть не задумываясь, не сломают ли они при этом шею и другим. Кто

принуждал его следовать за ними? Разве не был он волен от них уйти? У него не хватало на это смелости. Он боялся остаться один, точь-в-точь как ребенок, который отстал от своих и плачет, очутившись один на дороге. Он был, как большинство людей: у них нет собственного мнения, кроме одного разве,— порицания всех слишком крайних восторженных суждений; но для того, чтобы быть независимым, надо остаться одному, а многие ли на это способны? Многие ли, даже из самых проницательных, посмеют вырваться из рабства предрассудков и условностей, тяготеющих над людьми одного и того же поколения? Это значило бы воздвигнуть стену между собой и всеми другими. С одной стороны — свобода в пустыне; с другой стороны — толпа. Такие люди не колеблются: они предпочитают толпу, стадо. Пахнет оно скверно, но зато греет. И вот они делают вид, будто думают то, чего не думают. Им это не очень трудно: они сами хорошенько не знают, что именно они думают. «Познай самого себя!» Да как они могут это сделать, они, у которых нет своего «я»? Во всяком широко распространенном веровании, религиозном или социальном, редко можно встретить истинно верующих, потому что вообще редко можно встретить настоящих людей. Вера — сила героическая; ее огонь воспламенял лишь немногие человеческие факелы, но и их пламя часто колеблется. Апостолов, пророков и Христа тоже одолевали сомнения. Все же остальные горят лишь отраженным светом, если не считать иных периодов как бы душевной засухи, когда несколько искр, упавших с большого факела, воспламеняют всю равнину; постепенно пожар затухает, и видно только мерцание тлеющих под пеплом углей. Вряд ли наберется несколько сот христиан, действительно верующих в Христа. Остальные верят, что они верят, или же хотят верить.

Так было и со многими из этих революционеров. Добряк Канэ хотел верить, что он революционер, и, значит, верил. И был в ужасе от собственной дерзости.

Все эти буржуа объявляли себя поборниками различных принципов: одни — принципов сердца, другие — разума, третьи — материальных интересов; эти сообразовали свои убеждения с Евангелием, те — с Бергсоном, другие — с Карлом Марксом, с Прудоном, с Жозефом де Местром, с Ницше или с Жоржем Сорелем. Одни стали революционерами потому, что это было модно, из снобизма, другие — из боевого пыла; одни — из жажды действия, из героизма, другие — из рабского подражания, из стадного чувства. Но все, сами того не зная, были под-

хвачены ветром. Это были те клубящиеся столбы пыли, которые видны издалека на больших белых дорогах и которые возвещают приближение бури.

Оливье и Кристоф следили за приближающимся вихрем. У обоих были зоркие глаза. Но видели они по-разному. Оливье, чей прозорливый взгляд проникал в тайные мысли людей, был опечален их посредственностью, но он различал скрытую движущую силу,— его больше поражала трагическая сторона вещей. Кристоф был восприимчивее к стороне комической. Люди его интересовали, идеи — нисколько. Он подчеркивал свое презрительное равнодушие к ним. Он издевался над социальными утопиями. Из духа противоречия и бессознательного протеста против модного тогда болезненного гуманитаризма он выказывал себя бóльшим эгоистом, чем был на самом деле; человек, который сам всего добился, могучий самородок, гордящийся своими мускулами и волей, слишком склонен был обзывать лентяями тех, кто не обладал его силой. Бедный и одинокий, он все-таки сумел победить; пусть так же поступают и другие. Социальный вопрос? Какой тут вопрос! Нужда?

— Мне она знакома,— говорил он.— Отец и мать и я — все мы через это прошли. Что ж, надо только уметь из нее выбраться.

— Не все это могут,— говорил Оливье.— Есть больные, неудачники.

— Надо им помочь, вот и все. Но от помощи до восхваления, как это делается сейчас, очень далеко. Когда-то ссылались на гнусное право сильного. Ей-богу, не знаю, не гнуснее ли еще право слабого: оно расслабляет мысль в наши дни, оно принижает и эксплуатирует сильных. Можно подумать, что теперь великая заслуга быть болезненным, бедным, неумным, угнетенным и худший порок — быть сильным, здоровым, удачливым. И нелепее всего то, что сильные сами первые в это верят... Прекрасный сюжет для комедии, мой друг Оливье!

— Я предпочитаю, чтобы надо мною смеялись. К чему заставлять людей плакать?

— Добрая душа! — говорил Кристоф.— Черт подери! Кто же спорит? Когда я вижу горбуна, у меня у самого ломит спину... Комедия — мы сами ее играем, только не нам ее сочинять.

Он не поддавался на приманку социальной справедливости. Его простонародный, грубоватый здравый смысл подсказывал ему, что как было, так и будет.

— Если бы тебе сказали это об искусстве, ты бы в ярость пришел,— замечал Оливье.

— Весьма возможно. Во всяком случае, я знаю толк в одном лишь искусстве. И ты тоже. Не верю я людям, которые болтают о том, чего не знают.

Оливье тоже им не верил. Друзья в своем недоверии заходили даже слишком далеко. Они всегда держались в стороне от политики. Оливье признавался не без стыда, что не помнит, пользовался ли он хоть раз своим правом избирателя; вот уже десять лет, как он не брал в мэрии своего избирательного листка.

— Чего ради я стану принимать участие в заведомо бесполезной комедии? Голосовать? За кого? Я не оказываю предпочтения ни одному из кандидатов, которые мне одинаково неизвестны и которые — я вполне уверен — на следующий же день после избрания одинаково изменят своим убеждениям. Контролировать их? Призывать их к долгу? Это значило бы бесплодно растратить всю свою жизнь. У меня нет на это ни времени, ни сил, ни ораторских способностей, ни беспринципности. Мое сердце слишком уязвимо — такая деятельность мне претит. Лучше уж воздержаться. Я согласен терпеть зло. Но уж расписываться под ним, во всяком случае, не стану!

Однако же, несмотря на крайнюю свою проницательность и чувство отвращения к механизму политической деятельности, этот человек хранил в душе какую-то призрачную надежду на революцию. Он знал, что она призрачна, но не отстранял ее. Это был своего рода расовый мистицизм. Нельзя безнаказанно принадлежать к величайшему на Западе народу-разрушителю, к народу, который рушит, чтобы созидать, и созидает, чтобы рушить,— к народу, который играет идеями и жизнью, то и дело стирает дочиста все сделанное, чтобы отыграться, и ставит на карту свою кровь.

Кристоф не был одержим этим наследственным мессианизмом. Он был слишком германец, для того чтобы упиваться идеей революции. Он думал, что мира не изменить. Сколько теорий, сколько слов — экая бесполезная болтовня!

— Мне нет надобности,— говорил он,— производить революцию или трепать языком о революции, чтобы доказать самому себе свою силу. А главное, мне нет надобности, подобно всем этим молодцам, свергать государственный строй для того, чтобы восстановить короля или Комитет общественного спасения, который бы меня охранял. Странное доказательство силы! Я сам сумею постоять за себя. Я не анархист, я люблю необхо-

димый порядок и чту законы, правящие вселенной. Только мне не требуется посредников. Моя воля умеет повелевать, но умеет также и подчиняться. У вас с языка не сходят ваши классики, так вспомните-ка слова старика Корнеля: «Я один, и этого с меня достаточно». Вы жаждете иметь повелителя, и это обнаруживает вашу слабость. Сила — что свет; слепец тот, кто ее отрицает. Будьте сильны, спокойны, без всяких теорий, без насилий; как растения к свету, все слабые души потянутся к вам.

Однако, уверяя, что не желает терять время на политические споры, он куда меньше чуждался их, чем хотел это показать. Как художник, он страдал от социальных неурядиц. Минутами, тоскуя по большим страстям, он оглядывался вокруг и спрашивал себя, для кого же он пишет. И тут он видел жалкую клиентуру современного искусства, эту расслабленную знать, эту дилетантствующую буржуазию, и ему думалось: «Какой смысл работать для таких людей?» Правда, было среди них немало умов тонких, образованных, восприимчивых к его мастерству и не лишенных способности наслаждаться новизной или (что то же) архаикой изысканных чувств. Но они были пресыщены, слишком интеллектуальны, слишком неизлечимы, для того чтобы верить в реальность искусства; их занимала только игра — игра созвучий или идей; многие из них, привыкшие разбрасываться, тратя время на всевозможные занятия, из которых ни одно не было «необходимым», отвлечены были светскими интересами. Они были неспособны проникнуть сквозь оболочки искусства в самую его сердцевину; искусство не являлось для них плотью и кровью: оно было лишь литературой. Критики из их среды возводили в теорию, и к тому же не терпящую возражений, невозможность вырваться за пределы дилетантизма. Если случайно встречались среди них люди достаточно чуткие, чтобы отозваться на мощные аккорды искусства, то у них не хватало силы выдержать — они так и оставались разбитыми на всю жизнь. Невроз или паралич. Что было делать искусству в этой больнице? А между тем в современном обществе искусство не могло обойтись без этих выродков, потому что в их руках были деньги и печать; только они могли обеспечить художнику средства к существованию. Приходилось, следовательно, идти на унижение: преподносить на светских вечерах как развлечение — вернее, как лекарство против скуки или как новую докуку — всей этой публике, состоящей из снобов и усталых интеллигентов, живой трепет своего искусства, музыку, в которую вложены все сокровенные тайны души.

Кристоф искал настоящей публики, той, что верит художественным переживаниям как переживаниям жизни и воспринимает их девственной душой. И его смутно влекло к новой земле обетованной — к народу. Воспоминания детства, воспоминания о Готфриде, о смиренных душах, открывших ему глубины искусства и разделивших с ним священный хлеб музыки, побуждали его верить, что истинных друзей он обретет именно там. Как многие наивные молодые люди, он лелеял великие замыслы о народном искусстве, о народных концертах и театре, хотя очень затруднился бы точно определить свою идею. Он ожидал от революции художественного возрождения и утверждал, что одно только это его и интересует в общественной борьбе. Но он обманывался: он был слишком полон жизни, для того чтобы не вдохновиться делом, самым жизненным из всех, какие были в ту пору.

Меньше всего интересовали его буржуазные теоретики. Деревья эти слишком уж часто приносят засохшие плоды — весь их жизненный сок застыл в идеях. А в идеях Кристоф не разбирался. У него даже не было предпочтения к своим собственным, когда он обнаруживал их уже застывшими в тех или иных системах. Он с добродушным презрением сторонился как теорий силы, так и теорий слабости. Самая неблагодарная роль во всякой комедии — это роль резонера. Публика предпочитает ему не только положительных, но даже отрицательных персонажей. В этом отношении Кристоф был публикой. Резонеры на социальные темы казались ему скучными. Но ему забавно было наблюдать со стороны тех, что верили, и тех, что хотели верить, тех, что обманывали, и тех, что хотели быть обманутыми,— удалых пиратов, занимающихся своим разбойным ремеслом, и овец, созданных для того, чтобы их стригли. Он был снисходителен в своем расположении к добродушным, смешным людям, вроде толстяка Канэ. Их ограниченность коробила его не так, как Оливье. Он наблюдал их с сочувственным и насмешливым вниманием, считая себя непричастным к пьесе, которую они разыгрывали, и не замечая, как малопомалу сам втягивается в нее. Он воображал себя только зрителем, который смотрит, как налетает ветер. Но ветер уже коснулся его и увлекал в своем пыльном вихре.

Социальная пьеса была двусторонней. Та, что разыгрывалась интеллигенцией, была комедией в комедии,— народ не слушал ее. Настоящую пьесу играл сам народ. Следить за нею

было нелегко; он и сам не очень-то в ней разбирался. Тем больше было в ней всяких неожиданностей.

Надо сознаться, что в ней тоже говорили куда больше, чем действовали. Каждый француз — будь он из буржуазии или из народа — большой охотник до слов, так же как и до хлеба. Но не все едят один и тот же хлеб. Существуют слова роскоши, пригодные для изнеженных уст, и слова, более питательные для голодной глотки. Если даже слова одни и те же, то замешаны они неодинаково: вкус и запах и смысл у них разный.

Когда Оливье, присутствуя на одном народном собрании, впервые отведал этого хлеба, он мигом лишился аппетита — куски застревали у него в горле. Его мутило от плоскости мыслей, от бесцветных и варварски тяжелых выражений, от расплывчатости общих мест, от ребячливой логики — от всего этого плохо сбитого соуса из абстракций и не связанных между собой фактов. Нескладность языка не возмещалась сочной образностью народной речи. То был газетный словарь — выцветшее тряпье, подобранное в хламе буржуазной риторики. Оливье удивляло главным образом отсутствие простоты. Он забывал, что литературная простота — вещь не врожденная, а приобретенная, это завоевание немногих. Городской люд не умеет быть простым: он всегда любит выискивать мудреные выражения. Оливье не понимал, как эти напыщенные речи могут действовать на слушателей. У него не было ключа к этой тайне. Принято называть иностранным язык другой расы, а на самом деле в одной и той же расе почти столько же языков, сколько в ней социальных слоев. Только для узкого круга людей слова имеют свой традиционный, многовековой смысл; для других же они представляют собою лишь отражение собственного их опыта и опыта их среды. Иные слова, уже затасканные и отвергнутые в кругу избранных, напоминают опустелый дом, где после отъезда прежних хозяев поселились некие новые, полные жизни, силы и страсти. Если вы желаете узнать хозяина, войдите в дом.

Кристоф так и сделал.

С рабочими свел его сосед, железнодорожный служащий. Маленький сорокапятилетний человечек, преждевременно состарившийся, с уныло облысевшим черепом, с глубоко запавшими глазами, с выдающимся крупным горбатым носом, выразительным ртом и уродливыми ушами — человек с признаками

вырождения. Звали его Альсидом Готье. Он был не из народа, а из буржуазной почтенной семьи; родители истратили на образование сына все свое маленькое состояние, но даже не сумели, по недостатку средств, довести это образование до конца. Еще в ранней молодости он добился казенного места, одной из тех должностей, которые кажутся бедному мещанству пристанью, а по существу являются смертью — смертью при жизни. Раз попав туда, он уже не мог выбраться. Он сделал ошибку (в современном обществе это именно ошибка), женившись по любви на хорошенькой работнице, природная грубость которой не замедлила расцвести пышным цветом. Она родила ему троих детей. Весь этот выводок нужно было прокормить. И вот этот умный и страстно жаждущий пополнить свое образование человек оказался по рукам и по ногам связанным нуждой. Он чувствовал в себе скрытые силы, придушенные тяжелой жизнью, и не мог с этим примириться. Он никогда не бывал один. Служа по счетной части, он целые дни проводил за механической работой в общей комнате с другими сослуживцами, людьми грубыми и болтливыми; они говорили о всяком вздоре, злословили о своих начальниках, вымещая на них скуку своего существования, и насмехались над Готье, над его умственными запросами, которые у него не хватало благоразумия от них скрыть. Со службы он возвращался в свое неуютное и зловонное жилище, к пошлой, крикливой жене, которая не понимала его и обращалась с ним как с бездельником или как с сумасшедшим. Дети ни в чем не были похожи на него, а все пошли в мать. Где же тут справедливость? Все эти обиды, страдания, постоянная стесненность в средствах, работа с утра до ночи, иссушающая душу, невозможность урвать хотя бы час покоя, один часок тишины,— все это привело его в состояние угнетенности и неврастенического раздражения. Чтобы забыться, он с недавних пор стал прибегать к вину, которое вконец разрушило его здоровье. Кристоф был потрясен трагизмом его судьбы. Натура несовершенная, без достаточной культуры и без художественного вкуса, но созданная для чего-то значительного и раздавленная неудачами, Готье тотчас же уцепился за Кристофа, как слабый, утопая, цепляется за руку хорошего пловца. К Кристофу у него было смешанное чувство расположения и зависти. Он водил его на собрания трудовых людей Парижа и показал ему там нескольких главарей революционных партий, к которым он примыкал только из-за своего озлобления на общество, ибо по натуре он

был неудавшимся аристократом. Он глубоко страдал оттого, что ему пришлось смешаться с народом.

Кристоф был гораздо ближе к народу, чем Готье,— тем более что ничто не принуждало его к этому,— и потому пристрастился к митингам. Речи его забавляли. Он не разделял отвращения Оливье, так как был мало чувствителен к смешным оборотам языка. В его глазах один болтун стоил другого. Он делал вид, что вообще презирает красноречие. Но, не давая себе труда разобраться в риторике, он чувствовал музыку через того, кто говорил, и через тех, кто внимал ему. Власть говоривших во сто крат возрастала, находя отзвук в слушателях. Сначала Кристоф обратил внимание только на первых; он пожелал познакомиться с некоторыми ораторами.

Из них наибольшее влияние на толпу имел Казимир Жусье, смуглый и бледный человек лет тридцати — тридцати пяти, худой, болезненный, с лицом монгольского типа, с пламенными и в то же время холодными глазами, редкими волосами и острой бородкой. Сила его была не столько в мимике — скудной и неровной, плохо согласовавшейся со словами, не столько в речи, хриплой и шепелявой, с поползновениями на пафос, сколько в нем самом, в неистовой, исходившей от всего его существа убежденности. Он, казалось, не допускал, что можно думать иначе, чем он; а так как он думал именно то, что хотелось думать его слушателям, они понимали друг друга без труда. Он по три, по четыре раза, по десять раз повторял им то, чего от него ждали; он без устали, с каким-то остервенением колотил по одному и тому же гвоздю; и все его слушатели колотили, колотили, увлеченные его примером,— колотили до тех пор, пока гвоздь не вонзался в тело. К личному его обаянию присоединялось еще доверие, внушаемое его прошлым, престиж, созданный многократными политическими заточениями. От него веяло неукротимой энергией; но тот, кто умеет смотреть, различал в самой глубине огромную накопившуюся усталость, горечь после стольких затраченных усилий и негодование на судьбу. Он был из тех, кто ежедневно тратит больше, чем отпущено им на всю жизнь. С детства он надрывался в работе и нужде. Он испробовал все ремесла: был стекольщиком, свинцовых дел мастером, наборщиком; здоровье его было разрушено; чахотка подтачивала его, вызывала в нем приступы горького разочарования, безысходного отчаяния, обиды за свое дело и за самого себя, а иной раз распаляла его. В нем была смесь рассчитанной резкости и резкости болезненной, политичности и горячности. Он кое-чему с грехом пополам

выучился; отлично был осведомлен в некоторых вещах, в вопросах социологии, в разных ремеслах; весьма плохо знал многое другое и был одинаково уверен как в том, так и в другом; в нем совмещались утопии, верные мысли, невежество, практический ум, предрассудки, опыт, всегда настороженная ненависть к буржуазному обществу. Это не помешало ему, однако, хорошо встретить Кристофа. Его гордость была польщена тем, что известный артист ищет его общества. Он был из породы вождей и, помимо своей воли, с рабочими всегда держался повелителем. Хотя он искренне стремился к полному равенству, ему легче было осуществлять его с высшими, чем с низшими.

Кристоф встретился и с другими вождями рабочего движения. Особого единодушия между ними не было. Если общность борьбы и создавала, хотя бы с трудом, единство действия, то душевного единства она отнюдь не создавала. Видно было, насколько чисто внешни и преходящи те факторы, с которыми связаны классовые различия. Все разновидности старой вражды были только на время отложены и замаскированы, но продолжали существовать. Можно было встретить здесь северян и южан с их исконным презрением друг к другу. Представители одних ремесел завидовали заработку других и смотрели друг на друга с чувством нескрываемого превосходства. Но главное различие заключалось — и всегда будет заключаться — в разнице темпераментов. Лисицы, волки и рогатый скот, звери, наделенные острыми зубами, и жвачные с четырьмя желудками, те, что созданы, чтобы пожирать, и те, что созданы, чтобы быть съеденными,— все они обнюхивали друг друга, входя в стадо, образованное случайностью классового подразделения и общностью интересов, тотчас же узнавали чужака и ощетинивались.

Кристоф завтракал иногда в ресторанчике-молочной, принадлежавшей одному из прежних товарищей Готье, Симону, тоже железнодорожному служащему, уволенному за участие в забастовке. Там бывали синдикалисты. Они собирались по пять-шесть человек в одной из задних комнат, выходившей на узкий и темный внутренний двор, откуда исступленно неслось к свету немолчное пение двух сидящих в клетке канареек. Жусье приходил со своей любовницей, красавицей Бертой, стройной, кокетливой девицей с бледным лицом, со шлемом огненных волос и блуждающими веселыми глазами. За нею волочился молодой человек, красавчик, щеголь и кривляка Леопольд Грайо, механик, считавшийся эстетом в этой компании. Выдавая себя за анархиста и за яростного врага буржуа-

зии, он в душе был самым отъявленным мещанином. Каждое утро, в течение многих лет, он поглощал эротические и декадентские новеллы грошовых журнальчиков. И от этого чтения у него в голове был полный сумбур. Интеллектуальная утонченность, сказывавшаяся главным образом в чувственной игре воображения, сочеталась в нем с физической неряшливостью, с равнодушием к чистоте, с грубостью жизненных привычек. Он любил смаковать маленькими глоточками тот подкрашенный алкоголь, интеллектуальный алкоголь, каким является роскошь и всякие болезненные страсти болезненных богачей. Не имея возможности испытывать эти наслаждения телесно, как они, он прививал их своему мозгу. От этого остается дурной вкус во рту, ломота в ногах, но зато делаешься ровней богачам. И ненавидишь их.

Кристоф терпеть его не мог. Гораздо больше был он расположен к Себастьяну Кокару, электротехнику, который наравне с Жусье был одним из самых популярных ораторов. Этот не очень-то обременял себя теориями. Он не всегда знал, куда идет. Но шел напрямик. Он был истым французом. Дюжий молодец лет сорока, толстый, краснолицый, круглоголовый, рыжеволосый, с волнистой бородой, бычьей шеей, громовым голосом. Превосходный работник, как и Жусье, но любитель посмеяться и выпить. Тщедушный Жусье завистливыми глазами смотрел на этого пышущего здоровьем весельчака, и, хотя они были друзьями, в их отношениях чувствовалась затаенная враждебность.

Хозяйка молочной, Орели, сорокапятилетняя женщина, должно быть красивая в молодости и, хоть и потрепанная, красивая еще и до сих пор, присаживалась к ним с рукодельем в руках и слушала их разговоры, радушно улыбаясь и шевеля губами; при случае она, не оставляя работы, вставляла в беседу словечко, покачивая головой в такт своим речам. У нее была замужняя дочь и еще двое детей, семи и десяти лет,— девочка и мальчик,— которые тут же готовили уроки, на краю засаленного стола, высовывая язык и ловя на лету обрывки разговоров, вовсе для них не подходящих.

Оливье пробовал разок-другой сопровождать Кристофа. Но ему было не по себе с этими людьми. Трудно представить, сколько времени они могли тратить зря после работы и в промежутке между двумя работами, ротозейничая, прогуливая целый рабочий день, если у них не было точно установленного часа явки в цех, если их не призывала своим упорным гудком фабрика. Кристоф, находившийся как раз в одном из своих

периодов праздности, когда ум уже закончил одно творение и ждет, чтобы назрело другое, также никуда не торопился; он охотно сидел с ними, положив локти на стол, куря, попивая вино, беседуя. Но Оливье был оскорблен в своих инстинктах буржуа, в исконных своих привычках к умственной дисциплине, к регулярной работе, к бережному отношению ко времени; он не любил терять таким образом столько часов. К тому же он не умел ни пить, ни болтать. А главное — это чисто физическое чувство неловкости, тайная неприязнь, разделяющая людей разной породы, враждебность их чувств, мешающая единению сердец, плоть, восстающая против души. Наедине с Кристофом Оливье взволнованно говорил о том, что обязан брататься с народом; но, оказавшись лицом к лицу с этим народом, он ничего не мог с собой поделать, тогда как Кристоф, подтрунивавший над его идеями, без всякого труда становился другом первому же встречному рабочему. Для Оливье было истинным горем сознание своей отчужденности от всех этих людей. Он старался быть таким, как они, думать, как они, говорить, как они. И не мог. Голос у него был тихий, приглушенный, не звенел, как их голоса. Если он пытался заимствовать некоторые их выражения, слова застревали у него в горле или звучали как-то фальшиво. Он все время следил за собою, стеснялся, стеснял их. И он это знал. Он понимал, что для них он — чужой, подозрительный, что никто не чувствует к нему расположения и что после его ухода все с облегчением вздохнут: «Уф!» Ему случалось мимоходом улавливать суровые, ледяные взгляды,— те беглые враждебные взгляды, что бросают на буржуа ожесточенные нуждой рабочие. Выпадали они, быть может, и на долю Кристофа, но тот ничего не замечал.

Единственно кто из всей компании склонен был дружить с Оливье, это — дети Орели. У них не было никакой ненависти к буржуазии, напротив. Мальчик был зачарован буржуазной культурой; он был достаточно умен, чтобы ее любить, но не настолько, чтобы ее понимать; девочка, очень хорошенькая, которую Оливье однажды сводил в гости к г-же Арно, была помешана на роскоши; сидеть в красивых креслах, прикасаться к красивым платьям —все это приводило ее в какой-то безмолвный восторг; в ней говорил инстинкт потаскушки, жаждущей вырваться из простонародной среды в рай буржуазного довольства. У Оливье не было никакой охоты развивать подобные вкусы, и эта наивная дань восхищения его классу нисколько не вознаграждала его за ту глухую неприязнь, которую он чувствовал со стороны других. Он страдал от их не-

доброжелательности. Ему так страстно хотелось их понять. И, по правде говоря, он понимал их даже, может быть, слишком хорошо. Но он слишком явно наблюдал за ними, и это их раздражало. С его стороны это не было нескромным любопытством, а лишь привычкой анализировать души.

Он не замедлил разгадать тайную драму жизни Жусье: недуг, его снедавший, и жестокую игру его любовницы. Она любила его, гордилась им, но она слишком полна была жизни; он знал, что рано или поздно она ускользнет от него, и терзался ревностью. Ее это забавляло: она дразнила самцов, обволакивала их своими взглядами, своим сладострастием; она отчаянно заигрывала с мужчинами. Быть может, она изменяла ему с Грайо. Быть может, ей просто хотелось, чтобы Жусье так думал. Во всяком случае, если это еще не было сегодня, это должно было случиться завтра. Жусье не смел запрещать ей любить, кого ей вздумается: разве не признавал он за женщиной, так же как за мужчиной, права на свободу? Однажды, когда он вздумал ее упрекнуть, она с лукавой дерзостью напомнила ему об этом. В нем происходила мучительная борьба между вольнолюбивыми теориями и буйными инстинктами. Сердцем он был еще человек прошлого — деспотичный и ревнивый; разумом — человек будущего, человек утопии. Она же, она была женщиной — и вчерашней и сегодняшней, той, что будет всегда. И Оливье, присутствуя при этом тайном поединке, жестокость которого он знал по собственному опыту, видя мучения Жусье, преисполнялся жалости к нему. Но Жусье догадывался, что Оливье его понимает, и отнюдь не был ему за это благодарен.

Еще один человек снисходительным взглядом следил за этой игрой любви и ненависти — хозяйка ресторанчика, Орели. Она, не подавая виду, замечала все. Она знала жизнь. Эта добрая женщина, здоровая, спокойная, уравновешенная, провела довольно веселую молодость. Она была цветочницей; у нее был любовник из буржуа, были и другие. Затем она вышла замуж за рабочего. Стала хорошей семьянинкой. Но она понимала все безумства сердца, ревность Жусье, так же как и эту жаждущую веселья юность. Она старалась несколькими теплыми, задушевными словами восстановить между ними согласие:

— Надо быть снисходительным; не стоит из-за таких пустяков портить себе кровь...

Она не удивлялась тому, что все ее советы ровно ни к чему не приводили:

— Это никогда ни к чему не приводило. Человек вечно сам себя мучает...

Она обладала той веселой, свойственной простому народу беспечностью, когда все несчастья словно только скользят мимо. Немало выпало их и на ее долю. Три месяца назад умер ее любимый сын, пятнадцатилетний мальчик... Большое горе... Но теперь она снова была деятельной и радостной. Она говорила:

— Если только дать волю мыслям, то и жить нельзя будет.

И она больше не думала о нем. Это был не эгоизм. Она не могла поступить иначе: слишком силен в ней был инстинкт жизни; настоящее поглощало ее всю,— разве можно задерживаться на прошлом! Она приспособлялась к тому, что есть, она приспособилась бы и к тому, что будет. Если бы произошла революция и перевернула все вверх дном, она всегда сумела бы устоять на ногах, делала бы то, что нужно, была бы на своем месте всюду, куда бы ни забросила ее судьба. В глубине души она не слишком-то верила в революцию. По-настоящему она ни во что решительно не верила. Незачем добавлять, что в трудные минуты жизни она ходила по гадалкам и никогда не забывала перекреститься при виде покойника. Свободомыслящая и терпимая, она была исполнена здорового скептицизма, свойственного парижскому народу, который сомневается так же легко, как и дышит. Хоть она и была женой революционера, тем не менее она с той же материнской иронией относилась к идеям мужа и его партии — да и других партий,— как и ко всем шалостям юности и зрелого возраста. Мало что могло взволновать ее. Но интересовалась она всем. И равно была подготовлена к удаче, как и к неудаче. Словом, настоящая оптимистка.

— Не стоит портить себе кровь... Все уладится, было бы здоровье...

Ей нетрудно было найти общий язык с Кристофом. Им не понадобилось много слов, чтобы понять, что они — одной породы. Изредка, в то время как другие разглагольствовали и кричали, они обменивались добродушной улыбкой. Но чаще посмеивалась она одна, глядя, как Кристоф в конце концов невольно втягивался в эти споры, в которые он тотчас же вносил гораздо больше страстности, чем все остальные.

Кристоф не чувствовал обособленности и неловкости, от которой страдал Оливье. Он не пытался читать то, что происходит в душах людей. Но он пил и ел с ними, смеялся и сердился. Его не сторонились, хоть и жестоко препирались с

ним. Он говорил им все напрямик. В глубине души ему трудно было бы сказать, с ними он или против них. Он даже не задумывался над этим. Разумеется, если бы его заставили сделать выбор, он был бы за синдикализм и против социализма и всех доктрин, связанных с существованием государства,— государства, этой чудовищной силы, фабрикующей чиновников, людей-машин. Его разум одобрял мощь корпоративных объединений, обоюдоострый топор которых разит одновременно и мертвую абстракцию теории социалистического государства, и бесплодный индивидуализм, эту раздробленность энергий, это распыление коллективной силы на индивидуальные слабости,— великое зло современности, за которое отчасти ответственна французская революция.

Но натура сильнее разума. Когда Кристоф соприкасался с профессиональными союзами — этими грозными союзами слабых,— мощный его индивидуализм вставал на дыбы. Он невольно испытывал презрение к людям, которые, идя в бой, непременно должны быть скованы друг с другом; и если он допускал существование такого закона для них, то для себя он считал его неприемлемым. Добавьте к этому, что если слабые в роли притесняемых вызывают симпатию, то, становясь притеснителями, они перестают внушать это чувство. Кристоф, когда-то кричавший честным одиночкам: «Объединяйтесь!» — испытал неприятное ощущение, впервые увидев своими глазами объединение честных людей, смешанных с другими, менее честными, но поголовно преисполненных сознания своих прав, своей силы и готовых злоупотреблять этим. Лучшие — те, которых Кристоф любил, друзья, которых он встретил в *Доме*, во всех его этажах,— нимало не выигрывали от своего участия в этих боевых объединениях. Они были слишком деликатны и слишком застенчивы; они побаивались: им первым суждено было быть раздавленными. К рабочему движению они относились так же, как Оливье. Сочувствие же Кристофа клонилось на сторону организующихся рабочих. Но он воспитан был в культе свободы, а ею-то меньше всего и были озабочены революционеры. Да и кто нынче думает о свободе? Кучка избранных, не имеющая на мир никакого влияния. Мрачные дни наступили для свободы. Римские папы изгоняют свет разума. Парижские папы тушат свет небесный. А «господин Увалень» — свет уличных фонарей [1]. Всюду торжествует империа-

[1] Намек на смехотворную речь одного краснобая из палаты депутатов.— *Р. Р.*

лизм: теократический империализм римской церкви; военный империализм своекорыстных и мистически настроенных монархий; бюрократический империализм капиталистических республик; диктаторский империализм революционных комитетов. Бедная свобода, ты не от мира сего... Злоупотребление властью, проповедуемое и допускаемое революционерами, возмущало Кристофа и Оливье. Они не уважали желтых рабочих, которые отказывались страдать за общее дело. Но они находили отвратительным, что рабочих хотели принудить к этому силой. А между тем надо было сделать выбор. В сущности, выбирать нынче приходится не между империализмом и свободой, а между одним империализмом и другим. Оливье говорил:

— Ни тот, ни другой. Я — за угнетаемых.

Кристоф не меньше его ненавидел угнетателей. Но он шел в фарватере силы, вслед за армией возмущенных рабочих.

Он и сам этого не подозревал. Напротив, он заявлял своим собеседникам, что он не с ними.

— Пока все для вас сводится к материальным интересам, мне у вас делать нечего. В тот день, когда вы выступите во имя какой-нибудь веры, я буду в ваших рядах. А иначе, что мне делать — ведь и тут и там речь идет о брюхе? Я — художник, мой долг защищать искусство, я не имею права отдавать его на службу той или иной партии. Я знаю, за последнее время честолюбивые писатели, побуждаемые нездоровой жаждой популярности, подали нам дурной пример. Вряд ли они принесли большую пользу делу, которое защищали таким способом; но они предали искусство. Спасти светоч духа — вот в чем наша задача. Незачем впутывать его в ваши темные распри. Кто поднимет светильник, если мы его уроним? Вы же сами будете рады найти его невредимым после битвы. Надо, чтобы кочегары всегда поддерживали огонь в топке, пока на палубе корабля идет сражение. Все понять, ничего не ненавидеть! Художник — это компас, который в бурю всегда указывает на север...

Они называли его болтуном, а что касается компаса, то видно, говорили они, что он свой потерял; они позволяли себе роскошь дружески презирать его. В их глазах художник — это плут, который всегда ухитряется выбрать работу наиболее легкую и наиболее приятную.

Он отвечал им, что работает наравне с ними, даже больше, и меньше их боится работы. Ничто не было ему так противно, как саботаж, неряшливость в работе, праздность, возведенная в принцип.

— Уж эти мне бедняги, дрожат за свою драгоценную шкуру! — говорил он.— Боже ты мой! Я с десятилетнего возраста работаю без устали. Это вы, вы не любите работы, вы, в сущности,— буржуа. Если бы только вы были способны разрушить старый мир! Но вы этого не можете. Вы даже не хотите этого. Нет, не хотите! Напрасно вы вопите, угрожаете, разыгрываете из себя разрушителей. У вас одна только мысль: забрать все в свои руки, улечься в еще теплую постель буржуазии. Не считая нескольких сотен бедняков-землекопов, которые, сами не зная почему, ради удовольствия или с горя, от вековой скорби, всегда готовы свернуть себе шею или свернуть ее другим,— все остальные только и думают о том, как бы удрать, сбежать при первом же удобном случае в ряды буржуазии. Они делаются социалистами, журналистами, лекторами, литераторами, депутатами, министрами... Ну, ну! Не слишком уж возмущайтесь таким-то деятелем! Чем сами-то вы лучше его? Он — предатель, говорите вы? Ладно. За кем же из вас теперь черед? Все вы пройдете через это. Никто из вас не устоит перед соблазном. Да и как могли бы вы устоять? Среди вас нет ни одного, кто верил бы в бессмертную душу. Вы — брюхо, говорю я вам, пустое брюхо, вы только и думаете о том, чем бы его набить.

Тут они приходили в ярость и начинали кричать все сразу. И в пылу спора случалось, что Кристоф, захваченный страстью, оказывался куда большим революционером, чем остальные. Напрасно пытался он обуздать себя: его гордыня интеллигента, его снисходительное, чисто эстетическое восприятие мира, созданного для радости духа,— все исчезало при виде несправедливости. Разве эстетичен этот мир, в котором восемь человек из десяти живут в лишениях или в нужде, в нищете физической или духовной? Надо быть бесстыдником из привилегированного сословия, чтобы это утверждать. Такой художник, как Кристоф, перед лицом своей совести не мог не стать на сторону рабочих. Кому, как не людям умственного труда, страдать от безнравственности социальных условий, от страшного имущественного неравенства? Художник умирает с голоду или делается миллионером не по какой иной причине, как только по прихоти моды или тех, кто спекулирует на ней. Общество, которое позволяет гибнуть своим избранникам или чрезмерно награждает их,— чудовищно: оно должно быть уничтожено. Каждый человек — работает он или не работает — имеет право на хлеб насущный. Всякий труд — хорош он или посредствен — должен быть вознагражден не по исчислению его

реальной ценности (кто тут может быть непогрешимым судьей?), а по законным и нормальным потребностям работника. Художнику, ученому, изобретателю — славе общества — общество может и должно предоставить доход, достаточный для того, чтобы обеспечить ему время и средства для еще большего его прославления. Только и всего. «Джиоконда» не стоит миллиона. Между денежной суммой и произведением искусства нет решительно никакой связи; оно не выше, не ниже — оно вне ее. Дело не в том, чтобы оплатить произведение искусства, а в том, чтобы художник мог жить. Дайте ему возможность кормиться и спокойно работать. Богатство — излишняя роскошь; это — кража, совершенная у других. Надо сказать прямо: всякий, кто владеет бóльшим, чем требуется для его жизни, для жизни его близких, для нормального развития его умственных способностей,— вор. Его излишек отзывается ущербом на других. Мы только грустно улыбаемся, когда при нас говорят о неисчерпаемом богатстве Франции, об изобилии имеющихся в ней крупных состояний,— мы, племя тружеников, рабочих, интеллигентов, мужчины и женщины, с детства выбивающиеся из сил для того лишь, чтобы заработать на жизнь, чтобы не умереть с голоду, мы, зачастую присутствующие при гибели лучших, павших под тяжестью бремени, мы — живые силы нации. Но вы, пресыщенные всеми богатствами мира, вы богатеете на наших страданиях и нашей агонии. Это нисколько вас не смущает, у вас всегда найдутся софизмы, которыми вы подбодряете себя; священное право собственности, здоровая борьба за существование, высшие цели Прогресса, этого мифического чудовища, этого гадательного «лучше», которому жертвуют тем, что хорошо, жертвуют благом — благом других. Но в любом случае у вас остается слишком много. Слишком много жизненных благ. У нас же их недостаточно. А стóим мы побольше вашего. Если неравенство вам по вкусу, берегитесь, как бы завтра оно не обернулось против вас!

Так бушевавшие вокруг Кристофа страсти кружили ему голову. Потом он сам удивлялся этим приступам красноречия. Но он не придавал им значения. Его забавляло это возбуждение, которое он приписывал выпивке. Он сожалел только, что вино было недостаточно хорошо, и превозносил свои рейнские вина. Он продолжал считать себя не связанным с революционными идеями. Но странное дело: Кристоф вносил в свои споры

«Жан-Кристоф». Книга восьмая.

об этих идеях все больше и больше пыла, тогда как пыл его товарищей, казалось, соответственно убывал.

У них меньше было иллюзий, чем у него. Даже самые пламенные вожаки — те, кого больше всего страшилась буржуазия, в глубине души были недостаточно уверены в себе и до мозга костей буржуазны. Кокар, чей смех напоминал ржанье жеребца, говорил громовым голосом и делал угрожающие жесты, но сам он лишь наполовину верил в то, что изрекал: он только хвастался тем, что был сторонником насилия. Он разоблачал буржуазную трусость и любил нагонять ужас, представляясь более сильным, чем был на самом деле; он, не стесняясь, со смехом признавался в этом Кристофу. Грайо критиковал все, все, любое предприятие, он проваливал решительно все. Жусье вечно упорствовал в своих утверждениях и не желал признавать себя неправым. Отлично сознавая слабость своей аргументации, он тем сильнее упрямился. Он готов был пожертвовать победой своего дела ради торжества своих принципов. Но от припадков слепой веры он переходил к припадкам скептического неверия, с горечью осуждая ложь всех идеологий и бесполезность всех усилий.

То же было и с большинством рабочих. После опьянения словами они мгновенно впадали в уныние. Мечты их были грандиозны, но не имели под собой никакой почвы; они их не завоевывали, не создавали сами — они получили их уже готовыми, живя по закону наименьшего сопротивления, того самого закона, который увлекал их на досуге в кабаки и притоны. Неизлечимая леность мысли, которая, впрочем, была простительна: словно измученное животное, они только и думали о том, чтобы лечь и мирно пережевывать свой корм, свои мечты. Но когда перебродят мечты, остается еще бóльшая усталость, тоска судорогой сводит скулы. Рабочие то и дело восторгались каким-нибудь вождем, но вскоре начинали его подозревать и отходили от него. Печальнее всего то, что они отнюдь не были неправы: вожаки, один за другим, поддавались соблазну богатства, успеха, тщеславия; на одного Жусье, которого от соблазна ограждала изнурявшая его чахотка и близкая смерть, сколько приходилось предателей, сколько разочарованных! Они были жертвами язвы, разъедавшей в ту пору политических деятелей всех партий: их развращали женщины или деньги — женщины и деньги. (Оба эти бича составляли, в сущности, один бич.) В правящих кругах, равно как и в оппозиции, можно было встретить первоклассные дарования, людей с задатками крупных государственных деятелей (в другое время

они, быть может, и стали бы таковыми), но всем им недоставало веры, недоставало характера; жажда наслаждений, привычка к ним, пресыщение ими совершенно расслабили их; эта жажда наслаждений заставляла их, в разгар самых широких замыслов, совершать бессмысленные поступки или забрасывать вдруг ради отдыха и наслаждения все: текущие обязанности, отечество, великое дело, за которое они боролись. У этих вождей хватило бы мужества принять смерть в бою, но очень немногие из них были бы способны умереть за работой, без всякого бахвальства, неколебимо стоя на своем посту, продолжая до конца держать руль.

Сознание этой роковой слабости подрывало силы революции. Рабочие тратили время на взаимные пререкания и обвинения. Забастовки вечно проваливались из-за постоянных разногласий между главарями или цехами, между реформистами и революционерами, из-за скрытой под хвастливыми угрозами глубокой нерешительности, из-за наследственного стадного чувства, которое при первом же окрике властей заставляло мятежников снова вкладывать шею в ярмо, из-за подлого эгоизма и низости тех, кто, пользуясь борьбой других, старался выслужиться перед господами, заставляя дорого оплачивать свою корыстную преданность. Мы не говорим уж о присущей толпе беспорядочности и анархическом духе. Рабочие готовы были придать революционный характер экономическим стачкам, но не желали, чтобы с ними обращались, как с революционерами. Штыки были им совсем не по вкусу. Им хотелось сделать яичницу, не разбивая яиц. Во всяком случае, они предпочитали, чтобы битые яйца доставались не им, а их соседям.

Оливье смотрел, наблюдал и уже не удивлялся. Он понял, насколько эти люди ниже той задачи, которую они брались осуществить; но он понял также увлекавшую их роковую силу и видел, что Кристоф, сам того не замечая, уже плывет по течению. Что касается самого Оливье, который только и жаждал быть унесенным потоком, то его не желали принимать. Он стоял на берегу и смотрел, как проносятся мимо него бурные воды.

То было могучее течение; оно вздымало огромную массу страстей, интересов, верований, которые сталкивались и сливались, вскипая пеной и кружась среди бурлящих противоборствующих течений. Во главе шли вожаки — наименее свободные из всех, потому что их подталкивали вперед, и, быть может, из всех наименее убежденные; некогда верили и они, подобно священникам, над которыми они сами же смеялись,

но они закоснели в своих обетах, в своей уже угасшей вере, которую теперь принуждены были исповедовать до конца. За ними следовало стадо, грубое, ненадежное и почти ничего не видящее. Большинство верило лишь случайно, потому что течение сейчас влекло их именно к этим утопиям; они разуверятся завтра же, лишь только течение переменится. Многие верили из жажды действия, из жажды приключений. Другие — в силу логических рассуждений, лишенных всякого здравого смысла. Кое-кто — по доброте. Более осмотрительные пользовались идеями лишь как оружием для битвы: они боролись за твердый заработок, за сокращение рабочих часов. Бедные лелеяли тайную надежду жестоко отомстить за нищенское свое существование.

Но течение, на гребне которого они держались, было мудрее их всех: оно знало, куда идет. Что за беда, если ему придется временно разбиться о плотину старого мира! Оливье понимал, что сейчас социальная революция была бы подавлена. Но он знал также, что своим поражением она достигнет цели не менее верно, чем победой, ибо угнетатели лишь тогда удовлетворяют требования угнетаемых, когда те внушают им страх. Таким образом, несправедливые акты насилия, чинимые революционерами, способствовали успеху их дела не меньше, чем справедливость этого дела. И то и другое являлось частью единого замысла слепой и уверенной в себе силы, толкающей вперед человеческое стадо.

«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но бог избрал безумное мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал бог, чтобы посрамить сильных; и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал бог, чтобы упразднить значащее...»

И все-таки, кто бы ни был хозяин, правящий миром (Разум ли, Безумие ли), и какой бы прогресс не сулило в будущем социальное устройство, подготовляемое синдикализмом, Оливье не думал, что ему и Кристофу стоит растрачивать всю силу своей мечты и жертвенности в этом будничном бою, которому не суждено открыть нового мира. Его чисто мистическая надежда на революцию была поколеблена. Народ был не лучше и ничуть не искреннее других классов, а главное, ничем особенным от них не отличался.

В этом потоке сталкивающихся интересов и нечистых страстей взгляд и сердце Оливье привлекали независимые островки, маленькие группы истинно убежденных людей, всплывавшие то здесь, то там, как цветы на поверхности воды. Напрасно стараются избранники слиться с толпой: их всегда влечет к избранникам же, избранникам всех классов и всех партий,— к тем, кто несет огонь. И священный их долг — следить, как бы огонь этот не погас.

Выбор Оливье был уже сделан.

За несколько домов от дома Оливье, чуть пониже уровня улицы, находилась лавчонка башмачника — несколько сколоченных досок с бумажными заплатами на окнах. Спускались туда по трем ступенькам, стоять можно там было, только сгорбившись. Места хватало лишь для полки с башмаками да двух табуреток. Весь день слышно было, как, верный традициям сапожного цеха, распевал хозяин мастерской. Он свистел, постукивал по подошвам, выкрикивал сиплым голосом всякие прибаутки и революционные песенки или зубоскалил с проходящими мимо соседками. Сорока со сломанным крылом, прогуливаясь вприпрыжку по тротуару, приходила из каморки привратника к нему в гости. Она останавливалась на первой ступеньке у входа в лавку и смотрела на башмачника. Он на минуту прерывал работу, чтобы воркующим голосом сказать ей несколько сальностей, или насвистывал ей «Интернационал». Она подолгу, подняв клюв, степенно слушала его. Время от времени она как будто ныряла, наклоняя голову вперед, и, точно отвешивая поклоны, неловко хлопала крыльями, чтобы сохранить равновесие; потом неожиданно поворачивалась и, покинув своего собеседника на середине фразы, работая здоровым и надломленным крылом, перелетала на спинку скамьи, откуда принималась дразнить всех собак квартала. Тогда башмачник опять начинал стучать по заготовкам — бегство слушательницы не мешало ему довести до конца прерванную речь.

Ему было пятьдесят шесть лет; у него было веселое, грубое лицо, маленькие смеющиеся глазки под густыми бровями, голый на макушке череп, словно яйцо в гнезде волос, волосатые уши, черная, беззубая пасть, зиявшая точно колодец, когда он смеялся, всклокоченная, неопрятная борода, которую он теребил обеими руками — огромными, черными от ваксы клешнями. Он был известен в своем квартале под именем дядюшки Фейе, или Фейет, или же папаша Ла Фейет; старика дразнили Ла-

файетом, чтобы взбесить, ибо в политике он держался самых крайних взглядов: в ранней молодости он принимал участие в Коммуне, осужден был на смерть и в конце концов сослан. Он гордился этим и в своих воспоминаниях яростно обрушивался на Галифе с Футрике, а заодно и на Баденге. Он был завсегдатаем всех революционных собраний и поклонником Кокара, оратора с красивой бородой, который таким громовым голосом проповедовал идею мщения. Он не пропускал ни одной его речи, ловил его слова, смеялся во все горло его шуткам, упивался его руганью и ликовал, предвкушая будущие битвы и обетованный рай. На другой день у себя в лавчонке он перечитывал в газете отчеты об этих собраниях, читал их вслух самому себе и своему ученику; наконец, чтобы лучше насладиться ими, заставлял ученика читать вслух и награждал его затрещиной, если тот пропускал строчку. Поэтому он не всегда доставлял работу к сроку, но зато уж обувь была прочная: от нее изнашивались ноги, сама же она была неизносима.

Старик жил с тринадцатилетним внуком, горбатым, хилым и рахитичным мальчиком, которого он обучал своему ремеслу. Его мать семнадцати лет убежала из дому с негодяем-рабочим, который, сделавшись апашем, вскоре был арестован, осужден и куда-то исчез. Оставшись одна с ребенком на руках, отвергнутая семьей, она растила маленького Эмманюэля. Она перенесла на него всю любовь и ненависть, которые питала к своему любовнику. Это была женщина буйного, болезненно-ревнивого характера. Она страстно любила своего мальчика, но обращалась с ним жестоко, а когда он болел, сходила с ума от отчаяния. Иногда, в припадке дурного настроения, она укладывала его спать без обеда, даже без куска хлеба. Она таскала его за руку по улицам, и, когда он спотыкался и падал на землю от усталости, она пинком подымала его на ноги. Говорила она бессвязно и часто переходила от слез к возбужденной истерической веселости. Когда она умерла, дедушка взял к себе мальчика, которому тогда было шесть лет. Он очень любил внука, но у него была своя манера проявлять любовь: заключалась она в том, что он обращался с ним крайне сурово, обзывал его всякими бранными словами, драл за уши, с утра до ночи награждал колотушками, чтобы выучить своему ремеслу, и в то же время вдалбливал ему свой социальный и антиклерикальный катехизис.

Эмманюэль знал, что дедушка не злой, но он всегда держал локоть наготове, чтобы оградить себя от затрещин; он боялся старика, особенно после попоек. Папаша Ла Фейет не зря

получил свое прозвище: два-три раза в месяц он напивался, как стелька; тогда он болтал что попало, смеялся, хорохорился, и все это кончалось для мальчика тумаками. Дедушка больше шумел, чем дрался. Но мальчик был пуглив; болезненное состояние делало его еще чувствительнее; он был умен не по летам и унаследовал от матери нрав дикий и неуравновешенный. Грубость дедушки потрясала его так же, как и его революционные речи. От каждого внешнего впечатления все трепетало в нем, как в их лавчонке, которая сотрясалась, когда мимо проезжали тяжелые омнибусы. В его лихорадочном воображении, словно перезвон колоколов, переплетались пережитые за день детские обиды и горести, преждевременные испытания, рассказы о Коммуне, обрывки вечерних бесед, обрывки газетных фельетонов, митинговых речей и унаследованные им смутные и бурные чувственные инстинкты. Все, вместе взятое, создавало мир мечтаний, чудовищный мир, болото в ночном мраке, из которого прорывались ослепительные лучи надежды.

Башмачник таскал с собою своего ученика в кабачок, к Орели. Здесь-то Оливье и заметил маленького горбуна с пронзительным голосом. В обществе рабочих, с которыми Оливье почти не разговаривал, у него достаточно было времени, чтобы изучить болезненное личико ребенка с выпуклым лбом, дикого и забитого; Оливье замечал, как от обращенных к нему грубых шуток молчаливо подергивалось лицо мальчика. Он видел, как под впечатлением революционных речей его бархатные карие глаза загорались восторгом, мечтой о будущем счастье, о том счастье, которое, если бы и осуществилось когда-нибудь, мало что изменило бы в его жалкой судьбе. В такие минуты его невзрачное лицо озарялось сиянием этих глаз, и вы забывали, что он некрасив. Красавица Берта — и та это заметила. Однажды она сказала ему об этом и без всякого предупреждения взяла и поцеловала в губы. Ребенок привскочил; он побледнел от волнения и отпрянул с видимым отвращением. Но девушка даже не успела заметить этого — она уже была занята ссорой с Жусье. Один только Оливье увидел смятение Эмманюэля: он следил взглядом за мальчиком, который отодвинулся в тень; руки его дрожали, голова была опущена, и он исподлобья бросал на девушку страстные и сердитые взгляды. Оливье подошел к нему, поговорил с ним мягко, вежливо, приручил его... Как благотворна может быть ласка для сердца, не знавшего внимания! Она — точно капля воды, которую жадно впитывает в себя высохшая земля. Достаточно было нескольких слов, улыбки, чтобы маленький Эмманюэль всей душой стал

предан Оливье и решил, что Оливье тоже предан ему. Позднее, когда он встретил Оливье на улице и узнал, что они — соседи, это представилось ему таинственным указанием судьбы на то, что он не ошибся. Он подстерегал, когда Оливье пройдет мимо лавчонки, чтобы поздороваться с ним; и, если случалось, что Оливье по рассеянности не глядел в его сторону, Эммануэль чувствовал себя оскорбленным.

Для него было большим счастьем, когда Оливье однажды зашел к башмачнику с заказом. После того как работа была окончена, он сам отнес ее Оливье; он подкараулил его, чтобы наверняка застать дома. Оливье, поглощенный своими мыслями, почти не обратил на него внимания и расплатился, не говоря ни слова; ребенок как будто ждал чего-то, оглядывался по сторонам, медлил уходить. Оливье со свойственной ему добротой угадал, что происходило в нем; он улыбнулся и попробовал завязать разговор, несмотря на неловкость, которую всегда испытывал, разговаривая с людьми из народа. На этот раз он сумел найти слова простые и непосредственные. Благодаря своей чуткости к страданиям, он видел в этом ребенке (наивно, быть может) что-то общее с собой — бедную, раненную жизнью птичку, которая, спрятав голову под крыло, грустно нахохлившись на своем насесте, утешалась мечтою о безумных полетах в поднебесье. Такое же чувство инстинктивного доверия тянуло к нему и ребенка; он испытывал влечение к этому молчаливому человеку, который никогда не кричал, не говорил резких слов, возле которого можно было чувствовать себя защищенным от всех грубостей улицы; и эта комната, населенная книгами, магическими голосами веков, внушала ему благоговейное уважение. На все вопросы Оливье он отвечал охотно, с внезапными вспышками какой-то гордой дикости; но у него не хватало слов. Оливье осторожно давал раскрыться этой темной, бессвязно лепечущей душе; постепенно он научился читать в ней ее смешную и трогательную веру в обновление мира. У него не было охоты смеяться над мальчиком, зная, что он грезит о невозможном и что его вера бессильна изменить человека. Христиане тоже мечтали о невозможном; и они не изменили человека. От эпохи Перикла до эпохи господина Фальера, где же он, этот хваленый нравственный прогресс? Но всякая вера прекрасна; и, когда меркнут верования, которые уже свершили свой путь, надо приветствовать новые, которые только что загораются,— никогда их не будет слишком много. Оливье с ласковым любопытством смотрел на зыбкий свет, теплившийся в мозгу этого ребенка. Что за странная головенка! Оливье не

удавалось проследить за ходом его мысли, не способной на продолжительное логическое напряжение; она двигалась скачками и во время разговора внезапно отставала, останавливаясь, цепляясь за неизвестно как — быть может, из какого-нибудь раньше сказанного слова — возникшее видение, а потом вдруг одним прыжком догоняла, обгоняла вас, преображая самую простую мысль, самую обыденную мещанскую фразу в некий зачарованный мир, в героическое и безумное credo. У этой дремлющей и так внезапно пробуждавшейся души была ребяческая и властная потребность в оптимизме: ко всему, о чем говорилось,— будь то в области искусств или науки,— она придумывала благополучный мелодраматический конец, соответствующий требованию ее мечтаний.

Из любопытства Оливье попробовал было по воскресеньям почитать кое-что мальчугану. Он думал заинтересовать его реалистическими и незатейливыми рассказами; он прочел ему «Детство» Толстого. На мальчика это не произвело впечатления; он говорил:

— Ну да, это уже давно известно.

И не понимал, как можно затрачивать столько сил на то, чтобы описывать самую обыкновенную жизнь.

— Мальчик как мальчик! — презрительно говорил он.

История тоже не заинтересовала его; наука нагоняла на него тоску: она казалась ему скучным предисловием к волшебной сказке о незримых силах, отданных в услужение человеку, подобно неким грозным и поверженным гениям. К чему столько объяснений? Когда найдешь что-нибудь, незачем говорить, как ты это нашел, интересно, что́ именно ты нашел. Анализ мыслей — это буржуазная роскошь. Душе простого человека нужен синтез, уже готовые идеи, продуманные кое-как, скорее плохо, чем хорошо, но зато зовущие к действию, насыщенные жизнью и заряженные электричеством. Из всей знакомой Эмманюэлю литературы больше всего умилял его эпический пафос Виктора Гюго и туманная риторика революционных ораторов, которых он мало понимал и которые, так же как Гюго, не всегда сами себя понимали. Мир для него, так же как и для них, не был стройным сочетанием причин или следствий, а бесконечным, утопающим во мраке пространством, где тьму прорезают широкими взмахами сверкающие крылья. Напрасно пытался Оливье заразить его своей буржуазной логикой. Мятежная и тоскующая душа ускользала из его рук; ей было хорошо в тумане и путанице бредовых ощущений, как влюбленной женщине, которая, закрыв глаза, отдается любви.

Оливье привлекало и в то же время глубоко огорчало как то, что роднило его с этим ребенком,— одиночество, гордая слабость, идеалистический пыл, так и то, что было ему чуждо,— его неуравновешенность, слепые, необузданные желания, дикие инстинкты, отсутствие всякого понятия о добре и зле в том смысле, как их определяет обычная мораль. Он смутно видел лишь малую долю этих диких порывов. Он никогда не подозревал о мире мятежных страстей, бушевавших в сердце его маленького друга. В силу какого-то буржуазного атавизма мы стали слишком благоразумными. Мы не смеем даже заглянуть в свою душу. Если бы мы рассказали хоть сотую долю тех снов, которые снятся честному человеку, или странных желаний, бродящих в крови целомудренной женщины, это произвело бы настоящий скандал. Не касайтесь чудовищ! Заприте клетку! Но знайте, что они существуют и что в неопытных душах они всегда готовы вырваться наружу. У мальчика были все эротические желания, которые принято считать извращенными; они охватывали его внезапно, вихрем налетая на него, еще сильнее разгораясь из-за его уродливости, удалявшей его от людей. Оливье ничего об этом не знал. При нем Эмманюэль стыдился всего этого. Он заражался покоем Оливье. Пример его жизни действовал на мальчика укрощающим образом. Ребенок страстно любил Оливье. Его подавленные желания выливались в бурные грезы: счастье человечества, социальное братство, чудеса науки, фантастические успехи авиации, ребяческие и варварские поэтические образы — целый героический мир подвигов, безумств, сладострастия, самопожертвования, в котором лихорадочно билась его охмелевшая воля.

Ему некогда было предаваться грезам в лавчонке у дедушки, который ни минуты не бывал спокоен,— посвистывал, постукивал и болтал с утра до ночи. Но для мечтаний всегда найдется время. Сколько длинных снов можно увидеть, стоя с открытыми глазами, в одну только секунду жизни! Труд рабочего довольно хорошо уживается с прерывающимися думами. Его уму тягостно было бы, без особого усилия воли, следить за длинной цепью сжатых рассуждений; если это ему и удается, то всегда то тут, то там недостает нескольких звеньев, а в промежутки между ритмическими движениями сами собою вклиниваются мысли, вплетаются образы; мерно повторяющиеся жесты, как кузнечные мехи, заставляют их разгораться. Мысль народа! Сноп огня и дыма, дождь искр, потухающих, загорающихся вновь и снова потухающих! Но порою одна из таких искр, подхваченная ветром, зажигает пожар в пышных скирдах буржуазии...

Оливье удалось устроить Эмманюэля в типографию. Это было заветным желанием ребенка, и дед не противился: он радовался, что внук станет более образованным, чем он сам, и чувствовал уважение к типографским чернилам. Новое ремесло было более утомительным, чем прежнее, но в толпе рабочих мальчику куда легче думалось, чем одному в лавчонке рядом с дедушкой.

Самым лучшим часом было время завтрака. Отделившись от потока рабочих, которые захватывали все столики на тротуаре и наполняли винные лавки квартала, он, прихрамывая, убегал в соседний сквер; там, сидя верхом на скамье под сенью каштана, подле танцующего с виноградной кистью в руке бронзового фавна, он вынимал ломоть хлеба и завернутый в просаленную бумагу кусок колбасы и медленно смаковал его, окруженный целой стаей воробьев. На зеленой лужайке тонкой сеткой струили мелкий свой дождь маленькие фонтанчики. На залитом солнцем дереве ворковали сизые, круглоглазые голуби. А вокруг было вечное гудение Парижа, громыхание экипажей, шумящее море шагов, знакомые уличные выкрики, отдаленная веселая песенка мастера, чинящего фаянс, дребезжащий по мостовой молоток камнебойца, благородная музыка фонтана — вся эта лихорадочная и позлащенная оболочка парижской мечты... И маленький горбун, сидя верхом на скамье, с набитым ртом, млел в каком-то сладостном оцепенении, забывая проглотить кусок: он уже не чувствовал своего больного позвоночника и робкой своей души,— весь он был охвачен смутным и пьянящим счастьем.

«...Теплый свет, солнце справедливости, которое засияет для нас завтра, разве не светишь ты уже теперь? Все так хорошо, так прекрасно! Чувствуешь себя богатым, сильным, здоровым, любящим... Я люблю, я люблю всех, и все меня любят... Ах, как мне хорошо! Как хорошо будет завтра!»

Гудели заводские сирены. Ребенок пробуждался, проглатывал последний кусок, запивал водой из соседнего фонтана и, снова спрятавшись в свою горбатую оболочку, шел, подпрыгивая и прихрамывая, в типографию, к ящикам с магическими буквами, которыми когда-нибудь будет начертано «Мене, текел, фарес» Революции.

У дядюшки Фейе был старый друг, Труйо, торговец бумагой. У него была писчебумажная и мелочная лавка на другой стороне улицы, в витрине которой в бокалах выставлены были розовые и зеленые конфеты да картонные куклы, безрукие и

безногие. С одной стороны улицы на другую — один с порога своей двери, другой из своей лавки — они перемигивались, кивали друг другу, обменивались самыми разнообразными жестами. Время от времени, когда башмачник уставал колотить молотком и у него, как он уверял, в заду начинались судороги, приятели окликали друг друга (Ла Фейет — визгливым лаем, Труйо — мычанием охрипшего быка), и оба отправлялись пропустить стаканчик у соседней стойки. Они не спешили вернуться домой. Оба были отчаянные болтуны. Знали они друг друга почти что полвека. Владелец писчебумажной лавки тоже сыграл свою крохотную роль в великой мелодраме 1871 года. Никто бы этого не подумал, глядя на благодушного толстяка в черной ермолке, в белой блузе, с седыми усами старого вояки, с мутными, бледно-голубыми, покрытыми сетью красных жилок глазами, под которыми мешочками набухали веки, с дряблыми, лоснящимися щеками,— на этого волочащего ногу подагрика с одышкой и неповоротливым языком. Но он не утратил еще былых своих иллюзий. Живя в течение нескольких лет эмигрантом в Швейцарии, он нашел себе там друзей разных национальностей, особенно среди русских, которые приобщили его к прелестям анархического братства. В этом он расходился с Ла Фейетом, который был настоящим французом, сторонником решительных действий и абсолютизма в свободе. Во всем остальном, как один, так и другой, оба непоколебимо верили в социальную революцию и в будущий рабочий рай. Каждый из них увлекался каким-нибудь вождем, воплощая в нем идеал того, чем бы ему самому хотелось быть. Труйо стоял за Жусье, а Ла Фейет за Кокара. Они без конца спорили о том, что их разделяло, полагая, что там, где они сходились во мнениях, все уже ясно (немногого не хватало, чтобы в промежутках между двумя стаканами они сочли бы свои идеи уже осуществленными). Из них двоих наиболее рассудительным был сапожник. Он верил разумом; по крайней мере, он похвалялся этим, ибо одному богу известно, какого странного покроя был этот разум! Только ему одному и был он впору. Однако, менее сведущий в вопросах разума, чем в обуви, он требовал, чтобы другие умы обувались по его мерке. Труйо, куда более ленивый, чем он, не старался доказывать справедливость своей веры. Доказывают лишь то, в чем сомневаются. Он же не сомневался. В постоянном своем оптимизме он видел вещи такими, какими желал их видеть, и не замечал их вовсе или тотчас же забывал, если они были иными. И ему это давалось без особого труда — у него было достаточно

силы воли, а в иных случаях и безразличия. Оба они были романтики, как большие дети, оба лишены были чувства реальности; революция, одно имя которой пьянило их, была для них прекрасной историей, которую без конца рассказываешь и даже не знаешь толком, сбудется она когда-нибудь или уже была и прошла. И оба верили в новую святыню — в Человечество, которое они обожествляли, на которое переносили привычное, воспитанное веками поклонение Сыну человеческому. Незачем добавлять, что оба были антиклерикалами.

Забавнее всего было то, что добродушный владелец писчебумажной лавки жил вместе с племянницей, весьма набожной особой, которая вертела им, как хотела. Эта маленькая смуглая женщина, пухленькая, с живыми глазками, говорила с довольно сильным марсельским акцентом и отличалась удивительной болтливостью; она была вдовою письмоводителя из министерства торговли. Оставшись одна, без всяких средств, с маленькой дочкой и найдя пристанище у своего дядюшки, эта мещанка, не лишенная претензий, считала, что оказывает милость своему родственнику-лавочнику, торгуя в его лавке; она восседала там с видом развенчанной королевы, что, к счастью для дядюшкиной торговли и для его покупателей, несколько умеряло природную ее необузданность. Роялистка и клерикалка, как и подобало такой почтенной особе, г-жа Александрин с большим рвением проявляла свои чувства, подстрекаемая коварным удовольствием дразнить старого безбожника, у которого она поселилась. Она считала себя хозяйкой дома, ответственной за совесть всех чад и домочадцев. Если ей и не удавалось обратить дядюшку на путь истины (а она поклялась его поймать-таки in extremis[1]), она хоть отводила душу, опрыскивая дьявола святой водой. Она пришпиливала к стене изображение Лурдской богоматери и святого Антония Падуанского, украшала камин маленькими размалеванными фигурками под стеклянными колпаками, а в праздник богородицы устраивала в спальне своей дочери алтарь пресвятой девы с голубыми свечками. Неизвестно, что более вдохновляло ее в этой деятельной набожности — подлинная ли любовь к дядюшке, которого она хотела обратить, или же удовольствие досаждать ему.

Добряк Труйо, всегда вялый и немного сонный, не противился этому: он не решался принять воинственный вызов грозной племянницы — с таким бойким языком невозможно бороться, а он больше всего хотел покоя. Только однажды он

---

[1] В предсмертный час *(лат.)*.

рассердился не на шутку, когда маленький святой Иосиф попробовал обманным путем проскользнуть в его комнату и водвориться над его кроватью; в данном случае старик одержал победу, потому что с ним чуть не сделался удар, и племянница перепугалась; опыт больше не возобновлялся. Со всем остальным он примирился, делая вид, что ничего не замечает, хотя от этого божьего духа ему было не по себе, но ему не хотелось об этом думать. В сущности, он восхищался племянницей, и ему даже доставляло удовольствие, что она дурно с ним обращается. Да к тому же в одном они сходились — они вместе лелеяли девчурку, маленькую Рен, или Ренету.

Ей было тринадцать лет, и она всегда хворала. Многие месяцы туберкулез бедра держал ее прикованной к постели; часть ее тела была заключена в гипс, и она лежала, точно маленькая Дафна в своей коре. У нее были глаза раненой лани, бледный цвет лица, напоминающий лишенные солнца растения, и слишком большая голова, казавшаяся еще больше благодаря светлым, очень тонким, гладко зачесанным назад волосам, но личико было живое и нежное, с задорным носиком и доброй детской улыбкой. Набожность матери приняла у больного и ничем не занятого ребенка характер экзальтации: девочка целыми часами перебирала маленькие освященные папой коралловые четки, прерывая молитву лишь для того, чтобы восторженно приникнуть к ним губами. По целым дням она почти ничего не делала; рукоделье утомляло ее, г-жа Александрин не приучила ее к этому занятию. Лишь изредка девочка читала нелепые религиозные брошюрки, безвкуснейшие истории о чудесах, претенциозные и пошлые, казавшиеся ей самой поэзией, или рассказы о преступлениях из воскресных журналов с раскрашенными картинками, которые подсовывала ей глупая мать. Лишь изредка она нанизывала крючком несколько петель, шевеля при этом губами, куда меньше занятая своей работой, чем разговорами, которые она в это время вела с какой-нибудь из любимых святых или с самим господом богом. Ибо не следует думать, что надо быть Жанной д'Арк, чтобы удостоиться столь высоких посетителей; ко всем нам они приходили. Только обычно небесные гости, сидя у нашего камина, предоставляют нам говорить одним, сами же не произносят ни слова. Ренета не думала обижаться на это: молчание — знак согласия. К тому же ей столько надо было им сказать, что едва ли у них хватило бы времени на ответы,— она сама отвечала за них. Она была безмолвной болтушкой, унаследовавшей от матери ее говорливость; но этот поток уходил внутрь, изливаясь в сокровенных беседах с самой

собой, как ручей, исчезающий под землею. Разумеется, она участвовала в заговоре против дядюшки, направленном к его обращению; она радовалась каждому дюйму, отвоеванному в доме духами света у духов тьмы: зашивала ладанки в подкладку дядюшкиного платья или же засовывала ему в карман зернышки четок, которые дядюшка, чтобы доставить удовольствие племяннице, как будто не замечал. Власть, которую забрали две святоши над ярым врагом церкви, возмущала и потешала башмачника. Он был неистощим в грубых шутках по поводу баб в штанах и издевался над своим другом, оказавшимся у них под башмаком. В сущности, ему не пристало злорадствовать: ведь сам он целых двадцать лет изнывал от сварливой и строгой жены, которая ругала его пьяницей и перед которой он трепетал. Он избегал упоминать о ней. Торговец бумагой, слегка пристыженный, защищался довольно вяло, проповедуя заплетающимся языком терпимость в духе Кропоткина.

Ренета и Эмманюэль были друзьями. С самого раннего детства они виделись ежедневно. Эмманюэль редко осмеливался пробраться к ней в дом. Г-жа Александрин косо смотрела на него как на внука безбожника и на грязного мастерового. Но Ренета проводила дни в шезлонге у окна в нижнем этаже. Эмманюэль, проходя мимо, барабанил пальцами по оконной раме и, прижавшись носом к стеклу, с ужимками приветствовал ее. Летом, когда окно отворяли, он останавливался, схватившись руками как можно выше за решетку окна. (Он воображал, что это положение для него выгодно, что уродство его не так заметно, когда плечи приподняты в столь непринужденной позе). Ренета, не избалованная посещениями, перестала замечать, что Эмманюэль горбат. Эмманюэль испытывал к девушкам только страх — страх и отвращение, ко всем, кроме Ренеты. Эта маленькая, наполовину окаменевшая больная была для него чем-то неосязаемым и далеким. Лишь в тот вечер, когда Берта поцеловала его в губы, да еще на следующий день, он с инстинктивным отвращением избегал Ренеты; не останавливаясь, опустив голову, проходил он мимо ее дома и угрюмо скитался где-то в отдалении, недоверчивый, как бродячий пес. Потом он снова вернулся к ней. Ведь она так мало походила на женщину! Выйдя из мастерской и стараясь казаться как можно меньше, когда он пробегал мимо брошировщиц в длинных, похожих на ночные рубахи рабочих блузах, мимо этих рослых и веселых девушек, чьи алчные взгляды точно раздевают вас,— он мчался стремглав к окну Ренеты! Он был благодарен своей подруге за то, что она калека: по отношению к ней он мог проявить свое превос-

ходство и даже разыгрывать из себя покровителя. Он рассказывал ей всевозможные уличные происшествия, выставляя себя в геройском свете. Порою, желая быть любезным, он приносил Ренете зимой жареные каштаны, а летом пучок вишен. Она, со своей стороны, дарила ему разноцветные конфеты, из тех, что красовались в двух бокалах витрины; и они рассматривали вместе открытки с картинками. Это были счастливые минуты, оба забывали об убогом теле, державшем в плену их детские души.

Но случалось также, что они начинали спорить, как взрослые, на религиозные и политические темы. Тогда они делались такими же глупыми, как и взрослые. Взаимное их согласие сразу нарушалось. Она говорила о чудесах, о девятидневных молитвах, о святых изображениях, окаймленных бумажными кружевами, или о днях отпущения грехов. Он же, повторяя слышанное от дедушки, утверждал, что все это глупости и ханжество. Зато когда он принимался рассказывать о публичных собраниях, куда водил его старик, она с презрением перебивала его и заявляла, что все эти люди попросту пьяницы. Отношения обострялись. Разговор переходил на родителей; они повторяли друг другу — он по адресу ее матери, она по адресу его дедушки — оскорбительные слова, слышанные ими от дедушки и от матери. Потом принимались друг за друга, стараясь наговорить побольше неприятностей. Это им удавалось без труда. Он говорил грубости. Но она умела уязвить его больнее. Тогда он уходил от нее, а когда возвращался, рассказывал, что проводил время с другими девочками, что они красивые, что они очень веселились вместе и должны встретиться в следующее воскресенье. Она не отвечала ни слова, делая вид, что презирает все его рассказы; и вдруг приходила в ярость, швыряла ему в лицо вязальный крючок, крича, чтобы он тотчас же убирался и что она ненавидит его, и закрывала лицо обеими руками. Он уходил, мало гордясь своей победой. Ему хотелось разнять эти маленькие, худенькие ручки, сказать ей, что все это неправда. Но он заставлял себя, из гордости, не возвращаться к ней.

В один прекрасный день Ренета была отомщена. Эммануэль был среди своих товарищей по мастерской. Они недолюбливали его за то, что он держался в стороне и либо совсем не разговаривал с ними, либо говорил слишком уж гладко, наивнонапыщенным слогом — языком книги или, скорее, газетной статьи (ими он был напичкан). В этот день завязался разговор о революции и о будущих временах. Он воодушевился и был смешон. Один из товарищей грубо оборвал его:

— Перво-наперво таких, как ты, там не нужно — ты слишком уродлив. В будущем обществе не будет горбунов. Их при рождении просто будут топить, как щенят.

Это мигом низвергло Эмманюэля с высот его красноречия. Смущенный, он сразу же умолк. Остальные корчились от смеха. За весь день он рта не раскрыл. Вечером он торопливо побежал домой, чтобы забиться в угол и выстрадать свое горе в одиночестве. Оливье встретил его по дороге; он был поражен землистой бледностью его лица.

— Ты расстроен? Что с тобой?

Эмманюэль не хотел говорить. Оливье нежно настаивал. Мальчик упорно молчал, но челюсть у него дрожала,— казалось, он вот-вот расплачется. Оливье взял его за руку и повел к себе. Хотя и сам он, как все, кто не рожден с душою сестры милосердия, чувствовал инстинктивное и жестокое отвращение к уродству и болезни, он никак этого не проявлял.

— Тебя обидели?

— Да.

— Что же тебе сделали?

Мальчик излил свою душу. Он жаловался, что он урод. Рассказал, как товарищи объявили ему, что их революция не для него.

— Она и не для них, мой мальчик, и не для нас с тобой. Пройдут еще долгие годы. Мы трудимся для тех, кто придет после нас.

Мальчик был разочарован тем, что это будет так нескоро.

— Разве тебе не радостно думать, что мы трудимся для того, чтобы сделать счастливыми тысячи таких мальчиков, как ты, миллионы живых существ?

Эмманюэль вздохнул и сказал:

— А все-таки хорошо было бы самому получить хоть немножко счастья.

— Не будь неблагодарным, мой мальчик. Ты живешь в самом прекрасном городе, в эпоху, богатую чудесами, ты неглуп, и у тебя зоркие глаза. Подумай, сколько прекрасных вещей вокруг можно увидеть и полюбить.

Он указал ему на некоторые из них.

Мальчик выслушал его, покачал головой и сказал:

— Да, но я-то навсегда буду втиснут в эту шкуру!

— Вовсе нет, ты сбросишь ее.

— Тогда будет конец всему.

— Много ты знаешь!

Мальчик был поражен. Материализм входил в состав де-

душкиного credo. Он думал, что только попы верят в вечную жизнь. Он знал, однако, что его друг не был попом, и спрашивал себя, серьезно ли он это говорит. А Оливье, держа его за руку, долго рассказывал ему о своей идеалистической вере, об единстве безграничной жизни, безначальной и бесконечной, в которой миллиарды существ и мгновений — только лучи единого солнца. Но говорил он это не в такой отвлеченной форме. Беседуя с мальчиком, он инстинктивно приноравливался к его мыслям: античные мифы, глубокие и правдивые вымыслы старых космогоний приходили ему на память; полушутя, полусерьезно говорил он о метемпсихозе, о бесчисленных формах, в которые переливается и просачивается душа, как протекающий из водоема в водоем родник. Он примешивал сюда и обрывки христианских легенд, и образы окутывавшего их обоих летнего вечера. Он сидел у открытого окна; мальчик стоял подле него, и они держались за руки. Был субботний вечер. Звонили колокола. Недавно прилетевшие первые ласточки задевали крылом стены домов. Над окутанным тенью городом смеялось далекое небо. Ребенок, затаив дыхание, слушал волшебную сказку, которую рассказывал ему его взрослый друг. И Оливье, разгоряченный вниманием своего маленького слушателя, сам увлекся своими речами.

Бывают в жизни решающие минуты, когда внезапно, словно электрические огни над большим ночным городом, в темной душе загорается вечное пламя. Достаточно искры, перекинувшейся из одной души в другую алчущую душу, чтобы зажечь в ней огонь Прометея. В этот весенний вечер спокойная речь Оливье зажгла в маленьком уродливом теле горбуна, точно в исковерканном фонаре, неугасимый свет. Эммануэль ничего не понимал в рассуждениях Оливье, едва ли он их слушал. Но все эти легенды, образы, которые для Оливье были лишь прекрасными баснями, чем-то вроде притч, претворялись в нем в живую плоть, делались реальными. Волшебная сказка оживала, трепетала вокруг него. И видение, обрамленное рамой окна,— проходящие по улице люди, богатые и бедные, и ласточки, крылом задевающие стену, и изнуренные лошади, влачащие свой груз, и камни домов, впивающие в себя тени сумерек, и бледнеющее небо, где уже умирал свет,— весь этот внешний мир точно поцелуем мгновенно запечатлелся в нем. Мгновенно, как молния. Потом все погасло. Он подумал о Ренете и сказал:

— Но те, кто ходит в церковь, кто верит в господа бога, все-таки помешанные!

Оливье улыбнулся.

— Они верят,— сказал он,— как и мы. Все мы исповедуем одну веру. Только они верят меньше, чем мы. Этим людям для того, чтобы видеть свет, необходимо закрыть ставни и зажечь лампу. Они воплощают бога в человека. У нас лучшее зрение. Но любим мы все один и тот же свет.

Мальчик возвращался домой по темным улицам, где еще не были зажжены газовые фонари. Слова Оливье звучали в его ушах. Он подумал, что не менее жестоко издеваться над людьми за то, что у них плохое зрение, как и за то, что они горбаты. И он думал о Ренете, об ее красивых глазах, и думал о том, что заставил эти глаза плакать. Это было нестерпимо. Он повернул назад и направился к дому Труйо. Окно было еще приоткрыто; он осторожно просунул туда голову и тихонько окликнул:

— Ренета...

Она не отвечала.

— Ренета! Прости меня.

Голос Ренеты в темноте ответил:

— Злюка! Я тебя ненавижу.

— Прости меня,— повторил он.

Он умолк. Потом в внезапном порыве, еще тише, смущенный, слегка пристыженный, он прошептал:

— Знаешь, Ренета, я тоже верю в добрых богов, как и ты.

— Правда?

— Правда.

Он сказал ей это главным образом из великодушия. Но, сказав, сам как будто уверовал в это.

Оба молчали. Они не видели друг друга. Что за чудная стояла на дворе ночь! Маленький калека прошептал:

— А хорошо будет, когда мы умрем!

Слышно было легкое дыханье Ренеты.

Он сказал ей:

— Покойной ночи, лягушонок!

Умиленный голос Ренеты ответил:

— Покойной ночи!

Он ушел утешенный. Он рад был, что Ренета простила его. Но в самой глубине души бедняге было приятно, что кому-то пришлось страдать из-за него.

Оливье вернулся в свое уединение. Кристоф не замедлил присоединиться к нему. Положительно, они чувствовали себя не на месте в революционном социальном движении. Оливье

не мог примкнуть к простому народу. Кристоф же не хотел. Оливье отдалялся от них во имя слабых, угнетаемых, Кристоф — во имя сильных, независимых. Но хотя они и удалились — один на нос, другой на корму,— оба тем не менее остались на том же корабле, уносящем армию рабочих и вообще все общество. Свободный и уверенный в себе, Кристоф с любопытством созерцал это объединение пролетариев; он любил время от времени окунуться в народную гущу: это освежало его, и он выходил оттуда окрепшим и помолодевшим. Он продолжал видеться с Кокаром и иногда заходил обедать к Орели. Едва попав туда, он сразу переставал следить за собою и отдавался на волю своего настроения; парадокс не страшил его, и он испытывал коварное удовольствие, заставляя своих собеседников развивать их принципы до самых крайних, нелепых и исступленных выводов. Никогда нельзя было понять, говорит он серьезно или нет, потому что в разговоре он воодушевлялся и под конец забывал первоначальное свое намерение. Художник поддавался опьянению окружавших его людей. В одну из таких минут эстетического возбуждения в задней комнате ресторанчика Орели он экспромтом сочинил революционную песню, которая, тотчас же разученная, на другой день уже распространилась в рабочих кругах. Он скомпрометировал себя. Полиция начала следить за ним. Манусса, имевший тайные связи в самом центре враждебного лагеря, был предупрежден об этом одним из своих приятелей, Ксавье Бернаром, молодым полицейским чиновником, который был причастен к литературе и выдавал себя за ярого поклонника музыки Кристофа (ибо дилетантством и анархическим духом заражены были даже сторожевые псы Третьей республики).

— Ваш Крафт ведет опасную игру,— сказал ему Бернар.— Он слишком уж разошелся. Мы-то знаем, что об этом думать; но в высших сферах не прочь были бы накрыть иностранца, а тем более немца, замешанного в революционных каверзах: это классический способ очернить партию и посеять рознь в ее рядах. Если ваш дурень не станет осмотрительней, мы вынуждены будем его арестовать. Это досадно. Предупредите его.

Манусса предостерег Кристофа. Оливье умолял его быть осторожным.

Кристоф не придал значения их советам.

— Полно! — сказал он.— Все знают, что я неопасен. Имею же я право позабавиться! Я люблю этих людей, они работают, так же как и я, у них есть вера, как и у меня. Правда, не одна

и та же, мы с ними не одного лагеря. И отлично! Будем воевать. Ничего не имею против. Чего ты от меня хочешь? Я не могу, как ты, прятаться в свою раковину. Среди буржуа я просто задыхаюсь.

Оливье, не столь требовательный к свежему воздуху, довольствовался своим тесным жилищем и мирным обществом двух своих приятельниц, тем более что одна из них, г-жа Арно, посвятила себя теперь благотворительности, а другая, Сесиль, до такой степени поглощена была заботами о ребенке, что только и говорила о нем или с ним тем лепечущим и нарочито глупым говором, который пытается подделаться под щебетание птенчика и передать его неосмысленную песню человеческой речью.

От недолгого пребывания в рабочей среде у Оливье осталось двое знакомых. Двое таких же независимых, как он сам. Один из них, Герен, был обойщиком. Он работал на свой лад, причудливо, но мастерски. Он любил свое ремесло, и к художественным предметам у него был врожденный вкус, воспитанный наблюдением, трудом и посещением музеев. Оливье отдал ему в починку какую-то старинную мебель. Работа была трудная, и Герен искусно справился с ней; он много затратил на нее труда и времени, но взял с Оливье самое скромное вознаграждение — до того счастлив он был своей удачей. Оливье, заинтересовавшись им, расспросил об его жизни, попытался разузнать, что он думает о рабочем движении. Герен ничего о нем не думал, его это не интересовало. Он не принадлежал к своему классу, не принадлежал ни к какому классу вообще. Он был сам по себе. Читал он мало. Всем своим умственным развитием он был обязан своему чутью, глазу, руке, вкусу, присущему истому парижанину. Это был счастливый человек. Такой тип нередок в среде мелкой рабочей буржуазии — умнейшего слоя нации, ибо она отлично умеет совмещать ручной труд со здоровой умственной деятельностью.

Другой знакомый Оливье был более своеобразен. Это был почтальон Гюртелу. Красавец-мужчина, высокий, светлоглазый, с белокурой бородкой и усами, с открытым и веселым взглядом. Однажды он принес заказное письмо и вошел в комнату Оливье. Пока Оливье расписывался, он обошел книжные шкафы, присматриваясь к названиям книг.

— Эге,— сказал он,— да у вас тут классики.

И тут же добавил:

— А я собираю старые книжонки по истории Бургундии.

— Вы бургундец? — спросил Оливье.

— Бургундец соленый,
Со шпагой на ляжке,
С бородкой острой,
Бургундец, скачи! —

смеясь, ответил почтальон.— Я из Авалона. У меня есть фамильные документы, относящиеся к тысяча двухсотому с чем-то году.

Оливье, заинтересовавшись, стал его расспрашивать. Гюртелу рад был поговорить. Он действительно принадлежал к одному из древнейших родов Бургундии. Один из его предков участвовал в крестовом походе Филиппа-Августа; другой был государственным секретарем при Генрихе II. Оскудение началось с XVII века. После Революции их род, уже разоренный и пришедший в упадок, сразу погрузился на самое дно. Теперь он снова всплывал на поверхность благодаря честному труду, физической и духовной силе почтальона Гюртелу и его преданности своей расе. Любимым его занятием было собирание исторических и генеалогических документов, относящихся к его предкам или к их родине. В часы досуга он ходил в архивы переписывать старые грамоты. Когда он не понимал их, он спрашивал объяснения у одного из своих клиентов, окончившего не то археологический институт, не то Сорбонну. Славное происхождение Гюртелу не кружило ему головы, и он говорил об этом со смехом, ничуть не сетуя на горькую свою судьбу. В нем была беспечная и здоровая веселость, на которую любо было смотреть. И, глядя на него, Оливье думал о таинственном круговороте, который проходит жизнь рас, веками текущая полноводной рекой, потом на века исчезающая под землею и, наконец, снова прорывающаяся на поверхность, почерпнув в недрах земли новые силы. Народ представлялся ему огромным водоемом, где теряются реки прошлого и откуда вытекают реки будущего — реки под разными названиями, но зачастую одни и те же.

Герен и Гюртелу нравились Оливье, но они не могли быть подходящим для него обществом: ему почти не о чем было с ними говорить. Маленький Эммануэль гораздо больше занимал его; он навещал его почти каждый вечер. После того разговора в ребенке совершился переворот. Он с неистовой жаждой знания набросился на чтение. Книги приводили

его в какое-то ошалелое состояние. Он казался менее умным, чем прежде, и почти не разговаривал. Оливье удавалось выжать из него лишь какие-то односложные слова; на все вопросы ребенок отвечал невпопад. Оливье приходил в уныние; он старался ничем этого не показать, но думал, что ошибся и что мальчик совсем дурачок. Он не видел огромной работы лихорадочного роста, совершавшейся в этой душе. Он был плохой педагог, скорее способный разбросать наудачу по полю пригоршни хорошего зерна, чем выполоть землю и проложить борозды. Присутствие Кристофа увеличивало его смущение. Оливье стеснялся показывать другу своего маленького любимца; ему стыдно было за глупость Эммануэля, который положительно становился несносным в присутствии Кристофа. Ребенок упорно замыкался тогда в какую-то суровую немоту. Он ненавидел Кристофа за то, что Оливье его любил; он не мог вынести, чтобы кто-то другой занимал место в сердце его учителя. Ни Кристоф, ни Оливье не подозревали неистовства любви и ревности, терзавших детскую душу. А между тем Кристоф сам когда-то прошел через это! Но он не узнавал себя в этом существе, выплавленном из другого металла, чем он. В этом темном сплаве нездоровых наследственных инстинктов все — любовь, и ненависть, и дремлющий талант — звучало по-иному.

Приближалось первое мая.

Тревожные слухи носились по Парижу. Бахвалы из Всеобщей конфедерации труда способствовали их распространению. Их газеты возвещали наступление великого дня, созывали рабочую милицию и бросали боевой клич, который ударяет буржуазию по самому чувствительному месту: по брюху. Feri ventrem! [1] Они угрожали ей всеобщей забастовкой. Перепуганные парижане уезжали в деревню либо запасались съестными припасами, точно перед осадой. Кристоф встретил Канэ в автомобиле, нагруженном двумя окороками и мешком картофеля; он был вне себя; он уже толком не знал, к какой партии он принадлежит; он примыкал то к старым республиканцам, то к роялистам, то к революционерам. Его культ насилия стал теперь точно обезумевшим компасом, стрелка которого перескакивала с севера на юг и с юга на север. На людях он продолжал вторить бахвальству своих друзей, но

[1] Бей в живот! *(лат.)*

in petto[1] готов был ухватиться за первого попавшегося диктатора, чтобы прогнать красный призрак.

Кристоф смеялся над этой всеобщей паникой. Он был убежден, что ничего не случится. Оливье был менее уверен в этом. Его буржуазное происхождение навсегда оставило в нем отголосок того трепета, который вызывают в буржуазии воспоминание о Революции и ожидание ее.

— Полно,— говорил Кристоф,— можешь спать спокойно! Не завтра она наступит, твоя Революция. Все вы ее боитесь. Страх побоев. Всюду страх. В буржуазии, в народе, во всей нации, во всех нациях Запада. У людей слишком мало осталось крови, они боятся ее терять. Вот уже сорок лет, как все совершается только на словах. Вспомни-ка ваше пресловутое дело. Мало ли вы кричали: «Смерть! Кровь! Резня!..» Эх вы, гасконцы! Сколько слюны и чернил! А много ли капель крови?

— Не полагайся на это,— отвечал Оливье.— Эта боязнь крови — только тайное предчувствие, что при первой же капле крови маска цивилизации спадет, зверь остервенеет, и бог знает, удастся ли тогда надеть на него намордник. Каждый колеблется начать войну, но, когда война разразится, она будет ужасна...

Кристоф пожимал плечами и говорил, что неспроста героями дня являются бахвал Сирано и хвастунишка-цыпленок Шантеклер — герои на словах.

Оливье только покачивал головой. Он знал, что во Франции все начинается с бахвальства. Однако он не более Кристофа верил в назначенную на первое мая Революцию: слишком уж нашумели о ней, и правительство было настороже. Вернее всего стратеги мятежа отложат битву до более удобного момента.

Во второй половине апреля у Оливье был приступ: каждую зиму приблизительно в тех же числах он заболевал гриппом, и это будило застарелый бронхит. Кристоф переселился к нему на два-три дня. Болезнь была легкой и прошла быстро. Но она, как обычно бывало у Оливье, повлекла за собой душевную и физическую усталость, оставшуюся и после того, как спал жар. Оливье часами лежал в постели, не имея никакого желания двигаться; он лежал, глядя на Кристофа, который, сидя к нему спиной, работал за его столом.

Кристоф был всецело поглощен работой. Иногда, уставая писать, он вскакивал и подбегал к роялю; он играл не то,

[1] В душе *(итал.)*.

что написал, а то, что приходило ему в голову. И тут произошло нечто странное. То, что он писал, задумано было в его прежнем стиле, а те вещи, что он играл, казалось, исходили от другого человека. Это был мир с дыханием хриплым и прерывистым. Было здесь что-то бессвязное, буйное или беспомощное — смятение, ничем не напоминающее могучую логику, царившую во всей остальной его музыке. Казалось, эти необдуманные импровизации, ускользавшие от сознания и вырывавшиеся, как вопль зверя, скорее из недр плоти, чем из мысли, указывали на душевную неуравновешенность, на грозу, готовящуюся в недрах будущего. Кристоф не сознавал этого, но Оливье слушал, смотрел на Кристофа и был охвачен смутной тревогой. Слабость делала его странно проницательным, дальновидным: он видел то, чего никто другой не замечал.

Взяв последний аккорд, Кристоф остановился, растерянный, весь в испарине, обвел комнату мутным еще взглядом и, встретив взгляд Оливье, рассмеялся и вернулся к столу. Оливье спросил:

— Что это было, Кристоф?

— Ничего,— промолвил Кристоф.— Я взбаламучиваю воду, чтобы приманить рыбу.

— Ты это запишешь?

— Это? Что — это?

— То, что ты сказал.

— А что я сказал? Я уже не помню.

— Но о чем же ты думал?

— Сам не знаю,— ответил Кристоф, проводя рукою по лбу.

Он снова принялся писать. И снова в комнате друзей воцарилась тишина. Оливье продолжал смотреть на Кристофа. Кристоф почувствовал этот взгляд и обернулся. Глаза Оливье следили за ним с глубокой любовью.

— Лентяй! — весело сказал он.

Оливье вздохнул.

— Что с тобой? — спросил Кристоф.

— Ах, Кристоф! Как много в тебе заложено всего! Подумать только, что здесь, подле меня, таится столько сокровищ, которые ты раздашь другим, а я не получу своей доли...

— Да ты рехнулся! Что это на тебя нашло?

— Какова будет твоя жизнь? Через какие опасности, через какие испытания ты еще пройдешь? Я так хотел бы быть с тобою... Ничего этого я не увижу. Я так глупо застряну в пути.

— Что касается глупости, то глуп ты безусловно. Уж не думаешь ли ты, чего доброго, что, если бы ты даже этого захотел, я покинул бы тебя в пути?

— Ты забудешь меня,— сказал Оливье.

Кристоф поднялся и присел на кровати, подле Оливье; он взял кисти его слабых рук, влажные от испарины. В распахнутый ворот рубахи видна была тощая грудь, кожа, тонкая и натянутая, как парус, вздутый дыханием ветра и вот-вот готовый разорваться. Крепкие пальцы Кристофа неловко застегнули ворот. Оливье не противился.

— Милый Кристоф! — нежно сказал он.— У меня все-таки было большое счастье в жизни.

— Ну, вот еще! Что за дурацкие мысли! — сказал Кристоф.— Ты так же здоров, как и я.

— Да,— ответил Оливье.

— Так зачем же ты мелешь чепуху?

— Не сердись,— со смущенной улыбкой сказал Оливье.— Это у меня от гриппа.

— Надо встряхнуться. Ну-ка, подымайся!

— Не сейчас. Попозже.

Он продолжал мечтать. На следующий день он встал. Но лишь для того, чтобы помечтать, сидя у камина.

Апрель стоял мягкий и пасмурный. В теплой дымке серебристых туманов распускались почки зеленых листьев, невидимые птицы воспевали скрытое за облаками солнце. Оливье разматывал пряжу своих воспоминаний. Он снова видел себя ребенком, рядом с плачущей матерью, в поезде, уносящем его куда-то сквозь туманы из родного городка. Антуанетта сидела одна, в другом углу вагона... Нежные профили, тонкие пейзажи всплывали перед его взором. Прекрасные стихи возникали сами собою, укладываясь в размеренные слова и певучие ритмы. Он сидел около стола; стоило только протянуть руку, чтобы взять перо и записать эти поэтические видения. Но у него не хватало воли; он устал; он знал, что аромат этих грез испарится, лишь только он вздумает их запечатлеть. И так всегда: лучшее, что было в нем, не находило выражения; дух его был словно долина, покрытая цветами, но никто не имел туда доступа, и цветы, едва сорванные, уже увядали. Изнемогая от томления, выжили лишь некоторые из них,— несколько хрупких повелл, несколько стихотворений, от которых сладостно веяло умиранием. Это творческое бессилие было величайшим горем Оливье. Чувствовать в себе столько жизни, которую нельзя уберечь! Теперь он смирился. Для того чтобы цвести, цветам не нужно, чтобы их

видели. Они еще прекраснее в полях, где их не срывает ничья рука. Блаженны поля в цветах, грезящие о солнце. Солнца-то ведь не было, но мечты Оливье цвели от этого лишь пышнее. Сколько историй, печальных, нежных, фантастических, рассказал он себе в эти дни! Они появлялись неизвестно откуда, скользили, как белые облака в летнем небе, рассеивались в воздухе; за ними вслед являлись другие; он был переполнен ими. Иногда небо оставалось пустынным; ослепленный сиянием, Оливье ждал того мгновенья, когда, снова развернув крылья, выплывали безмолвные ладьи его мечтаний.

По вечерам приходил маленький горбун. Оливье так полон был своими сказками, что однажды, задумчиво улыбаясь, рассказал ему одну из них. Сколько раз говорил он так, вперив глаза вдаль, а тот слушал, затаив дыханье. В конце концов Оливье забывал о присутствии ребенка. Кристоф, придя однажды посреди рассказа, был поражен его красотой и попросил Оливье начать сначала. Оливье отказался.

— Я вроде тебя,— сказал он,— я уже не помню.

— Неправда,— сказал Кристоф,— ты — чертов француз, ты всегда знаешь, что говоришь и делаешь; ведь ты никогда ничего не забываешь.

— Увы! — вздохнул Оливье.

— Начинай-ка сначала.

— Это меня утомляет. Да и к чему?

Кристоф рассердился.

— Это нехорошо,— сказал он.— Какой же тогда толк в твоей мысли? Ты бросаешь то, что имеешь. Это теряется навсегда.

— Ничто не теряется,— сказал Оливье.

Маленький горбун вышел из оцепенения, в котором он пребывал в течение рассказа Оливье,— он сидел, повернувшись к окну, с затуманенными глазами, мрачно нахмурившись, так что нельзя было угадать, о чем он думает. Тут он встал и промолвил:

— Завтра будет хорошая погода.

— Бьюсь об заклад,— сказал Кристоф,— что он даже не слушал.

— Завтра первое мая,— продолжал Эммануэль, и его угрюмое лицо озарилось.

— Это уже твоя сказка,— сказал Оливье.— Ты расскажешь мне ее завтра.

— Все это ерунда! — сказал Кристоф.

На следующий день Кристоф зашел за Оливье, чтобы вместе погулять по Парижу. Оливье поправился, но все еще чувствовал необычайную усталость; ему не хотелось выходить; у него был какой-то смутный страх, он не любил смешиваться с толпой. Сердцем и умом он был мужествен, но плотью немощен. Он боялся толкотни, драки, всяких грубостей; он слишком хорошо знал, что обречен быть их жертвой, ибо не умел и не желал защищаться; ведь он так же боялся причинять страдания, как боялся испытывать их сам. Болезненные люди больше других чувствуют отвращение к физическим страданиям потому, что лучше знают их, и потому, что воображение представляет им их более живо и ярко. Оливье краснел за эту трусость своего тела, противоречившую его стоической воле, и силился преодолеть ее. Но в это утро всякое соприкосновение с людьми было ему тягостно, ему хотелось остаться весь день дома. Кристоф уговаривал его, подтрунивал, настойчиво убеждал выйти и вырваться наконец из своего оцепенения: ведь он в течение десяти дней не дышал воздухом. Оливье делал вид, что не слышит. Кристоф сказал:

— Отлично, я ухожу без тебя. Пойду смотреть на их первое мая. Если я не вернусь к вечеру, знай, что меня засадили.

Он ушел. На лестнице Оливье нагнал его. Ему не хотелось отпускать Кристофа одного.

На улицах народу было мало. Попадались молоденькие работницы, украшенные стебельками ландыша; с праздным видом разгуливали принаряженные рабочие. На углах улиц, подле станции метрополитена, держались кучками переодетые полицейские. Ворота Люксембургского сада были заперты. Погода по-прежнему стояла пасмурная и теплая. Так давно уже не видно было солнца! Друзья шли под руку. Говорили они мало; они очень любили друг друга. Любое слово вызывало в обоих сокровенные видения минувших дней. Подле какой-то мэрии они остановились, чтобы взглянуть на барометр, который начал подниматься.

— Завтра,— сказал Оливье,— я увижу солнце.

Они были совсем близко от дома Сесили. Решили было зайти, чтобы поцеловать ребенка.

— Нет, зайдем на обратном пути.

По ту сторону реки навстречу им стало попадаться уже больше народу. Мирно гуляющие люди в праздничных одеждах и с праздничными лицами, зеваки с детьми, слоняющиеся по улицам рабочие. У двух или трех в петлице алел красный шиповник; вид у них был безобидный; они были революционерами

или старались ими казаться; жизнерадостные по натуре, они довольствовались малейшим поводом к счастью: хорошая будет в этот день погода или попросту сносная, они были за нее благодарны, сами толком не зная, кому именно,— всему окружающему. Они шли не торопясь, сияющие, любуясь распускающимися на деревьях почками, красивыми нарядами проходящих мимо девочек, и говорили с гордостью:

— Только в Париже можно увидеть таких нарядных детей.

Кристоф подтрунивал над пресловутым, всеми ожидаемым выступлением. Славные ребята! Он чувствовал к ним любовь и вместе с тем некоторую долю презрения.

По мере того как они продвигались вперед, толпа все густела. Подозрительные бледные лица, какие-то непотребные рожи проскользнули в поток толпы, выжидая своего часа и подстерегая добычу. Тина была взбаламучена. С каждым шагом река делалась все мутнее. Теперь она уже текла совсем темная. Словно пузырьки воздуха, поднявшиеся со дна на жирную поверхность, голоса людей, окликающих друг друга, свистки, крики уличных торговцев прорезывали глухой гул толпы, давая тем самым возможность измерить толщу ее слоев. В конце улицы, подле ресторанчика Орели, стоял шум, точно у плотины. Толпа разбивалась о кордон полиции и войск. Наткнувшись на преграду, она сгрудилась плотной массой, она волновалась, свистела, пела, смеялась, закипая сталкивающимися водоворотами. Смех — единственное у народа средство выразить тысячи смутных и темных чувств, которые не могут найти себе выхода в словах!

Толпа эта не была враждебно настроена. Она сама не знала, чего хочет, и, выжидая чего-то, забавлялась на свой лад — порывисто, грубо, еще без всякой злобы, толкаясь и пихаясь, ругая полицейских и задирая соседей. Но мало-помалу она начала раздражаться. Задние ряды, выведенные из терпения тем, что им ничего не было видно, стали вести себя вызывающе, так как меньше рисковали под прикрытием живого щита людей. Передние, сдавленные теми, кто на них напирал, и теми, кто их не пускал, тем больше приходили в ярость, чем нестерпимее становилось их положение; сила толкавшего их течения во сто крат увеличила собственную их силу. И все они, по мере того как их теснее прижимали друг к другу, сбившись гуртом, чувствовали проникающее в грудь и поясницу животное тепло стада; им казалось, что все они вместе составляют одну глыбу; и каждый был — всеми, и каждый был точно великан Бриарей. Волна крови минутами приливала к сердцу тысячеглавого чу-

довища; взгляды становились тогда ненавидящими и выкрики кровожадными. Личности, скрывавшиеся в третьем-четвертом ряду, начали швырять камнями. Из окон домов целыми семьями глазели обыватели: им казалось, что они в театре; они подстрекали толпу и ждали с легким трепетом жадного нетерпения, чтобы полиция ринулась наконец в атаку.

В этой плотной массе, работая коленками и локтями, Кристоф точно клином пробивал себе дорогу. Оливье следовал за ним. Живая глыба на мгновенье расступалась, чтобы пропустить их, и тотчас же смыкалась за ними. Кристоф ликовал. Он совершенно забыл, что пять минут назад отрицал всякую возможность народного движения. Едва вступив в течение, он тотчас же был им подхвачен; чуждый этой французской толпе и ее требованиям, он мгновенно растворился в ней; ему не важно было, чего она хотела; он сам этого хотел. Ему не важно было, куда он идет, он шел, впивая в себя это дыхание безумия...

Оливье шел следом за ним, тоже увлекаемый течением, но без всякой радости, спокойный, ни на минуту не теряя самообладания, гораздо более Кристофа чуждый страстям этого народа, который был ему родным, и все же подхваченный волной, как обломок после кораблекрушения. Болезнь, расшатавшая его здоровье, ослабила его связь с жизнью. Каким далеким он чувствовал себя среди этих людей! Так как он не заражался исступленнем толпы и ум его был ясен, мельчайшие подробности запечатлевались в нем. Он с наслаждением смотрел на золотистый затылок идущей перед ним девушки, на ее бледную и тонкую шею, и в то же время его мутило от терпкого запаха этих скученных тел.

— Кристоф! — взмолился он.

Кристоф не слушал.

— Кристоф.

— Ну?

— Вернемся.

— Ты боишься? — сказал Кристоф.

Он продолжал свой путь. Оливье с грустной улыбкой снова пошел за ним.

Впереди, в нескольких рядах от них, в опасной зоне, где оттесненная толпа образовала как бы плотину, он увидел своего друга, маленького горбуна, вскарабкавшегося на крышу газетного киоска. Повиснув на обеих руках, скорчившись в неудоб-

ной позе, он, смеясь, смотрел туда, поверх живой стены солдат, и с торжествующим видом оглядывался на толпу. Он заметил Оливье и окинул его сияющим взглядом, потом снова устремил в сторону площади расширенные надеждой глаза, ожидая чего-то. Чего? Того, что должно было случиться. Не один он ждал. Многие вокруг него ждали чуда. И Оливье, взглянув на Кристофа, увидел, что Кристоф тоже ждет.

Он позвал мальчика и крикнул, чтобы тот спускался. Эммануэль сделал вид, что не слышит, и больше уже не оглядывался на Оливье. Он увидел Кристофа. Он нарочно подвергал себя опасности в этой сутолоке — отчасти потому, что хотел показать Оливье свою храбрость, отчасти потому, что хотел отомстить Оливье за то, что он с Кристофом.

Между тем в толпе Оливье и Кристоф разыскали кое-кого из друзей — золотобородого Кокара, который не ждал ничего, кроме нескольких стычек, и опытным взглядом подстерегал ту минуту, когда чаша должна была переполниться; немного подальше красавицу Берту, которая, охотно позволяя себя тискать, перекидывалась крепкими словечками с соседями. Ей удалось проскользнуть в первый ряд, и она надсаживалась до хрипоты, ругая полицию. Кокар подошел к Кристофу. При виде его к Кристофу вернулась обычная насмешливость.

— Ну, что, что я вам говорил? Ровно ничего не произойдет.

— Еще неизвестно,— сказал Кокар.— Вы не очень-то тут задерживайтесь. Положение, того гляди, ухудшится.

— Какой вздор! — засмеялся Кристоф.

В это мгновение кирасиры, которым надоело быть под обстрелом камней, выступили, чтобы очистить проходы на площадь; впереди беглым шагом шла головная рота. Тотчас же началось беспорядочное бегство. По евангельскому изречению, первые стали последними. Но они постарались недолго оставаться таковыми. Чтобы оправдать свое бегство, разъяренные беглецы гикали на своих преследователей и кричали им: «Убийцы!» — еще прежде, чем раздался первый выстрел. Берта скользнула между рядами, как угорь, испуская пронзительные крики. Она присоединилась к своим друзьям; очутившись в безопасности, за широкой спиной Кокара, она перевела дух, прижалась к Кристофу, со страха или по какой-то другой причине, ущипнула его за руку, метнула взгляд на Оливье и, взвизгнув, погрозила кулаком неприятелю. Кокар взял Кристофа под руку и сказал:

— Пойдем к Орели.

Им надо было пройти всего несколько шагов. Берта с Грайо опередили их. Кристоф в сопровождении Оливье собирался уже войти. Улица выгибалась горбом. Тротуар перед ресторанчиком находился выше уровня мостовой на пять или шесть ступенек. Выбравшись из потока, Оливье облегченно вздохнул. Ему противна была мысль снова очутиться в зачумленном воздухе кабака, среди рева этих бесноватых. Он сказал Кристофу:

— Я пойду домой.

— Иди, милый,— сказал Кристоф,— я вернусь через час.

— Не подвергай себя опасности, Кристоф.

— Трусишка! — смеясь, ответил Кристоф.

Он вошел в кабачок.

Оливье собирался уже завернуть за угол. Еще несколько шагов, и он был бы в переулке, пересекающем улицу, и вырвался бы из давки. Вдруг в его мозгу промелькнул образ его маленького любимца. Он обернулся и стал искать его глазами. Он увидел его как раз в ту минуту, когда Эмманюэль, сорвавшись со своего наблюдательного поста, свалился на землю. Его затолкали; беглецы, несшиеся мимо, топтали его ногами; приближалась полиция. Оливье не стал раздумывать: он спрыгнул со ступенек и бросился на помощь к мальчику. Какой-то рабочий-землекоп увидел грозящую опасность, обнаженные сабли, протянутую руку Оливье, пытавшегося поднять ребенка, грубый натиск полиции, который едва не сбил с ног их обоих. Он вскрикнул и, в свою очередь, кинулся на помощь. За ним бегом последовали его приятели. А за ними — другие, те, что стояли на пороге кабачка. На их зов сбежались остальные, те, что уже были внутри. Обе группы, как собаки, вцепились друг другу в горло. А женщины, стоя на верхних ступеньках, принялись улюлюкать. Так этот незаметный буржуа-аристократ спустил пружину боя, боя, которого он меньше всех желал.

Кристоф, увлекаемый толпой рабочих, тоже бросился в драку, не зная, кто был ее причиной. Ему и в голову не приходило, что здесь замешан Оливье. Он был уверен, что тот уже далеко, в полной безопасности. Невозможно было разобрать что-либо в этой свалке. Каждый едва успевал посмотреть, кто на него нападает. Оливье исчез в водовороте, как лодка, идущая ко дну. Удар кулака, не ему предназначенный, угодил ему прямо в грудь; он упал; толпа топтала его. Отхлынувшей обратно волной Кристофа отбросило на другой конец поля битвы. Он не чувствовал никакой злобы, он позволял толкать себя и сам толкал других, весело, как на деревенской ярмарке. Он так мало думал о серьезности положения, что, когда очутился в ла-

пах огромного широкоплечего полицейского и сам обхватил его за талию, ему пришла в голову шутовская мысль сказать ему:

— На тур вальса, мадемуазель?

Но когда другой полицейский прыгнул ему на спину, он встряхнулся, как кабан, и стал колотить обоих кулаками: он не намерен был сдаваться. Один из его противников, тот, что напал на него сзади, скатился на мостовую. Другой, разъярившись, обнажил саблю. Кристоф увидел ее острие на расстоянии двух пальцев от своей груди; он увернулся и, стиснув кисть руки полицейского, попытался отнять у него оружие. Он ничего уже не понимал; до этой минуты все казалось ему игрой. Они продолжали бороться, дыша друг другу в лицо. У Кристофа не было времени соображать. Он увидел в глазах своего противника жажду убийства, и в нем самом пробудился убийца. Он понял, что его зарежут, как барана. Резким движением он обернул кисть и саблю к груди противника и воткнул ее,— почувствовал, что убивает, что убил. И вдруг все смешалось в его глазах; он охмелел, он завыл.

Крики его произвели неожиданное действие. Толпа почуяла кровь. В одно мгновение она обратилась в разъяренную стаю. Со всех сторон началась стрельба. В окнах домов появились красные флаги, по исконной традиции парижских революций мигом возникла баррикада. Разворочена была мостовая, выдернуты газовые фонари, повалены деревья, опрокинут омнибус. Пригодился и ров, вырытый несколько месяцев назад для прокладки метрополитена. Чугунные решетки вокруг деревьев, разбитые на куски, пущены были в ход как снаряды. Из карманов и из недр домов извлекалось оружие. Меньше чем в час вспыхнуло восстание: весь квартал стал осажденной крепостью... И на баррикаде Кристоф, совершенно неузнаваемый, во все горло распевал свою революционную песню, тут же подхваченную двадцатью голосами.

Оливье перенесли к Орели. Он был без сознания. Его положили на кровать в темной задней комнате ресторанчика. В ногах кровати сраженный горем стоял маленький горбун. Берта сначала сильно испугалась: издали ей показалось, что ранен Грайо, и первым ее восклицанием при виде Оливье было:

— Какое счастье! Я думала, что это Леопольд...

Теперь, расчувствовавшись, она обнимала Оливье и поддерживала его голову на подушке. Орели, с присущим ей спокойствием, расстегнула ему одежду и наложила первую пере-

«Жан-Кристоф». Книга восьмая.

вязку. Весьма кстати тут оказался Манусса Гейман со своим неразлучным Канэ. Они, так же как и Кристоф, из любопытства пришли посмотреть на манифестацию; они присутствовали при свалке и видели, как упал Оливье. Канэ ревел, как теленок, и в то же время думал про себя:

«На кой черт меня сюда принесло!»

Манусса осмотрел раненого; он тотчас же решил, что тот безнадежен. Он был расположен к Оливье, но ему было несвойственно мешкать над тем, чему нельзя помочь; и он перестал заниматься им, перенеся все внимание на Кристофа. Он восхищался Кристофом, как неким патологическим случаем. Он знал его взгляды на Революцию и хотел вырвать Кристофа из нелепой опасности, грозившей ему в деле, к которому он не был причастен. Кристоф рисковал не только тем, что мог свернуть себе шею в стычке: в случае ареста все обрекало его на неминуемую кару. Его давно уже предупреждали об этом; полиция за ним следила; на него взвалили бы не только все его безрассудства, но и провинности других. Ксавье Бернар, который рыскал в толпе, в такой же мере ради забавы, как и по долгу службы, проходя мимо, знаком подозвал Мануссу и сказал:

— Ваш Крафт — идиот. Поверите ли, он сейчас разыгрывает героя на баррикаде! На этот раз уж мы его не упустим. Черт побери! Заставьте его убраться отсюда.

Легче было сказать это, чем сделать. Если бы Кристоф узнал, что Оливье умирает, он помешался бы с горя, стал бы убивать и сам был бы убит. Манусса сказал Бернару:

— Если он не скроется сейчас же, он пропал. Я заставлю его уехать.

— Как?

— В автомобиле Канэ, что стоит там, за углом.

— Но позвольте, позвольте...— задыхаясь, воскликнул Канэ.

— Ты отвезешь его в Ларош,— продолжал Манусса.— Вы поспеете как раз к экспрессу, что идет в Понтарлье. Ты отправишь его в Швейцарию.

— Он ни за что не согласится.

— Согласится. Я скажу ему, что Жанен встретится с ним там, что он уже выехал.

Не слушая возражений Канэ, Манусса пошел на баррикаду разыскивать Кристофа. Он не слишком был храбр, он весь ежился при каждом выстреле и считал плиты мостовой, по которым ступал (чет или нечет?), чтобы узнать, убьют его или нет. Но он не отступил и дошел до конца. Когда он нашел Кри-

стофа, тот, вскарабкавшись на колесо опрокинутого омнибуса, забавлялся тем, что стрелял в воздух из револьвера. К баррикаде отовсюду стекался парижский сброд, извергнутый улицей, как грязная вода из сточной трубы после сильного дождя. Те, кто сражался, были уже затоплены им. Манусса окликнул Кристофа, стоявшего к нему спиной. Кристоф не услышал. Манусса полез к нему, дернул его за рукав. Кристоф оттолкнул его, чуть было не сбил с ног. Цепкий Манусса снова взобрался наверх и крикнул:

— Жанен...

Конец фразы затерялся в шуме. Кристоф сразу умолк, уронил револьвер и, спрыгнув со своего помоста, последовал за Мануссой, который потащил его за собой.

— Надо бежать,— сказал Манусса.

— Где Оливье?

— Надо бежать,— повторил Манусса.

— На кой черт? — сказал Кристоф.

— Через час баррикада будет взята. Сегодня вечером вас арестуют.

— А что же я сделал?

— Взгляните на свои руки... Полно! Ваше дело ясно, вас не пощадят. Все вас узнали. Нельзя терять ни минуты.

— Где Оливье?

— У себя.

— Я пойду к нему.

— Это невозможно. Полиция ждет вас у дверей. Он послал меня предупредить вас. Бегите.

— Куда же, по-вашему, мне бежать?

— В Швейцарию. Канэ увезет вас в своем автомобиле.

— А Оливье?

— У нас нет времени на разговоры.

— Я не уеду, не повидав его.

— Вы увидите его там. Вы встретитесь с ним завтра. Он выезжает с первым же поездом. Скорей. Я вам все объясню.

Он потащил Кристофа. Кристоф, ошеломленный шумом и вихрем безумия, только что бушевавшим в нем, неспособный понять, что он сделал и чего от него хотят, позволил увезти себя. Манусса взял его под руку, другой рукой взял под локоть Канэ, отнюдь не восхищенного той ролью, которую ему навязали в этом деле, и усадил их в автомобиль. Добряк Канэ был бы в отчаянье, если бы арестовали Кристофа, но он предпочел бы, чтобы спасал его не он, а кто-нибудь другой. Манусса знал

Канэ насквозь. И так как его трусость внушала ему опасения, он в последнюю минуту, когда автомобиль уже захрапел, собираясь тронуться в путь, вдруг передумал и уселся с ним рядом.

Оливье так и не пришел в сознание. В комнате оставались лишь Орели и маленький горбун. Печальная комната, без воздуха и без света. Была уже почти ночь... Оливье на мгновение вынырнул из бездны. Он почувствовал на своей руке губы и слезы Эмманюэля. Он слабо улыбнулся и с усилием положил руку на голову мальчика. Как тяжела была его рука! Потом он снова канул куда-то...

На подушку, возле головы умирающего, Орели положила маленький первомайский букетик — несколько стебельков ландыша. Из неплотно закрытого крана на дворе капала в ведро вода. На мгновенье в недрах мысли затрепетали какие-то образы, как огонек, который вот-вот погаснет... Домик в провинции, увитый глициниями, сад, где играет ребенок; он лежит на лужайке, и в каменный водоем стекает струя фонтана. Где-то смеется маленькая девочка..

Они выехали из Парижа. Пересекли огромные, окутанные туманом равнины. Таким же вечером, десять лет назад, Кристоф прибыл в Париж. Он тогда тоже был беглецом, как и теперь. Но тогда жив был еще его друг, друг, который его любил; и Кристоф, сам того не зная, спешил тогда ему навстречу...

В первые часы Кристоф был еще полон возбуждения боем; он говорил много и громко, отрывистыми фразами рассказывал о том, что видел и делал, гордился своей удалью. Манусса и Канэ тоже говорили, чтобы отвлечь его. Мало-помалу горячка спала, и Кристоф замолк; спутники его продолжали говорить уже одни. Он немного ошалел от событий дня, но нисколько не был удручен. Ему вспоминалось то время, когда он бежал из Германии. Бежать, всегда бежать! Он усмехнулся. Таков, видно, его удел! Ему не грустно было покидать Париж: земля широка; люди везде одинаковы. Где жить — для него было неважно, только бы быть со своим другом. Он рассчитывал встретиться с ним на следующее утро...

Они приехали в Ларош. Манусса и Канэ не отходили от него, пока не посадили в вагон и не увидели его в окне отходящего поезда. Кристоф попросил их еще раз повторить название места, где он должен остановиться, гостиницы и почтового отделения, где он может получить от них весточку. Помимо воли вид у них, когда они прощались с ним, был мрачный. Кристоф весело пожал им руки.

— Полно,— крикнул он им,— не стройте таких похоронных лиц! Мы увидимся, черт подери! Все это пустяки! Завтра мы вам напишем.

Поезд тронулся. Они смотрели ему вслед.

— Бедняга! — вздохнул Манусса.

Они снова сели в автомобиль. Оба молчали. Некоторое время спустя Канэ сказал Мануссе:

— Я думаю, что мы совершили преступление.

Манусса сначала ничего не ответил, а потом сказал:

— Ну, чего там! Мертвые — мертвы. Надо спасать живых.

С наступлением ночи возбуждение Кристофа совсем улеглось. Забившись в угол купе, отрезвленный и охладевший, он погрузился в раздумье. Посмотрев на свои руки, он увидел на них кровь — чужую кровь. И содрогнулся от отвращения. Перед ним снова возникла картина убийства. Он вспомнил, что убил, и сам уже не знал, за что. Он стал пересказывать себе сцену схватки; на этот раз он видел ее совсем другими глазами и уже не понимал, чего ради впутался в эту историю. Он снова припоминал события этого дня с того момента, как вышел из дому вместе с Оливье; он мысленно снова проделал с ним весь путь по Парижу до того мгновения, когда его словно подхватило вихрем. С этой минуты он уже перестал себя понимать; цепь его мыслей обрывалась; как мог он кричать, бить, требовать заодно с этими людьми, чьих убеждений вовсе не разделял? Это был не он! Какое-то затмение сознания и воли! Он был ошеломлен и пристыжен этим. Значит, он не властен над собой? Кто же тогда властен над ним?.. Экспресс уносил его во тьму, и душевная тьма, которая его охватила, была не менее мрачна, а неведомая, увлекающая его сила не менее головокружительна... Он попытался стряхнуть с себя тревогу, но для того лишь, чтобы предаться новым заботам. По мере приближения к цели он все больше думал об Оливье и начинал испытывать какое-то беспричинное беспокойство.

В момент прибытия он выглянул в окно вагона, нет ли на платформе дорогого знакомого лица. Никого! Он вышел, все еще продолжая озираться. Раз или два ему померещилось... Нет, это был не *он*. Кристоф отправился в указанную гостиницу. Оливье там не было. Кристоф не имел причины беспокоиться: как мог Оливье опередить его? Но с этого мгновения началась тоска ожидания.

Было утро. Кристоф поднялся к себе в комнату. Потом сошел вниз. Позавтракал. Бродил по улицам. Делал вид, что мысли его свободны, смотрел на озеро, на выставленные в витринах товары; шутил с официанткой ресторана, перелистывал иллюстрированные журналы... Ничто не занимало его. День тянулся, медлительный и тяжкий. К семи часам вечера Кристоф,

пообедав от нечего делать спозаранку и без всякого аппетита, опять поднялся к себе, распорядившись, чтобы, как только приедет его друг, которого он поджидает, его провели к нему. Он сел у стола, повернувшись спиной к двери. Ему нечем было заняться, он не захватил никакого багажа, ни одной книги — только газета, которую он сейчас купил; он силился ее читать, но внимание его было отвлечено: он прислушивался к шуму шагов в коридоре. Все чувства его были до крайности возбуждены усталостью целого дня ожидания и бессонной ночью.

Вдруг он услышал звук отворяющейся двери. Какое-то неизъяснимое чувство помешало ему сразу же обернуться. Он почувствовал, как чья-то рука оперлась на его плечо. Он обернулся и увидел улыбающегося Оливье. Он не удивился и сказал:

— А! Наконец-то!

Видение исчезло...

Кристоф вскочил, оттолкнув от себя стол,— стул его опрокинулся. Волосы встали дыбом. Так простоял он с минуту, мертвенно-бледный, стуча зубами...

С этого мгновения (хотя он ничего не знал и все повторял про себя: «Я ничего не знаю!») он знал все. Он был уверен в том, что должно произойти.

Он не мог уже оставаться у себя в комнате. Он вышел на улицу и шагал целый час. Когда он вернулся, швейцар в вестибюле гостиницы вручил ему письмо. То самое письмо. Он был уверен, что оно придет. Он взял его дрожащей рукой. Он поднялся к себе, чтобы прочесть его. Он распечатал, он увидел, что Оливье умер. Он потерял сознание.

Письмо было от Мануссы. Манусса сообщал, что накануне, скрыв от него случившееся несчастье, чтобы ускорить его отъезд, они лишь исполнили волю Оливье, который хотел, чтобы его друг был спасен; что Кристофу незачем было оставаться, разве что для того, чтобы самому погибнуть; что ему следует беречь себя ради памяти друга, и ради остальных своих друзей, и ради собственной своей славы и т. д. и т. д. Орели своим крупным дрожащим почерком приписала три строчки, добавляя, что хорошенько позаботится о бедненьком мосье...

Когда Кристоф пришел в себя, у него сделался припадок ярости. Он решил убить Мануссу. Он бросился на вокзал. Вестибюль гостиницы был пуст, улицы пустынны; в ночном мраке редкие запоздалые прохожие не замечали этого задыхающегося

человека с безумными глазами. Он вцепился в свою навязчивую мысль, как бульдог, который кусает: «Убить Мануссу! Убить!..» Он хотел вернуться в Париж. Ночной скорый поезд ушел час назад. Надо было ждать до утра. Немыслимо ждать! Он вскочил в первый же уходящий по направлению к Парижу поезд. Поезд, останавливающийся на всех станциях. Очутившись один в вагоне, Кристоф закричал:

— Это неправда! Это неправда!

На второй станции после французской границы поезд совсем остановился; дальше он не шел. Дрожа от бешенства, Кристоф вышел из вагона, требуя другого поезда, наталкиваясь на безразличие полусонных железнодорожных служащих. Что бы он ни сделал, он все равно приехал бы слишком поздно. Слишком поздно для Оливье. Он не успел бы даже встретиться с Мануссой. Его арестовали бы раньше. Что делать? Чего хотеть? Ехать дальше? Вернуться? К чему? К чему? Он подумал было, не сознаться ли во всем проходящему мимо жандарму. Смутный инстинкт любви к жизни удержал его от этого, побудил его вернуться в Швейцарию. Ни один поезд не отходил ни в ту, ни в другую сторону раньше чем через два или три часа. Кристоф посидел в станционном зале, не мог там оставаться, вышел из вокзала, пустился в путь, наугад, в ночную тьму. Он очутился в пустынном поле — кругом луга, кое-где прорезанные маленькими рощами, предвестницами леса. Он вошел в лесную чащу. Не успел он сделать несколько шагов, как повалился на землю и закричал:

— Оливье!

Он лег поперек дороги и зарыдал.

Много времени спустя свисток поезда заставил его подняться. Он решил вернуться на вокзал, но ошибся дорогой. Он прошагал всю ночь напролет. Не все ли равно ему, здесь ли быть или там? Шагать, чтобы не думать, шагать до тех пор, пока совсем не перестанешь думать, пока не упадешь замертво. Ах, если бы умереть!

На заре он очутился во французской деревне, очень далеко от границы. Всю ночь он отдалялся от нее. Он зашел в трактир, с жадностью поел, снова пустился в путь, шагая все дальше и дальше. Днем он свалился где-то на лугу и проспал так до вечера. Когда он проснулся, снова наступила ночь. Ярость его улеглась. Осталась одна только боль, невыносимая, удушающая. Он дотащился до какой-то фермы, попросил хлеба, вязанку соломы для ночлега. Фермер поглядел на него в упор, отрезал ему ломоть хлеба, проводил в хлев и запер. Лежа на соломе подле

сладко пахнущих коров, Кристоф с жадностью уплетал свой ломоть. По лицу его ручьями текли слезы. Голод его и скорбь не могли утихнуть. Хорошо еще, что в эту ночь сон на несколько часов избавил его от страданий. На следующий день он проснулся от скрипа открывающейся двери. Он продолжал лежать не шевелясь. Ему не хотелось снова возвращаться к жизни. Фермер остановился перед ним и посмотрел на него пристально; затем перевел взгляд на какую-то бумагу, которую держал в руках. Наконец человек шагнул к Кристофу и сунул ему под нос газету. На первой странице — его портрет.

— Это я,— сказал Кристоф.— Можете меня выдать.

— Вставайте,— сказал фермер.

Кристоф встал. Человек знаком велел ему следовать за ним. Они прошли за ригой, свернули на тропинку, вьющуюся среди фруктовых деревьев. Дойдя до придорожного креста, фермер указал Кристофу дорогу и промолвил:

— Граница вон там.

Кристоф продолжал путь машинально. Он не знал, зачем он идет. Он был так разбит телом и душой, что ему на каждом шагу хотелось остановиться. Но он чувствовал, что если остановится, то рухнет на землю и уже не сможет сдвинуться с места. Он шел весь день напролет. У него не было ни гроша, чтобы купить хлеба. Впрочем, он избегал заходить в деревни. По странному, ускользавшему от сознания инстинкту этот человек, жаждавший смерти, боялся быть арестованным, он чувствовал себя, точно зверь, бегущий от облавы. Физические страдания — усталость, голод, смутный страх, подымавшийся из недр его измученного существа,— заглушали на время его душевную тоску. Он жаждал одного: найти приют, где ему дозволено было бы запереться с нею наедине и насытиться ею.

Он перешел границу. Вдали он увидел город с высокими башнями, увенчанными стройными колоколенками, и с фабричными трубами, из которых длинными струями валил дым; словно черные реки, однообразно, все в одном направлении, дым плыл под дождем в сером воздухе. Кристоф чуть не падал от усталости. В эту минуту он вспомнил, что знает в этом городе доктора, своего соотечественника, некоего Эриха Брауна, который в прошлом году, после одного из успешных выступлений Кристофа, написал ему, чтобы напомнить о себе. Хотя Браун был человеком недалеким и мало причастным к его жизни, Кристоф, по инстинкту раненого зверя, сделал последнее усилие, чтобы дотащиться и свалиться у кого-нибудь, не совсем для него чужого.

Под завесой дыма и дождя вступил он в этот серо-красный город. Он шел прямо, ничего не видя, расспрашивая, куда идти, ошибаясь, снова возвращаясь по своим следам, бредя наугад. Силы его были на исходе. Последним напряжением натянутой до предела воли он заставил себя вскарабкаться по крутым улочкам, по лестницам, восходящим к вершине узкого холма, усеянного домами, теснившимися вокруг темной церкви. Шестьдесят ступеней из красного камня — по три или по шести подряд. В промежутке между каждой группой ступеней — небольшая площадка, куда выходят двери домов. На каждой из них Кристоф, шатаясь, останавливался, чтобы перевести дух. Там, наверху, над башней, кружились вороны.

Наконец он прочел на двери имя, которое искал. Он постучался. Улочка тонула во мраке. От усталости он закрыл глаза. И внутри у него тоже был мрак... Прошли века...

Узкая дверь приоткрылась. На пороге показалась женщина. Ее лицо было в тени, но силуэт ее резко выделялся на светлом фоне маленького сада, видневшегося в глубине длинного коридора. Она была высокая, держалась прямо, молча ожидая, пока он заговорит. Он не видел ее глаз, но чувствовал их взгляд. Он спросил доктора Эриха Брауна и назвал себя. Слова с трудом выходили из его горла. Он изнурен был усталостью, жаждой и голодом. Не говоря ни слова, женщина вошла в дом, и Кристоф последовал за нею в комнату с закрытыми ставнями. В темноте он наткнулся на нее, коленями и животом нечаянно задев это безмолвное тело. Она вышла и затворила за ним дверь, оставив его одного, без огня. Он стоял неподвижно, из боязни опрокинуть что-нибудь, прислонившись к стене, упершись лбом в гладкую притолоку; в ушах у него шумело, в глазах плясал мрак.

В верхнем этаже двинули стулом, послышались возгласы удивления, с шумом захлопнулась дверь. Тяжелые шаги спускались по лестнице.

— Где он? — спрашивал знакомый голос.— Как! Его оставили в темноте! Анна! Черт подери! Свету!

Кристоф был так слаб, он чувствовал себя таким покинутым, что звук этого голоса, громкого, но сердечного, показался ему облегчением в его несчастии. Он схватил протянутые к нему руки. Принесли свет. Мужчины посмотрели друг на друга. Браун был невысокого роста; лицо у него было красное, с черной,

жесткой и беспорядочно растущей бородой; добрые глаза, смеющиеся сквозь очки, лоб широкий, выпуклый, морщинистый, утомленный, невыразительный; волосы старательно прилизаны и разделены пробором до самого затылка. Он был безобразен, но Кристофу отрадно было смотреть на него и пожимать ему руки. Браун не скрывал своего удивления.

— Господи! Как вы изменились! В каком виде!

— Я из Парижа,— сказал Кристоф.— Я бежал.

— Знаю, знаю, мы прочли об этом в газете, там сообщалось, что вы арестованы. Слава богу! Мы много думали о вас, Анна и я.

Он прервал свою речь и, указывая Кристофу на молчаливую женщину, которая впустила его в дом, промолвил:

— Моя жена.

Она стояла на пороге комнаты с лампой в руке. Замкнутое лицо с волевым подбородком. Свет падал на ее каштановые с рыжим отливом волосы и матово-бледные щеки. Она натянутым жестом подала Кристофу руку, прижав локоть к телу. Он, не глядя, взял эту руку. Он еле держался на ногах.

— Я пришел...— попробовал он объяснить.— Я думал, что вы согласитесь, может быть... если я не слишком вас стесню... приютить меня на один день...

Браун не дал ему докончить.

— На один день! На двадцать, на пятьдесят дней, сколько вам вздумается. Пока вы будете в наших краях, вы — желанный гость в нашем доме, и, я надеюсь, надолго. Для нас это честь и счастье.

Эти сердечные слова растрогали Кристофа, он кинулся Брауну в объятия.

— Милый мой Кристоф, милый мой Кристоф,— говорил Браун.— Он плачет... Да что же это с ним такое? Анна! Анна! Скорей! Ему дурно!..

Кристоф поник в объятиях своего хозяина. Обморок, приближение которого он предчувствовал уже несколько часов, наконец сразил его.

Когда он снова открыл глаза, он лежал на огромной кровати. Из открытого окна в комнату доносился запах сырой земли. Браун склонился над ним.

— Простите,— пробормотал Кристоф, пытаясь приподняться.

— Да он умирает с голоду! — вскричал Браун.

Женщина вышла, вернулась с чашкой, подала Кристофу пить. Браун поддерживал ему голову. Кристоф оживал, но уста-

лость была сильнее голода: не успел он положить голову на подушку, как уснул. Браун и его жена посидели подле него; потом, видя, что он нуждается только в отдыхе, оставили его одного.

Это был один из тех снов, которые как будто длятся целые годы,— сон гнетущий, тяжелый, как свинец на дне озера. Человек находится во власти бесконечной усталости, чудовищных галлюцинаций, которые вечно рыщут вокруг и стремятся поработить его волю. Кристоф силился проснуться, весь в жару, разбитый, затерянный в этой неведомой ночи; он слышал, как стенные часы отзванивали нескончаемые половины; он не мог ни дышать, ни думать, ни пошевельнуться; его точно связали, заткнули ему рот, как человеку, которого топят; он пробовал сопротивляться, вынырнуть и снова падал на дно. Начался наконец рассвет, запоздалый серый рассвет дождливого дня. Нестерпимый жар, снедавший Кристофа, спал, но на тело его как будто навалилась гора. Он проснулся. Ужасное пробуждение...

«К чему опять открывать глаза? К чему пробуждаться? Остаться неподвижным, как бедный мой малыш, который лежит теперь под землею...»

Распростертый на спине, он не шевелился, хотя и страдал от своей неудобной позы; руки и ноги его были тяжелы, как камень. Он был точно в склепе. Тусклый свет. Несколько капель дождя ударилось в оконные стекла. В саду тихо и жалобно пищала какая-то птичка. Что за мучение жить! Жестокая бессмыслица!..

Часы проходили за часами. Вошел Браун. Кристоф не повернул головы. Браун, видя, что глаза у Кристофа открыты, радостно окликнул его, и так как тот продолжал угрюмо смотреть в потолок, Браун решил рассеять его печаль: он присел к нему на постель и разразился шумной болтовней. Шум этот был Кристофу невыносим. Он сделал усилие, показавшееся ему сверхчеловеческим, и промолвил:

— Оставьте меня, прошу вас.

Добряк тотчас же изменил тон.

— Вам хочется побыть одному? Еще бы! Разумеется! Ну, лежите спокойно. Отдыхайте, молчите, вам будут приносить сюда еду, и с вами никто не будет разговаривать.

Но он не умел быть кратким. После нескончаемых объяснений он вышел из комнаты, ступая на цыпочках в своих тяжелых башмаках, под которыми трещал паркет. Кристоф снова остался один, погруженный в свою смертельную усталость. Мысль

его расплывалась в каком-то тумане страдания. Он изнемогал, стараясь понять... Зачем он познакомился с Оливье? Зачем полюбил его? К чему послужило самопожертвование Антуанетты? Какой смысл имели все эти жизни, все эти поколения,— такое множество испытаний и надежд! — которые завершились его жизнью и вместе с нею рухнули в пустоту?.. Нелепость жизни. Нелепость смерти. Загубленное существо, целая порода, исчезнувшая навеки, не оставив после себя следа. Неизвестно, что — гнусное ли, нелепое ли — унесло эти жизни. Кристофу захотелось смеяться недобрым смехом от отчаяния и ненависти. Бессилие перед своим горем, горе от своего бессилия убивало его... Сердце его было растерзано...

Ни звука в доме, кроме шагов доктора, уходившего делать обход больных. Кристоф утратил всякое представление о времени, когда появилась Анна. Она принесла ему на подносе обед. Он взглянул на нее, не сдвинувшись с места, не пошевельнув даже губами, чтобы поблагодарить ее; но в его неподвижных глазах, которые, казалось, ничего не видели, образ молодой женщины запечатлелся с фотографической четкостью. Гораздо позже, когда он узнал ее ближе, он все-таки продолжал ее видеть именно такою,— более поздним впечатлениям не удалось стереть это первое его воспоминание. У нее были густые, заложенные тяжелым узлом волосы, выпуклый лоб, широкие скулы, короткий и прямой нос, глаза, либо упрямо опущенные, либо, при встрече с чьим-нибудь взглядом, смотрящие в сторону с выражением неискренним и недобрым, несколько крупные, плотно сжатые губы, вид замкнутый, почти суровый. Она была высокого роста, казалась крепкой и хорошо сложенной, но какой-то неловкой в своем тесном платье и скованной в движениях. Она безмолвно и бесшумно прошла по комнате, поставила поднос на стол подле кровати и ушла, плотно прижав локти к телу и низко опустив голову. Кристоф не подумал даже удивиться этому странному и несколько смешному посещению; к обеду он не притронулся и продолжал безмолвно страдать.

День прошел. Снова наступил вечер, и снова появилась Анна с новыми блюдами. Она нашла нетронутыми те, что принесла днем, и унесла их обратно, не сказав ничего. У нее не нашлось ни одного из тех ласковых слов, которые, обращаясь к больному, инстинктивно находит всякая женщина. Казалось, Кристоф для нее совсем не существует, или сама она едва существует. Кристоф с чувством глухой враждебности нетерпеливо следил за ее неуклюжими и натянутыми движениями. Однако он был ей благодарен за то, что она не пыталась заговорить с

ним. И благодарность эта возросла, когда после ее ухода ему пришлось выдержать натиск доктора, только что узнавшего, что Кристоф не притронулся к обеду. Негодуя на жену за то, что она силой не заставила Кристофа поесть, он решил принудить его к этому сам. Чтобы отвязаться от него, Кристофу пришлось отхлебнуть несколько глотков молока. После этого он повернулся к Брауну спиной.

Вторая ночь прошла спокойнее. Тяжелый сон погрузил Кристофа в небытие. Ни следа ненавистной жизни... Но еще ужаснее было пробуждение. Задыхаясь, он припоминал все подробности рокового дня, нежелание Оливье выходить из дому, настойчивые его просьбы вернуться, и с отчаянием думал: «Это я убил его...»

Положительно невыносимо было оставаться одному, взаперти, неподвижным, в когтях лютоглазого сфинкса, который продолжал мучить его головокружительным безумием своих вопросов и трупным своим дыханием. Кристоф вскочил в лихорадке, с трудом вышел из комнаты, спустился по лестнице; у него была инстинктивная, малодушная потребность потеснее прижаться к другим людям. Но едва он услышал чужой голос, ему захотелось бежать.

Браун был в столовой. Он встретил Кристофа обычными дружескими восклицаниями и тотчас же принялся расспрашивать о парижских событиях. Кристоф стиснул ему руку.

— Нет,— сказал он,— не спрашивайте меня ни о чем. После как-нибудь. Не сердитесь на меня. Я не могу. Я смертельно устал, я устал...

— Знаю, знаю,— ласково сказал Браун.— Нервы ваши претерпели сильную встряску. Это волнения последних дней. Не говорите. Не стесняйте себя ни в чем. Вы свободны, вы у себя дома. Никто не будет вас беспокоить.

Он сдержал слово. Чтобы не утомлять больше своего гостя, он ударился в противоположную крайность: он не осмеливался уже разговаривать при нем с женой; они говорили шепотом, ходили на цыпочках; весь дом точно онемел. Наконец, Кристоф, раздраженный этим шепотом и неестественной тишиной, попросил Брауна продолжать жить по-прежнему.

Итак, в следующие дни никто не занимался уже больше Кристофом. Он часами просиживал в углу какой-нибудь комнаты или бродил по всему дому, о чем-то мечтая. О чем он думал? Он и сам не мог бы на это ответить. У него едва хватало силы страдать. Он был точно пришиблен. Сухость собственного сердца ужасала Кристофа. У него было одно лишь желание: чтобы

его похоронили вместе с «ним» и чтобы все было кончено. Однажды дверь в сад оказалась отворенной, и он вышел. Но ему так тягостен был яркий свет, что он поспешил вернуться домой и забаррикадировался у себя в комнате, затворив ставни. Ясные дни мучили его. Он ненавидел солнце. Природа подавляла его своей грубой безмятежностью. За обедом он молча съедал то, что подкладывал ему Браун, и, уставившись взглядом на стол, не произносил ни слова. Однажды Браун указал ему в гостиной на рояль; Кристоф с ужасом отвернулся от него. Всякий шум был ему ненавистен. Тишина, тишина и мрак!.. В нем не оставалось ничего, кроме пустоты и потребности в пустоте. Его покинула радость жизни, эта могучая птица радости, которая некогда вдохновенными взлетами с песней уносилась ввысь. Целыми днями просиживал он в своей комнате, и единственным ощущением жизни был для него неровный пульс часов в соседней комнате, который, казалось, бился у него в мозгу. И все-таки дикая птица радости жила еще в нем; она вдруг порывалась лететь, она билась о стены клетки; и в глубине души поднималось ужасное смятение тоски — «вопль отчаяния существа, оставшегося одиноким в огромном пустынном пространстве...»

Убожество мира в том, что у человека почти никогда нет товарища. Бывают, может быть, подруги и случайные друзья. Мы расточительны на это прекрасное звание «друг». В действительности имеешь одного только друга в течение всей жизни. И весьма редки те, кто его находит. Но счастье это так велико, что, лишившись его, мы уже не знаем, как жить. Сами того не замечая, мы заполняли им всю жизнь. Друг уходит — и жизнь пуста. Утрачено не только любимое существо, но всякий смысл любить, всякий смысл пережитой любви. Зачем он жил? Зачем вообще жить?..

Удар, нанесенный смертью Оливье, был для Кристофа тем ужаснее, что он обрушился на него в ту минуту, когда все существо его было уже надломлено. Бывают в жизни периоды, когда в глубине организма совершается глухая работа перерождения; тогда тело и душа беззащитны перед опасностями внешнего мира; дух чувствует себя ослабленным, смутная грусть снедает его, пресыщение всем, оторванность от всего, что уже сделано, неуверенность в том, что еще можешь создать. В ту пору, когда происходят эти переломы, большинство людей бывает связано семейными обязанностями: в этом их спасение, хотя это, правда, и отнимает у них свободу мысли, необходимую, чтобы взвесив свои достоинства и недостатки, разобраться во всем, создать себе прочную новую жизнь. Сколько скрытых печалей,

сколько горьких разочарований! Иди! Иди! Надо перешагнуть через это... Работа, обязанности, забота о семье держат человека в оглоблях, как измученную лошадь, которая хоть и спит, а все-таки продолжает шагать. Но у человека совершенно свободного нет ничего, что поддерживало бы его в часы упадка духа и приневоливало бы идти. Силы его надорваны, сознание затуманено. Горе ему, если в этот миг усыпления раскат грома внезапно пробудит лунатика! Он сорвется с высоты...

Несколько писем из Парижа, дошедших в конце концов до Кристофа, на мгновение вырвали его из безнадежной апатии. Письма были от Сесили и от г-жи Арно. Они несли ему слова утешения. Жалкие утешения! Бесполезные утешения! Те, кто говорит о скорби,— не те, кто страдает. Во всяком случае, письма принесли ему отзвук исчезнувшего голоса... У Кристофа не хватило духа ответить; и письма прекратились. В своем унынии он пытался замести следы. Исчезнуть... Скорбь несправедлива: все, кого он любил, уже не существовали для него. Существовал лишь один: тот, кого уже не было на свете. Целыми неделями Кристоф с отчаяньем пытался оживить его; он разговаривал с ним; он писал ему.

«Душа моя, я не получил сегодня твоего письма. Где ты? Вернись, вернись, говори со мной, пиши мне!»

Но по ночам, несмотря на все усилия, Кристофу не удавалось увидеть его во сне. Те, кого мы утратили, редко снятся нам, пока нас терзает чувство утраты. Они являются нам позднее, когда уже наступает забвение.

Между тем внешняя жизнь мало-помалу просачивалась в гробницу, где заключена была душа Кристофа. Он начал различать разные домашние шумы и, сам того не замечая, интересоваться ими. Он узнал, в какие часы и сколько раз в день отворяется и затворяется входная дверь, всякий раз на иной лад, в зависимости от посетителей. Он узнавал теперь шаги Брауна; он представлял себе, как, вернувшись от больных, доктор останавливается в прихожей и всегда одинаковым движением, нерешительным и педантичным, вешает свою шляпу и плащ. И когда один из привычных шумов не доносился в установленный срок, Кристоф невольно искал причины этой перемены. За столом он начал машинально прислушиваться к разговору. Он заметил, что говорил почти всегда один Браун. Жена вставляла лишь краткие замечания. Брауна не смущало отсутствие собеседников: он с болтливым добродушием рассказывал о сделанных им за день

визитах, о городских сплетнях. Случилось однажды, что Кристоф взглянул на Брауна в тот момент, когда он говорил; Браун так обрадовался, что начал всячески изощряться, стараясь его заинтересовать.

Кристоф попытался вернуться к жизни... Какая усталость! Он чувствовал себя старым, старым, как мир! Утром, когда он вставал, когда видел себя в зеркале, он тяготился своим телом, своими движениями, всем своим нелепым обликом. Вставать, одеваться — к чему?.. Он делал огромные усилия, чтобы заставить себя работать: ему это претило. Зачем творить, если все обречено на гибель? Музыка стала для него невыносимой. Правильно судить об искусстве (как и обо всем прочем) можно только в несчастье. Несчастье — пробный камень. Лишь тогда узнаешь тех, кто переживает века, тех, кто сильнее смерти. Весьма немногие могут выдержать это испытание. Вдруг вскрывается посредственность иных душ, которые ты превозносил прежде, любимых художников, давнишних друзей. Кто всплывает на поверхность? Каким пустым звоном отзывается красота мира под прикосновением пальцев скорби!

Но скорбь устает, и рука ее цепенеет. Нервное напряжение Кристофа ослабевало. Он спал, спал беспрерывно. Казалось, никогда не удастся ему утолить эту жажду сна.

И наконец однажды ночью он заснул таким глубоким сном, что проснулся лишь на следующие сутки, среди дня. Дом был пуст. Браун и его жена куда-то вышли. Окно было растворено, лучезарный воздух словно улыбался. Кристоф почувствовал себя освобожденным от гнетущей тяжести. Он встал и спустился в сад. Узкая площадка, замкнутая среди высоких, точно монастырских стен. Между квадратами дерна и клумбами мещанских цветов несколько посыпанных песком дорожек; беседка, увитая виноградной лозой и розами. Тонкая водяная струйка капала из обложенного ракушками грота; акация у самой стены свешивала в соседний сад свои душистые ветви. Вдали возвышалась колокольня старой церкви из красного камня. Было четыре часа дня. Сад уже покрывала тень. Солнце озаряло еще вершину дерева и красную колокольню. Кристоф уселся в беседке, спиной к стене, запрокинув голову, глядя на ясное небо в просветах виноградных листьев и роз. Ему казалось, будто он пробуждается от кошмара. Вокруг царила недвижная тишина. Над его головой томно свешивалась ветка роз. Вдруг самая красивая из них осыпалась, умерла; снег ее лепестков рассеялся в воздухе. Словно угасла прекрасная невинная жизнь. Так просто! В душе Кристофа это отозвалось сладостной мучительной

болью. Он глубоко вздохнул и, закрыв лицо руками, разрыдался...

Зазвонили колокола на башне. От церкви к церкви, перекликаясь, пошел ответный звон... Кристоф не сознавал, сколько времени прошло. Когда он снова поднял голову, колокола уже умолкли, солнце скрылось. Слезы облегчили Кристофа; дух его был словно омыт этими слезами. Он прислушивался, как бьется в нем струйка музыки, и глядел, как скользит в вечернем небе тонкий лунный серп. Шум возвращающихся шагов пробудил его. Он поднялся к себе в комнату, заперся на ключ и дал волю музыкальной волне. Браун позвал его к обеду, он стучал в дверь, пытался открыть ее — Кристоф не ответил. Встревоженный Браун поглядел в замочную скважину и успокоился, увидев, что Кристоф полулежит на столе среди листов исписанной бумаги.

Несколько часов спустя Кристоф, истомленный, спустился вниз и нашел в нижней гостиной доктора, который терпеливо поджидал его за книгой. Он обнял его, извинился за свое поведение с самого приезда и, не дожидаясь расспросов Брауна, начал рассказывать драматические события последних недель. Это был единственный раз, когда он говорил об этом; да и то он не был уверен, что Браун вполне его понял, ибо Кристоф рассказывал бессвязно; было уже за полночь, и, несмотря на все свое любопытство, Брауну до смерти хотелось спать. Наконец (когда пробило два часа), Кристоф это заметил. Они пожелали друг другу покойной ночи.

Начиная с этой минуты, жизнь Кристофа потекла по-новому. Хотя и улеглось это состояние мимолетного возбуждения и он снова поддался своей грусти, но грусть уже стала нормальной, не мешающей жить. Надо же было снова вернуться к жизни! В этом человеке, который только что потерял то, что он любил больше всего на свете, которого терзало горе, в этом человеке, носящем в себе смерть, была такая избыточная, такая тираническая сила жизни, что она прорывалась в его скорбных словах, светилась в его глазах, в его губах, в его движениях. Но в самой сердцевине гнездился подтачивавший ее червь. У Кристофа бывали приступы отчаяния. Это налетало на него внезапно. Вот он спокоен, он старается читать или гулять — и вдруг улыбка Оливье, его усталое и нежное лицо... Точно полоснули ножом по сердцу... Он пошатывается, со стоном прижимая руку к груди. Однажды он сидел за роялем и с прежним жаром играл Бетховена. Вдруг он остановился, повалился на пол и, зарыв лицо в подушки кресла, воскликнул:

— Дорогой мой!..

Тягостнее всего было ощущение, что все это он уже когда-то переживал; ощущение это появлялось у Кристофа на каждом шагу. Он беспрестанно узнавал прежние жесты, прежние слова, вечное повторение старых переживаний. Все было ему знакомо, все предугадано. Такое-то лицо, напоминающее лицо, знакомое в прошлом, либо скажет (он заранее был уверен в этом), либо уже говорит те самые слова, что говорили те, другие; сходные существа проходят через сходные фазы, наталкиваются на те же препятствия и одинаково при этом поступают. Если правда, что «ничто не отвращает нас от жизни так, как повторность любви», то насколько же больше должна отвращать нас повторность всего вообще!.. Можно с ума сойти! Кристоф старался не думать об этом, поскольку необходимо было не думать об этом, чтобы жить, а он хотел жить. Мучительное лицемерие, не желающее осознать себя из чувства стыда, из чувства хотя бы благочестия,— неодолимая, затаенная потребность жизни! Зная, что нет утешения, человек создает себе утешение сам. Убежденный, что жизнь не имеет никакого смысла, он создает себе смысл жизни. Он уверяет себя, что ему необходимо жить, хотя никому, кроме него одного, это не нужно. В случае надобности он придумает, что умерший воодушевляет его на жизнь. И он знает, что сам приписывает мертвому те речи, которые хочет от него услышать. Какое убожество!

Кристоф продолжал свой путь; поступь его, казалось, обрела прежнюю уверенность; он замкнул свою скорбь глубоко в сердце; он никогда не говорил о ней с другими и сам избегал оставаться с нею наедине; он казался спокойным.

«Истинные горести,— говорит Бальзак,— с виду спокойно лежат в глубоком, прорытом ими русле; они как будто спят, но и там продолжают разъедать душу».

Кто подошел бы к Кристофу и понаблюдал бы за ним, как он расхаживает взад и вперед, играет, разговаривает, смеется даже (теперь он смеялся!), тот почувствовал бы, что в самой глубине этого сильного человека с горящими оживлением глазами что-то надломлено.

С той минуты как он причалил к пристани, ему надо было обеспечить себе средства к существованию. О том, чтобы покинуть город, не могло быть и речи. Швейцария была самым надежным убежищем; да и где бы он нашел более сердечное гостеприимство? Но его гордая натура не могла помириться

с мыслью, что он будет жить на иждивении приятеля. Несмотря на протесты хозяина, не желавшего брать с него платы, он не успокоился до тех пор, пока не нашел нескольких уроков музыки, которые дали ему возможность регулярно оплачивать жизнь у Браунов. Это было нелегко. Слух об его безрассудной революционной выходке распространился по городу, и буржуазные семьи неохотно пускали к себе человека, слывшего опасным или, во всяком случае, необыкновенным,— стало быть, недостаточно «приличным». Однако музыкальная его известность и старания Брауна открыли Кристофу доступ в четыре или пять семейств, которые были не столь чопорны или более любопытны и жаждали, быть может из артистического снобизма, выказать свободомыслие. Тем не менее за ним бдительно следили и соблюдали между учителем и учениками почтительное расстояние.

Жизнь у Брауна наладилась по строго размеренному плану. Утром каждый шел, куда его призывали обязанности: доктор к больным, Кристоф на уроки, г-жа Браун на рынок и по благочестивым делам. Кристоф возвращался к часу — обычно раньше Брауна, не позволявшего ждать его к обеду, и садился за стол вдвоем с молодой женщиной. Это ему не очень нравилось, потому что она не была ему симпатична и он не знал, о чем с нею говорить. Она не делала ни малейшего усилия победить эту антипатию, хотя не могла не замечать ее; она не старалась блеснуть перед ним ни нарядами, ни остроумием; никогда первая не заговаривала с Кристофом. Нескладность ее движений и платья, неуклюжесть, холодность отдалили бы от нее всякого мужчину, чувствительного, как Кристоф, к очарованию женственности. Вспоминая остроумное изящество парижанок, он при виде Анны не мог удержаться от мысли: «Как она дурна собой!»

Между тем это было неверно; вскоре он стал замечать красоту ее волос, рук, рта, ее глаз — в те редкие мгновения, когда ему доводилось встречаться с ее всегда опущенным взглядом. Но это не смягчило его приговора. Из вежливости он заставлял себя говорить с нею, с трудом выискивая темы разговора: она нисколько не помогала ему. Раза два-три он попытался расспросить ее об их городе, о муже, о ней самой — и ничего не мог от нее добиться. Она отвечала банальными фразами; она улыбалась с заметным усилием, и это усилие было неприятно видеть; улыбка у нее была принужденная, голос глухой; она мямлила, цедила слова; каждая фраза сопровождалась тягостным молчанием. Кристоф в конце концов решил говорить с нею

как можно меньше; и она была благодарна ему за это. Приход доктора был для них обоих облегчением. Он всегда был в хорошем настроении, шумлив, деловит, банален, в общем — отличный человек. Он с аппетитом ел, пил, говорил, смеялся. С ним Анна немного разговаривала; но их разговоры касались исключительно подаваемых к обеду кушаний и цен на продукты. Иногда Браун потешался, поддразнивая Анну ее благочестивыми делами и проповедями пастора. Тогда она делала каменное лицо и обиженно замолкала до конца обеда. Чаще всего доктор рассказывал о своих визитах; ему доставляло удовольствие описывать некоторые отвратительные случаи с забавной обстоятельностью, выводившей из себя Кристофа. Тот швырял салфетку на стол и вскакивал с гримасой отвращения на радость рассказчику. Браун тотчас же замолкал и со смехом успокаивал своего друга. За следующим обедом все начиналось сызнова. Эти больничные шутки, казалось, развлекали бесстрастную Анну. Она прерывала свое молчание внезапным первным смехом, в котором было что-то животное. Быть может, она не меньше Кристофа чувствовала отвращение к тому, над чем смеялась.

В послеобеденное время у Кристофа было мало учеников. Обычно он оставался дома с Анной, между тем как доктор снова уходил. Они не виделись. Каждый работал у себя. Вначале Браун просил Кристофа немножко заняться музыкой с его женой: по его мнению, она была довольно хорошей музыкантшей. Кристоф предложил Анне сыграть что-нибудь. Она не заставила себя просить, хотя, очевидно, ей это было неприятно; но в игру она внесла свойственное ей отсутствие изящества: она играла механически, как-то невообразимо бесчувственно; все ноты звучали одинаково; нигде никаких ударений; когда надо было перевернуть страницу, она спокойно останавливалась посреди фразы, нимало не торопясь, и продолжала со следующей ноты. У Кристофа это вызвало такое раздражение, что он с трудом удержался, чтобы не наговорить ей грубостей; он спасся только тем, что вышел из комнаты, не дослушав пьесы до конца. Она ничуть этим не смутилась, невозмутимо доиграла все до последней ноты и не казалась ни оскорбленной, ни уязвленной его невежливостью,— она как будто и не заметила ее. Но с тех пор между ними уже не было больше речи о музыке. В послеобеденные часы, когда Кристоф иногда выходил из дому, случалось, что, возвратясь ненароком, он заставал Анну за роялем, повторяющую с холодным и нелепым упорством раз по пятидесяти один и тот же такт, никогда не уста-

вая и не оживляясь. Она никогда не играла, если знала, что Кристоф дома. Она отдавала хозяйственным заботам все время, которое не посвящала благочестивым делам. Она шила, перешивала, присматривала за прислугой; у нее была педантичная страсть к порядку и чистоте. Муж считал ее отличной женщиной, правда немного чудной, «как все женщины», говорил он, но зато, «как все женщины», преданной. Насчет последнего пункта Кристоф хранил про себя особое мнение: такое умозаключение казалось ему слишком упрощенным, но он говорил себе, что, в конце концов, это дело Брауна и его не касается.

Вечером, после обеда, они сходились все вместе. Браун и Кристоф беседовали. Анна занималась рукоделием. По просьбе Брауна, Кристоф согласился наконец снова сесть за рояль; и иногда он до поздней ночи играл в большой, слабо освещенной гостиной, выходившей окнами в сад. Браун был в восторге. Кто не знает этой породы людей, восторгающихся произведениями, которых они совсем не понимают, либо понимают навыворот. (За это-то они их и любят!) Кристоф уже не сердился: он стольких глупцов перевидал на своем веку! Но после некоторых нелепо-восторженных восклицаний он переставал играть и, не говоря ни слова, уходил в свою комнату. Браун в конце концов догадался о причине и с тех пор не выражал своих впечатлений вслух. К тому же любовь его к музыке быстро утолялась, он не мог слушать со вниманием более четверти часа подряд: он принимался за газету или же начинал дремать, оставив Кристофа в покое. Анна, сидевшая в глубине комнаты, не говорила ни слова; на коленях у нее лежало какое-нибудь рукодельe, и она, казалось, работала, но глаза ее были устремлены в одну точку, а руки неподвижны. Иногда, посреди пьесы, она бесшумно выходила из комнаты и не показывалась больше.

Так проходили дни. К Кристофу возвращались его прежние силы. Тяжеловесная, но сердечная доброта Брауна, тишина этого дома, успокоительная размеренность домашнего уклада, питание, необычайно обильное, на германский манер, возрождали его могучий темперамент. Физическое его здоровье было восстановлено, но духовный механизм все еще болен. Растущая физическая крепость лишь подчеркивала расшатанность духа, который никак не мог найти равновесия, словно плохо нагруженная лодка, подбрасываемая при малейшем толчке.

Одиночество его было глубоко. С Брауном у него никакой духовной близости быть не могло. Его встречи с Анной сводя-

лись лишь к обмену утренними и вечерними приветствиями. Отношения его с учениками были скорее враждебны, ибо он плохо скрывал от них, что самое лучшее им было бы совсем бросить музыку. Знакомых у него не было. Виною этому было не только то, что он после постигшей его утраты забился в свой угол,— общество сторонилось его.

Он жил в старом городе, исполненном ума и силы, но проникнутом патрицианской гордостью, замкнутой и самодовольной. Буржуазная аристократия, ценившая труд и высокую культуру, но ограниченная, воспитанная в ханжестве, твердо убежденная в своем превосходстве и превосходстве своего города, довольствовалась тесным семейным кругом. Древние фамилии с обширной родословной. У каждой семьи был свой приемный день для близких. Прочих принимали неохотно. Эти могущественные семьи с вековыми состояниями не испытывали никакой потребности хвалиться своим богатством. Они друг друга знали — этого было вполне достаточно; мнение посторонних не принималось в расчет. Здесь можно было увидеть миллионеров, одетых словно мелкие мещане и разговаривающих на грубом, со смачными выражениями диалекте, которые добросовестно, изо дня в день, всю жизнь ходили в свои конторы даже в том возрасте, когда самые трудолюбивые люди уже разрешают себе отдохнуть. Их жены чванились образцовым умением вести хозяйство. Приданого дочерям не давали. Богачи заставляли своих детей проходить ту же суровую школу, которую прошли они сами. Строгая бережливость в повседневной жизни. И вместе с тем весьма благородное употребление этих крупных состояний на художественные коллекции, на картинные галереи, на общественное благоустройство. Щедрые и постоянные пожертвования, почти всегда безыменные, на разные благотворительные учреждения, на пополнение музеев. Здесь смешалось великое и смешное — и то и другое какого-то иного века. Этот мирок, для которого весь остальной мир как будто не существовал (хотя он и знал его отлично по деловым сношениям, по обширным связям, по тем продолжительным и дальним путешествиям, какие он с образовательной целью предписывал своим сынам), этот мирок, который признавал какое-нибудь громкое имя, иноземную знаменитость лишь с того дня, когда они наконец были приняты и одобрены им,— соблюдал в своей замкнутой среде строжайшую дисциплину. Все держали себя в руках, и все следили друг за другом. В результате воз-

никла некая коллективная совесть, стирающая все индивидуальные различия (более чем где-либо осуждаемые в среде этих суровых личностей) под покровом религиозного и морального единообразия. Все соблюдали обряды, все были благочестивы. Никто не знал сомнений или не хотел в них сознаться. Невозможно было понять, что происходит в глубине этих душ, которые непроницаемо укрылись от чужих взглядов, чувствуя над собой бдительный надзор и зная, что каждому присвоено право заглядывать в чужую совесть. Даже те, кто в свое время покинул страну и считал себя уже освобожденным,— едва вступив в ее пределы, снова подпадал под власть традиций, обычаев, атмосферы родного города; самые неверующие тотчас принуждены были исполнять обряды и верить. Неверие показалось бы чем-то противоестественным. Неверие было свойством низшего класса, отличающегося дурными манерами. Для человека известного круга недопустимо уклоняться от религиозных обязанностей. Кто не выполнял обрядов, тем самым выбывал из своего класса и уже не имел туда доступа.

Гнет этой дисциплины, однако, казался им недостаточным. Эти люди чувствовали себя все еще мало связанными в недрах своей касты. Внутри этого большого Verein'а [1], чтобы окончательно сковать себя, они образовали множество маленьких Verein'ов. Их насчитывалось уже несколько сотен, и число их ежегодно увеличивалось. Существовали Vereine всевозможных назначений: благотворительные, благочестивые, коммерческие, благочестивые и коммерческие одновременно, художественные, научные, певческие, музыкальные, Vereine для умственных упражнений и для упражнений физических, для сборищ, попросту для того, чтобы вместе повеселиться; были Vereine участковые, Vereine корпораций; были Vereine людей, занимающих одинаковое положение, обладающих одинаковым состоянием, одинаковым весом, одинаковыми именами. Говорят, будто собирались образовать Vereine des Vereinslosen (то есть тех, кто не принадлежал ни к какому Verein'у); но таких не нашлось в городе и дюжины.

Души были стянуты этим тройным корсетом — традиций города, касты и среды. Тайное принуждение обуздывало характеры. Большинство воспитывалось в этом принуждении с детства, в течение многих лет и находило это естественным; оно сочло бы неблагопристойным и нездоровым обходиться без корсета. Никто, глядя на самодовольную улыбку этих людей, не

[1] Сообщества *(нем.)*.

заподозрил бы, что они чувствуют себя стесненными. Но природа мстила за себя. Время от времени возникала какая-нибудь мятежная индивидуальность, могучий художник или необузданный мыслитель, который грубо разрывал путы и доставлял немало хлопот местным старожилам. Они были настолько умны, что, если мятежника не удавалось задушить в зародыше, если он оказывался сильнее их, они никогда не старались победить его (битва могла бы повлечь за собой скандальные взрывы),— они его покупали. Если он был художник, они помещали его в музей; если мыслитель — в библиотеку. Тщетно надрывался он, провозглашая невероятнейшие идеи,— они делали вид, что не слышат. Тщетно отстаивал он свою независимость — они включали его в свою среду. Таким образом, действие яда нейтрализовалось: это было лечение гомеопатией. Но такие случаи были редки, большей частью мятежи удавалось сохранить в тайне. Эти мирные дома таили в своих стенах никому не ведомые трагедии. Случалось, что кто-нибудь из их обитателей отправлялся своей степенной походкой, без всяких объяснений, топиться в реку, или же запирался у себя на полгода, или помещал свою жену в больницу, чтобы восстановить свое душевное равновесие. Говорили об этом без стеснения, как о чем-то вполне естественном, с тем невозмутимым спокойствием, которое было одним из прекрасных свойств этого города и которое там умели сохранять даже перед лицом страдания и смерти.

Эта почтенная буржуазия, строгая к самой себе потому, что она знала себе цену, была менее строга к другим потому, что меньше их уважала. По отношению к гостившим в городе иностранцам, вроде Кристофа, немецким профессорам, политическим эмигрантам, она держала себя даже довольно либерально, ибо они были ей безразличны. К тому же она ценила ум. Передовые идеи не тревожили ее: она знала, что на ее сыновей они не будут иметь влияния. Она проявляла к своим гостям какое-то ледяное добродушие, которое всегда удерживало их на известном расстоянии.

Кристоф и не стремился проникнуть в эту среду. Он был болезненно восприимчив, сердце его было обнажено: он и так слишком склонен был видеть всюду эгоизм и безразличие и замыкаться в себе.

К тому же клиентура Брауна и тот весьма тесный круг, к которому принадлежала его жена, представляли собой протестантский, особенно ригористически настроенный мирок.

Здесь Кристоф был вдвойне на дурном счету — как католик по происхождению и как неверующий по существу. Он, в свою очередь, видел в этом кругу много такого, что его возмущало. Хоть Кристоф и перестал верить, он все же был отмечен вековой печатью католицизма, менее рассудочного, более поэтического, снисходительного к человеческой природе и не столько озабоченного толкованием и пониманием, сколько тем — любить или не любить; к тому же в Кристофе сильны были привычки к интеллектуальной и моральной свободе, которые, сам того не зная, он усвоил в Париже. Он роковым образом должен был столкнуться с этим узким ханжеским мирком, где резко обнаруживались недостатки кальвинизма — религиозный рационализм, подрезывающий крылья вере и оставляющий ее беспомощной на самом краю бездны, ибо он исходил из a priori [1], столь же спорного, как и всякий мистицизм: это была уже не поэзия и не проза, это была поэзия, переложенная на прозу. Интеллектуальная гордыня, неограниченная, слепая вера в разум — в *свой* разум. Они могли не верить ни в бога, ни в бессмертие, но они верили в разум, как католик в папу, как идолопоклонник в своего идола. Им даже в голову не приходило сомневаться в своей вере. Если жизнь явно ей противоречила, они готовы были скорее отрицать самую жизнь. Полное незнание психологии, непонимание природы, сокровенных ее сил, основ человеческого существа, «Духа земли». Они создавали мир, наполненный какими-то ребяческими, упрощенными схематическими существами. Были среди них люди образованные и опытные, которые много читали, много видели. Но они не видели ни одной вещи и не прочли ни одной книги по-настоящему; из всего они делали только абстрактные выводы. Им недоставало крови в жилах; при всех их высоких нравственных качествах они были недостаточно человечны, а это величайший грех. Сердечная их чистота, зачастую вполне искренняя, благородная и бесхитростная, порою смешная, в иных случаях, к несчастью, становилась трагичной: она вызывала черствость по отношению к другим людям, спокойную, незлобивую, уверенную в себе и поистине устрашающую бесчеловечность. Как могли бы они сомневаться? Разве не обладали они истиной, правом, добродетелью? Разве не оттуда извлекали они откровение святого разума? Разум — суровое солнце; он освещает, он и ослепляет. В этом резком свете, без облаков и теней, души растут обесцвеченными,— кровь их сердца высосана.

---

[1] Заранее установленного *(лат.)*.

Между тем если что-либо в эту пору и было для Кристофа лишено всякого смысла, так именно разум. Его взору это солнце освещало лишь стены бездны, не указывая средства, как выйти оттуда, и даже не давая возможности измерить ее глубину.

Что же касается артистической среды, то у Кристофа было мало случаев и еще меньше охоты общаться с нею. Музыканты были в большинстве честными консерваторами неошуманской и «браминской» эпохи, против которых Кристоф когда-то ломал копья. Среди них двое составляли исключение: органист Кребс, владелец известной кондитерской, славный малый, хороший музыкант, который был бы еще лучшим музыкантом, если бы, пользуясь выражением одного из своих соотечественников, «не сидел на Пегасе, которому слишком много давал овса», и молодой композитор-еврей, своеобразный талант, исполненный большой и беспокойной силы, который торговал швейцарскими изделиями: деревянной скульптурой, домиками и бернскими медведями. Более независимые, чем все другие, вероятно потому, что они не обращали своего искусства в ремесло, они охотно сблизились бы с Кристофом, и в другое время Кристофу любопытно было бы познакомиться с ними; но в эту пору его жизни всякое любопытство, артистическое и человеческое, притупилось в нем; он острее чувствовал то, что отделяло его от людей, чем то, что соединяло его с ними.

Единственным его другом, поверенной его дум была протекавшая по городу река,— та самая мощная родная река, которая там, на севере, омывала его родной город. У ее берегов Кристофу снова вспоминались его детские грезы... Но в обуревавшей его скорби воспоминания эти, как и сам Рейн, принимали какой-то траурный оттенок. На склоне дня, опершись на перила набережной, он глядел на бурную реку, на эту струящуюся, тяжелую, темную, торопливую, вечно убегающую куда-то громаду, где ничего нельзя было различить, кроме изгибов и стремнин, множества ручьев, течений, то возникающих, то снова исчезающих водоворотов,— подобно хаосу образов в бредовой мысли, которые вечно вспыхивают и вечно тают. В этом сумеречном сне скользили, точно гробы, какие-то призрачные паромы, без единой человеческой фигуры. Мрак сгущался. Река становилась бронзовой. Береговые огни зажигали чернильно-черные отсветы на ее латах, сверкавших темными молниями. Медные отблески газовых рожков, лунные отблески электрических фонарей, кровавые отблески свечей за стеклами домов. Ропот реки наполнял тьму. Вечное журчание, однообразное и еще более печальное, чем шум моря.

Кристоф целыми часами впитывал в себя эту песню смерти и печали. Ему трудно было оторваться от реки; потом он снова подымался к себе домой крутыми улочками с истертыми посредине красными ступенями; разбитый душой и телом, он цеплялся за железные, вделанные в стену перила, которые поблескивали, освещенные сверху фонарями, выстроившимися на пустынной площади перед окутанной мраком церковью...

Он не мог понять, зачем люди живут. Вспоминая битвы, свидетелем которых он был, он горестно дивился этому человечеству с его живучей верой. Одни идеи сменялись другими, противоположными, периоды действия — периодами реакции; на смену демократии приходила аристократия, социализму — индивидуализм, романтизму — классицизм, прогрессу — традиция, и так из века в век. Каждое новое поколение, сгорающее в какие-нибудь десять лет, с тем же пылом верило, что только оно достигло вершины, и градом камней сбрасывало вниз своих предшественников; оно волновалось, кричало, добивалось власти и славы, а потом скатывалось вниз под градом камней новоприбывших и исчезало. За кем теперь черед?

Музыкальное творчество уже не служило утешением Кристофу; оно было каким-то прерывистым, беспорядочным, бесцельным. Писать? Для кого писать? Для людей? Он переживал период жестокой мизантропии. Для себя? Он слишком остро чувствовал тщету искусства, не способного заполнить пустоту смерти. Одна только его слепая сила мгновениями подымала его мощным своим крылом и тут же поникала надломленная. Он был точно грозовая туча, грохочущая во мраке. С исчезновением Оливье ничего не осталось, ровно ничего. Он ожесточенно нападал на все, что прежде заполняло его жизнь,— на чувства, на мысли, которые в то время он, как будто, разделял со всем остальным человечеством. Теперь ему казалось, что он был игрушкой заблуждения: вся общественная жизнь зиждилась на огромном недоразумении, источником которого была человеческая речь... Ты думаешь, что твоя мысль может общаться с другими мыслями? Существует связь только между словами. Ты говоришь и слушаешь слова; ни одно слово не имеет одного и того же смысла у различных людей. И это еще не все: ни одно слово, ни единое, не исчерпывает всего своего смысла в жизни. Слова переплескиваются за пределы прожитой тобой действительности. Ты говоришь: любовь и ненависть... Нет ни любви, ни ненависти, ни друзей, ни врагов, ни веры, ни страсти, ни добра, ни зла. Есть только холодные отсветы лучей, падающие от звезд, угасших уже

много веков назад. Друзья? Нет недостатка в людях, притязающих на это звание. О, пошлая действительность! Что такое их дружба, что такое дружба в общепринятом смысле этого слова? Сколько мгновений своей жизни отдает тот, кто мнит себя другом, бледному воспоминанию о своем друге? Чем пожертвовал бы он ради него — не только из самого необходимого, но даже из того, что у него есть в избытке, в праздности, в скуке своей? Чем я сам пожертвовал ради Оливье? (Ибо Кристоф не делал для себя исключения,— одного только Оливье исключал он из всеобщего ничтожества, в котором сливались для него все человеческие существа.) Искусство не более подлинно, чем любовь. В самом деле, какое место занимает оно в жизни? Какой любовью любят его те, кто мнят себя его поклонниками? Убожество человеческих чувств неописуемо. Вне родового инстинкта, этой космической силы, которая является рычагом мира, не существует ничего, кроме легкого праха волнений. Большинство людей недостаточно богато жизнью, чтобы всецело отдаться какой бы то ни было страсти. Они берегут себя с осмотрительной скаредностью. Они — во всем понемногу и нигде целиком. Тот, кто отдает себя, не рассуждая, всему тому, что он делает, всему, чем он болеет, всему, что он любит, всему, что он ненавидит,— тот поистине чудо, величайшее чудо, которое нам дано встретить на земле. Страсть — точно гений: чудо. Иначе говоря, ее не существует!

Так думал Кристоф, а жизнь тем временем готовила ему грозное опровержение. Чудо таится везде, как огонь в кремне: удар — и он вспыхивает! Мы не подозреваем о том, какие демоны дремлют в нас.

...Pero non mi destar, deh! parla basso.

Однажды вечером, когда Кристоф импровизировал за роялем, Анна встала и вышла, как часто это делала во время игры Кристофа. Музыка, казалось, докучала ей. Кристоф не обращал на это внимания: ему было все равно, что она думает. Он продолжал играть; потом в голову ему пришли мысли, которые ему захотелось записать; он оборвал игру и побежал к себе в комнату за нужными ему листками. Когда он открыл дверь соседней комнаты и с опущенной головой ринулся в темноту, он с размаху натолкнулся на какое-то неподвижно стоявшее на пороге тело. Анна... Неожиданный толчок заставил молодую женщину вскрикнуть от удивления. Кристоф, испугавшись, что сделал ей больно, нежно взял ее за руки... Руки у нее были ледяные. Ее, казалось, знобило,— должно быть, от

внезапного испуга. Она пробормотала какое-то туманное объяснение:

— Я искала в столовой...

Чего она искала, он не расслышал, да, может быть, она этого и не сказала. Ему показалось странным, что она, разыскивая что-то, бродит впотьмах. Но он так привык к странным повадкам Анны, что не обратил на это внимания.

Через час он снова вернулся в маленькую гостиную, где коротал вечера с Анной и Брауном. Он сел за стол, под лампой, и стал писать. Анна, на краю стола, справа, шила, склонившись над работой. За ними, в низком кресле у камина, Браун читал какой-то журнал. Все трое молчали. Время от времени слышно было, как шуршит дождь по песку садовых дорожек. Чтобы сосредоточиться, Кристоф повернулся вполоборота и сел спиною к Анне. На стене напротив него зеркало отражало стол, лампу и два лица, склоненные над работой. Кристофу показалось, что Анна смотрит на него. Вначале это его не беспокоило, но под конец, смущенный назойливой мыслью, он перевел глаза на зеркало и увидел... В самом деле, она смотрела на него. Каким взглядом! Он остолбенел под этим взглядом и, затаив дыхание, стал наблюдать. Она не знала, что он за ней наблюдает. Свет от лампы падал на ее бледное лицо, обычная строгость и замкнутость которого таили в себе сосредоточенную неистовую силу. Глаза ее — эти неведомые ему глаза, которые никогда не удавалось разглядеть,— были устремлены на него: темно-синие, с расширенными зрачками, со жгучим и суровым взглядом, они были прикованы к нему, они впивались в него с какой-то молчаливой и упорной страстью. Ее глаза? Неужели это были ее глаза? Он видел их, и ему не верилось. Да точно ли он их видел? Он резко обернулся. Глаза были опущены. Он попробовал заговорить с нею, заставить ее взглянуть ему в лицо. Она ответила ему с бесстрастным видом, не поднимая от работы взгляда, укрывшегося под непроницаемой сенью голубоватых век с короткими и густыми ресницами. Если бы Кристоф не был уверен в себе, он подумал бы, что это была игра воображения. Но он знал, что он видел.

Однако, так как мысли его были заняты работой и Анна мало его интересовала, это странное впечатление быстро рассеялось.

Неделю спустя Кристоф наигрывал на рояле только что сочиненную им песню. Браун, который из супружеского самолюбия, а также из желания поддразнить жену, любил изво-

дить ее просьбами что-нибудь спеть или сыграть, был в этот вечер особенно настойчив. Обычно Анна ограничивалась весьма сухим «нет», после чего уже не давала себе труда отвечать на его просьбы, уговоры и шутки; она крепко сжимала губы и как будто ничего не слышала. На этот раз, к великому удивлению Брауна и Кристофа, она сложила работу, встала и подошла к роялю. Она спела с листа песню, которую никогда до тех пор не разбирала. Это было похоже на чудо — это и было настоящее чудо. Голос ее, глубокого тембра, ничем не напоминал тот хрипловатый и тусклый голос, каким она обычно говорила. Твердо поставленный с первой же ноты, без малейшей тени неуверенности, без всякого напряжения, он придавал музыкальной фразе какое-то волнующее и ясное величие; и он достиг такой силы страсти, что Кристоф затрепетал, ибо он показался ему голосом собственного сердца. Ошеломленный, Кристоф взглянул на Анну, когда она пела, и впервые увидел ее. Он увидел ее темные глаза, в которых загорался дикий огонь, ее большой страстный рот с хорошо очерченными губами, чувственную улыбку, мрачную и жестокую, ее здоровые, белые зубы, красивую и сильную руку, опирающуюся на пюпитр рояля, увидел крепко сложенное, стянутое тесной одеждой тело, хоть и отощавшее от строгой жизни, но молодое, сильное и гармоничное.

Она перестала петь и снова села, опустив руки на колени. Браун рассыпался в похвалах, но он находил, что она пела без достаточной нежности. Кристоф ничего ей не сказал. Он удивленно разглядывал ее. Она как-то смутно улыбалась, зная, что он на нее смотрит. В этот вечер между ними было великое молчание. Она сознавала, что на этот раз вознеслась над самой собой или, быть может, впервые стала самой собою. Она не знала почему.

С этого дня Кристоф начал внимательно приглядываться к Анне. Она снова стала молчаливой, холодно-равнодушной, и снова ее обуяла страсть к работе, которая раздражала даже ее мужа и которой она старалась усыпить темные порывы своего смятенного духа. Напрасно выслеживал ее Кристоф, он не находил в ней ничего, кроме чопорной мещанки первых дней их знакомства. Минутами она погружалась в задумчивость, ничего не делая, неподвижно устремив взгляд в одну точку. В каком положении ее оставляли, в таком же положении и находили четверть часа спустя: она не пошевельнулась.

Когда муж спрашивал, о чем она думает, она пробуждалась из своего оцепенения и, улыбаясь, отвечала, что ни о чем. И она говорила правду.

Ничто не могло вывести ее из равнодушия. Однажды, когда она одевалась, вспыхнула ее спиртовая лампа. В одно мгновение Анна была охвачена пламенем. Служанка убежала, призывая на помощь, Браун потерял голову, стал метаться, кричать и едва не лишился чувств. Анна сорвала застежки со своего пеньюара, спустила с бедер начинавшую уже гореть юбку и затоптала ее ногами. Когда растерянный Кристоф прибежал с графином воды, который он бессмысленно притащил с собою, он увидел Анну, стоявшую на стуле в нижней юбке, с обнаженными плечами; она спокойно тушила руками пылавшие занавески. Она обожглась, ничего не сказала и, казалось, была раздосадована только тем, что ее застали в таком виде. Она покраснела, неловко прикрыла плечи руками и ушла в соседнюю комнату с видом оскорбленного достоинства. Кристоф был восхищен ее спокойствием, но не мог бы сказать, о чем оно больше свидетельствовало — об ее мужестве или об ее бесчувственности. Он скорее склонен был остановиться на втором объяснении. В самом деле, эта женщина, видимо, ничем не интересовалась: ни другими, ни собой. Кристоф сомневался, есть ли у нее сердце.

У него не осталось на этот счет никакого сомнения после одного происшествия, которому он был свидетелем. У Анны была маленькая черная собачка с умными и ласковыми глазами, любимица всего дома. Браун ее обожал. Кристоф брал ее к себе в комнату, когда запирался у себя для работы, и, закрыв дверь, часто, вместо того чтобы работать, играл с нею. Когда он выходил из дому, она уже подстерегала его на пороге и увязывалась за ним, так как для прогулки ей нужен был спутник. Она бежала впереди, перебирая лапками, которые царапали землю с такой быстротой, что, казалось, порхали в воздухе. Время от времени она останавливалась, гордясь своим проворством, и смотрела на Кристофа, выпятив грудь и выгнув спину. Она храбрилась, бешено лаяла на какой-нибудь пень, но, завидев издали собаку, удирала и, вся дрожа, жалась к ногам Кристофа. Кристоф подтрунивал над нею и любил ее. С тех пор как он начал чуждаться людей, его стало тянуть к животным; он находил их жалкими и трогательными. Эти бедные зверьки так доверчиво покоряются вам, когда вы с ними добры! Если человек, обладая неограниченной властью над их

жизнью и смертью, дурно обращается с этими слабыми преданными существами, он поступает гнусно и бессовестно.

Как ни ласково было это милое животное ко всем, оно оказывало явное предпочтение Анне. Она ничем не старалась привлечь собачку, но охотно ласкала ее, позволяла лежать у себя на коленях, заботливо кормила и, казалось, любила, насколько она вообще способна была любить. И вот эта собачонка нечаянно попала под колеса автомобиля. Ее раздавили почти на глазах у хозяев. Она была еще жива и жалобно выла. Браун выскочил из дому без шляпы; он подобрал окровавленное тело и старался, насколько мог, облегчить страдания животного. Подошла Анна, поглядела, не наклоняясь, и с гримасой отвращения ушла. Браун, со слезами на глазах, присутствовал при агонии маленького создания. Кристоф большими шагами расхаживал по саду, сжимая кулаки. Услышав, как Анна спокойно отдает распоряжения прислуге, он спросил:

— Что же, вас это нисколько не огорчает?

Она ответила:

— Ведь помочь ей нельзя, не правда ли? Так лучше не думать об этом.

Он почувствовал к ней ненависть; потом его поразила грубая забавность ее ответа, и он усмехнулся. Ему пришло в голову, что Анне следовало бы дать ему рецепт, как избегать грустных мыслей, и что жизнь легка для тех, кому посчастливилось не иметь сердца. Он подумал, что, если бы умер Браун, Анна едва ли была бы этим взволнована, и поздравил себя с тем, что не женат. Его одиночество показалось ему менее печальным, чем эта цепь привычек, привязывающая нас на всю жизнь к существу, для которого ты ненавистен или (что гораздо хуже) ничего не значишь. Положительно, эта женщина никого не любила. Ханжество иссушило ее.

Однажды — это было в конце октября — она удивила Кристофа. Они сидели за столом. Он беседовал с Брауном об одном преступлении, совершенном из ревности, которое занимало тогда весь город. Где-то в деревне две итальянские девушки, две сестры, влюбились в одного и того же человека. Не будучи в силах ни та, ни другая добровольно принести себя в жертву, они бросили жребий, которой из двух уступить место. Побежденная должна была броситься в Рейн. Но когда судьба произнесла свой приговор, та, которая проиграла, проявила недостаточную готовность выполнить решение. Другая возмутилась таким вероломством. От ругани перешли к драке; пущены были в ход даже ножи; потом внезапно ветер пере-

«Жан-Кристоф». Книга девятая.

менился: они, плача, обнялись, поклялись, что не могут жить друг без друга, но так как все-таки не могли поделить любезника, то порешили его убить. Это и было сделано. Однажды ночью девушки зазвали к себе в комнату возлюбленного, возгордившегося своей двойной победой, и в то время как одна страстно сжимала его в объятиях, другая страстно вонзила ему нож в спину. Крики его услышали. Прибежали люди и вырвали его в довольно плачевном состоянии из объятий сестер, а их арестовали. Они заявили, что это никого не касается, что это — только их личное дело и что, раз они сговорились между собою избавиться от того, кто им принадлежит, никто не имеет права вмешиваться. Жертва не прочь была согласиться с этим рассуждением, но правосудие его не поняло. Да и Браун не мог понять.

— Это сумасшедшие,— говорил он,— буйно помешанные! Их надо засадить в дом умалишенных. Я понимаю, что из-за любви кончают с собой. Я понимаю даже, что убивают того, кого любят, если он изменяет. То есть я не оправдываю этого, но допускаю как пережиток дикого атавизма; это — варварство, но это логично: убиваешь того, кто заставляет тебя страдать. Но убить того, кого любишь, без гнева, без ненависти, просто потому, что его любит другая, это — безумие. Ты это понимаешь, Кристоф?

— Хм,— сказал Кристоф,— я никогда этого не понимал! Где любовь — там и безрассудство.

Анна, молчавшая до сих пор и как будто не слушавшая их, подняла голову и промолвила своим спокойным голосом:

— Ничего тут безрассудного нет, это вполне естественно. Когда любишь, хочется уничтожить то, что любишь, чтобы оно никому другому не досталось.

Браун, ошеломленный, взглянул на жену; он стукнул кулаком по столу, скрестил руки и воскликнул:

— Откуда она набралась этих мыслей? Как! И тебе тоже понадобилось вставить словечко? Что ты в этом понимаешь, черт возьми!

Анна замолчала, слегка покраснев. Браун продолжал:

— Когда любишь, хочется уничтожить? Что за чудовищная глупость! Уничтожить то, что тебе дорого, значит уничтожить самого себя. Да как раз наоборот: когда любишь, самое естественное — делать добро тому, кто делает тебе добро, лелеять его, защищать, быть добрым к нему, быть добрым ко всему на свете! Любовь — это рай на земле.

Анна, устремив взгляд в темноту, дала ему договорить, затем, покачав головой, холодно сказала:

— Человек становится недобрым, когда он любит.

Кристоф не возобновлял попыток снова послушать пение Анны. Он боялся... разочарования или чего-нибудь другого? Он не мог бы ответить на это. Анна испытывала тот же страх. Она избегала оставаться в гостиной, когда он начинал играть.

Но однажды в ноябрьский вечер, когда он читал у камина, он увидел Анну, которая сидела, уронив работу на колени, погруженная в задумчивость. Она смотрела в пустоту, и Кристофу почудилось, что в ее взгляде мелькают отсветы странного огня того достопамятного вечера. Он закрыл книгу. Она почувствовала, что за нею наблюдают, и снова принялась за шитье. Из-под опущенных век она всегда видела все. Он встал и сказал:

— Идемте.

Она устремила на него взгляд, в котором еще трепетало волнение, поняла и последовала за ним.

— Куда вы? — спросил Браун.

— К роялю,— ответил Кристоф.

Он начал играть. Она запела. И тотчас же он снова увидел ее такой, какой она предстала ему тогда, в первый раз. Она смело вступала в этот героический мир, как будто он был ее миром. Кристоф продолжил опыт, перейдя на вторую песню, потом на третью, более пылкую, будя в Анне бурю страстей, воспламеняя ее и воспламеняясь сам; потом, когда они дошли до высшей точки напряжения, он резко оборвал игру и спросил, глядя ей прямо в глаза:

— Да кто же вы, наконец?

Анна ответила:

— Не знаю.

Он грубо сказал:

— Что у вас в крови, почему вы так поете?

Она ответила:

— Это вы заставляете меня петь.

— Да? В таком случае я сделал правильный выбор. Я спрашиваю себя: я ли это создал или вы? Так, значит, вот о чем вы думаете!

— Не знаю. Мне кажется, когда поешь, перестаешь быть собой.

— А мне кажется, что только тогда вы становитесь собой!

Они замолчали. Щеки ее были влажны от испарины. Грудь безмолвно вздымалась. Она пристально смотрела на пламя свечей и машинально соскребывала стеарин, накапавший на край подсвечника. Он перебирал клавиши, глядя на нее. Они сказали друг другу еще несколько слов, смущенно, суровым тоном, затем попытались завести банальный разговор и совсем замолчали, боясь заглянуть слишком глубоко.

На следующий день они почти не разговаривали — лишь украдкой, с какой-то опаской, поглядывали друг на друга. Но у них вошло в привычку по вечерам музицировать. Вскоре они стали заниматься музыкой и в послеобеденные часы, и с каждым днем все больше и больше. С первых же аккордов Анну захватывала все та же непонятная страсть, зажигавшая ее с головы до ног, и эта благочестивая мещанка на то время, пока длилась музыка, обращалась в какую-то властную Венеру, воплощение всех неистовств души.

Браун, удивленный внезапным влечением Анны к пению, не дал себе труда доискаться причины этой женской прихоти; он присутствовал на концертах, покачивал в такт головою, высказывал свое мнение и был совершенно счастлив, хотя и предпочел бы музыку более нежную: такая затрата сил казалась ему чрезмерной. Кристоф чуял в воздухе опасность, но голова у него кружилась: ослабев после только что пережитого душевного перелома, он не мог сопротивляться; он перестал сознавать, что в нем происходит, и не желал знать, что происходит в Анне. Однажды после обеда, посреди песни, в самом разгаре бешеных страстей, она вдруг оборвала фразу и без всяких объяснений вышла из комнаты. Кристоф ждал ее — она так и не вернулась. Полчаса спустя, проходя по коридору мимо комнаты Анны, он в полуоткрытую дверь увидел ее с застывшим лицом, погруженную в суровую молитву.

Между тем в их отношения мало-помалу стало вкрадываться доверие. Он старался заставить ее разговориться об ее прошлом, она рассказывала только банальные вещи; с большим трудом, понемногу вытянул он из нее несколько подробностей. Благодаря болтливому добродушию Брауна ему удалось заглянуть в тайну ее жизни.

Она родилась в этом городе. Ее девичье имя было Анна Мария Зенфль. Отец ее, Мартин Зенфль, принадлежал к ста-

рому, вековому роду купцов-миллионеров, кастовая гордость и религиозный ригоризм которого доведены были до крайности. Будучи человеком предприимчивым, он, как многие его соотечественники, провел несколько лет вдали от родины, в Южной Америке, на Востоке; он даже делал смелые изыскания в центре Азии, куда его влекли одновременно и торговые интересы семьи, и любовь к науке, и собственное удовольствие. Блуждая по белому свету, он не только не остепенился, но освободился от тех правил, которым покорялся раньше,— от всех своих старых предрассудков. Отличаясь горячим темпераментом и упрямством, он, вернувшись домой, женился, несмотря на негодующие протесты родных, на дочери какого-то окрестного фермера, девушке сомнительной репутации, которую он вначале взял себе в любовницы. Брак явился единственным способом удержать эту красотку, без которой он жить не мог. Семья, тщетно пытавшаяся наложить свое veto, наглухо заперла двери перед тем, кто не признавал ее священного авторитета. Жители города, то есть те, которые шли в расчет, по обыкновению действуя заодно во всем, что касалось нравственного достоинства общины, дружно сплотились против непокорной парочки. Путешественник изведал на собственной шкуре, что в стране приверженцев Христа идти против старых предрассудков не менее опасно, чем в стране почитателей Далай-Ламы. Он был не настолько силен, чтобы пренебречь общественным мнением. Он уже растратил довольно значительную долю своего капитала; ему нигде не удавалось найти службу, все было перед ним закрыто. Он изводил себя, напрасно негодуя против оскорблений этого неумолимого города. Здоровье его, надорванное излишествами и лихорадками, не выдержало. Он умер от удара через пять месяцев после свадьбы. Четыре месяца спустя жена его, добрая, но слабая и глуповатая женщина, которая с самого дня свадьбы не переставала проливать слезы, умерла от родов, оставив маленькую Анну одну на свете.

Мать Мартина была еще жива. Она ничего не простила, даже на смертном одре, ни сыну своему, ни той, которую так и не пожелала признать своей невесткой. Но когда невестка умерла и святое возмездие свершилось, она взяла ребенка и оставила его у себя. Это была тупо набожная женщина, богатая и скупая, владелица магазина шелковых тканей на одной из темных улиц старого города. Она обращалась с дочерью своего сына не как с внучкой, а скорее как с сироткой, кото-

рую берут из милости и которая в благодарность обязана быть чуть ли не прислугой. Правда, она дала ей хорошее образование, но относилась к ней всегда с каким-то суровым недоверием: казалось, она считала ребенка виновным в грехе родителей и ожесточенно преследовала этот грех в нем. Она не разрешала девочке никаких развлечений; точно преступление, она вытравляла все живое и естественное в ее движениях, словах и даже мыслях. Она убила радость жизни в этом юном существе. Анна рано привыкла скучать в церкви и не показывать этого; ее окружали ужасы ада; детские глаза ее из-под полуопущенных век каждое воскресенье с испугом разглядывали на дверях старого собора грешников в образе нескромных и судорожно скрюченных фигур, объятых между ног пламенем и покрытых ползущими вдоль бедер жабами и змеями. Она привыкла подавлять свои инстинкты, лгать самой себе. Как только она достигла того возраста, когда могла помогать бабушке, ее с утра до вечера заставляли работать в темном магазине. Она переняла царившие вокруг нее привычки, дух порядка, угрюмой бережливости, ненужных лишений, скучающее равнодушие, презрительный и мрачный взгляд на жизнь — естественные следствия религиозной набожности у людей, не религиозных по натуре. Она предалась такому благочестию, которое даже старухе казалось преувеличенным; она злоупотребляла постами и умерщвлением плоти; одно время она вздумала было носить корсет, утыканный булавками, которые впивались ей в тело при каждом движении. Видели, как она бледнела, но не знали, что с ней. Наконец, заметив, что она чахнет, позвали к ней доктора. Анна не согласилась на осмотр (она скорее умерла бы, чем разделась перед мужчиной), но призналась, и доктор устроил ей такую бурную сцену, что она обещала больше не делать этого. Бабушка для пущей верности стала с тех пор осматривать ее одежду. Анна не находила в этих пытках, как могло бы казаться, мистического наслаждения; у нее было слабое воображение, она бы не поняла поэзии Франциска Ассизского или святой Терезы. Благочестие ее было безрадостным и чисто внешним. Терзала она себя не ради благ, ожидаемых в будущей жизни, а от какой-то жестокой, гнетущей тоски, находя почти злобное удовольствие в той боли, которую она себе причиняла. По некоему странному исключению, эта душа — жесткая и холодная, как у бабки, — была восприимчива к музыке, сама не ведая, до какой глубины. Ко всем другим искусствам Анна была равнодушна; она, быть может, ни разу в жизни не взглянула на картину; казалось, ей совершенно чуждо чувство пластической

красоты,— настолько в гордом своем безразличии она была лишена вкуса; представление о прекрасном теле вызывало в ней лишь представление о наготе, иными словами, как у мужика, о котором говорит Толстой,— чувство отвращения; это отвращение было тем сильнее, что, когда кто-нибудь ей нравился, она смутно ощущала, до какой степени глухое жало желания сильнее в ней спокойных эстетических впечатлений. Она так же мало подозревала о своей красоте, как и о силе своих подавленных инстинктов; или, вернее, не желала об этом знать и, привыкнув лицемерить, успешно продолжала обманывать себя.

Браун встретил ее на одном свадебном обеде, куда ее пригласили в виде исключения, так как вообще ее никуда не приглашали из-за дурной репутации, тяготевшей над нею по причине ее предосудительного происхождения. Ей было двадцать два года. Браун заметил ее. Нельзя сказать, чтобы она старалась обратить на себя внимание. Сидя за столом рядом с ним навытяжку, безвкусно одетая, она почти не раскрывала рта. Но Браун, в течение всего обеда не переставший говорить с ней, то есть говорить один, вернулся домой в восхищении. Несмотря на свой заурядный вкус, он поражен был девственной чистотой своей соседки; он восторгался ее здравым смыслом и спокойствием; он оценил также ее цветущее здоровье и основательные хозяйственные таланты, которыми она, по-видимому, обладала. Он сделал визит бабушке, пришел вторично, сделал предложение и получил согласие. Приданого — никакого; г-жа Зенфль завещала городу, для торговых экспедиций, все свое состояние.

Ни одной минуты молодая женщина не испытывала любви к своему мужу; это было чувство, о котором, казалось ей, и речи не может быть в жизни порядочных людей и которое надо гнать от себя, как греховное. Но она ценила доброту Брауна и была благодарна ему, хотя и не показывала этого, за то, что он женился на ней, несмотря на ее сомнительное происхождение. К тому же у нее сильно было развито чувство супружеской чести. За семь лет их брака ничто не омрачило их союза. Они жили бок о бок, не понимая друг друга и нисколько об этом не беспокоясь; в глазах общества они представляли собой образец примерной четы. Они мало где бывали. У Брауна было довольно многочисленное знакомство среди клиентов, но ему не удалось ввести туда жену. Она никому не нравилась, да и темное пятно ее рождения еще не вполне стерлось. Анна, со своей стороны, ничего не предпринимала,

чтобы быть принятой в обществе. Она помнила обиды, омрачавшие ее детство. Кроме того, она стеснялась на людях и не жалела, что ее забывают. Она делала и принимала лишь неизбежные визиты, когда этого требовали интересы мужа. Гостьями ее были мелкие мещаночки, любопытные и любящие позлословить. Их сплетни совершенно не занимали Анну, и она даже не старалась скрывать своего равнодушия. А этого не прощают. Посещения становились все реже и реже, и Анна оставалась в одиночестве. Этого только она и желала: ничто больше не нарушало обычной ее мечтательности и смутного томления ее плоти.

Уже несколько недель Анна казалась совсем больной. Лицо ее осунулось. Она избегала общества Кристофа и Брауна. Проводила дни у себя в комнате, погруженная в свои мысли; не отвечала, когда с ней заговаривали. Браун, по обыкновению, не слишком тревожился этими женскими причудами. Он растолковывал их Кристофу. Как почти все мужчины, которым суждено быть обманутым женщинами, он кичился тем, что отлично их знает. И действительно, он изучил их довольно хорошо, что, однако, ничего не меняет. Он знал, что у них часто бывают приступы какой-то упрямой мечтательности, упорной и враждебной молчаливости, и считал, что их следует оставлять в покое, не пытаться ничего выяснять и особенно не допускать, чтобы они сами пытались понять опасный подсознательный мир, в который погружен их дух. Тем не менее здоровье Анны начинало его тревожить. Он решил, что она чахнет от своего образа жизни, что вредно оставаться вечно взаперти, никогда не выезжать за город, почти не выходить из дому. Он хотел, чтобы она делала прогулки. Сам он не мог сопровождать ее: по воскресеньям она была занята своими благочестивыми делами, а в остальные дни у него был прием больных. Что же касается Кристофа, то он избегал выходить с нею. Раза два они сделали вместе небольшую прогулку до городской заставы,— скука была смертельная. Разговор не клеился. Природа, казалось, не существовала для Анны; она ничего не замечала и в любом красивом пейзаже видела лишь траву да камни; ее бесчувственность замораживала. Кристоф попытался было заставить ее полюбоваться красивым видом. Она поглядела, холодно улыбнулась и, сделав над собой усилие, чтобы быть ему приятной, сказала:

— О да, это таинственно...

Точно таким же тоном она сказала бы: «Здесь много солнца».

Кристоф от раздражения вонзил ногти в ладонь и с тех пор больше к ней не обращался; а когда она выходила, он выискивал предлог, чтобы остаться дома. На самом деле Анна вовсе не была равнодушна к природе. Она не любила того, что принято называть красивым пейзажем,— она не отличала его от других. Но она любила сельскую природу, любую природу — землю и воздух. Только она не подозревала об этом, так же как и о других своих сильных чувствах; и тот, кто жил с нею, еще меньше об этом подозревал.

После долгих настояний Брауну удалось уговорить жену провести день за городом. Она уступила ему от скуки, лишь бы ее оставили в покое. Прогулка назначена была на одно из воскресений. В последнюю минуту доктора, который по-детски радовался этой прогулке, спешно вызвали к больному. Кристоф отправился с Анной вдвоем.

Прекрасный зимний бесснежный день; воздух чист и морозен, небо ясно, яркое солнце и леденящий ветер. Они сели в поезд местной железнодорожной ветки, который помчал их к одной из цепей голубеющих холмов, далеким ореолом окружавших город. Вагон был переполнен; они сидели далеко друг от друга. Они не разговаривали. Анна была мрачна; накануне она, к удивлению Брауна, заявила, что не пойдет завтра к обедне. Первый раз в своей жизни она пропускала службу. Был ли это бунт? Кто мог бы сказать, какая борьба в ней происходила? Она пристально глядела на противоположную скамейку; она была бледна.

Они сошли с поезда. В начале прогулки неприязненная холодность все еще сковывала их. Они шли бок о бок; она шагала решительно, не глядя по сторонам, непринужденно размахивая руками; ее каблуки звонко постукивали по мерзлой земле. Мало-помалу лицо ее оживилось. От быстрой ходьбы бледные щеки зарумянились. Рот полуоткрылся, вдыхая свежесть воздуха. За поворотом извилистой дороги она вдруг стала карабкаться на холм — прямо вверх, как козочка; она пробиралась по краю каменистого откоса, цепляясь за кусты, чтобы не упасть. Кристоф следовал за нею. Она взбиралась все быстрее, скользя и хватаясь за траву. Кристоф крикнул ей, прося остановиться. Она не отвечала и продолжала карабкаться на четвереньках. Пройдя сквозь туман, тянувшийся над долиной, как серебряная, раздиравшаяся о кусты вуаль, они очутились наверху под горячим солнцем. Взойдя на вершину, она

обернулась; лицо ее было освещено, открытый рот жадно дышал. Она насмешливо поглядела на Кристофа, который все еще взбирался по склону, сняла с себя плащ, кинула его Кристофу в лицо и, не дожидаясь, пока он передохнет, продолжала свой бег. Кристоф погнался за нею. Они входили во вкус игры — воздух опьянял их. Она ринулась вниз по крутому склону; камни катились у нее из-под ног; она не спотыкалась — она скользила, прыгала, летела как стрела. Время от времени она оборачивалась, чтобы измерить, насколько она опередила Кристофа. Он настигал ее. Она кинулась в лес. Сухие листья хрустели у них под ногами; ветви, которые она раздвигала, хлестали его по лицу. Она споткнулась о корни дерева. Кристоф схватил ее. Она отбивалась руками и ногами, награждая его тумаками, стараясь повалить на землю; она кричала и смеялась. Прижимаясь грудью к его груди, она тяжело дышала; на мгновение щеки их соприкоснулись; он втягивал в себя испарину, покрывшую виски Анны; он вдохнул запах влажных ее волос. Сильным толчком она высвободилась и посмотрела на него без всякого смущения, вызывающим взглядом. Он был ошеломлен силой, которая таилась в ней и которую она никак не проявляла в повседневной жизни.

Они направились в ближайшую деревню, весело топча сухое жнивье, которое топорщилось у них под ногами. Перед ними разлетались рыскавшие по полю вороны. Солнце палило, а холодный ветер резал лицо. Кристоф держал Анну под руку. На ней было легкое платье; он чувствовал сквозь ткань ее влажное и разгоряченное тело. Он предложил ей накинуть плащ; она отказалась и из озорства расстегнула ворот. Они сели за стол в маленьком трактире, с вывеской, изображавшей «дикаря» (Zum wilden Mann). У дверей росла елочка. Зал был украшен немецкими четверостишиями, двумя литографиями — одной сентиментальной: «Весною» («Im Frühling»), другой библейской: «Битва святого Иакова», распятием и черепом у подножия креста. Анна ела с каким-то зверским аппетитом, которого Кристоф раньше за нею не знал. Они весело попивали легкое белое вино. После обеда они пустились в путь по полям, как добрые товарищи. Ни одной утаенной мысли. Они просто радовались быстрой ходьбе, крови, которая пела в их телах, хлеставшему их ветру. У Анны развязался язык. Она перестала дичиться: она говорила наобум все, что приходило ей в голову.

Она заговорила о своем детстве. Бабушка брала ее с собой к старой приятельнице, которая жила около собора; пока ста-

рухи беседовали, ее отправляли в большой сад, над которым нависала тень собора. Она садилась в уголку и не двигалась. Прислушивалась к шелесту листвы; следила, как копошились вокруг насекомые, и ей было радостно и жутко. Она умолчала о том, что боялась чертей: ее воображение было одержимо ими; ей наговорили, будто они бродят вокруг церквей, не смея туда войти; и они мерещились ей в образе животных: пауков, ящериц, муравьев — маленьких уродливых существ, кишевших под листвою, на земле или в трещинах стен. Затем она рассказала о доме, в котором она жила, о своей комнате, куда не проникало солнце; она вспоминала о ней с удовольствием; там она проводила бессонные ночи, сочиняя разные истории.

— Какие истории?

— Глупые истории.

— Расскажите.

Она отрицательно покачала головой.

— Почему?

Она покраснела, потом засмеялась и прибавила:

— И днем тоже, во время работы.

На мгновенье она задумалась, снова засмеялась и повторила:

— Это были глупые истории, скверные истории.

Он сказал шутя:

— Значит, вы не боялись?

— Чего?

— Быть осужденной на вечные муки?

Лицо ее сразу оледенело.

— Не надо говорить об этом,— сказала она.

Он переменил разговор. Он подивился той силе, которую она проявила в борьбе с ним. Лицо ее снова приняло доверчивое выражение, и она рассказала о своих детских подвигах. (Она называла их «мальчишескими», потому что, когда она была маленькой, ее всегда тянуло участвовать в играх и драках мальчишек.) Однажды, играя с маленьким товарищем, который на целую голову был выше ее, она вдруг ударила его кулаком, ожидая, что он даст сдачи. Но он удрал, крича, что она избила его. В другой раз, в деревне, она взобралась на спину мирно пасущейся черной коровы; испуганное животное сбросило ее, и Анна так ударилась о дерево, что чуть не расшиблась насмерть. Она вздумала также выпрыгнуть из окна второго этажа — только чтобы узнать, сможет ли она на это решиться; по счастью, она отделалась только вывихом ноги. Когда ее оставляли дома одну, она придумывала странные и

опасные упражнения, подвергая свое тело необыкновенным и разнообразным испытаниям.

— Кто поверил бы этому,— сказал он,— видя вас такой степенной и холодной?

— О! — возразила она.— Если бы вы меня видели иногда, когда я одна у себя в комнате!

— Как! И теперь еще?

Она засмеялась. Перескакивая с одной темы на другую, она спросила его, охотится ли он. Он с горячностью запротестовал. Она объявила, что однажды выстрелила в дрозда и попала. Кристоф возмутился.

— Вот еще! — сказала она.— Что ж тут такого?

— Стало быть, вы бессердечны?

— Право, не знаю.

— Разве вы не думаете, что животные такие же существа, как и мы?

— Думаю,— отвечала она.— Я как раз хотела вас спросить, верите ли вы, что у животных есть душа?

— Да, верю.

— Пастор говорит, что нет. А я думаю, что у них есть душа. К тому же,— добавила она очень серьезно,— я думаю, что в предшествующей жизни я была животным.

Он рассмеялся.

— Нечего смеяться,— сказала она. (Она тоже смеялась.) — Это одна из тех историй, которые я рассказывала себе в детстве. Я воображала себя кошкой, собакой, птицей, жеребенком, телкой. Я ощущала их желания. Мне хотелось побыть, хотя бы часок, в их шкуре или оперении; мне чудилось, что это так и было. Вам это непонятно?

— Вы — странный зверь. Но если вы чувствуете в себе родство с животными, так как же вы можете делать им больно?

— Всегда кому-нибудь делаешь больно. Одни заставляют страдать меня, а я мучаю других. Это в порядке вещей. Я не жалуюсь. В жизни нельзя быть такой неженкой! Я и сама себе часто делаю больно ради удовольствия!

— Сама себе?

— Ну, да. Поглядите. Однажды молотком я вбила себе гвоздь вот в эту руку.

— Зачем?

— Да просто так.— (Она не сказала о том, что хотела распять себя.) — Дайте мне руку,— сказала она.

— Для чего она вам?

— Дайте.

Он протянул руку. Она схватила ее и стиснула так, что он чуть не вскрикнул. Они боролись и дурили, как крестьянская парочка, стараясь сделать больно друг другу. Они были счастливы без всякой задней мысли. Весь остальной мир, их житейские оковы, печали прошлого, опасения будущего, назревавшая в них гроза — все это куда-то исчезло.

Они уже прошли несколько миль, но совсем не чувствовали усталости. Внезапно Анна остановилась, бросилась наземь, растянулась на жнивье и замолчала. Лежа на спине, закинув руки за голову, она смотрела на небо. Какой покой! Какая ясность! В нескольких шагах от них прерывистой струйкой, как артерия, бьющаяся то сильнее, то слабее, пробивался скрытый родник. Горизонт был перламутровый. Над лиловатой землей, на которой торчали голые черные деревья, поднимался туман. Солнце поздней зимы, юное, бледно-золотистое, лениво дремлющее солнце. Птицы, точно сверкающие стрелы, пронизывали воздух. Ласковые голоса деревенских колоколов перекликались друг с другом, от села к селу. Сидя рядом с Анной, Кристоф разглядывал ее. Она как будто забыла о нем. Ее прекрасный рот безмолвно улыбался. Кристоф думал:

«— Вы ли это? Я вас не узнаю.

— Я тоже, я тоже. Мне кажется, будто я — другая. Я уже не боюсь; я уже не боюсь Его... Ах! Как Он душил меня, как Он заставлял меня страдать! Мне кажется, будто я лежала в заколоченном гробу... Теперь я дышу; это тело, это сердце — мои. Мое тело. Мое свободное тело, мое свободное сердце, моя сила, моя красота, моя радость! Я не знала их, я сама себя не знала! Что сделали вы со мною?..»

Ему чудилось, будто он слышит эти слова, когда она тихо вздыхала. Но она ни о чем не думала — разве о том, что она счастлива и что все хорошо.

Уже спускался вечер. Начиная с четырех часов, под завесами серо-лиловых туманов, устав жить, угасало солнце. Кристоф встал и подошел к Анне. Он склонился над нею. Она обратила к нему взгляд, еще опьяненный бесконечной глубиной неба. Прошло несколько мгновений, прежде чем она узнала Кристофа. Тогда глаза ее посмотрели на него в упор, с какой-то загадочной улыбкой, заразившей его тревогой. Чтобы

избежать ее власти, он на мгновенье закрыл глаза. Когда он снова открыл их, она все еще смотрела на него; и ему почудилось, что уже много дней они смотрят вот так друг на друга. Они читали друг у друга в душе. Но им не хотелось знать того, что они прочли.

Он протянул ей руку. Она молча взяла ее. Они вернулись в деревню, башни которой, похожие на пиковые тузы, возвышались вдали, в глубине долины. На верхушке одной из башен, крытой черепицей и поросшей мхом, точно шапка на голове, торчало пустое гнездо аиста. У самой деревни, на перекрестке двух дорог, они прошли мимо фонтана, на котором с протянутыми руками стояла деревянная фигура — католическая святая, Магдалина, грациозная и несколько жеманная. В ответ на ее жест Анна невольно протянула к ней руки и, поднявшись на край водоема, наполнила ладони красивой богини ветками дикого терновника и красными гроздьями рябины, уцелевшими от мороза и птиц.

По дороге им встречались группы по-праздничному одетых крестьян и крестьянок. Смуглолицые женщины с очень румяными щеками, с густыми, заложенными за уши косами, в светлых платьях, в шляпах, украшенных цветами. У них были белые перчатки и красные руки. Они благодушно распевали чинные песни пронзительно и довольно фальшиво. Где-то в хлеву мычала корова. В одном из домов кашлял больной коклюшем ребенок. Издали доносились звуки гнусавого кларнета и корнет-а-пистона. На деревенской площади, между трактиром и кладбищем, плясали. Четверо музыкантов играли, примостившись на столе. Анна и Кристоф уселись перед трактиром и принялись смотреть на танцующих. Пары сталкивались и звонко перебранивались. Девушки взвизгивали просто ради удовольствия покричать. Трактирные посетители отбивали такт, стуча кулаками по столу. В другое время это грубое веселье было бы противно Анне, но в этот вечер она наслаждалась им; она сняла шляпу и наблюдала за танцами с оживленным лицом. Кристоф умирал со смеху от чопорной серьезности музыки и музыкантов. Он порылся в карманах, разыскал карандаш и на оборотной стороне трактирного счета стал набрасывать полоски и точки: он писал музыку для танцев. Листок скоро был заполнен; он попросил еще несколько листов, которые исписал, так же как и первый, крупным, нетерпеливым и неуклюжим почерком. Анна, прильнув щекой к его щеке, читала через его плечо, напевая вполголоса; она старалась угадать конец фразы и хлопала в ладоши, если угадывала

или если ее догадки опровергались каким-нибудь неожиданным вывертом. Кончив, Кристоф отнес музыкантам то, что написал. Это были славные швабы, отлично знавшие свое ремесло; они, глазом не моргнув, все разобрали. Эти мотивы были полны сентиментального и забавного юмора, со спотыкающимися ритмами, как бы прерываемыми взрывами смеха. Невозможно было устоять против их буйной удали: ноги плясали сами собой. Анна бросилась в хоровод, наугад схватила чьи-то руки; она кружилась, как сумасшедшая; черепаховая шпилька выскочила у нее из волос, кудри растрепались и рассыпались по щекам. Кристоф не спускал с нее глаз: он любовался этим прекрасным, сильным животным, которого безжалостная дисциплина до сих пор обрекала на безмолвие и неподвижность; она являлась ему такой, какой не видел ее никто, такой, какой она была на самом деле под не свойственной ей личиной: опьяненная своей силой вакханка. Она позвала его. Он подбежал и обнял ее. Они плясали до тех пор, пока, кружась, не стукнулись об стену. Они остановились ошеломленные. Была уже поздняя ночь. Передохнув минуту, они распростились со всей компанией. Анна, от застенчивости или от презрения обычно такая надменная с простым людом, ласково протянула руку музыкантам, хозяину, парням, рядом с которыми она плясала в хороводе.

Они снова очутились одни под сверкающим морозным небом,— им предстояло пройти по полю тем же путем, что утром. Анна все еще была полна оживления. Мало-помалу она стала говорить меньше, потом совсем умолкла, охваченная усталостью или таинственным волнением ночи. Она нежно опиралась на Кристофа. Спускаясь по склону, на который она карабкалась еще недавно, она вздохнула. Они пришли на станцию. У первого дома он остановился, чтобы поглядеть на нее. Она тоже взглянула на него и печально улыбнулась.

В поезде — такая же толпа, как и утром. Они не могли разговаривать. Сидя напротив нее, он не сводил с нее глаз. Глаза ее были опущены; она подняла их на него, потом отвела в сторону, и ему больше не удалось встретить ее взгляд. Она глядела в окно, в темноту. Смутная улыбка блуждала на ее губах, в уголках рта затаилась усталость. Потом улыбка исчезла. Лицо приняло хмурое выражение. Кристофу показалось, что она засыпает, убаюканная движением поезда, и он попробовал с нею заговорить. Она ответила холодно, односложно, не поворачивая головы. Он старался убедить себя, что причина этой перемены — усталость, но отлично знал, что причина —

иная. Он видел, как по мере приближения к городу лицо Анны застывало, как потухала в нем жизнь, как это прекрасное, полное дикой грации тело замыкалось в свою каменную оболочку. Выходя из вагона, она уже не оперлась на его протянутую руку. Они вернулись домой в полном молчании.

Несколько дней спустя, под вечер, часа в четыре, они очутились вдвоем. Браун ушел. Город со вчерашнего дня окутан был бледно-зеленым туманом. Ропот невидимой реки усиливался. Во мгле вспыхивали молнии электрических трамваев. Дневной свет постепенно угасал; он как будто был вне времени; наступил один из тех часов, когда теряется всякое сознание реальности, час вне веков. После резкого северного ветра предшествующих дней влажный воздух, внезапно смягчившись, стал теплым и нежным. Небо, казалось, набухало снегом и никло под его тяжестью.

Они были одни в гостиной, такой же холодной и чопорной, как сама хозяйка. Они не разговаривали. Он читал. Она шила. Он встал и подошел к окну; он прижался своим крупным лицом к стеклу и задумался. Этот тусклый свет, падавший с темного неба на синеватую землю, вызывал у Кристофа головокружение, и в мыслях у него была тревога; напрасно старался он сосредоточиться: они ускользали от него. Его охватила тоска, он чувствовал себя поглощенным ею, и в пустоте его души, из-под развалин, словно медленный вихрь, поднимался палящий ветер. Кристоф стоял спиною к Анне. Она не видела его; она погружена была в свою работу, но легкий трепет пробегал по ее телу; несколько раз она укололась иглой и не почувствовала этого. Оба были заворожены приближением опасности.

Он вырвался из оцепенения и прошелся по комнате. Рояль притягивал и страшил его. Он избегал на него глядеть. Но, проходя мимо, он не удержался и коснулся рукою клавишей. Звук затрепетал, как голос. Анна вздрогнула и уронила работу. Кристоф уже сидел за роялем и играл. Он, не глядя, почувствовал, что Анна поднялась, что она идет к нему, что она уже рядом. Еще не отдавая себе отчета в том, что он делает, он заиграл церковную и в то же время страстную мелодию, которую она пела в первый раз, когда раскрылась ее душа; он импровизировал на эту тему бурные вариации. Он не сказал ни слова, а она уже пела. Они утратили чувство окружающего. Священное безумие музыки унесло их в своих когтях.

О музыка, открывающая бездны души! Ты разрушаешь привычное равновесие ума. В обыденной жизни обыденные души — точно запертые комнаты. Там увядают нетронутые силы, добродетели и пороки, пользоваться которыми мы не решаемся; осторожный, практический разум, трусливый здравый смысл хранят ключи от этой комнаты. Они показывают лишь несколько аккуратно прибранных шкафов. Но музыка владеет волшебным жезлом, и от его прикосновения сами собой падают все затворы. Двери распахиваются. Демоны сердца вырываются наружу. И душа видит себя обнаженной... Пока поет сирена, укротитель взглядом своим властвует над дикими зверьми. Мощный дух музыканта зачаровывает раскованные им страсти, но, когда смолкает музыка, когда укротителя уже нет, страсти, ими пробужденные, рычат в сотрясаемой клетке и ищут добычи...

Мелодия кончилась. Молчание... Во время пения Анна положила руку на плечо Кристофа. Они не смели шевельнуться; они дрожали... Вдруг — это было точно молния — она склонилась к нему, он потянулся к ней, губы их встретились, он впивал ее дыхание...

Она оттолкнула его и убежала. Он продолжал неподвижно сидеть в темноте. Вернулся Браун. Они пошли в столовую. Кристоф не в состоянии был думать. Анна, казалось, отсутствовала; она глядела куда-то мимо. Вскоре после ужина она ушла к себе в комнату. Кристоф, не в силах оставаться наедине с Брауном, тоже удалился.

Около полуночи, когда доктор уже лег, его вызвали к больному. Кристоф слышал, как он спустился по лестнице и вышел. С шести часов вечера шел снег. Дома и улицы были занесены сугробами. Воздух был точно набит ватой. Ни шагов, ни стука колес не доносилось снаружи. Город казался мертвым. Кристоф не спал. Он испытывал ужас, возраставший с каждой минутой. Пригвожденный к постели, лежа на спине с открытыми глазами, он не мог пошевельнуться. Металлические отблески, исходившие от земли и белых крыш, скользили по стенам комнаты. Неуловимый шорох заставил его вздрогнуть. Нужно было иметь настороженный слух, чтобы уловить его. Шелест по полу коридора. Кристоф приподнялся в постели. Легкий шум приблизился, замер, скрипнула половица. Кто-то был за дверью, ждал... Полная неподвижность в течение нескольких секунд, нескольких минут, быть может... Крис-

тоф уже не дышал, он был весь в испарине. Хлопья снега, точно крылья птицы, задевали снаружи оконное стекло. Чья-то рука нащупала дверь, и она отворилась. На пороге показалась белая фигура; она медленно подошла; в нескольких шагах от кровати она остановилась. Кристоф ничего не различал, но он слышал ее дыхание и слышал, как билось его собственное сердце... Она подошла к постели. Снова остановилась. Их взгляды напрасно искали друг друга во мраке... Она упала к нему на грудь. Они обнялись в полном молчании, без единого слова, с какой-то яростью...

Час, два часа, целое столетие... Входная дверь хлопнула. Анна высвободилась из его объятий, соскользнула с постели и покинула Кристофа так же безмолвно, как и пришла. Он слышал удаляющийся шорох ее босых ног, быстро скользящих по паркету. Она вернулась в свою комнату, где Браун нашел ее уже в постели и, казалось, спящей. Так пролежала она всю ночь с открытыми глазами, затаив дыхание, неподвижная, в узкой постели, подле спящего Брауна. Сколько ночей провела она уже так!

Кристоф тоже не спал. Он был в отчаянии. Этот человек относился к вопросам любви и особенно брака с трагической серьезностью. Он ненавидел легкомыслие писателей, которые со смаком расписывают адюльтер. Прелюбодеяние внушало ему омерзение, и в этом сочеталась простонародная его грубость и нравственная высота. К женщине, принадлежащей другому, он чувствовал одновременно благоговейное почтение и физическое отвращение. Собачьи связи, процветающие в высшем европейском обществе, вызывали в нем тошноту. Прелюбодеяние с согласия мужа — грязь; без ведома мужа — гнусная ложь подлого слуги, который исподтишка предает и позорит своего господина. Сколько раз Кристоф беспощадно осуждал тех, кого считал виновными в подобной низости! Он расходился с друзьями, которые бесчестили себя таким образом. И вот сам он заклеймил себя тем же позором. Обстоятельства, сопровождавшие его преступление, делали его еще более отвратительным. Он пришел в этот дом больным и несчастным. Друг принял его, помог ему, утешил его. Ни разу доброта не изменила ему. Ничто не было ему в тягость. Он был обязан другу тем, что остался в живых. И вот в благодарность он украл у этого человека честь и счастье, его скромное семейное счастье! Он гнусно предал его, и с кем? С женщиной, ко-

торую он не знал, не понимал и не любил. Не любил? Вся кровь взбунтовалась в нем. Любовь — слишком бледное слово, чтобы выразить поток пламени, охватывавший его, как только он начинал о ней думать. Это не была любовь, это было в тысячу раз сильнее любви. Он провел ночь в смятении. Он вставал, смачивал лицо ледяной водой, он задыхался и дрожал. Возбуждение кончилось приступом лихорадки.

Когда он встал, совсем разбитый, он подумал, что она, должно быть, подавлена стыдом гораздо больше, чем он. Он подошел к окну. На ослепительном снегу сверкало солнце. В саду Анна развешивала на веревке белье. Она была занята своей работой, и ничто, казалось, не волновало ее. В ее походке и движениях появилось какое-то новое величие и благородство, благодаря чему она, сама того не зная, приобретала пластичность статуи.

В полдень, за обедом, они встретились. Браун отлучился на весь день. Кристоф ни за что не вынес бы встречи с ним. Он хотел поговорить с Анной. Но они были не одни: служанка то и дело входила в комнату; они должны были следить за собой. Кристоф тщетно искал взгляда Анны. Она не глядела на него. Ни тени смущения, и все время, в малейших ее движениях — необычная уверенность и благородство. После обеда он надеялся, что им удастся наконец поговорить, но служанка медлила убирать со стола; и, когда они перешли в соседнюю комнату, она устроила так, чтобы последовать за ними: ей то и дело надо было что-нибудь взять или принести; она шныряла по коридору, около полуоткрытой двери, которую Анна не торопилась затворить; можно было подумать, что она выслеживает их. Анна уселась у окна со своим вечным рукоделием. Кристоф, забившись в кресло, спиною к свету, сидел с раскрытой книгой в руках и не мог читать. Анна, взглянув на него искоса, сразу заметила, как измучено его лицо, обращенное к стене, и улыбнулась жестокой улыбкой. С крыши дома, с дерева в саду, позвякивая, капал на песок тающий снег. Издали доносился смех детей, играющих на улице в снежки. Анна, казалось, задремала. Молчание терзало Кристофа; ему хотелось кричать от муки.

Служанка спустилась наконец в нижний этаж и вышла из дому. Кристоф поднялся, обернулся к Анне и хотел было сказать: «Анна! Анна! Что мы сделали!»

Анна смотрела на него; глаза ее, только что упрямо опу-

щенные, снова широко раскрылись. Они обожгли Кристофа своим всепожирающим огнем. Его точно ударило в грудь, он пошатнулся; все, что он собирался сказать, было забыто в одно мгновение. Они кинулись друг к другу и снова слились в объятии...

Разливалась вечерняя тень. Кровь их еще бурлила. Она лежала, вытянувшись на постели, платье с нее было сорвано, руки раскинуты,— она не сделала ни малейшего движения, чтобы прикрыть свое тело. Он стонал, зарывшись лицом в подушку. Она потянулась к нему и приподняла его голову, лаская пальцами его глаза, его рот; она приблизила к нему лицо, погрузила свой взгляд во взгляд Кристофа. В глазах ее была глубина озера; они улыбались, равнодушные к страданиям. Сознание померкло. Он умолк. Точно большие волны, их колыхали содрогания...

В эту ночь, наедине с собою, вернувшись в свою комнату, Кристоф подумал о самоубийстве.

На следующее утро, как только он встал, он принялся искать Анну. Теперь уже его глаза избегали ее взгляда. Едва лишь он встречал его, все, что он хотел сказать, исчезало из мыслей. Однако он сделал над собой усилие и начал говорить о низости их поступка. Как только она поняла его, она порывисто закрыла ему рот рукой. Она отстранилась от него, сдвинув брови, сжав губы, со злобой в лице. Он продолжал. Она швырнула на пол рукоделье, отворила дверь и хотела уйти. Он схватил ее за руку, снова затворил дверь, с горечью сказал, что она очень счастливая, если может вычеркнуть из мыслей сознание совершенного зла. Яростно вырываясь от него, она с гневом воскликнула:

— Замолчи! Трус! Разве ты не видишь, как я страдаю! Я не хочу, чтобы ты говорил. Оставь меня!

Ее лицо осунулось, глаза были злые и испуганные, как у зверя, которого мучают; она убила бы его взглядом, если бы только могла. Он отпустил ее. Чтобы укрыться от него, она бросилась в другой конец комнаты. У него не было охоты идти за ней. Сердце его сжалось от горечи и ужаса. Вернулся Браун. Они тупо поглядели на него. Вне их страдания ничто для них не существовало.

Кристоф вышел. Браун и Анна сели за стол. Посреди обеда Браун внезапно встал, чтобы распахнуть окно: Анна упала в обморок.

Кристоф под предлогом какой-то поездки на две недели исчез из города. Анна целую неделю, за исключением обеденных часов, провела взаперти у себя в комнате. Она снова была во власти угрызений совести, привычек всей своей прошлой жизни, от которых, казалось ей, она освободилась, но от которых не освобождаются никогда. Напрасно старалась она закрыть глаза. Тревога с каждым днем все дальше прокладывала себе путь, все глубже внедрялась в ее сердце, пока окончательно не водворилась в нем. В это воскресенье она опять отказалась идти в храм. Но в следующее воскресенье она вернулась к церкви и уже не покидала ее больше. Она вернулась туда не покорная, но побежденная. Бог был врагом — врагом, от которого она не могла избавиться. Она шла к нему с глухой злобой раба, вынужденного повиноваться. Лицо ее во время богослужения не выражало ничего, кроме враждебной холодности, но в глубине ее души таилось дикое ожесточение и шла упорная борьба с карающим богом, преследующим ее своим укором. Она притворялась, будто не слышит его. Но она должна была слышать и со стиснутыми зубами, с резкой морщиной на лбу, с суровым взглядом упрямо препиралась с богом. О Кристофе она думала с ненавистью. Она не прощала ему, что он на мгновение вырвал ее душу из темницы и снова дал ей упасть туда, в руки палачей. Она перестала спать; днем и ночью ее терзали все те же мучительные думы; она не жаловалась; она бродила, упрямая, продолжая управлять всем домом и выполнять все свои обязанности, сохраняя до конца непоколебимость и упорство своей воли в повседневной жизни, в которой все дела она совершала с точностью машины. Она худела на глазах; ее, казалось, снедал какой-то внутренний недуг. Браун расспрашивал ее с беспокойной нежностью; он хотел было выслушать ее. Она яростно оттолкнула его. Чем больше она чувствовала себя виновной перед ним, тем суровее к нему становилась.

Кристоф решил не возвращаться. Он старался сломить себя усталостью. Он совершал большие поездки, делал трудные упражнения, он греб, ходил, карабкался по горам. Ничем не удавалось ему погасить огня.

Он был одержим страстью. У гениев страсть — неодолимая потребность природы. Даже наиболее целомудренным — Бетховену, Брукнеру — всегда необходимо было любить; все человеческие силы в них напряжены; и так как эти силы захвачены у них воображением, то мозг их вечно во власти страстей. По большей части это лишь мимолетные вспышки: одна разрушает

другую, и все поглощаются пожаром творческого духа. Но едва лишь пламя горна перестает наполнять душу,— и беззащитная душа становится добычей страстей, без которых она не может обойтись, она их жаждет, она их создает; они должны пожирать ее. И, кроме того, наряду с властным желанием, терзающим плоть, есть потребность в нежности, толкающая утомленного и обманутого жизнью человека в материнские объятия утешительницы. Великий человек более чем кто-либо похож на ребенка; его больше, чем других, тянет довериться женщине, уткнуться лбом в ладони нежных рук, в колени, в складки платья.

Но Кристоф не понимал этого. Он не верил в роковую силу страсти — глупую выдумку романтиков! Он верил, что должен и может бороться,— верил в силу своей воли. Его воля! Куда она девалась? От нее не осталось и следа. Он был одержим. Жало воспоминаний язвило его день и ночь. Запах тела Анны горячил его рот и ноздри. Он был точно тяжелый разбитый корабль без руля, носящийся по воле ветра. Напрасно выбивался он из сил, стараясь уплыть вдаль,— его неизменно относило на то же место, и он взывал к ветру:

— Сокруши меня! Чего ты от меня хочешь?

Почему, почему именно эта женщина? За что он любил ее? За сердечные и умственные качества? Он встречал немало женщин умнее, лучше ее. За ее тело? У него были другие любовницы, более привлекательные. Так что же? Что приковывало его к ней? «Любишь потому, что любишь». Да, но существует же какая-то причина, даже если она и не укладывается в обычные наши понятия! Безумие? Это ничего не объясняет. Почему именно такое безумие?

Потому что есть сокровенные тайны души, слепые силы, демоны, которые заточены в каждом человеке. Все усилия человечества, с тех пор как существует человек, были направлены к тому, чтобы противопоставить этому внутреннему морю плотины человеческого разума и человеческих верований. Но пусть только разыграется буря (а богато одаренные души более подвержены бурям) — и рухнут плотины, демоны вырвутся на волю и столкнутся с другими душами, истерзанными такими же демонами. Они бросаются друг к другу и сжимают друг друга в объятиях. Ненависть? Любовь? Ярость взаимного разрушения? Страсть — это хищный зверь.

После двух недель тщетных попыток бежать на край света Кристоф вернулся в дом Анны. Он не мог больше жить вдали от нее. Он задыхался.

Он продолжал, однако, бороться. В тот вечер, когда он вернулся, они нашли предлог, чтобы не видеться, чтобы не обедать вместе; ночью они опасливо заперлись на ключ, каждый в своей комнате. Но чувство оказалось сильнее их. Среди ночи она прибежала, босая, и постучалась к нему в дверь; он отворил; она легла к нему в постель и, вся похолодевшая, вытянулась подле него. Она тихонько плакала. Кристоф чувствовал, как текут по ее щекам слезы. Она старалась успокоиться, но, обессиленная страданием, зарыдала, прижавшись губами к шее Кристофа. Потрясенный ее горем, он позабыл свое собственное; он пытался успокоить ее нежными словами. Она стонала:

— Я так несчастна, я хотела бы умереть...

Эти жалобы пронзали ему сердце. Он хотел поцеловать ее. Она оттолкнула его.

— Я ненавижу вас! Зачем вы вернулись?

Она вырвалась из его объятий и откинулась на другой край кровати. Кровать была узкая. Несмотря на их старания избегать друг друга, они все-таки соприкасались. Анна лежала спиной к Кристофу и дрожала от бешенства и боли. Она смертельно ненавидела его. Кристоф, подавленный, молчал. В тишине Анна услышала его прерывистое дыхание; она внезапно обернулась, обвила его шею руками.

— Бедный Кристоф! — сказала она.— Ты страдаешь из-за меня...

В первый раз он уловил в ее голосе жалость.

— Прости меня,— промолвила она.

Он сказал:

— Простим друг друга.

Она приподнялась, точно не могла больше дышать. Сидя на постели, сгорбленная, подавленная, она сказала:

— Я погибла... Такова воля божья. Он от меня отступился... Я бессильна против него.

Так сидела она долго, потом снова легла и больше уже не двигалась. Слабый свет возвестил зарю. В сумраке Кристоф увидел скорбное лицо, касавшееся его лица. Он прошептал:

— Светает.

Она не шевельнулась.

Он сказал:

— Пусть! Не все ли равно?

Она открыла глаза и поднялась с выражением смертельной усталости. Сидя на краю постели, она глядела в пол. Она промолвила беззвучным голосом:

— Я думала убить его этой ночью.

Он содрогнулся от ужаса.

— Анна! — воскликнул он.

Она с мрачным видом уставилась в окно.

— Анна! — повторил он.— Ради бога! Только не его... Он лучший из нас!

Она повторила:

— Не его. Ты прав.

Они поглядели друг на друга.

Они уже давно понимали это. Они понимали, в чем для них единственный исход. Им невыносимо было жить во лжи. И ни разу они не допускали возможности бежать вдвоем. Им было ясно, что это не разрешило бы вопроса, ибо главная беда была не во внешних препятствиях, их разлучавших, а в них самих, в их несхожих душах. Им так же невозможно было жить вместе, как и жить врозь. Выхода не было. С этого мгновенья они уже не прикасались друг к другу: над ними нависла тень смерти; они стали священны друг для друга.

Но они избегали назначать срок. Они думали: «Завтра, завтра...» И отводили взгляд от этого завтра. Могучая натура Кристофа противилась и возмущалась; он не соглашался признать поражение, он презирал самоубийство и не мог примириться с таким жалким и куцым завершением большой жизни. Что же до Анны, то как могла она допустить мысль о смерти, обрекающей ее душу на вечную погибель? Но убийственная необходимость надвигалась на них со всех сторон, и кольцо вокруг них мало-помалу сжималось.

В это утро, впервые после своей измены, Кристоф очутился наедине с Брауном. До сих пор ему удавалось избегать его. Эта встреча была для него нестерпима. Пришлось придумать предлог, чтобы не подать ему руки. Пришлось придумать предлог, чтобы не есть за одним столом: куски застревали в горле. Пожимать ему руку, есть его хлеб — поцелуй Иуды! Ужаснее всего было не презрение к самому себе, а боль при мысли о страданиях Брауна, если бы тот все узнал. Эта мысль распинала Кристофа. Он слишком хорошо знал, что бедный Браун никогда не стал бы мстить, что у него, быть может, даже не хватило бы духа их возненавидеть. Но какое падение! Какими гла-

зами стал бы он смотреть на друга! Кристоф чувствовал, что он не в силах выдержать укор его глаз. Ведь рано или поздно Браун неизбежно догадается обо всем. А разве теперь он ничего не подозревает? Увидя его вновь после двухнедельного отсутствия, Кристоф был поражен совершившейся в нем переменой: Браун стал совсем другим. Не то его веселость исчезла, не то в ней чувствовалась какая-то принужденность. За столом он украдкой поглядывал на Анну, которая не разговаривала, не ела и таяла, как свеча. С робкой и трогательной заботливостью попробовал он было поухаживать за нею; она резко оборвала его; тогда он уткнулся в тарелку и замолчал. Посреди обеда Анна, задыхаясь, швырнула салфетку на стол и вышла. Мужчины молча продолжали есть или делали вид, что едят,— они не смели поднять глаз. Когда обед кончился и Кристоф собрался уже уйти, Браун схватил его обеими руками за локоть.

— Кристоф! — сказал он.

Кристоф смущенно поглядел на него.

— Кристоф,— повторил Браун (голос его дрожал),— ты не знаешь, что с нею?

Кристофа словно кольнуло в самое сердце. Мгновенье он помедлил с ответом. Браун, робко взглянув на него, тотчас же стал извиняться:

— Ты часто видишь ее, она доверяет тебе...

Кристоф готов был целовать руки Брауна, просить у него прощения. Браун увидел потрясенное лицо Кристофа и тотчас же, ужаснувшись, не захотел видеть больше; умоляя его взглядом, он торопливо забормотал, зашептал:

— Нет, не правда ли? Ты ничего не знаешь?

Кристоф, подавленный, промолвил:

— Нет, не знаю.

Какое мученье, когда не можешь сознаться в своей вине, унизить себя, ибо это значило бы разбить сердце того, кому ты нанес оскорбление! Какое мучение, когда не можешь сказать правду, когда читаешь в глазах того, кто спрашивает о ней, что он не хочет, не желает знать правды!

— Хорошо, хорошо, благодарю, благодарю тебя...— промолвил Браун.

Он стоял, уцепившись обеими руками за рукав Кристофа, избегая его взгляда, как будто хотел и не решался спросить его еще о чем-то. Потом он отпустил его, вздохнул и ушел.

Кристоф был подавлен своей новой ложью. Он побежал к Анне. Рассказал ей, заикаясь от волнения, о том, что произошло. Анна угрюмо выслушала и сказала:

— Ну что же, пусть узнает! Не все ли равно?

— Как можешь ты так говорить? — возмутился Кристоф.— Ни за что, ни за что на свете я не хочу, чтобы он страдал!

Анна вспылила:

— А что из того, что он будет страдать! Разве я не страдаю? Пусть страдает и он!

Они наговорили друг другу много горьких слов. Он обвинял ее в том, что она любит только себя. Она упрекала его в том, что он думает о ее муже больше, чем о ней. Но минуту спустя, когда он сказал, что не может больше так жить, что он во всем сознается Брауну, она тоже обозвала его эгоистом, крича, что ей нет дела до совести Кристофа и что Браун ничего не должен знать. Несмотря на свои жестокие слова, она думала о Брауне не меньше, чем Кристоф. Не чувствуя к мужу настоящей любви, она все-таки была к нему привязана. Она относилась с религиозным уважением к общественным узам и обязанностям, которые они налагают. Она не думала, быть может, что жена обязана быть доброй и любить своего мужа, но считала, что она должна добросовестно выполнять долг хозяйки и оставаться верной мужу. Ей казалось гнусным, что она не выполнила этого обязательства. Она понимала лучше Кристофа, что Браун скоро узнает все. И немалой заслугой ее было то, что она скрывала это от Кристофа,— либо потому, что не хотела увеличивать его смятения, либо скорее всего из гордости.

Как ни замкнута была жизнь Брауна, как ни скрыта была семейная трагедия, разыгрывавшаяся в его доме, кое-что просочилось наружу.

Никто в этом городе не мог похвастаться тем, что держит свою жизнь в тайне. Удивительное дело! На улицах никто на вас не смотрит; двери и ставни домов закрыты. Но в углах окон подвешены зеркала, и, проходя мимо, слышишь сухой звук приотворяемых и затворяемых ставней. Никому нет дела до вас; кажется, что никто вас не знает, но очень скоро вы обнаруживаете, что ни одно ваше слово, ни одно движение не прошло незамеченным; знают, что вы сделали, что вы сказали, что вы видели, что вы ели; знают даже или воображают, что знают, о чем вы думали. Вас окружает какой-то тайный круговой надзор. Прислуга, поставщики, родные, друзья, посторонние, случайные прохожие — все по молчаливому соглашению участвуют в этом бессознательном соглядатайстве, разрозненные звенья которого каким-то образом соединяются. Следят не только за

вашими поступками,— исследуют ваше сердце. Никто в этом городе не имеет права скрывать свое святая святых; но всякий имеет право влезть вам в душу, рыться в ваших сокровенных мыслях и, если они оскорбляют общественное мнение, требовать от вас отчета. Незримый деспотизм коллективной души тяготеет над личностью; она всю свою жизнь — опекаемое дитя; ничто присущее ей не принадлежит ей: она принадлежит городу.

Достаточно было Анне два воскресенья подряд не показаться в церкви, чтобы возбудить подозрение. В обычное время никто как будто не замечал ее присутствия на богослужении; она жила в стороне, и город, казалось, забывал об ее существовании. Но в вечер первого воскресенья, когда она не пришла, ее отсутствие было известно всюду и взято на заметку. В следующее воскресенье ни одна из благочестивых ханжей, следивших за святыми словами по Евангелию или ловивших их из уст пастора, как будто не отвлекалась от сосредоточенной молитвы, но ни одна из них не преминула отметить при входе и проверить при выходе, что место Анны оставалось пустым. На следующий день Анну стали навещать люди, которых она не видела в течение многих месяцев; гостьи приходили под различными предлогами: одни — опасаясь, не захворала ли она, другие — проявляя небывалый интерес к ее делам, к ее мужу, к ее дому; некоторые обнаруживали странную осведомленность о том, что происходит у нее; никто из них не позволил себе бестактно намекнуть на то, что она два воскресенья подряд пропускала богослужение. Анна сказалась больной, ссылалась на свою занятость. Посетительницы внимательно выслушивали ее, поддакивали; но Анна знала, что они не верили ни одному ее слову. Их взгляды шныряли по всей комнате, шарили, примечали, отмечали. Гостьи держались деланно добродушно, шумно и жеманно болтали, но их глаза выдавали пожиравшее их нескромное любопытство. Две-три дамы с преувеличенным безразличием спросили между прочим, как поживает г-н Крафт.

Несколько дней спустя (это было во время отсутствия Кристофа) пришел сам пастор. Представительный мужчина, обладатель цветущего здоровья, приветливый, полный невозмутимого спокойствия, которое дается сознанием, что ты обладаешь истиной, всей истиной целиком. Он заботливо осведомился о здоровье своей прихожанки. Вежливо и рассеянно выслушал приведенные ею оправдания, хотя их и не спрашивал, соблаговолил выпить чашку чая, приятно пошутил насчет напитков, высказав мнение, что вино, упоминаемое в Библии,

не было спиртным напитком, привел несколько цитат, рассказал анекдот и, уходя, сделал смутный намек на опасность дурного общества, на некоторые прогулки, на дух неверия, на нечестивость пляски, на грязные вожделения. Казалось, он обращался к современным нравам вообще, а не к Анне. С минуту он помолчал, потом кашлянул, встал, поручил Анне передать Брауну почтительнейшее его приветствие, сострил по-латыни, поклонился и вышел. Анна похолодела от его намека. Да был ли это намек? Откуда мог он проведать об ее прогулке с Кристофом? Они не встретили там никого, кто бы их знал. Но разве не все известно в этом городе? Музыкант с характерной внешностью и молодая женщина в черном, танцующие в трактире, обратили на себя внимание; приметы их были описаны; а так как слухи быстро распространяются, молва об этом дошла до города, и недоброжелательные святоши не преминули узнать Анну. Разумеется, это было только подозрение, но необыкновенно заманчивое; к нему еще присоединились сведения, доставленные служанкой Анны. Общественное любопытство было теперь настороже, выжидая, когда они скомпрометируют себя, выслеживая их тысячью невидимых глаз. Молчаливый и коварный город подстерегал их, как притаившаяся кошка.

Несмотря на опасность, Анна, быть может, и не сдалась бы; быть может, ощущение этой подлой враждебности побудило бы ее бросить вызов, если бы в ней самой не укоренился фарисейский дух этого ненавистного ей общества. Воспитание поработило ее натуру. Сколько бы она ни осуждала тиранию и глупость общественного мнения,— она почитала его; она подчинялась его приговорам, даже когда они были обращены против нее; если бы они шли вразрез с ее совестью, она обвинила бы скорее свою совесть. Она презирала город, но презрение города она не могла бы вынести.

А между тем приближалась минута, когда общественному злословию должен был наконец представиться случай прорваться наружу. Близилось время карнавала.

Карнавал в этом городе в то время, когда разыгрывалась эта история (с тех пор все изменилось), хранил еще архаический характер разнузданности и жестокости. Верный древним традициям и, как встарь, являясь отдушиной для распущенности человеческого духа, добровольно или насильно подчиненного игу разума, карнавал никогда и нигде не был дерзновеннее, чем в те времена и в тех странах, над которыми наиболее

тяготели обычаи и законы — блюстители разума. Потому-то родной город Анны должен был стать одним из его излюбленных мест. Чем больше нравственный ригоризм связывал там движения и заглушал голоса, тем наглее были движения и вольнее голоса в дни карнавала. Все, что скоплялось в подонках души: зависть, тайная ненависть, бесстыдное любопытство, инстинкт недоброжелательства, присущий общественному животному,— все прорывалось наружу сразу, с треском, с радостью отмщения. Каждый имел право выйти на улицу и, умело замаскировавшись, пригвоздить к позорному столбу, на глазах у всех, того, кого он ненавидел, выложить перед прохожими все, что накопил за целый год кропотливых усилий, весь свой клад скандальных тайн, собранных капля по капле.

Один похвалялся ими, разъезжая на колеснице. Другой возил световые экраны, на которых в надписях и картинах развертывалась скандальная хроника города. Третий осмеливался даже надеть маску, изображающую его врага, настолько похожую, что уличные мальчишки громко называли его по имени. В течение этих трех дней выходили газеты сплетен. Люди из общества под шумок принимали участие в этой игре Пасквино. Никакой цензуры не было, кроме как на выпады политического характера, ибо эти дерзкие намеки не раз служили причиной конфликтов между городским управлением и представителями иностранных держав. Но ничто не защищало граждан от их сограждан; и вечно висевшая над ними угроза публичного скандала немало способствовала сохранению в нравах того безукоризненного внешнего приличия, которым так гордился город.

Анна находилась под гнетом этого страха, в сущности не обоснованного. У нее лично мало было причин опасаться. Слишком ничтожное место занимала она в общественном мнении города, чтобы кому-нибудь пришло в голову нападать на нее. Но полное одиночество, в котором она себя заточила, истощение и нервное возбуждение, вызванные несколькими неделями бессонницы, подготовили ее к самым безрассудным фантазиям и страхам. Она преувеличивала вражду тех, кто ее не любил. Она внушала себе, что преследователи напали на ее след, что достаточно пустяка, чтобы погубить ее; кто поручится, что это уже не совершилось? В таком случае ее ожидали оскорбления, безжалостные разоблачения, раскрытие тайны ее сердца, отданного на поругание прохожим; позор, такой жестокий, что, думая о нем, Анна умирала со стыда. Она слыхала, что несколько лет назад одна девушка, подвергшаяся такому гонению, принуждена была бежать из города вместе со своими родными.

И ничем, ничем нельзя было защитить себя, никак нельзя было предотвратить этого, невозможно было даже узнать заранее, что именно должно произойти. Неизвестность ужасала ее еще больше, чем уверенность. Анна озиралась вокруг, как затравленный зверь. В собственном своем доме она чувствовала себя, точно в западне.

Служанке Анны перевалило за сорок; звали ее Бэби. Она была большая, тучная, с лицом, суженным у висков и у лба, широким и длинным книзу, с раздутыми щеками, точно сушеная груша; она беспрестанно улыбалась, и глаза у нее были острые, как буравчики, вдавленные, точно втянутые внутрь, под красными, без ресниц, веками. Ее не покидало выражение какой-то жеманной веселости. Она всегда была в восторге от своих хозяев, всегда во всем с ними согласна, всегда трогательно озабочена их здоровьем; она улыбалась, выслушивая приказания, улыбалась, когда ей делали выговор. Браун считал ее человеком испытанной преданности. Ее умильный вид представлял полный контраст с холодностью Анны. Во многом, однако, она была на нее похожа: как Анна — несловоохотливая, строго и опрятно одетая, как Анна — сугубо набожная; Бэби сопровождала хозяйку на все службы, точно соблюдала обряды и добросовестно исполняла свои хозяйственные обязанности: была чистоплотна, пунктуальна, безукоризненного поведения и превосходная стряпуха. Словом, она была примерной служанкой и идеальным образцом домашнего врага. Анна, чье женское чутье никогда не ошибалось относительно тайных мыслей других женщин, отлично знала ей цену. Они ненавидели друг друга, знали об этом и никак этого не проявляли.

В ночь после возвращения Кристофа, когда Анна, терзаясь тревогой, отправилась к нему, несмотря на принятое ею решение никогда больше его не видеть, она шла крадучись, ощупывая во мраке стены; она готова была уже войти в комнату Кристофа, как вдруг вместо обычного прикосновения гладкого и холодного паркета ощутила под босыми ногами какую-то теплую, мягко рассыпающуюся пыль. Она нагнулась, дотронулась до нее рукой и поняла: во всю ширину коридора, на протяжении двух или трех метров, тонким слоем рассыпана была зола. Это Бэби, сама того не подозревая, прибегла к старой хитрости, которой еще во времена бретонских средневековых сказаний пользовался карлик Фросин для того, чтобы уличить Тристана, крадущегося к ложу Изольды; это подтверждает, что для всех

веков создано лишь ограниченное число характеров как добрых, так и злых. Веское доказательство мудрой скупости вселенной! Анна, не колеблясь, точно бросая вызов презренному врагу, продолжала свой путь. Она вошла к Кристофу и, несмотря на свое беспокойство, ничего ему об этом не сказала, но, уходя, она взяла метелку с камина и старательно, шаг за шагом, замела на золе свои следы. Поутру, когда Анна и Бэби встретились, то, как всегда, одна держалась холодно, другая же улыбалась угодливой улыбкой.

К Бэби частенько заходил в гости ее родственник, немного постарше ее; он исполнял в храме обязанности сторожа; во время Gottesdienst[1] он стоял на часах у входа в церковь с белой, окаймленной черным перевязью на рукаве, украшенной серебряной кистью, опираясь на трость с изогнутой ручкой. По ремеслу он был гробовщик. Звали его Сами Витши. Он был очень высокого роста, тощий, сутуловатый; лицо у него было бритое и серьезное, как у старого крестьянина. Он был набожен и, как никто, знал всякие сплетни обо всех прихожанах своей церкви. Бэби и Сами собирались пожениться; они ценили друг в друге положительные качества, крепкую веру и злобу. Но они не спешили закончить дело: они настороженно наблюдали друг за другом. В последнее время посещения Сами участились. Он являлся в дом без ведома хозяев. Всякий раз, проходя мимо кухни, Анна видела в стеклянную дверь Сами, сидящего у печки, и Бэби в нескольких шагах от него с рукодельем в руках. О чем бы они ни говорили, ни одного слова не было слышно. Видны были оживленное лицо Бэби и ее шевелящиеся губы; большой суровый рот Сами, не открываясь, морщился кривой улыбкой: ни звука нельзя было разобрать; дом казался немым. Когда Анна входила в кухню, Сами почтительно поднимался и продолжал безмолвно стоять до тех пор, пока она не уходила. Бэби, как только отворялась дверь, подчеркнуто обрывала какой-нибудь безразличный разговор и, ожидая приказаний, с подобострастной улыбкой поворачивалась к Анне. Анна подозревала, что они говорили о ней, но она слишком презирала их, чтобы унизиться до подслушивания.

На следующий день после того, как Анна разрушила хитроумную ловушку с золой, первое, что бросилось ей в глаза, когда она вошла в кухню, была метелка в руках у Сами, та самая, которой она пользовалась ночью, чтобы замести следы своих босых ног. Анна взяла ее из комнаты Кристофа и только сейчас

[1] Богослужения *(нем.)*.

вспомнила, что забыла отнести обратно; она оставила ее в своей комнате, где проницательные глаза Бэби тотчас же ее заметили. Пройдохи, несомненно, восстановили всю историю. Анна и глазом не моргнула. Бэби, следя за взглядом своей хозяйки, преувеличенно любезно улыбнулась и пустилась в объяснения:

— Метелка сломалась; я отдала ее Сами, чтобы он починил.

Анна не потрудилась даже опровергнуть эту грубую ложь; она как будто и не слышала ее; взглянув на шитье Бэби, она отдала распоряжения и вышла совершенно безучастная. Но, едва закрыв дверь, она утратила всякую гордость; она не могла удержаться, чтобы не подслушать, притаившись в углу коридора (она чувствовала себя униженной до глубины души тем, что прибегала к подобным средствам). Отрывистое хихиканье, потом шепот, такой тихий, что ничего нельзя было разобрать. Но Анне в ее смятении мерещилось, что она все понимает; ужас нашептывал ей те слова, которые она боялась услышать; ей представилось, что они говорят о предстоящих маскарадах и каком-то шутовском концерте. Сомнения не было: они хотели включить в программу эпизод с золой. По всей вероятности, она ошибалась, но в том болезненном возбуждении, в котором она находилась, преследуемая в течение двух недель навязчивой мыслью о публичном позоре, она не только принимала недостоверное за возможное, но даже считала его несомненным.

И тогда она решилась.

Вечером того же дня (это было в среду, перед масленицей) Браун был вызван на консультацию километров за двадцать от города; он должен был вернуться только на следующий день утром. Анна не вышла к обеду и осталась у себя в комнате. Она выбрала эту ночь, чтобы привести в исполнение безмолвное обязательство, которое она дала себе. Но она решила выполнить его одна, ничего не сказав Кристофу. Она презирала его. Она думала: «Он обещал. Но он мужчина, он эгоист и лгун, у него есть его музыка, он скоро позабудет».

И потом в этом неистовом сердце, казалось не доступном доброте, нашлось, быть может, место жалости по отношению к товарищу. Но она была слишком сурова и слишком одержима страстью, чтобы сознаться себе в этом.

Бэби передала Кристофу, что госпожа велела извиниться перед ним, что ей нездоровится и она хочет отдохнуть. Итак, Кристоф поужинал один, под наблюдением Бэби, которая до-

кучала ему своей болтовней, старалась вызвать его на разговор и восхваляла Анну с таким преувеличенным рвением, что Кристоф, несмотря на всю свою доверчивость к людям, насторожился. Он как раз рассчитывал воспользоваться этим вечером для окончательного разговора с Анной. Он тоже не мог больше медлить. Он не забыл решения, принятого ими обоими на рассвете того печального дня. Он готов был выполнить его, если Анна того потребует, хотя и понимал нелепость этой двойной смерти, которая ничего не разрешала и должна была пасть горем и позором на того же Брауна. Он думал, что лучше всего было бы им порвать совсем, ему постараться еще раз уехать, если только хватит сил жить вдали от нее: он сомневался в этом после бесполезной недавней попытки, но он внушал себе, что, в случае невозможности вынести разлуку, никогда не поздно будет прибегнуть и одному к этому крайнему средству.

Он надеялся, что после ужина ему удастся улучить минутку и подняться в комнату Анны. Но Бэби следовала за ним по пятам. Обычно она рано заканчивала свою работу, однако в этот вечер не было конца мытью кухни, и, когда Кристоф считал себя уже наконец избавленным от нее, она затеяла уборку шкафа в коридоре, ведущем в комнату Анны. Кристоф застал ее основательно расположившейся на табуретке; он понял, что она не уйдет отсюда до ночи. Он испытывал бешеное желание столкнуть ее вниз вместе со всей грудой тарелок, но сдержался и попросил ее сходить узнать, как чувствует себя барыня и нельзя ли навестить ее. Бэби пошла, вернулась и доложила, со злорадством наблюдая за ним, что барыне лучше, что ей хочется спать и она просит, чтобы никто не заходил к ней. Кристоф, расстроенный и раздраженный, попробовал было читать, но не смог и поднялся к себе в комнату. Бэби караулила, пока он не погасил лампу, и тоже отправилась к себе, решив бодрствовать всю ночь; она предусмотрительно оставила свою дверь полуоткрытой, чтобы слышать все шорохи в доме. На ее беду, стоило ей только лечь, как она тотчас же засыпала, и таким крепким сном, что ни гром, ни даже любопытство не способны были разбудить ее до рассвета. Сон этот ни для кого не был тайной. Эхо его разносилось по всему дому.

Как только Кристоф услышал знакомый храп, он отправился к Анне. Ему надо было поговорить с ней. Беспокойство терзало его. Он подошел к двери, повернул ручку — дверь была заперта. Он тихонько постучал: ответа не было. Он прижался ртом к замочной скважине, умоляя впустить его, сначала шепотом, потом все настойчивей — ни звука. Как ни уверял он

«Жан-Кристоф». Книга девятая.

себя, что Анна спит, им овладела тревога. Тщетно стараясь расслышать что-нибудь, он прислонился щекой к двери, и тут его поразил запах, казалось, просочившийся сквозь щели порога; он нагнулся и сразу понял: это был запах газа. Кровь застыла в его жилах. Он толкнул дверь, не думая о том, что может разбудить Бэби,— дверь не поддавалась... Он понял: в уборной Анны, примыкающей к спальне, была маленькая газовая печка; она открыла газ. Надо было вышибить дверь, но, несмотря на свое смятение, Кристоф отлично понимал, что Бэби ни под каким видом не должна этого слышать. Он всей тяжестью безмолвно навалился на одну из створок. Дверь, прочная и наглухо запертая, затрещала на петлях, но не поддалась. Другая дверь соединяла комнату Анны с кабинетом Брауна. Кристоф бросился туда; она также была заперта, но здесь замок был снаружи. Он решил выломать его. Это было нелегко. Надо было вытащить четыре толстых, всаженных в дерево винта. У Кристофа был только перочинный нож, и он ровно ничего не видел, потому что не смел зажечь свечу: воспламенившийся газ мог бы взорвать весь дом. Ощупью он ввел наконец нож в прорезь одного винта, потом другого; лезвия обламывались, он поранил себе руки; ему казалось, что винты чертовски длинны, что ему так и не удастся вытащить их; и в то же время в лихорадочной спешке, обливаясь холодным потом, он вдруг вспомнил случай из своего детства: он увидел себя десятилетним мальчиком, запертым в наказание в темной комнате; он выломал тогда замок и убежал из дому. Последний винт поддался. Замок выпал, шурша опилками. Кристоф кинулся в комнату, подбежал к окну и распахнул его. Ворвалась струя холодного воздуха.

Кристоф, натыкаясь на мебель, разыскал в темноте кровать, обшарил ее, наткнулся на тело Анны, дрожащими руками ощупал сквозь простыню неподвижные ноги до самого пояса,— Анна сидела на постели и дрожала. Она не успела еще испытать первых симптомов удушья: комната была высокая, в щели плохо пригнанных дверей и в окна проникал воздух. Кристоф обнял ее. Она яростным движением высвободилась и крикнула:

— Уходи! Ах, что ты наделал!

Она ударила его, но тотчас же, обессиленная волнением, упала на подушку, горько рыдая:

— О! О! Опять начинать все сначала!

Кристоф взял ее за руки, принялся целовать, упрекая, говоря ей нежные и суровые слова:

— Умереть! И одной, без меня!

— Да, без тебя! — с горечью сказала она.

Тон ее достаточно ясно говорил: «Ты, ты хочешь жить!»

Он прикрикнул на нее, желая насильно сломить ее волю.

— Сумасшедшая! — воскликнул он.— Разве ты не понимаешь, что ты могла взорвать дом!

— Этого-то я и хотела,— мрачно ответила она.

Он попытался пробудить в ней религиозный страх — он нащупал верную струну. Едва он коснулся ее, как Анна начала кричать, умоляя, чтобы он замолчал. Он продолжал убеждать ее без всякой жалости, думая, что это единственное средство вернуть ей волю к жизни. Она умолкла, у нее началась судорожная икота. Когда он замолчал, она сказала ему со сдержанной ненавистью:

— Доволен ты теперь? Ты добился своего! Довел меня до полного отчаяния. А теперь что мне делать?

— Жить,— сказал он.

— Жить! — воскликнула она.— Да разве ты не понимаешь, что это невозможно? Ты ничего не знаешь! Ты ничего не знаешь!

— В чем дело? — спросил он.

Она пожала плечами:

— Слушай!

Краткими, отрывистыми фразами рассказала она ему обо всем, что до сих пор скрывала: о шпионстве Бэби, о золе, о сцене с Сами, о карнавале, о неминуемом позоре. Рассказывая, она уже сама не знала, что было создано ее страхом и чего следовало опасаться на самом деле. Он слушал, удрученный, пораженный, еще менее, чем она, способный отличить в ее рассказе действительную опасность от воображаемой. Ему и в голову не приходило, что их подкарауливают. Он силился понять и ничего не мог придумать: против таких врагов он был безоружен. Он чувствовал только слепую ярость, желание драться. Он спросил:

— Почему ты не прогнала Бэби?

Она не удостоила его ответом. Бэби, выгнанная из дому, была бы еще ядовитее, чем Бэби, оставленная в доме, и Кристоф понял нелепость своего вопроса. Мысли его путались; он не знал, на что решиться, как выйти из положения. Он прошептал, сжимая кулаки:

— Я их убью.

— Кого? — спросила она, исполненная презрения к этим пустым словам.

Силы покинули его. Он чувствовал себя погибшим в этой сети темных измен, где ничего нельзя было распутать, где все были соумышленниками.

— Подлецы! — в отчаянии воскликнул он.

Он рухнул на колени перед постелью, прижимаясь лицом к телу Анны. Оба умолкли. Она испытывала смешанное чувство презрения и жалости к этому человеку, не умеющему защитить ни ее, ни себя. Он чувствовал у своей щеки дрожащие от холода ноги Анны. Окно осталось распахнутым, а на дворе морозило: на гладком, как зеркало, небе зябко дрожали заледеневшие звезды. Убедившись с горькой радостью, что он так же подавлен и разбит, как она сама, Анна проговорила суровым и усталым голосом:

— Зажгите свечу!

Он зажег. Анна сидела, стуча зубами, скорчившись, прижав руки к груди, согнув колени так, что они касались подбородка. Он затворил окно. Сел на постель. Взял в руки холодные, как лед, ноги Анны и принялся согревать их руками, губами. Она была растрогана.

— Кристоф! — прошептала она.

Она жалобно глядела на него.

— Анна! — сказал он.

— Что нам делать?

Он посмотрел на нее и сказал:

— Умереть.

Она вскрикнула от радости:

— О! Ты, значит, этого хочешь? Ты тоже хочешь? Ты не оставишь меня одну!

Она поцеловала его.

— Неужели ты думала, что я тебя покину?

Она шепотом ответила:

— Да.

Он только теперь почувствовал, сколько она выстрадала.

Несколько мгновений спустя он взглядом спросил ее. Она поняла.

— В бюро,— сказала она.— Справа. Нижний ящик.

Он встал и пошел искать. На самом дне ему попался револьвер. Браун купил его, будучи еще студентом. Он ни разу не пользовался им. В разорванной коробке Кристоф нашел несколько патронов. Он принес их к постели. Анна взглянула и тотчас же отвела глаза к стене. Кристоф подождал, потом спросил:

— Ты раздумала?

Анна быстро обернулась:

— Нет... Скорей!

Она думала: «Ничто уже не спасет меня от вечной погибели. Немногим больше, немногим меньше, а в общем — все то же».

Кристоф неловко зарядил револьвер.

— Анна,— сказал он дрожащим голосом,— один из нас увидит, как умирает другой.

Она вырвала у него из рук оружие и эгоистически сказала:

— Сперва я.

Они снова поглядели друг на друга. Увы! Даже в этот миг, решившись умереть друг за друга, они чувствовали себя такими далекими... Каждый из них с ужасом думал: «Да что же я делаю? Что делаю?»

И каждый читал это в глазах у другого. Нелепость этого поступка особенно поражала Кристофа. Вся его жизнь оказывалась бесполезной; бесполезна его борьба, бесполезны страдания, бесполезны надежды; все брошено на ветер, все пошло насмарку; один жалкий жест должен был уничтожить все... В нормальном состоянии он вырвал бы из рук Анны револьвер, выбросил бы его за окно, он крикнул бы: «Нет! Я не хочу!»

Но восемь месяцев страданий, сомнений и мучительной тоски, а в довершение всего этот шквал безумной страсти разрушили его силы, сломили его волю; он чувствовал, что ничто уже от него не зависит, что он сам себе уже не хозяин... Ах, да не все ли равно, в конце концов?

Анна, убежденная в своей вечной погибели, всем своим существом хваталась за эти последние минуты жизни: скорбное лицо Кристофа, освещенное мерцающей свечой, тени на стене, шум шагов на улице, холодная сталь в ее руке... Она цеплялась за эти ощущения, как утопающий за щепку, идущую вместе с ним ко дну. Дальше все — сплошной ужас. Почему же не продлить ожидания? Но она повторила про себя: «Так надо...»

Она простилась с Кристофом без всякой нежности, с торопливостью путешественника, который спешит и боится опоздать на поезд; она расстегнула рубашку, нащупала сердце и приставила дуло револьвера. Кристоф стоял на коленях, уткнувшись лицом в постель. Прежде чем спустить курок, она вложила левую руку в руку Кристофа. Жест ребенка, боящегося идти в темноте...

Затем прошло несколько страшных мгновений. Анна не стреляла. Кристоф хотел поднять голову, хотел схватить ее за руку и боялся, как бы именно это движение не заставило ее выстрелить. Он ничего уже не слышал, он терял сознание... Послышался стон... Кристоф выпрямился. Он увидел искаженное ужасом лицо Анны. Револьвер лежал на постели подле нее. Она жалобно повторяла:

— Кристоф! Осечка!..

Он взял оружие; от длительного бездействия оно заржавело, хотя механизм был в исправности. Быть может, в патрон проник воздух, и он отсырел. Анна протянула руку к револьверу.

— Довольно! — взмолился он.

— Патроны! — приказала она.

Он передал их ей. Она осмотрела их, выбрала один, не переставая дрожать, зарядила, снова приложила дуло к груди и нажала курок. Револьвер снова дал осечку.

Анна швырнула его на пол.

— Ах! Это уж слишком! Это слишком! — воскликнула она.— Он не хочет, чтобы я умерла!

Она корчилась на постели; она точно обезумела. Кристоф хотел подойти к ней; она с воплем оттолкнула его. С нею сделался нервный припадок. Кристоф оставался подле нее до утра. В конце концов она успокоилась, но лежала бездыханная, с закрытыми глазами; выступающие скулы и крутой лоб, обтянутые мертвенно-бледной кожей, придавали ей вид покойницы.

Кристоф оправил смятую постель, спрятал револьвер, вставил выломанный замок, прибрал все в комнате и ушел: было уже семь часов и скоро должна была явиться Бэби.

Утром, вернувшись домой, Браун нашел Анну все в той же прострации. Он отлично понял, что произошло нечто необычайное, но ничего не мог добиться ни от Бэби, ни от Кристофа. За весь день Анна не пошевельнулась, не раскрыла глаз; пульс ее был так слаб, что его едва было слышно, порою он совсем останавливался, в иные минуты Браун с ужасом думал, что сердце уже перестало биться. Любовь заставляла его сомневаться в своих знаниях; он побежал к другому врачу и привел его. Они оба осмотрели Анну и не могли решить, что это — начинающаяся горячка или случай истерического невроза; нужно было держать больную под постоянным наблюдением. Браун не отходил от изголовья Анны. Он отказался от пищи. К вечеру пульс Анны показал, что у нее не лихорадка, а только большая слабость. Браун попытался влить ей в рот несколько ложек молока; она не могла их проглотить. Тело ее беспомощно повисало на руках мужа, как разбитая кукла. Браун провел ночь, сидя подле нее, ежеминутно вставая, чтобы прислушаться к ней. Бэби не взволновала болезнь Анны, но она бодрствовала вместе с Брауном, так как была все же человеком долга.

В пятницу Анна открыла глаза. Браун заговорил с нею; она не заметила его присутствия. Она лежала неподвижно, устремив глаза в одну точку на стене. Около полудня Браун увидел, что по впалым ее щекам текут крупные слезы; он ласково вытер их, слезы продолжали катиться одна за другой. Браун снова попытался заставить ее принять немного пищи. Она безвольно покорилась ему. Вечером она начала говорить какие-то бессвязные слова. Речь шла о Рейне; она хотела утопиться, но было слишком мало воды. Она металась в бреду, пытаясь покончить самоубийством, изобретая странные виды смерти; смерть всегда ускользала от нее. Порой она спорила с кем-то; тогда лицо ее принимало выражение гнева и страха; она обращалась к богу и упрямо доказывала ему, что во всем виноват он. Или глаза ее вспыхивали страстью, и она произносила бесстыдные слова, которых, казалось, и знать-то не могла. На мгновенье она заметила Бэби и дала ей вполне отчетливое распоряжение относительно завтрашней стирки. Ночью она задремала. Потом вдруг приподнялась; Браун подбежал к ней. Она странно поглядела на него, бормоча что-то нетерпеливо и неразборчиво. Он спросил ее:

— Анна, дорогая, чего ты хочешь?

Она резко приказала:

— Сходи за ним!

— За кем? — спросил он.

Она поглядела на него опять, все с тем же выражением, внезапно расхохоталась, потом провела рукою по лбу и застонала:

— О, боже мой! Забыть!..

После этих слов она уснула и проспала спокойно до утра. На рассвете она пошевельнулась; Браун приподнял ей голову и дал пить; она покорно сделала несколько глотков и, склонившись к рукам Брауна, поцеловала их. Потом опять задремала.

В субботу утром больная проснулась около девяти часов. Не говоря ни слова, она спустила ноги с постели и хотела встать. Браун попытался снова уложить ее. Она заупрямилась. Он спросил ее, чего она хочет. Она ответила — пойти в церковь. Он старался уговорить ее, напомнить, что сегодня не воскресенье, что храм заперт. Она молчала, но, сидя на стуле, около постели, дрожащими руками натягивала на себя одежду. Вошел доктор, друг Брауна. Он присоединился к его уговорам; потом, видя, что она не уступает, осмотрел ее и в конце концов согласился. Он отвел Брауна в сторону и сказал, что заболевание его жены кажется ему чисто психическим и сейчас не сле-

дует перечить ей. Он не видит опасности в том, чтобы она вышла, лишь бы только Браун сопровождал ее. Браун сказал Анне, что пойдет с нею. Она отказалась и хотела идти одна. Но при первых же шагах по комнате споткнулась. Тогда, не говоря ни слова, она взяла Брауна под руку, и они вышли. Несколько раз он спрашивал ее, не вернуться ли домой. Она продолжала идти. Дойдя до церкви, они нашли ее, как и предупреждал Браун, запертой. Анна села на скамью у входа и, вся дрожа, просидела до тех пор, пока не пробило двенадцать. Тогда она снова взяла Брауна под руку, и они молча вернулись домой. Но вечером она захотела опять пойти в церковь. Все мольбы Брауна были напрасны. Пришлось снова идти.

Кристоф провел эти два дня в одиночестве. Браун был слишком озабочен, чтобы думать о нем. Один только раз, в субботу утром, стараясь отвлечь Анну от навязчивого желания выйти, он спросил ее, не хочет ли она видеть Кристофа. Лицо ее выразило такой ужас и отвращение, что Браун был поражен, и имя Кристофа с тех пор уже не произносилось.

Кристоф заперся у себя в комнате. Тревога, любовь, укоры совести, целый хаос страданий бушевал в нем. Он винил себя во всем. Он изнемогал от отвращения к себе. Несколько раз он порывался пойти и сознаться во всем Брауну, но его тотчас же останавливала мучительная мысль, что так будет только еще одним несчастным больше. Страсть не давала ему пощады. Он бродил по коридору перед комнатой Анны и, едва заслышав у двери приближающиеся шаги, убегал к себе.

Когда Анна и Браун под вечер вышли из дому, он подкараулил их, спрятавшись за занавеской своего окна. Он увидел Анну. Она, всегда такая прямая и гордая, шла теперь сгорбленная, с опущенной головой; лицо ее стало желтым; постаревшая, точно придавленная тяжестью плаща и шали, в которые укутал ее муж, она была безобразна. Но Кристоф не видел ее безобразия, он видел только, что она несчастна, и сердце его переполнилось жалостью и любовью. Ему хотелось кинуться к ней, пасть перед нею в грязи на колени, целовать ее ноги, ее сломленное страстью тело, вымаливая у нее прощение. И он думал, глядя на нее: «Дело рук моих! Вот оно!» Но взгляд его встретил в зеркале собственное изображение; он увидел на лице своем ту же опустошенность; он увидел на себе тот же отпечаток смерти, что и на ней, и подумал: «Дело рук моих? Нет. Это дело рук жестокого владыки, который сводит с ума и убивает».

Дом был пуст. Бэби вышла, чтобы посудачить с соседями о событиях этого дня. Время уходило. Пробило пять часов.

Ужас охватил Кристофа при мысли об Анне, которая скоро должна вернуться, и о приближающейся ночи. Он чувствовал, что у него не хватит сил оставаться в эту ночь под одной кровлей с нею. Разум его изнемогал под гнетом страсти. Он не знал, что он сделает, не знал, чего он хочет,— он знал только, что хочет Анну. Любой ценой. Он подумал об этом жалком создании, которое недавно прошло мимо его окна, и сказал себе: «Спасти ее от меня!»

Порыв воли налетел на него, как шквал. Кристоф собрал в охапку кипы разбросанных на столе бумаг, перевязал их, взял шляпу, плащ и вышел. В коридоре у дверей Анны, охваченный страхом, он ускорил шаги. Внизу он окинул последним взглядом пустынный сад. Он убегал, как вор. Ледяной туман точно иглами пронизывал кожу. Кристоф крался вдоль стен, боясь встретить кого-нибудь из знакомых. Он отправился на вокзал. Сел в поезд, уходящий в Люцерн. С первой же станции отправил Брауну письмо, где сообщал, что неотложное дело отзывало его на несколько дней из города, и сокрушался, что должен оставить его в такую минуту; он просил писать по адресу, который тут же указывал. В Люцерне он сел в сен-готардский поезд и ночью вылез на какой-то маленькой станции между Альторфом и Гешененом. Он не знал ее названия и так и не узнал никогда. Он вошел в первую попавшуюся гостиницу около вокзала. Огромные лужи преграждали дорогу. Дождь лил как из ведра; дождь шел всю ночь; дождь шел весь следующий день. Из лопнувшего желоба с шумом водопада падала вода. Небо и земля были затоплены, они расплывались, как мысли Кристофа. Он лег на влажные, пахнущие железнодорожным дымом простыни, но не мог лежать. Мысль об опасностях, угрожающих Анне, слишком поглощала его, чтобы он мог думать о своих собственных муках. Надо было обмануть злобные подозрения общества, направить их по ложному следу. В том состоянии лихорадочного возбуждения, в котором он находился, ему пришла в голову странная мысль: он придумал написать одному из немногих музыкантов, с которыми сошелся в городе,— Кребсу, органисту-кондитеру. Он намекнул ему, что сердечные дела влекут его в Италию, что эта страсть заполонила его еще до того, как он приехал и поселился у Брауна, что он тщетно пытался от нее избавиться, но она оказалась сильнее его. Все это в выражениях достаточно ясных, чтобы Кребс понял, и достаточно туманных, чтобы он мог прикрасить отсебятиной. Кристоф просил Кребса сохранить все в тайне. Он знал, что этот человек отличается болезненной болт-

ливостью, и рассчитывал — вполне правильно,— что, едва получив известие, Кребс побежит разглашать его по всему городу. Чтобы окончательно отвлечь подозрения общества, Кристоф закончил письмо несколькими весьма холодными словами о Брауне и о болезни Анны.

Остаток ночи и следующий день Кристоф провел все более и более одержимый своей навязчивой идеей. Анна... Анна... Он снова день за днем переживал последние месяцы, проведенные с нею, видя ее сквозь мираж своей страсти. Он всегда создавал ее по образу своей фантазии, своих желаний, наделяя ее нравственным величием, мучительно обостренной совестью, чтобы еще сильнее любить ее. Эта ложь, порожденная страстью, становилась еще убедительнее теперь, когда присутствие Анны не могло ее опровергнуть. Она представлялась ему здоровой и свободной от природы, но угнетенной женщиной, которая рвалась из своих оков, стремилась к прямой и широкой дороге, к вольному простору, а затем, испугавшись, боролась со своими инстинктами потому, что они не согласовались с ее жизнью и делали ее участь еще более мучительной. Она взывала к нему: «На помощь!» Он снова обнимал ее прекрасное тело. Воспоминания терзали его; он находил убийственное наслаждение, мучая себя и бередя свои раны. По мере того как угасал день, чувство утраты становилось настолько ужасным, что он уже не мог больше дышать.

Сам не зная, что делает, он встал, вышел, расплатился в гостинице и сел в первый поезд, отправлявшийся в город, где жила Анна. Он прибыл поздней ночью и пошел прямо к дому. Стена отделяла переулок от сада, смежного с садом Брауна. Кристоф взобрался на стену, спрыгнул в чужой сад, прокрался оттуда в сад Брауна. Он очутился перед домом. Все тонуло во тьме, только слабый свет ночника желтоватым отблеском окрашивал одно из окон — окно Анны. Там была Анна. Там она страдала. Достаточно ему было сделать шаг, чтобы войти. Он протянул руку к ручке двери. Потом поглядел на свою руку, на дверь, на сад; вдруг отдал себе отчет в своем поступке и, пробудившись от владевшего им в течение семи-восьми часов наваждения, содрогнулся. Резким движением он стряхнул с себя оцепенение, приковавшее его ноги к земле; он кинулся к стене, снова перелез через нее и убежал.

В ту же ночь он вторично покинул город и на следующий день укрылся в какой-то горной деревушке, под снежными вихрями. Похоронить свое сердце, усыпить свою мысль, забыть, забыть!..

«E però leva su, vinci l'ambascia
Con l'animo che vince ogni
battaglia,
Se col suo grave corpo non
s'accascia...»

. . . . . .

Leva'mi allor, mostrandomi
fornito
Meglio di lena ch'io non mi sentia;
E dissi: «Va, ch'io son forte ed
ardito».
Inf. XXIV [1].

«Господи, что сделал я тебе? За что сокрушаешь ты меня? С самого детства ты дал мне в удел страдание, борьбу. Я боролся, не жалуясь. Я любил свое страдание. Я старался сохранить чистой душу, которую ты мне дал, сберечь огонь, который ты вложил в меня... Владыка, это ты, ты с ожесточением разрушаешь то, что создал, ты погасил это пламя, ты запятнал эту душу, ты отнял у меня все, чем я жил. Два сокровища было у меня на свете: мой друг и моя душа. У меня ничего больше нет, ты все взял у меня. Одно только существо было моим в пустыне мира — ты похитил его у меня. Наши сердца слились воедино, ты разлучил их; ты для того дал нам познать сладость встречи, чтобы мы лучше познали ужас взаимной утраты. Ты создал пустоту вокруг меня и во мне. Я был разбит, немощен, безволен, безоружен, как ребенок, плачущий в ночи. Ты избрал этот час, чтобы сразить меня. Ты тихонько подкрался ко мне, сзади, как предатель, и нанес мне удар в спину; ты выпустил на меня лютого своего пса — страсть; я был без сил,— ты это знал,— и я не мог бороться; она свалила меня, она все опустошила во мне, все осквернила, все разрушила... Я отвратителен сам себе. Если бы я мог, по крайней мере, выплакать, высказать

[1] «Встань, победи томленье, нет побед,
Запретных духу, если он не вянет,
Как эта плоть, которой он одет!..»

.

Тогда я встал; я показать хотел,
Что я дышу свободней, чем на деле,
И молвил так: «Идем, я бодр и смел!»
*Данте, «Божественная комедия», «Ад», песнь XXIV.*

свою боль, свой позор! Или забыть их в потоке творящей силы! Но сила моя сломлена, творчество мое иссякло. Я — мертвое дерево... Мертвое... О, зачем я не мертв! Господи, освободи меня, разбей это тело и эту душу, оторви меня от земли, вырви меня с корнем из жизни, спаси меня, вытащи меня из бездны! Я взываю о пощаде... Убей меня!»

Так взывала скорбь Кристофа к богу, в которого разум его не верил.

Кристоф нашел себе убежище на уединенной ферме, в Швейцарской Юре. Дом, задней своей стеной обращенный к лесу, скрывался в одной из лощин высокого холмистого плоскогорья. Неровности почвы охраняли его от северных ветров. Спереди простирались луга, тянулись лесистые склоны; скала внезапно обрывалась отвесной кручей, искривленные ели цеплялись за ее края; ветвистые буки стояли, точно отпрянув назад. Угасшее небо. Исчезнувшая жизнь. Какое-то отвлеченное пространство со смутными очертаниями. Все спало под снегом. Только лисицы по ночам лаяли в лесу. Был конец зимы. Запоздалой зимы. Бесконечной зимы. Каждый раз, когда казалось, что она уже кончилась, она начиналась сызнова.

Но вот уже с неделю старая оцепеневшая земля почувствовала, как возрождается в ней жизнь. Ранняя обманчивая весна проникала в воздух и под ледяную кору. С буковых ветвей, распростертых подобно парящим крыльям, капал тающий снег. Сквозь белый плащ, покрывавший луга, уже пробивались редкие нежно-зеленые травинки; вокруг их тоненьких иголок через прорехи снега, точно через маленькие рты, дышала влажная и черная земля. В дневные часы журчала вода, еще сонная под своим ледяным покровом. В обнаженных лесах несколько птиц уже насвистывало свои звонкие, еще робкие песни.

Кристоф ничего не замечал. Для него все оставалось неизменным. Он без конца шагал взад и вперед по комнате или бродил вокруг дома. Невозможно было сидеть на месте: душу его терзали вселившиеся в нее демоны. Они вырывали ее друг у друга. Подавленная страсть продолжала бешено биться о стены дома. Отвращение к страсти было не менее яростным; оба эти чувства хватали друг друга за горло и в своей жестокой схватке раздирали сердце на части. И тут же — воспоминание об Оливье, отчаянье, вызванное его смертью, не находившая себе выхода неотвязная потребность творчества, гордость, встававшая

шая на дыбы перед зияющей пустотой небытия. Все дьяволы ада бушевали в Кристофе. Ни минуты передышки. А если и наступало обманчивое затишье, если вздымающиеся волны и опадали на мгновенье, то он снова оставался одиноким и покинутым и уже не узнавал сам себя: мысль, любовь, воля — все было убито.

Творить! Это был единственный исход. Отдать на волю волн разбитый челн своей жизни. Броситься вплавь в спасительные грезы искусства! Творить! Он жаждал этого... И не мог.

Кристоф никогда не умел работать методически. Пока он был сильным и здоровым, его скорее смущал избыток творческого вдохновения, чем мысль, что оно может оскудеть; он поддавался своим прихотям, работал, как ему вздумается, в зависимости от случайных обстоятельств, не подчиняясь никаким правилам. В действительности он работал всюду и всегда; мозг его непрерывно был занят. Не раз Оливье, менее одаренный и более рассудительный, предупреждал его:

— Берегись. Ты слишком доверяешься своей силе. Ты словно горный поток. Сегодня он полон, завтра, быть может, иссякнет. Художник должен направлять свой гений, не позволять ему распыляться по воле случая. Введи свою силу в русло. Подчини себя привычкам, гигиене ежедневной работы в определенные часы. Они так же необходимы художнику, как военная выправка и маршировка солдату, которому предстоит сражаться. Когда наступают критические минуты (а они всегда наступают), эти железные доспехи не дают человеку упасть. Я-то это хорошо знаю! И если я до сих пор не умер, то только потому, что они спасали меня.

Но Кристоф возражал, смеясь:

— Все это хорошо для тебя, мой дорогой. А мне не грозит опасность потерять вкус к жизни. У меня слишком хороший аппетит.

Оливье пожимал плечами:

— Избыток влечет за собой оскудение. Нет опаснее больных, чем слишком здоровые люди.

Слова Оливье теперь оправдались. После смерти друга родник, питавший внутренний огонь, иссяк не сразу, он стал течь с какими-то перебоями: то внезапными струйками пробивался наружу, то терялся под землею. Кристоф не обращал на это внимания — не все ли ему было равно? Скорбь и зарождавшаяся страсть поглощали его мысли. Но когда миновала буря и он снова стал разыскивать родник, чтобы напиться, он не нашел ничего. Пустыня. Ни капли воды. Душа высохла. Тщетно пы-

тался он рыть песок, заставить бить ключом подпочвенные воды, творить во что бы то ни стало,— механизм мысли отказывался работать. Он не мог призвать на помощь привычку, верную союзницу, которая, когда мы утрачиваем всякий смысл жизни, одна остается подле нас; преданная и упорная, без единого лишнего слова, без единого жеста, с застывшим взором и сомкнутыми устами, твердой, недрогнувшей рукой она ведет нас по опасным теснинам до тех пор, пока снова не блеснет дневной свет и не появится вкус к жизни. Кристоф оставался без помощи, и рука его не встречала ничьей руки в окружавшей его тьме. Он не мог уже выйти на дневной свет.

Это было последнее испытание. Он почувствовал себя на грани безумия. Порою — нелепая и сумасшедшая борьба с собственным мозгом, навязчивые идеи, какая-то одержимость числами: он пересчитывал доски на полу, деревья в лесу; цифры и аккорды, в которых ему не удавалось разобраться, сражались в его голове в полном боевом порядке. Порою он впадал в состояние прострации, точно уже умер.

Никто не заботился о нем. Он жил в уединенном флигеле, на отшибе. Сам убирал комнату, и убирал не каждый день. Пищу ему оставляли внизу; он не видел ни одного человеческого лица.

Хозяин его, старый крестьянин, сумрачный, черствый, не интересовался им. Ел ли Кристоф, не ел ли — это его не касалось. Разве что вечером проверит, вернулся ли он. Однажды Кристоф заблудился в лесу, увяз почти по пояс в снегу; еще немного — и он бы не смог вернуться. Он старался доконать себя усталостью, чтобы не думать. Это ему не удавалось. Только изредка — несколько часов сна, вызванного полным изнурением.

Одно лишь живое существо, казалось, было привязано к нему — старый сенбернар, который подходил к нему и клал свою большую голову с налитыми кровью глазами ему на колени, когда Кристоф сидел на скамейке перед домом. Они подолгу смотрели друг на друга. Кристоф не отталкивал его. Его не смущали эти глаза, как смущали когда-то больного Гете. Ему не хотелось крикнуть: «Уйди! Как ни старайся, злой дух, тебе меня не сцапать!»

Он рад был бы ответить этим умоляющим, сонным глазам, рад был бы прийти им на помощь: он чувствовал в них плененную, просящую его о чем-то душу.

В эту пору, размягченный страданием, живьем вырванный из жизни, лишенный человеческого эгоизма, он видел мучения беззащитных жертв человека, видел бранное поле, на котором,

убивая других существ, торжествует человек, и сердце Кристофа разрывалось от жалости и ужаса. Даже в счастливые свои дни он любил животных; он не мог выносить жестокости по отношению к ним; к охоте у него было отвращение, которого он не решался высказывать, боясь показаться смешным; быть может, это чувство было тайной причиной его необъяснимого отчуждения от некоторых людей: никогда не мог бы он подружиться с человеком, убивающим животных ради удовольствия. Тут не было сентиментальности: он лучше, чем кто-либо, знал, что жизнь основана на безмерных страданиях и беспредельной жестокости; нельзя жить, не причиняя страданий. Нельзя просто закрывать глаза и утешаться словами. Нельзя отречься от жизни и хныкать, как ребенок. Нет. Надо убивать, чтобы жить, если в данное время нет иного способа жить. Но тот, кто убивает ради удовольствия убить,— негодяй. Бессознательный негодяй, разумеется. Но все же негодяй. Все усилия человека должны быть постоянно направлены на то, чтобы уменьшить количество страданий и жестокости: это его первый долг.

В обычных условиях мысли эти лежали у Кристофа под спудом, в самой глубине сердца. Он не хотел об этом думать. К чему? Чем он может помочь? Он должен быть Кристофом, должен осуществить свое призвание, жить во что бы то ни стало, жить за счет более слабых. Не он создал вселенную. Не надо, не надо думать об этом...

Но после того как несчастье отбросило и его в ряды побежденных, ему все же пришлось об этом подумать. Когда-то он порицал Оливье, погруженного в бесплодные угрызения и тщетное сочувствие горестям, которые люди испытывают и сами причиняют другим. Теперь он даже превзошел его; с пылкостью, свойственной могучей натуре, он проникал в самую глубь мировой трагедии; он страдал всеми муками мира, с него словно содрали кожу. Он не мог больше без тоскливого содрогания думать о животных. Он читал в их взглядах, он прозревал их душу, подобную своей, душу, не умеющую высказаться, но глаза кричали вместо нее: «Что я вам сделал? За что вы мучаете меня?»

Самое обыденное зрелище, которое он видел сотни раз, раздирало ему сердце: вот маленький теленок, посаженный в решетчатый ящик, жалобно мычит — у него большие черные глаза навыкате, с голубоватым белком, розовые веки, белые ресницы, белый курчавый клок на лбу, лиловатое рыльце, узловатые колени; вот ягненок с болтающейся головой, которого крестьянин несет, держа за связанные ноги,— он старается

вырваться, стонет, как ребенок, и блеет, вытягивая серый язык; вот куры, втиснутые в корзинку; вот слышится в отдалении визг закалываемой свиньи; вот потрошат на кухонном столе рыбу... Кристоф не мог больше выносить этого. У него сжималось сердце от несказанных пыток, которым подвергает человек эти невинные существа. Наделите животное проблеском разума; представьте себе, каким ужасным сном является для него наш мир: равнодушные, слепые и глухие люди, которые убивают его, вспарывают ему живот, режут его на куски, свежуют, варят живьем, забавляются его предсмертными судорогами. Возможно ли найти что-нибудь страшнее среди африканских людоедов? Для людей свободной совести в страдании животных есть что-то еще более невыносимое, чем в человеческих страданиях. Здесь, по крайней мере, признано, что страдания — это зло и что тот, кто причиняет их, преступен. Но тысячи зверей люди убивают каждый день без всякой тени раскаяния. Кто намекнул бы на это, вызвал бы насмешки. А ведь это непростительное преступление. Одно оно уже оправдывает все уготованные человеку страдания. Оно взывает об отмщении роду человеческому. Если бог существует и терпит это, то оно взывает об отмщении к самому богу. Если существует милосердный бог, ничтожнейшее из этих живых созданий должно быть спасено. Если бог милосерден только к сильным, если нет справедливости для несчастных, для низших существ, принесенных в жертву человечеству, то нет в мире доброты, нет справедливости...

Увы! Убийства, совершаемые человеком, занимают такое ничтожное место в мировой бойне! Животные пожирают друг друга. Мирные растения, безмолвные деревья — лютые звери друг для друга. Безмятежный покой лесов — излюбленная тема для риторики литераторов, знающих природу только по книгам! В лесу, расположенном в нескольких шагах от дома Кристофа, происходили грозные битвы. Буки-убийцы набрасывались на сосны с их прекрасным розоватым телом, обвивали их стройный стан, подобный древним колоннам, и душили их. Они наваливались на дубы, ломали их, делали из них для себя подпорки. Буки, эти сторукие Бриареи, по десяти деревьев в одном! Они распространяли вокруг себя смерть. Когда же, за неимением врагов, они встречались друг с другом, то в бешенстве сцеплялись в рукопашном бою, пронзая друг друга, срастаясь, сплетаясь, как допотопные чудовища. Пониже, в лесу, засевшие в засаде акации вторгались на поляну, нападали на ельник, хватали и царапали вражеские корни, отравляли их своими выделениями. Борьба насмерть, в которой победитель овладевал

одновременно и местом и останками побежденного. А потом крошечные существа завершали дело больших чудовищ. Пробившиеся между корнями грибы высасывали соки из больного дерева, мало-помалу опустошая его. Черные муравьи разъедали гниющий ствол. Миллионы невидимых насекомых грызли, сверлили, обращали в прах то, что было когда-то жизнью... О, безмолвие лесных битв! О, покой природы — трагическая маска, прикрывающая страдальческое и жестокое лицо Жизни!

Кристоф шел ко дну. Но он был не из тех, кто тонет, не пытаясь бороться, держа руки по швам. Как ни хотелось ему умереть, он делал все, что только мог, чтобы выжить. Он был из тех, кто, как говорил Моцарт, «хочет действовать до тех пор, пока наконец не останется никакой возможности что-либо делать». Он чувствовал, что погибает, и, падая, простирал руки во все стороны, ища опоры, за которую мог бы зацепиться. Ему показалось было, что он нашел ее. Он вдруг вспомнил о ребенке Оливье и тотчас же сосредоточил на нем всю свою волю к жизни; он ухватился за него. Да, он должен разыскать его, вытребовать к себе, воспитать, любить, заменить ему отца, возродить Оливье в его сыне. Как мог он в своем эгоистическом страдании не подумать об этом? Он написал Сесили, на попечении которой оставался ребенок. Он лихорадочно ждал ответа. Все существо его тянулось к одной этой мысли. Он принуждал себя к спокойствию: у него оставалась возможность надеяться. Он верил, зная доброту Сесили.

Пришел ответ. Сесиль писала, что через три месяца после смерти Оливье к ней явилась какая-то дама в трауре и сказала:

— Верните мне моего ребенка.

Это была та, что покинула когда-то своего ребенка и Оливье,—Жаклина, но настолько изменившаяся, что трудно было ее узнать. Ее любовное безумие длилось недолго. Она охладела к любовнику раньше, чем он к ней. Она вернулась разбитая, пресыщенная, постаревшая. Слишком громкий скандал, вызванный ее похождениями, закрыл перед нею двери многих домов. Наименее щепетильные оказались наиболее строгими. Даже ее мать выказала ей такое оскорбительное презрение, что Жаклина не могла у нее остаться. Она увидела насквозь лицемерие «света». Смерть Оливье окончательно сразила ее. Она казалась такой пришибленной, что Сесиль почувствовала себя не вправе отказать в ее просьбе. Было, конечно, тяжело отдавать маленькое существо, которое уже привык считать своим. Но еще тя-

желее быть жестоким с человеком, у которого больше прав, чем у тебя, и который несчастнее тебя. Она хотела было написать Кристофу, спросить у него совета. Но Кристоф ни разу не ответил на ее письма; она не знала даже, жив он или умер... Радость приходит и уходит. Что делать? Надо смириться. Главное, чтобы ребенок был счастлив и любим...

Письмо пришло вечером. Запоздалый возврат зимы снова укрыл все снегом. Он падал всю ночь. В лесу, где уже распустились листочки, под тяжестью его трещали и ломились деревья. Это походило на пушечную пальбу. Кристоф, один у себя в комнате, без огня, посреди фосфоресцирующего мрака, прислушивался к лесной трагедии, вздрагивая при каждом выстреле; и он сам похож был на одно из этих согбенных под тяжестью, скрипящих деревьев. Он говорил себе:

«Теперь все кончено».

Прошла ночь, вернулся день; дерево не сломалось. Весь этот день и следующая ночь и все последующие дни и ночи дерево продолжало гнуться и скрипеть, но оно не сломалось. Кристофу уже незачем было жить, а он жил. Ничто уже не побуждало его к борьбе, а он боролся в рукопашной схватке с невидимым врагом, дробящим ему позвоночник. Точно Иаков с ангелом! Он ничего не ждал от борьбы, ничего не ждал, кроме конца, и все же продолжал бороться. И он взывал:

— Сокруши же меня! Почему ты меня не сокрушаешь?

Прошло всего несколько дней. Кристоф вышел из битвы опустошенным. Он все-таки упорно держался на ногах, выходил, бродил. Счастливы те, кого здоровая порода поддерживает в минуты жизненных затмений! Ноги отца и деда носили готовое уже рухнуть тело сына; семя могучих предков поддерживало разбитую душу, точно мертвого всадника, которого уносит конь.

Кристоф шел по гребню холма между двумя оврагами, спускаясь узкой тропинкой, усеянной острыми камнями и оплетенной узловатыми корнями малорослых дубков,— шел, сам не зная куда, но более уверенный в своем пути, чем если бы им руководила ясная воля. Он давно не спал. За последние дни он почти ничего не ел. В глазах у него стоял туман. Он спускался в долину. Была пасхальная неделя. Все тонуло в дымке. Последний натиск зимы был отбит. Назревала жаркая весна. Из нижних сел доносился звон колоколов. Сперва из одного — гне-

здившегося в углублении у подножья горы с пестрыми, черно-желтыми соломенными крышами, которые словно бархатом покрыты были густым мхом. Затем из другого — невидимого, на другом склоне холма. Потом из тех, что на равнине, по ту сторону реки. И, наконец, дальний звон большого колокола из города, затерявшегося в тумане. Кристоф остановился. Сердце его изнемогало. Голоса эти, казалось, говорили ему:

«Приди к нам! Здесь покой. Здесь угасает страдание. Угасает вместе с мыслью. Мы так сладко убаюкиваем душу, что она засыпает у нас на руках. Приди и отдохни, ты больше не проснешься...»

Каким он чувствовал себя усталым! Как хотелось ему уснуть! Но он покачал головой и сказал:

«Не покоя ищу я, а жизни».

Он снова пустился в путь. Сам того не замечая, он прошел несколько миль. В бредовом состоянии, в котором он находился, самые простые ощущения вызывали неожиданную реакцию. Мысль его отбрасывала на землю и в воздух причудливые отблески. Какая-то непонятная тень, бежавшая перед ним по белой, пустынной, залитой солнцем дороге, заставила его вздрогнуть.

Выйдя из лесу, он очутился у незнакомого села. Он повернул обратно: вид людей был ему тягостен. Но все-таки он не мог миновать одинокого дома, стоявшего в стороне над поселком; дом этот прилепился к выступу горы и похож был на санаторий; его окружал большой, открытый солнечным лучам сад; какие-то фигуры неверными шагами бродили по усыпанным песком дорожкам. Кристоф не обратил на них внимания, но на повороте тропинки он оказался лицом к лицу с одним из них. У незнакомца были тусклые глаза и жирное лицо; сидя на скамье под сенью двух тополей, он неподвижно смотрел куда-то перед собой. Рядом с ним сидел другой человек; оба молчали. Кристоф прошел мимо. Но, сделав четыре шага, остановился: глаза эти были ему знакомы. Он оглянулся. Человек не пошевелился — он продолжал пристально смотреть прямо перед собой. Но спутник его обернулся к Кристофу, который знаком подозвал его к себе. Человек подошел.

— Кто это? — спросил Кристоф.

— Это больной из дома умалишенных,— сказал человек, указывая на строение.

— Мне кажется, что я его знаю,— сказал Кристоф.

— Возможно,— ответил тот.— Он был очень известным писателем в Германии.

Кристоф назвал имя. Да, имя было то самое. Он встречал его раньше, в те времена, когда писал в маннгеймовской газете. Тогда они были врагами; Кристоф только начинал, а тот был уже знаменит. Это был сильный и уверенный в себе человек, презиравший всех, кроме себя, замечательный романист, чье реалистическое и чувственное творчество стояло много выше посредственных произведений современности. Кристоф, при всей своей ненависти, не мог не восхищаться совершенством этого искусства, вещественного, искреннего, но ограниченного.

— Это с ним стряслось год назад,— сказал санитар.— Его лечили, думали, что он выздоровел; отпустили домой. А потом началось все сызнова; как-то вечером он выбросился из окна. Первое время он был буйным, раздражался, кричал. Теперь он успокоился. Он проводит дни, сидя на одном месте, вот как сейчас.

— На что это он смотрит? — спросил Кристоф.

Он подошел к скамье. Он с жалостью разглядывал бледное лицо побежденного, тяжелые, нависшие на глаза веки; один глаз был почти закрыт. Сумасшедший, казалось, не замечал присутствия Кристофа. Кристоф назвал его по имени, взял его руку, мягкую и влажную руку, беспомощную, точно мертвую; у него не хватило смелости задержать ее в своей. Человек на мгновенье поднял на Кристофа свои блуждающие глаза, потом снова уставился прямо перед собой с бессмысленной улыбкой. Кристоф спросил:

— На что вы смотрите?

Человек, не двигаясь, промолвил вполголоса:

— Я жду.

— Чего?

— Воскресения.

Кристоф вздрогнул. Потом поспешно удалился. Слово пронзило его точно огненной стрелой.

Он углубился в лесную чащу, снова поднялся на гору и направился обратно к дому. В смятении своем он сбился с дороги и очутился среди большого елового леса. Мрак и тишина. Несколько светло-рыжих солнечных пятен, проникших неизвестно откуда, падали в самую гущу тени. Кристофа завораживали эти блики. Все вокруг казалось тьмою. Он шел по ковру из сухих еловых игл, спотыкаясь о корни, выпиравшие, точно набухшие жилы. У подножья деревьев — ни былинки, ни мха. В ветвях — ни единого птичьего голоса. Нижние ветки засохли. Вся жизнь перекочевала наверх, туда, где солнце. Скоро и эта жизнь угасла. Кристоф вошел в чащу, подтачиваемую ка-

ким-то таинственным недугом. Длинные и тонкие, как паутина, лишаи опутывали своей сетью ветви красных елей, связывали их до самой вершины, перекидывались с одного дерева на другое, душили лес. Точно подводные водоросли с невидимыми щупальцами. А вокруг было безмолвие морских глубин. Наверху бледнело солнце. Туманы, коварно пробравшиеся в глубь мертвого леса, обступили Кристофа. Все погрузилось в сумрак, все исчезло. В течение получаса Кристоф бродил наугад в пелене белого тумана, которая постепенно становилась плотнее, темнела, проникала ему в грудь; ему казалось, что он идет прямо, на самом же деле он все кружил под гигантскими паутинами, свисавшими с задушенных елей; туман, проходя сквозь них, оставлял на них дрожащие студеные капли. Наконец петли поредели, образовался просвет, и Кристофу удалось выбраться из подводного леса. Он снова увидел живые деревья и молчаливую борьбу елей и буков. Но всюду была та же неподвижность. Тишина, нараставшая в продолжение многих часов, томила. Кристоф остановился, чтобы прислушаться к ней...

И вдруг вдали — надвигающийся ропот. Ветер-предвестник вырвался из глубины леса. Как мчащийся во весь опор конь, налетел он на верхушки деревьев, и они заколыхались. Так пролетает в смерче бог Микеланджело. Он пронесся над головой Кристофа. Лес и сердце Кристофа содрогнулись. Это был предтеча...

Снова водворилась тишина. Кристоф, охваченный священным ужасом, с подкашивающимися ногами, торопливо вернулся домой. На пороге он тревожно оглянулся, как человек, которого преследуют. Природа казалась мертвой. Леса, покрывавшие склоны горы, спали, отягченные гнетущей печалью. В неподвижном воздухе стояла какая-то волшебная прозрачность. Ни звука. Только погребальная музыка потока — воды, гложущей камень,— звучала как похоронный звон земли. Кристоф прилег; его лихорадило. В соседнем хлеву, встревоженные, как и он, волновались животные...

Ночь. Он задремал. В тишине снова послышался дальний ропот. Ветер возвращался на этот раз уже ураганом — весенний ветер, согревающий жарким своим дыханием зябкую, еще спящую землю, ветер, растапливающий льды и собирающий живительные дожди. Он грохотал, как гром, в лесах по ту сторону оврага. Он приблизился, разросся, промчался вверх по склонам, и вся гора взревела. В хлеву заржала лошадь, замычали коровы. Кристоф, приподнявшись на кровати, слушал; волосы у него встали дыбом. Буря налетела, заулюлюкала, за-

хлопала ставнями, заскрипела флюгерами, сорвала черепицы с крыши, сотрясая весь дом. Горшок с цветами упал и разбился. Неплотно закрытое окно Кристофа с шумом распахнулось, и в комнату ворвался горячий ветер. Он ударил Кристофа прямо в лицо и в обнаженную грудь. Кристоф, задыхаясь, с открытым ртом, соскочил с кровати. В его пустую душу точно ворвался живой бог. Воскресение!.. Воздух наполнял его грудь, поток новой жизни проникал в него до самых недр. Он чувствовал, что вот-вот задохнется; ему хотелось кричать, кричать от боли и радости, но с уст его слетали одни только нечленораздельные звуки... Он спотыкался, он колотил в стену руками, он метался среди бумаг, подхваченных ворвавшимся в комнату вихрем. Он упал на пол посреди комнаты, крича:

— О, ты, ты! Наконец-то ты вернулся!

— Ты вернулся, ты вернулся! О, ты, кого я утратил!.. Зачем ты покинул меня?

— Чтобы выполнять возложенную на меня миссию, от которой ты отрекся.

— Какую миссию?

— Борьбу.

— К чему тебе бороться? Разве ты не властелин всего мира?

— Я не властелин.

— Разве ты не все сущее?

— Я не все сущее. Я Жизнь, борющаяся с Небытием. А не Небытие. Я — Огонь, горящий в Ночи. А не Ночь. Я — вечная Борьба, а над борьбой нет вечного рока. Я — свободная Воля, вечно борющаяся свободная Воля. Борись и гори вместе со мной.

— Я побежден. Я более ни на что не годен.

— Ты побежден? Тебе кажется, что все потеряно? Другие будут победителями. Не думай о себе, думай о своей армии.

— Я один, у меня никого нет, кроме самого себя, и нет у меня армии.

— Ты не один, и ты не принадлежишь себе. Ты — один из моих голосов, одна из моих рук. Говори и рази за меня. Но если рука сломана, если голос заглох, я все-таки сражаюсь стойко. Я продолжаю бороться другими голосами, другими руками. Побежденный, ты все же принадлежишь к армии, вовеки непобедимой. Помни это — и ты пребудешь победителем и в самой смерти.

— Владыка, я так страдаю!

— А я, ты думаешь, не страдаю? Уже века преследует меня смерть и подстерегает небытие. Только битвами, только победами прокладываю я себе путь. Река жизни обагрена моей кровью.

— Бороться, вечно бороться?

— Надо вечно бороться. Бог тоже борется. Бог — завоеватель. Он — лев пожирающий. Небытие обступает бога, и бог повергает его во прах. И ритм этой борьбы создает высшую гармонию. Гармония эта — не для твоего смертного слуха. Достаточно тебе знать, что она существует. Делай свое дело с миром; остальное предоставь богам.

— У меня нет больше сил.

— Пой для тех, кто силен.

— Голос мой умолк.

— Молись.

— Сердце мое осквернено.

— Вырви его. Возьми мое.

— Владыка, нетрудно забыть себя, отбросить свою мертвую душу. Но могу ли я отбросить моих мертвецов, могу ли забыть любимых?

— Брось своих мертвецов вместе с мертвой своей душой. Ты снова обретешь их живыми вместе с моей живой душой.

— О, ты, покинувший меня, покинешь ли ты меня снова?

— Да, покину снова. Не сомневайся в этом. Это ты не должен покидать меня.

— Но если жизнь моя угасает?

— Зажги другие жизни.

— Но если во мне смерть?

— Жизнь вне тебя. Иди отвори ей двери. Безумец, запирающийся в своем разрушенном доме! Выйди наружу. Есть другие жилища.

— О жизнь, о жизнь! Вижу... Я искал тебя в себе, в своей пустой и замкнутой душе. Душа моя распадается; в окна ран моих хлынул воздух; я дышу, я снова нашел тебя, о жизнь!

— И я нашел тебя снова... Молчи и слушай.

И Кристоф услышал, словно журчание родника, зарождающуюся в нем песню жизни. Высунувшись из окна, он увидел лес, вчера мертвый, а теперь кипевший на ветру и на солнце и вздымавшийся, как море. По хребту деревьев радостной дрожью пробегали волны ветра; и согнутые ветви простирали

свои ликующие руки к ослепительному небу. А поток звенел, как праздничный колокол. Тот же пейзаж, вчера покоившийся в могиле, воскрес, к нему вернулась жизнь, так же как любовь вернулась в сердце Кристофа. Чудо души, которой коснулась благодать! Она пробуждается к жизни! И все оживает вокруг нее. Сердце вновь начинает биться. Вновь струятся иссякшие ключи.

И Кристоф снова вступил в священную битву. Но как теряется его собственная борьба, так теряется борьба всего человечества в этой гигантской схватке, где падают солнца, словно снежные хлопья, сметаемые вихрем! Он обнажил свою душу. Точно во сне, он витал в пространстве, он реял над самим собой, он видел себя с высоты, в совокупности явлений, и сразу же открылся ему смысл его страданий. Его борьба была частью великой космической битвы. Его поражение было лишь мимолетным эпизодом, тотчас же исправленным другими. Он боролся за всех, все боролись за него. Они разделяли его горести, он разделял их славу.

«Товарищи, враги, шагайте через меня, топчите меня, пусть пройдут по моему телу колеса пушек, которым суждено победить! Я не думаю о железе, терзающем мою плоть, не думаю о стопе, попирающей мою голову, я думаю о Мстителе, о Владыке, о Вожде бесчисленной армии. Кровь моя — цемент грядущей победы...»

Бог не был для него бесстрастным творцом, Нероном, созерцающим с высоты своей бронзовой башни пожар в им же зажженном городе. Бог страдает, бог борется. Со всеми, кто борется, и за всех, кто страдает. Ибо он — Жизнь, капля света, которая, канув во тьму, расплывается и поглощает ночь. Но ночь безгранична, и божественная борьба никогда не прекращается, и никому не дано знать, каков будет ее исход. Героическая симфония, где даже сталкивающиеся друг с другом и сливающиеся диссонансы образуют светлую гармонию. Как буковый лес яростно сражается среди безмолвия, так среди вечного мира воюет Жизнь.

Эти битвы, этот мир звучали в сердце Кристофа. Он был раковиной, в которой шумит океан. Трубные зовы, вихри звуков, героические клики проносились на крыльях властных ритмов. Ибо все становилось музыкой в его музыкальной душе. Она воспевала свет. Она воспевала ночь. И жизнь. И смерть. Она пела для того, кто был победителем. Для него

самого, побежденного. Она пела. Все пело. И вся она была песней.

Подобно весенним дождям, струились потоки музыки в сухую почву, растрескавшуюся от зимней стужи. Стыд, скорбь, горечь обнаруживали теперь свое таинственное предназначение: они разрыхлили землю и оплодотворили ее; сошник страдания, раздирая сердце, открыл новые источники жизни. Степь зацветала снова. Но это уже не были цветы прошлой весны. Родилась другая душа.

Она рождалась каждый миг. Ибо она еще не окостенела, как души, достигшие своего предельного роста, как души, которым суждено умереть. Это была не статуя, а расплавленный металл. Каждое мгновение создавало из нее новую вселенную. Кристоф не пытался намечать ее границы. Он отдавался радости человека, который, сбросив бремя прошлого, отправляется в дальнее путешествие с обновленной кровью, с легким сердцем вдыхает морской воздух и думает, что странствию его не будет конца. Он снова был захвачен разлитой в мире творческой силой, и богатство мира наполняло его восторгом. Он любил, он ощущал своего ближнего как самого себя. И все было ему «ближним», начиная с травы, которую он попирал ногами, и кончая рукой, которую он пожимал. Дерево, тень облака на горе, дыхание лугов, разносимое ветром, улей ночного неба, гудящий роями солнц... какой-то вихрь в крови... Он не пытался ни говорить, ни думать... Смеяться, плакать, раствориться в этом живом чуде! Писать — к чему писать? Разве можно выразить невыразимое? Но, возможно это или нет, он должен был писать. Таков был его удел. Мысли поражали его, точно молния, где бы он ни находился. Ждать было невозможно. Тогда он писал, чем попало и на чем попало. Часто он и сам не мог бы сказать, что означают эти бьющие ключом мелодии; и пока он писал, новые мысли приходили ему в голову, а за ними другие... Он писал, писал на манжетах, на подкладке шляпы; как ни быстро он писал, мысль его текла еще быстрее, и ему приходилось чуть ли не стенографировать...

Это были лишь беспорядочные записи. Трудности начались тогда, когда он попробовал отлить свои мысли в обычные музыкальные формы. Он обнаружил, что ни одна из прежних форм не годится для них; если он хотел точно запечатлеть свои видения, то прежде всего должен был забыть все, что до сих пор слышал и писал, покончить с заученным формализмом, традиционной техникой, отшвырнуть костыли бессильного духа, эту готовую постель для ленивых, для тех, кто, избегая труда

мыслить самостоятельно, укладывается в мысли других людей. Некогда, считая себя достигшим зрелости и в жизни и в искусстве (на самом деле он подходил к концу только одной из своих жизней), он изъяснялся на языке, существовавшем до рождения его мысли; чувство его покорялось заранее установленной логике развития, которая подсказывала ему иные фразы и вела его, послушного, проторенными дорогами к пределу, принятому публикой. Ныне перед ним не было никакой дороги; чувству предоставлялось самому прокладывать ее, уму оставалось лишь следовать за ним. Ныне его роль состояла даже не в том, чтобы изобразить страсть,— он должен был слиться с нею воедино и постараться воспринять внутренний ее закон.

Одновременно рушились противоречия, среди которых, не желая в этом сознаться, уже давно бился Кристоф. Ибо, несмотря на то, что он был подлинным художником, он все же часто примешивал к искусству задачи, ему чуждые; он приписывал ему некую социальную миссию. И не замечал, что в нем самом было два человека: художник, который творит, не заботясь ни о каких моральных выводах, и человек действия, рассуждающий и стремящийся сделать свое искусство высокоморальным и общественным. Подчас они ставили друг друга в весьма затруднительное положение. Теперь, когда любая творческая мысль со своим органически присущим ей законом представлялась ему высшей реальностью, он был вырван из рабства практического разума. Разумеется, он, как и прежде, презирал вялую безнравственность своего времени; разумеется, он продолжал думать, что нездоровое, развращенное искусство есть низшая ступень искусства, ибо оно представляет собою болезнь, гриб, растущий на гнилом стволе, но если искусство ради забавы есть проституируемое искусство, то Кристоф все же не противопоставлял ему пошлого утилитаризма искусства ради морали, этого бескрылого Пегаса, впряженного в плуг. Высшее искусство, единственно заслуживающее этого имени, стоит над законами и требованиями дня: оно — словно комета, брошенная в беспредельность. Полезна ли эта сила или кажется нам бесполезной и даже опасной с практической точки зрения, но она — сила, она — пламень, она — молния, брызнувшая с неба; и тем самым она священна, тем самым она благодатна. Блага ее случайно могут принести пользу, но истинная ее божественная благодать принадлежит, как и вера, к явлениям сверхъестественным. Она подобна солнцу, от которого произошла. Солнце ни нравственно, ни безнравственно. Оно — начало всего сущего. Оно побеждает тьму вселенной. Таково и искусство.

Отдавшись во власть искусства, Кристоф с изумлением заметил, как возникают в нем неведомые силы, о которых он раньше не подозревал: нечто совсем иное, чем его страсти, его печали, сознательная его душа,— новая незнакомая душа, равнодушная ко всему, что он любил и чем болел, ко всей его жизни, душа радостная, взбалмошная, дикая, непостижимая... Она взнуздала его, ударами шпор раздирала ему бока. И в редкие минуты, когда ему удавалось вздохнуть свободно, он спрашивал себя, перечитывая только что написанное: «Как могло это, вот это, возникнуть во мне?»

Он был одержим умственной лихорадкой, знакомой каждому гению, чужой волей, не зависимой от его воли, «той неизъяснимой загадкой мира и жизни», которую Гете называл «чертовщиной», и хотя был всегда вооружен против нее, однако нередко ей подчинялся.

И Кристоф все писал и писал. Целыми днями, неделями. Бывают периоды, когда оплодотворенный дух может питаться исключительно собою и продолжает творить почти беспредельно. Достаточно легкого прикосновения цветочной пыльцы, занесенной ветром, чтобы взошли и расцвели внутренние всходы, мириады всходов. Кристофу не хватало времени думать, не хватало времени жить. На развалинах жизни царила творческая душа.

Потом все оборвалось. Кристоф вышел из этого испытания разбитый, опаленный, постаревший на десять лет,— но вышел, спасся. Кристоф отошел от себя и приблизился к богу.

В его черных волосах неожиданно появились седые пряди, как осенние цветы, сентябрьской ночью внезапно расцветающие на лугах. Новые морщины бороздили его щеки. Но глаза обрели прежнее спокойствие, и складки у рта выражали смирение. Кристоф был умиротворен. Теперь он понимал. Он понимал тщету своей гордыни, тщету гордыни человеческой под угрожающим кулаком Силы, приводящей в движение миры. Никто не может быть уверен, что он властен над собой. Надо всегда бодрствовать. Ибо, если заснуть, Сила ворвется в нас, унесет нас... в какие бездны? Или же поток отхлынет и оставит нас в своем высохшем русле. Недостаточно даже хотеть, чтобы бороться. Надо смириться перед неведомым богом, который flat ubi vult [1], который насылает, когда ему вздумается и куда ему вздумается,— любовь, смерть или жизнь. Человеческая

[1] Веет, где хочет *(лат.)*.

воля бессильна без его воли. Ему достаточно одного мига, чтобы уничтожить целые годы труда и напряжения. И, если ему угодно, он из праха и грязи может вызвать к жизни вечное. Никто не чувствует себя в его власти так, как художник творец, ибо, если он поистине велик, он говорит только то, что подсказывает ему дух.

И Кристоф понял мудрость старого Гайдна, преклонявшего колени каждое утро перед тем, как взяться за перо... Vigila et ora. Бодрствуйте и молитесь. Молитесь богу, чтобы он не оставил вас. Пребывайте в любовном и благоговейном общении Духом жизни!

К концу лета один из парижских друзей, проезжая по Швейцарии, открыл убежище Кристофа. Он посетил его. Это был музыкальный критик, который всегда выказывал себя лучшим ценителем его сочинений. Его сопровождал известный живописец, выдававший себя за меломана и поклонника Кристофа. Они сообщили о большом успехе его произведений: их исполняли повсюду в Европе. Кристоф проявил мало интереса к этому известию: прошлое умерло для него; прежние произведения для него уже не существовали. По просьбе гостя, он показал ему то, что недавно написал. Тот ничего не понял. Он подумал, что Кристоф сошел с ума.

— Ни мелодии, ни ритма, ни разработки тем; какое-то жидкое ядро, расплавленная, еще не остывшая материя, принимающая любые формы и не имеющая ни одной; это ни на что не похоже; какие-то проблески в хаосе.

Кристоф улыбнулся.

— Это почти так и есть,— сказал он.— «Глаза хаоса, мерцающие сквозь покрывало порядка...»

Но тот не понял слов Новалиса.

(«Исписался»,— подумал он про себя.)

Кристоф и не старался, чтобы его поняли.

Когда гости распрощались, он проводил их немного, чтобы показать им красоты своих гор. Но прошел с ними не очень далеко. По поводу любого пейзажа музыкальный критик вспоминал декорации парижского театра, а живописец отмечал тона, беспощадно критикуя их неумелые сочетания, которые, по его мнению, напоминали торт с начинкой из ревеня в швейцарском вкусе,— кислое со сладким, в стиле Годлера; помимо того, он всячески подчеркивал свое равнодушие к природе, в сущности не совсем притворное. Он прикидывался, что не знает ее.

— Природа! Что это такое? Понятия не имею! Цвет, светотень — это другое дело! А природа — плевать мне на нее...

Кристоф пожал им руки и расстался с ними. Все это уже не трогало его. Они были по ту сторону оврага. И это было хорошо. Никому он не сказал бы: «Чтобы добраться до меня, идите вон той дорогой».

Творческий огонь, которым он горел целыми месяцами, погас. Но в сердце Кристофа сохранялось его благотворное тепло. Он знал, что огонь этот возродится если не в нем, то в комнибудь другом. Где бы он ни вспыхнул, он так же будет любить его, это будет все тот же огонь. На склоне этого сентябрьского дня Кристоф чувствовал его разлитым во всей природе.

Он направился к себе домой. Недавно прошла гроза. А теперь светило солнце. Луга дымились. С яблонь на сырую траву падали спелые плоды. Паутины, растянутые на ветках елей, еще блестящие от дождя, походили на архаические колеса микенских колесниц. На опушке влажного леса отрывистым смехом заливался зеленый дятел. И мириады маленьких ос, плясавших в солнечных лучах, наполняли лесные своды непрерывным и глубоким гуденнем органа.

Кристоф очутился на поляне, в глубине горной расщелины, в замкнутой маленькой долине правильной овальной формы, затопленной лучами заходящего солнца: красная земля, посредине — золотистое поле, переспелые хлеба и тростники цвета ржавчины. А вокруг — пояс зреющих под осенним небом лесов: медно-красные буки, белокурые каштаны, коралловые гроздья рябины, огненные язычки пламенеющих вишневых деревьев, заросли вереска с оранжевыми, лимонными, темно-коричневыми, цвета жженого трута, листьями. Точно Неопалимая купина. И из сердцевины этой пламенной чащи взлетел опьяневший от зерна и солнца жаворонок.

И душа Кристофа была как этот жаворонок. Он знал, что вскоре опять упадет и будет падать еще много раз. Но он знал также, что снова будет неустанно взлетать ввысь, к солнцу, заливаясь трелью, воспевая для тех, кто внизу, лучезарные небеса.

# КНИГА ДЕСЯТАЯ

## ГРЯДУЩИЙ ДЕНЬ

ПЕРЕВОД М. РОЖИЦЫНОЙ

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОСЛЕДНЕЙ КНИГЕ

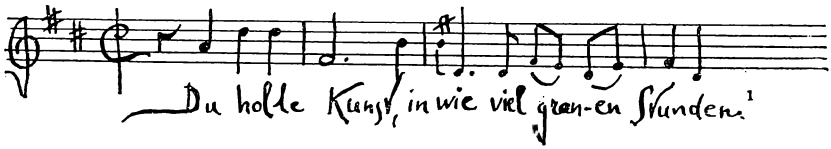
Я написал трагедию уходящего поколения, ничего не утаив. Я показал все: пороки и добродетели, гнетущую скорбь и внезапные вспышки гордости, героические усилия и изнеможение под тяжким бременем сверхчеловеческой задачи перестроить мир во всей его совокупности: мораль, эстетику, веру — создать новое человечество. Таковы были мы.

Люди сегодняшнего дня, молодежь, настал ваш черед! Пусть тела наши будут для вас ступенями — шагайте по ним вперед. Будьте выше и счастливее нас...

Я же прощаюсь со своей отжившей душой, отбрасываю ее, как пустую оболочку. Жизнь — чередование смертей и возрождений. Умрем, Кристоф, чтобы родиться вновь!

*Р. Р.*

*Октябрь 1912 г.*




Жизнь проходит. Тело и душа иссякают, как поток. В сердцевине ствола стареющего дерева отмечаются года. Все в мире умирает и возрождается. Только ты, Музыка, не бренна, ты одна бессмертна. Ты — внутреннее море. Ты глубока, как душа. Суровый лик жизни не отражается в твоих ясных зрачках. Словно гряда облаков, проносится вдали от тебя вереница быстротечных знойных, ледяных, лихорадочных дней, подгоняемых беспокойством. Только ты одна не бренна. Ты вне мира. У тебя свой собственный мир. У тебя свои законы, свое солнце, свои приливы и отливы. Ты владеешь безмолвием звезд, проводящих в ночных просторах светящиеся борозды,— подобно серебряному плугу, управляемому уверенной рукой невидимого пахаря.

Музыка, светлый друг, как сладостен твой лунный свет для глаз, утомленных резким сиянием земного солнца! Душа, которая отвернулась от общего водопоя, где люди, чтобы напиться, месят тину ногами, торопится припасть к твоей груди и пьет из свежего родника мечты. Музыка, девственная мать, носящая все страсти в своем непорочном лоне, вмещающая добро и зло в озере своих глаз цвета камыша, цвета бледно-изум-

[1] Искусство милое, как часто в мрачные часы... *(нем.)*

«Жан-Кристоф». Книга девятая.

рудной струи, стекающей с ледников, ты превыше добра, ты превыше зла. Нашедший в тебе прибежище живет вне веков. Цепь его дней покажется ему одним только днем, а всепожирающая смерть сломает на нем свои зубы.

Музыка, убаюкавшая мою исстрадавшуюся душу, Музыка, вернувшая мне ее сильной, спокойной и радостной, моя любовь и мое сокровище,— я целую твои чистые уста, я зарываюсь лицом в твои медовые волосы, я прижимаю горящие веки к мягким ладоням твоих рук. Мы молчим, глаза наши закрыты, но я вижу невыразимый свет твоих глаз, я пью улыбку твоего безмолвного рта и, прильнув к твоему сердцу, слушаю биение вечной жизни.

Кристоф не считает больше убегающих лет. Капля по капле уходит жизнь. Но его жизнь уже не здесь. У нее нет больше собственной истории. История его жизни — произведения, которые он создает. Неумолчное пение бьющей ключом музыки переполняет душу и делает ее недоступной для мирской сутолоки.

Кристоф победил. Имя его получило признание. Года идут. Волосы его поседели. Но это нисколько не тревожит Кристофа. Сердце его по-прежнему молодо, он не растерял своей силы, не отрекся от своей веры. Кристоф снова обрел спокойствие, но уже иное, чем до того, как он прошел через Неопалимую купину. В глубине его души еще живут отголоски пронесшейся грозы и воспоминание о бездне, которую разверзло перед ним разбушевавшееся море. Он знает — без соизволения бога, управляющего битвами, никто не смеет похвалиться, что он господин своей судьбы. В его душе обитают две души. Одна — высокое плоскогорье, исхлестанное ветрами и дождями. Другая — господствующая над ней,— покрытая снегами вершина, залитая лучами солнца. Жить там нельзя, но если продрогнешь от ползущих снизу туманов, то находишь путь к солнцу. Кристоф не одинок; когда его душа окутана туманом, он чувствует подле себя присутствие невидимой, но надежной подруги — святой Цецилии, с большими и ясными глазами, устремленными к небу, которая, подобно апостолу Павлу на картине Рафаэля, молча размышляет, опираясь на меч. Кристоф уже не возмущается, не думает о битвах; он мечтает и созидает свою мечту.

В ту пору своей жизни он писал преимущественно произведения для фортепиано и камерную музыку. Здесь больше простора для дерзаний, здесь меньше посредников между мыслью и ее воплощением, и она не успевает оскудеть в пути. Куперен, Фрескобальди, Шуберт и Шопен своим дерзновением, своей вы-

разительностью, своим стилем на полвека опередили революционеров оркестровой музыки. Из месива созвучий, замешенного сильными руками Кристофа, получились сплетения неведомых гармоний, вереницы головокружительных аккордов, имевших лишь самое отдаленное родство со звуками, доступными восприятию современников. Они окутывали сознание священными чарами. Но публике нужно время, чтобы привыкнуть к завоеваниям большого художника, который бесстрашно ныряет на дно океана. Лишь немногим были доступны последние смелые творения Кристофа. Славой он был обязан своим ранним произведениям. Чувство, что никто его не понимает, гораздо более тягостное при творческих удачах, чем при неудачах, ибо тогда все казалось ему непоправимым, еще усиливало, после смерти единственного друга, болезненное стремление Кристофа к одиночеству.

Между тем доступ в Германию был снова открыт для Кристофа. Трагическая схватка во Франции была предана забвению. Он мог ехать, куда хотел. Но его страшили воспоминания, связанные с Парижем. И хотя он несколько месяцев провел в Германии и время от времени наезжал туда, чтобы дирижировать своими произведениями, все же он не поселился на родине. Слишком многое оскорбляло его. Правда, все это было характерно не для одной только Германии, а встречалось и в других странах. Но к своей родине всегда предъявляешь большие требования и больше страдаешь от ее недостатков. И действительно, самое тяжелое бремя грехов Европы падало на Германию. Победитель несет ответственность за свою победу; он в долгу перед побежденными; он молча берет на себя обязательство идти впереди, указывая им путь. Победитель Людовик XIV принес Европе блеск французского ума. Какой свет подарила миру Германия после Седана? Сверкание штыков? Бескрылую мысль, лишенную великодушия деятельность, грубый реализм, который нельзя было даже назвать здоровым; насилие и корысть — дух Марса-коммивояжера. Сорок лет плелась Европа во тьме, под гнетом страха. Каска победителя заслонила солнце. Если побежденные, слишком слабые, чтобы сбросить этот гасильник, имеют право лишь на жалость в сочетании с некоторым презрением, то какое же чувство должен вызывать человек в каске?

Но с некоторых пор начал возрождаться день, свет стал пробиваться сквозь щели. Чтобы одним из первых увидеть восходящее солнце, Кристоф выбрался из тени, отбрасываемой каской, и охотно вернулся в страну, вынужденным гостем ко-

торой он был когда-то,— в Швейцарию. Подобно многим умам того времени, жаждавшим свободы, которые задыхались в железном кольце враждующих народов, он искал уголка на земле, где легко дышится, высоко над Европой. Прежде, во времена Гете, Рим, вольный город пап, был тем островом, куда, подобно птицам от бурь, укрывалась мысль всех народов. Где же найти убежище теперь? Остров затоплен морем. Рима больше нет. Птицы разлетелись с Семи Холмов. Им остались только Альпы. Среди алчной Европы еще уцелел (надолго ли?) островок из двадцати четырех кантонов. Правда, он не чарует поэтическими образами Вечного города; в его воздухе нет аромата богов и героев, но от голой земли исходит могучая музыка; в очертаниях гор ощущаются героические ритмы; и здесь больше, чем где-либо, чувствуешь близость к первобытным силам природы. Кристоф приехал сюда не в погоне за романтическими впечатлениями. Его вполне удовлетворило бы поле, два-три дерева, ручеек и небесный свод. Спокойный пейзаж его родной земли был ему ближе, чем величественные нагромождения Альп. Однако Кристоф не мог забыть, что здесь он снова обрел свою силу; здесь явился ему господь в Неопалимой купине. И всякий раз, возвращаясь сюда, он испытывал трепет, благодарность и надежду. И не один только он. Сколько борцов, изломанных жизнью, вновь обрели на этой земле энергию, необходимую для того, чтобы верить и продолжать борьбу!

Живя в этой стране, он научился ее понимать. Большинство из тех, кто мимоходом бывает здесь, видят одни лишь недостатки: эти гостиницы, словно пятна проказы, уродующие прекрасные черты этой могучей земли; эти города, битком набитые иностранцами, напоминающие чудовищные рынки, куда съезжаются толстосумы всего мира покупать здоровье; обжорство за табльдотом — груды мяса, бросаемого в логово диким зверям; крикливая музыка казино вперемежку с шумом игры в «лошадки»; гнусавые итальянские скоморохи, завыванье которых заставляет млеть от восторга богатых, изнывающих от скуки идиотов; дурацкие витрины магазинов, где деревянные медведи, домики, нелепые безделушки — все одно и то же, одно и то же — повторяются с удручающим однообразием; почтенные книгопродавцы, торгующие порнографическими брошюрами,— словом, всю моральную грязь этих мест, куда ежегодно стекаются миллионы пресыщенных, праздных людей, не способных придумать ни более возвышенных, ни даже просто более веселых развлечений по сравнению с простонародьем.

Они ничего не знают о жизни того народа, у которого они гостят. Они не подозревают о запасах моральной силы и стремлении к гражданской свободе, в течение веков скопившихся в нем, ни об искрах пожара, зажженного Кальвином и Цвингли, которые тлеют еще под пеплом, ни о могучем демократическом духе, которого никогда не знала республика Наполеона, ни о простоте здешних учреждений и размахе общественной деятельности, ни о примере, который подают миру эти Соединенные Штаты трех главных рас Запада — Европа будущего в миниатюре. И, уж конечно, они не подозревают о Дафне, что скрывается под грубой оболочкой, об искрящейся и необузданной мечте Бёклина, о грубом героизме Годлера, о ясном восприятии и здоровой непосредственности Готфрида Келлера, о сохранившихся поныне традициях народных праздников и о весенних соках, которыми наливаются леса. Все это — еще молодое искусство: оно то набивает оскомину на языке, подобно терпким плодам дикой груши, то приторно-сладко, как черника или голубика, но зато от него исходит здоровый запах земли. Его создали самоучки,— их не отделяет от народа архаическая культура, и вместе с народом они читают одну и ту же книгу бытия.

Кристоф чувствовал симпатию к этим людям, которые хотели не казаться, а быть, и под свежим налетом ультрасовременного германо-американского индустриализма сохранили еще некоторые наиболее положительные черты старинной сельской и буржуазной Европы. Он завел среди них двух-трех добрых друзей, степенных, серьезных и верных, которые жили уединенно и замкнуто, предаваясь горьким сожалениям о прошлом. Эти суровые старцы с каким-то религиозным фатализмом и кальвинистским смирением созерцали медленное, постепенное исчезновение старой Швейцарии. Кристоф редко встречался с ними. Его давние раны зарубцевались только снаружи — они были слишком глубоки. Он боялся возобновлять связи с людьми. Боялся снова надеть на себя ярмо привязанностей и скорбей. Отчасти поэтому он и чувствовал себя хорошо в стране, где легко было жить в уединении, иностранцем среди толпы иностранцев. К тому же он редко засиживался на одном месте: он часто менял свое гнездо, как старая перелетная птица, которой необходим простор и для которой родина — воздух. «Mein Reich ist in der Luft» [1].

---

Мое царство в воздухе *(нем.)*.

Летний вечер.

Кристоф гулял в горах, высоко над деревней. Он шел, держа шляпу в руке, по извилистой, поднимающейся в гору тропинке. За поворотом она, скользнув в тень, бежала дальше, между двумя склонами, окаймленными елями и кустами орешника. Это был как бы маленький замкнутый мирок. Вдруг тропа оборвалась, как бы встав на дыбы над пропастью. Впереди расстилались голубые светящиеся дали. Вечерний покой спускался капля по капле, как струйка воды, журчащей под мхом...

Она появилась внезапно, за другим поворотом. Она была в черном, ее силуэт отчетливо выделялся на ясном небе; позади нее двое детей — мальчик лет шести и девочка лет восьми — резвились и рвали цветы. На расстоянии нескольких шагов они узнали друг друга. Только глаза выдавали волнение, но у них не вырвалось ни единого возгласа, лишь едва уловимый жест! Он был очень взволнован, она... губы ее слегка дрожали. Они остановились. Почти шепотом он произнес:

— Грация!

— Вы здесь!

Они поздоровались и продолжали стоять молча. Грация первая, сделав над собой усилие, прервала молчание. Она сказала, где живет, и спросила, где поселился он. Машинально они задавали вопросы, почти не слыша ответов,— они вспомнят их потом, когда расстанутся; они были поглощены созерцанием друг друга. Подбежали дети. Грация познакомила их с Кристофом. Он почувствовал к ним враждебность, недружелюбно взглянул на них и ничего не сказал; он был полон ею, жадно всматривался в ее прекрасное, чуть страдальческое и постаревшее лицо. Ее смущал этот взгляд. Она сказала:

— Не зайдете ли вы сегодня вечером?

Она назвала гостиницу.

Кристоф спросил, где ее муж. Она указала на свой траур. Кристоф был слишком взволнован, чтобы продолжать разговор. Он неловко простился с нею. Но, пройдя два шага, вернулся к детям, собиравшим землянику, порывисто обнял их, поцеловал и убежал.

Вечером Кристоф пришел в гостиницу. Он застал Грацию на застекленной веранде. Они уселись в уголке. Народу было немного: две-три пожилых особы. Их присутствие вызывало глухое раздражение в Кристофе. Грация смотрела на него. Он смотрел на Грацию, шепотом повторяя ее имя.

— Не правда ли, я очень изменилась? — спросила она.

Он был глубоко взволнован.

— Вы страдали,— произнес он.

— Вы тоже,— с участием сказала она, вглядываясь в его лицо, на котором горе и страсти оставили неизгладимый след.

Они умолкли, не находя слов.

— Прошу вас, пойдемте куда-нибудь в другое место,— сказал он через минуту.— Неужели нельзя поговорить где-нибудь наедине?

— Нет, мой друг, останемся, останемся здесь, тут хорошо. Разве кто-нибудь обращает внимание на нас?

— Я не могу разговаривать свободно.

— Тем лучше.

Он не понимал почему. Позже, вспоминая этот разговор, он подумал, что она не доверяла ему. Но Грация просто испытывала инстинктивный страх к чувствительным сценам; не отдавая себе в этом отчета, она пыталась оградить себя от неожиданных сердечных порывов, ей даже нравилось, что обстановка гостиной отеля мешает их интимности и помогает ей скрывать тайное смятение.

Вполголоса, с частыми паузами они рассказали друг другу самые важные события своей жизни. Граф Берени был убит на дуэли несколько месяцев назад, и Кристоф понял, что она была не очень счастлива с ним. Она потеряла также ребенка, своего первенца. Грация не любила жаловаться. Она перевела разговор на Кристофа, стала расспрашивать его и с глубоким участием выслушала рассказ об его испытаниях.

Звонили колокола. Был воскресный вечер. Жизнь словно замерла...

Грация попросила его зайти послезавтра. Кристофа огорчало, что она не очень торопится снова увидеться с ним. Страдание и счастье переплетались в его сердце.

На следующий день под каким-то предлогом она написала ему, чтобы он пришел. Это банальное приглашение привело его в восторг. На этот раз она приняла его у себя в гостиной. Дети были тут же. Кристоф глядел на них еще с опаской, но уже с большой нежностью. Он находил, что девочка — старшая — похожа на мать; он не спросил, на кого похож мальчик. Они говорили о Швейцарии, о погоде, о книгах, лежащих на столе, но глаза их вели иной разговор. Кристоф надеялся, что ему удастся поговорить с Грацией более чистосердечно. Но пришла знакомая — соседка по гостинице. Кристоф видел, как приветливо и любезно Грация принимала эту чужую даму. Казалось, для нее не существует разницы между ним и гостьей. Он был огорчен этим, но не сердился. Грация предложила пойти погу-

лять всей компанией; он согласился, но общество той, другой, хотя она была молода и привлекательна, стесняло Кристофа, и день для него был испорчен.

Кристоф снова увидел Грацию только через два дня. В течение всего этого времени он жил предстоящей встречей. Однако и на этот раз ему не удалось поговорить с нею. Грация обращалась с Кристофом ласково, но по-прежнему была сдержанна. Кристоф способствовал этому своими сентиментальными немецкими излияниями, которые смущали ее и заставляли настораживаться.

Кристоф написал Грации письмо, которое растрогало ее. Жизнь так коротка, писал он, а наша жизнь уже клонится к закату! Быть может, нам осталось не так уж много времени для встреч; жалко, почти преступно не воспользоваться случаем и не поговорить откровенно.

Грация ответила ласковой запиской: она просила извинения за то, что невольно проявляет некоторую недоверчивость с той поры, как жизнь ранила ее; она не может отрешиться от сдержанности, и любое слишком сильное проявление даже настоящего чувства отталкивает и пугает ее. Но она сознает цену вновь обретенной дружбы и так же счастлива, как и он. Она просила его прийти вечером к обеду.

Сердце Кристофа было преисполнено благодарности. Лежа на кровати в своей комнате, он уткнулся в подушки и зарыдал. Это была разрядка после десяти лет одиночества. Ведь с той поры, как умер Оливье, он был одинок. Это письмо возрождало его изголодавшееся по нежности сердце. Нежность! Кристоф думал, что уже отказался от нее навсегда,— так долго он обходился без нее! Теперь он чувствовал, как ему не хватало нежности и сколько любви скопилось в его сердце.

Они провели вместе спокойный и блаженный вечер. Несмотря на их намерение ничего не скрывать друг от друга, он говорил с ней только на отвлеченные темы. Но сколько отрадного и сокровенного сказал он ей, сидя за роялем, куда она пригласила его взглядом, чтобы дать ему возможность высказаться. Она была потрясена, видя смирившееся сердце этого человека, которого она знала прежде гордым и необузданным. При прощании, в молчаливом пожатии рук, они почувствовали, что обрели друг друга и никогда больше не потеряют. Было тихо, ни малейшего дуновения, падал дождь. Сердце Кристофа пело.

Грации оставалось пробыть здесь всего несколько дней, она не отложила своего отъезда ни на час, а Кристоф не посмел ни просить об этом, ни роптать. В последний день они гуляли

вместе с детьми. Был миг, когда Кристоф, преисполненный любви и счастья, хотел сказать ей об этом, но мягко, ласково улыбаясь, Грация остановила его:

— Молчите! Я знаю все, что вы хотите сказать.

Они сели на повороте дороги — там, где встретились в первый раз. Продолжая улыбаться, Грация смотрела на долину, расстилавшуюся внизу, но не видела ее. Кристоф же смотрел на нежное лицо со следами страданий; в ее густые черные волосы вплелись белые нити. Его охватило обожание, жалость и страсть к этой плоти, пропитавшейся страданиями души... Во всех этих ранах, нанесенных временем, была видна душа. И тихим, дрожащим голосом, как высшей милости, он попросил, чтобы она подарила ему... один седой волос.

Она уехала. Кристоф не мог понять, почему Грация не хотела, чтобы он сопровождал ее. Он не сомневался в ее дружбе, но сдержанность Грации озадачивала его. Ни одного дня он не мог оставаться в этих краях и уехал в другую сторону. Он пытался отвлечься путешествиями, работой. Он писал Грации. Она ответила ему недели через две-три; в ее коротких письмах ощущалась спокойная привязанность, без нетерпения и тревоги. Они причиняли ему страдание, и вместе с тем он любил их. Он не считал себя вправе упрекать ее. Их чувство было еще слишком молодо, слишком недавно возродилось! Он содрогался при мысли, что может потерять Грацию. Между тем каждое ее письмо дышало безмятежным покоем, который должен был бы вселить в него уверенность. Но ведь они были такие разные!

В конце осени они условились встретиться в Риме. Не будь надежды на встречу с Грацией, это путешествие мало прельщало бы Кристофа. Долго длившееся одиночество сделало его домоседом. Он не испытывал больше склонности к бесполезным переездам с места на место, в которых черпали удовольствие суетливые бездельники его времени. Он боялся нарушать свои привычки — это опасно для правильной работы мысли. К тому же Италия нисколько не привлекала его. Кристоф знал ее только по отвратительной музыке «веристов» и ариям теноров, которыми родина Вергилия периодически вдохновляет путешествующих литераторов. Он чувствовал к ней враждебность и недоверие передового художника, которому надоели ссылки на Рим из уст самых худших поборников академической рутины. И, наконец, в нем еще бродила старая закваска — инстинктивная неприязнь, которую ощущают в глубине души все северяне

к южанам или, по крайней мере, к тому легендарному типу болтливого хвастунишки, какими представляются северянам все обитатели юга. При одной только мысли о них Кристоф презрительно морщился... Нет, у него не было ни малейшего желания знакомиться с этим народом, не имеющим музыки. (Можно ли принимать всерьез, на фоне современной музыки, бренчанье на мандолине и выкрики в болтливых мелодрамах?) Но ведь к этому народу принадлежала Грация. Какими путями, какими дорогами ни пошел бы Кристоф, чтобы снова обрести ее! Нужно только закрыть глаза и ничего не видеть до той поры, пока он не встретится с Грацией.

Уже давно у него выработалась привычка закрывать глаза. В течение стольких лет он держал за ставнями свою внутреннюю жизнь! Теперь, этой поздней осенью, это было особенно необходимо. Три недели непрерывно лили дожди. А потом серая шапка непроницаемых облаков нависла над долинами и городами промокшей, дрожащей от холода Швейцарии. Глаза утратили воспоминание о благодатном солнечном свете. Чтобы снова обрести в себе всю силу энергии, нужно было сначала создать абсолютный мрак, а потом, сомкнув веки, опуститься в глубину шахты, в подземные галереи мечты. Там среди пластов угля спало солнце мертвых дней. Но тот, кто проводит жизнь под землей и, согнувшись, вырубает уголь, выходит наверх обожженный, с онемевшим позвоночником и коленями, с изуродованными руками и ногами, полуоцепеневший, с тусклым, как у ночной птицы, взглядом. Сколько раз приносил Кристоф со дна шахты с трудом добытый огонь, который согревал похолодевшие сердца! Но северные мечты отдают жаром печи и закупоренной комнаты. Этого не подозреваешь, когда живешь там, любишь это удушливое тепло, этот полумрак и заветные мечты, скопившиеся в отяжелевшей голове. Любишь то, что имеешь. Приходится этим довольствоваться!

Когда поезд вышел из теснин альпийских гор и Кристоф, дремавший в углу своего вагона, увидел безоблачное небо и солнце, заливающее склоны гор, ему показалось, что это сон. По ту сторону горной стены он только что оставил погасшее небо, сумеречный день. Эта перемена была так неожиданна, что в первую минуту Кристоф скорее удивился, чем обрадовался. Прошло некоторое время, пока его оцепеневшая душа отошла немного, пока растаяла сковывавшая ее кора, пока сердце освободилось от теней прошлого. День разгорался, мягкий свет об-

волакивал Кристофа, и, забыв обо всем, он жадно упивался и наслаждался тем, что видел.

Миланские равнины. Дневное светило отражается в голубых каналах, сеть их вен бороздит рисовые поля, покрытые пушком. Четко вырисовываются тонкие и гибкие силуэты осенних деревьев с пучками рыжего мха. Горы да Винчи — снежные, мягко сверкающие Альпы — выделяются резкой линией на горизонте, окаймляя его красной, оранжевой, золотисто-зеленой и бледно-лазурной бахромой. Вечер опускается над Апеннинами. Извилистые склоны небольшой крутой горной цепи вьются, как змея, сплетаясь и повторяясь, словно в ритме фарандолы. И вдруг, в конце спуска, как поцелуй, доносится дыхание моря и аромат апельсинных рощ. Море, латинское море! В его опаловом свете замерли и дремлют стаи лодок, сложивших свои крылья...

На берегу моря, у рыбачьей деревушки, поезд остановился. Путешественникам объявили, что из-за сильных дождей в туннеле между Генуей и Пизой произошел обвал и все поезда запаздывают на несколько часов. Кристоф, который взял билет прямого сообщения до Рима, был в восторге от этой задержки, вызвавшей негодование его спутников. Он выскочил на перрон и воспользовался остановкой, чтобы подойти к морю, которое манило его. Оно увлекло Кристофа настолько, что часа через два, когда раздался гудок уходящего поезда, Кристоф, сидя в лодке, крикнул ему вслед: «Счастливого пути!» Он плыл в светящейся ночи, отдаваясь баюканью светящегося моря, вдоль благоухающего берега, огибая утесы, окаймленные молодыми кипарисами. Кристоф поселился в деревушке и провел там пять дней, ни о чем не тревожась, радуясь жизни. Он напоминал долго постившегося человека, который набросился на пищу. Всеми своими изголодавшимися чувствами он впитывал яркий солнечный свет. Свет, кровь вселенной, ты разливаешься в пространстве подобно реке жизни и через глаза, губы, ноздри, сквозь поры нашей кожи проникаешь в глубь нашего тела. Свет, более необходимый для жизни, чем хлеб. Тот, кто увидел тебя без твоих северных покрывал — чистым, жгучим, обнаженным,— невольно задает себе вопрос, как он мог жить прежде, не зная тебя, и чувствует, что больше не сможет жить, не обладая тобой...

Пять дней предавался Кристоф опьянению солнцем. Пять дней впервые в жизни Кристоф забыл, что он музыкант. Музыка его существа превратилась в свет. Воздух, море и земля — великолепная симфония, исполняемая оркестром солнца. И с каким врожденным искусством умеет Италия пользоваться этим

оркестром! Другие народы пишут с натуры; итальянец же творит вместе с природой, он пишет солнцем. Музыка красок. Здесь все музыка, все поет. Простая стена у дороги, красная с золотыми трещинками, над ней два кипариса с курчавой кроной; а вокруг бездонное голубое небо. Белая мраморная лестница, прямая и узкая, поднимается между розовых стен к голубому фасаду храма. Разноцветные домики, словно абрикосы, лимоны, цитроны, светятся среди оливковых рощ и кажутся восхитительными спелыми плодами в листве. Итальянский пейзаж возбуждает чувственность: глаза наслаждаются красками, подобно тому как язык — ароматными, сочными фруктами. Кристоф набросился на это новое лакомство с жадной и наивной прожорливостью; он вознаграждал себя за серые, аскетические пейзажи, которые вынужден был созерцать до сих пор. Его богатая натура, придавленная судьбой, внезапно осознала свою способность наслаждаться, до сих пор не использованную. Им завладели, словно добычей, запахи, краски, музыка голосов, колоколов и моря, ласкающих воздух, теплые объятия солнца, в которых возрождается одряхлевшая и утомленная душа. Кристоф ни о чем не думал. Он пребывал в состоянии сладостного блаженства, нарушая его лишь для того, чтобы поделиться со всеми встречными своей радостью: с лодочником — старым рыбаком в красной шапочке венецианского сенатора, из-под которой глядели живые глаза в сети мелких морщинок; со своим единственным сотрапезником — апатичным и сонным миланцем, который, поглощая макароны, ворочал черными, как у Отелло, свирепыми от ненависти глазами; с официантом из ресторана, который, подавая блюда, вытягивал шею, изгибал руки и торс, подобно ангелу Бернини; с маленьким Иоанном Крестителем, который, строя глазки, просил милостыню на дороге и предлагал прохожим апельсин на зеленой ветке. Кристоф окликал возчиков, которые, лежа на спине в своих повозках, гнусавыми голосами тянули какую-то песню без конца и начала. Он поймал себя на том, что напевает «Cavalleria rusticana» [1]. Цель его путешествия была совершенно забыта. Он забыл, как торопился, как спешил поскорее увидеть Грацию...

Так продолжалось до того дня, пока образ возлюбленной снова не ожил в нем. Что его вызвало? Быть может, взгляд, перехваченный на дороге, или переливы низкого и певучего голоса, Кристоф не знал. Но настал час, когда отовсюду — из кольца холмов, покрытых маслиновыми рощами, из высоких глад-

[1] «Сельская честь» *(итал.)* — опера Масканьи.

ких гребней Апеннин, вырисовывавшихся в ночном мраке и при ярком солнечном свете, и из апельсинных рощ, отягощенных цветами и плодами, из глубокого дыхания моря — на него смотрело улыбающееся лицо подруги. Бесчисленными очами глядели на него с неба глаза Грации. Она расцветала на этой земле, как роза на розовом кусте.

Тогда Кристоф спохватился. Снова сел в поезд, отправляющийся в Рим, и уже нигде больше не останавливался. Ничто не интересовало его — ни итальянские памятники, ни старинные города, ни знаменитые произведения искусства. Он не видел и не стремился что-либо увидеть в Риме, а то, что он успел заметить, проезжая мимо,— новые, лишенные всякого стиля, кварталы, квадратные здания,— не внушало ему желания осматривать этот город.

Тотчас же по приезде он отправился к Грации. Она спросила у него:

— Какой дорогой вы ехали? Вы останавливались в Милане, во Флоренции?

— Нет,— отвечал он.— К чему?

Она рассмеялась.

— Прекрасный ответ! А какое впечатление на вас произвел Рим?

— Никакого,— сказал он,— я ничего не видел.

— Но все-таки?

— Никакого. Я не видел ни одного памятника. Прямо из гостиницы я пришел к вам.

— Довольно пройти и десять шагов, чтобы увидеть Рим. Взгляните на эту стену, напротив... Смотрите! Какое освещение!

— Я вижу только вас,— сказал он.

— Вы варвар, вы видите только то, что создано вашим воображением. А когда вы выехали из Швейцарии?

— Неделю назад.

— Что же вы делали столько времени?

— Сам не знаю. Я остановился случайно в деревушке на берегу моря. Не помню даже, как она называется. Я спал целую неделю. Спал с открытыми глазами. Не знаю, что видел, не знаю, о чем грезил. Кажется, мечтал о вас. Знаю только, что это было прекрасно. Но самое прекрасное, что я все забыл...

— Благодарю! — сказала она.

Он не слушал ее.

— ...Все,— продолжал он,— все, что было тогда, что было прежде. Я словно вновь рожденный человек, только начинающий жить.

— Это верно,— сказала она, глядя на него смеющимися глазами.— Вы переменились с нашей последней встречи.

Он тоже глядел на нее и находил, что она не похожа на ту Грацию, которая осталась в его памяти. Она не изменилась за эти два месяца, но он смотрел на нее совершенно другими глазами. Там, в Швейцарии, образ минувших дней, легкая тень юной Грации стояла перед его взором, заслоняла его нынешнюю подругу. А теперь, под солнцем Италии, растаяли северные мечты; он видел при дневном свете подлинную душу и подлинное тело любимой. Как непохожа она была на дикую козочку, пленницу Парижа, как непохожа на молодую женщину с улыбкой святого Иоанна, которую он снова обрел как-то вечером, вскоре после ее замужества, чтобы тут же потерять! Маленькая умбрийская мадонна расцвела, превратилась в прекрасную римлянку.

Color verus, corpus solidum et succi plenum [1].

Ее черты приобрели гармоническую округлость; ее тело дышало благородной томностью. От нее исходил покой. Она воплощала напоенную солнцем тишину, безмолвное созерцание, наслаждение мирной жизнью,— все то, чего никогда полностью не познают северяне. От прежней Грации сохранилась главным образом безграничная доброта, которой были насыщены все ее чувства. Но в ясной улыбке Грации можно было прочесть много нового: печальную снисходительность, легкую усталость, уменье разбираться в людях, мягкую иронию, спокойную рассудительность. Годы как бы сковали Грацию ледком, ограждая ее от сердечных заблуждений; она редко раскрывала свою душу; и ее нежность, ее зоркая улыбка были всегда настороже против порывов страсти, которые с трудом подавлял Кристоф. В то же время у нее были свои слабости, беспомощность в жизненных испытаниях, кокетливость, над которой она сама посмеивалась, но не пыталась преодолеть. Она не умела бороться ни с обстоятельствами, ни с собой, покорный фатализм был присущ этой бесконечно доброй и немного усталой душе.

Грация принимала у себя многих и без особого разбора — так, по крайней мере, казалось на первый взгляд; но ее друзья принадлежали в большинстве своем к тому же миру, что и она, дышали тем же воздухом, приобрели те же привычки; это общество представляло довольно гармоническое целое, резко от-

[1] Живой румянец, крепкое, полное жизненных соков тело *(лат.)*.

личавшееся от того, что Кристоф наблюдал в Германии и во Франции. Большинство из этих людей принадлежало к старинным итальянским фамилиям, оздоровленным браками с иностранцами; среди них царил внешний космополитизм — сочетание четырех главных языков и интеллектуального багажа четырех великих наций Запада. Каждый народ вносил туда свой личный вклад: евреи — свое беспокойство, англосаксы — свою флегму, но все это тотчас же расплавлялось в итальянском тигле. Когда века владычества баронов-грабителей высекают в расе такой надменный и алчный профиль хищной птицы, то, как бы ни менялся металл, оттиск остается неизменным. Некоторые из этих лиц, казавшихся типично итальянскими,— улыбка Луини, сладострастный и спокойный взгляд Тициана, цветы Адриатики или ломбардских равнин,— расцвели в действительности на северных деревьях, пересаженных в древнюю латинскую почву. Какие бы краски ни были растерты на палитре Рима, основным тоном всегда будет римский.

Кристоф не способен был разобраться в своих впечатлениях, но он восхищался вековой культурой, древней цивилизацией, которой дышали эти люди, зачастую довольно ограниченные, а иногда даже более чем посредственные. Едва уловимый аромат, проявляющийся в мелочах, грациозная обходительность, мягкие манеры, доброжелательность, не лишенная насмешливости, сознание собственного достоинства, острый взгляд и улыбка, живой и беспечный ум, скептический, непринужденный и притом разносторонний. Ничего резкого, грубого. Ничего книжного. Здесь можно было не бояться встречи с каким-нибудь психологом из парижских салонов, подстерегающим вас за стеклами своего пенсне, ни с капральскими повадками какого-нибудь немецкого доктора. Это были просто люди, и люди очень человечные, подобно друзьям Теренция и Сципиона Эмилиана!

Homo sum...

Красивый фасад! Жизнь была скорее кажущейся, чем реальной. А под этим фасадом скрывалось неисправимое легкомыслие, свойственное светскому обществу всех стран. Но характерной национальной особенностью здешнего общества была лень. Французское легкомыслие сопровождается лихорадочной нервозностью — непрерывная деятельность мозга, даже когда он работает на холостом ходу. Итальянский мозг умеет отдыхать. Пожалуй, даже слишком часто. Сладостно дремать в жаркой тени, на теплой подушке мягкого эпикурейства и прозрачного ума, очень гибкого, довольно любознательного и весьма безразличного по существу.

У всех этих людей не было твердых убеждений. С одинаковой легкостью они брались и за политику и за искусство. Среди них попадались обаятельные натуры, прекрасные лица итальянских патрициев, с тонкими чертами, умным и мягким взглядом, спокойными манерами, изысканным вкусом и чувствительным сердцем, которые любили природу, старинную живопись, цветы, женщин, книги, хороший стол, свою родину и музыку... Они любили все, ничему не отдавая предпочтения. Порою казалось, что они ничего не любят. Любовь, однако, занимала большое место в их жизни, но при условии, чтобы она не нарушала их покоя. Любовь их была так же апатична и ленива, как они сами, даже страсть легко приобретала характер супружеских отношений. Их хорошо развитый и гармоничный ум приспособился к инертности, благодаря чему противоположные мнения сталкивались, не задевая друг друга, спокойно уживаясь, сглаженные, притупленные, ставшие безобидными. Они боялись твердых убеждений, крайних партий, предпочитая половинчатые решения и половинчатые мысли. Они придерживались консервативно-либеральных взглядов. Им нужны были политика и искусство, стоящие где-то посредине, наподобие тех климатических станций, где не рискуешь получить одышку или сердцебиение. Они узнавали себя в ленивых персонажах Гольдони или в ровном и рассеянном свете Мандзони. Однако это не нарушало их очаровательной беспечности. Они не могли бы сказать, как их великие предки: «Primum vivere» [1], а скорее «Dapprima, quieto vivere» [2].

Жить спокойно. Таково было тайное желание всех, даже самых энергичных, даже тех, кто руководил политикой. Любой из этих маленьких Макиавелли, повелевающих собой и другими, с трезвым и скучающим умом, с сердцем, столь же холодным, как и голова, умеющих и дерзающих пользоваться всеми средствами для достижения своей цели, готовых пожертвовать друзьями во имя своего честолюбия, способен был пожертвовать своим честолюбием ради одного: священного quieto vivere. Они испытывали потребность в длительных периодах прострации. Когда это состояние проходило, они чувствовали себя свежими и деятельными, как после хорошего сна; эти степенные мужи, эти бесстрастные мадонны вдруг ощущали нестерпимую жажду поговорить, повеселиться, предаться кипучей деятельности: им необходимо было найти разрядку в потоке слов и же-

---

[1] Прежде всего жить *(лат.)*.
[2] Прежде всего жить спокойно *(итал.)*.

стов, в парадоксальных остротах, в забавных шутках,— они разыгрывали оперу-буфф. Среди этой галереи итальянских портретов редко попадались люди с переутомленным умом, с металлическим блеском зрачков, с изможденными от напряженной умственной работы лицами, какие встречаются на севере. Однако здесь, как и всюду, не было недостатка в людях, которые страдали и скрывали свои раны, стремления, заботы под личиной равнодушия и с наслаждением погружались в оцепенение. Не говоря уже о тех, чьи странные, причудливые и непонятные выходки свидетельствовали о некоторой неуравновешенности, свойственной очень древним расам, подобно трещинам, избороздившим почву римской Кампаньи.

Томная загадочность этих душ, спокойные и насмешливые глаза, где таилась скрытая трагедия, были не лишены очарования. Но Кристоф не желал замечать этого. Он бесился, видя, что Грация окружена пустыми и остроумными светскими людьми. Он злился на них и злился на нее. Он дулся на нее так же, как и на Рим. Он стал бывать у нее реже, он собрался уезжать.

Кристоф не уехал. Помимо своей воли он начал ощущать влечение к итальянскому обществу, которое вначале так раздражало его.

Теперь он уединился. Он бродил по Риму и его окрестностям. Небо Рима, висячие сады, Кампанья, залитое солнцем море, опоясывающее ее наподобие золотого шарфа, открыли ему мало-помалу тайну этой волшебной земли. Он поклялся, что и шагу не сделает для осмотра мертвых памятников: они вовсе не интересуют его; он ворчливо заявлял, что подождет, пока они сами придут к нему. И они пришли; он встретил их случайно, во время своих прогулок по Городу Холмов. Он увидел, не ища его, и Форум, рдеющий на закате солнца, и полуразрушенные арки Палатина, в глубине которых сверкает лазурь бездонного голубого неба. Он бродил по необъятной Кампанье, по берегу красноватого Тибра, засоренного илом и похожего на топь,— вдоль разрушенных акведуков, напоминающих гигантские остовы допотопных чудовищ. Густые скопища черных туч ползли в голубом небе. Крестьяне, верхом на лошадях, палками гнали через пустынную Кампанью стада огромных серых буйволов с длинными рогами; а по древней дороге, прямой, пыльной и голой, молча шли, сопровождая вереницу низкорослых ослиц и ослят, пастухи, похожие на сатиров, с мохна-

тыми шкурами на бедрах. В глубине, на горизонте, развертывались олимпийские линии Сабинской горной цепи, а на другом краю небесного свода вырисовывались городские стены и черные силуэты пляшущих статуй, увенчивающих фасад храма святого Иоанна. Тишина... Огненное солнце... Ветер пронесся над равниной. На безголовой, поросшей пучками травы статуе с перекинутым через руку плащом неподвижно лежала ящерица; она мерно дышала, наслаждаясь ярким светом. И Кристоф, у которого звенело в ушах от солнца (а порой и от кастельского вина), улыбаясь, сидел подле разбитого мрамора на черной земле, сонный, окутанный забвением, упиваясь спокойной и могучей силой Рима. И так до сумерек. Тогда сердце его вдруг охватывала тоска, и он бежал из мрачного одиночества пустыни, где угасал трагический свет... О земля, пламенная земля, страстная и безмолвная земля! В твоей тревожной тишине я слышу еще трубы легионов. Как неистово бушует жизнь в твоей груди! Как ты жаждешь пробуждения!

Кристоф нашел людей, в сердцах которых еще тлел вековой огонь. Он сохранился под могильным пеплом. Казалось, что этот огонь угас вместе с глазами Мадзини. Теперь он разгорался. Все такой же. Немногие желали его видеть. Он нарушал покой спящих. Это был яркий и резкий свет. Молодые люди, которые несли его (самому старшему еще не было и тридцати пяти лет),— избранники, пришедшие со всех концов мира, свободомыслящие, различные по темпераменту, воспитанию, убеждениям и верованиям,— все они объединились в культе этого огня новой жизни. Партийные ярлыки, разница мировоззрения не имели для них значения,— главное «мыслить смело». Быть искренними, дерзать в мыслях и делах. Они беспощадно встряхивали свой спящий народ. После политического возрождения Италии, воскресшей из мертвых по зову героев, после ее еще совсем недавнего экономического возрождения они решили вырвать из могилы итальянскую мысль. Их оскорбляла и причиняла страдание трусливая и ленивая расслабленность избранного общества, его духовное малодушие и пустословие. Их голоса громко звучали в тумане риторики и морального рабства, скопившегося в течение веков в душе родины. Они вдохнули в нее свой беспощадный реализм и неподкупную честность. Со всем пылом они стремились к ясному пониманию, за которым следует энергичное действие. Способные при случае пожертвовать своими личными склонностями во имя долга, во

имя дисциплины, которая подчиняет отдельного человека интересам народа, они сохранили тем не менее высокий идеал и чистые стремления к истине. Они любили ее пылко и благоговейно. Один из вождей этой молодежи [1], когда противники оскорбили его, оклеветали и угрожали ему, ответил с величавым спокойствием:

«Уважайте истину! Я не злопамятен и обращаюсь к вам с открытым сердцем. Я забыл зло, причиненное вами, как и то, что я, быть может, причинил вам. Будьте правдивы! Нет совести, нет жизненного величия, нет уменья жертвовать собою, нет благородства там, где свято, строго и сурово не уважают истину. Выполняйте этот трудный долг. Ложь развращает того, кто ею пользуется, гораздо раньше, чем губит того, против кого она направлена. Какой прок в том, что этим вы быстро добьетесь успеха? Корни вашей души повиснут в пустоте, в почве, изъеденной ложью. Я говорю с вами не как противник. Мы затронули вопрос, стоящий выше наших разногласий, даже если вы прикрываете свои страсти именем родины. Есть нечто более великое, чем родина,— человеческая совесть. Есть законы, которые вы не смеете нарушать, если не хотите стать плохими итальянцами. Перед вами только человек, ищущий истину; вы должны услышать его зов. Перед вами только человек, который страстно жаждет увидеть вас великими и чистыми и хочет трудиться вместе с вами. Ибо независимо от того, хотите вы или нет, мы будем трудиться сообща со всеми, кто трудится в союзе с истиной. Все, что мы создадим (и чего мы даже не можем предвидеть), будет отмечено нашей общей печатью, если только действовать согласно истине. Главное в человеке — его чудесная способность искать истину, любить ее, видеть ее и жертвовать собою во имя ее. Истина, изливающая волшебное дыхание своего могучего здоровья на всех, кто владеет тобою!..»

Когда Кристоф впервые услышал эти слова, они показались ему эхом его собственного голоса; он почувствовал, что эти люди братья ему. Быть может, когда-нибудь случайности борьбы народов и различие идей заставят их вступить в ожесточенный бой, но, друзья или враги, они принадлежат, они будут принадлежать к одной человеческой семье. Они это знали, как и он. Они знали это даже раньше, чем он. Они знали его еще

---

[1] Джузеппе Прецциолини, который вместе с Джованни Папини руководил тогда группой «Ля Воче» («Голос»).— *Р. Р.*

до того, как он узнал их, ибо они были друзьями Оливье. Кристоф обнаружил, что произведения его друга (несколько томиков стихов и критические очерки), известные в Париже лишь немногим, были переведены этими итальянцами, и они любили их так же, как и сам Кристоф.

Позже Кристофу пришлось обнаружить, какая непроходимая пропасть отделяла этих людей от Оливье. В своих суждениях о других они оставались только итальянцами, не способными сделать усилие и выйти за ограниченные рамки мышления своего народа. Откровенно говоря, они находили в произведениях иностранцев только то, что стремился обнаружить их национальный инстинкт; зачастую они брали лишь то, что сами подсознательно вкладывали туда. Посредственные критики и плохие психологи, они были чересчур заняты самими собой и поглощены своими страстями, даже когда больше всего стремились к истине. Итальянский идеализм не способен к самозабвению; его отнюдь не интересуют отвлеченные мечтания Севера; он сводит все к себе, к своим желаниям, к своей расовой гордости, к стремлению возродить величие нации. Сознательно или нет, но он всегда работает на terza Roma. Нужно признать, что на протяжении веков он не слишком утруждал себя, чтобы осуществить эту мечту! Красивые итальянцы, созданные для деятельности, действуют лишь в порыве страсти и быстро устают, но когда в них бурлит страсть, она возносит их над всеми другими народами; они доказали это на примере своего Risorgimento. Это был могучий вихрь, который подхватил итальянскую молодежь всех партий — националистов, социалистов, неокатоликов, свободных идеалистов — всех неукротимых итальянцев, преисполненных надежд и стремлений быть гражданами императорского Рима, властелина вселенной.

Сначала Кристоф замечал только их благородный пыл и общие антипатии, объединявшие его с ними. Они легко сговаривались, когда речь шла о презрении к светскому обществу, к которому Кристоф питал злобу из-за предпочтения, отдаваемого ему Грацией. Они ненавидели гораздо больше, чем Кристоф, это благоразумие, эту апатию, эти компромиссы, шутовство, половинчатость высказываний, двуличность, ловкое маневрирование между всеми возможностями, боязнь решиться на что-нибудь, эти красивые фразы и вкрадчивость. Крепыши-самородки, всем обязанные только себе, не имевшие ни средств, ни времени окончательно отшлифовать себя, они охотно утрировали свою природную грубость и свой несколько резкий тон

неотесанных contadini[1]. Им хотелось, чтобы их услышали. Им хотелось, чтобы с ними дрались. Что угодно, только не безразличие! Чтобы пробудить энергию своей расы, они с радостью согласились бы стать ее первыми жертвами.

А пока их не любили, и они ничего не сделали, чтобы их полюбили. Кристоф потерпел неудачу, задумав рассказать Грации о своих новых друзьях. Они были неприятны ее спокойной, уравновешенной натуре. Пришлось согласиться с ней, что присущая им манера защищать самые благородные идеи вызывала зачастую враждебное к ним отношение. Они были насмешливы и задиристы, и их суровая критика граничила с оскорблением, даже по отношению к людям, которых они вовсе не хотели обижать. Они были слишком самоуверенны, слишком скоры на выводы и категоричные утверждения. Они занялись общественной деятельностью, еще не достигнув зрелого развития, и потому бросались от одного увлечения к другому, всегда проявляя одинаковую нетерпимость. С искренним пылом, не щадя сил, целиком отдаваясь делу, они сгорали от избытка рассудочности, от преждевременно изнуряющей работы. Молодой, едва вылупившейся мысли вредно находиться под ярким солнцем. Оно обжигает душу. Все подлинное и полезное требует времени и тишины. А им не хватало ни времени, ни тишины. В этом несчастье многих итальянских талантов. Торопливая и бурная деятельность — точно алкоголь. Вкусившему его уму трудно потом отвыкнуть, и нормальное развитие подвергается риску быть извращенным и искаженным навсегда.

Кристоф ценил терпкую свежесть этой резкой прямоты, особенно по контрасту с пошлостью людей золотой середины (vie di mezzo), которые вечно боятся скомпрометировать себя и ловко ухитряются не говорить ни да, ни нет. Но вскоре ему пришлось убедиться, что спокойный ум и обходительность светских людей тоже имеют свои преимущества. Постоянная ожесточенная борьба, в которой жили его друзья, утомляла. Кристоф считал своим долгом бывать у Грации, чтобы защищать их. Иногда же он шел к ней, чтобы забыть о них. Разумеется, у него было сходство с ними. Пожалуй, даже слишком большое. Они теперь были такими, как Кристоф в двадцать лет. Но течение жизни не идет вспять. В глубине души Кристоф прекрасно сознавал, что сам он распрощался с неистовством юности и стремится к покою, тайной которого, казалось, владели глаза Грации. Почему же это возмущало его в ней? Да просто в силу

[1] Крестьян *(итал.)*.

эгоизма, присущего любящим. Кристоф хотел один наслаждаться этим покоем. Ему было нестерпимо, он не мог примириться с тем, что Грация щедро расточает свое тепло на первых встречных, что она всех оделяет своим чарующим радушием.

Грация читала в его душе и, с присущей ей милой откровенностью, как-то сказала Кристофу:

— Вы сердитесь, что я такая? Не нужно идеализировать меня, мой друг. Я женщина, и не лучше других. Я не ищу общества, но, признаться, оно мне приятно — точно так же, как иногда мне доставляют удовольствие не слишком хорошие спектакли, посредственные книги,— все то, что вы презираете; меня же это забавляет и успокаивает. Я не могу ни от чего отказаться.

— Как вы можете выносить этих дураков?

— Жизнь научила меня быть снисходительной. Не нужно предъявлять к ней слишком больших требований. Уверяю вас, когда имеешь возможность встречаться с хорошими людьми, не злыми, в меру доброжелательными, то это уже много. (Разумеется, при условии, если ничего от них не ждешь! Я знаю, что, обратись я к ним за помощью, около меня останется не бог весть сколько людей.) Все-таки они привязаны ко мне; а когда я встречаю капельку настоящего чувства, я не обращаю внимания на остальное. Вы сердитесь на меня, не правда ли? Простите, что я такая посредственность. Но я, по крайней мере, умею различать, что́ во мне плохо, что́ хорошо. И вам принадлежит лучшее.

— Я хотел бы иметь все,— сердито сказал Кристоф.

Но он прекрасно понимал, что она права. Он был настолько уверен в ее чувстве, что как-то после колебаний, длившихся несколько недель, спросил:

— Неужели вы никогда не захотите?..

— Чего?

— Быть моей.

Он тотчас же поправился:

— ...чтобы я был вашим?

Она улыбнулась.

— Но ведь вы и так принадлежите мне, мой друг.

— Вы прекрасно знаете, что́ я хочу этим сказать.

Она чуточку смутилась, но взяла его за руку и посмотрела прямо в глаза.

— Нет, мой друг,— нежно сказала она.

Он умолк. Она видела, что сильно огорчила его.

— Простите, я причинила вам боль. Я знала, что вы заговорите со мной об этом. Мы должны объясниться начистоту, как добрые друзья.

— Как друзья,— грустно сказал он.— И ничего больше?

— Неблагодарный! Чего же вы еще хотите? Жениться на мне? А вспомните прошлое, когда вы были целиком поглощены моей прелестной кузиной? Мне было грустно тогда, что вы не догадываетесь о моем чувстве. Вся наша жизнь могла бы сложиться по-иному. Теперь я думаю, что так лучше. Лучше не подвергать нашу дружбу испытанию совместной жизни, той повседневной жизни, которая опошляет все самое чистое...

— Вы говорите так, потому что теперь любите меня меньше.

— О нет, я всегда любила вас одинаково.

— Я в первый раз слышу это.

— Мы не должны больше ничего скрывать друг от друга. Видите ли, я не очень верю в брак. Мой, правда, не может служить примером. Но я наблюдала и размышляла. Счастливые браки очень редки. Это даже чуточку противоестественно. Нельзя сковать воли двух существ, не искалечив одну из них, а быть может, и обе; притом это отнюдь не те страдания, которые обогащают душу.

— А вот мне,— сказал он,— напротив, кажется, что нет ничего прекраснее, чем эта жертва, союз двух сердец, слившихся воедино!

— Это прекрасно в мечтах. На самом же деле вы страдали бы больше, чем кто-либо.

— Как! Вы думаете, что у меня никогда не будет жены, семьи, детей? Не говорите этого! Я бы так любил их! Вы считаете, что это счастье недоступно мне?

— Не знаю, не думаю. Впрочем, может быть, с хорошей женой, не слишком умной, не слишком красивой, которая будет предана вам и не будет вас понимать...

— Какая же вы злая! Но вы напрасно насмехаетесь. Хорошая жена, даже если она и не слишком умная,— это прекрасно.

— Разумеется! Хотите, я подыщу вам?

— Умоляю, замолчите. Вы огорчаете меня. Как вы можете так говорить?

— Что же я такого сказала?

— Значит, вы совсем не любите меня, если можете думать о том, чтобы женить на другой?

— Наоборот, именно потому, что я люблю вас, я была бы рада сделать вас счастливым.

— Тогда, если это правда...

— Нет, нет, не нужно об этом. Говорю вам, это было бы несчастьем для вас.

— Обо мне не беспокойтесь. Клянусь, я буду счастлив. Но скажите прямо: вы думаете, что были бы несчастны со мной?

— Несчастна? О нет, мой друг. Я уважаю вас и слишком восхищаюсь вами, я никогда не могла бы быть с вами несчастной... и потом, знаете, я убеждена, что теперь меня уже ничто не могло бы сделать несчастной в полном смысле этого слова. Я слишком много пережила, я стала философом... Но, говоря откровенно (вы ведь этого требуете, не правда ли? Вы не рассердитесь на меня?)... видите ли, я знаю свои слабости; возможно, через несколько месяцев я оказалась бы настолько глупой, что почувствовала бы себя не совсем счастливой с вами; а этого я не желаю, именно потому, что питаю к вам самое святое чувство и не хочу омрачать его ничем.

Он печально сказал:

— Да, вы говорите так, чтобы смягчить удар. Я вам не нравлюсь. Во мне есть что-то отталкивающее.

— Нет, нет, уверяю вас! Не надо так огорчаться. Вы хороший и дорогой мне человек.

— Тогда я ничего не понимаю. Почему же мы не подходим друг другу?

— Потому что мы слишком разные, у нас обоих слишком ярко выраженные, слишком эгоистичные характеры.

— За это я вас и люблю.

— Я тоже. Но именно потому столкновение неизбежно.

— Нет, нет!

— Это несомненно. А может случиться и так: зная, что вы стоите выше меня, я буду упрекать себя в том, что стесняю вас своей ничтожной особой; тогда я начну подавлять себя, буду молча страдать.

Слезы навернулись на глаза Кристофа.

— О! Этого я не хочу. Нет, нет! Я предпочту любое несчастье, только бы вы не страдали по моей вине, из-за меня.

— Не огорчайтесь, мой друг... Знаете, говоря так, возможно, я льщу себе, переоцениваю себя. Может быть, я и не способна пожертвовать собой ради вас.

— Тем лучше!

— Но тогда я принесу в жертву вас и буду мучиться... Вот видите, это неразрешимо, как ни поверни. Пусть все остается по-прежнему. Разве может быть что-нибудь лучше нашей дружбы?

Он покачал головой и улыбнулся не без горечи.

— Да, все это потому, что, в сущности, вы недостаточно меня любите.

Она тоже грустно улыбнулась и сказала со вздохом:

— Может быть. Вы правы. Я уже не очень молода, мой друг. Я устала. Жизнь изнашивает, не все так сильны, как вы... О! Когда я гляжу на вас, мне иной раз кажется, что вам восемнадцать лет.

— Увы! А моя седая голова, морщины, старое лицо!

— Я хорошо знаю: вы страдали столько же, если не больше, чем я. Я вижу это. Но вы глядите на меня иногда глазами юноши, и я чувствую, как в вас бьет ключом молодая жизнь. А я, я угасла. Подумать только, куда девался мой былой пыл! То были, как говорится, хорошие времена, хотя я была в ту пору очень несчастна! А теперь у меня даже нет сил, чтобы быть несчастной! Жизнь во мне течет слабой струйкой. У меня уже не хватит безрассудства, чтобы отважиться на такое испытание, как брак. А когда-то, когда-то! Если бы некто, кого я хорошо знаю, только сделал мне знак...

— Говорите, говорите же...

— Нет, не стоит...

— Итак, если бы тогда я... О, боже!

— Что, если бы вы? Я ничего не сказала.

— Я понял. Вы очень жестоки.

— Ну, а тогда — тогда я была безумной, вот и все.

— Но ужаснее всего, что вы говорите это.

— Бедный Кристоф! Я слова не могу вымолвить, чтобы не причинить ему страдания. Я замолчу.

— Нет, нет! Говорите... скажите что-нибудь.

— Что?

— Что-нибудь хорошее.

Она рассмеялась.

— Не смейтесь.

— А вы не будьте грустным.

— Как же я могу не грустить?

— У вас нет для этого причин, уверяю вас.

— Почему?

— Потому что у вас есть подруга, которая очень любит вас.

— Правда?

— Как, вы не верите? Вы не верите моим словам?

— Повторите еще!

— Тогда вы перестанете грустить? Вы не будете слишком

жадным? Вы сумеете довольствоваться нашей драгоценной дружбой?

— Придется!

— Неблагодарный, неблагодарный! А еще говорите, что любите! Право, я думаю, что люблю вас больше, чем вы меня.

— О, если бы это было возможно!

Он произнес это в таком порыве влюбленного эгоизма, что она рассмеялась. Он тоже. Он продолжал настаивать:

— Скажите!

С минуту Грация молча смотрела на него, затем вдруг приблизила свое лицо к лицу Кристофа и поцеловала его. Это было так неожиданно! У него перехватило дыхание. Он хотел сжать ее в объятьях. Но она тут же вырвалась. Стоя у двери маленькой гостиной, она посмотрела на него, приложила палец к губам, произнесла: «Тс!» — и исчезла.

С этого дня Кристоф не говорил больше Грации о своей любви, и его отношения с ней стали более непринужденными. Вместо натянутого молчания, чередующегося с едва подавляемыми вспышками резкости, пришла простая и сдержанная дружба. Таковы благодетельные плоды откровенности. Нет больше полунамеков, иллюзий, опасений. Каждый знал сокровенные мысли другого. Когда Кристоф вместе с Грацией находился в обществе чужих людей, раздражавших его своим равнодушием, и начинал нервничать, слушая, как Грация ведет с ними пустую, светскую болтовню, она тотчас же замечала это и, улыбаясь, бросала на него взгляд. Этого было достаточно — он сознавал, что они вместе, и мир водворялся в его душе.

Присутствие любимой женщины вырывает из воображения отравленное жало; лихорадка страсти утихает; душа погружается в целомудренное обладание возлюбленной. К тому же Грация излучала на всех окружающих спокойное очарование своей гармонической натуры. Всякая, даже невольная, утрировка, жест, интонация оскорбляли ее, как нечто искусственное и некрасивое. Так она постепенно влияла на Кристофа. Вначале он грыз удила, обуздывая свои порывы, но мало-помалу научился владеть собой, и это стало его силой, ибо он перестал растрачивать себя в бесплодных вспышках.

Их души слились. Грация, погруженная в полудремоту, с улыбкой вкушавшая сладость жизни, начала пробуждаться при соприкосновении с нравственной энергией Кристофа. Она стала проявлять более живой и непосредственный интерес к духовным

ценностям. Она, которая почти не читала, а больше лишь перечитывала до бесконечности одни и те же старые любимые книги, начала ощущать любопытство, а вскоре и интерес к свежим мыслям. Богатый мир новых идей, о котором она знала, но куда не имела ни охоты, ни отваги вступать в одиночестве, не пугал ее теперь, когда у нее был спутник, готовый вести ее. Незаметно для себя она начала понимать, хотя и не без сопротивления, ту молодую Италию, чей боевой пыл так долго отталкивал ее.

Но это слияние душ оказалось особенно благотворным для Кристофа. В любви часто бывает, что наиболее слабым из двоих является тот, кто больше дает, не потому, что другой любит меньше, а просто у более сильного бо́льшие требования. Так Кристоф уже обогатился умом Оливье. Но его новый духовный союз был гораздо плодовитее, так как Грация принесла ему в приданое редчайшее сокровище, которым никогда не обладал Оливье,— радость. Радость в душе и в глазах. Солнечный свет. Улыбку латинского неба, которая прикрывает безобразие самых уродливых вещей, украшает цветами камни старых стен и даже печали сообщает свое спокойное сияние.

Возрождающаяся весна была союзницей Грации. Мечта новой жизни созревала в теплом неподвижном воздухе. Молодая зелень сплеталась с серебристо-серыми оливами. Под темно-красными арками разрушенных акведуков стояли усыпанные белыми цветами миндальные деревья. В проснувшейся Кампанье волновались потоки трав, вспыхивали триумфальные огни маков. На лужайках перед виллами разлились ручьи розовато-лиловых анемонов и расстилались скатерти фиалок. Глицинии карабкались по стволам зонтообразных сосен, а ветер, проносившийся над городом, был напоен ароматом роз Палатина.

Они гуляли вдвоем. Грация выходила порою из оцепенения, присущего восточным женщинам, в которое она погружалась на много часов, и становилась совсем другой; она любила гулять; высокая, с длинными ногами, с крепким и гибким станом, она походила на статую Дианы Приматиччо. Чаще всего они отправлялись на одну из вилл, которые напоминали обломки кораблекрушения,— остатки блестящего времени Рима settecento, потонувшего в волнах пьемонтского варварства. Особой их любовью пользовалась вилла Маттеи, этот утес древнего Рима, у подножья которого, словно плещущие волны, обрывались холмы пустынной Кампаньи. Они шли дубовой аллеей с высоким сводом, обрамляющим мягкие, слегка вздымающиеся, подобно бьющемуся сердцу, синие очертания Альбанских гор. Сквозь листву видны выстроившиеся вдоль дороги гробницы римских

супругов, их печальные лица и навеки сплетенные руки. Кристоф и Грация садились в конце аллеи, в беседке из вьющихся роз, прислонившись спиной к белому саркофагу. Ни души. Глубокий покой. Шелест фонтана, бьющего слабой, как бы изнемогающей от истомы струйкой. Они беседовали вполголоса. Грация доверчиво смотрела на своего друга. Кристоф говорил о жизни, о борьбе, о пережитых страданиях; во всем этом уже не было грусти. Рядом с ней, под ее взглядом все было просто, все было таким, как должно быть. Она тоже рассказывала Кристофу о себе. Он едва слушал ее, но ни одна из ее мыслей не ускользала от него. Он обручился с ее душой. Он смотрел на все ее глазами. Всюду он видел ее глаза — ее спокойные глаза, горевшие глубоким огнем: он видел их в прекрасных чертах полуразрушенных античных статуй, в их немом, загадочном взгляде; он видел их в небе Рима, которое влюбленно улыбалось пушистым кипарисам, и среди листьев leccі [1], черных, блестящих, словно пронзенных стрелами солнца.

Глазами Грации Кристоф воспринял латинское искусство, оно стало доступно его сердцу. До сих пор он оставался равнодушным к творчеству итальянцев. Этот варвар-идеалист, огромный медведь, забредший сюда из германских лесов, не научился еще наслаждаться прелестью прекрасных мраморных статуй, золотящихся подобно медовым сотам. К древностям Ватикана он относился с откровенной враждебностью. Он испытывал отвращение к этим тупым лицам, к женоподобным или слишком громоздким фигурам, к банальной округлости форм, ко всем этим Гитонам и гладиаторам. Только несколько портретных скульптур снискали его благоволение, но этот жанр не интересовал его. Не бóльшую снисходительность проявил он и к мертвенно-бледным, гримасничающим флорентинцам, к страждущим, немощным мадоннам, к малокровным, чахоточным, манерным и истощенным Венерам прерафаэлитов. А животно-тупые скульптуры воинов и красных потных атлетов, распространившиеся по всему миру с фресок Сикстинской капеллы, казались ему пушечным мясом. К одному лишь Микеланджело он питал тайное благоговение за его трагические страдания, за его божественное презрение и за суровое целомудрие его страстей. Он любил чистой и варварской любовью, как и великий мастер, строгую наготу его юношей, его диких и пугливых девственниц, напоминающих затравленных зверей, скорбную Аврору, мадонну с исступленными глазами и младенцем, припавшим к груди,

[1] Каменных дубов *(итал.)*.

и прекрасную Лию, которую он не прочь был бы взять в жены. Но в истерзанной душе героя он находил лишь отражение своей собственной души.

Грация распахнула перед ним двери в мир нового искусства. Он познал величавое спокойствие Рафаэля и Тициана. Он оценил царственный блеск классического гения, который подобно льву повелевает миром побежденных и укрощенных форм. Потрясающий образ великого венецианца, проникающего в самое сердце и рассеивающего своим сиянием смутный туман жизни, всепокоряющее могущество латинского разума, умеющего не только одерживать победы, но и укрощать самого себя и, победив, подчиняться суровой дисциплине, умеющего отбирать и захватывать на поле боя все самое ценное из добычи, брошенной поверженным врагом. Статуи олимпийцев и Stanze Рафаэля наполнили сердце Кристофа музыкой, прекраснее творений Вагнера. Музыкой спокойных линий, благородной архитектуры, гармонических групп. Музыкой, излучаемой совершенной красотой лиц, рук, прекрасных ног, одежд и жестов. Ум. Любовь. Потоки любви бьют ключом из этих юных душ и тел. Могущество духа и наслаждения. Юная нежность, насмешливая мудрость, назойливый, жаркий запах влюбленной плоти, ясная улыбка, рассеивающая тьму и смиряющая страсти. Встали на дыбы трепетные силы жизни, и их обуздала, словно коней, впряженных в колесницу Солнца, уверенная рука хозяина...

И Кристоф спрашивал себя:

«Неужели нельзя сочетать, как это делали они, силу и спокойствие римлян? Теперь даже наиболее способные стремятся к чему-нибудь одному, в ущерб другому. Пожалуй, итальянцы, больше чем другие народы, утратили чувство той гармонии, которую знали Пуссен, Лоррен и Гете. Неужели чужеземцам придется снова доказать римлянам ценность этого? А кто научит этому наших музыкантов? Музыка еще не имела своего Рафаэля. Моцарт лишь ребенок, маленький немецкий буржуа, с лихорадочными руками и сентиментальным сердцем; он слишком болтлив, слишком много жестикулирует и говорит, и плачет, и смеется по пустякам. И ни готический Бах, ни Прометей из Бонна, борющийся с коршуном, ни его потомки Титаны, взвалившие Пелион на Оссу и бросающие вызов небу, никогда не видели улыбки божества...»

После того как Кристоф увидел эту улыбку, он стал краснеть за свою собственную музыку: за суетное волнение, напыщенные страсти, нескромные жалобы, выпячивание себя, отсутствие чувства меры — все это казалось ему одновременно и

жалким и позорным. Стадо без пастуха, царство без короля. Нужно уметь быть владыкой мятежной души...

Казалось, Кристоф в течение этих месяцев совсем забыл музыку. Он почти не писал, он не ощущал в этом потребности. Его ум, оплодотворенный Римом, вынашивал плод. Он проводил дни в состоянии полудремоты, полуопьянения. Было начало весны, и в природе происходило то же, что и в нем: к истоме пробуждения примешивалось головокружительное сладострастие. Природа и он слились воедино и предавались мечтам, подобно любовникам, крепко обнявшимся во сне. Волнующая тайна Кампаньи уже не вызывала в нем ни враждебности, ни тревоги: он овладел ее трагической красотой; он держал в своих объятьях спящую Деметру.

В апреле Кристоф получил приглашение из Парижа: ему предлагали дирижировать циклом концертов. Даже не обсуждая его, он решил отказаться, но сперва счел своим долгом рассказать об этом Грации. Ему было приятно советоваться с ней о своих делах. Это создавало иллюзию, что она разделяет его жизнь. На этот раз она причинила ему сильное разочарование. Она заставила его подробно рассказать об условиях и, выслушав, посоветовала принять предложение. Он был опечален: он видел в этом доказательство ее равнодушия.

Быть может, Грация и не без сожаления давала этот совет. Но зачем Кристоф обратился к ней? Чем больше он доверялся ей, заставляя принимать решения за себя, тем большую ответственность чувствовала она за поступки своего друга. В результате обмена мыслями, происходившего между ними, она заимствовала у Кристофа частицу его воли; он открыл ей, что деятельность — долг человека, и она поняла красоту этого долга. По крайней мере, она считала выполнение долга обязательным для своего друга и не желала, чтобы он уклонялся. Она лучше его знала расслабляющее влияние, таящееся в дыхании итальянской земли, которое, подобно коварному яду теплого сирокко, проникает в кровь и усыпляет волю. Сколько раз она испытывала на себе его пагубные чары, не имея сил сопротивляться ему. Все окружающие ее люди в той или иной мере были поражены этим душевным недугом. Некогда более сильные, чем она и Кристоф, они стали его жертвами; эта ржавчина разъела доспехи римской волчицы. Рим дышит смертью; здесь слишком много гробниц. Здесь здоровее бывать изредка, чем жить постоянно. Здесь слишком быстро отстают от века; этот воздух опасен

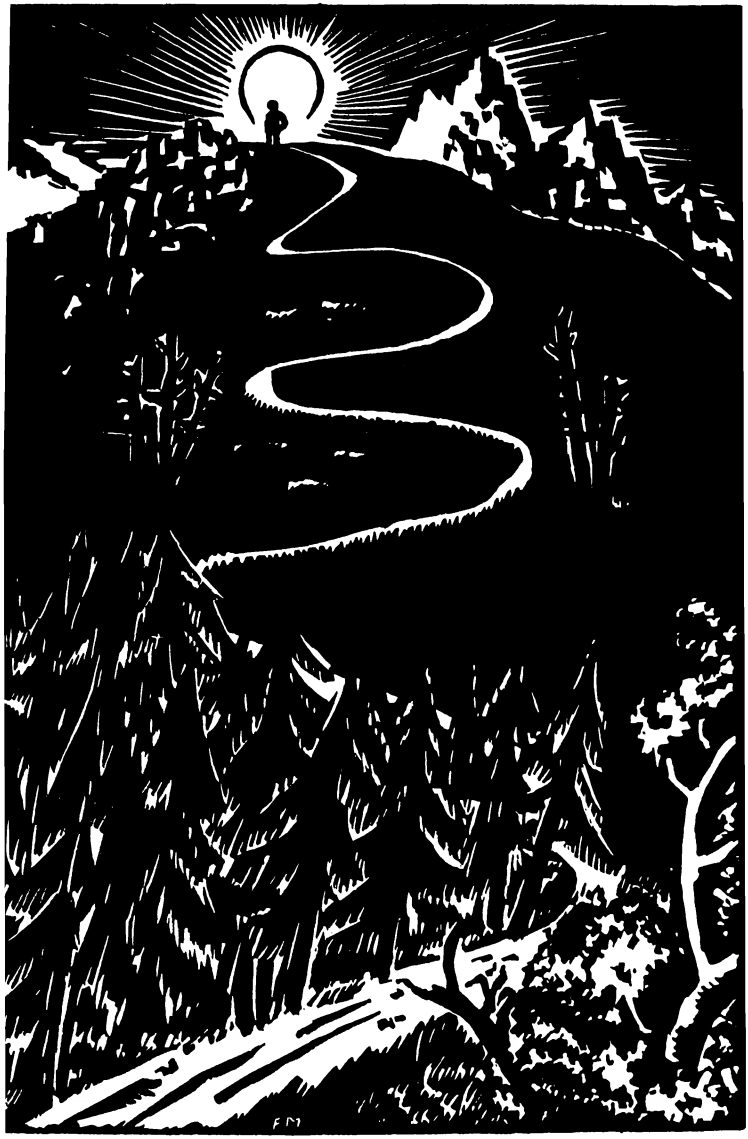
для молодых сил, которым еще предстоит долгий жизненный путь. Грация прекрасно понимала, что окружающее ее общество не могло быть животворной средой для художника. И хотя она относилась к Кристофу более дружески, чем к кому-либо (решится ли она признаться в этом самой себе?), в глубине души она была рада, что он уезжал. Увы! Он утомлял ее всем тем, что она любила в нем,— своею цельностью, избытком жизненных сил, накопленных в течение ряда лет и бьющих через край; все это нарушало ее покой. Возможно, он утомлял ее еще и потому, что она постоянно чувствовала угрозу этой прекрасной, трогательной, но настойчивой любви, против которой всегда приходилось быть начеку; гораздо благоразумнее держать его в отдалении. Даже самой себе она боялась признаться в этом; она верила, что ею руководят только интересы Кристофа.

Доводов у нее было больше чем достаточно. В то время положение музыкантов в Италии было трудным; им не хватало простора. Музыкальная жизнь была подавлена и изуродована. Фабрика театра покрывала своей жирной копотью и удушливым дымом эту землю, где расцветали некогда музыкальные цветы, наполнявшие своим благоуханием всю Европу. Те, кто отказывался вступить в банду крикунов, кто не мог и не хотел служить на фабрике, были обречены на изгнание или прозябали. Творческий гений отнюдь не иссяк. Но он бездействовал и погибал. Кристоф встретил немало молодых музыкантов, в которых возродилась мелодическая душа мастеров их расы и чувство прекрасного, насыщавшее простое и мудрое искусство прошлого. Но кто ими интересовался? Они не могли ни исполнять, ни издавать свои произведения. Чистая симфония никому не была нужна. Никто не желал слушать музыку, если ее лик не был грубо размалеван. Тогда они начинали петь для самих себя унылым, безнадежным голосом, но и он в конце концов угасал. К чему? Лучше уснуть! Кристоф от всей души хотел помочь им. Но если бы даже это было в его силах, их подозрительность и самолюбие возмутились бы против этого. Что бы собой ни представлял Кристоф, он был для них иностранцем; а для итальянцев, потомков гордой древней расы, несмотря на их сердечное радушие, каждый чужеземец остается, в сущности, варваром. Они считали, что вопрос о бедственном положении их искусства должен решаться без посторонних. Осыпая Кристофа проявлениями дружбы, они не принимали его в семью. Что ему оставалось делать? Не мог же он соперничать с ними и оспаривать у них жалкое место под солнцем, в праве на которое они были так неуверены!

К тому же талант не может обходиться без пищи. Музыкант нуждается в музыке,— он должен ее слышать, он должен ее исполнять. Временное уединение полезно для ума, оно заставляет его сосредоточиваться, только при условии, что это длится недолго. Одиночество благородно, но может оказаться смертельным для художника, у которого не хватит сил вырваться из него. Нужно жить жизнью своего времени, пусть даже шумной и грязной; нужно непрерывно давать и получать, давать, давать и снова получать. Италия в ту пору, когда там жил Кристоф, уже перестала быть той огромной ярмаркой искусства, какой была когда-то, какой, быть может, станет вновь. Ярмарки мысли, где происходит обмен духовными ценностями между народами, перекочевали теперь на север. Кто хочет жить, должен жить там.

Кристоф по своей воле ни за что не полез бы в эту мерзкую толкучку. Но Грация более ясно сознавала долг Кристофа, чем он сам. И предъявляла к нему бо́льшие требования, чем к себе самой. Потому, разумеется, что ставила его выше себя. Но также и потому, что так ей было удобнее. Она передавала ему свою энергию, а сама сохраняла покой. Он не осмеливался сердиться на нее за это. Она была подобна Марии — ее удел был легче. Каждому предназначена своя роль в жизни. Кристофу положено было действовать. Ей же довольно было жить на свете. Большего он от нее и не требовал, лишь бы она любила его — и, если можно, не только ради него, но и ради самой себя. Ибо он не слишком был благодарен Грации за ее дружбу, настолько лишенную эгоизма, что она думала лишь об интересах друга, в то время как ему хотелось, чтобы она не о них думала.

Он уехал. Он отдалился от нее. Но не расстался с ней. Как говорит некий старый трувер, «свою подругу покидает друг, лишь получив согласие души».



«Жан-Кристоф». Книга десятая.

У Кристофа щемило сердце, когда он подъезжал к Парижу. В первый раз после смерти Оливье он возвращался туда. Ему не хотелось больше видеть этот город. Когда он ехал в фиакре с вокзала в гостиницу, то едва осмеливался смотреть в окошко. Первые дни он провел в своем номере, не решаясь выйти. Он боялся воспоминаний, подстерегающих его за дверью. Но чего именно? Отдавал ли он себе в этом отчет? Был ли то страх, как убеждал себя Кристоф, что тени прошлого снова, как живые, возникнут перед ним? А может быть,— и это еще горше,— что прошлое уже окажется мертвым? Против новой утраты его инстинкт подсознательно вооружился всевозможными уловками. Именно потому, вероятно сам того не подозревая, он выбрал гостиницу подальше от квартала, где жил прежде. И когда Кристоф в первый раз прошел по улицам в концертный зал, где проводил репетиции с оркестром, когда снова соприкоснулся с жизнью Парижа, то долго еще продолжал закрывать глаза, отказываясь видеть то, что видел, и упорно стремясь видеть лишь то, что видел когда-то. Он заранее внушал себе: «Все это мне уже знакомо, все это мне уже знакомо».

В искусстве, как и в политике, по-прежнему царили нетерпимость и анархия. На площади та же ярмарка. Только актеры поменялись ролями. Революционеры его времени превратились в буржуа; сверхчеловеки стали знаменитостями. Прежние независимые стремились задушить нынешних. Те, кто двадцать лет назад представляли молодежь, теперь стали еще бо́льшими консерваторами, чем старики, с которыми они боролись так недавно, и своими нападками отказывали в праве на жизнь молодому поколению. С виду все оставалось по-прежнему.

И все изменилось...

* * *

«Мой друг, простите меня! Как Вы добры, что не сердитесь на мое молчание. Ваше письмо очень помогло мне. Я провел несколько недель в ужасном смятении. Мне всего не хватало. Я потерял Вас. Здесь — страшная пустота после моих утрат. Из старых друзей, о которых я Вам рассказывал, не осталось никого. Филомела (помните голос, который пел в тот печальный и чудесный вечер, когда, блуждая среди праздничной толпы, я увидел в зеркале Ваши глаза, устремленные на меня),— Филомела благоразумно осуществила свою давнишнюю мечту: она получила маленькое наследство и живет теперь в Нормандии, хозяйничает у себя на ферме. Арно ушел в отставку, они с женой вернулись в свой родной городок неподалеку от Анжера. Большинство знаменитостей моего времени умерло или впало в полное ничтожество, осталось только несколько старых манекенов, которые еще двадцать лет назад подвизались на ролях первых любовников в искусстве и политике и играют эти роли до сих пор все так же фальшиво. Кроме этих масок, я не узнал больше никого. Мне казалось, что они кривляются на могиле. Это было отвратительное ощущение. Кроме того, первое время после приезда я страдал физически от уродства окружающего, от тусклого северного света после Вашего золотого солнца, от нагромождения серых домов, от грубых линий некоторых соборов, некоторых памятников,— прежде я не замечал их, а теперь они оскорбляют мое зрение. Моральная атмосфера тоже мне не по душе.

Тем не менее я не могу пожаловаться на парижан. Они оказали мне совсем иной прием, чем когда-то. Похоже на то, что за время моего отсутствия я стал чем-то вроде знаменитости. Не стоит об этом рассказывать, я-то знаю этому цену. Разумеется, все лестное, что эти люди говорят и пишут обо мне, мне приятно. Я им весьма признателен. Но, знаете, мне были гораздо ближе те, кто нападал на меня когда-то, чем те, кто превозносит меня теперь... Виноват в этом я сам, знаю. Не браните меня. Некоторое время я находился в смятении. Теперь все прошло. Я понял. Да, Вы были правы, отправляя меня к людям. Одиночество начало засасывать меня. Вредно играть роль Заратустры. Поток жизни постепенно иссякает, исчезает. Наступает момент, когда остается пустыня. А чтобы прорыть в песках новый канал до реки, нужно много дней изнуряющей работы под палящим солнцем. Это сделано. У меня уже не кружится голова. Я влился в течение. Я смотрю и вижу.

Друг мой, какой странный народ французы! Двадцать лет назад я считал, что их песня спета. А они начинают сызнова. Мой дорогой друг Жанен предсказывал это. Но я полагал, что он обольщает себя иллюзиями. Разве тогда можно было этому поверить? Вся Франция, как и их Париж, была полна развалин, обломков, пожарищ. Я говорил: «Они все разрушили... Это племя разрушителей!» Но и племя бобров. Когда вам кажется, что они яростно предаются разрушению, они на тех же руинах закладывают фундамент нового города. Теперь со всех сторон поднялись леса, и я убедился в этом.

Wenn ein Ding geschehen,
Selbst die Narren es verstehen [1].

Говоря откровенно, во Франции царит все тот же сралаш. Нужно привыкнуть, чтобы рассмотреть в этой непрерывной сутолоке и толчее артели рабочих, идущих на работу. Эти люди, как Вам известно, не умеют ничего делать, не крича об этом на всех перекрестках. Эти люди не умеют также ничего делать, не охаивая того, что делают соседи. Тут могут потерять рассудок даже самые крепкие головы. Но если прожить с ними, как я, около десяти лет, то их крики уже не вводят в заблуждение. Начинаешь понимать, что это их манера подстегивать себя в работе. Болтая, они действуют, и каждая группа строителей сооружает свой дом, а там глядишь — и город перестроен; но поразительнее всего то, что у них получается довольно стройное целое. Как бы ни были противоположны их взгляды, мозги у всех устроены на один манер. Таким образом, под их анархией скрываются общие инстинкты, общая свойственная всей нации логика, заменяющая дисциплину, которая в конечном счете, быть может, даже крепче, чем дисциплина в прусском полку.

Всюду ощущается тот же порыв, та же строительная лихорадка: в политике — социалисты и националисты работают наперегонки, чтобы подтянуть расшатанный механизм власти; в искусстве одни хотят восстановить старинный аристократический особняк для привилегированных, другие же — воздвигнуть огромный зал, широко доступный для народа, где поет душа коллектива; это реставраторы прошлого, строители будущего. Впрочем, что бы ни делали эти искусные животные, они всегда

[1] Когда событие произошло, оно становится понятным даже глупцам *(нем.)*.— *Р. Р.*

создают одни и те же клетки. С присущим им инстинктом бобров и пчел они на протяжении веков повторяют одни и те же движения, находят одни и те же формы. Наиболее революционно настроенные из них, быть может даже подсознательно, придерживаются самых старых традиций. Я встречал среди синдикалистов и среди наиболее выдающихся молодых писателей людей средневекового склада.

Теперь, когда я снова привык к их шумным повадкам, я с удовольствием наблюдаю, как они работают. Поговорим начистоту: я слишком старый медведь и никогда не буду чувствовать себя хорошо ни в одном из их домов,— мне необходим свежий воздух. Но какие прекрасные работники! Это их высшая добродетель. Она облагораживает самых посредственных и самых развращенных из них. А как чувствуют красоту их художники! Прежде я замечал это меньше. Вы научили меня видеть. Благодаря свету Рима я прозрел. Ваши люди Возрождения помогли мне понять французов. Страница Дебюсси, торс Родена, фраза Сюареса — все это потомки ваших cinquecentisti [1].

Это отнюдь не значит, что мне здесь все по душе. Я снова встретил моих старых знакомых с Ярмарки на площади, которые когда-то так возбуждали мой священный гнев. Они нисколько не изменились. Но, увы, изменился я. Я уже не смею быть беспощадным. Когда у меня возникает желание вынести кому-либо суровый приговор, я говорю себе: «Ты не имеешь права. Ты поступил хуже, чем эти люди, а ведь ты считал себя сильным...» Я научился также понимать, что нет ничего бесполезного, что самым подлым людям суждена своя роль в трагедии. Извращенные дилетанты, зловонные растлители выполнили свою работу термитов: нужно было разрушить ветхую лачугу, прежде чем ее восстанавливать. Евреи повиновались своей священной миссии — они остались народом, чуждым другим расам, народом, прокладывающим из одного конца мира в другой пути, объединяющие человечество. Они опрокидывают интеллектуальные барьеры, разделяющие нации, чтобы предоставить широкую арену божественному Разуму. Прожженные циники и насмешники, своей разрушительной иронией подрывающие завещанные нам верования и уничтожающие дорогих нам покойников, бессознательно работают ради святого дела, ради созидания новой жизни. Точно так же и банкиры-космополиты, удовлетворяющие свое чудовищное корыстолюбие ценою стольких бедствий, воздвигают, хотят они этого или нет, будущий единый

[1] Итальянцы шестнадцатого века *(итал.)*.

мир бок о бок с революционерами, которые борются против них,— притом гораздо успешнее, чем простаки-пацифисты.

Как видите, я старею. Я уже не кусаюсь. Мои зубы притупились. Увы, я уже не принадлежу к числу тех зрителей, которые, сидя в театре, вызывают актеров во время действия и освистывают предателя на сцене.

Безмятежная Грация! Я говорю Вам только о себе, а между тем думаю только о Вас. Ах, если бы Вы знали, как надоело мне мое «я»! Оно угнетает и поглощает меня. Это ярмо, навязанное на мою шею господом богом. Как бы я хотел сложить его у Ваших ног! Но что бы Вы с ним делали? Это скучный подарок... Ваши ноги созданы, чтобы ходить по мягкой земле и топтать скрипящий под ногами гравий. Я вижу эти милые ноги, они лениво ступают по лужайкам, усыпанным анемонами (побывали ли Вы за это время на вилле Дориа?)... А вот они уж и устали! Теперь я вижу Вас полулежащей в любимом уголке, в глубине Вашей гостиной; опираясь на локоть, Вы держите в руках книгу, но не читаете ее. Вы благосклонно слушаете меня, не очень вникая в то, что я говорю: ведь я надоедлив, и, чтобы набраться терпения, Вы время от времени возвращаетесь к своим мыслям; но Вы вежливы, и, чтобы меня не огорчать, когда какое-нибудь слово случайно возвращает вас издалека к действительности, Ваш рассеянный взгляд спешит выразить интерес. А я... я тоже далек от того, что говорю, я тоже почти не слышу своих слов, и, следя за тем, как они отражаются на Вашем прекрасном лице, я слышу внутри себя совсем другие слова, которые не решаюсь произнести. И эти слова, не в пример тем, другим, Вы прекрасно слышите, хотя и делаете вид, что не слышите.

До свиданья. Думаю, что Вы скоро увидите меня. Я не могу больше томиться. Что мне здесь делать теперь, когда концерты окончились?

Целую милые щечки ваших деток. Они — частица Вас. Приходится довольствоваться этим!..

*Кристоф».*

«Безмятежная Грация» отвечала:

«Мой друг! Я получила Ваше письмо в уголке гостиной, которую Вы так хорошо помните; и читала его так, как читаю обычно,— давая время от времени передохнуть и Вашему письму, и себе самой. Не смейтесь! Это для того, чтобы продлить удовольствие. Я просидела с ним до вечера. Дети спросили меня,

что это я все время читаю. Я ответила, что это письмо от Вас. Аврора посмотрела на листочки бумаги и соболезнующе воскликнула: «Как, должно быть, скучно писать такое длинное письмо!» Я пыталась объяснить ей, что это не принуждение, не урок, который я Вам задала, а что таким образом мы беседуем. Она выслушала, не сказав ни слова, и убежала играть с братом в соседнюю комнату; спустя немного времени, когда Лионелло начал кричать, я услышала, как Аврора сказала ему: «Нельзя шуметь: мама разговаривает с синьором Кристофом».

То, что Вы сообщаете о французах, интересует меня, но не удивляет. Помните, я часто упрекала Вас за то, что Вы несправедливы к ним. Их можно не любить. Но какой это умный народ! Есть посредственные нации, которых выручает доброта или физическая сила. Французов выручает ум. Он искупает все их слабости. Он возрождает их. Когда всем кажется, что они впали в ничтожество, выдохлись, разложились, они обретают новую молодость в неиссякаемом источнике своего разума.

Но я вынуждена пожурить Вас. Вы просите у меня извинения за то, что говорите только о себе. Вы — ingannatore [1]. Вы ничего не сообщаете о себе. Ни о том, что Вы сделали, ни о том, что Вы видели. Чтобы осведомить меня о Ваших успехах, кузине Колетте (кстати, почему Вы не зайдете к ней?) пришлось прислать мне вырезки из газет с отзывами о Ваших концертах. Вы только вскользь упоминаете о них. Неужели Вы так равнодушны ко всему? Это неправда. Скажите мне, что успех доставляет Вам удовольствие!.. Это должно доставлять Вам удовольствие уже потому, что доставляет удовольствие мне. Я не люблю, когда у Вас удрученный вид. Тон Вашего письма грустный. Не надо... Хорошо, что Вы стали справедливее к окружающим. Но это не причина для самобичевания, которому подвергаете себя Вы, считая себя худшим из худших. Добрый христианин похвалил бы Вас, я же говорю, что это плохо. Я дурная христианка. Но я хорошая итальянка и не люблю, когда терзаются из-за прошлого. Хватит с нас и настоящего. Я не знаю толком всего, что Вы натворили когда-то. Вы сказали об этом лишь несколько слов, а остальное, кажется, я угадала. Это было что-то не слишком красивое, но Вы не стали от этого менее дороги мне. Бедный Кристоф, женщина, достигшая моего возраста, неизбежно убеждается в том, что самые порядочные люди зачастую бывают слабыми. И за эти слабости их только сильнее любят. Не раз-

[1] Лгунишка *(итал.)*.

мышляйте больше о том, что Вы сделали. Думайте о том, что Вы сделаете. Раскаяние ни к чему. Раскаиваться — значит возвращаться назад. Творя добро или зло, нужно всегда идти вперед. Sempre avanti, Savoia! [1] Неужели Вы воображаете, что я разрешу Вам вернуться в Рим! Вам здесь нечего делать. Оставайтесь в Париже, творите, действуйте, примите участие в артистической жизни. Я не желаю, чтобы Вы отреклись от мира. Я хочу, чтобы Вы создавали прекрасные вещи, хочу, чтобы они имели успех; хочу, чтобы Вы были сильным и помогали молодым, новым Кристофам, которые ведут ту же борьбу и проходят через те же испытания, что и Вы. Найдите их, поддержите их, отнеситесь к своим младшим собратьям лучше, чем старшие отнеслись когда-то к Вам. Наконец, я хочу, чтобы Вы были сильным, чтобы я знала, что Вы сильны,— Вы даже не подозреваете, какую силу это дает мне самой.

Почти ежедневно я хожу на виллу Боргезе. Позавчера мы ездили в экипаже на Понте-Молле и обошли пешком башню Монте-Марио. Вы клевещете на мои бедные ноги. Они в обиде на Вас: «Что там болтает этот господин, будто мы тотчас же устаем, пройдя десять шагов по вилле Дориа? Он не знает нас. Если мы и не слишком любим утруждать себя, то лишь из лени, а вовсе не потому, что не можем...» Не забывайте, мой друг, что я ведь крестьяночка.

Сходите к моей кузине Колетте. Неужели Вы все еще сердитесь на нее? В сущности, это добрая женщина. Она бредит Вами. Судя по всему, парижанки помешались на Вашей музыке. Если только мой бернский медведь захочет, то станет парижским львом. Получаете ли Вы письма? Объясняются ли Вам в любви? Вы не упоминаете ни об одной женщине. Уж не влюбились ли? Расскажите. Я не ревнива.

Ваш друг *Г.*».

«Не воображайте, что я Вам признателен за Вашу последнюю фразу! Я благодарил бы небо, насмешница Грация, если бы вы были ревнивы! Но не рассчитывайте — я не научу Вас этому. Я совсем не склонен влюбляться в этих сумасшедших парижанок, как Вы их называете. Сумасшедших? Они бы не прочь сойти с ума. Но это отнюдь не так. Не надейтесь, что они вскружат мне голову. Вероятно, это скорее удалось бы им, если бы они равнодушнее относились к моей музыке. Но они

[1] Всегда вперед, Савойя! *(итал.)*

любят ее, это слишком очевидно. Можно ли при этом сохранить иллюзии? Если кто-нибудь говорит, что понимает вас, то будьте уверены: он никогда вас не поймет...

Не принимайте слишком всерьез мое брюзжанье. Чувства, которые я питаю к Вам, вовсе не делают меня несправедливым ко всем остальным женщинам. Я никогда не испытывал к ним более искреннего расположения, как с той поры, что перестал смотреть на них влюбленными глазами. Их отважную борьбу на протяжении тридцати лет против унизительного и нездорового положения полурабынь, в которое их поставил — к нашему обоюдному несчастью — глупый мужской эгоизм, я считаю одним из величайших подвигов нашей эпохи. В таком городе, как Париж, научаешься восхищаться этим новым поколением молодых девушек, которые, невзирая на все препятствия, с наивным жаром устремляются на завоевание науки и дипломов,— той науки и тех дипломов, которые должны, как они полагают, раскрепостить их, открыть им тайны неведомого мира, сделать их равными мужчинам...

Разумеется, эта вера призрачна и немного смешна. Но Прогресс никогда не осуществляется так, как ожидают, а совсем иными путями. Эти усилия женщин не пропадут. Женщины станут более совершенными, более гуманными, такими, какими они были в великие эпохи. Они перестанут безучастно относиться к животрепещущим мировым вопросам,— ведь это было позорно и чудовищно. Недопустимо, чтобы в современном государстве женщина, даже целиком поглощенная семейными обязанностями, считала себя свободной от выполнения гражданского долга. Их прабабушки времен Жанны д'Арк и Екатерины Сфорца мыслили иначе. Женщина зачахла. Мы отказали ей в воздухе и солнце. Она берет их у нас силой. Ах, славные девушки! Разумеется, многие из тех, кто вступил теперь в борьбу, погибнут, надорвутся. Это переходная эпоха. Напряжение слишком велико для этих чересчур изнеженных созданий. Когда растение долгое время остается без влаги, оно рискует погибнуть от первого же дождя. Что ж поделаешь! Такова расплата за всякий прогресс. Зато те, что придут потом, расцветут на этих страданиях. Бедные девы-воительницы в большинстве своем никогда не выйдут замуж, но окажутся более плодовитыми для будущего, чем целые поколения матрон, рожавших детей до них; ценою их жертв возникнет поколение женщин нового классического века.

Конечно, только не в салоне Вашей кузины Колетты можно встретить этих трудолюбивых пчелок. Почему Вы с та-

ким упорством посылаете меня к этой женщине? Мне пришлось подчиниться, но это нехорошо. Вы злоупотребляете своей властью. Я отказался от трех ее приглашений, не ответил на два письма. Преследуя меня, она явилась на одну из репетиций (я исполнял с оркестром мою шестую симфонию). Она пришла ко мне в антракте, задрав нос, нюхая воздух и восклицая: «Ах! Это пахнет любовью! Как мне нравится такая музыка!»

Она изменилась внешне: от ее прежнего облика остались только кошачьи глаза с выпуклыми зрачками да капризный задорный носик, находящийся в непрерывном движении. Но лицо стало более широким, скуластым, со здоровым румянцем. Спорт преобразил ее. Она бросилась в него очертя голову. Ее муж, как Вам известно, один из почетных членов Автомобильного клуба и Аэроклуба. Без них не обходится ни один авиационный перелет, ни одно состязание в воздухе, на земле или в воде, всюду чета Стивенс-Дэлестрад считает своим долгом присутствовать. Они постоянно в разъездах. С ними невозможно беседовать: они способны только говорить Racing, Rowing, Rugby, Derby[1]. Это новая порода светских людей. Времена Пелеаса для женщин миновали. Душа нынче не в моде. Молодые девушки щеголяют красными, загорелыми лицами, обветренными во время состязаний на свежем воздухе и игр на солнцепеке, они по-мужски смотрят на вас и слишком громко смеются. Теперь принят более резкий и вольный тон. Иногда Ваша кузина с невозмутимым спокойствием произносит ужасные вещи. Она стала прожорлива, а ведь прежде почти ничего не ела. По привычке продолжает жаловаться на дурное пищеварение, но при этом не упускает случая плотно покушать. Она ничего не читает. В их кругу теперь не принято читать. Только музыка еще в милости. Ей даже пошел на пользу крах литературы. Когда эти люди переутомлены, музыка для них является чем-то вроде турецкой бани, паровой ванны, массажа, кальяна. Не нужно думать. Это переходная ступень между спортом и любовью. И это тоже своего рода спорт. Но самый модный вид спорта из всех эстетических развлечений — это танец. Русские, греческие, швейцарские, американские танцы. В Париже танцуют буквально всё: симфонии Бетховена, трагедии Эсхила, «темперированный клавир»,

[1] Всевозможные сопутные спортивные состязания, гребные гонки, регби, скачки *(англ.)*.

античные статуи Ватикана, Орфея, Тристана, «страсти Христовы» и гимнастику. Эти люди спятили.

Забавно наблюдать, как Ваша кузина совмещает все это: эстетизм, спорт, практический ум (ибо она унаследовала от матери деловую сметку и семейный деспотизм). Все, вместе взятое, образует невероятную смесь. Но Колетта чувствует себя превосходно. Невзирая на свою эксцентричность и сумасбродства, она сохраняет ясный ум, глаз и рука тоже никогда не изменяют ей, и она уверенно ведет машину во время самых головокружительных пробегов. Это бой-баба, она командует всеми: мужем, гостями, прислугой. Она занимается и политикой, и рьяно поддерживает «его высочество» не потому, что она роялистка, а просто это для нее лишний повод посуетиться. И хотя она не в состоянии прочесть и десяти страниц любой книги, она влияет на выборы в академию... Она пыталась взять меня под свое покровительство. Вы понимаете, что это оказалось мне не по вкусу! Но больше всего меня раздражает, что, хотя я пришел к ней, только повинуясь Вам, она уверена в своей власти надо мной... Я мщу, высказывая ей горькие истины, но она только смеется и за словом в карман не лезет. «В сущности, она добрая женщина...» Да, но только когда занята. Она и сама признает это; если машине нечего будет дробить, она пойдет на все, на все решительно, чтобы добыть ей пищу. Я два раза был у нее. Больше меня туда не заманишь. Этого довольно, чтобы доказать Вам мою покорность. Вы ведь не желаете моей смерти? Я ухожу от нее разбитый, усталый, измочаленный. Ночью, после моего последнего визита, у меня был ужасный кошмар: мне снилось, что я ее муж и на всю жизнь прикован к этому живому вихрю. Глупый сон, который, конечно, не должен беспокоить ее мужа; из всех людей, посещающих этот дом, он, пожалуй, меньше других бывает в ее обществе, а когда они остаются вдвоем, то говорят только о спорте. Они прекрасно уживаются.

Как эти люди могли способствовать успеху моей музыки? Для меня это непостижимо. Я предполагаю, что она их както по-новому встряхивает. Она нравится им потому, что не церемонится с ними. В данный момент их привлекает искусство, в котором ощущается плоть. Но они даже не подозревают, что у этой плоти есть душа; сегодня они увлекаются моей музыкой, завтра охладеют к ней, а послезавтра будут ее поносить, так никогда и не поняв по-настоящему. Такова участь всех художников. Я не тешу себя иллюзиями по поводу моих успехов, они недолговечны: мне еще придется расплачиваться за

них. А пока я присутствую на забавных зрелищах. Один из моих самых восторженных поклонников... отгадайте кто (ставлю тысячу против одного) — наш друг Леви-Кэр. Помните красивого молодого человека, с которым у меня когда-то была нелепая дуэль? Теперь он поучает тех, кто не понимал меня прежде. И даже делает это очень неплохо. Пожалуй, из всех, кто пишет обо мне, он самый умный. Вообразите, чего же стоят другие. Уверяю Вас, мне нечем гордиться.

Да у меня и не возникает такого желания. Я чувствую себя оскорбленным, слушая произведения, за которые меня хвалят. Я узнаю себя в них и не нравлюсь себе. Каким беспощадным зеркалом является музыкальное произведение для тех, кто умеет в него смотреться! К счастью, публика слепа и глуха. Я отразил в моей музыке столько своих тревог и слабостей, что иной раз мне кажется — я поступил дурно, выпустив на волю эту свору демонов... Но я успокаиваюсь, когда вижу невозмутимость публики. Они носят тройную броню, их ничем не прошибешь,— не будь этого, я был бы обречен на вечные муки. Вы упрекаете меня за то, что я слишком строг к себе. Это происходит потому, что Вы знаете меня хуже, чем я сам знаю себя. Окружающие видят нас такими, как мы есть. Они не видят, какими мы могли бы быть, и превозносят нас за то, что является не столько нашей заслугой, сколько стечением благоприятных обстоятельств и направляющих сил. Разрешите рассказать Вам одну историю.

Как-то вечером я зашел в одно из тех кафе, где можно послушать довольно хорошую музыку, хотя и в несколько странном исполнении. На пяти-шести инструментах, в сопровождении рояля, здесь исполняют любую симфонию, мессу, ораторию. Вроде того, как в Риме мраморщики продают для украшения каминов часовни в стиле Медичи. Считается, что это полезно для пропаганды искусства. Чтобы пустить его в обращение среди людей, приходится разменивать его на мелкую монету. Впрочем, на этих концертах Вас не обсчитывают. Программа их обширна, исполнители добросовестны. Я встретил там одного виолончелиста и подружился с ним; его глаза до странности напоминали глаза моего отца. Он рассказал мне свою жизнь. Это внук крестьянина, сын мелкого чиновника мэрии в одной деревушке на севере Франции. Из него хотели сделать барина, адвоката; отправили в коллеж в соседний город. Здоровый, несколько грубоватый мальчуган мало подходил для усидчивой работы провинциального нотариуса, его нельзя было удержать в клетке; он лазил через заборы, бродил по по-

лям, волочился за девушками, растрачивал свою огромную силу в драках; остальное время слонялся без дела, предаваясь совершенно несбыточным мечтам. Его привлекало только одно — музыка. Бог весть почему! Среди его близких не было ни одного музыканта, кроме полупомешанного двоюродного деда, одного из тех провинциальных чудаков, которые, замкнувшись в гордом одиночестве, растрачивают свои зачастую недюжинные способности и талант на нелепые выдумки, свойственные маньякам. Он изобрел новую нотную систему (еще одну!), которая должна была произвести революцию в музыке; он утверждал также, что придумал стенографический метод, дающий возможность записывать одновременно слова, пение и аккомпанемент, однако сам он так никогда и не удосужился разобраться в написанном. В семье посмеивались над чудаком, что не мешало, впрочем, гордиться им. Родные думали: «Это старый безумец, но кто знает, быть может он гениален...» Несомненно, свою манию к музыке внук унаследовал от деда. Вообразите, какую музыку он мог слышать в своем городке. Но ведь плохая музыка способна внушить такую же чистую любовь, как и хорошая.

Беда была в том, что такого рода страсть считалась недозволенной в его среде, а ребенок не обладал сумасшедшим упорством своего двоюродного деда. Он украдкой читал плоды кропотливого творчества старого маньяка, которые и легли в основу его нелепого музыкального образования. Тщеславный по натуре, он боялся отца и общественного мнения и не хотел говорить о своих честолюбивых замыслах, пока не добьется успеха. Славный малый, задавленный семейным деспотизмом, он поступил как многие мелкие французские буржуа, которые, не осмеливаясь из слабости или по доброте противиться воле своих близких, делают вид, что покоряются, а на самом деле живут другой, скрытой от посторонних глаз жизнью. Вместо того чтобы следовать своей склонности, мальчик старался заниматься ненавистным ему делом, не умея ни преуспеть в нем, ни провалиться с треском. С грехом пополам ему удалось сдать экзамены. Главное преимущество этого заключалось для него в том, что он ускользал, таким образом, от двойной опеки — провинциального общества и своего отца. Он ненавидел юридические науки и решил ни в коем случае не заниматься этой профессией. Но покуда был жив отец, юноша не осмеливался открыто заявить об этом. Быть может, его не слишком огорчало, что придется подождать некоторое время, прежде чем принять окончательное решение. Он принадлежал к числу

людей, которые всю жизнь тешат себя надеждой,— тем, что они когда-нибудь будут делать, тем, что они когда-нибудь смогут сделать. А пока что он не делал ничего. Выбитый из колеи, опьяненный новой жизнью в Париже, он отдался с жадной непосредственностью молодого крестьянина своим страстям — женщинам и музыке, одинаково увлекаясь концертами и любовными утехами. Шли годы, а он даже не воспользовался возможностью пополнить свое музыкальное образование. Болезненная гордость, дурной, упрямый и подозрительный характер мешали ему учиться где-либо, спрашивать у кого-либо совета.

Когда отец его умер, он послал к черту Фемиду и Юстиниана и занялся музыкальной композицией, не имея ни терпения, ни мужества овладеть сначала необходимой техникой. Укоренившаяся привычка к безделью и склонность к развлечениям сделали его неспособным к какому бы то ни было серьезному труду. Он глубоко чувствовал музыку, но и мысль, и форма ее выражения не давались ему, и в конечном счете он писал только банальные вещи. Но самое ужасное, что в этом заурядном человеке было действительно нечто великое. Я прочел два его старых произведения. В них встречаются поразительные мысли,— вернее, лишь наброски, так и оставшиеся неоформленными. Блуждающие огоньки на торфяном болоте... И какой странный ум! Он пытался объяснить мне сонаты Бетховена. Он видит в них лишь детские и нелепые вымыслы. Но при этом какая страсть, какое глубоко серьезное отношение! Он говорит о Бетховене со слезами на глазах. Он готов умереть за того, кого любит. Он трогателен и смешон. Иногда мне хочется рассмеяться ему в лицо, и тут же я готов обнять его. Он глубоко порядочен. Исполнен величайшего презрения к шарлатанству парижских кружков, к ложной славе, и тем не менее не может отрешиться от наивного преклонения мелкого буржуа перед знаменитостями...

Он получил небольшое наследство и в несколько месяцев промотал его. Оставшись без всяких средств, он, подобно многим другим, совершил благородный и непростительный поступок, женившись на бедной, соблазненной им девушке. У нее был хороший голос, и она занималась музыкой, не любя ее. Пришлось добывать средства на жизнь ее пением и его весьма посредственной игрой на виолончели. Разумеется, они не преминули вскоре обнаружить обоюдную бездарность и возненавидели друг друга. У них родилась дочь. Отец перенес на ребенка всю силу своих иллюзий; он думал, что девочка станет

тем, чем не удалось стать ему. Девочка пошла в мать: она бренчала на пианино, не проявляя ни искры дарования. Она обожала отца и прилежно занималась в угоду ему. В течение нескольких лет они кочевали с курорта на курорт, получая больше оскорблений, чем денег. Переутомленный и слабый ребенок вскоре умер. Мать от горя и тоски становилась с каждым днем все сварливее. Это была безграничная, безнадежная нищета, полная безысходность, усугубляемая невозможностью достигнуть идеала, к которому они стремились...

И я подумал, мой друг, глядя на этого беднягу неудачника, жизнь которого состояла из сплошных злоключений: «Вот каким мог стать я». В наших детских душах было что-то общее, а некоторые эпизоды из нашей жизни очень похожи; я даже обнаружил какое-то родство между нашими музыкальными идеями; но он остановился в пути. Чему же я обязан, что не погиб, как он? Несомненно, своей воле. А также и жизненным случайностям. Но даже если говорить только о моей воле, разве я могу ее ставить себе в заслугу? Быть может, я скорее обязан этим своей нации, своим друзьям, богу, помогавшему мне? Эти мысли внушают мне смирение. Чувствуешь свое родство со всеми, кто любит искусство и страдает ради него. От самого низа до самого верха расстояние не так уж велико.

В связи с этим я размышлял о том, что Вы написали мне. Это верно: художник не имеет права стоять в стороне, если он может прийти на помощь другим. Итак, я останусь в Париже; я заставлю себя проводить несколько месяцев в году либо здесь, либо в Вене, или в Берлине, хотя мне и трудно снова привыкнуть к этим городам; но нельзя отрекаться от жизни. Если мне и не удастся, как я опасаюсь, принести большой пользы, то все же пребывание в этих городах, возможно, окажется полезным мне самому. И я буду утешать себя тем, что Вы этого хотели. К тому же (не хочу лгать)... я начинаю находить в этом удовольствие. До свидания, тиран. Вы торжествуете. Я не только делаю то, чего Вы желаете, но даже умудряюсь полюбить это.

*Кристоф».*

Итак, Кристоф остался — отчасти в угоду Грации, но также и потому, что пробудившееся в нем любопытство художника снова было увлечено зрелищем обновленного искусства. Всем, что он видел и делал, он мысленно делился с Грацией,

писал ей об этом. Кристоф прекрасно понимал, что обольщает себя иллюзиями, воображая, что это может интересовать Грацию; он подозревал ее в некотором равнодушии, но был признателен, что она не слишком это проявляет.

Грация аккуратно отвечала ему два раза в месяц. Она писала теплые письма, дружеские и спокойные, как ее движения. Рассказывая ему о своей жизни, она не расставалась со своей мягкой и гордой сдержанностью. Она знала, как сильно запечатлеваются ее слова в сердце Кристофа. Она предпочитала казаться холодной, лишь бы не возбуждать в нем надежду, которую не собиралась разделять. Но она была женщиной и владела секретом не слишком обескураживать любовь своего друга и тотчас же врачевать теплыми словами ту глубокую боль, которую ему причиняло ее равнодушие. Кристоф не замедлил разгадать ее тактику и, в свою очередь прибегая к уловкам любящих, пытался сдерживать свои порывы и писать более спокойные письма, чтобы таким образом победить настороженность Грации.

По мере того как пребывание Кристофа в Париже затягивалось, он все больше интересовался той новой деятельностью, которая разворошила этот гигантский муравейник. Она тем больше занимала его, чем меньше симпатии проявляли к нему молодые муравьи. Он не ошибся: его успех оказался Пирровой победой. Его появление после десятилетнего отсутствия произвело сенсацию в парижском обществе. Но в силу иронии вещей, не столь уж редко встречающейся в жизни, на сей раз ему покровительствовали прежние враги — модные снобы; артистический же мир относился к нему либо с затаенной враждой, либо с недоверием. Он добился признания благодаря своему имени, уже отчасти принадлежащему прошлому, значительностью своего творчества, страстной убежденностью, безудержной искренностью. И хотя с ним вынуждены были считаться, хотя он вызывал восхищение или уважение, его все же плохо понимали и не любили. Он стоял вне искусства своего времени. Чудовище, живой анахронизм. Он всегда был таким. Десять лет, проведенных в одиночестве, еще больше подчеркнули этот контраст. За время его отсутствия в Европе, особенно в Париже, как он убедился, произошла полная перестройка. Нарождался новый порядок. Подрастало поколение, больше стремившееся действовать, чем понимать, больше изголодавшееся по счастью, чем по истине. Оно хотело жить, хотело завоевать жизнь даже ценою лжи. То была ложная гордость всех видов: гордились расой, гордились кастой, гордились ре-

лигией, гордились культурой и искусством. Этому поколению было годно все, что могло заковать его в железную броню, вооружить мечом и щитом и привести к победе. Вот почему молодежи неприятно было слышать громкий, суровый голос, напоминавший о скорби, о сомнениях, которые бушевали в минувшей ночи и продолжают еще угрожать человечеству, хотя теперь оно отрицает их существование и пытается забыть.

Но этого голоса нельзя было не слышать; все еще было слишком свежо в памяти. Тогда молодые люди с досадой отворачивались и начинали кричать во все горло, чтобы оглушить самих себя. Но голос звучал еще громче. И это злило их.

Кристоф же, напротив, относился к ним дружелюбно. Он приветствовал восхождение мира к временам порядка и уверенности — любой ценой. В этом порыве его нисколько не смущала нарочитая ограниченность. Когда хочешь наверняка прийти к цели, нужно смотреть прямо перед собой. Находясь на крутом повороте пути, он наслаждался созерцанием трагического великолепия оставшейся позади ночи и улыбкой юной надежды,— призрачной красотой свежей и лихорадочной зари, занимавшейся вдали. Кристоф находился в неподвижной точке оси маятника, который как раз снова начал подниматься кверху. Не следуя за ним, Кристоф радостно слушал пульс жизни. Он присоединился к надеждам тех, кто не признавал его былых страданий. Свершилось то, о чем он мечтал. Десять лет назад, среди горя и мрака, Оливье — бедный галльский петушок — своим слабым голосом возвестил далекий рассвет. Певца уж нет, но то, о чем он пел, сбылось. Птицы пробуждались в саду Франции, и до Кристофа вдруг донесся, заглушая птичий щебет, более сильный, более ясный, более счастливый голос ожившего Оливье.

Стоя у книжного прилавка, Кристоф рассеянно перелистывал сборник стихов. Фамилия автора была ему незнакома, но некоторые слова поразили его и приковали его внимание. По мере того как он продолжал читать, пробегая еще не разрезанные страницы, ему почудился знакомый голос, он начал различать черты друга. Кристоф не в состоянии был разобраться в своих чувствах и, не решаясь расстаться с книгой, купил ее. Вернувшись домой, он снова принялся за чтение, и тотчас же наваждение овладело им. Из бурного дыхания поэмы возникали вполне отчетливо, как в галлюцинации, великие, воз-

вышающиеся над веками души — эти гигантские деревья, олицетворяющие нашу родину, листьями и плодами которых являемся мы. Со страниц книги вставал сверхчеловеческий образ Матери — той, что существовала до нас, той, что будет после нас, той, что царит над всем, подобно византийским мадоннам, высоким, как горы, у подножия которых молятся людимуравьи. Поэт прославлял Гомеровы поединки великих богинь, чьи копья скрещиваются от сотворения мира,— вечную Илиаду, которая по сравнению с троянской то же, что альпийская горная цепь в сравнении с холмами Греции.

Эта эпопея гордости и воинственного духа была чужда воззрениям такого европейца, как Кристоф. И тем не менее при вспышках озарявшего его света Кристоф уловил в этом воплощении французской души — в этой деве, преисполненной благодати, носительнице эгиды, в голубоглазой Афине с сияющим во мраке взором, в этой богине труда, несравненной художнице, хранительнице высшего разума, чье сверкающее копье разит шумные орды варваров,— он уловил тот взгляд, ту улыбку, которые знал и любил когда-то. Но в момент, когда он уже готов был схватить ее, она исчезла. Разъяренный тщетной погоней, он переворачивал страницу за страницей и вдруг наткнулся на рассказ, который слышал от Оливье за несколько дней до его смерти.

Кристоф был потрясен. Он побежал к издателю и попросил, чтобы ему дали адрес автора. Как это обычно бывает, ему отказали. Кристоф рассердился, но это ни к чему не привело. Наконец он догадался, что может получить справку в адрес-календаре. Он действительно нашел там нужный адрес и отправился к автору. Если Кристофу чего-нибудь хотелось, он никогда не умел ждать.

Квартал Батиньоль, самый верхний этаж. Несколько дверей выходят в общий коридор. Кристоф постучал в ту, которую ему указали. Но отворилась соседняя дверь. Молодая некрасивая брюнетка со спадающими на лоб волосами, с загорелым морщинистым лицом и живыми глазами осведомилась, что ему угодно. Она недоверчиво смотрела на него. Кристоф объяснил, зачем пришел, и, когда она спросила, кто он, назвал свою фамилию. Она вышла в коридор и открыла соседнюю дверь ключом, находившимся при ней, но не сразу впустила Кристофа, а попросила подождать и, пройдя внутрь, захлопнула дверь перед его носом. Наконец Кристофу разрешили войти в столь ревниво охраняемую квартиру. Он прошел через полупустую комнату, служившую столовой, кое-как обставлен-

ную ветхой мебелью; у окна без занавесок в большой клетке щебетало около дюжины птиц. В соседней комнате на потертом диване лежал мужчина. Он слегка приподнялся навстречу Кристофу. Исхудалое, одухотворенное лицо, прекрасные бархатные глаза, горящие лихорадочным блеском, узкие длинные руки, изобличающие человека умственного труда, уродливое туловище, резкий, с хрипотцой голос... Кристоф тотчас же узнал его... Это Эммануэль! Маленький больной подмастерье, который был невольной причиной... Эммануэль вдруг вскочил: он тоже узнал Кристофа.

Они стояли молча. Оба в этот миг видели Оливье... И не решались протянуть друг другу руки. Эммануэль чуть подался назад. Теперь, через десять лет, из темной глубины его существа вновь выплыла затаенная неприязнь, старая ревность, которую возбуждал в нем некогда Кристоф. Но, заметив волнение Кристофа, прочитав на его губах имя того, о ком они оба думали, имя Оливье,— он не мог устоять и бросился в раскрытые ему объятия.

Эммануэль сказал:

— Я знал, что вы в Париже. Но вы, как это вы разыскали меня?

Кристоф ответил:

— Я прочел вашу последнюю книгу; я услышал в ней его голос.

— Правда? — сказал Эммануэль.— Вы узнали его? Всем, чего я добился, я обязан только ему.

(Он избегал произносить имя.)

Мгновение спустя, несколько помрачнев, он продолжал:

— Он любил вас больше, чем меня.

Кристоф улыбнулся:

— Для того, кто любит, не существует ни больше, ни меньше; он целиком отдается тем, кого любит.

Эммануэль взглянул на Кристофа; в его трагических, строгих и властных глазах вдруг загорелась глубокая нежность. Он взял Кристофа за руку и усадил на диван, рядом с собой.

Они стали рассказывать друг другу о себе. С четырнадцати до двадцати пяти лет Эммануэль перепробовал много профессий; он был наборщиком, обойщиком, бродячим торговцем, приказчиком в книжной лавке, писцом у адвоката, секретарем политического деятеля, журналистом... При этом он не упускал возможности лихорадочно учиться где придется, иногда пользуясь поддержкой добрых людей, которых поражала энергия

этого маленького человечка, но чаще всего попадая в руки негодяев, эксплуатировавших его бедность и его талант; однако он умудрялся выходить обогащенным из самых тяжких испытаний, даже без особой горечи,— только растрачивая остатки своего слабого здоровья. Его исключительные способности к древним языкам (встречающиеся у представителей расы, насквозь пропитанной гуманистическими традициями, гораздо чаще, чем полагают) заинтересовали старого священника-эллиниста, и тот оказал ему поддержку. Занятия, в которых Эмманюэль из-за отсутствия времени не мог очень преуспеть, дисциплинировали его ум и помогли выработать свой стиль. Этот молодой человек, вышедший из самой гущи народа, обязанный своими случайными знаниями, в которых были огромные пробелы, только самому себе, так блестяще владел словом, так умел сочетать форму с содержанием, что далеко оставил позади буржуазных сынков, по десять лет корпящих в университете. Он всецело приписывал это благотворному влиянию Оливье. Правда, другие оказывали ему гораздо более существенную помощь. Но Оливье первый заронил искру, которая зажгла во мраке этой души неугасимый светильник. Другие только подливали туда масло.

Он сказал:

— Я начал понимать его лишь после того, как его не стало... Но все, что он мне говорил, запало мне в душу. Светоч, зажженный им, с тех пор никогда не угасал.

Он начал рассказывать о своем творчестве, о деле, по его утверждению, завещанном ему Оливье, о пробуждающейся энергии французов, о яркой вспышке героического идеализма, которую предвещал Оливье. Эмманюэль жаждал стать его рупором, который парит над схваткой и возвещает грядущую победу,— он воспевал эпопею своей возродившейся нации.

Его поэмы поистине были порождением этой удивительной нации, которая пронесла сквозь века свой древний кельтский дух, и в то же время упорно продолжала рядить свою мысль в старые доспехи и чтить законы римского завоевателя. Здесь ожили в первозданной чистоте отвага, дух героического разума, ирония, сочетание бахвальства с безудержной смелостью,— столь свойственные этому народу, который посмел покуситься на бороду римских сенаторов, который разграбил Дельфийский храм и с хохотом метал свои стрелы в небеса. Но маленькому парижскому ремесленнику пришлось воплотить свои страсти — как это делали его деды в париках, как, несомненно, будут делать его праправнуки — в образы греческих

героев и богов, умерших две тысячи лет назад. Удивительное чутье народа, сочетающееся с его потребностью в абсолюте: прокладывая свою мысль по следам веков, он воображает, что закрепляет ее навеки. Оковы классической формы сообщали еще большее неистовство страстям Эмманюэля. Спокойная уверенность Оливье в судьбах Франции превратилась у его маленького ученика в страстную жажду деятельности, в убежденную в своем торжестве веру. Он хотел, он видел, он требовал этого. Своей экзальтированной верой, своим оптимизмом он взволновал душу французов. Его книга была так же действенна, как выигранное сражение. Она пробила брешь в стене скептицизма и страха. Целое поколение молодежи ринулось вслед за ним навстречу грядущему...

В разговоре Эмманюэль оживился, глаза его загорелись, бледное лицо покрылось красными пятнами, а голос стал крикливым. Кристоф невольно заметил контраст между этим пожирающим пламенем и тщедушным телом, в котором оно пылало. Он видел в этом трагическую иронию судьбы. Певец силы, поэт, прославляющий поколение отважных спортсменов, действие, борьбу, не мог и шагу ступить, не задыхаясь, был очень воздержан во всем, соблюдал строгий режим, пил только воду, не курил, жил без любовницы, таил все страсти в себе и был обречен из-за своего здоровья на аскетический образ жизни.

Кристоф, наблюдая за Эмманюэлем, чувствовал восхищение в сочетании с братским состраданием. Он не хотел этого показывать, но, должно быть, глаза его выдали что-то, а быть может, гордому Эмманюэлю, рана которого постоянно кровоточила, показалось, что он читает в глазах Кристофа жалость, которая была для него нестерпимей ненависти. Его пыл мгновенно угас. Он умолк. Тщетно пытался Кристоф снова вызвать доверие. Душа замкнулась. Кристоф видел, что ранил ее.

Враждебное молчание затягивалось. Кристоф встал. Эмманюэль, прихрамывая, проводил гостя до двери. Походка подчеркивала его уродство,— он знал это, но из самолюбия делал вид, что это ему безразлично; однако при мысли, что Кристоф наблюдает за ним, он чувствовал, как усиливается его неприязнь.

В тот момент, когда Эмманюэль холодно прощался со своим гостем, молодая элегантная дама позвонила у его двери. Ее сопровождал некий франт, которого Кристоф узнал, ибо не раз встречал на театральных премьерах, где тот улыбался направо и налево, непрерывно болтал, приветственно махал рукой, целовал дамам пальчики и, сидя в первых рядах пар-

тера, оборачивался назад, расточая улыбки в глубину зрительного зала; не зная его имени, Кристоф окрестил его «болваном». При виде Эмманюэля болван и его спутница бросились к «дорогому учителю» с назойливыми и фамильярными излияниями. Кристоф слышал уходя, как Эмманюэль сухо сказал, что не может их принять,— он занят. Кристофа изумляло уменье этого человека быть неприятным. Он не знал причин, по которым Эмманюэль недружелюбно встречал богатых снобов, которые жаловали его своими бесцеремонными визитами. Они были щедры на красивые фразы и восхваления, но ничем не пытались облегчить его нужду, так же как пресловутые друзья Цезаря Франка не догадывались разгрузить его от уроков музыки, которые тот вынужден был давать до конца своей жизни, чтобы существовать.

Кристоф еще несколько раз заходил к Эмманюэлю. Однако ему так и не удалось возродить задушевный тон первого свиданья. Эмманюэль не выражал ни малейшей радости при виде Кристофа и держал себя настороженно и сдержанно. Лишь моментами, уступая своей настоятельной потребности к излияниям, когда какое-нибудь слово Кристофа заставляло его встрепенуться до глубины души, он отдавался порыву восторженной откровенности, и присущий ему идеализм озарял его душу вспышками сверкающей поэзии. Затем внезапно он остывал, замыкался в угрюмом молчании, и Кристоф снова видел перед собой врага.

Слишком многое разделяло их. Разница в годах тоже играла немалую роль. Кристоф уже стремился к полному самопознанию и господству над собой. Эмманюэль находился еще в периоде формирования, протекавшем у него гораздо сумбурнее, чем когда-либо у Кристофа. В этом оригинальном существе сочетались самые противоречивые элементы, постоянно боровшиеся между собой: могучий стоицизм, стремившийся подавить наследственные, атавистические желания (он был сыном алкоголика и проститутки); неистовое воображение, которое становилось на дыбы, взятое в удила железной воли; безграничный эгоизм и безграничная любовь к ближним, причем никогда нельзя было предвидеть, что победит; героический идеализм и болезненная жажда славы, заставлявшая его мучиться из-за превосходства других. Если мысль Оливье, его независимость, его бескорыстие ожили в Эмманюэле, если он превосходил своего учителя поэтическим талантом, плебейской живучестью, которая не знает отвращения к деятельности, и выносливостью, защищавшей его от всяческих разочарований, то ему все же было

очень далеко до безмятежности, присущей брату Антуанетты,— у него был слишком тщеславный и беспокойный характер, а тревоги и волнения окружающих только усугубляли его собственные.

У него была бурная связь с молодой женщиной — той самой соседкой, которая встретила Кристофа, когда он пришел в первый раз. Она преданно любила Эммануэля и ревниво заботилась о нем, вела хозяйство, переписывала его произведения, писала под диктовку. Она была некрасива и, к несчастью, обладала страстной душой. Она родилась в бедной семье; долгое время работала в переплетной мастерской, затем служила на почте; детство ее протекло в угнетающей обстановке, столь обычной для бедных рабочих Парижа: в скученности, изнуряющей работе, постоянно на людях, без воздуха, без покоя, без возможности сосредоточиться, оберечь святая святых своего сердца. В ее гордой душе таилось благоговейное стремление к смутному идеалу справедливости, и она испортила себе глаза, переписывая по ночам, зачастую без огня, при свете луны, «Отверженных» Гюго. Она встретила Эммануэля, когда тот был еще несчастнее, чем она сама,— больной и без средств,— и целиком отдалась ему. Эта страсть была первой, единственной любовью в ее жизни. Поэтому она цеплялась за нее с жадным упорством голодного человека. Ее привязанность очень тяготила Эммануэля,— он скорее терпел ее, чем разделял. Его трогала ее преданность: он понимал, что эта женщина — его лучший друг, единственное существо, для которого он — все на свете, и что она не может обойтись без него. Но именно это его и угнетало. Эммануэлю необходима была свобода, необходимо было одиночество, а эти глаза, жадно вымаливающие ласку, преследовали его; он обращался с нею сурово, у него нередко возникало желание крикнуть ей: «Убирайся!» Его раздражало, что она некрасива и груба. Хотя он был мало знаком со светским обществом и выказывал к нему презрение (ибо страдал, чувствуя себя там еще более уродливым и смешным), он любил изящество, его привлекали женщины, питавшие к нему такое же чувство (он не сомневался в этом), как он к своей подруге. Он старался проявлять к ней любовь, которой не чувствовал, или по меньшей мере не огорчать ее невольными вспышками ненависти. Но и это не удавалось ему,— в его груди обитало великодушное сердце, жаждавшее делать добро, и жестокий демон, способный причинять зло. Эта внутренняя борьба и сознание, что он не в силах выйти из нее победителем, вызывали в нем глухое раздражение, которое он вымещал на Кристофе.

Эмманюэль не мог преодолеть в себе чувство двойной неприязни к Кристофу: одна проистекала из его старой ревности, той детской неприязни, которая не ослабевает, даже когда причина ее уже забыта; другая же была вызвана ярым шовинизмом. Франция была для Эмманюэля воплощением его мечтаний о справедливости, милосердии, братстве человечества, взлелеянных лучшими людьми минувшей эпохи. Он не противопоставлял ее остальной Европе как врага, чье благополучие создается за счет разорения других народов; он ставил ее во главе народов как законную повелительницу, царящую на благо всем, вооруженную идеалом и ведущую за собой человечество. Он скорее предпочел бы видеть Францию мертвой, чем допустить мысль, что она может совершить несправедливое деяние. Но он свято верил в нее. Он был чистокровным французом по культуре, по восприятию — был целиком воспитан на французских традициях, глубокий здравый смысл которых он познал инстинктивно. Эмманюэль искренне не признавал мнений иноземцев, относился к ним со снисходительным пренебрежением и раздражением, если иностранцы возражали против столь унизительной роли.

Кристоф видел все это, но он был старше и опытнее Эмманюэля и потому нисколько не обижался на него. Конечно, эта расовая гордость носила несколько оскорбительный характер, но Кристофа она не задевала: он понимал иллюзии сыновней любви и не собирался критиковать пристрастий, вызванных этим священным чувством. К тому же человечеству в целом приносит пользу тщеславная вера народов в свою миссию. Из всех причин, отдалявших Кристофа от Эмманюэля, главной и, пожалуй, самой серьезной был его голос, который иногда приобретал пронзительные, резкие интонации. Слух Кристофа жестоко страдал от этого,— в таких случаях он не мог удержаться от гримасы. Он старался, чтобы Эмманюэль не замечал этого, старался слушать музыку, а не инструмент. Калека-поэт светился таким прекрасным героизмом, когда говорил о победе разума — предвестнице других побед, о завоевании воздуха, о «летающем боге», который подхватывает восторженные толпы и, подобно вифлеемской звезде, увлекает их за собой в неведомые далекие просторы, к грядущему возмездию! Великолепие этих видений, исполненных силы и мощи, не мешало, однако, Кристофу ощущать опасность, предвидеть, куда могут привести боевые призывы и все нарастающий гул этой новой марсельезы. Он думал не без некоторой иронии (не сожалея о прошлом, не страшась будущего), что эта песнь вызовет отклики, неожидан-

ные для самого поэта, и что наступит день, когда люди будут вздыхать о минувших временах Ярмарки на площади. Какая в ту пору была свобода! Золотой век свободы! Никогда больше он не повторится. Мир идет к веку силы, здоровья, мужественной деятельности и, быть может, славы, но в то же время к веку суровой власти и жестокой дисциплины. Разве мы уже не призывали этот железный век, классический век! Великие классические эпохи — Людовика XIV или Наполеона — кажутся нам изданы вершинами человечества. И, быть может, именно тогда народ с наибольшим успехом претворил в жизнь свой идеал государственного устройства. Но спросите-ка у героев того времени, что они думали по этому поводу. Ваш Никола́ Пуссен уехал в Рим, где прожил до самой смерти: он задыхался у вас. Ваш Паскаль и ваш Расин ушли от света. А сколько еще других великих людей жили в уединении — впавшие в немилость, угнетенные! Даже в душе Мольера таилось немало горечи. Что же до вашего Наполеона, о котором вы так сожалеете, то отцы ваши, как видно, и не подозревали о своем счастье, да и сам он не заблуждался на этот счет; он знал, что когда его не станет, человечество вздохнет с облегчением: уф!.. А какая пустыня мысли вокруг «императора»! Над необъятными песками — африканское солнце...

Кристоф не высказывал своих мыслей вслух. Нескольких намеков оказалось достаточно, чтобы привести Эмманюэля в бешенство, а потому Кристоф не возобновлял больше этих разговоров. Но, как ни старался он хранить их про себя, Эмманюэль знал, о чем он думает. Больше того, он смутно сознавал, что Кристоф дальновиднее его. Это еще сильнее раздражало Эмманюэля. Молодые люди не прощают старшим, когда те показывают им, какими они станут лет через двадцать.

Кристоф читал в его сердце и говорил себе:

«Он прав. У каждого своя вера. Нужно верить тому, чему веришь. Не приведи меня бог смущать его веру в будущее!»

Но уже самое присутствие Кристофа смущало Эмманюэля. Когда двое людей находятся вместе, то какие бы усилия ни делал каждый, чтобы стушеваться, всегда один подавляет другого, а другой затаивает обиду за унижение. Гордость Эмманюэля страдала от превосходства Кристофа, оттого что тот лучше знал жизнь. А быть может, Эмманюэль защищался от растущей в его сердце любви к нему...

Он становился все более угрюмым и замкнутым. Он не принимал больше Кристофа. Не отвечал на его письма. Кристофу пришлось отказаться от встреч с ним.

Наступил июль. Кристоф подвел итог тому, что ему дали эти несколько месяцев пребывания в Париже: много новых идей и мало друзей. Блестящий и жалкий успех — не очень-то весело видеть свой образ, свое произведение сниженным и окарикатуренным в ограниченных умах. Кристофу не хватало сочувствия тех, кем он хотел быть понятым. Они не ответили на первые шаги, сделанные им. Он не мог присоединиться к ним, несмотря на все свое желание разделять их надежды, быть их союзником. Казалось, их настороженное самолюбие защищается от его дружбы и предпочитает видеть в нем врага. Короче говоря, он пропустил поток своего поколения, не влился в него, а поток следующего поколения уже не принимал его. Он был одинок и нисколько этому не удивлялся, привыкнув к одиночеству за свою долгую жизнь. Но он считал, что теперь, после этой новой попытки, он получил право вернуться в свой швейцарский скит и жить там, покуда не осуществит план, который с недавних пор принимал все более конкретную форму. Чем старее Кристоф становился, тем сильнее одолевало его желание вернуться на родину. Он не знал там никого и, вероятно, встретил бы теперь еще меньше близких ему душ, чем здесь, в чужом городе, но все-таки то была родина; вы не требуете, чтобы ваши кровные родственники думали, как вы, и без того тысяча тайных уз связывает вас с ними: ваши чувства учились читать по одной и той же книге неба и земли, ваши сердца говорят на одном и том же языке.

Кристоф весело рассказал Грации о своих разочарованиях и сообщил о своем намерении вернуться в Швейцарию; он шутливо просил у нее разрешения покинуть Париж и писал, что уедет на будущей неделе. Но в конце письма была приписка:

«Я передумал. Мой отъезд откладывается».

Кристоф полностью доверял Грации; он посвящал ее в самые тайные, самые сокровенные свои мысли. И тем не менее был уголок в его сердце, ключ от которого он никому не доверял: то были воспоминания, принадлежавшие не только ему одному, но и тем, кого он любил. Так, он молчал обо всем, что касалось Оливье. Это была не нарочитая сдержанность. Он просто не находил слов, когда собирался рассказать Грации об Оливье. Ведь она не знала его.

И вот как-то утром, когда он писал письмо своей подруге, в дверь постучали. Он пошел отпирать, ворча, что его беспокоят. Мальчик лет четырнадцати — пятнадцати спрашивал господина Крафта. Кристоф принял его неприветливо. Это был блондин с голубыми глазами, с тонкими чертами лица, невысо-

кий, худенький и прямой. Он молча и немного смущенно стоял перед Кристофом. Но вскоре овладел собой, вскинул на Кристофа свои ясные глаза и стал с любопытством его рассматривать. Кристоф улыбнулся, глядя на это прелестное личико; мальчик улыбнулся тоже.

— Итак,— сказал Кристоф,— что вам угодно?

— Я пришел...— ответил мальчуган.

Он снова смутился, покраснел и умолк.

— Я прекрасно вижу, что вы пришли,— смеясь, сказал Кристоф.— Но объясните, зачем вы пришли? Неужели вы боитесь меня?

Мальчик снова улыбнулся, покачал головой и сказал:

— Нет.

— Превосходно! В таком случае скажите мне, кто вы такой.

— Я...— начал мальчик.

Он снова запнулся. С любопытством разглядывая комнату Кристофа, он вдруг увидел на камине фотографию Оливье. Кристоф машинально следовал глазами за его взглядом.

— Ну! — заметил он.— Смелей!

Мальчик сказал:

— Я его сын.

Кристоф вздрогнул; он вскочил, обнял мальчика за плечи, привлек к себе; снова упал на стул, крепко прижимая его к себе, так что лица их почти касались. Кристоф смотрел на мальчика, смотрел и повторял:

— Малыш... бедный малыш...

Вдруг он обхватил его голову руками и стал целовать его лоб, щеки, нос, волосы. Мальчик, испуганный и пораженный таким бурным проявлением чувств, попытался вырваться из его объятий. Кристоф отпустил его. Он закрыл лицо руками, прижался лбом к стене и стоял так несколько мгновений. Мальчик отступил в глубь комнаты. Кристоф поднял голову. Лицо его было спокойно; он взглянул на мальчика и нежно улыбнулся ему.

— Я испугал тебя,— сказал он.— Прости... Видишь ли, это потому, что я очень любил его.

Мальчик еще не пришел в себя и молчал.

— Как ты похож на него! — сказал Кристоф.— И все-таки я не узнал бы тебя. В чем же разница?

Он спросил:

— Как тебя зовут?

— Жорж.

— Верно. Я припоминаю. Кристоф-Оливье-Жорж... Сколько же тебе лет?

— Четырнадцать.

— Четырнадцать лет! Неужели прошло уже столько времени? А мне кажется, это было вчера,— или во мраке веков... Как ты похож на него! Те же черты лица. Те же — и все-таки иные. Тот же цвет глаз, но глаза не те. Та же улыбка, тот же рот, но другой голос. Ты крепче его, держишься прямее. Лицо у тебя более округлое, но краснеешь ты, совсем как он. Подойди, сядь, поговорим. Кто послал тебя ко мне?

— Никто.

— Ты пришел ко мне по собственному желанию? Но откуда ты знаешь меня?

— Мне говорили о вас.

— Кто?

— Моя мать.

— А! — сказал Кристоф.— А она знает, что ты пошел ко мне?

— Нет.

С минуту Кристоф молчал, затем спросил:

— Где вы живете?

— Недалеко от парка Монсо.

— Неужели ты пришел пешком? Это немалый путь. Должно быть, ты устал.

— Я никогда не устаю.

— Вот это мне нравится! Покажи-ка свои мускулы. (Он пощупал их.)

— Ты крепкий малый... А почему тебе пришло в голову навестить меня?

— Ведь папа любил вас больше всех.

— Это сказала тебе она? (Он поправился.) Твоя мама сказала тебе это?

— Да.

Кристоф усмехнулся. Подумал: «И она тоже... Как все они любили Оливье! Отчего же они не выказывали этого?»

Он продолжал:

— Но почему ты так долго собирался?

— Я хотел прийти раньше. Но мне казалось, что вы не захотите меня принять.

— Я?!

— Несколько недель назад, на концерте Шевильяра, я случайно увидел вас; я сидел с матерью, нас разделяло всего

несколько кресел; я поклонился вам; вы искоса посмотрели на меня, нахмурили брови и не ответили.

— Я посмотрел на тебя? Бедное дитя, и ты мог подумать? Я просто не заметил тебя. У меня плохое зрение. Вот почему я хмурю брови... Значит, ты считаешь меня злым?

— Я думаю, что вы умеете быть злым, когда захотите.

— В самом деле? — сказал Кристоф.— Но раз тебе показалось, что я не захочу тебя принять, как же ты все-таки решился прийти?

— Потому что я хотел вас видеть.

— А если бы я тебя выгнал?

— Я бы не допустил этого.

Он сказал это с решительным видом, одновременно смущенно и вызывающе.

Кристоф расхохотался, и Жорж последовал его примеру.

— Чего доброго, ты выгнал бы меня самого! Подумать только, какой бойкий! Нет, ты совсем не похож на своего отца.

Подвижное лицо мальчика помрачнело.

— Вы находите, что я не похож на него? Но ведь вы только что сказали... Вы думаете, что он не любил бы меня? Значит, и вы меня не любите?

— А что тебе до того, люблю ли я тебя?

— Это для меня очень важно.

— Почему?

— Потому что я вас люблю.

За одну минуту на его лице — в глазах, в уголках рта — сменилось с десяток самых разнообразных выражений, подобно тому как тени облаков, подгоняемых весенним ветром, проносятся в апрельский день над полями. Кристоф испытывал радость и наслаждение, глядя на мальчика и слушая его. Ему казалось, что с него свалилось бремя прежних забот, тяжелые испытания, страдания его и Оливье — все было забыто: он снова возрождался в этом молодом отпрыске Оливье.

Они беседовали. Жорж до последнего времени совершенно не знал музыки Кристофа. Но с той поры, как Кристоф вернулся в Париж, он не пропустил ни одного концерта, где исполнялись его произведения. Когда он говорил об этом, лицо его оживилось, глаза заблестели, он смеялся и чуть не плакал, он походил на влюбленного. Он признался Кристофу, что обожает музыку и тоже хотел бы стать композитором. Но, задав ему несколько вопросов, Кристоф убедился, что мальчик не знает самых элементарных вещей. Он осведомился о его ученье. Моло-

дой Жанен посещал лицей; он беспечно заявил, что отнюдь не принадлежит к числу первых учеников.

— В чем же ты преуспеваешь больше — в литературе или в математике?

— Пожалуй, ни в том, ни в другом.

— Но почему? Почему же? Разве ты лентяй?

Жорж расхохотался от души и сказал:

— Должно быть! — Затем добавил доверительно: — И все-таки я прекрасно знаю, что это не так.

Кристоф не мог удержаться от смеха:

— Почему же ты тогда не занимаешься? Разве тебя ничто не интересует?

— Наоборот! Меня все интересует!

— Тогда в чем же дело?

— Все интересно, не хватает времени...

— У тебя не хватает времени? Чем же ты, черт возьми, занят?

Он сделал неопределенный жест:

— Разными делами. Я занимаюсь музыкой, спортом, хожу на выставки, читаю...

— Тебе полезнее всего было бы читать учебники.

— В учебниках никогда не бывает ничего интересного... И затем мы путешествуем. В прошлом месяце я был в Англии, на матче между Оксфордом и Кембриджем.

— Твои занятия, должно быть, очень подвинулись благодаря этому!

— Да! Так узнаешь больше, чем сидя в лицее.

— А что говорит об этом твоя мать?

— Моя мать? О, она очень разумна. Она делает все, что я хочу.

— Ах ты, негодник!.. Счастье твое, что не я твой отец.

— Напротив, это ваше несчастье...

Он был так очарователен, что невозможно было противиться его обаянию.

— Скажи же мне, великий путешественник,— спросил Кристоф,— тебе знакома моя родина?

— Да.

— Я уверен, что ты ни слова не знаешь по-немецки.

— Наоборот, я хорошо знаю язык.

— Ну-ка, посмотрим.

Они начали разговаривать по-немецки. Мальчик говорил неправильно, ломаным языком, но с комичным апломбом; очень смышленый, с живым умом, он скорее угадывал, чем понимал,

зачастую ошибался, но первый же хохотал над своими промахами. Он с увлечением рассказывал о своих путешествиях, о прочитанных книгах. Он много читал, но торопливо и поверхностно, пропуская половину страниц, дополняя воображением то, чего не дочитал, однако всегда подстрекаемый живым и непосредственным любопытством, умея во всем находить повод для восторгов. Жорж перескакивал с темы на тему, и лицо его загоралось, когда он говорил о спектаклях или о произведениях, волновавших его. В его знаниях не было никакой системы. Непонятно, как он мог прочитать столько бульварных романов и понятия не имел о классических произведениях.

— Все это очень мило,— сказал Кристоф.— Но из тебя ничего не выйдет, если ты не будешь работать.

— О! В этом я не нуждаюсь. Мы богаты.

— Черт возьми! Значит, дело серьезное. Ты хочешь быть ни на что не годным человеком, бездельником?

— Наоборот, я хочу все делать. Глупо заниматься всю жизнь одной профессией.

— Но это единственный способ овладеть ею как следует.

— Говорят!

— То есть как это «говорят»? Я тебе говорю. Вот уже сорок лет я изучаю свое ремесло. И только теперь начинаю им овладевать.

— Сорок лет на то, чтобы изучить ремесло! Когда же в таком случае работать?

Кристоф рассмеялся.

— Маленький француз-резонер.

— Я хотел бы стать музыкантом,— сказал Жорж.

— Ну что ж, ты не слишком рано принимаешься за дело. Хочешь, я буду тебя учить?

— О! Я был бы так счастлив!

— Приходи завтра. Я посмотрю, чего ты стоишь. Если ты ни на что не годишься, я не позволю тебе дотронуться до рояля. Если же у тебя есть способности, попытаемся что-нибудь из тебя сделать. Но предупреждаю: я заставлю тебя работать.

— Я буду работать,— восхищенно сказал Жорж.

Они назначили свидание на следующий день. Но, уходя, Жорж вдруг вспомнил, что на завтра и на послезавтра у него уже назначены другие встречи. Да, он будет свободен только в конце недели. Они условились о дне и часе.

Но в назначенный день и час Кристоф тщетно прождал Жоржа. Он был разочарован. С детской радостью он мечтал о встрече с Жоржем. Это неожиданное посещение озарило его

жизнь. Он был так счастлив и взволнован, что не спал всю ночь после этого. Он думал с нежностью и благодарностью о юном друге, который пришел к нему от имени друга; он мысленно улыбался этому очаровательному образу; его непосредственность, его обаяние, лукавство и вместе с тем наивная искренность восхищали Кристофа; он был весь во власти того немого упоения счастьем, от которого у него звенело в ушах и звенело в сердце в первые дни дружбы с Оливье. Но теперь к этому примешивалось более серьезное и почти благоговейное чувство: на лицах живых он видел улыбку тех, кто уже отошел в прошлое. Он прождал день, другой. Никого. Не было даже письма с извинением. Опечаленный Кристоф пытался найти причины, оправдывающие мальчика. Он не знал, куда ему писать, не имея его адреса. А если бы и знал, то едва ли решился бы написать. Когда старый человек влюбляется в юное создание, то стыдится признаться, как оно необходимо ему, ибо прекрасно знает, что тот, кто молод, не испытывает этой потребности,— партии не равны; страшнее всего показаться навязчивым тому, кто нисколько тобой не интересуется.

Молчание продолжалось. Хотя Кристоф страдал, он принудил себя не делать никаких попыток разыскать Жаненов. Но каждый день он поджидал того, кто все не приходил. Кристоф не уехал в Швейцарию. Он провел лето в Париже. Считал, что это глупо, но он потерял всякий вкус к путешествиям. Только в сентябре он решился провести несколько дней в Фонтенбло.

Примерно в конце октября Жорж Жанен снова явился к нему. Он спокойно, без малейшего смущения извинился, что не сдержал слова.

— Я не мог тогда прийти,— сказал он,— а потом мы уехали; мы были в Бретани.

— Ведь ты мог написать оттуда,— сказал Кристоф.

— Да, я все собирался. Но мне вечно не хватает времени... А потом,— сказал он, смеясь,— я забыл, я забываю все на свете.

— Когда ты вернулся?

— В начале октября.

— И три недели ты собирался ко мне? Послушай-ка, скажи прямо: твоя мать против? Она не хочет, чтобы ты бывал у меня?

— Да нет же. Наоборот. Это она велела мне сегодня пойти к вам.

— Объясни толком.

— Когда я вернулся домой после того, как в прошлый раз накануне каникул был у вас, я рассказал ей все. Она похвалила меня, расспрашивала о вас, засыпала вопросами. Когда мы приехали из Бретани три недели назад, она посоветовала мне пойти к вам. Неделю назад снова напомнила мне об этом. А сегодня утром, узнав о том, что я все еще не был у вас, она рассердилась и потребовала, чтобы я сейчас же после завтрака, не откладывая, отправился к вам.

— И тебе не стыдно рассказывать мне об этом? Тебя приходиться гнать ко мне?

— Нет, нет, не думайте так... О, я огорчил вас! Простите... Это верно, я легкомыслен... Отругайте меня, но не сердитесь. Я люблю вас. Если бы я не любил вас, то не пришел бы. Меня никто бы не заставил. Меня можно заставить делать только то, что я хочу.

— Вот негодник,— сказал Кристоф и невольно рассмеялся.— А как с твоими планами по части музыки? Уж не забросил ли ты их?

— О, я не перестаю думать об этом.

— От этого мало проку.

— Теперь я примусь за дело. Все эти месяцы я не мог, у меня была уйма дел. Но теперь вы увидите, как я буду работать, если только вы еще согласны...

(Он умильно глядел на Кристофа.)

— Ты шалопай,— сказал Кристоф.

— Вы считаете меня несерьезным?

— Разумеется.

— Это несносно! Все считают меня несерьезным. Я просто в отчаянии.

— Я буду считать тебя серьезным человеком, когда увижу тебя за работой.

— Тогда начнем сейчас же!

— Сегодня мне некогда. Завтра.

— Нет, завтра — это слишком далеко. Я не могу допустить, чтобы вы презирали меня целый день.

— Ты несносен.

— Прошу вас!

Кристоф, посмеиваясь над своей слабостью, усадил его за рояль и стал беседовать с ним о музыке. Он задавал ему вопросы, заставлял решать несложные задачки по гармонии. Познания Жоржа были невелики, но музыкальное чутье восполняло во многом его невежество; не зная их названий, он находил те аккорды, которых требовал Кристоф, и даже его неуклю-

жие ошибки обнаруживали любознательность, вкус и исключительную остроту восприятия. Он принимал замечания Кристофа не без возражений, а разумные вопросы, которые он задавал ему, свидетельствовали о душевной искренности: он не желал принимать искусство на веру, как молитву, выученную наизусть и произносимую машинально, а хотел самостоятельно осознать его. Они беседовали не только о музыке. Когда коснулись гармонии, Жорж стал припоминать картины, пейзажи, людей. Трудно было держать его в узде и приходилось постоянно возвращать к главной теме, но у Кристофа не всегда хватало мужества для этого. Его забавляла веселая болтовня этого юного, искрящегося умом и жизнью существа. Какая разница в характерах между ним и Оливье! В одном жизнь текла глубокой, спокойной рекой; в другом же все выливалось на поверхность, подобно капризному ручейку, бурлящему и играющему на солнце. И тем не менее и в реке и в ручейке была одинаково прозрачная и чистая, как их глаза, вода. Кристоф, улыбаясь, подметил в Жорже некоторые врожденные пристрастия и неприязни, которые были ему хорошо знакомы, наивную непримиримость и великодушное сердце, целиком отдающееся тому, кого оно любит. Но Жорж любил столько разных вещей, что у него просто не было возможности любить долго одну и ту же.

Жорж явился на следующий день и приходил еще много дней подряд. Он воспылал прекрасной юношеской любовью к Кристофу и с восторгом учился у него. А затем восторг начал охладевать, он стал приходить реже. И, наконец, совсем перестал приходить. Он снова пропал на много недель.

Жорж был легкомыслен, забывчив, наивно эгоистичен и искренне расположен к людям; у него были доброе сердце и живой ум, которые он ежедневно разменивал на мелкую монету. Ему прощали все, потому что приятно было на него смотреть. Он был счастлив.

Кристоф не хотел осуждать его. Он не жаловался. Он написал Жаклине, поблагодарив за то, что она присылала к нему сына. Жаклина ответила коротеньким сдержанным письмом: она выражала желание, чтобы Кристоф принял участие в воспитании Жоржа и руководил им. Она не делала никакого намека на возможность встречи с Кристофом. Из чувства стыда и гордости она не могла решиться снова встретиться с ним. А Кристоф не считал себя вправе прийти без приглашения. Так они и жили в отдалении друг от друга, изредка встречаясь на концертах: их связывали только редкие посещения юноши.

Прошла зима. Теперь Грация редко писала Кристофу. Она по-прежнему оставалась его преданным другом. Но, как подлинная итальянка, не слишком сентиментальная, она дорожила реальностью; у нее была потребность видеть людей, если не для того, чтобы думать о них, то, по крайней мере, ради удовольствия поболтать. Чтобы сохранить воспоминания в своем сердце, ей необходимо было освежать их время от времени в своей зрительной памяти. Итак, ее письма становились все более короткими и далекими. Она была уверена в Кристофе, как и Кристоф в ней. Но эта спокойная уверенность давала больше света, чем тепла.

Кристоф не очень страдал от этих новых разочарований. Музыкальная деятельность заполняла его; достигнув определенного возраста, всякий подлинный художник живет больше своим искусством, чем реальной жизнью: жизнь становится мечтой, искусство — реальностью. Соприкосновение с Парижем пробудило творческую мысль Кристофа. В мире нет более могучего стимула, чем зрелище этого города труда. Даже самых флегматичных людей заражала его лихорадочная деятельность. Кристоф, отдыхавший в течение ряда лет, проведенных в здоровом одиночестве, сберег огромный запас сил, которые теперь он мог расходовать. Обогащенный новыми завоеваниями смелой и пытливой мысли французов в области музыкальной техники, он, в свою очередь, ринулся на поиски; более неистовый и более непосредственный, Кристоф пошел гораздо дальше, чем все они. Но в своих новых дерзаниях он уже не полагался больше на произвол инстинкта. Потребность в ясности овладела Кристофом. На протяжении всей жизни его гений повиновался ритму переменных токов. Он двигался от полюса к полюсу, заполняя пространство между ними. После того как в предыдущий период он жадно созерцал «глаза хаоса, светящиеся сквозь покрывало порядка», и готов был сорвать его, чтобы лучше видеть эти глаза,— теперь он стремился ускользнуть от пагубных чар и снова набросить на лицо сфинкса волшебную вуаль владыки разума. Властное дыхание Рима коснулось его. Как и парижское искусство того времени, оказавшее на него влияние, он стремился к порядку. Но не в пример выдохшимся реакционерам, расходующим остатки сил на то, чтобы охранять свою спячку, он нуждался не в том порядке, какой был создан в Варшаве. Эти прекрасные люди, ощущая потребность в покое, снова возвращались к Брамсу — к Брамсам во всех областях искусства, к мастерам тематической музыки, к пошлым неоклассикам! Можно подумать, что их изнурили страсти! Скоро

же вы истаскались, друзья мои! Нет, не о вашем порядке говорю я. Мой порядок другого рода. Это — порядок гармонии, свободных страстей и воли... Кристоф старался поддерживать в своем творчестве равновесие жизненных сил. Новые аккорды, эти музыкальные дьяволята, вызванные им из гулкой бездны, служили для создания светлых симфоний, обширных, залитых солнцем сооружений, подобных базиликам с итальянскими куполами.

В этой игре и схватках прошла зима. Прошла она быстро, хотя иной раз по вечерам Кристоф, окончив день и оглядываясь назад, на прожитую жизнь, не мог сказать, была ли она долгой или короткой, молод ли он или уже стар.

В ту пору новый луч человеческого солнца разорвал завесу мечты, и снова пришла весна. Кристоф получил письмо от Грации, она сообщала ему, что едет в Париж с обоими детьми. Она уже давно задумала это. Кузина Колетта неоднократно приглашала ее. Но страх перед усилием, которое ей придется сделать, чтобы нарушить свои привычки, вырваться из безмятежного покоя своего любимого home [1] и влиться в хорошо знакомый водоворот парижской жизни, заставлял ее из года в год откладывать это путешествие. Тоска, овладевшая ею этой весной, а быть может, некое тайное разочарование (сколько немых романов таит сердце женщины, о которых окружающие не подозревают и в которых она не сознается даже самой себе!) внушили ей желание покинуть Рим. Угроза эпидемии оказалась предлогом, чтобы ускорить отъезд из-за детей. Она выехала через несколько дней после того, как отправила письмо Кристофу.

Как только Кристоф узнал, что она приехала к Колетте, он помчался туда. Грация показалась ему задумчивой и какой-то далекой. Это огорчило его, но он и виду не подал. Теперь он почти полностью отрешился от своего эгоизма, и благодаря этому сердце его стало прозорливым. Он понял, что она чем-то огорчена, но хочет скрыть это, и не пытался узнать, в чем дело. Он только старался развлечь ее, весело рассказывал о своих злоключениях, работах, планах, незаметно окутывая ее своей любовью. Она чувствовала, как все ее существо пропитывает огромная нежность, боящаяся показаться навязчивой; она понимала, что Кристоф догадывается о ее переживаниях, и была растрогана этим. Ее наболевшее сердце отдыхало подле друга, который рассказывал ей о разных вещах, не касаясь того, что занимало их обоих. И мало-помалу он стал замечать, как облачко грусти начинает таять в глазах подруги, а взгляд ее ста-

[1] Дома *(англ.)*.

новится все более и более близким... Наконец, однажды, беседуя с нею, он вдруг остановился и молча посмотрел на нее.

— Что с вами? — спросила она.

— Сегодня,— сказал он,— вы совсем пришли в себя.

Она улыбнулась и шепотом ответила:

— Да.

Им не всегда удавалось спокойно беседовать. Они редко оставались одни. Колетта дарила их своим присутствием гораздо чаще, чем им бы этого хотелось. Несмотря на все свои недостатки, она была неплохой женщиной, искренне преданной Грации и Кристофу, но ей и в голову не приходило, что она может им мешать. Она заметила (ее глаза подмечали все) то, что она именовала «флиртом» между Кристофом и Грацией; флирт был ее стихией, и это привело ее в восторг, она всячески старалась поощрять его. Но именно этого и не нужно было. Кристоф и Грация хотели только одного: чтобы она не вмешивалась не в свое дело. Достаточно было ей появиться и сделать кому-нибудь из них скромный или нескромный намек на их дружбу, как они принимали ледяной вид и переводили разговор на другую тему. Колетта объясняла их сдержанность разными причинами, кроме одной, настоящей. К счастью для них, она не могла усидеть на месте. Она носилась взад и вперед, уходила и приходила, управляла всем домом, занимаясь одновременно десятком дел. В промежутках между ее появлениями Кристоф и Грация, оставаясь одни с детьми, снова возобновляли прерванную нить своих невинных бесед. Они никогда не говорили о связывающих их чувствах. Они просто поверяли друг другу маленькие события своей повседневной жизни. Грация, проявляя чисто женский интерес, осведомлялась о быте Кристофа. У него все шло из рук вон плохо; постоянные недоразумения с экономками; прислуга вечно надувала и обворовывала его. Грация смеялась над ним от всего сердца, проявляя материнское сострадание к этому совершенно непрактичному большому ребенку. Однажды, когда Колетта, преследовавшая их дольше обычного, вышла, Грация, вздохнув, сказала:

— Бедняжка Колетта! Я ее очень люблю... но как она мне надоела!

— Я тоже ее люблю,— сказал Кристоф,— если вы подразумеваете под этим, что она нам надоела.

Грация рассмеялась:

— Послушайте... Разрешите мне (здесь положительно нет возможности спокойно разговаривать)... разрешите мне прийти как-нибудь к вам?

Он был поражен.

— Ко мне! Вы придете ко мне!

— Это не стеснит вас?

— Стеснит? Меня? Ах, боже мой!

— Ну что ж, если не возражаете,— во вторник?

— Во вторник, в среду, в четверг, в любой день, когда хотите.

— Тогда во вторник, в четыре. Решено?

— Вы добрая, вы добрая.

— Погодите. Только при одном условии.

— При условии? К чему? Я согласен на все. Ведь вы прекрасно знаете, что я на все готов, при условии или без условия.

— Я предпочитаю условие.

— Хорошо.

— Вы не знаете, о чем идет речь.

— Все равно. Все, что хотите.

— Да выслушайте сначала, упрямец!

— Говорите.

— Вы ничего не будете менять у себя в квартире — ничего, вы понимаете меня,— все останется точно в таком же виде, как сейчас.

Лицо Кристофа вытянулось. Он был подавлен.

— Ах, это против правил.

Она рассмеялась.

— Вот видите, что значит слишком быстро соглашаться! Но ведь вы обещали.

— Зачем вам это нужно?

— Потому что я хочу видеть вас дома таким, каким вы бываете ежедневно, когда не ждете меня.

— Но все-таки позвольте мне...

— Ничего. Я ничего не позволю.

— По крайней мере...

— Нет, нет, нет. И слышать не желаю. Или я совсем не приду, если вы это предпочитаете...

— Вы прекрасно знаете, что я соглашусь на все, только бы вы пришли.

— Тогда решено?

— Да.

— Даете слово?

— Да, тиран.

— Добрый тиран?

— Добрых тиранов не существует; есть тираны, которых любят, и тираны, которых ненавидят.

— А я и то и другое вместе, не так ли?

— О нет, вы принадлежите к числу первых.

— Все равно это обидно.

В назначенный день она пришла. Кристоф, с присущей ему щепетильной честностью, не посмел тронуть ни одного клочка бумаги в своем безалаберном жилище; в противном случае он считал бы, что совершил подлость. Но он переживал муки ада. Ему было стыдно: что подумает его подруга? Он ждал ее с мучительным нетерпением. Она была точна — опоздала только на четыре или пять минут. Она поднялась по лестнице своим уверенным, неторопливым шагом. Он стоял за дверью и тотчас же отпер ей. Грация была одета просто и элегантно. Сквозь вуалетку Кристоф видел ее спокойные глаза. Они подали друг другу руки и поздоровались вполголоса; она была молчаливее, чем обычно, он, неловкий и взволнованный, не произносил ни слова, чтобы не выдавать своего смущения. Он попросил ее войти, забыв сказать заранее заготовленную фразу, извиниться за беспорядок в комнате. Она села на лучший стул, а он подле нее.

— Вот мой рабочий кабинет.

Это все, что он нашелся сказать ей.

Наступило молчание. Грация не спеша, с доброй улыбкой, осматривалась. Она тоже была несколько смущена, хотя и пыталась скрыть это. (Впоследствии она рассказала ему, что еще девочкой вздумала как-то пойти к нему, но, дойдя до самой двери, побоялась позвонить.) Ее поразил унылый и неуютный вид квартиры: узкая и темная передняя, полное отсутствие комфорта, бросающаяся в глаза бедность обстановки; у нее сжалось сердце; она преисполнилась нежности и сострадания к своему старому другу, который, несмотря на огромную работу, пережив столько невзгод и достигнув известности, не был избавлен от материальных забот. И в то же время ее забавляло полное пренебрежение Кристофа к уюту, которое обнаруживала эта пустая комната: ни ковра, ни картины, ни одной безделушки, ни кресла — никакой мебели, кроме стола, трех жестких стульев и рояля, зато везде вперемежку с книгами валялись листы рукописи — на столе, под столом, на паркете, на стульях (она улыбнулась, видя, как честно он сдержал данное слово).

Несколько мгновений спустя Грация спросила у Кристофа:

— Вы здесь работаете? (Она указала на то место, где сидела.)

— Нет,— сказал он,— там.

Он ткнул пальцем в самый темный угол комнаты, где стоял

низкий стул, повернутый спиной к свету. Не говоря ни слова, она направилась туда и грациозно села на стул. Несколько минут они молчали, не зная, что сказать. Кристоф поднялся и подошел к роялю. Он играл, импровизировал в течение получаса; он чувствовал присутствие подруги, и безграничное счастье переполняло его сердце; закрыв глаза, он играл чудесные вещи, и тогда она постигла красоту этой комнаты, окутанной божественной гармонией; она слушала голос этого любящего и страдающего сердца, и ей казалось, что оно бьется в ее собственной груди.

Когда оборвались последние созвучия, он с минуту еще сидел неподвижно у рояля; затем обернулся, услышав дыхание подруги,— она плакала. Грация встала и подошла к нему.

— Благодарю,— прошептала она, взяв его за руку.

Ее губы слегка дрожали. Она закрыла глаза. Он сделал то же. Несколько секунд они стояли, держась за руки, и время остановилось...

Она открыла глаза и, чтобы избавиться от смущения, спросила:

— Не покажете ли вы мне другую комнату?

Обрадованный возможностью скрыть свое волнение, он распахнул дверь в соседнюю комнату и тотчас же устыдился. Там стояла узкая и жесткая железная кровать.

Позже, когда он сказал Грации, что никогда не вводил любовниц в свой дом, она насмешливо заметила:

— Нисколько не сомневаюсь; для этого нужно быть очень храброй женщиной.

— Почему?

— Чтобы спать на вашей кровати.

В комнате стоял деревенский комод, на стене висела маска Бетховена, а над кроватью в дешевеньких рамках — фотографии матери Кристофа и его друга Оливье. На комоде стояла карточка Грации, когда ей было пятнадцать лет. Он увидел ее в Риме и стащил из альбома. Он признался ей в этом и попросил прощения. Взглянув на фотографию, она сказала:

— Вы меня узнаете здесь?

— Узнаю и помню такой.

— Которую же из двух вы любите больше?

— Вы всегда одна и та же. Я вас всегда люблю одинаково. Я узнаю вас везде. Даже на тех карточках, где вы совсем маленькая. Вы не представляете себе, какое я испытываю волнение, когда вижу в этой оболочке всю вашу душу. Это лучшее доказательство того, что вы вечны. Я любил вас еще до вашего рождения и буду любить даже после...

Он умолк. Глубоко взволнованная, она ничего не ответила. Когда они вернулись в рабочую комнату и он показал ей своего друга — растущее перед окном деревцо, на котором чирикали воробьи,— она сказала:

— А теперь знаете, что мы сделаем? Слегка закусим. Я принесла чай и пирожные, так как была уверена, что у вас ничего нет. Я принесла еще кое-что. Дайте-ка мне ваше пальто.

— Мое пальто?

— Да, да, давайте.

Она достала из сумочки иголку и нитки.

— Что вы хотите делать?

— Как-то я заметила там две пуговицы, судьба которых беспокоит меня. Где они теперь?

— Верно, я еще не собрался их пришить. Это так скучно!

— Бедный мальчик! Давайте-ка пальто!

— Мне стыдно.

— Ступайте приготовьте чай.

Он принес в комнату маленький чайник и спиртовку, чтобы ни на минуту не разлучаться со своей подругой. Она шила, искоса насмешливо наблюдая за его неловкими движениями. Они осторожно пили чай из чашек с отбитыми краями, которые она называла ужасными, а он пылко защищал, потому что они напоминали ему о совместной жизни с Оливье.

Когда она собралась уходить, он спросил:

— Вы не сердитесь на меня?

— За что?

— За беспорядок.

Она рассмеялась.

— Я наведу порядок.

Когда она, уже стоя на пороге, собиралась распахнуть дверь, он опустился перед ней на колени и поцеловал ее ноги.

— Что вы делаете? — воскликнула она.— Безумец, дорогой безумец! До свиданья!

Они условились, что Грация будет приходить раз в неделю в определенный день. Она заставила Кристофа пообещать, что он не позволит себе больше эксцентричных выходок,— не будет становиться на колени и целовать ноги. От нее веяло таким покоем, что даже в те дни, когда Кристоф неистовствовал, этот покой передавался ему, и хотя, наедине с собой, он часто думал о Грации со страстным вожделением, очутившись вдвоем, они неизменно вели себя, как добрые друзья. Кристоф никогда

не позволял себе ни жеста, ни слова, которые могли бы встревожить его подругу.

В день рождения Кристофа она нарядила свою маленькую дочку так, как была одета сама в те далекие времена, когда они впервые встретились, и заставила ребенка играть пьеску, которую Кристоф разучивал с нею в ту пору.

Однако обаятельность, нежность, дружеское отношение уживались в Грации с противоположными качествами. Она была легкомысленна, любила общество, ей нравились ухаживания мужчин, даже если они были глупы; кокетничала со всеми, кроме Кристофа,— иной раз и с Кристофом. Когда он бывал очень нежен с нею, она держала себя нарочито холодно и сдержанно. Если же он был холоден и сдержан, она становилась ласковой и дразнила его. Это была порядочнейшая из женщин. Но бывают моменты, когда в поведении самой порядочной, самой лучшей из женщин появляется нечто от девки. Грация считалась с общественным мнением и подчинялась условностям. Обладая большими музыкальными способностями, она понимала произведения Кристофа, но не слишком интересовалась ими (и он прекрасно это знал). Для настоящей латинянки искусство имеет цену лишь постольку, поскольку оно сводится к жизни, а жизнь — к любви... К любви, таящейся в глубине сладострастного, полного истомы тела... К чему ей трагические размышления, выстраданные симфонии, рассудочные страсти Севера? Ей нужна музыка, где без усилий расцвели бы ее тайные желания, ей нужна опера, отображающая яркую, настоящую жизнь, не осложненную бурными страстями,— сентиментальное, чувственное и ленивое искусство.

Грация была слабохарактерной и непостоянной женщиной: она не могла долго заниматься чем-нибудь серьезным, ей необходимы были развлечения; она редко делала сегодня то, что задумала вчера. Сколько ребячества, мелких непостижимых капризов! Беспокойная женская натура, неровный, временами вздорный характер. Она отдавала себе в этом отчет и старалась на это время уединяться. Сознавая свои слабости, она укоряла себя в том, что недостаточно борется с ними,— ведь они огорчают ее друга; иногда она приносила ему настоящие жертвы, о которых он и не подозревал; но в конце концов природа одерживала верх. К тому же Грация не выносила мысли, будто Кристоф командует ею, и раза два, чтобы доказать свою независимость, поступала наперекор ему. Потом она жалела об этом, а ночью мучилась угрызениями совести, скорбя, что не может

дать Кристофу большего счастья. Она любила его гораздо сильнее, чем показывала; она понимала, что эта дружба — лучшее в ее жизни. Как обычно бывает между двумя любящими друг друга и очень разными людьми, они больше всего ощущали свое сродство, когда находились врозь. Право, если в силу недоразумения судьбы их разошлись, то виноват в этом был не только Кристоф, как он полагал по простоте своей. Даже в прошлом, когда Грация страстно любила Кристофа, еще неизвестно, вышла ли бы она за него замуж. Возможно, она и готова была отдать за него жизнь, но едва ли всю жизнь прожила бы с ним. Она понимала (хотя боялась признаться в этом Кристофу), что любила своего мужа, и даже теперь, после всех горестей, причиненных им, продолжала его любить, как никогда не любила Кристофа. Тайны сердца, тайны плоти — ими не гордятся, их скрывают от тех, кто нам дорог, не только из уважения к ним, но также из снисходительной жалости к себе. Кристоф был слишком мужчиной, чтобы догадываться об этом, но иногда, словно при вспышке молнии, он вдруг замечал, что та, которая любила его больше всех, любила по-настоящему, не слишком дорожит им и что в жизни ни на кого нельзя полагаться, ни на кого. Это не повлияло на его любовь. Он даже не испытывал горечи. Покой Грации распространялся на него. Он смиренно принимал все. О жизнь, к чему упрекать тебя за то, чего ты не можешь дать? Разве такая, как есть, ты не прекрасна и не священна? Нужно любить твою улыбку, Джоконда...

Кристоф подолгу созерцал прекрасное лицо подруги; он читал в нем многое: и прошлое и будущее. За долгие годы одинокой жизни и скитаний по свету, не завязывая знакомств, но много наблюдая, он научился, почти помимо воли, разгадывать человеческие лица, изучил этот богатый и сложный язык, выработанный веками, в тысячу раз более сложный и богатый, чем разговорный язык. В нем выражены черты нации. Кристофа постоянно поражали контрасты между чертами лица и словами, которые произносит человек. Вот профиль молодой женщины, четкого, несколько сухого рисунка, в манере Бёрн-Джонса, трагический, словно подтачиваемый тайной страстью, ревностью, шекспировской скорбью... Она заговорит — и перед вами мещаночка, глупенькая, кокетливая, эгоистичная, ограниченная, понятия не имеющая о грозных силах, обитающих в ее плоти. И тем не менее эта страсть, это буйство заложены в ней. В какой форме проявятся они когда-нибудь? Будет ли то страсть к наживе, супружеская ревность, кипучая энергия, болезненная злоба? Как знать? Может даже случиться, что она

передаст их по наследству еще до того, как наступит момент взрыва. Но все потомство будет отмечено печатью этих сил.

Грация тоже несла на себе бремя тяжелой наследственности — единственное из достояний старинных родов, которое не подвергается риску быть растраченным в пути. Но она, по крайней мере, знала это. Великая сила — сознавать свои слабости, уметь быть если не повелителем, то кормчим души рода, с которым ты связан и который уносит тебя, как корабль,— превратить рок в послушное орудие, пользоваться им, как парусом, то поднимая, то убирая его, в зависимости от ветра. Когда Грация закрывала глаза, она слышала в себе много тревожных голосов, она узнавала их. Но диссонансы под воздействием ее гармонического разума сглаживались в ее здоровой душе, превращаясь в глубокую и мягкую музыку.

К сожалению, мы не вольны передавать потомству лучшую часть нашей крови.

У Грации только дочь Аврора, одиннадцати лет, пошла в мать; правда, она была не так красива — грубее и чуть прихрамывала. Это была добрая девчушка, сердечная и веселая, пышущая здоровьем, очень послушная, но не очень способная, если не считать одной ее склонности, страстной любви к безделью. Кристоф обожал ее. Видя ее рядом с Грацией, он наслаждался очарованием, какое испытываешь, наблюдая одно существо в двух разных возрастах, в двух поколениях. Два цветка, выросших на одном стебле: святое семейство Леонардо — дева Мария и святая Анна, разные оттенки одной и той же улыбки. Одним взглядом охватываешь цветение женской души; это прекрасно и вместе с тем грустно, ибо видишь, как начинается жизнь и как она клонится к закату. Страстное сердце способно любить горячей и чистой любовью двух сестер или мать и дочь, и это вполне естественно. Кристоф любил, хотел любить Грацию во всем ее потомстве. Разве каждая из ее улыбок, слез, морщинок дорогого лица, разве они не бытие, не напоминание о чьей-то жизни, ушедшей еще прежде, чем ее глаза открылись и увидели свет, разве они не предвестники существа, которое должно явиться потом, когда закроются эти прекрасные глаза?

Мальчику, Лионелло, исполнилось девять лет. Он был гораздо красивее сестры, более тонкой породы — пожалуй, даже слишком тонкой, обескровленной и истощенной; он походил на отца: умный, щедро наделенный дурными инстинктами, ласковый и скрытный. У него были большие голубые глаза, длин-

ные, как у девочки, белокурые волосы, бледный цвет лица, слабые легкие и болезненная нервность, которой он пользовался при случае, будучи актером от природы. При этом он удивительно умело нащупывал слабые струнки людей. Грация любила его больше в силу естественного предпочтения, оказываемого матерью менее здоровому ребенку, а также в силу влечения, которое нередко испытывают добрые и порядочные женщины к сыновьям, не отличающимся ни добротой, ни порядочностью. Они как бы дают волю чувствам, которые подавляли в себе. Тут еще присоединяются воспоминания о муже, причинившем им много страданий, которого они, быть может, презирали, но любили. Словом, это странная флора души, произрастающая в темной и теплой оранжерее подсознания.

Несмотря на все старания Грации быть ровной, одинаково нежной с детьми, Аврора чувствовала разницу и немного страдала из-за этого. Кристоф понимал ее, она понимала Кристофа; инстинктивно они сблизились. В то же время между Кристофом и Лионелло существовала антипатия, которую ребенок скрывал под преувеличенной и сюсюкающей приветливостью, а Кристоф подавлял в себе как позорное чувство. Он насиловал себя, старался полюбить этого чужого ребенка так, словно этот мальчик был его собственным, словно ему было бы радостно иметь такого сына от любимой. Он закрывал глаза на дурной характер Лионелло, на все то, что напоминало ему о «другом», и старался найти в нем только душу Грации. Грация была более прозорлива: она не тешила себя иллюзиями насчет сына. Но это только усиливало ее любовь.

Между тем болезнь, которая в течение многих лет таилась в ребенке, вдруг вспыхнула. У него обнаружили чахотку. Грация решила поселиться с Лионелло в каком-нибудь санатории, в Альпах. Кристоф хотел сопровождать ее. Она отговорила его, боясь общественного мнения. Он был огорчен тем, что она придает чрезмерное значение условностям.

Грация уехала, оставив дочь у Колетты. Вскоре, однако, она почувствовала себя страшно одинокой среди больных, которые говорили только о своих болезнях, среди бесстрастной природы, равнодушно и свысока взиравшей на эти тени людей. Чтобы уйти от угнетающего зрелища несчастных, которые с плевательницами в руках шпионили друг за другом, наблюдая за тем, как смерть подкрадывается к каждому из них, она покинула санаторий «Палас», сняла домик и поселилась в нем со своим больным мальчиком. Но в горах состояние больного не только не улучшилось, а ухудшилось. Температура повыси-

лась. Грация проводила тревожные ночи. Кристоф благодаря своей острой интуиции почувствовал издалека ее состояние, хотя его подруга не писала ему ничего. Гордость не позволяла ей этого. Она хотела, чтобы Кристоф был здесь, рядом, но сама запретила ему следовать за нею и теперь уже не могла признаться: «Я слишком слаба, вы нужны мне...»

Как-то вечером Грация стояла на веранде; был сумеречный час, когда так тяжело сердцам, преисполненным тревоги, и вдруг она увидела... ей показалось, что она видит на тропинке, ведущей от остановки фуникулера... Какой-то мужчина шел торопливым шагом; по временам он останавливался, слегка сутулясь, словно в нерешимости. Прошла минута, он поднял голову и взглянул на домик. Грация бросилась в комнату, чтобы он не заметил ее; держась за сердце обеими руками, она смеялась от волнения. И хотя никогда не была верующей, упала на колени и закрыла лицо руками: ей хотелось поблагодарить кого-нибудь... Между тем он не входил. Она вернулась к окну и выглянула, спрятавшись за занавеску. Он стоял, прислонившись к изгороди, у входа в дом. Он не смел войти. И тогда она, еще более смущенная, чем он, улыбнулась и сказала совсем тихо:

— Приди... приди...

Наконец, он решился и позвонил. Она тотчас же бросилась к двери. Отперла. У него были глаза доброй преданной собаки, которая боится, чтобы ее не побили. Он сказал:

— Я приехал... Простите...

Она ответила ему:

— Благодарю.

И призналась, как ждала его.

Кристоф стал помогать ей ухаживать за мальчиком, состояние которого ухудшилось. Он делал это от всего сердца. Ребенок относился к нему раздражительно и враждебно; он уже не пытался больше скрывать этого и говорил ему дерзости. Кристоф приписывал все болезни. Он проявлял несвойственное ему терпение. Вместе с Грацией он провел у изголовья ребенка много тяжелых дней; особенно тревожна была ночь кризиса, после которого Лионелло, казавшийся обреченным, был спасен. И тогда обоих охватило такое чистое счастье,— они сидели, держась за руки, у постели уснувшего больного мальчика,— что она вдруг вскочила, набросила на себя накидку с капюшоном и увлекла Кристофа на воздух, на дорогу, в снег, в тишину, в ночь, под мерцающие холодным светом звезды. Она опиралась на его руку, упиваясь ледяным покоем мира, они обменялись всего лишь несколькими словами. Ни единого

намека на их любовь. Только когда они возвращались, уже на пороге дома она сказала:

— Мой дорогой, дорогой друг!

Глаза ее сияли от счастья, что ребенок спасен.

Это было все. Но они чувствовали, что теперь их дружба нерушима.

Вернувшись в Париж после долгих недель выздоровления сына, Грация поселилась в маленьком особняке, который она сняла в Пасси. Она совершенно перестала «щадить мнение общества» и чувствовала себя теперь достаточно смелой, чтобы пренебречь им ради своего друга. Жизни их отныне были так тесно сплетены, что она сочла бы подлостью скрывать дружбу, связывавшую их, хотя неизбежно рисковала возбудить злословие. Она принимала Кристофа в любое время дня, показывалась с ним всюду — на прогулках, в театре, разговаривала с ним запросто при всех. Никто не сомневался, что они любовники. Даже Колетта считала, что они слишком афишируют свои отношения. Грация с улыбкой пресекала все намеки и продолжала поступать по-своему.

И все-таки она не дала Кристофу никаких новых прав на себя. Они были только друзьями; он, как и прежде, говорил с нею в том же почтительно-нежном тоне. Но они ничего не скрывали друг от друга, советовались обо всем, и незаметно Кристоф стал в доме чем-то вроде семейного авторитета. Грация слушалась его и следовала его советам. После зимы, проведенной в санатории, она была уже не та: волнения и усталость сильно отразились на ее крепком до сих пор здоровье. Все это наложило отпечаток и на ее душу. Несмотря на вспышки прежних капризов, в ней появилась какая-то серьезность, сосредоточенность, ей чаще хотелось быть доброй, покорной и не причинять никому страданий. Ее умиляла любовь Кристофа, его бескорыстие, сердечная чистота; и она подумывала о том, чтобы дать ему когда-нибудь то большое счастье, о котором он уже не смел мечтать: стать его женой.

После полученного отказа Кристоф никогда больше не заговаривал с нею об этом: он не считал себя вправе, но продолжал горько сожалеть о несбывшейся надежде. Как ни уважал он все, что говорила его подруга, ее скептические взгляды на брак не убедили его: он продолжал упорно верить, что союз двух существ, любящих друг друга глубокой и благоговейной любовью,— вершина человеческого счастья. Эти сожаления ожили в нем благодаря встрече с четой стариков Арно.

Госпоже Арно было за пятьдесят. Ее мужу лет шестьдесят пять — шестьдесят шесть. Оба выглядели гораздо старше. Он потолстел; она же вся высохла, словно сжалась; если прежде она была хрупкой, то теперь казалась былинкой. После того как Арно вышел на пенсию, они поселились в провинции в своем домике. Ничто больше не связывало их с современностью — ничто, кроме газет, приходивших в застывший покой маленького городка, в их угасающую жизнь, и доносивших до них запоздалые отголоски шумного мира. Как-то они повстречали в газете имя Кристофа. Г-жа Арно написала ему несколько сердечных, чуть церемонных строк, чтобы выразить, как они рады его успеху. И он тотчас же, даже не предупреждая их о своем приезде, сел в поезд.

Был жаркий летний полдень, он застал их в саду — они дремали под круглым куполом ясеня. Они походили на стариков-супругов Бёклина, уснувших в беседке, держась за руки. Солнце, дремота, старость одолевают их — они угасают, они уже больше чем наполовину погружены в вечный сон. Но до конца, как последний луч солнца, длится их любовь — она ощущается в их сплетенных руках, в тепле, исходящем от их дряхлеющих тел... Кристоф доставил старикам большую радость своим посещением; он напомнил им о прошлом. Они стали говорить о минувших днях, которые издали казались им такими пленительными. Арно любил поболтать, но он стал забывать имена. Г-жа Арно подсказывала их ему. Она охотнее молчала. Ей больше нравилось слушать, чем говорить, но образы прошлого сохранились еще во всей свежести в ее молчаливом сердце, и временами они просвечивали, как блестящие камешки на дне ручейка. Среди них был один, отражение которого Кристоф не раз подмечал в ее полных нежного сострадания глазах; но имя Оливье не было произнесено. Старик Арно проявлял по отношению к своей жене неуклюжее и трогательное внимание: он тревожился, как бы она не простудилась, как бы не перегрелась на солнце; он не сводил любящих и заботливых глаз с дорогого увядшего лица, а она усталой улыбкой пыталась успокоить его. Кристоф растроганно и не без некоторой зависти наблюдал за ними. Стареть вместе. Любить в своей жене даже следы, наложенные временем. Говорить себе: «Я знаю эти мелкие морщинки под глазами, у носа; я видел, как они образовались; я знаю, когда они появились. Эти милые седые волосы белели день за днем вместе с моими, отчасти по моей вине! Это тонкое лицо обрюзгло и покраснело, пройдя сквозь горнило томительных забот, сжигавших нас. Душа моя, я еще больше люблю

гебя за то, что ты страдала и старилась вместе со мной! В каждой из твоих морщинок я слышу музыку прошлого...» Трогательные старики, которые после долгой и трудной совместной жизни идут рука об руку, чтобы вместе погрузиться в вечный покой тьмы. Их вид подействовал на Кристофа одновременно благотворно и удручающе. О, как прекрасна была бы такая жизнь и такая смерть!

Когда он снова встретился с Грацией, он не мог устоять и рассказал ей о своем посещении. Он не стал говорить ей, какие мысли возбудили в нем эти супруги. Но она прочитала их в его душе. Он был всецело поглощен своим рассказом, отводил глаза, иногда умолкал. Она, улыбаясь, смотрела на него, и волнение Кристофа передавалось ей.

В этот вечер, оставшись одна в своей комнате, Грация предалась мечтам. Она повторила про себя рассказ Кристофа, но перед ней возникали не образы старых супругов, дремлющих под ясенем,— она видела робкие и пылкие мечты своего друга. И сердце ее преисполнилось любовью к нему. Грация легла, погасила свет и стала размышлять:

«Да, это глупо, глупо и преступно упустить возможность такого счастья. Разве есть на свете большая радость, чем сделать счастливым того, кого любишь? Как! Разве я люблю его?..»

Она притаилась, с волнением прислушиваясь к своему сердцу, и оно ответило:

«Я люблю его».

В этот миг в соседней комнате, где спали дети, раздался сухой, хриплый, надрывный кашель. Грация насторожилась. С той поры, как мальчик заболел, она находилась в постоянной тревоге. Она окликнула его. Он не отвечал и продолжал кашлять. Она вскочила с кровати, пошла к нему. Он был возбужден, стонал, говорил, что ему худо; приступы кашля прерывали его слова.

— Где у тебя болит?

Он не отвечал, а только жаловался на боль.

— Сокровище мое, умоляю тебя, скажи, где у тебя болит?

— Не знаю.

— Тебе больно здесь?

— Да. Нет. Не знаю. У меня все болит.

Вслед за этим у него начался новый приступ сильного, словно нарочно вызванного кашля. Грация испугалась, хотя ей казалось, будто ребенок заставляет себя кашлять, но она тут же упрекнула себя, видя, что мальчик весь в поту и задыхается. Она обняла его, утешая ласковыми словами, и, каза-

лось, он успокоился; но едва она делала попытку уйти, он снова начинал кашлять. Дрожа от холода, она вынуждена была оставаться у его изголовья; он не позволил ей даже пойти одеться, требуя, чтобы она держала его за руку, и отпустил, только когда сон сморил его. Тогда она снова легла в постель, окоченевшая, взволнованная, измученная. И уже не смогла вернуться к своим мечтам.

Ребенок обладал удивительной способностью читать в мыслях матери. У людей одной крови довольно часто встречается, хотя и не в такой мере, это врожденное чутье; стоит им взглянуть друг на друга, чтобы знать, о чем думает каждый из них: они угадывают это по тысяче едва уловимых признаков. Эта склонность, развивающаяся при совместной жизни, обострялась у Лионелло злобой, бывшей всегда настороже. Стремление вредить делало его прозорливым. Он ненавидел Кристофа. Почему? Почему ребенок чувствует отвращение к тому или иному человеку, который не причинил ему никакого зла? Зачастую это просто случайность. Ребенку достаточно однажды убедить себя в том, что он ненавидит кого-нибудь, и это входит у него в привычку, и чем больше вы будете его журить, тем больше он будет упорствовать; сначала он делал вид, что ненавидит, а в конце концов возненавидел по-настоящему. Но иногда бывают и более глубокие причины, превосходящие разумение ребенка,— он даже не подозревает о них. С первых же дней, как только сын графа Берени увидел Кристофа, у него возникла враждебность к тому, кого любила его мать. И в минуту, когда Грация подумала о том, чтобы выйти замуж за Кристофа, он словно почувствовал это. С этого момента он неустанно наблюдал за ними. Он всегда стоял между ними, упорно торчал в гостиной, когда приходил Кристоф, либо старался внезапно ворваться в комнату, где они сидели вдвоем. Больше того, когда мать, оставаясь одна, думала о Кристофе, он как бы угадывал это. Лионелло садился рядом и наблюдал за ней. Этот взгляд стеснял Грацию до того, что она чуть ли не краснела. Грация вставала, чтобы скрыть смущение. Лионелло доставляло удовольствие говорить в присутствии матери оскорбительные вещи по адресу Кристофа. Она просила его замолчать. Он продолжал. Если же она хотела наказать его, он грозил, что заболеет. Эту тактику он успешно применял с детства. Когда он был совсем еще маленьким и его отчитали за что-то, он изобрел месть: разделся догола и лег на холодный пол, чтобы простудиться. Однажды Кристоф принес музыкальное произведение,

написанное ко дню рождения Грации,— мальчик тотчас же завладел рукописью, и она исчезла. Изорванные клочки ее потом оказались в ящике для дров. Грация потеряла терпение и сделала строгий выговор ребенку. Тогда он начал плакать, кричать, топать ногами, кататься по полу, с ним случился нервный припадок. Грация пришла в ужас, она стала целовать его, молить, обещала все, чего он захочет.

С этого дня он стал господином положения, прекрасно понимал это и неоднократно прибегал к своему испытанному оружию. Никогда нельзя было определить, настоящие ли у него припадки, или он притворяется. Лионелло устраивал припадки не только в отместку, если ему перечили,— он стал применять это оружие просто из злобы, когда мать и Кристоф собирались провести вместе вечер. Он пристрастился к этой опасной игре и играл в нее от нечего делать, из склонности к кривлянию, чтобы узнать, как далеко простирается его власть. Он проявлял крайнюю изобретательность, придумывая странные нервные припадки: то во время обеда у него начинались конвульсии — он опрокидывал стакан или разбивал тарелку; то, подымаясь по лестнице, он вдруг хватался за перила, его пальцы скрючивались, и он уверял, что не может их разжать; то у него вдруг начиналась острая боль в боку, и он с криком катался по полу; то, наконец, он задыхался. Разумеется, в конце концов он нажил себе настоящую нервную болезнь. Но его труды не пропали зря. Кристоф и Грация были безумно встревожены. Их мирные встречи — тихие беседы, чтение, музыка, все то, из чего оба они делали себе праздник,— все это скромное счастье было отныне омрачено.

Время от времени, однако, маленький пройдоха давал им передышку: быть может, он сам уставал от своей роли, а быть может, детская натура брала верх, и он отвлекался чем-то другим. (Теперь он был уверен в своей победе.)

Тогда они спешили скорее воспользоваться этим. Каждый час, который они урывали таким образом, казался им тем более драгоценным, что они не были уверены, будут ли наслаждаться им до конца. Как они ощущали тогда свою близость! Почему же эта близость не может длиться всегда? Однажды Грация даже выразила сожаление об этом.

— Правда, почему? — спросил он.

— Вы это прекрасно знаете, мой друг,— ответила она, грустно улыбаясь.

Кристоф знал это. Он знал, что она жертвует их счастьем

ради сына; знал, что она нисколько не заблуждается насчет лживости Лионелло и тем не менее обожает его; ему был знаком слепой эгоизм этих семейных пристрастий, заставляющий лучших людей расточать запасы своей самоотверженности на близких им по крови недостойных и дурных людей, так что у них уже ничего не остается для более достойных, для самых любимых, но чужих по крови. И хотя Кристоф возмущался этим, хотя порой у него возникало желание убить маленькое чудовище, отравляющее им жизнь, он молча покорялся, понимая, что Грация не может поступить иначе.

И оба они, без излишних упреков, пошли на самопожертвование. Но если у них украли по праву принадлежащее им счастье, то ничто не могло помешать союзу их сердец. Самоотречение, эта обоюдная жертва, связывало их гораздо крепче, чем узы плоти. Они поверяли свои горести друг другу, каждый взваливал их на плечи другого, а взамен брал на себя его горести,— и даже горе становилось для них радостью. Кристоф называл Грацию «своим духовником». Он не скрывал от нее своих слабостей, от которых страдало его самолюбие. Он каялся в них с чрезмерным сокрушением, а она улыбкой успокаивала совесть этого старого ребенка. Он даже признался ей в своих материальных затруднениях. Правда, он отважился на это лишь после того, как они твердо условились, что она не будет ему ничего предлагать, а он ничего от нее не примет. Это был последний барьер гордости, который он удержал и который она не пыталась преодолеть. Вместо материального достатка, который ей было запрещено внести в жизнь своего друга, она умудрилась дать ему то, что было для Кристофа в тысячу раз более ценно,— свою нежность. Он ощущал ее дыхание каждый миг; открывая глаза по утрам и закрывая их перед сном, он произносил немую молитву любви и обожания. А она, просыпаясь по утрам или ночью, зачастую страдая бессонницей, шептала:

«Мой друг думает обо мне».

И великий покой обволакивал их.

Между тем здоровье Грации начало сдавать. Часто она лежала в постели либо проводила целые дни, растянувшись на кушетке. Кристоф навещал ее ежедневно, они беседовали, читали вместе, он показывал ей свои произведения. Тогда она вставала и подходила к роялю. Она исполняла ту вещь, которую он принес. Большей радости она не могла ему доставить. Грация и Сесиль были самыми одаренными из всех его учеников. Но музыка, которую Сесиль чувствовала инстинктивно, почти не понимая ее, воспринималась Грацией как прекрасный,

осмысленный гармонический язык. Демонизм в жизни и в искусстве ускользал от нее полностью; она вносила в музыку ясность своей чуткой души, и эта ясность проникала в творчество Кристофа. Игра подруги помогала ему лучше осознать темные страсти, которые он изобразил. Закрыв глаза, он слушал и, как бы держа ее за руку, следовал за нею по лабиринту своей собственной мысли. Ощущая свою музыку через душу Грации, он сливался с этой душой, он обладал ею. От этой таинственной связи рождались музыкальные произведения, как бы являвшиеся плодом их близости. Однажды, преподнося Грации сборник своих сочинений — результат их душевной близости,— он сказал:

— Вот наши дети.

Общность помыслов, когда они были вместе и даже когда находились врозь; отрада вечеров, проведенных в сосредоточенной тишине старинного дома, созданного, казалось, по образу и подобию Грации, где двое молчаливых, заботливых и преданных Грации слуг как бы переносили на Кристофа часть того уважения и привязанности, которые они питали к своей хозяйке. Сладостно слушать вдвоем бой уходящих часов и наблюдать проносящийся поток жизни. Нездоровье Грации набрасывало на это счастье тревожную тень. Но, несмотря на свое недомогание, она излучала такую ясность, что ее тайные страдания только сообщали ей еще большую прелесть. Кристоф называл ее «своей дорогой страдалицей, своей трогательной подругой с лучезарным лицом». И иногда вечером, придя от нее, когда сердце его было переполнено любовью и он не мог дождаться утра, он писал Грации, чтобы сказать ей:

Liebe, liebe, liebe, liebe, liebe Grazia...[1]

Этот безмятежный покой длился несколько месяцев. Они думали, что он будет продолжаться вечно. Мальчишка словно забыл о них — его внимание было отвлечено. Но после этой передышки он принялся за старое и уже не отставал от них. Маленький дьяволенок задумал разлучить мать и Кристофа. Он снова стал разыгрывать комедии. Он действовал не по заранее обдуманному плану, а изо дня в день изобретал новые капризы, подсказанные его злобой. Он и не подозревал о зле, которое причинял: он старался развлечься, докучая другим, и угомонился, лишь когда добился от Грации обещания, что они

[1] Любимая, любимая, любимая, любимая, любимая Грация *(нем.)*.

покинут Париж и уедут в далекое путешествие. У Грации не было сил сопротивляться. К тому же врачи советовали ей провести несколько месяцев в Египте, чтобы избежать зимы на севере. Было много причин, которые подорвали здоровье Грации: моральные потрясения последних лет, постоянные тревоги о здоровье ребенка, неопределенность, внутренняя борьба, происходившая в ней, муки совести из-за страданий, причиняемых другу. Кристоф, чтобы не усиливать ее терзаний, которые он угадывал, скрывал свои, видя, как приближается день разлуки; он не предпринимал ничего, чтобы отсрочить ее отъезд; и оба изображали спокойствие, которого на самом деле не ощущали, но старались внушить друг другу.

День настал. Было сентябрьское утро. Они вместе покинули Париж в середине июля, чтобы провести последние недели, оставшиеся до ее отъезда, в Швейцарии, в высокогорной гостинице, недалеко от места, где они встретились шесть лет назад.

В течение пяти дней они не могли выйти на улицу. Непрерывно лил дождь, они остались почти одни в гостинице,— большинство постояльцев разъехалось. В это последнее утро дождь наконец прекратился, но горы были окутаны облаками. Дети с прислугой выехали раньше в первом экипаже. Вслед за ними собралась Грация. Кристоф провожал ее до того места, где дорога крутыми излучинами сползала в итальянскую равнину. Они сидели, продрогшие от сырости, в экипаже с поднятым верхом, тесно прижавшись, молча, почти не глядя друг на друга; призрачный свет — не то день, не то ночь — окутывал их! Вуалетка Грации стала влажной от ее дыхания. Он сжимал маленькую руку, ощущая сквозь ледяную перчатку ее теплоту. Их лица встретились. Он поцеловал любимый рот через влажную вуаль.

Они достигли поворота дороги. Кристоф вышел. Коляску поглотил туман. Вскоре она исчезла из виду. Кристоф еще слышал стук колес и топот копыт лошади. Пелена плотного белого тумана расстилалась над лугами. Сквозь его густую сеть виднелись окоченевшие деревья, с ветвей их стекали капли. Ни дуновения. Туманом заволокло жизнь, Кристоф остановился, задыхаясь... Нет ничего. Все кончено...

Кристоф глубоко вдохнул туман и продолжал свой путь. Ничто не кончено для того, кто жив.

Разлука только усиливает власть тех, кого мы любим. В сердце сохраняются лишь самые дорогие, самые лучшие воспоминания. Отзвук каждого слова, доносящегося сквозь пространство от далекого друга, воспринимается в тишине с благоговейным трепетом.

Переписка Кристофа и Грации приобрела спокойный и сдержанный тон друзей, любовь которых уже не боится опасных испытаний,— все это осталось позади, и они уверенно идут, взявшись за руки, своим путем-дорогой. Каждый из них был достаточно силен, чтобы поддерживать и направлять другого, и вместе с тем достаточно слаб, чтобы разрешить другому направлять и поддерживать себя.

Кристоф вернулся в Париж. Он дал себе слово больше туда не возвращаться. Но чего стоят такие обещания! Он знал, что еще найдет там тень Грации. А обстоятельства, оказавшиеся в заговоре с его тайным желанием, против его воли указали ему в Париже новый долг, который он обязан был выполнить. Колетта, бывшая в курсе светских сплетен, сообщила Кристофу, что его юный друг Жанен собирается натворить глупостей. Жаклина, всегда проявлявшая большую слабость в отношении сына, уже не пыталась больше сдерживать его. Она сама переживала тяжелый кризис и была слишком занята собой, чтобы заниматься Жоржем.

После печального события, разбившего ее брак и жизнь Оливье, Жаклина жила весьма скромно и уединенно. Она держалась в стороне от парижского общества, которое сначала лицемерно подвергло ее чему-то вроде карантина, а потом стало снова проявлять навязчивую предупредительность. Жаклина отнюдь не испытывала перед этими людьми стыда за свой поступок, она считала, что не обязана давать им отчет, ибо они

еще ниже ее; то, что она совершила открыто, половина знакомых ей женщин делали исподтишка, под прикрытием и защитой семейного очага. Она страдала лишь оттого, что причинила горе своему лучшему другу, единственному мужчине, которого любила. Она не могла себе простить, что потеряла в этом жалком мире такое чувство.

С течением времени эти сожаления, эта боль притупились,— осталось только глухое страдание, безграничное презрение к себе и другим и любовь к сыну. Это чувство поглощало всю ее потребность в любви, делало ее безоружной в отношении Жоржа; она неспособна была противостоять его капризам. Чтобы оправдать эту слабость, она убеждала себя, что искупает таким образом свою вину перед Оливье. Периоды экзальтированной нежности чередовались с периодами усталости и равнодушия; то она докучала Жоржу своей требовательной и беспокойной любовью, то как будто начинала тяготиться им и предоставляла ему полную свободу. Прекрасно сознавая, что она плохая воспитательница, Жаклина мучилась, но ничего не могла изменить. Ее попытки (весьма редкие) сообразовать свои принципы воспитания с идеями Оливье давали печальный результат: этот моральный пессимизм не подходил ни ей, ни ребенку. В сущности, она хотела лишь одного: чтобы сын любил ее. И она была права, ибо этих двух людей, несмотря на их большое сходство, связывали только сердечные узы. Жорж Жанен подчинялся физическому обаянию матери: ему нравился ее голос, ее жесты, ее движения, ее ласка, ее любовь. Но он чувствовал, что душа ее чужда ему. Она заметила это только при первом дуновении юности, когда Жорж отдалился от нее. Тогда она удивилась, возмутилась, приписала эту отчужденность влиянию другой женщины и, неловко пытаясь преодолеть его, только еще больше отдалила от себя сына. В действительности, постоянно живя бок о бок, поглощенные каждый своими собственными делами, они тешили себя иллюзиями и не замечали всего того, что их разделяет, благодаря общности весьма поверхностных симпатий и антипатий, от которых не осталось и следа, когда ребенок (это неопределенное существо, еще все пропитанное запахом женщины) превратился в юношу. И Жаклина с горечью говорила сыну:

— Я не знаю, в кого ты пошел. Ты не похож ни на твоего отца, ни на меня.

Таким образом, она еще сильнее давала ему почувствовать, как они чужды друг другу, и он втайне гордился этим и вместе с тем испытывал непонятную тревогу.

Последующие поколения всегда сильнее чувствуют то, что их разделяет, чем то, что их сближает с предыдущими; это им необходимо для самоутверждения, даже если это достигается ценою несправедливости или самообмана. Это чувство, в зависимости от эпохи, бывает более или менее обостренно. В классические эпохи, когда временно устанавливалось равновесие между силами какой-нибудь одной цивилизации,— в эпохи, напоминающие высокие плоскогорья с крутыми склонами,— разница между поколениями не так уж велика, но в эпоху возрождения или упадка молодые люди, взбирающиеся или спускающиеся по головокружительному, крутому склону, оставляют далеко позади своих предшественников. Жорж и его сверстники поднимались в гору.

Ни в уме, ни в характере Жоржа не было ничего выдающегося: одинаково способный ко всему, он ни в чем не превосходил уровня изящной посредственности. И тем не менее с первых же шагов, не прилагая особых усилий, он оказался на несколько ступенек выше своего отца, израсходовавшего за свою короткую жизнь несметное количество духовной и физической энергии.

Как только глаза его разума увидели свет, он заметил вокруг себя все эти скопища тьмы, пронизываемые ослепительными вспышками, все эти нагромождения знакомого и неведомого, враждебных истин, противоречивых заблуждений, среди которых лихорадочно блуждал его отец. Но он тут же осознал, какое оружие, неизвестное Оливье, находится в его руках,— его сила...

Откуда же она у него взялась? Это — тайна возрождения рода, который угасает, истощившись, и вдруг пробуждается, переполненный до краев, подобно весеннему горному потоку! К чему же он применит эту силу? Займется ли он, в свою очередь, исследованием непроходимых чащ современной мысли? Нет, это занятие нисколько не прельщало его, он чувствовал нависшую над ним угрозу притаившихся там опасностей. Оно уже загубило его отца. Он скорее бы поджег этот лес, чем попытался снова проникнуть в его трагические дебри. Он только мельком заглянул в книги мудрости или священного безумия, которыми упивался когда-то Оливье: нигилистское милосердие Толстого, мрачная, разрушительная гордыня Ибсена, неистовство Ницше, чувственный и героический пессимизм Вагнера. Жорж отвернулся от них с гневом и ужасом. Он ненавидел поколение писателей-реалистов, которые за последние полвека убили радость чистого искусства. Тем не менее

он не мог совсем избавиться от смутных призраков печальной мечты, баюкавшей его детство. Он не хотел оглядываться назад, но знал, что позади него стоит призрак. Он был слишком здоров, чтобы искать выхода для своего беспокойства в ленивом скептицизме предыдущей эпохи, он питал отвращение к дилетантству Ренана и Анатоля Франса, к извращенности свободного разума, к невеселому смеху, к иронии без величия,— ко всем этим позорным средствам, годным лишь для рабов, которые бряцают своими оковами, но не способны их сбросить.

Он был слишком силен, чтобы удовлетвориться сомнением, слишком слаб, чтобы создать себе веру,— он стремился к ней, он жаждал ее! Он просил, молил, требовал. И вечные ловцы популярности, лжевеликие писатели, лжевеликие мыслители, подстерегали и эксплуатировали это настоятельное и томительное желание, превознося под грохот барабанов свое шарлатанское лекарство. Каждый из этих Гиппократов с высоких подмостков своего балагана вопил, что его эликсир — самый лучший, самый целебный, и поносил все остальные. Но эти тайные средства не стоили ни гроша. Ни один из торгашей не потрудился найти новые рецепты. Они раскопали среди старого хлама флаконы с выдохшимися лекарствами. Один провозглашал в качестве панацеи католическую церковь, другой — законную монархию, третий — классическую традицию. Среди них были и такие шутники, которые доказывали, что возвращение к латыни исцелит от всех зол. Иные же с серьезным видом и пылким красноречием, внушавшим доверие зевакам, проповедовали господство средиземноморского духа. (Столь же убедительно они разглагольствовали бы при других обстоятельствах об атлантическом духе!) В противовес северным и восточным варварам, они торжественно провозглашали себя преемниками новой римской империи. Слова, слова, и притом заимствованные. Под открытым небом они излагали скороговоркой всю премудрость, собранную в библиотеках. Молодой Жанен, как и его товарищи, переходил от одного торгаша к другому, слушал их зазывающие выкрики, иногда, поддаваясь соблазну, заходил в балаган и выходил оттуда разочарованный и немного пристыженный: зря потратив деньги и время, он увидел там лишь старых паяцев в потертых трико. И тем не менее так сильны были иллюзии молодости, так велика была уверенность в том, что он обретет веру, что, слушая каждое новое обещание очередного продавца надежд, он тотчас же попадался на удочку. Жорж был настоящим французом: ему были присущи бунтарские настроения и врожденная любовь к порядку. Ему не-

обходим был вождь, и он не выносил никакого начальства: его беспощадная ирония пронизывала их всех насквозь.

Он ждал, покуда кто-нибудь преподнесет ему решение загадки... но ему некогда было ждать. Он не принадлежал к типу людей, которые, подобно его отцу, в течение всей своей жизни могли довольствоваться поисками истины. Его молодая, беспокойная сила искала выхода. При наличии повода или без него он хотел на что-нибудь решиться. Действовать, пустить в ход, растратить свою энергию. Путешествия, наслаждение искусством, особенно музыкой, которой он пичкал себя до пресыщения, служили временной отдушиной для его страстей. Красивый малый, преждевременно созревший, легко поддающийся искушению, он рано познал мир любви, такой пленительный с виду, и ринулся в него, охваченный поэтической и жадной радостью. Но вскоре этому наивному и ненасытному до наглости Керубино надоели женщины; ему необходима была деятельность. Тогда он яростно отдался спорту. Он испробовал все, увлекался всеми видами спорта. Он стал завсегдатаем фехтовальных турниров, боксерских матчей, получил звание чемпиона Франции по бегу и по прыжкам в высоту, был капитаном футбольной команды. Он соперничал в смелости с такими же, как он сам, молодыми сумасбродами, богачами и сорвиголовами: они совершали нелепые и бешеные автомобильные пробеги, поистине пробеги смерти. В конце концов он забросил все ради новой игрушки. Он разделял исступленные восторги толпы к самолетам. На праздниках авиации, происходивших в Реймсе, он вопил, плакал от радости вместе с тремястами тысячами зрителей; он чувствовал свое единение со всем народом, охваченным восторгом и упованьем: люди-птицы, проносившиеся над ними, увлекали их за собой в своем полете. Впервые с той поры, как вспыхнула заря Великой революции, эти сплоченные толпы подняли глаза к небу, и оно отверзлось им. К ужасу матери, молодой Жанен заявил, что хочет примкнуть к стаям завоевателей воздуха. Жаклина умоляла его отказаться от этого опасного намерения. Она приказывала ему. Он поступил по-своему. Кристоф, в котором Жаклина рассчитывала найти союзника, ограничился тем, что дал молодому человеку несколько разумных советов, хотя был уверен, что Жорж не последует им (ибо, будь он на его месте, он поступил бы так же). Кристоф не считал себя вправе, если бы это даже было в его власти, стеснять здоровую и нормальную игру молодых сил, которые из-за вынужденного бездействия могли бы устремиться к собственному разрушению.

Жаклина не могла примириться с тем, что сын ускользает от нее. Напрасно она думала, что окончательно отказалась от любви,— она не могла обойтись без этой иллюзии; все ее чувства, все ее действия были окрашены любовью. Многие матери переносят на своих сыновей тайный пыл страстей, не растраченных в браке и вне брака! И потом, видя, как легко сыновья обходятся без матери, внезапно обнаружив, что она им не нужна, мать переживает такой же тяжелый кризис, как при измене любовника, при разочаровании в любви. Это было для Жаклины новым ударом. Жорж ничего не замечал. Молодые люди не подозревают о сердечных трагедиях, которые разыгрываются вокруг них: им некогда останавливаться и смотреть; к тому же они и не желают смотреть — эгоистический инстинкт подсказывает им идти прямо, не оглядываясь.

Жаклина переживала в одиночестве это новое горе. Она пришла в себя, только когда боль притупилась. Притупилась вместе с ее любовью. Она продолжала любить сына, но это чувство стало далеким, трезвым, она знала, что не нужна ему, и стала относиться безучастно и к себе самой, и к сыну. Целый год она влачила унылое и жалкое существование, а он даже не замечал этого. Потом несчастному сердцу, не умевшему ни умереть, ни жить без любви, суждено было найти новый предмет обожания. Она оказалась жертвой страсти, часто посещающей женские души, особенно, как говорят, самые благородные, самые недоступные, когда приходит зрелость, а прекрасный плод жизни не был сорван вовремя. Она познакомилась с женщиной, которая с первой же встречи покорила ее своей таинственной притягательной силой.

Это была монахиня примерно ее возраста. Она занималась благотворительными делами. Высокая, сильная, довольно полная брюнетка, с красивыми резкими чертами лица, живыми глазами, большим ртом, с тонкими, постоянно сложенными в улыбку губами и властным, волевым подбородком. На редкость умная, отнюдь не сентиментальная, она была по-крестьянски хитра; деловая сметка сочеталась в ней с пылким воображением южанки, любившей широкий размах, но в то же время умевшей обуздывать себя, когда это было необходимо,— эдакая пикантная смесь возвышенного мистицизма и плутовства старого нотариуса. Она привыкла повелевать и умела это делать. Жаклина тотчас же попалась на удочку. Она увлеклась благотворительностью. По крайней мере, так полагала она. Сестра Анжела прекрасно знала, кем увлеклась Жаклина: она привыкла возбуждать такого рода чувства и, делая вид, что ни-

чего не замечает, умела холодно и расчетливо использовать их во имя добрых дел и во славу божью. Жаклина отдала свои деньги, свою волю, свое сердце. Она стала милосердной, она уверовала, потому что любила.

Вскоре все окружающие не преминули подметить, в каком ослеплении она находится. Только одна Жаклина не отдавала себе в этом отчета. Опекун Жоржа встревожился. Жорж был слишком щедр и легкомыслен, чтобы заниматься денежными вопросами, но и он заметил, что его мать опутали, и это неприятно поразило его. Он попытался — слишком поздно — восстановить их былую близость, но увидел, что между ними выросла стена; приписывая это тайному влиянию, Жорж не пытался скрывать свое раздражение против той, кого он называл интриганкой, а также против самой Жаклины. Он не мог допустить, чтобы чужая заняла в сердце матери место, которое он считал своею собственностью. Он не признавался себе, что это место занято лишь потому, что он сам пренебрег им. Вместо того чтобы терпеливо пытаться снова завоевать упущенное, он вел себя неловко и оскорбительно. Мать и сын, оба нетерпеливые и горячие, обменялись резкими словами; разрыв между ними стал еще глубже. Сестра Анжела окончательно завладела Жаклиной, а Жорж удалился; ему была предоставлена полная свобода. Он стал вести рассеянный и бурный образ жизни. Играл в карты, проигрывал крупные суммы; рисовался своей экстравагантностью — отчасти из удовольствия, а также в отместку матери за ее сумасбродства. Он был знаком со Стивенс-Дэлестрад. Колетта не преминула обратить внимание на красивого молодого человека и испробовала на нем действие своих чар, которые все еще держались на вооружении. Она была в курсе похождений Жоржа и забавлялась ими. Но присущий ей здравый смысл и природная доброта, таившиеся под внешним легкомыслием, подсказали Колетте, какой опасности подвергается молодой сумасброд, и, прекрасно понимая, что не сумеет образумить его, она уведомила Кристофа, который тотчас же явился.

Один только Кристоф еще способен был оказать некоторое влияние на молодого Жанена. Правда, влияние весьма ограниченное и непрочное, тем более поражавшее, что причины его были непонятны. Кристоф принадлежал к тому поколению, против которого Жорж и его товарищи восставали особенно горячо. Он был один из крупнейших представителей той мя-

тежной эпохи, искусство и идеи которой вызывали их подозрительность и враждебность. Он не признавал новых евангелий и амулетов, предлагаемых лжепророками и старыми знахарями наивным молодым людям как верное средство для спасения мира, Рима и Франции. Он хранил верность свободным убеждениям, не стесняемым никакими религиями, никакими партиями, никакими отечествами, а это уже вышло из моды или еще не стало модным. Наконец, хотя для самого Кристофа вопрос национальности не играл никакой роли, он все же был в Париже иностранцем в ту пору, когда иностранцы казались коренным обитателям всех стран варварами.

И тем не менее молодой Жанен, веселый, легкомысленный, инстинктивный враг всего, что его могло опечалить или встревожить, страстно предававшийся наслаждениям, азартным играм, легко обольщавшийся риторикой своего времени и питавший склонность, благодаря своим крепким мускулам и умственной лени, к грубым доктринам, провозглашаемым «Аксьон франсез» — к шовинизму, роялизму, империализму (он не слишком во всем этом разбирался),— уважал, в сущности, только одного человека — Кристофа. Рано приобретенный жизненный опыт и очень тонкое чутье, унаследованное от матери, помогли ему правильно оценить (разумеется, это не отразилось на его хорошем настроении) ничтожество того общества, без которого он не мог обойтись, и нравственное превосходство Кристофа. Тщетно он опьянял себя суетой и деятельностью. Жорж не мог отречься от наследия отца. От Оливье он заимствовал внезапные и короткие приступы смутного беспокойства, потребность найти, определить цель своей деятельности. И, быть может, также от Оливье передалось ему таинственное, инстинктивное влечение к человеку, которого тот любил.

Жорж бывал у Кристофа. Экспансивный и несколько болтливый, он любил исповедоваться. Ему не было дела, есть ли у Кристофа время слушать его. Кристоф всегда выслушивал Жоржа, не проявляя ни малейшего нетерпения. Порою только, когда гость приходил во время работы, он бывал рассеян. Но это длилось всего несколько минут, в течение которых его мысль ускользала, чтобы добавить еще штрих, еще мазок к работе, происходившей внутри него. Потом он снова возвращался к Жоржу, который даже не замечал его невнимания. Кристоф забавлялся своим бегством, как человек, который тихонько вышел из комнаты и так же неслышно вернулся. Но раз или два Жорж почувствовал это и возмущенно воскликнул:

— Да ты не слушаешь меня!

Тогда Кристофу становилось стыдно, и, чтобы заслужить прощение, он начинал покорно, с удвоенным вниманием слушать своего нетерпеливого рассказчика. В повествовании Жоржа бывало немало комического; иной раз Кристоф не мог удержаться от смеха, слушая о какой-нибудь его проделке, ибо Жорж говорил все без утайки,— он обезоруживал своей откровенностью.

Но Кристоф смеялся далеко не всегда. Поведение Жоржа часто удручало его. Кристоф и сам не был святым и не считал себя вправе читать кому-нибудь мораль. Не любовные приключения Жоржа, не возмутительное проматывание своего состояния на глупости больше всего возмущали Кристофа. Труднее было простить Жоржу легкомысленное отношение к своим проступкам: казалось, он не видит в них ничего предосудительного, считая все это вполне естественным. У него было несколько иное представление о нравственности, чем у Кристофа. Он принадлежал к той категории молодых людей, которые склонны видеть во взаимоотношениях между полами только свободную игру, лишенную каких-либо нравственных обязательств. Известная искренность и беспечная доброта — вот и весь багаж, необходимый порядочному человеку. Его нисколько не смущала щепетильность Кристофа. А тот негодовал. Тщетно пытался Кристоф не навязывать другим своих мнений — он был нетерпим; его прежнее буйство было укрощено лишь наполовину. Иногда, вспылив, он не мог удержаться и, находя некоторые интриги Жоржа нечистоплотными, напрямик заявлял ему об этом. Жорж тоже не отличался большой терпимостью. Между ним и Кристофом происходили довольно бурные перепалки. После этого они не встречались целыми неделями. Кристоф понимал, что эти вспышки не могут повлиять на Жоржа и заставить его изменить свое поведение, что несправедливо пытаться подчинить нравственность одной эпохи моральным воззрениям другого поколения. Но это было сильнее его и при первом же случае все повторялось сначала. Как можно усомниться в убеждениях, которым отдана вся жизнь? Лучше тогда совсем отказаться от жизни! Стоит ли принуждать себя мыслить иначе, чем мыслишь, только для того, чтобы походить на своего ближнего или щадить его? Это означает погубить себя без пользы для других. Первейший долг человека — быть таким, каков он есть, иметь мужество сказать: «Это хорошо, а вот то плохо». Оставаясь сильным, приносишь гораздо больше пользы слабым, чем становясь таким же слабым, как они. Будьте снисходительны, если вам угодно, к уже свершившейся под-

лости, но никогда не миритесь с подлостью, которую собираются сделать!

Разумеется, Жорж остерегался советоваться с Кристофом относительно своих планов и намерений (да разве ему самому они были известны?). Он рассказывал лишь о том, что уже произошло. В таком случае... в таком случае Кристофу оставалось только смотреть на шалопая с немым упреком и, улыбаясь, пожимать плечами, наподобие старого дядюшки, который знает, что его все равно не послушаются.

После этого несколько секунд длилось молчание. Жорж смотрел в глаза Кристофа, которые как бы издалека глядели на него. И он чувствовал себя перед ним мальчишкой. Он видел себя в зеркале этого пронизательного взгляда, в котором загорались лукавые огоньки, таким, каков он есть, и не слишком гордился этим отражением. Кристоф очень редко обращал против Жоржа его признания; можно было подумать, что он и не слышал их. После немого диалога их глаз Кристоф насмешливо качал головой; затем начинал рассказывать историю, которая, казалось, не имела ни малейшего отношения ко всему предыдущему,— историю из своей жизни или чьей-то другой жизни, причем трудно было понять, правда это или выдумка. И перед Жоржем постепенно вырисовывался — в новом, некрасивом и смешном свете — образ его двойника (он узнавал его), совершавший такие же промахи, как и он. Как было не посмеяться над собою, над своим неприглядным видом! Кристоф ничего не пояснял. Но еще большее впечатление, чем само повествование, производило безграничное добродушие рассказчика. Он говорил о себе, как и о других, одинаково беспристрастно, с веселым и спокойным юмором. Это спокойствие нравилось Жоржу. Такого спокойствия он искал. Когда Жорж сваливал с себя груз многословной исповеди, у него было такое ощущение, словно он лежит в летний полдень, прохлаждаясь в тени большого дерева. Лихорадочный жар знойного дня спадал. Он чувствовал над собой веяние охраняющих его крыльев. Подле этого человека, который уверенно и просто нес бремя тяжелой жизни, он был защищен от собственных тревог. Он вкушал покой, внимая речам Кристофа. Жорж также не всегда слушал Кристофа внимательно: его мысли блуждали далеко; но куда бы он ни уносился, смех Кристофа звучал в его ушах.

Между тем воззрения старого друга оставались чуждыми ему. Он спрашивал себя, как Кристоф мог примириться со своим душевным одиночеством, отказаться от всякой связи с художественными, политическими, религиозными партиями, с ка-

кой-либо из общественных группировок. Он спросил как-то, не испытывает ли Кристоф иногда потребности примкнуть к какому-нибудь лагерю.

— К лагерю! — смеясь, сказал Кристоф.— Разве на свободе плохо? И это ты предлагаешь мне замкнуться в лагере, ты, любитель воздушных просторов?

— О, тело и душа совсем не одно и то же,— ответил Жорж.— Душе необходима уверенность; необходимо мыслить вместе с другими, разделять принципы, которых придерживаются люди одной эпохи. Я завидую прежним людям, тем, что жили в классические века. Правы мои друзья, желающие возродить прекрасный порядок прошлого!

— Мокрая курица! — сказал Кристоф.— И откуда только берутся такие малодушные?

— Я не малодушный,— с негодованием возразил Жорж.— Никого из нас нельзя упрекнуть в этом.

— И все-таки вы трусы, раз боитесь себя. Как? Вам нужен порядок, и вы не можете сами его создать? Непременно нужно цепляться за юбки своих прабабушек! Бог мой! Шагайте самостоятельно!

— Сначала необходимо пустить корни,— гордо изрек Жорж, повторяя одну из модных фраз того времени.

— Разве для того, чтобы пустить корни, деревья должны быть посажены в ящики? Земля к твоим услугам, она принадлежит всем. Врастай в нее корнями. Найди свои законы. Ищи их в себе.

— У меня нет времени,— ответил Жорж.

— Ты попросту трусишь,— повторил Кристоф.

Жорж возмутился, но в конце концов признал, что у него нет ни малейшего желания заглядывать в глубь себя; он не понимал, какое в этом удовольствие: наклоняясь над черной бездной, рискуешь свалиться в нее.

— Дай мне руку,— говорил Кристоф.

Его забавляло приоткрывать люк и показывать реальное и трагическое лицо жизни. Жорж отшатывался. Кристоф, смеясь, закрывал крышку.

— И вы можете так жить? — спрашивал Жорж.

— Я живу и счастлив,— отвечал Кристоф.

— А я умер бы, если бы мне пришлось постоянно видеть это.

Кристоф похлопывал его по плечу.

— Вот каковы наши прославленные богатыри! Ну что ж, не гляди туда, если у тебя недостаточно крепкая голова. Ведь

«Жан-Кристоф». Книга десятая.

тебя никто не принуждает. Иди вперед, мой мальчик! Но разве для этого тебе необходим погонщик, который бы подстегивал тебя, как скотину? Какого приказа ты еще ждешь? Уже давно прозвучал сигнал. Горнист протрубил сбор, кавалерия перешла на марш. Думай только о своем коне. В шеренгу! И скачи!

— Но куда? — спрашивал Жорж.

— Куда летит твоя эскадрилья? На завоевание мира. Овладейте воздухом, подчините стихию, преодолейте последние барьеры природы, заставьте отступить пространство, заставьте отступить смерть...

Expertus vacuum Daedalus aëra...

Ну-ка, поборник латыни, скажи, знаешь ли ты, откуда это? Можешь ли ты мне объяснить, что сие значит?

Perrupit Acheronta...

Вот ваш жребий, счастливые конквистадоры.

Он так ясно указывал, в чем долг молодого поколения, какая героическая деятельность выпала на его долю, что изумленный Жорж спросил:

— Но если вы это чувствуете, почему же вы не с нами?

— Потому что у меня другая задача. Иди, мой мальчик, делай свое дело. Обгони меня, если можешь. Я же остаюсь здесь и буду наблюдать. Ты читал сказку из «Тысячи и одной ночи» о том, как высокий, словно гора, джинн был заключен в бутылку, запечатанную печатью Соломона? Этот джинн здесь, в глубине нашей души, той души, заглянуть в которую ты боишься. Я и мои современники всю жизнь боролись с ним; мы не победили его, но и он не мог нас одолеть. Теперь мы и он отдыхаем и смотрим друг на друга без ненависти и страха, гордясь былыми битвами и ожидая конца перемирия. Воспользуйтесь же передышкой, чтобы собраться с силами и овладеть красотой мира. Будьте счастливы, наслаждайтесь затишьем. Но помните, что когда-нибудь вам или вашим сыновьям, после одержанных побед, придется вернуться сюда, ко мне, и с новыми силами вступить в бой с тем, кто заключен здесь и кого я стерегу. И борьба, чередующаяся с перемириями, будет длиться до тех пор, пока один из двоих (а быть может, и оба) не будет повержен... Будьте же сильнее и счастливее нас! А сейчас занимайся спортом, если хочешь, укрепляй мускулы и сердце, но не безумствуй и не растрачивай попусту свою терпеливую силу: ты живешь в такое время, когда для нее (будь спокоен!) найдется применение.

Жорж немного усваивал из того, что говорил ему Кристоф. У него был достаточно восприимчивый ум, который схватывал мысли Кристофа, но они тотчас же испарялись. Не успевал он спуститься с лестницы, как уже все забывал. И тем не менее ощущение умиротворенности оставалось, даже когда воспоминание о том, чем оно было вызвано, давно изгладилось из памяти. Жорж глубоко уважал Кристофа, хотя и не разделял его убеждений. (В сущности, он смеялся над всем, во что верил Кристоф.) Но он проломил бы голову любому, кто осмелился бы дурно отозваться о его старом друге.

К счастью, никто этого не делал; в противном случае у него оказалось бы немало хлопот.

Кристоф заранее предвидел, что скоро ветер подует в другую сторону. Новый идеал молодой французской музыки весьма отличался от его собственного, и хотя для Кристофа это служило только лишним поводом, чтобы симпатизировать ей, молодежь относилась к нему отнюдь не дружелюбно. Популярность Кристофа лишь ожесточала наиболее голодных из этих молодых людей; их желудки не были достаточно набиты, и именно поэтому они отрастили себе длинные клыки и больно кусались. Но Кристофа не трогали их выпады.

— Сколько пыла они в это вкладывают! — говорил он.— У этих щенят начинают прорезаться зубы...

Он готов был предпочесть их тем собачонкам, которые лебезили перед ним, потому что он имел успех,— это о них говорит д'Обинье: «Когда дворовый пес залез в горшок с маслом, они стали облизывать его и поздравлять».

Одно из произведений Кристофа было принято к постановке в опере. Сразу же приступили к репетициям. Случайно Кристоф узнал из газет, в которых его поносили, что для того, чтобы поставить его произведение, отложили постановку уже принятой оперы молодого композитора. Журналист возмущался этим злоупотреблением властью и винил во всем Кристофа.

Кристоф отправился к директору театра и сказал:

— Вы не предупредили меня об этом. Так не поступают. Извольте поставить оперу, которую вы приняли раньше моей.

Директор запротестовал, рассмеялся и, наотрез отказав Кристофу, стал осыпать похвалами его самого, его произведения, его гений, а о вещи молодого автора отозвался с величайшим презрением, уверяя, что она никуда не годится и не принесет ни гроша дохода.

— Зачем же тогда вы ее приняли?

— Не всегда делаешь то, что хочешь. Время от времени приходится идти на уступки общественному мнению. Прежде эти юнцы могли кричать сколько угодно — никто их не слушал. Теперь же они ухитряются натравливать на нас всю националистическую прессу, которая принимается вопить об измене и называть нас плохими французами, если мы имели неосторожность не восторгаться молодой школой! Молодой школой! Как бы не так! Хотите знать правду? Мне она надоела хуже горькой редьки! И публике тоже. Они опротивели своими «Oremus»[1]. У них не кровь в жилах, а вода; это какие-то жалкие пономари, которые служат обедню, а их любовные дуэты больше похожи на «De profundis»[2]. Если бы я был настолько глуп и ставил оперы, которые меня заставляют принимать, то мой театр прогорел бы. Но поговорим о серьезных вещах. Вы делаете полные сборы.

И снова посыпались комплименты.

Кристоф резко оборвал его и сказал разгневанно:

— Меня вы не проведете. Теперь, когда я уже стар и «преуспеваю», вы пользуетесь мною, чтобы уничтожать молодых. Если бы я был молод, вы бы уничтожили меня, как их. Поставьте оперу этого молодого человека, иначе я возьму обратно свою.

Директор воздел руки к небу и сказал:

— Разве вы не понимаете, если мы сделаем, как вы хотите, они вообразят, будто нас запугала возня, поднятая их прессой, и мы пошли на уступки?

— Что мне за дело до этого? — сказал Кристоф.

— Как вам угодно! Вы первый же станете их жертвой.

Оркестр стал проигрывать произведение молодого композитора, не прерывая репетиций оперы Кристофа. Одна опера была в трех актах, вторая — в двух; было решено показать обе в одном спектакле. Кристоф отправился к своему протеже; он первый хотел сообщить ему радостную весть. Молодой композитор рассыпался перед Кристофом в выражениях признательности.

Разумеется, Кристоф не мог помешать директору уделять больше внимания его опере. К исполнению и постановке вто-

---

[1] Помолимся *(лат.)*.

[2] Из глубины, из бездны *(лат.)* — начало молитвы «Из бездны воззвал к тебе...».

рой вещи отнеслись довольно небрежно. Кристоф ничего не знал об этом. Он попросил разрешения присутствовать на репетициях произведения молодого композитора и нашел, что оно, как ему уже говорили, весьма посредственно. Он осмелился дать лишь два-три совета, но они были приняты в штыки; он ограничился этим и больше не вмешивался. Директор, со своей стороны, сообщил дебютанту, что необходимо сделать некоторые сокращения, если он хочет, чтобы постановка его оперы не задерживалась. Сначала автор легко согласился на эту жертву, но вскоре она ему показалась непосильной.

Наступил день спектакля; опера дебютанта не имела никакого успеха, опера же Кристофа наделала много шума. Некоторые газеты поносили Кристофа, уверяя, что все было заранее подстроено, что это сговор с целью уничтожить молодого и великого французского музыканта. Они утверждали, что его произведение было искажено, изуродовано в угоду немецкому композитору, которого изображали как низкого человека, завидующего всякому новому таланту. Кристоф пожал плечами и подумал:

«Он ответит».

«Он» не отвечал. Кристоф послал ему одну из газетных заметок с припиской:

«Вы читали?»

Тот ответил:

«Какая досада! Этот журналист всегда был так деликатен в отношении меня. Право, я очень огорчен. Лучше всего не обращать внимания».

Кристоф рассмеялся и подумал:

«Этот трусишка прав!»

И он выбросил воспоминание о нем в провал своей памяти.

Но случаю было угодно, чтобы Жорж, который редко читал газеты, пробегая их мельком и останавливаясь лишь на статьях о спорте, наткнулся на самые резкие выпады против Кристофа. Жорж знал журналиста. Он отправился в кафе, где тот был завсегдатаем, и действительно встретил его там. Жорж дал ему пощечину, дрался с ним на дуэли и сильно оцарапал ему плечо своей шпагой.

На следующий день, за завтраком, Кристоф узнал о случившемся из письма одного приятеля. Он чуть не задохся от бешенства и, бросив завтрак, побежал к Жоржу. Жорж сам от-

ворил ему. Кристоф ворвался, как ураган, схватил Жоржа за плечи, стал в гневе трясти его, осыпая градом яростных упреков.

— Скотина! — кричал он.— Ты дрался из-за меня! Кто тебе разрешил? Сопляк, ветреник, как ты смел вмешиваться в мои дела? Разве я сам не способен заниматься ими? Отвечай! Чего ты добился? Ты оказал этому подлецу честь тем, что дрался с ним. Этого только ему и нужно было. Ты сделал его героем. Дурак! А если бы случаю было угодно (я уверен, что ты вел себя безрассудно, как всегда)... если бы ты был ранен, быть может, убит! Негодяй! Я никогда в жизни не простил бы тебе этого.

Жорж, который и без того смеялся, как безумный, услышав последнюю угрозу, расхохотался до слез:

— Ах, старый дружище, какой же ты чудак! Просто умора! Ты ругаешь меня за то, что я защищал тебя! Ладно, в другой раз я на тебя нападу. Тогда, пожалуй, ты меня расцелуешь.

Кристоф умолк; он обнял Жоржа, поцеловал в обе щеки раз, потом другой и сказал:

— Мальчик! Прости меня, я старая скотина... Но пойми, это известие так взволновало меня. И как только тебе в голову пришло драться? Разве с такими дерутся? Обещай мне сейчас же, что больше это никогда не повторится.

— Я никогда ничего не обещаю,— сказал Жорж.— Я делаю то, что мне нравится.

— Но я запрещаю тебе, слышишь? Если это повторится, я тебя знать не хочу, я отрекусь от тебя в газетах, я тебя...

— Ты лишишь меня наследства, это решено.

— Послушай, Жорж, прошу тебя... К чему все это?

— Дорогой старик, ты в тысячу раз лучше, чем я, и знаешь несравненно больше меня; но что касается этих негодяев, то я их изучил куда лучше, чем ты. Будь спокоен, это пойдет им на пользу; теперь они семь раз повернут во рту свое ядовитое жало, прежде чем осмелятся обругать тебя.

— Ах, какое мне дело до этих гусаков? Плевать мне на то, что они могут сказать.

— А мне отнюдь не плевать! И это тебя не касается!

С той поры Кристоф пребывал в вечном страхе, как бы чья-нибудь новая статья опять не задела Жоржа. Смешно было наблюдать, как в последующие дни Кристоф, никогда не читавший прессы, сидел в кафе, пожирая газеты, готовый, в слу-

чае если он встретит оскорбительную статью, сделать невесть что (даже подлость, если понадобится), лишь бы эти строки не попались на глаза Жоржу. Через неделю он успокоился. Мальчик был прав. Его поступок заставил гончих псов поджать хвосты. И Кристоф, продолжая бранить молодого безумца, из-за которого он целую неделю не работал, подумал, что в конце концов не имеет никакого права поучать его. Он вспомнил об одном происшествии — это было не так уж давно,— когда он сам дрался из-за Оливье. И ему показалось, что он слышит, как Оливье говорит ему:

«Не мешай, Кристоф, я только возвращаю тебе свой долг!»

Если Кристоф легко относился к нападкам, то другой человек был очень далек от такого насмешливого равнодушия. И этим человеком был Эммануэль.

Эволюция европейской мысли шла быстрыми шагами. Казалось, ее ускоряло изобретение новых двигателей и машин. Запас предрассудков и надежд, которых прежде хватило бы человечеству лет на двадцать, был уничтожен за пять лет. Идеи разных поколений сменялись с невероятной быстротой, они неслись галопом одна за другой, зачастую обгоняя друг друга: час атаки пробил. Эммануэля обогнали.

Певец французской мощи никогда не отрекался от идеализма своего учителя Оливье. Его пламенный национализм всегда сочетался с культом нравственного величия. Если в своих стихах он громовым голосом возвещал торжество Франции, то потому, что в силу своих убеждений поклонялся ей, считая ее лучшей выразительницей мысли современной Европы, Афиной-Никe, победоносным Правом, которое одерживает верх над Силой. Но вот теперь Сила проснулась в недрах самого Права и снова предстала в своей дикой наготе. Новое, здоровое, крепкое и воинственное поколение рвалось в бой и, еще не одержав победы, чувствовало себя победителем. Оно гордилось своими мускулами, широкой грудью, могучими и жадными до наслаждений чувствами, своими крыльями хищников, парящих над равниной; ему не терпелось скорее ринуться на добычу и испробовать свою хватку. Подвиги французской нации, сумасбродные полеты над Альпами и морями, эпические скачки верхом через африканские пески, новые крестовые походы, не менее мистичные и не более бескорыстные, чем походы Филиппа Августа и Вильгардуэна, окончательно вскружили голову народу. Этим детям, знавшим войну только по кни-

гам, ничего не стоило приписать ей несвойственную красоту. Они стали агрессивными. Пресытившись миром и отвлеченными идеями, они прославляли «наковальню сражений», на которой им предстояло окровавленным кулаком выковать когда-нибудь французское могущество. В ответ на засилье всевозможных идеологий, которые им опостылели, они возвели в принцип презрение к идеалу. Не без бахвальства они превозносили ограниченность и здравый смысл, грубый реализм, бесстыдный шовинизм, попирающий чужие права и другие народы, если это полезно для величия родины. Они ненавидели иностранцев, демократию, и даже атеисты проповедовали возврат к католицизму — из соображений практической необходимости: «установить абсолютное» и ограничить бесконечность, поставив ее под охрану порядка и власти. Они не только презирали — они считали врагами общества вчерашних безвредных болтунов, мечтателей-идеалистов, мыслителей-гуманистов. С точки зрения этих юношей, Эммануэль принадлежал к последним. Он жестоко страдал и возмущался этим.

Сознание того, что Кристоф, как и он,— пожалуй, даже больше, чем он,— является жертвой несправедливых гонений, возбудило в нем чувство симпатии к Кристофу. Своей озлобленностью он оттолкнул Кристофа, и тот больше не приходил. Эммануэль был слишком горд, чтобы обнаружить раскаяние и пуститься на поиски Кристофа. Но ему удалось как бы случайно встретиться с Кристофом, и так, чтобы первые шаги были сделаны не им. После этого его мрачная подозрительность успокоилась, и он уже не скрывал удовольствия, которое ему доставляли посещения Кристофа. С той поры они стали часто встречаться либо у одного, либо у другого. Эммануэль поведал Кристофу о своих обидах. Иные критики доводили его до крайнего озлобления, и, видя, что Кристофа это недостаточно задевает, он заставлял его читать газетные рецензии, написанные о нем самом. Кристофа обвиняли в незнании азов своего искусства, в незнании гармонии, утверждали, что он ограбил своих собратьев и опозорил музыку. Его называли: «этот буйно помешанный старик». О нем писали: «Нам надоели эти одержимые. Мы стоим за порядок, за разум, за уравновешенность классиков».

Кристофа только забавляло это.

— Таков закон природы,— говорил он.— Молодые люди швыряют стариков в мусорный ящик. Правда, в мое время человека называли стариком, только начиная с шестидесяти лет. Теперь все идет ускоренным темпом. Беспроволочный те-

лераф, самолеты... Поколение быстрее изнашивается... Бедняги! Их ненадолго хватит! Как они торопятся излить на нас свое презрение и горделиво покрасоваться под солнцем!

Но Эмманюэль не отличался столь несокрушимым здоровьем. Его отважная мысль находилась в плену больных нервов; пылкая душа была заключена в рахитичное тело, он рвался в бой, но не был создан для битв. Резкий тон некоторых выступлений оскорблял его до глубины души.

— Ах,— говорил он,— если бы критики знали, какой вред они причиняют художнику одним несправедливым, случайно оброненным словом, им было бы стыдно заниматься этим ремеслом.

— Они это прекрасно знают, дорогой друг. Это их способ жить. Ведь каждому нужно жить.

— Это палачи. Жизнь наносит нам кровавые раны, мы изнемогаем в борьбе, которую приходится вести за искусство. Вместо того чтобы протянуть нам руку и сочувственно отнестись к нашим слабостям, по-братски помочь нам преодолеть их, они наблюдают, засунув руки в карманы, как мы тащим в гору наш груз, и орут: «Не осилит!» А когда мы достигаем наконец вершины,— «он взбирался против правил!» — вопят одни. «Не осилил!» — упорно твердят другие. Еще счастье, что они не швыряют под ноги камни, чтобы свалить нас!

— Ну, нет! И среди них попадаются хорошие люди! А сколько добра они могут принести! Злобные дураки бывают всюду, независимо от профессии. Скажи-ка мне, может ли быть что-либо ужаснее, чем ожесточенный и тщеславный художник, который рассматривает мир как свою добычу и бесится из-за того, что не может завладеть ею? Вооружись терпением! Нет худа без добра. Даже самый злой критик приносит нам пользу. Это тренер, он не дает нам задерживаться в пути. Всякий раз, когда кажется, что мы уже у цели, свора собак впивается нам в икры. Вперед! Дальше! Выше! Но они скорее устанут меня преследовать, чем я шагать вперед. Вспомни-ка арабскую поговорку: «Бесплодные деревья никто не обдирает. Камнями швыряют только в те деревья, которые увенчаны золотыми плодами»... Жалости достойны художники, которых щадят. Они разленятся и застрянут в пути. А когда захотят подняться, то их онемевшие ноги уже не смогут идти. Да здравствуют мои друзья-враги! Они сделали мне больше добра в жизни, чем мои враги-друзья!

Эмманюэль не мог удержаться от улыбки. Затем он сказал:

— И все-таки неужели вам не обидно, когда такого ветерана, как вы, поучают новобранцы, еще ни разу не нюхавшие пороха?

— Они забавляют меня,— ответил Кристоф.— Это высокомерие — признак молодой, бурлящей крови, которая рвется наружу. Когда-то и я был таким. То проливные весенние дожди над возрождающейся землей... Пусть поучают нас. В конце концов, они правы. Старики должны пройти школы молодых! Они ограбили нас, они неблагодарные, но ведь это в порядке вещей. Обогащенные нашими трудами, они пойдут дальше нас, они осуществят то, чего мы добивались. Если в нас осталась хоть капелька молодости, будем учиться, в свою очередь, и постараемся помолодеть. Если же мы этого не можем, если мы слишком стары, возрадуемся через них. Отрадно созерцать непрерывное цветение человеческой души, которая казалась истощенной, могучий оптимизм этой молодежи, их дерзания, их упоение деятельностью — это людские племена, возродившиеся для завоевания мира.

— Чем бы они были без нас? Наши слезы — источник их радости. Эта гордая сила расцвела на страданиях целого поколения... Sic vos non vobis... [1]

— Старое изречение неверно. Мы работали для самих себя, создавая новое поколение людей, которое превзойдет нас. Мы сберегли его богатства и охраняли их в жалком, плохо защищенном домишке, где дуло из всех щелей; нам приходилось подпирать собою двери, чтобы помешать смерти войти туда. Своими руками мы проложили триумфальный путь, по которому пойдут наши сыновья. Своими трудами мы спасли грядущее. Мы принесли ковчег к порогу Обетованной земли. Он проникнет туда с нами и благодаря нам.

— Вспомнят ли они когда-нибудь о тех, кто прошел через пустыни, неся священный огонь, неся богов нашего народа и их самих, этих детей, ставших теперь взрослыми людьми? Нам на долю выпали лишь испытания и неблагодарность.

— Разве ты жалеешь об этом?

— Нет. Есть опьянение в сознании трагического величия нашей могучей эпохи, принесенной в жертву во имя той, которую она породила. Современным людям уже не дано познать великую радость самопожертвования.

— Мы были счастливее их. Мы достигли вершины горы Нево, у подножия ее расстилается земля, на которую нам не

[1] Таким образом вы [работаете] не на себя *(лат.)*.

доведется ступить. Но мы радуемся этой земле больше тех, кто туда проникнет. Когда спускаешься в равнину, то теряешь из виду необъятные просторы и далекий горизонт.

Эмманюэль и Жорж испытывали в присутствии Кристофа покой, который он, в свою очередь, черпал в любви Грации. Этой любви он был обязан ощущением своей связи со всем молодым и неослабевающим интересом ко всем проявлениям новой жизни. Каковы бы ни были силы, обновляющие землю, он всегда был за них, даже если они ополчались против него. Он нисколько не боялся близкого пришествия той демократии, против которой кучка привилегированных эгоистов испускала воинственные крики, он не цеплялся в отчаянии за скрижали устаревшего искусства; он с уверенностью ждал, что из сказочных видений, из осуществленных мечтаний науки и практики родится новое искусство, более могучее, чем прежнее; он приветствовал пришествие новой зари мира, если даже красота старого мира должна при этом погибнуть.

Грация знала о благотворном влиянии своей любви на Кристофа; ощущение своей силы поднимало ее, делало выше самой себя. В письмах она руководила своим другом. Разумеется, она не предъявляла нелепых претензий и не пыталась делать ему указаний в области искусства; она обладала для этого слишком большим тактом и знала пределы своих возможностей. Но ее верный и чистый голос был тем камертоном, на который настраивалась душа Кристофа. Достаточно было Кристофу представить себе, как этот голос повторяет его мысль, и она сразу становилась справедливой, чистой и достойной повторения. Звуки прекрасного инструмента для музыканта — то же, что прекрасное тело, в которое тотчас же воплощается его мечта. Таинственное слияние двух любящих душ; каждая из них берет лучшее у другой, но лишь с тем, чтобы вернуть взятое обогащенным своей любовью. Грация не боялась признаваться Кристофу, что любит его. Расстояние, а также уверенность, что она никогда уже не будет принадлежать ему, давали ей возможность говорить гораздо свободнее. Эта любовь, священный пламень которой передался Кристофу, была для него источником силы и покоя.

Грация давала окружающим гораздо больше этой силы и покоя, чем имела сама. Ее здоровье было надломлено, душевное равновесие подвергалось серьезному испытанию. Состояние здоровья сына не улучшалось. В течение двух лет она

жила в постоянном страхе, который еще усугубляла жестокость Лионелло, умевшего играть на ее чувствах. Он достиг подлинной виртуозности в искусстве подстегивать беспокойство тех, кто его любил; чтобы возбуждать к себе сострадание и мучить людей, его праздный ум изощрялся в выдумках,— это превратилось у него в настоящую манию. И весь трагизм заключался в том, что, в то время как он кривлялся, изображая болезнь, болезнь действительно настигла его, и возник призрак смерти. Тогда произошло то, что можно было предвидеть: Грация, которую ее сын в течение ряда лет терзал воображаемой болезнью, перестала ему верить, когда он заболел по-настоящему. Сочувствие имеет границы. Она израсходовала все свое сострадание на ложь. А теперь, когда Лионелло говорил правду, она думала, что он притворяется. Впоследствии, когда обнаружилась истина, остаток ее жизни был отравлен угрызениями совести.

Но злоба Лионелло не была укрощена. Он не любил никого и не мог вынести, чтобы кто-нибудь из окружающих любил кого-либо, кроме него; ревность была его единственной страстью. Он не удовлетворился тем, что ему удалось разлучить мать с Кристофом; он хотел заставить ее порвать их давнишнюю дружбу. Он уже использовал свое обычное оружие — болезнь — и вынудил Грацию поклясться, что она никогда больше не выйдет замуж. И этого обещания ему было мало. Он потребовал, чтобы мать перестала писать Кристофу. На сей раз Грация возмутилась; и это злоупотребление властью привело к тому, что она освободилась от нее; она сказала сыну много суровых и жестоких слов о его лживости, а впоследствии упрекала себя за это, как за преступление. Ее слова вызвали у Лионелло припадок такого бешенства, что он действительно заболел, и это было тем более серьезно, что мать отказывалась ему верить. Тогда он, в своей ярости, захотел умереть, чтобы отомстить ей. Он не подозревал, что его желание осуществится.

Когда врач дал понять Грации, что ее сын обречен, она окаменела, ее словно громом поразило. Приходилось, однако, скрывать свое отчаяние, чтобы обмануть ребенка, который так часто обманывал ее. Он же, догадываясь, что на этот раз болен серьезно, не желал этому верить, и глаза его искали в глазах матери того самого упрека во лжи, который приводил его в ярость, когда он действительно лгал. Пришел час, когда больше не оставалось сомнений. Это было невыносимо для него и для его близких: он не хотел умирать.

Когда он наконец уснул навеки, Грация не издала ни одного крика, у нее не вырвалось ни единой жалобы. Она поразила

родных своим спокойствием; у нее больше не было сил страдать. Она хотела лишь одного — уснуть тоже. Между тем она продолжала заниматься обычными, повседневными делами, внешне сохраняя полное спокойствие. Несколько недель спустя улыбка снова появилась на ее губах, но она стала еще молчаливее. Никто не подозревал об ее отчаянии. А Кристоф меньше, чем кто бы то ни было. Она ограничилась тем, что сообщила ему о случившемся, не говоря ничего о себе самой. На письма Кристофа, преисполненные любви и беспокойства, она не отвечала. Он хотел приехать; Грация просила его не делать этого. Месяца через два-три она снова стала писать ему, как прежде, в том же спокойном и ровном тоне. Ей казалось преступным взваливать на него груз своих скорбей. Она знала, с какой силой откликался Кристоф на все ее чувства и как он нуждался в ее опоре. Ее сдержанность не была болезненным принуждением, а дисциплиной, которая спасала ее. Она устала от жизни, и только любовь Кристофа и фатализм, который, как в скорби, так и в радости, составлял основу ее итальянской натуры, удерживал ее в жизни. В этом фатализме разум отсутствовал, то был инстинкт животного, который заставляет двигаться изнемогающего зверя; он двигается, не чувствуя усталости, словно во сне, с неподвижным взглядом, не замечая ни дорожных камней, ни своего измученного тела до тех пор, пока не свалится. Фатализм поддерживал ее тело. Любовь поддерживала ее сердце. Теперь, когда ее жизнь была кончена, она жила Кристофом. Тем не менее она больше, чем когда-либо, избегала выражать в своих письмах любовь к нему. Вероятно, потому, что эта любовь стала сильнее, но также и потому, что над ней тяготело veto [1] маленького покойника, который считал это чувство преступлением. Порой она умолкала, заставляя себя некоторое время не писать Кристофу.

Кристоф не понимал причин этого молчания. Иногда он улавливал в ровном и спокойном тоне письма новые неожиданные интонации, трепет страсти. Его глубоко волновало это, но он не смел ничего сказать, едва осмеливался замечать их; он походил на человека, который боится дышать, чтобы не спугнуть видение. Он знал, что почти неизбежно в следующем письме эти интонации будут искуплены нарочитой холодностью... А потом снова затишье, Meeresstille [2].

---

[1] Запрет *(лат.)*.

[2] Штиль на море *(нем.)*.

Как-то днем Жорж и Эмманюэль сидели у Кристофа. Оба были целиком поглощены своими заботами: Эмманюэль — литературной грызней, а Жорж — неудачным спортивным состязанием. Кристоф добродушно слушал и дружески подсмеивался над ними. Раздался звонок. Жорж пошел отворить. Слуга Колетты принес письмо. Кристоф направился к окну и стал читать его. Оба друга продолжали свой спор; они не видели лица Кристофа, стоявшего к ним спиной. Он вышел из комнаты, но они не обратили на это внимания. А когда заметили его отсутствие, то не были этим удивлены. Он долго не возвращался, и Жорж постучал в дверь соседней комнаты. Ответа не последовало. Зная причуды своего старого друга, Жорж не стал настаивать. Через несколько минут Кристоф вернулся. Он казался очень спокойным, очень усталым, очень кротким. Он попросил извинения, что оставил их, и продолжал прерванную беседу. Стараясь утешить их, он говорил с ними об их неприятностях с таким участием, что им становилось легче на душе. Звук его голоса странно волновал Жоржа и Эмманюэля, хотя они и не понимали почему.

Вскоре они попрощались и ушли. По пути Жорж зашел к Колетте. Он застал ее в слезах. Увидев его, Колетта бросилась к нему и спросила:

— Ну, как перенес удар наш бедный друг? Это ужасно!

Жорж ничего не понимал. Колетта сказала ему, что она только что посылала к Кристофу слугу с сообщением о смерти Грации.

Она умерла, не успев даже проститься ни с кем. За последние несколько месяцев корни ее жизни настолько ослабли, что достаточно было легкого дуновения, чтобы подкосить ее. Накануне повторного заболевания, после которого ее не стало, она получила сердечное письмо от Кристофа. Это письмо тронуло Грацию. Она хотела позвать Кристофа к себе, она понимала теперь, что все остальное, все, что разлучало их,— ложь и преступление, но она чувствовала себя слишком усталой и решила ответить ему завтра. На следующий день она слегла. Грация начала письмо, но не могла его закончить; у нее было обморочное состояние, кружилась голова; к тому же она не решалась сообщить другу о своей болезни, боясь встревожить его. Он в это время был занят репетициями симфонического хорала, написанного на текст поэмы Эмманюэля. Сюжет увлек их обоих: он как бы являлся символом их судьбы. Поэма называлась «Обетованная земля». Кристоф часто писал о ней Грации. Премьера должна была состояться на следующей неделе.

Нет, нельзя его тревожить. Грация лишь вскользь упомянула о том, что слегка простужена. Затем, решив, что и это ни к чему, разорвала письмо, и у нее уже не было сил писать другое. Она собиралась написать вечером. Но вечером было уже поздно. Слишком поздно, чтобы вызвать его. Слишком поздно, чтобы писать... Как быстро все свершается в жизни! Достаточно нескольких часов, чтобы разрушить то, что созидалось веками... Грация едва успела дать дочери перстень, который носила на пальце, и попросила передать его своему другу. До сих пор она была не очень близка с Авророй. Теперь, умирая, она впивалась страстным взглядом в лицо той, которая оставалась жить; она сжимала руку, которая передаст ее пожатие, и думала радостно:

«Я ухожу не совсем».

«Quid? hic inquam, quis est qui complet aures meas tantus et tam dulcis sonus!..»

*(«Сон Сципиона»)* [1]

Расставшись с Колеттой, Жорж в порыве сочувствия снова вернулся к Кристофу. Из-за нескромной болтовни кузины Жорж уже давно знал, какое место занимала Грация в сердце старого друга, и даже (молодежь не слишком почтительна) иногда подтрунивал над этим. Но сейчас он так живо представил себе, в какую скорбь должна была повергнуть Кристофа эта потеря; и у него возникла потребность побежать к нему, обнять его, выразить ему соболезнование. Жорж знал неистовую натуру Кристофа,— спокойствие, проявленное им недавно, встревожило его. Он позвонил. Молчание. Он позвонил еще раз и постучал условным стуком. Он услышал шум отодвигаемого кресла, и медленные, тяжелые шаги стали приближаться к двери. Кристоф отпер. Его лицо было так спокойно, что Жорж, готовый броситься в его объятья, остановился; он не знал, что сказать. Кристоф тихо спросил:

— Это ты, мой мальчик? Ты забыл что-нибудь?

Жорж смущенно пробормотал:

— Да.

— Входи.

Кристоф снова опустился в кресло подле окна, где сидел до прихода Жоржа; опираясь головой о спинку, он смотрел на крыши домов и на багровый закат. Он не обращал внимания на Жоржа. Молодой человек, делая вид, будто ищет что-то на столе, украдкой поглядывал на Кристофа. Его лицо было невозмутимо; отблески заходящего солнца освещали лоб и щеку Кристофа. Жорж машинально прошел в соседнюю комнату,

[1] «Что это? — говорю я.— Что за звуки, столь могучие и сладостные, наполняют мой слух?» *(лат.).— Цицерон, «Сон Сципиона».*

спальню, как бы продолжая свои поиски. Здесь Кристоф перед его приходом заперся было с письмом. Оно лежало еще на покрывале постели, хранившей отпечаток человеческого тела. Внизу, на ковре, валялась открытая книга. Страница была смята. Жорж поднял книгу и прочитал: это было Евангелие, встреча Марии Магдалины с садовником.

Чтобы овладеть собой, он вернулся в первую комнату, переставил что-то на столе вправо, влево и снова взглянул на Кристофа, который не шелохнулся. Жорж хотел сказать Кристофу, как он ему сочувствует. Но Кристоф весь словно светился, и Жорж понял: всякие слова были бы неуместны. Скорее сам Жорж нуждался в утешениях. Он только робко произнес:

— Я ухожу.

Кристоф, не поворачивая головы, сказал:

— До свидания, мой мальчик.

Жорж ушел, неслышно затворив за собой дверь.

Кристоф долго оставался в том же положении. Настала ночь. Он совсем не страдал, ни над чем не размышлял, перед ним не возникало ни одного отчетливого образа. Он походил на очень усталого человека, который слушает далекую музыку, не пытаясь ее понять. Была уже глубокая ночь, когда он, разбитый, поднялся с кресла, ничком бросился на кровать и забылся тяжелым сном. Симфония продолжала звучать...

И он ее увидел, свою возлюбленную... Она протягивала ему руки и, улыбаясь, говорила:

«Теперь ты уже вышел из огненного круга».

И сердце его оттаяло. Невыразимая тишина наполняла звездные просторы, где спокойной и глубокой рекой струилась небесная музыка.

Когда он проснулся, было уже светло; ощущение странного счастья еще наполняло его, и он слышал еще далекий отзвук слов. Он встал с постели. Безмолвный и священный восторг охватил его.

...Or vedi, figlio,
tra Beatrice e te è questo muro [1].

Стена между ним и Беатриче рухнула.

Уже давно бóльшая половина его души находилась по ту сторону стены. По мере того как живешь, творишь, любишь и

---

[1] «...Сын, ведь это
Стена меж Беатриче и тобой» *(итал.).— Данте, «Божественная комедия», «Чистилище», песнь XXVII.*

теряешь любимых людей, все больше ускользаешь от смерти. После каждого нового удара, поразившего тебя, после каждого нового произведения, рожденного тобою, все дальше уходишь от самого себя, укрываясь в творении, созданном тобою, в душе, которую ты любил и которая покинула тебя. В конце концов Рим уже оказывается вне Рима; лучшая часть тебя уже вне тебя... Одна только Грация еще удерживала его по эту сторону стены. И вот она тоже... Теперь он уже недоступен для мира скорби.

Кристоф переживал период скрытой экзальтации. Он не ощущал уже тяжести вериг. Он ничего уже не ждал. Ни от чего больше не зависел. Он был свободен. Борьба окончилась. Выйдя из зоны сражений, из круга, где царил бог героических схваток, Dominus Deus Sabaoth [1], он смотрел, как во мраке под его ногами угасает пламя Неопалимой купины. Как она уже далека! Когда она озарила его путь, Кристофу казалось, что он почти достиг вершины. Но какой огромный путь он прошел с той поры! И все-таки до вершины еще далеко. Он никогда не достигнет ее (теперь он это понимал), даже если бы ему пришлось шагать целую вечность. Но когда входишь в круг света и знаешь, что не оставил позади любимых и близких, то и вечность кажется мигом, если идешь рядом с ними.

Он не принимал никого. Никто его не навещал. Жорж сразу израсходовал все сострадание, на которое только был способен: вернувшись домой, он успокоился и на другой день уже не думал больше о Кристофе. Колетта уехала в Рим. Эммануэль ничего не знал и с присущей ему обидчивостью сердился и молчал из-за того, что Кристоф не отдал ему визита. Ничто не нарушало немой беседы, которую Кристоф вел в течение многих дней с той, кого он нес теперь в своей душе, подобно тому как беременная женщина несет свой драгоценный груз. Это были волнующие беседы, которые нельзя передать никакими словами. Даже музыка с трудом могла рассказать о них. Когда сердце было переполнено, переполнено до краев, Кристоф неподвижно, закрыв глаза, слушал, как оно пело. Или, часами сидя за роялем, предоставлял говорить своим скользящим по клавишам пальцам. В течение этого времени он импровизировал больше, чем когда-либо в жизни. Но не записывал своих мыслей. К чему?

---

[1] Господь бог Саваоф *(лат.)*.

Когда через несколько недель он снова начал выходить и встречаться с людьми, причем никто из его друзей, кроме Жоржа, даже не подозревал о том, что произошло, дух импровизации еще некоторое время владел им. Он посещал Кристофа в часы, когда тот меньше всего ожидал его. Однажды вечером у Колетты Кристоф сел за рояль и играл около часа, целиком отдавшись музыке, забыв, что в гостиной полно равнодушных людей. Но они отнюдь не испытывали желания смеяться. Эти бурные импровизации покоряли и потрясали их. Даже у тех, кто не понимал их смысла, сжималось сердце; а Колетта прослезилась. Кончив играть, Кристоф внезапно обернулся и, увидя взволнованные лица, пожал плечами и рассмеялся.

Он дошел до той грани, когда скорбь становится силой, силой, которой вы распоряжаетесь по своему усмотрению. Не скорбь владела им, а он владел скорбью; она могла сколько угодно метаться и сотрясать прутья; он держал ее за решеткой.

К этому периоду относятся самые глубокие, самые лучшие произведения Кристофа — сцена из Евангелия, которую Жорж тотчас же узнал:

«Mulier, quid ploras?» — «Quia tulerunt Dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum».

Et cum haec dixisset, conversa est retrorsum, et vidit Jesum stantem: et non sciebat quia Jesus est; [1]

ряд трагических Lieder на текст испанских народных cantares [2], в том числе мрачная любовная погребальная песня, подобная зловещим вспышкам пламени:

Quisiera ser el sepulcro
Donde a ti te han de enterrar,
Para tenerte en mis brazos
Por toda la eternidad...

(Я хотел бы быть гробницей, где ты будешь почивать, чтоб века в своих объятьях я бы мог тебя держать...);

две симфонии, под названием «Остров покоя» и «Сон Сципиона», где глубже, чем в каких-либо других произведениях Жан-

---

[1] «Жена, что плачешь?» — «Как же, ведь господа моего унесли, и я не знаю, где положили его». Сказавши это, она обернулась и увидела Иисуса, стоящего за ее спиной, но не узнала, что это Иисус *(лат.)*.

[2] Песен *(исп.)*.

Кристофа Крафта, выражаются и сочетаются лучшие стороны музыкального творчества его времени: нежная и мудрая, вся в тенистых излучинах, мысль Германии, страстная мелодичность Италии, живой ум Франции, богатый тонкими ритмами и гармоническими оттенками.

Этот «восторг, порожденный отчаянием в минуту великой утраты», длился один-два месяца, потом Кристоф снова обрел свое место в жизни, вступил в нее уверенной поступью, сильный духом. Дуновение смерти развеяло последние туманы пессимизма, сумрак стоической души и фантасмагории мистической светотени. Радуга, сияя, взметнулась меж уходящих туч. Око неба, чистое, словно омытое слезами, улыбалось сквозь облака. То был тихий вечер в горах.

Пожар, назревавший в лесу Европы, начал разгораться. Тщетно пытались его погасить в одном месте,— он тотчас вспыхивал в другом; в клубах дыма и дожде искр он перекидывался с места на место, охватывая пламенем сухой кустарник. Уже на Востоке происходили авангардные бои — предвестники великой войны народов. Вся Европа, еще накануне скептически настроенная и равнодушная, подобная мертвому лесу, стала добычей огня. Жажда битв овладела умами людей. В любую минуту могла разразиться война. Ее тушили, она снова вспыхивала. Самый ничтожный предлог являлся пищей для нее. Мир чувствовал себя во власти случая, который может привести к всеобщей схватке. Мир ждал. Даже самых миролюбивых не покидала мысль о неизбежности войны. А идеологи ее, скрываясь за широкой спиной циклопа Прудона, прославляли ее как... благороднейшее из деяний человеческих.

Так вот к чему должно было привести физическое и моральное возрождение рас Запада! К этой кровавой бойне устремляли народы порывы страстной веры и бурной деятельности. Только наполеоновский гений мог бы направить это слепое течение к определенной и ясной цели. Но такого гения действия не было нигде во всей Европе. Казалось, что народы избрали себе в руководители самых ограниченных людей. Разум потерял свою власть. Оставалось только отдаться на волю течения. Так поступали и правители и народы. Европа походила на громадный военный лагерь накануне сражения.

Кристоф вспомнил такое же тревожное ожидание; тогда рядом с ним было озабоченное лицо Оливье. В ту пору призрак войны оказался лишь грозовой тучей, которая пронеслась мимо. Теперь она нависла над всей Европой. Но и в сердце Кристофа тоже произошла перемена. Он не мог больше принимать

участия в этой ненависти народов. Он пребывал в таком же душевном состоянии, как Гете в 1813 году. Разве можно сражаться, не чувствуя ненависти? Разве можно ненавидеть, не будучи молодым? Ненависть — это уже пройденный этап. Какой же из этих великих народов-соперников менее дорог ему? Он научился отдавать должное каждому из них, он знал, чем им обязан мир. Когда человек достигает известного предела, «для него не существует больше различия наций, и он ощущает счастье или горе соседних народов как свое собственное». Грозовые тучи лежат у его ног. А вокруг только небо — «необъятное небо, где парят орлы».

И все-таки иногда Кристофа беспокоила неприязнь окружающих. В Париже ему слишком давали почувствовать, что он принадлежит к враждебному народу; даже его любимец Жорж не отказал себе в удовольствии и выложил ему свое отношение к Германии, которое очень огорчило Кристофа. Тогда он решил удалиться; предлогом было желание повидаться с дочерью Грации; на некоторое время он уехал в Рим. Но и там обстановка была не спокойнее. Страшная чума национальной гордыни распространилась и здесь. Она преобразила характер итальянцев. Равнодушные и беспечные люди, которых Кристоф знал прежде, теперь мечтали только о военной славе, о сражениях, о победах, о римских орлах, парящих над песками Ливии; им казалось, что близятся времена императорского Рима. Забавнее всего, что самые противоположные партии — социалисты и клерикалы, точно так же как и монархисты, искренним образом разделяли это безумие, не допуская мысли, что они изменяют своему делу. Из этого видно, как ничтожна роль политики и человеческого разума, когда грозные эпидемические страсти охватывают народы. Им, этим страстям, даже не приходится вытеснять личные пристрастия: они пользуются ими; все устремляется к одной цели. В эпохи активного действия всегда было так. В армии Генриха IV, как и в Совете при Людовике XIV, создавшем величие Франции, насчитывалось столько же разумных и убежденных людей, сколько и тщеславных, корыстных, пошлых эпикурейцев. Янсенисты и вольнодумцы, пуритане и прожигатели жизни, угождая своим инстинктам, все служили одному и тому же делу. В предстоящих войнах, несомненно, будут сражаться рядом интернационалисты и пацифисты, убежденные, как и их предки времен Конвента, что они воюют во имя блага народа и торжества мира!

Насмешливо улыбаясь, Кристоф смотрел с террасы Яникульского холма на пестрый и в то же время гармоничный

город — символ вселенной, над которой он господствовал: обгорелые развалины, фасады в стиле барокко, современные сооружения, кипарисы, сплетающиеся с розами,— все века, все стили, слившиеся в мощном и стройном единстве под светочем разума. Так разум должен излучать порядок и свет на охваченную борьбой вселенную.

Кристоф недолго пробыл в Риме. Древний город производил на него слишком сильное впечатление. Он боялся его. Чтобы лучше проникнуться этой гармонией, он должен был слушать ее издалека; он чувствовал, что если задержится, то этот город засосет его, как засасывал многих людей его расы. Время от времени он наезжал в Германию. Но в конечном счете и несмотря на неизбежность франко-немецкого конфликта, его всегда больше привлекал Париж. Ведь там живет Жорж, его приемный сын. Но не одно только чувство руководило Кристофом. Были и другие, не менее веские, соображения чисто интеллектуального порядка, влиявшие на него. Художнику, который привык жить полной духовной жизнью и горячо откликаться на все страсти, волнующие великую семью народов, трудно было снова привыкнуть к жизни в Германии. И там встречалось немало художников. Но им не хватало воздуха. Они были оторваны от своего народа. Народ не интересовался ими, иные заботы, бытовые или социальные, поглощали общественную мысль. Поэты, полные презрения и раздражения, замыкались в своем искусстве, которым пренебрегал народ; из гордости они порывали последние нити, связывавшие их с жизнью масс, и писали только для избранных. Они превратились в кучку вырождающихся аристократов, талантливых, утонченных, но бесплодных, которая, в свою очередь, дробилась на соперничающие между собою кружки пошлых жрецов искусства; они задыхались в своем тесном загоне и, не имея сил расширить его, с остервенением рыли в глубину, копая и перекапывая землю, пока она совсем не истощилась. Тогда они предались своим анархическим мечтам, даже не потрудившись согласовать их между собою. Каждый топтался на месте в тумане. У них не было общего светильника. Каждый должен был черпать свет в самом себе.

Там же, по другую сторону Рейна, у западных соседей, наоборот, над искусством то и дело проносились мощные ветры коллективных страстей и народных бурь. И, возвышаясь над равниной, точно Эйфелева башня над Парижем, светил вдали неугасимый светильник классической традиции, завоеванной веками трудов и славы, передаваемой из рук в руки, и эта

традиция, не порабощая и не подавляя ум, указывала ему путь, проторенный веками, и объединяла весь народ под своим светочем. Многие немцы, словно заблудшие во мраке птицы, неслись к этому далекому маяку. Но разве во Франции подозревают о той глубокой симпатии, которая привлекает к ней столько благородных сердец соседнего народа, о множестве честных рук, протянутых к ней, которые не повинны в преступной политике... И вы, немецкие братья, вы тоже не видите и не слышите нас. Мы говорим вам: «Вот наши руки. Наперекор лжи и ненависти нас никогда не разлучат. Мы нуждаемся в вас, а вы нуждаетесь в нас, чтобы поддерживать величие нашей мысли и наших народов. Мы два крыла Запада. Кто подбивает одно, нарушает полет другого. Пусть грянет война! Она не разомкнет пожатия наших рук, не остановит взлета нашего братского гения».

Так думал Кристоф. Он сознавал, в какой мере оба народа дополняют друг друга, как их ум, их искусство, их деятельность станут немощны и хромы без взаимной поддержки. Он, уроженец Рейнской области, где сливаются в единый поток обе цивилизации, с детства ощущал необходимость этого союза. В течение всей жизни усилия его гения были бессознательно направлены на то, чтобы поддержать равновесие этих двух могучих крыльев. Чем богаче была его германская фантазия, тем сильнее нуждался он в ясной четкости латинского разума. Вот почему Франция была ему так дорога. Он вкусил здесь радость самопознания и научился обуздывать себя. Только здесь он был по-настоящему самим собой.

Он примирился с теми, кто пытался ему вредить. Он усваивал чуждую ему энергию, сочетая ее со своей. Мощный, здоровый дух поглощает все силы, даже враждебные ему, и претворяет их в свою плоть. А со временем наступает пора, когда человека больше всего привлекает то, что меньше всего похоже на него, ибо это дает ему более обильную пищу.

В сущности, Кристофу доставляли большее удовольствие произведения иных композиторов — его соперников, чем творчество его подражателей; ибо у него были и подражатели, которые, к великому отчаянию Кристофа, выдавали себя за его учеников. Славные ребята, преисполненные почтения к нему, трудолюбивые, достойные, наделенные всеми добродетелями. Кристоф дал бы много, чтобы полюбить их музыку, но (таков уж его удел!) не был на это способен: он считал ее ничтожной. В тысячу раз больше его прельщало творчество музыкантов, которые ему лично были неприятны и представляли в

искусстве враждебные направления... Что же из этого? Они, по крайней мере, живут! А жизнь сама по себе такая добродетель, что тот, кто лишен ее, если даже он наделен всеми прочими добродетелями, никогда не будет настоящим человеком, потому что он не совсем человек. Кристоф шутя заявлял, что он считает своими учениками только тех, кто борется против него. А когда какой-нибудь молодой композитор говорил ему о своем музыкальном призвании и, желая расположить в свою пользу, начинал превозносить его талант, Кристоф спрашивал:

— Значит, моя музыка удовлетворяет вас? Именно так вы намерены выражать вашу любовь или ненависть?

— Да, учитель.

— Тогда лучше молчите. Вам, видно, нечего сказать.

Это отвращение к покорным, к рожденным для повиновения, эта потребность воспринимать новые мысли влекли Кристофа главным образом в те круги, где придерживались взглядов, резко противоположных его собственным. Он имел друзей среди тех, для кого его искусство, его идеалистические взгляды, его моральные принципы были мертвой буквой; они попиному смотрели на жизнь, любовь, брак, семью, на все общественные взаимоотношения; впрочем, это были хорошие люди, но, казалось, что они принадлежат к эпохе других моральных воззрений: терзания и сомнения, на которые Кристоф убил часть жизни, были им непонятны. Тем лучше для них! Кристоф вовсе не собирался им это объяснять. Он не требовал, чтобы окружающие разделяли его убеждения, подкрепляя тем самым его собственные; в своих взглядах он и без того был уверен. Он требовал, чтобы его познакомили с другими воззрениями, заставили полюбить людей другой породы. Любить и познавать все больше. Наблюдать и учиться видеть. Теперь он не только допускал чуждый ему образ мыслей, против которого когда-то боролся, но даже радовался этому, ибо, по его мнению, это умножало богатство вселенной. Кристоф любил Жоржа особенно за то, что тот воспринимал жизнь не так трагически, как он сам. Человечество было бы слишком бедным, слишком серым, если бы оно рядилось в однообразную форму суровой морали и героического долга, которыми вооружился Кристоф. Человечеству необходима радость, беззаботность, дерзкая непочтительность ко всякого рода кумирам, даже самым священным. Да здравствует «галльское остроумие, оживляющее землю»! Скептицизм и вера равно необходимы. Скептицизм, подтачивая вчерашнюю веру, освобождает место для завтрашней веры. Все

проясняется для человека, по мере того как он удаляется от жизни: точно так же на прекрасной картине, если смотреть издалека, сливаются в чудесной гармонии различные краски, которые вблизи режут глаз.

Глаза Кристофа открылись на бесконечное разнообразие как материального, так и морального мира. Это была одна из его главных побед после первого путешествия в Италию. В Париже он подружился преимущественно с художниками и скульпторами; он считал, что они лучше всего выражают французский гений. С какой победоносной дерзостью они схватывают и запечатлевают мимолетное движение и едва уловимые краски! Они срывают покровы, окутывающие жизнь, заставляя сердце трепетать от восторга. Какие неисчерпаемые богатства таятся в капельке света, в мгновении жизни для того, кто умеет видеть. Разве можно сравнить с этими высшими наслаждениями ума суетный шум споров и грохот войн! Но эти споры и даже самые войны тоже являются частью великолепного зрелища. Нужно все охватить и мужественно, радостно бросить в пылающее горнило своего сердца силы утверждающие и силы отрицающие, врагов и друзей, весь металл жизни. В конце концов в нас отливается статуя, божественный плод нашего духа, и все, что способствует ее украшению, прекрасно, даже если это стоит нам жертв. Разве важно, кто творец? Реально только творение... Враги, стремящиеся нам вредить, мы недосягаемы, мы неуязвимы для ваших ударов! Вы бьете впустую. Я давно уж не здесь!

Музыка Кристофа приобрела более спокойные формы. То были уже не весенние грозы, которые еще так недавно налетали, разражались и внезапно утихали. То были белые летние облака, снежные и золотые горы, огромные лучезарные птицы, медленно парящие в вышине и застилающие небо... Творчество. Нивы, зреющие под спокойным августовским солнцем...

Сперва смутное и глубокое оцепенение, тайная радость набухших виноградных кистей, тучного колоса, беременной женщины, несущей в себе свой зрелый плод. Гудение органа, жужжание пчел в глубине улья... Из этой тревожной музыки, отливающей золотом, подобно сотам осеннего меда, постепенно выделяется ведущий ритм, вырисовывается хоровод планет, они начинают вращаться.

Тогда вступает воля. Она вскакивает на спину проносящейся с ржанием мечты и сжимает ее бока коленями. Ум постигает законы увлекающего его ритма; он укрощает мятежные силы, указывая им путь и цель, к которой стремится. Возникает симфония разума и инстинкта. Мрак проясняется. Вдоль уходящей длинной лентой дороги светятся в определенных точках огоньки маяков, которые, в свою очередь, станут в создаваемом творении зародышами маленьких планетных миров, прикованных к центру их солнечной системы.

Основные контуры картины уже ясны. Теперь она вся целиком выступает из смутного рассвета. Все четче вырисовывается гармония красок, силуэты фигур. Чтобы довести произведение до конца, напрягаются силы всего существа. Курильница памяти открыта и издает благоухание. Разум дает волю чувствам и умолкает, предоставляя им безумствовать; но, притаившись рядом, он подстерегает их, выслеживая свою добычу.

Все готово; группа строителей из материалов, похищенных у чувств, возводит здание, начерченное духом. Великому архитектору нужны искусные рабочие, знающие свое ремесло и не щадящие сил. Постройка собора подходит к концу.

«И взглянул Господь на дело рук своих. И увидел, что оно еще несовершенно».

Взор мастера охватывает весь ансамбль в целом, и рука его завершает гармонию...

Мечта осуществлена. Te deum... [1]

Белые летние облака — огромные лучезарные птицы — медленно парят в вышине, и их распростертые крылья застилают все небо.

И все-таки Кристоф еще был далек от того, чтобы ограничить свою жизнь одним искусством. Такого рода люди не могут обойтись без любви; и не только без той ровной любви, которую душа художника изливает на все сущее; нет, ему необходимо кого-нибудь выделить, необходимо отдаться избранным им существам. Это — корни дерева. Благодаря им обновляется кровь его сердца.

Кровь Кристофа еще далеко не иссякла. Ее питала любовь, которая была его самой большой радостью. Двойная любовь — к дочери Грации и к сыну Оливье. Он сочетал их в своих мыслях. Он мечтал соединить их в жизни.

---

[1] Тебе, бога [хвалим] *(лат.)*.

Жорж и Аврора встретились у Колетты. Аврора жила в доме своей родственницы. Часть года она проводила в Риме, остальное время в Париже. Ей было восемнадцать лет, Жоржу на пять лет больше. Высокая, стройная, изящная, с маленькой белокурой головкой, широким смуглым лицом, легким пушком над губой, светлыми, всегда смеющимися глазами, которые не слишком утруждали себя размышлениями, несколько тяжелым подбородком, прекрасными, полными и сильными загорелыми руками и высокой грудью, она производила впечатление веселой, крепкой и гордой девушки. Не очень развитая умственно, не слишком сентиментальная, она унаследовала от матери ее беспечную лень. Она могла спать беспробудно по одиннадцати часов в сутки. Остальное время она слонялась полусонная и беззаботно смеялась. Кристоф называл ее Dornröschen — спящей красавицей. Она напоминала ему маленькую Сабину. Она напевала, ложась спать, она пела, просыпаясь, и смеялась без всякой причины, милым детским смехом, порою захлебываясь от хохота. Неизвестно, чем она занималась по целым дням. Все усилия Колетты придать ей тот искусственный внешний лоск, который так легко, подобно лаку, пристает к молодым девушкам, были тщетны: лак не держался. Она ничего не усваивала; тратила месяцы на то, чтобы прочитать книгу, даже самую интересную, и неделю спустя уже не помнила ни ее заголовка, ни содержания. Она, нисколько не смущаясь, делала орфографические ошибки и, говоря о серьезных вещах, совершала презабавные промахи. Она действовала освежающе своей молодостью, жизнерадостностью, даже своими недостатками, отсутствием умственных интересов, легкомыслием, которое порой граничило с равнодушием, и своим наивным эгоизмом. Она всегда была такая искренняя, непосредственная. Но при всем том эта простодушная и ленивая девушка умела по временам быть наивно кокетливой; тогда она ловила на удочку зеленых юнцов: рисовала с натуры, играла ноктюрны Шопена, рассуждала о стихах, которых никогда не читала, вела романтические беседы и носила не менее романтические шляпы.

Кристоф, наблюдая за ней, посмеивался исподтишка. Он питал к Авроре отцовскую нежность, снисходительную и насмешливую. Но он ощущал к ней также тайную и благоговейную любовь, обращенную к той, кого он любил когда-то и которая снова предстала перед ним в оболочке юности, чтобы стать любовью другого, а не его. Никто не знал глубины его

чувства. Только одна Аврора догадывалась об этом. С самого детства она привыкла видеть Кристофа подле себя; она считала его как бы членом семьи. В ту пору, страдая от ревности из-за того, что ее любят меньше, чем брата, она инстинктивно тянулась к Кристофу. Она угадывала его переживания, близкие и понятные ей, а он видел ее огорчения, и, никогда не жалуясь, они молча утешали друг друга. Впоследствии она узнала о любви ее матери и Кристофа; и ей казалось, что она посвящена в тайну, хотя они никогда не делали ее своей поверенной. Она понимала смысл поручения, данного ей умирающей Грацией, и перстня, который носил теперь Кристоф. Таким образом, между ними существовали тайные узы. Ей не требовалось яснее разобраться в этом, чтобы ощутить их во всей сложности. Она была искренне привязана к своему старому другу, хотя никогда не могла сделать над собой усилие, чтобы сыграть или прочитать какое-нибудь из его произведений. Она была довольно хорошей пианисткой, но даже не полюбопытствовала разрезать страницы посвященной ей Кристофом партитуры. Ей нравилось приходить к нему и запросто беседовать.

Она стала приходить чаще, когда узнала, что может встретить здесь Жоржа Жанена.

И Жорж, со своей стороны, никогда прежде не проявлял такого интереса к обществу Кристофа.

Между тем молодые люди очень долго не подозревали о своих подлинных чувствах. Сначала они насмешливо посматривали друг на друга. Они были такие разные. Один — ртуть, а другая — стоячая вода. Но довольно скоро ртуть стала казаться более спокойной, а стоячая вода начала оживать. Жорж критиковал манеру одеваться Авроры, ее итальянский вкус, неумение сочетать тона и некоторое пристрастие к ярким цветам. Аврора любила бесить Жоржа, смешно передразнивая его несколько вычурную и торопливую манеру говорить, и так, насмехаясь друг над другом, каждый из них получал удовольствие... то ли от шуток, то ли от бесед. Они даже втягивали в спор Кристофа, который, не противореча им, из лукавства перебрасывал маленькие стрелы от одного к другому. Делая вид, что насмешки ничуть их не задевают, они вскоре обнаружили, что относятся к ним отнюдь не безразлично; и, не будучи в состоянии скрыть свою досаду, они, особенно Жорж, при первой же встрече вступали в оживленную перепалку. Уколы были легкие; они боялись причинить боль, а рука, наносившая их, была так дорога, что им доставляло больше удо-

вольствия получать удары, чем наносить их. Они внимательно наблюдали друг за другом, стремясь обнаружить недостатки, но находили одни только достоинства. Однако ни один не желал в этом сознаться. Каждый из них, наедине с Кристофом, уверял, что не выносит другого. И тем не менее они пользовались любым поводом, чтобы встречаться.

Однажды, когда Аврора, сидя у своего старого друга, пообещала ему, что придет в ближайшее воскресенье утром, Жорж, по своему обыкновению ворвавшийся вихрем, сказал Кристофу, что навестит его в воскресенье днем. В воскресенье утром Кристоф тщетно прождал Аврору. В час, назначенный Жоржем, она явилась, ссылаясь на то, что ей помешали и она не могла прийти раньше. Она даже сочинила по этому поводу маленькую историю. Кристоф, которого забавляла эта наивная ложь, сказал:

— Жаль. Ты застала бы здесь Жоржа; он приходил, мы завтракали вместе. Он занят и не может быть днем.

Аврора, расстроенная, не слушала больше Кристофа. А он, как назло, был в отличном настроении и говорил без умолку. Она рассеянно отвечала и чуть ли не дулась на него. Раздался звонок. Пришел Жорж. Аврора была поражена. Кристоф, улыбаясь, подмигнул. Она поняла, что он подшутил над ней, рассмеялась и покраснела. Он лукаво погрозил ей пальцем. Вдруг она порывисто бросилась к нему и обняла его. Кристоф прошептал ей на ухо:

— Birichina, ladroncella, furbetta...[1]

Она зажала ему рот рукой, чтобы заставить замолчать.

Жорж не понимал, чем вызваны этот смех и объятия. Его изумленный и даже несколько возмущенный вид только усиливал веселье Кристофа и Авроры.

Так Кристоф содействовал сближению детей. А когда это ему удалось, он почти упрекал себя. Любя их обоих одинаково, он судил Жоржа более строго, зная его слабости, и идеализировал Аврору. Кристоф чувствовал бóльшую ответственность за ее счастье, чем за счастье Жоржа, ибо он считал Жоржа в какой-то мере своим сыном, частицей себя самого. Он спрашивал себя, уж не совершает ли он преступление, давая невинной Авроре такого, далеко не невинного, спутника.

Но как-то Кристоф случайно проходил мимо беседки, где сидели молодые люди (это было вскоре после их обручения),

---

[1] Плутовка, разбойница, шельма *(итал.)*.

и у него сжалось сердце, когда он услышал, что Аврора шутя расспрашивает Жоржа об одном из его любовных приключений, а Жорж охотно рассказывает ей об этом. Из других обрывков разговоров, которые они отнюдь не скрывали, Кристофу стало ясно, что Аврора гораздо снисходительнее относится к моральным воззрениям Жоржа, нежели сам Кристоф. Хотя они были сильно влюблены друг в друга, чувствовалось, что они совсем не считают себя связанными навеки; к вопросам любви и брака они относились свободно; в этом была известная красота, но она резко противоречила устаревшим взглядам на взаимную верность usque ad mortem[1]. И Кристоф смотрел на них с некоторой грустью... Как они уже далеко от него! Как быстро плывет лодка, уносящая наших детей! Терпение! Придет день, когда все окажутся в одной гавани.

А пока лодка, нисколько не заботясь о курсе, носилась по воле ветров. Было бы совершенно естественно, если бы этот дух свободы, который стремился изменить нравы того времени, утвердился также и в других областях умственной жизни и практической деятельности. Но ничуть не бывало; человеческая природа не замечает противоречий. И в то самое время как нравы становились все свободнее, разум все более закрепощался, требуя, чтобы религия надела на него свой хомут. Эта двойственность, это движение в противоположных направлениях проявлялись с поражающим отсутствием логики в одних и тех же людях. Жоржа и Аврору увлекло новое католическое течение, захватившее часть светских людей и интеллигенции. Забавно было смотреть, как Жорж, бунтарь по природе, отъявленный безбожник, никогда не веривший ни в бога, ни в черта,— настоящий молодой галл, издевающийся над всем,— вдруг заявил, что истина в религии. Ему необходима была какая-нибудь истина; а эта совпадала с его потребностью в деятельности, с его атавизмом французского буржуа и с некоторой усталостью от свободы. Молодой жеребенок набегался вволю; ему было приятно самому впрячь себя в плуг своей расы. Несколько друзей подали пример — этого было достаточно. Жорж, весьма чувствительный к малейшему атмосферному давлению окружавших его идей, попался одним из первых. И Аврора последовала за ним, как пошла бы за ним куда угодно. Тотчас же у них появилась уверенность в своей правоте и презрение к тем, кто думает иначе, чем они. О, ирония! Эти легкомысленные дети стали истинно верующими, в то время как Грация и

[1] До самой смерти *(лат.)*.

Оливье, при всей их нравственной чистоте, серьезности, пламенном стремлении к идеалу, не могли обрести веру, несмотря на желание.

Кристоф с любопытством наблюдал эту духовную эволюцию. Он не пытался бороться с ней по примеру Эмманюэля, чье свободомыслие было возмущено возвращением старого врага. К чему бороться с мимолетным ветром? Надо подождать, пока он утихнет. Человеческий ум утомлен. Он совершил недавно гигантское усилие. Его клонило ко сну; и, подобно ребенку, уставшему после целого дня беготни, перед сном он произносит молитву. Врата фантазии снова распахнулись; вслед за религией над умственной жизнью Запада пронеслись теософические, мистические, эзотерические, оккультистские веяния. Даже философия не устояла. Боги мысли — Бергсон, Уильям Джемс — пошатнулись. В самой науке обнаружились симптомы умственного переутомления. Пусть это пройдет. Дадим передохнуть. Завтра ум проснется еще более деятельным, живым и свободным... После того как хорошо поработаешь, полезно поспать. У Кристофа никогда не хватало на это времени, но он был счастлив за своих детей, которые наслаждаются вместо него отдыхом, душевным покоем, твердой верой и непоколебимой уверенностью в осуществлении своей мечты. Он не хотел и не мог бы поменяться с ними. Но про себя он думал, что скорбь Грации и тревоги Оливье нашли умиротворение в их детях, и хорошо, что это так.

«Все, что выстрадал я, мои друзья и множество неведомых мне людей, живших до нас,— все для того, чтобы эти двое детей познали радость... Ту радость, для которой была создана ты, Антуанетта, и в которой тебе было отказано! Если бы несчастные могли заранее вкусить то счастье, что принесет когда-нибудь их самопожертвование!»

Зачем же пытаться оспаривать это счастье? Зачем желать, чтобы другие были счастливы на наш манер, пусть они будут счастливы по-своему. Он только смиренно просил, чтобы Жорж и Аврора не слишком презирали тех, кто, подобно ему, не разделяет их веры.

Но они даже не снисходили до споров с ним. Казалось, они говорили про себя:

«Ему этого не понять».

Кристоф был для них прошлым. И, ничуть не таясь, они не придавали прошлому большого значения. Им случалось иногда наивно обсуждать между собой, что они будут делать потом, когда Кристофа «уже не станет». И все-таки они очень

любили его. Эти ужасные дети, которые растут и оплетают нас, как лианы! Сила природы, спешащая прогнать нас.

«Уходи! Убирайся! Уступи место! Настал мой черед!..»

У Кристофа, который понимал их немой язык, возникало желание сказать им:

«Не торопитесь так. Мне хорошо здесь. Помните, что я еще жив».

Его забавляла их наивная дерзость.

Однажды, когда они особенно подавляли его своим высокомерием, он добродушно заявил:

— Скажите прямо, что я старый дурак.

— Да нет, мой друг,— сказала Аврора, смеясь от всего сердца.— Вы лучший из людей, но есть вещи, которых вы не понимаете.

— И которые понимаешь ты, девочка! Подумать только, какая премудрая особа!

— Не насмехайтесь надо мной. Я мало что знаю. Но зато Жорж знает все.

Кристоф улыбнулся:

— Да, ты права, маленькая. Тот, кого любишь, всегда все знает.

Но Кристофу было гораздо легче подчиняться их умственному превосходству, чем слушать их музыку. Они подвергали его тяжкому испытанию. Когда они приходили, рояль не знал ни минуты покоя. Казалось, что у них, как у птиц, любовь возбуждает желание петь. Но они были далеко не так искусны в этом, как птицы. Аврора не тешила себя иллюзиями насчет своего таланта; другое дело, когда речь шла о женихе. Она не видела никакой разницы между игрой Жоржа и Кристофа; возможно, она даже предпочитала исполнительскую манеру Жоржа. А тот, несмотря на свойственную ему иронию, готов был позволить убедить себя в этом в угоду своей возлюбленной. Кристоф не возражал: он не без лукавства поддакивал девушке и лишь изредка, выведенный из терпения, убегал к себе в комнату, громче, чем обычно, хлопнув дверью. С доброй и снисходительной улыбкой он слушал, как Жорж играет на рояле «Тристана». Бедный малый передавал эти бурные страсти с добросовестной старательностью и милой слащавостью молодой девушки, преисполненной лучших намерений. Кристоф смеялся про себя. Он не хотел объяснять молодому человеку причину своего смеха и молча обнимал его. Он очень любил его именно таким. Быть может, за это он даже любил его еще больше. Бедный мальчик! О, тщеславие искусства!

«Жан-Кристоф». Книга десятая.

Кристоф часто беседовал о «своих детях» (так он называл их) с Эмманюэлем, который любил Жоржа и шутя уговаривал Кристофа уступить ему юношу. Ведь у него есть Аврора. Это несправедливо, он захватил себе все сразу.

В парижском обществе об их дружбе чуть ли не сплетали легенды, хотя они держались особняком. Эмманюэль загорелся страстью к Кристофу. Из гордости он не хотел этого показывать, скрывая свое чувство под внешней резкостью, а зачастую даже грубостью. Но Кристофа нельзя было провести. Он знал, что Эмманюэль предан ему теперь всем сердцем, и очень ценил это. Не проходило и недели, чтобы они не виделись раза два-три. Когда Кристоф или Эмманюэль заболевали и сидели дома, они писали друг другу. Казалось, эти письма приходили из далеких краев. Внешние события интересовали их меньше, чем любые достижения ума в области науки и искусства. Они жили в мире своих идей, размышляли об искусстве или выискивали среди хаоса фактов крохотный, едва заметный проблеск, намечающийся в истории человеческой мысли.

Чаще всего Кристоф навещал Эмманюэля. Хотя после недавно перенесенной болезни он чувствовал себя ничуть не лучше своего друга, он привык считать, что к здоровью Эмманюэля следует относиться более бережно. Кристоф уже не без труда взбирался на шестой этаж к Эмманюэлю, и на лестнице ему приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Ни тот, ни другой не заботились о своем здоровье. Несмотря на больные бронхи и припадки удушья, оба были заядлыми курильщиками. Это одна из причин, из-за которой Кристоф предпочитал, чтобы их свидания происходили у Эмманюэля, а не у него, так как Аврора воевала с ним из-за его страсти к курению, а он прятался от нее. Случалось, что у обоих друзей во время беседы начинался приступ кашля; им приходилось прекращать разговор, и они, смеясь, поглядывали друг на друга, как провинившиеся школьники, а иной раз один из них читал наставление тому, кто кашлял; но как только приступ проходил, другой начинал горячо уверять, что дым здесь ни при чем.

На письменном столе Эмманюэля, свернувшись на свободном от рукописей пространстве, лежал серый кот, серьезно и с укоризной глядя на курильщиков. Кристоф говорил, что это их живая совесть, и, чтобы заглушить ее, надевал на кота свою шляпу. Это был самый простой тщедушный кот, которого Эмманюэль подобрал как-то на улице, едва живого от побоев; он так и не смог вполне оправиться от жестокого обращения, мало

ел, почти не резвился, двигался совершенно бесшумно и следил за хозяином кроткими, умными глазами; он тосковал, когда Эммануэля не было дома, блаженствовал, когда лежал на столе подле него, и отвлекался от своих размышлений лишь для того, чтобы целыми часами восторженно созерцать клетку, где порхали недосягаемые для него птицы; он вежливо мурлыкал при малейшем признаке внимания, терпеливо выносил капризные ласки Эммануэля и несколько грубоватые поглаживания Кристофа, стараясь не царапаться и не кусаться. Он был тощ, один глаз у него слезился; он фыркал, и если бы мог говорить, то, разумеется, у него не хватило бы дерзости утверждать, как это делали оба друга, будто «дым здесь ни при чем»; но от них он сносил все и, казалось, думал:

«Ведь они люди, они не знают, что делают».

Эммануэль привязался к нему, потому что находил сходство между судьбой этого больного животного и своей. Кристоф утверждал даже, что у них одинаковое выражение глаз.

— Почему бы и нет? — говорил Эммануэль.

Окружающая среда влияет на животных. Они становятся похожи на своих хозяев. У кота какого-нибудь глупца совсем иной взгляд, чем у кота, принадлежащего умному человеку. Домашнее животное может стать добрым или злым, искренним или скрытным, сообразительным или тупым, не только в зависимости от того, чему его учит хозяин, но и от того, каков сам хозяин. Для этого даже не обязательно влияние людей. Окружающая обстановка накладывает на зверя свой отпечаток. Созерцание разумного делает взгляд животных осмысленным. Серый кот Эммануэля гармонировал с больным хозяином и душной мансардой, которую озаряло парижское небо.

Эммануэль стал мягче. Он был уже иным, чем в пору первого знакомства с Кристофом. Семейная трагедия глубоко потрясла его. Его подруга, которой в минуту раздражения он слишком явно дал почувствовать, как тяготится ее любовью, внезапно исчезла. Он проискал ее всю ночь, охваченный мучительным беспокойством. Наконец он нашел ее в полицейском участке, где ее задержали. Она хотела броситься в Сену; какой-то прохожий схватил ее за платье в ту минуту, когда она уже перешагнула через перила моста. Она отказалась сообщить свой адрес и свою фамилию, она хотела снова повторить свою попытку. Зрелище этой скорби удручало Эммануэля; его мучила мысль, что, выстрадав так много из-за людей, он, в свою очередь, причиняет кому-то страдания. Он привел домой от-

чаявшуюся женщину и старался залечить рану, которую ей нанес, вернуть ревнивой и требовательной подруге уверенность в его любви. Он подавлял вспышки возмущения и безропотно покорился этой всепоглощающей страсти, посвятив ей остаток жизни. Вся его духовная энергия устремилась к сердцу. Этот апостол великих деяний пришел к заключению, что существует только одно доброе деяние: не причинять зла. Его роль была сыграна. Казалось, Сила, руководящая великими человеческими приливами и отливами, лишь воспользовалась им как орудием, чтобы разнуздать действие. Выполнив приказ, он превратился в ничто: действие развертывалось уже без него. Он наблюдал, как оно развивается, почти примирясь с несправедливостями по отношению к нему лично, но не мог покориться, когда речь шла о его вере. Хотя он был свободомыслящим, утверждал, что не признает никакой религии, и шутя называл Кристофа замаскированным клерикалом, у него был свой алтарь, как у всякого выдающегося ума, обожествляющего мечты, во имя которых он жертвует собой. Теперь алтарь опустел; и Эммануэль жестоко страдал. Разве можно видеть без боли, как новое поколение попирает ногами священные идеи, которые с таким трудом восторжествовали, ради которых лучшие люди в течение целого века перенесли столько страданий! С какой жестокой слепотой нынешняя молодежь уничтожает все славное наследие французского идеализма, веру в Свободу, имевшую своих святых, своих мучеников, своих героев, любовь к человечеству, благородное стремление к братству народов и рас! Какое безумие заставляет их сожалеть о чудовищах, которых мы сразили, снова надевать на шею сброшенное нами ярмо, призывать громкими криками царство Силы, разжигать ненависть и неистовство войны в сердце моей Франции!

— Не в одной только Франции, во всем мире,— насмешливо улыбаясь, возразил Кристоф.— Во всех странах от Испании до Китая бушует ураган. Нет больше уголка, где можно было бы укрыться от бури. Смотри, это просто забавно: даже моя Швейцария и та становится шовинистической!

— Тебя утешает это?

— Конечно. Из этого видно, что такого рода бури вызваны не пагубными страстями отдельных людей, а невидимым богом, руководящим вселенной. Перед этим богом я научился склонять голову. Если я его не понимаю, то в этом моя вина, а не его. Постарайся его понять. Но кто из вас задумывается над этим? Вы живете сегодняшним днем, не заглядывая дальше ближайшего дорожного столба, и воображаете, что он отмечает

конец пути; вы видите волну, уносящую вас, и не замечаете моря! Нынешняя волна — это вчерашняя волна, поток наших душ проложил ей дорогу. А нынешняя волна проложит тропу для завтрашней и, в свою очередь, будет предана забвению, как забыта наша. Я не в восторге от современного национализма, но и не боюсь его: он пройдет со временем, он исчезает, он уже исчез. Это — только одна из ступеней лестницы. Взбирайся на вершину! Это лишь передовой отряд наступающей армии. Слышишь, уже доносятся звуки флейт и барабанов!

(Кристоф стал барабанить по столу и разбудил кота; тот вскочил в испуге.)

...Каждый народ чувствует сегодня настоятельную потребность собрать свои силы и подвести итог, ибо наше столетие, благодаря взаимному обмену мыслями, благодаря огромному вкладу умов всего человечества, созидающих мораль, науку, новую веру, преобразило народы. Пусть каждый человек произведет смотр своей совести, чтобы знать, кто он и каково его достояние, прежде чем вместе с другими вступит в новый век. Приближается новая эра. Человечество собирается подписать новый договор с жизнью. Общество возродится на основе новых законов. Завтра воскресенье. Каждый подводит итог неделе, каждый убирает свое жилище и хочет навести в доме чистоту, прежде чем предстать вместе с другими перед ликом общего божества и заключить с ним новый договор.

Эммануэль смотрел на Кристофа, и в его глазах отражались мелькавшие перед ним видения. Когда Кристоф кончил, он некоторое время молчал, а затем произнес:

— Ты счастлив, Кристоф! Ты не видишь ночи.

— Я умею видеть в ночи,— сказал Кристоф.— Я достаточно долго прожил во мраке. Я старый филин.

Примерно к этому времени друзья стали замечать перемену в поведении Кристофа. Он часто бывал рассеян, как бы отсутствовал. Он не всегда слышал, когда к нему обращались. У него был сосредоточенный, счастливый вид. Когда шутили над его рассеянностью, он от всего сердца просил извинения. Иногда он говорил о себе в третьем лице:

— Крафт сделает это для вас...

или:

— Кристоф над этим здорово посмеется...

Те, кто плохо его знал, говорили:

— Какая самовлюбленность!

На самом деле было наоборот. Кристоф смотрел на себя как бы со стороны. Он дошел до такого состояния, когда даже перестает интересовать борьба за прекрасное, ибо каждый, кто выполнил свой долг, полагает, что другие поступят так же и в конце концов, как говорит Роден, «прекрасное все-таки восторжествует». Злоба людская и несправедливость не вызывали в нем больше возмущения. Он говорил себе, смеясь: «Это противоестественно, это значит, что жизнь во мне угасает».

И действительно, он уже не был так вынослив, как прежде. Малейшее физическое усилие, длинная прогулка или быстрая ходьба утомляли его. У него тотчас же начиналась одышка и боли в сердце. Иногда он вспоминал о своем старом друге Шульце. Он не говорил окружающим о своем нездоровье. К чему, не правда ли? Только причинишь им беспокойство, ведь этим не поможешь. Впрочем, он не придавал серьезного значения своему недомоганию. Гораздо больше, чем болезни, он боялся, что его заставят лечиться.

Под влиянием смутного предчувствия ему захотелось снова повидать родину. Он откладывал это намерение из года в год. Он говорил себе: «Вот в будущем году...» Но на этот раз он не стал откладывать.

Он уехал тайком, никого не предупредив. Путешествие получилось короткое. Кристоф не нашел ничего из того, что искал. Перемены, которые намечались во время его последнего пребывания, теперь уже были осуществлены: маленький городок превратился в большой промышленный центр. Старые дома были снесены. Исчезло кладбище. На месте фермы Сабины стоял завод и поднимались высокие трубы. Река окончательно затопила луга, где играл Кристоф в детстве. Одна улица (что за улица!), застроенная грязными лачугами, называлась его именем. Все прошлое умерло, даже сама смерть. Пусть будет так! Жизнь продолжается; быть может, другие маленькие Кристофы мечтают, страдают, борются в домишках этой улицы, носящей его имя.

На концерте в огромном Tonhalle [1] он услышал, как исполняли одно из его произведений, искажая и коверкая его мысль; он с трудом узнал себя. Пусть будет так! Плохо понятое, оно пробудит, быть может, к жизни новые силы. Мы посеяли семя. Делайте, что хотите; насыщайтесь нами! Гуляя в сумерки среди полей, окружающих город, над которыми стелился густой ту-

---

[1] Городском концертном зале *(нем.)*.

ман, он размышлял о густом тумане, что скоро окутает его жизнь, о любимых существах, исчезнувших с лица земли и нашедших пристанище в его сердце, которых скоро поглотит надвигающаяся тьма, как и его самого... Пусть будет так! Пусть будет так! Я не боюсь тебя, ночь, ибо ты вынашиваешь солнце! Вместо одной угасшей звезды загораются тысячи новых. Подобно чаше кипящего молока, бездонное пространство переполнено светом. Тебе не уничтожить меня. От дыхания смерти снова вспыхнет огонь моей жизни.

На обратном пути из Германии Кристофу захотелось побывать в городе, где он встретился с Анной. С той поры как он покинул ее, он ничего не знал о ней и даже не осмеливался справляться. В течение ряда лет одно ее имя вызывало в нем дрожь. Теперь он был спокоен, он ничего больше не боялся. Но вечером он сидел в номере гостиницы, откуда открывался вид на Рейн, и знакомая мелодия колоколов, оповещавших о завтрашнем празднике, воскресила в нем образы прошлого. От реки струился аромат далекой опасности, смутно доносившийся до него. Всю ночь он припоминал былое. Он чувствовал себя освобожденным от власти грозного Владыки, и это вызывало в нем сладостную печаль. Он так и не решил, что сделает завтра. На мгновение ему в голову пришла мысль (прошлое было так далеко!) пойти к Браунам. Но на следующий день у него не хватило мужества; он не рискнул даже спросить в гостинице, живы ли еще доктор и его жена. Он решил уехать.

Перед самым отъездом неудержимая сила толкнула его к храму, где молилась когда-то Анна; он стал за колонну, откуда мог видеть скамью, подле которой она обычно стояла на коленях. Он ждал, убежденный, что если она еще жива, то придет сюда.

И действительно, пришла женщина; он не узнал ее. Она была похожа на других: дородная, с полным лицом — равнодушным и жестким — и с двойным подбородком. На ней было черное платье. Она села на скамью и застыла. Казалось, она не молилась, ничего не слышала; она смотрела прямо перед собой. Ничто в этой женщине не напоминало той, кого ждал Кристоф. Лишь раза два-три она странным жестом как бы принималась разглаживать на коленях складки своего платья. Когда-то это был ее жест... По окончании службы она медленно, высоко неся голову и скрестив на животе руки с молитвенником, прошла мимо него. На миг ее мрачный и тоскующий взгляд задержался на Кристофе... Они посмотрели друг на дру-

га — и не узнали. Она прошла, прямая, холодная, не поворачивая головы. Только через секунду он узнал вдруг, словно при вспышке молнии, озарившей его память, под этой ледяной улыбкой, по каким-то едва приметным складкам губ, рот, который он когда-то целовал... У него перехватило дыхание и подкосились колени. Он подумал:

«Господи, неужели в этом теле обитала та, которую я любил? Где же она? Где же она? И где я сам? Где тот, кто ее любил? Что осталось от нас и от жестокой страсти, нас пожиравшей? Пепел, а где же огонь?»

И господь ответил ему:

«Во мне».

Тогда он поднял глаза и в последний раз увидел ее среди толпы: она выходила из дверей храма на улицу, залитую солнцем.

Вскоре после возвращения в Париж Кристоф помирился со своим старым врагом Леви-Кэром. В течение долгого времени Леви-Кэр преследовал Кристофа своей критикой, изощряясь в язвительности и проявляя недобросовестность. Затем, достигнув славы, преуспевающий, пресыщенный почестями, удовлетворенный, успокоившийся, он оказался достаточно умен, чтобы признать превосходство Кристофа; он стал внимателен к нему. Но Кристоф притворялся, что не замечает его заигрываний, как прежде не замечал его нападок. Леви-Кэр махнул на него рукой. Они жили в одном квартале и часто встречались, но делали вид, что не узнают друг друга. Кристоф, проходя, скользил взглядом мимо Леви-Кэра, словно не замечая его. Эта спокойная манера полного отрицания его особы раздражала Леви-Кэра.

У него была дочь лет восемнадцати — двадцати, красивая, тонкая, элегантная, с профилем овечки, ореолом белокурых вьющихся волос, мягким, кокетливым взглядом и улыбкой Луини. Они часто гуляли вместе; Кристоф сталкивался с ними в аллеях Люксембургского сада. Казалось, отец и дочь очень дружны; молодая девушка грациозно опиралась на руку отца. При всей своей рассеянности Кристоф замечал красивые лица, и ему нравилась эта девушка. Он подумал о Леви-Кэре:

«Этой скотине повезло!»

Но тут же гордо добавил:

«У меня тоже есть дочь».

И он стал сравнивать их. Это сравнение, где в силу его пристрастия все преимущества оказались на стороне Авроры, привело к тому, что в его сознании возникло нечто вроде воображаемой дружбы между двумя девушками, не знавшими друг друга, и это даже незаметно сблизило его с Леви-Кэром.

Приехав из Германии, он узнал, что «маленькая овечка» умерла. В своем отцовском эгоизме он тотчас же подумал:

«А если бы меня постиг такой удар!»

И он почувствовал безграничную жалость к Леви-Кэру. В первый момент он хотел написать ему, начал одно за другим два письма, но они не удовлетворяли его, и Кристоф из какого-то ложного стыда не отправил их. Несколько дней спустя, когда он снова встретил Леви-Кэра, у которого было измученное, страдальческое лицо, он не смог удержаться: он прямо подошел к несчастному и протянул ему обе руки. Леви-Кэр, не раздумывая, схватил их. Кристоф сказал:

— Вы потеряли ее!..

Глубоко взволнованный голос Кристофа растрогал Леви-Кэра, он испытывал невыразимую признательность к нему... Они смущенно обменялись горестными словами. Когда они распростились, не осталось и следа от того, что прежде их разделяло. Они боролись друг с другом; разумеется, это неизбежно: каждый повинуется законам своей природы. Но когда трагикомедия подходит к концу, люди сбрасывают с себя страсти, точно театральные маски, и два человека, из которых один не лучше другого, сталкиваются лицом к лицу — теперь, после того как они сыграли свою роль, кто как умел, они вправе протянуть друг другу руку.

Свадьба Жоржа и Авроры должна была состояться в самом начале весны. Здоровье Кристофа резко ухудшилось. Он заметил, что дети с беспокойством наблюдают за ним. Однажды он слышал, как они разговаривали вполголоса. Жорж сказал:

— Он очень плохо выглядит. Как бы он не свалился.

Аврора ответила:

— Хоть бы из-за него не задержалась наша свадьба!

Кристоф принял это к сведению. Бедняжки! Разумеется, уж он-то не омрачит их счастья!

Но накануне свадьбы (он так забавно суетился последние дни, словно сам собирался жениться) он проявил такую неосторожность, такую глупость, что снова подхватил свою старую болезнь, рецидив прежней пневмонии, первый приступ которой

еще относился к временам Ярмарки на площади. Он был возмущен собой. Называл себя дураком. Поклялся, что не поддастся болезни, что уступит ей только после свадьбы. Он думал при этом об умирающей Грации, которая не хотела сообщать ему о своей болезни накануне концерта, чтобы не отвлечь его от работы и не расстроить. Ему улыбалась мысль сделать теперь для ее дочери — для нее — то, что она сделала тогда для него. Он скрыл свое недомогание, но с трудом выдержал до конца. Все-таки счастье детей делало его таким счастливым, что ему удалось выстоять, не проявляя слабости, в течение всей длительной церковной церемонии. Но едва он вошел в дом Колетты, как силы изменили ему, он успел только забежать в какую-то комнату и лишился чувств. Один из слуг нашел его в обмороке. Кристоф, придя в себя, строго запретил сообщать об этом новобрачным, которые вечером отправлялись в свадебное путешествие. Они были слишком поглощены собой, чтобы замечать кого-либо из окружающих. Они весело попрощались с ним, обещая написать завтра, послезавтра...

Как только они уехали, Кристоф слег. У него началась лихорадка, которая уже не покидала его до конца. Он был один, ибо Эмманюэль тоже болел. Кристоф не вызвал врача. Он считал, что его болезнь не внушает опасений. К тому же слуги у него не было, некого было послать за врачом. Уборщица, приходившая по утрам на два часа, относилась к нему безразлично, и он нашел способ избавиться от ее услуг. Десятки раз Кристоф просил ее, чтобы она не трогала во время уборки комнаты его бумаг. Она была упряма и решила, что теперь, когда Кристоф прикован к постели, пришло время поступать по-своему. Лежа в кровати, он видел в зеркале шкафа, как она переворачивала все вверх дном в соседней комнате. Он пришел в такое бешенство (нет, поистине прежний Кристоф еще не умер в нем), что вскочил с постели, вырвал у нее из рук пачку рукописей и выгнал ее вон. Этот припадок гнева дорого обошелся Кристофу: у него началась сильная лихорадка, а служанка, считая себя обиженной, ушла и больше не являлась, даже не предупредив «сумасшедшего старика», как называла его. Итак, больной Кристоф остался один, и некому было ухаживать за ним. По утрам он вставал, брал свой кувшин с молоком, оставленный у порога, и смотрел, не сунула ли привратница под дверь письма, обещанного молодыми. Письмо не приходило, они были так счастливы, что забыли о нем. Кристоф не сердился на них, он говорил себе, что на их месте поступил бы точно

так же. Думая об их безмятежном счастье, он радовался, что это он подарил им его.

Он начал понемногу поправляться и вставать с постели, когда пришло наконец письмо от Авроры. Жорж ограничился подписью. Аврора почти ни о чем не спрашивала Кристофа, еще меньше сообщала о себе самой; но зато давала ему поручение: просила переслать ей горжетку, забытую у Колетты. Хотя это был пустяк (Аврора вспомнила о ней только в момент, когда стала писать Кристофу, ища, что бы ему еще рассказать), Кристоф, сияя от гордости, что он хоть чем-нибудь может быть полезен, отправился за горжеткой. Погода была прескверная, зима снова вернулась и перешла в наступление. Падал мокрый снег, и дул ледяной ветер. Извозчиков не оказалось. Кристофу пришлось долго ждать в почтовом отделении. Грубость чиновников и их нарочитая медлительность вызывали в нем раздражение, отнюдь не ускорившее отправку посылки. Болезненное состояние отчасти являлось причиной вспышек гнева, с которыми боролся его спокойный ум; приступы гнева сотрясали его тело, оно содрогалось, точно дуб под последними ударами топора, перед тем как рухнуть. Кристоф вернулся домой окоченевший от холода. Привратница, проходя мимо, передала ему вырезку из журнала. Он просмотрел ее. Это была злопыхательская статья, нападение на него. Теперь это случалось редко. Что за удовольствие атаковать человека, не замечающего ваших ударов! Самые ожесточенные из его врагов, не переставая ненавидеть Кристофа, прониклись к нему уважением, которое раздражало их самих.

«Полагают,— как бы с сожалением признавался Бисмарк,— что любовь самое непроизвольное чувство. Уважение еще более непроизвольно...»

Но автор статьи был лучше вооружен, чем Бисмарк, он принадлежал к категории тех сильных людей, которые не способны ни на уважение, ни на любовь. Он отзывался о Кристофе в оскорбительных выражениях и заверял, что через две недели в ближайшем номере последует продолжение. Кристоф расхохотался и сказал, ложась в постель:

— Я здорово проведу его! Он меня уже не застанет.

Окружающие настаивали, чтобы Кристоф взял сиделку на время болезни, но он отказался наотрез. Он заявил, что достаточно пожил один, чтобы в такой момент лишаться преимущества одиночества.

Он не тосковал. В эти последние годы он был постоянно занят беседами с самим собой; его душа как бы раздвоилась.

а за несколько последних месяцев общество, населявшее его внутренний мир, сильно увеличилось: уже не две души обитали в нем, а десять. Они разговаривали между собой, но чаще всего пели. Он принимал участие в беседе или молча слушал их. Всегда у него возле кровати и на столе под рукой лежала нотная бумага, на которой он записывал их слова и свои ответы, радуясь удачным репликам. Он привык машинально сочетать два действия: думать и писать; писать означало для него думать с предельной ясностью. Все, что отвлекало его от общения с душами, обитавшими в нем, утомляло и раздражало Кристофа. Порою даже самые любимые друзья тяготили его. Он делал усилие, стараясь не очень показывать это, но от такого напряжения невероятно уставал. Он бывал счастлив, когда потом снова обретал самого себя, ибо порой терял нить: нельзя слушать внутренние голоса среди людской болтовни. Божественная тишина...

Он разрешил только привратнице или кому-либо из ее детей заходить раза два-три в день, чтобы узнать, не нужно ли ему чего-нибудь. Им он передавал письма, которыми до последнего дня продолжал обмениваться с Эммануэлем. Оба друга были почти одинаково тяжело больны; они не тешили себя иллюзиями. Разными путями свободный гений верующего Кристофа и свободный гений неверующего Эммануэля пришли к одной и той же братской ясности духа. Неровный почерк все труднее становилось разбирать, но они беседовали не о своих болезнях, а о том, что всегда занимало их мысли: об искусстве и о грядущей жизни их идей.

Вплоть до того дня, когда слабеющей рукой Кристоф написал слова шведского короля, умиравшего на поле битвы:

«Ich habe genug, Bruder; rette dich!» [1]

Непрерывный ряд ступеней. Перед глазами Кристофа проходит вся его жизнь: неимоверные усилия юности, чтобы овладеть самим собой, ожесточенная борьба, чтобы отвоевать у других простое право на жизнь и подчинить себе демонов своей расы. Даже одержав победу, приходится неустанно охранять свои завоевания, защищать их от самой победы. Радости и испытания дружбы, которая снова открывает борющемуся в одиночестве сердцу великую человеческую семью. Зенит жизни — расцвет искусства. Он гордо повелевает своим укрощенным

[1] С меня довольно, брат, спасайся! — *Р. Р.*

духом, он чувствует себя господином своей судьбы. И вдруг на повороте встречает всадников из Апокалипсиса. Скорбь, Страсть, Стыд. Авангард Владыки. Он опрокинут, истоптан копытами коней, он тащится, истекая кровью, к вершине, где пылает среди облаков дикий, очищающий огонь. И вот он лицом к лицу с божеством. Он борется с ним, как Иаков с ангелом. Он разбит наголову в этом поединке. Он благословляет свое поражение, осознает предел своих возможностей, стремится выполнить волю Владыки в той области, которую он нам предначертал. Чтобы потом, после пахоты, сева, жатвы, по окончании тяжкого и прекрасного труда обрести заслуженный покой у подножия залитых солнцем гор и сказать им:

«Будьте благословенны вы! Мне не дано насладиться вашим светом. Но тень ваша сладостна мне...»

Тогда ему явилась его возлюбленная; она взяла его за руку, и смерть, разрушая преграды его тела, влила в его душу чистую душу подруги. Вместе они вышли из земного мрака и достигли вершин блаженства, где, подобно трем грациям, держась за руки, ведут хоровод настоящее, прошедшее и будущее. Там успокоенное сердце видит, как рождаются, расцветают и угасают скорби и радости, там все — Гармония...

Он слишком торопился, он считал, что уже пришел к цели. Но тиски, сжимавшие его задыхающиеся легкие, и беспорядочные образы, толпившиеся в пылающей голове, напомнили ему, что еще остается последний, самый трудный переход. Ну, вперед!..

Он лежал неподвижно, прикованный к постели. Над ним, этажом выше, какая-то глупенькая дамочка часами бренчала на рояле. Она разучила только одну вещь и неустанно повторяла одни и те же музыкальные фразы. Она получала такое удовольствие! Они доставляли ей радость, эмоции всех оттенков и видов. И Кристоф понимал ее, но одновременно это раздражало его до слез. Хоть бы, по крайней мере, она барабанила не так громко! Кристоф ненавидел шум как отвратительный порок... В конце концов он покорился. Тяжело было приучать себя не слышать. Однако это оказалось менее трудным, чем он полагал. Он отдалялся от своего тела, этого больного и неуклюжего тела. Какой позор обитать в нем на протяжении стольких лет! Он смотрел, как оно разрушалось, и думал:

«Его уже ненадолго хватит».

Чтобы испытать силу человеческого эгоизма, он спросил себя:

«Как бы ты предпочел: чтобы воспоминание о Кристофе, о его личности, его имени сохранилось на веки вечные, а тво-

рение его исчезло бесследно, или, чтобы творение его жило, а от его личности, от его имени не осталось никакого следа?»

Не колеблясь, он ответил:

«Пусть я исчезну, а творчество мое живет! Я выигрываю от этого вдвойне, так как от меня останется только самое лучшее, единственно истинное. Да сгинет Кристоф!..»

Но вскоре он почувствовал, что творения его становятся ему такими же чуждыми, как и он сам. Ребяческое заблуждение верить в долгую жизнь своего искусства! Он прекрасно сознавал не только ничтожность всего созданного им самим, но и предвидел полнейшее уничтожение, грозящее всей современной музыке. Язык музыки отмирает быстрее, чем какой бы то ни было. Век или два спустя его уже понимают лишь немногие посвященные. Для кого существуют еще Монтеверди и Люлли? Уже обрастают мхом дубы классического леса. Звуковые сооружения, где поют наши страсти, превратятся в опустевшие храмы и рухнут, преданные забвению... Кристоф удивлялся, что, созерцая эти развалины, он не испытывает ни малейшего волнения.

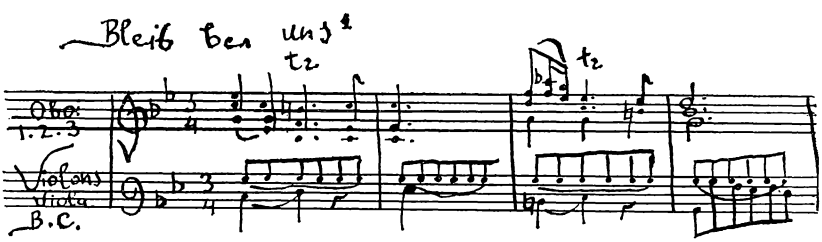
«Неужели я стал меньше любить жизнь?» — изумленно спрашивал он себя.

Но тотчас же понял, что любит ее гораздо больше. Стоит ли оплакивать руины искусства? Искусство — тень, которую человек отбрасывает на природу. Пусть она исчезнет! Пусть ее поглотит солнце! Тень мешает нам видеть его сияние. Неисчислимые сокровища природы проходят у нас между пальцев. Ум человеческий пытается черпать воду решетом. Наша музыка — иллюзия. Наша шкала тонов, наши гаммы — выдумка. Они не соответствуют ни одному живому звуку в природе. Это — компромисс ума и воображения по отношению к реальным звукам, применение метрической системы к движущейся бесконечности. Уму необходима была эта ложь, чтобы понять непостижимое; и так как он хотел этому верить, то и поверил. Но во всем этом нет правды, нет жизни. И наслаждение, которое доставляет разуму этот созданный им порядок,— только результат извращения непосредственного восприятия сущего. Время от времени гений, соприкасаясь на миг с землей, замечает вдруг поток реальной жизни, перехлестывающий за рамки искусства. Трещат плотины. Стихия устремляется в щель... Но люди тотчас же затыкают пробоину. Так нужно для защиты человеческого разума. Он погибнет, если встретится взглядом с глазами Иеговы. И вот он начинает замуровывать цементом свою келью, куда проникают лишь те лучи, что он сам изобрел.

Быть может, это и прекрасно для тех, кто не желает видеть. Но я хочу видеть твой лик, Иегова. Я хочу слышать твой грозный голос, даже если он меня уничтожит. Шум искусства докучает мне. Пусть умолкнет ум! Молчи, человек!..

Но тут же после этих убедительных речей Кристоф стал искать ощупью листки бумаги, разбросанные по одеялу, и попытался нацарапать еще несколько нот. Заметив, что противоречит себе, он, улыбаясь, сказал:

— О музыка, мой старый друг, ты лучше меня. Я неблагодарный, я гоню тебя прочь. Но ты, ты не покидаешь меня, тебя не отталкивают мои капризы. Прости, ведь ты прекрасно знаешь: это только блажь. Я никогда не изменял тебе, ты никогда не изменяла мне, мы уверены друг в друге. Мы уйдем вместе, подруга моя. Оставайся со мной до конца.




Он очнулся от долгого и тяжелого забытья, полного лихорадочных видений. Странных видений, во власти которых он еще находился. Теперь он осматривал себя, ощупывал, искал себя и не находил. Ему казалось, что это кто-то «другой». Другой, более дорогой, чем он. Но кто же?.. Ему казалось, что, покуда он спал, кто-то другой воплотился в него. Оливье? Грация? В сердце, в голове он чувствовал такую слабость! Он уже не различает больше своих друзей. Да и к чему? Он любит их всех одинаково.

Он лежал, словно скованный, в состоянии какого-то гнетущего блаженства. Не хотелось двигаться. Он знал: боль притаилась и подстерегает его, как кошка — мышь. Он притворился мертвым. Уже... Рядом никого. Рояль над головой умолк. Одиночество. Тишина. Кристоф вздохнул.

«Как приятно сказать себе под конец жизни, что ты никогда не был одинок, даже когда считал себя всеми покинутым.

[1] Останься с нами *(нем.)*.

Люди, которых я встречал на своем пути, братья, на мгновение протянувшие мне руку, таинственные духи, порожденные моим сознанием, мертвые и живые,— все живы,— о, все те, кого я любил, все те, кого я создал! Вы держите меня в своих горячих объятиях, вы здесь, подле меня, я слышу музыку ваших голосов. Благословляю судьбу, подарившую мне вас! Я богат, я богат... Мое сердце переполнено!..»

Он посмотрел в окно: стоял один из тех прекрасных пасмурных дней, которые, как говорил Жан-Луи Бальзак, напоминают слепую красавицу. Кристоф отдался страстному созерцанию ветки дерева, прильнувшей к стеклу. Ветка набухла, влажные почки блестели, распускались маленькие белые цветы; и в этих цветах, в этих листьях, во всем этом возрождающемся существе была такая исступленная покорность обновляющей силе, что Кристоф не чувствовал больше своей усталости, своей подавленности, своего немощного тела, которое умирало, чтобы возродиться в ветке дерева. Мягкое сияние этой жизни окутывало его. Это походило на поцелуй. Его сердце, переполненное до краев любовью, отдавалось прекрасному дереву, которое улыбалось ему в последние мгновенья. Он думал, что в эту минуту другие люди любят и живут, что час его агонии — это час экстаза для других, и так бывает всегда,— ни на миг не оскудевает могучая радость жизни. И, задыхаясь, голосом, который уже не повиновался его сознанию (быть может, он даже не издавал ни одного звука, но не замечал этого), он запел гимн жизни.

Невидимый оркестр подхватил мелодию. Кристоф подумал:

«Откуда же они знают? Ведь мы не репетировали. Хоть бы доиграли до конца, не сбиваясь!»

Он пытался принять сидячее положение, чтобы его было хорошо видно всему оркестру, и стал отбивать такт своими большими руками. Но оркестр не сбивался; музыканты были уверены в себе. Какая чудесная музыка! Теперь они начали импровизировать ответы. Кристоф забавлялся:

«Погоди-ка, дружок! Я тебя сейчас поймаю».

И, повернув руль, он стал капризно швырять судно вправо, влево, в опасные фарватеры.

«Ну, как ты справишься с этим? А с этим? Лови! На! Вот еще!»

Они со всем отлично справлялись; они отвечали на отвагу Кристофа еще большей отвагой и дерзновением.

«Ну, что они там еще придумают? Вот дьяволы! Чертовы пройдохи!..»

Кристоф кричал «браво» и громко смеялся.

«Черт побери! Как трудно стало следовать за ними! Неужели я дам себя побить? Ну нет, этому не бывать! Сегодня я совсем без сил... Не важно! Последнее слово останется за мной...»

Но оркестр проявлял такую изобретательность, это было такое богатство и такая свежесть, что оставалось только слушать, разинув рот. Даже дыхание перехватывало... Кристоф почувствовал к себе презрение.

«Скотина,— сказал он себе,— ты выдохся. Молчи! Инструмент дал все, что мог. Довольно с меня этого старого тела! Мне нужно другое».

Но тело мстило. Сильные приступы кашля мешали слушать.

«Замолчишь ли ты?»

Он схватил себя за горло, он бил себя кулаками в грудь, как врага, которого нужно одолеть. Он снова увидел себя в гуще уличной схватки. Толпа вопила. Какой-то человек душил его, сдавив в объятиях. Они катались вместе по земле. Тот наседал. Кристоф задыхался.

«Пусти меня, я хочу слушать!.. Я хочу слушать! Пусти, не то я убью тебя!»

Он стал колотить его головой об стену. Но тот не отпускал Кристофа...

«Кто же это? С кем я схватился, с кем борюсь? Чье пылающее тело я охватил руками?»

Галлюцинации, образы налетают один на другой. Хаос страстей. Ярость, сладострастие, жажда убийства, боль от плотских объятий, вся тина, поднимающаяся в последний раз со дна омута...

«Боже мой! Разве еще не скоро конец? Неужели я не оторву вас, пиявки, присосавшиеся к моему телу? Пусть погибнет и оно вместе с ними!..»

Плечами, бедрами, коленями отталкивал Кристоф невидимого врага... Наконец он освободился! По-прежнему играла музыка, затихая вдали. Кристоф, обливаясь потом, протягивал к ней руки:

«Подожди меня! Подожди меня!»

Он бежал, чтобы догнать ее. Спотыкался... Опрокидывал все на своем пути... Он бежал так быстро, что стал задыхаться. Сердце колотилось, кровь стучала в висках. Он мчался, как поезд в тунпеле...

«Господи, как это глупо!»

Он делал оркестру угрожающие знаки, чтобы они подождали его... Наконец он выбрался из туннеля! Снова настала тишина. Он снова слышал.

«Как это прекрасно! Как это прекрасно! Еще! Смелей, ребята! Но чья же это музыка?.. Что? Вы говорите, это музыка Жана-Кристофа Крафта? Да будет вам! Что за вздор! Ведь я знал его! Он не сумел бы написать и десяти тактов... Кто это там кашляет? Не шумите! Что это за аккорд? А тот? Не так быстро! Погодите!..»

Кристоф издавал нечленораздельные звуки; его рука пыталась писать что-то на одеяле, в которое он вцепился; а угасающий мозг машинально продолжал искать, из каких элементов состоят эти аккорды и что они выражают. Ему это не удавалось; от волнения путались мысли. Он снова начинал. Довольно! Это уж слишком...

«Остановитесь, остановитесь, я больше не могу...»

Его воля совсем ослабела. Умиротворенный, Кристоф закрыл глаза. Слезы счастья струились из-под его опущенных век. Маленькая девочка, которая ухаживала за ним, хотя он ее не замечал, бережно вытерла их. Он уже не сознавал ничего, что происходило вокруг. Оркестр умолк, оставив его под впечатлением головокружительной гармонии, загадка которой не была разрешена. Мозг упрямо повторял:

«Но что это за аккорд? Как разгадать это? Все-таки я хотел бы найти его, прежде чем наступит конец...»

Теперь он услышал голоса. Один, полный страсти. Возникли трагические глаза Анны. Но через мгновение это уже была не Анна. Глаза, преисполненные доброты...

«Грация, ты ли это?.. Которая же из двоих? Я уже плохо вижу. Почему так долго нет солнца?»

Прозвучали три мерных удара колокола. Воробьи на окне чирикали, напоминая Кристофу, что пришел час, когда он бросал им крошки, остатки своего завтрака. Кристофу приснилась его маленькая детская комната... Колокола звонят, скоро рассвет. Чудесные волны звуков струятся в прозрачном воздухе. Они доносятся издалека, вон из тех деревень... Позади дома глухо рокочет река. Кристоф видит себя: он стоит, облокотившись, у окна на лестнице. Вся жизнь, подобно полноводному Рейну, проносится перед его глазами. Вся его жизнь, все его жизни, Луиза, Готфрид, Оливье, Сабина...

«Мать, возлюбленные, друзья... Как их зовут?.. Любовь, где ты? Где вы, мои души? Я знаю, что вы здесь, но не могу вас поймать».

Christofori faciem die quacumque tueris,
Illa nempe die non morte mala morieris [1].

Святой Христофор переходит реку. Всю ночь он идет против течения. Его громадное тело с богатырскими плечами, подобно утесу, возвышается над водой. На левом плече он несет хрупкого и тяжелого младенца. Святой Христофор опирается на вырванную сосну, которая сгибается под ним. Его спина тоже сгибается. Те, кто видел, как он отправлялся в путь, говорили, что он никогда не дойдет; и долго вслед ему неслись издевательства и насмешки. Спустилась ночь, и люди устали. Теперь Христофор уже далеко, до него не доносятся крики оставшихся на берегу. Среди шума потока он слышит только спокойный голос младенца, который держит в своем кулачке курчавую прядь волос гиганта и повторяет: «Вперед!» Он идет вперед, спина его сгорблена, глаза устремлены на темный берег, крутые очертания которого начинают проступать вдали.

Вдруг раздается благовест, призывающий к заутрене, и стада колоколов, пробудившись, несутся вскачь. Вот новая заря! Из-за черного высокого утеса поднимается золотой ореол невидимого солнца. Христофор, почти падая, достигает наконец берега. И он говорит младенцу:

— Вот мы и пришли! Как тяжело было нести тебя! Скажи, дитя, кто ты?

И младенец ответил:

— Я — грядущий день.

[1] В тот день, когда ты будешь взирать на изображение Христофора, ты не умрешь дурной смертью *(лат.)*.

«Мы с тобой. Успокойся, любимый!»

«Я не хочу вас больше терять. Я так долго искал вас!»

«Не тревожься! Мы больше не покинем тебя».

«Увы! Течение меня уносит».

«Река, которая уносит тебя, несет и нас вместе с тобой».

«Куда мы направляемся?»

«В гавань, где мы соединимся».

«Это будет скоро?»

«Смотри».

И Кристоф, собрав последние силы, поднял голову (боже, какая она тяжелая!) и увидел выходящую из берегов реку, затоплявшую поля; она разливалась ровной гладью, величественно и плавно катила свои воды. А на краю горизонта стальной светящейся полосой словно устремлялась к ней навстречу гряда серебряных волн, трепещущих под солнцем. Доносился гул океана... И замирающее сердце Кристофа спросило:

«Это Он?»

Голоса любимых ответили:

«Это Он».

А в угасающем мозгу проносилось:

«Врата открываются... Вот аккорд, который я искал!.. Но разве это конец? Какие просторы впереди... Мы продолжим завтра...»

О, радость, радость сознания, что растворяешься в высшем покое божества, которому старался служить всю свою жизнь!

«Господь, ты не гневаешься на своего слугу? Я совершил так мало! Я не мог сделать больше... Я боролся, страдал, заблуждался, творил. Дай мне передохнуть в твоих отцовских объятиях. Когда-нибудь я оживу для новых битв».

И рокочущая река и бурлящее море пели вместе с ним:

«Ты возродишься. Отдохни! Теперь уже все слилось в одном сердце. Сплелись, улыбаясь, ночь и день. Гармония — царственная чета любви и ненависти. Я воспою бога, парящего на двух могучих крылах. Осанна жизни! Осанна смерти!»

Стр. 9. *...он был воспитан... на авторе «Девственницы»...*— Речь идет о Вольтере, его поэма «Орлеанская Девственница», написанная в героико-комическом стиле,— яркий памятник просветительского свободомыслия XVIII века.

Стр. 15. *Деист* — последователь деизма, учения, признающего бога лишь как первопричину всего существующего и отрицающего божественное вмешательство в жизнь людей, веру в чудеса и т. д.

Стр. 16. *Рюбецаль* — повелитель гномов в немецких сказках.

*Грациоз и Персинэ* — персонажи сказки французской писательницы г-жи д'Онуа (XVII в.).

*Гарун Аль Рашид, Шакабак* — действующие лица арабских сказок «Тысячи и одной ночи».

*Ханаан, или Земля обетованная* — в Библии название Палестины, куда переселились евреи после ухода из Египетского плена.

*Круглый холмик... представлялся ему горою, где воздвиг свой жертвенник Авраам.*— По библейскому преданию, бог повелел патриарху Аврааму принести ему в жертву сына Исаака. Авраам сложил костер на вершине горы и готовился убить сына, но бог остановил его руку.

*А большой засохший куст... был для него Неопалимой купиной...*— По библейской легенде, бог, открывший пророку Моисею будущее, предстал перед ним в пламени горящего, но не сгорающего куста терновника — «неопалимой купины» (старославянск.).

Стр. 21. *Скупщики национального имущества* — лица, купившие в годы французской буржуазной революции XVIII века «национальное имущество», то есть земли, конфискованные у дворян-эмигрантов и монастырей.

Стр. 67. *...свет, подобный тому, что окутывает елисейские тени в «Орфее» Глюка.*— Загробный мир, мир теней, греки называли «Елисейскими полями». Туда спустился певец Орфей, чтобы вернуть умершую жену Евридику. На сюжет этого античного мифа написана опера Глюка «Орфей и Евридика» (1762).

Стр. 69. *Праздник 14 июля* — национальный праздник Французской республики, день взятия восставшим народом тюрьмы-крепости Бастилии, оплота абсолютизма (1789 г.).

Стр. 89. *Гермес* — вестник богов в древнегреческой мифологии.

Стр. 113. *Вобан* (1633—1707) — маршал Франции, талантливый военный инженер, выступал с защитой интересов беднейших слоев народа, предлагал пересмотреть налоговую систему, чем навлек на себя недовольство Людовика XIV.

*Коммуна* — Парижская коммуна 1871 года.

*...над той бездной, над которой склонялся Паскаль.*— Для Паскаля было характерно трагическое противоречие между верой в науку и религиозной верой. В книге «Мысли» он писал, что перед человеком две бездны — бытие и небытие.

Стр. 116. *Дело Дрейфуса.*— Дрейфус, капитан французского генерального штаба, еврей по национальности, был ложно обвинен в шпионаже в пользу Германии, в 1894 году приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. «Дело Дрейфуса» явилось поводом для шовинистической и милитаристской пропаганды. Выступление Золя в 1898 году в защиту Дрейфуса всколыхнуло всю страну. Под воздействием прогрессивных сил Дрейфус был вначале помилован, а затем реабилитирован (1906 г.).

*В Армении резня...*— Речь идет об истреблении армян в Турции в 1894—1916 годах.

Стр. 120. *Франсуа Милле* (1814—1875) — французский художник, с большой теплотой и любовью изображавший сцены из жизни крестьян. Роллан написал в 1902 году для английского издательства книгу о Милле, которая должна была войти в цикл «Героические жизни».

Стр. 123. *...подобно Вергилию, ведущему Данте...*— В «Божественной комедии» римский поэт Вергилий служит Данте проводником по загробному миру.

Стр. 124. *...последователи Пиррона, равнодушные к страданиям...*— Пиррон — древнегреческий философ-скептик (III в. до н. э.). Согласно его учению, ко всему окружающему следует относиться с полным безразличием.

Стр. 125. *Пьер д'Этуаль* (1546—1611) — французский историк, автор трудов о религиозных войнах XVI века, поэт.

Стр. 126. *Народ? Он возделывает свой сад.*— Имеется в виду эпилог философской повести Вольтера «Кандид». «Надо возделывать свой сад» (т. е. трудиться ради улучшения мира) — заключительные слова Кандида, героя повести.

Стр. 127. *Клуэ, Дюмустье, братья Ленен* — французские художники XV—XVII веков.

Стр. 128. *Экзегетика* — толкование текстов, в частности, библейских.

Стр. 134. *Венсен де Поль* (1576—1660) — французский священник, известный своей филантропической деятельностью, основатель ряда благотворительных учреждений.

Стр. 140. *...участвовал в ряде... кампаний в Судане и на Мадагаскаре...*— Имеются в виду колониальные войны Франции в Западном Судане (1894—1898 гг.) и на Мадагаскаре (1895 г.).

Стр. 141. *Эзоп* — древнегреческий баснописец, был вначале рабом, потом вольноотпущенником.

Стр. 149. *Urbis. Orbis* (лат.).— Имеется в виду формула «Городу и Миру», с которой обычно начинались государственные акты, послания в Древнем Риме.

Стр. 150. *Эмпедокл* (ок. 483—423 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, весь мир представлял как результат соединения четырех стихий — земли, воды, воздуха, огня под воздействием двух противоборствующих сил — мировой Любви и Ненависти.

Стр. 152. *...открытия которых намного ценнее пяти миллиардов военной контрибуции.*— Имеется в виду сумма, которую после поражения во франко-прусской войне 1870—1871 годов Франция выплачивала Германии.

Стр. 157. *Брукнер* (1824—1896) — австрийский композитор, один из последователей Вагнера.

Стр. 158. *Жан-Жак* — то есть Жан-Жак Руссо, французский просветитель.

Стр. 159. *Иисус Навин* — по библейскому преданию, вождь и военачальник древних евреев.

Стр. 160. *Шарден* Жан-Батист (1699—1779) — французский художник, поэтизировавший обыденную жизнь, представитель сентиментализма в живописи.

Стр. 165. *Екклезиаст* — одна из книг Библии, приписываемая Соломону. Она пронизана духом сомнения и отчаяния и содержит известное изречение: «Все — суета и томление духа».

Стр. 170. *...друзья «Декамерона»...*— В введении к своему сборнику новелл «Декамерон» Боккаччо рассказывает, как десять друзей (девушки и юноши) удалились из охваченной чумой Флоренции и поселились на загородной вилле; они коротали время, рассказывая друг другу занимательные истории.

Стр. 175. *Премия Монтиона.*— Монтион (1733—1820) — французский адвокат, коммерсант, учредивший «Премию за добродетель».

Стр. 184. *Десятое августа* — 10 августа 1792 года в результате народного восстания в Париже был взят дворец Тюильри, король Людовик XVI отрекся от престола, Франция была провозглашена республикой.

*Вальми.*— 20 сентября 1792 года под Вальми французские республиканские войска одержали первую победу, разбив австро-прусскую армию.

*Федерация* — праздник Федерации на Марсовом поле в Париже 14 июля 1790 года, в первую годовщину взятия Бастилии.

Стр. 185. *«Саломея» Штрауса.*— Речь идет об опере Рихарда Штрауса (1904 г.) на сюжет одноименной драмы Оскара Уайльда, в которой автор отдал большую дань декадансу. В душе Саломеи болезненно переплетаются любовь и ненависть, жестокость и сладострастие.

Стр. 188. *Ронсар* Пьер — французский поэт, возглавлявший поэтическую школу «Плеяда», большой мастер сонета (XVI в.).

Стр. 190. *Кропоткин* Петр Алексеевич (1842—1921) — князь, один из теоретиков анархизма, очень популярный во Франции в 90-х и 900-х годах.

*Бертело* (1827—1907) — выдающийся французский химик, автор многочисленных работ по химии.

Стр. 191. *Пощечина Бонифацию VIII.*— Папство при папе Бонифации VIII потеряло свою былую власть над королями Европы. Посланник французского короля Филиппа Красивого Ногарэ дал пощечину Бонифацию, не пожелавшему подчиниться воле короля (XIII в.).

*Конкордат* — договор между правительством какой-либо страны и папой римским, определяющий взаимоотношения государства и католической церкви в данной стране.

*...подобно доброму великану, его патрону, он... несет бога в себе.*— Имеется в виду легенда о святом Христофоре, который перенес через реку Христа.

*...как святому Петру в Галилее...*— Согласно евангельской легенде, Христос явился рыбаку Петру, когда тот ловил рыбу.

*...как святому Фоме, в осязаемых ранах...*— По евангельской легенде, святой Фома, увидев воскресшего Христа, не поверил в его воскресение, и Христос предложил Фоме вложить свои пальцы в его раны.

Стр. 193. *...читал Анатоля Франса и Ренана...*— Книги этих писателей были пронизаны скептическим отношением к догмам католической церкви.

*Лестница Иакова.*— По библейской легенде, патриарх Иаков увидел однажды лестницу, ведущую на небо, к престолу бога.

Стр. 195. *Писарро и Кортес* — испанские завоеватели Южной и Центральной Америки, известные своей жестокостью (XVI в.). Писарро — покоритель Перу, Кортес — покоритель Мексики.

Стр. 196. *...для конфискации церковного имущества...*— Это мероприятие проводилось во Франции в тысяча девятьсот пятом году, когда был принят закон об отделении церкви от государства.

Стр. 200. *Qualis artifex pereo* — «Какой артист погибает!» (лат.) Согласно преданию, это предсмертные слова римского императора Нерона, считавшего себя великим артистом.

Стр. 203. *Скарамуш* — персонаж итальянской комедии масок, хвастливый и наглый воин.

Стр. 208. *Мы так и сделали в Китае.*— Франция и Германия объединились в 1900 году для подавления Боксерского восстания в Китае.

*Старшая дочь церкви* — официальное наименование Франции в папских посланиях.

Стр. 209. *«К оружию, граждане!»* — начало Марсельезы, национального гимна Французской республики.

*«Да здравствует Генрих Четвертый»* — монархическая песнь.

Стр. 215. *...отношения между Францией и Германией резко обострились.*— Имеется в виду столкновение империалистических интересов Франции и Германии из-за Марокко (первый марокканский кризис 1905—1906 гг.).

Стр. 216. *«Стража на Рейне»* — немецкая националистическая песня.

Стр. 217. *Манифест герцога Брауншвейгского.*— 25 июля 1792 года герцог Брауншвейгский, командовавший австро-прусскими войсками, обратился к французам с оскорбительным ультиматумом, потребовав отказаться от завоеваний революции.

Стр. 227. *Жанекен* — французский композитор начала XVI века.

Стр. 247. *«Осуждение Фауста»* — симфония Берлиоза.

*Девять симфоний* — то есть девять симфоний Бетховена.

Стр. 248. *«Папаша Дюшен».*— Так называлась выходившая во время французской буржуазной революции XVIII века газета крайне левых якобинцев — «бешеных», вождем которых был Эбер.

Стр. 249. *Наполеоновское словцо.*— Намек на грубое непристойное слово, которым во время сражения при Ватерлоо генерал Камброн ответил англичанам на их предложение сдаться.

Стр. 250. *Дары Артаксеркса* — дары, получаемые за измену. Персидский царь Артаксеркс осыпал подарками афинского политического деятеля Фемистокла, бежавшего к персам (V в. до н. э.).

Стр. 252. *Цирцея* — персонаж поэмы Гомера «Одиссея»,— волшебница, превратившая спутников Одиссея в свиней.

Стр. 281. *Филомела* — персонаж древнегреческой мифологии, девушка, превратившаяся в соловья.

Стр. 283. *Трансгеверинские мадонны* — то есть «затибрские мадонны», написанные Рафаэлем с жительниц Трансгевере, квартала бедняков в Риме, расположенном за Тибром (на правом берегу; в то время как центр города размещался на левом берегу).

Стр. 284. *«Часы Франции», «Большие и малые часы».*— Речь идет о сборнике молитв католической литургии «Часослов».

Стр. 294. *Aurea mediocritas* — золотая середина (л а т.). Выражение римского поэта Горация (см. «Оды»), проповедуемый им идеал жизни.

Стр. 316. *...пришли не галилейские рыбаки, а фарисеи.*— По еван-

гельской легенде, первые ученики Христа были рыбаки из Галилеи. Фарисеи — здесь: лицемеры, ханжи.

Стр. 319. *Король-Парик* — Людовик XIV.

*«Дневник горничной»* — роман французского писателя Октава Мирбо (1848—1917), изобилующий натуралистическими подробностями.

*Учитель Панглос* — персонаж философской повести Вольтера «Кандид», неисправимый оптимист, всегда повторявший: «Все к лучшему в этом лучшем из миров».

Стр. 320. *Рип* — инсценировка новеллы американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783—1859) «Рип Ван Винкль».

*«Робер Макэр»* — герой мелодрамы Бенжамена Антье, Сент-Амана и Полианта «Харчевня в Адрэ» (1823), тип вора и проходимца.

*Дузе* Элеонора (1859—1924) — знаменитая итальянская драматическая актриса, в 900-е годы выступала в драмах модного писателя-декадента Габриэле д'Аннунцио.

Стр. 343. *...девиз Телемского аббатства у Рабле...* — Телемское аббатство — идеальное общество гуманистов, описанное в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», основанное на принципе абсолютной свободы.

Стр. 348. *Иеремия Готхельф* (1797—1854) — швейцарский писатель.

Стр. 350. *Пенелопа* — персонаж поэмы Гомера «Одиссея», верная жена, двадцать лет ожидавшая возвращения мужа. Желая отделаться от наглых женихов, она дала обет не говорить о новом замужестве, пока не закончит ткать хитон для отца Одиссея. Ночью она распускала то, что делала днем.

Стр. 351. *Леди Каслвуд* — персонаж романа английского писателя Теккерея «История Генри Эсмонда» (1852).

Стр. 352. *Дора* — персонаж романа Диккенса «Давид Копперфильд» (1849).

Стр. 370. *...изобразил его Рафаэль в своем «Споре»...* — Имеется в виду фреска Рафаэля «Спор о таинстве святого причастия» в Ватикане.

Стр. 383. *Баиф* Жан-Антуан — французский поэт XVI века, один из членов поэтической школы «Плеяда».

Стр. 393. *Гиджра* (арабск.; букв. «исход».) — бегство Магомета из Мекки в Медину (622 г.), начало мусульманского летоисчисления.

Стр. 394. *Ночь на 4 августа* — эпизод французской революции XVIII века; в ночь на 4 августа 1789 года депутаты Генеральных штатов (собрание представителей дворян и духовенства) отказались от своих привилегий.

Стр. 396. *«Аксьон франсез»* — националистическая монархическая организация, возникшая в начале XX века.

*Всеобщая конфедерация труда* — объединение профсоюзов Франции, основанное в 1895 году. В 900-х годах оно находилось под сильным влиянием анархо-синдикалистов и реформистов.

*Греки в Авлиде* — эпизод из мифа о Троянской войне.

Стр. 397. *...спасали Капитолий* — то есть спасали государство. Капитолий — один из семи холмов, на которых был расположен древний Рим; символ римского государства.

*Жозеф де Местр* (1731—1821) — французский реакционный писатель и публицист; ярый враг революции, он стремился к усилению влияния католической церкви.

Стр. 400. *Прудон* Пьер-Жозеф (1809—1865) — французский публицист, один из теоретиков анархизма.

*Жорж Сорель* (1847—1922) — теоретик анархо-синдикализма, публицист, близкий к «Аксьон франсез».

Стр. 421. *Лафайет* Мари-Жозеф (1757—1834) — умеренный буржуазный политик, участник буржуазных революций 1789 и 1830 годов.

*Галифе* — французский генерал, руководитель массовых расстрелов коммунаров в 1871 году.

*Футрике* — букв. «плюгавенький человечек»; прозвище Тьера, палача Парижской коммуны, президента Франции с 1871 по 1873 год.

*Баденге* — презрительное прозвище Луи Бонапарта (впоследствии императора Наполеона III), который в 1840 году бежал из крепости Гам, переодевшись в одежду каменщика Баденге.

Стр. 423. *Перикл* — выдающийся государственный деятель древних Афин (V в. до н. э.).

*Фальер* Арман — президент Французской республики с 1906 по 1913 год.

Стр. 426. *«Мене, текел, фарес».*— По библейской легенде, эта надпись, означающая «исчислено, взвешено, измерено», была начертана невидимой рукой на стене пиршественной залы вавилонского царя Валтасара и предвещала ему смерть.

Стр. 429. *Дафна* — в греческой мифологии — нимфа. Преследуемая влюбленным в нее Аполлоном, Дафна взмолилась о помощи к богам и была превращена в лавровое дерево.

Стр. 437. *Бургундец соленый* — прозвище бургундцев, ведущее свое начало от времен средневековья, когда Бургундия была основным поставщиком соли во Франции.

Стр. 439. *Пресловутое дело* — дело Дрейфуса.

*...героями дня являются бахвал Сирано и хвастунишка-цыпленок Шантеклер...*— Речь идет о персонажах пьес Эдмона Ростана (1868—1918) «Сирано де Бержерак» и «Шантеклер».

Стр. 444. *Великан Бриарей* — в античной мифологии пятидесятиголовый, сторукий гигант.

Стр. 470. *Он жил в старом городе...*— Имеется в виду швейцарский город Базель.

Стр. 476. *Pero non mi destar, deh! parla basso!* — Прошу, молчи, смей меня будить! (итал.) — Надпись на цоколе статуи работы Микеланджело «Ночь» в капелле Медичи во Флоренции.

Стр. 508. *Пасквино* — народное прозвище античной статуи в Риме, на пьедестале которой в средние века наклеивали листки с злободневными шутками и анекдотами.

Стр. 509. *...чтобы уличить Тристана, крадущегося к ложу Изольды...* — В одном из вариантов средневекового романа о Тристане и Изольде рассказывается о злобном карлике Фросине, который, чтобы уличить влюбленных, посыпал пол в спальне Изольды мукой.

Стр. 532. *...пролетает в смерче бог Микеланджело.* — Имеется в виду центральная фреска Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане, изображающая парящего бога Саваофа.

Стр. 539. *Новалис* Фридрих (1772—1801) — немецкий писатель и поэт-романтик, его творчеству свойствен мистицизм.

*Годлер* Фердинанд (1853—1918) — швейцарский художник.

Стр. 546. *Святая Цецилия* — у католиков покровительница музыки.

Стр. 547. *Седан* — под Седаном 2 сентября 1870 года была разбита армия Наполеона III, что и определило поражение Франции во франко-прусской войне.

Стр. 548. *Птицы разлетелись с Семи Холмов.* — Речь идет о Риме, расположенном на семи холмах.

*...островок из двадцати четырех кантонов.* — Имеется в виду Швейцария.

Стр. 549. *Они не подозревают... об искрах пожара, зажженного Кальвином и Цвингли...* — Речь идет о движении реформации (XVI в.), возглавленном Жаном Кальвином и Ульрихом Цвингли.

Стр. 553. *...«веристы»* (от итал. слова vero — истина, правда) — представители новой школы итальянской музыки в конце XIX века: Леонкавалло, Пуччини, Масканьи и другие, выдвинувшие лозунг жизненной правды в противовес оперной условности.

Стр. 556. *Бернини* Лоренцо (1598—1680) — итальянский архитектор и скульптор, его работам была свойственна вычурность линий, богатая орнаментовка.

Стр. 559. *Друзья Теренция и Сципиона Эмилиана.* — Речь идет о кружке просвещенных римлян, ценителей литературы и искусства (II в. до н. э.), группировавшихся вокруг полководца Сципиона Эмилиана и драматурга Теренция.

*Homo sum...* — Я человек... (лат.) (и ничто человеческое мне не чуждо) — изречение Теренция.

Стр. 560. *Мандзони* Алессандро (1785—1873) — выдающийся итальянский писатель, автор исторического романа «Обрученные».

*Макиавелли* Никколо (1469—1527) — итальянский писатель Возрождения, историк; автор политического трактата «О государе», где восхваляется жестокость и хитрость политика и правителя.

Стр. 562. *Мадзини* Джузеппе (1805—1872) — итальянский политический деятель, борец за объединение Италии и ее освобождение от австрийского господства.

Стр. 564. *...работает на terza Roma* — то есть работает на возвеличение Рима — центра объединенной Италии. Terza Roma (итал.) — Третий Рим. Первый Рим — центр античной Римской империи. Второй Рим — центр самостоятельного Папского государства со времен средневековья и до 1870 года.

*Risorgimento* — Рисорджименто (итал.) — эпоха борьбы итальянского народа за освобождение от иноземного гнета и за объединение Италии, приведшей к образованию в 1870 году единого итальянского государства.

Стр. 571. *...остатки блестящего времени Рима settecento, потонувшего в волнах пьемонтского варварства.*— Рим settecento — Рим XVIII века. После объединения Италии в 1870 году ее столицей стал Рим; правящая Савойская (Пьемонтская) династия застраивала город безвкусными, помпезными зданиями.

Стр. 572. *Прерафаэлиты* — итальянские художники, предшественники Рафаэля, например, Ботичелли.

Стр. 573. *Stanze* Рафаэля.— *Stanza* (итал.) букв. «комната», «зал». Здесь — название залов в Ватиканском дворце, расписанных Рафаэлем.

*Прометей из Бонна* — Бетховен.

*...Титаны, взвалившие Пелион на Оссу...*— По греческой мифологии, Титаны в борьбе с богами хотели взобраться на небо и взгромоздили гору Пелион на гору Оссу.

Стр. 574. *Деметра* — в греческой мифологии — богиня плодородия и земледелия, здесь — олицетворение природы.

*...ржавчина разъела доспехи римской волчицы.*— Волчица — символ города Рима, так как, согласно легенде, волчица вскормила основателей Рима, братьев Ромула и Рема. В Риме в музее Капитолия хранится древняя бронзовая статуя волчицы.

Стр. 576. *Она была подобна Марии...*— Согласно евангельской легенде, Иисус Христос посетил однажды двух сестер, Марфа принялась хлопотать, чтобы угостить гостя, а Мария села у ног Христа и стала его слушать.

Стр. 578. *Заратустра* — легендарный основатель древнеиранской религии зороастризма (VII в. до н. э.). Одинокий, презирающий людей сверхчеловек. Его имя стало известным в Европе особенно в связи с книгой Ницше «Так говорил Заратустра».

Стр. 580. *...фраза Сюареса...*— Сюарес Андре (1868—1948) — французский писатель.

Стр. 584. *Екатерина Сфорца* — итальянская герцогиня, отважно защищавшая крепость Форли от войск Цезаря Борджа (XV в.).

Стр. 589. *...послал к черту Фемиду и Юстиниана...*— Фемида — в античной мифологии богиня правосудия. Юстиниан — византийский император (VI в.), по повелению которого были составлены основы римского законодательства — Римское право.

Стр. 591. *Пиррова победа* — то есть победа, купленная слишком дорогой ценой. Пирр (318—272 гг. до н. э.) — царь Эпира, в битве с римлянами одержал победу, но это стоило ему гибели всего войска.

Стр. 641. *Experius vacuum Daedalus aera...*— Дедал, познавший пустоту небесной выси... (л а т.). *Perrupit Acheronta...*— Преодолел Ахеронт... (л а т.) — строки из «Од» Горация. Ахеронт (г р е ч. м и ф.) — река в преисподней, через которую переплывали души умерших.

Стр. 646. *Вильгардуэн* Жоффруа (XII в.) — французский полководец, историк, принимал участие в крестовом походе на Константинополь.

Стр. 649. *Ковчег* — ларец, где, по библейскому преданию, хранились скрижали с законами Моисея.

*Мы достигли вершины горы Нево...*— По библейской легенде, пророк Моисей с горы Нево увидел Землю обетованную, куда он вел евреев, но сам умер, не вошедши в нее.

Стр. 660. *...на Востоке происходили авангардные бои...*— Имеется в виду Первая балканская война 1912—1913 годов — война Балканского союза против Турции.

Стр. 661. *...пребывал в таком же... состоянии, как Гете в 1813 году.*— То есть в созерцательном состоянии, исключающем активное участие в политических событиях. Гете никак не отозвался на выступление австро-прусских войск против Наполеона в 1813 году.

*...о римских орлах, парящих над песками Ливии...*— Имеется в виду итало-турецкая война 1911—1912 годов, закончившаяся захватом Ливии Италией.

Стр. 671. *Уильям Джемс* (1842—1910) — американский реакционный философ и психолог.

Стр. 683. *Слова шведского короля.*— Речь идет о Густаве Адольфе (XVII в.), погибшем во время Тридцатилетней войны в битве при Люцене в Германии.

Стр. 684. *...на повороте встречает всадников из Апокалипсиса.*— Апокалипсис — часть Библии, одна из книг Нового завета, приписываемая Иоанну Богослову и содержащая мистические пророчества о «конце света». В главе 6 рассказывается о четырех всадниках, якобы предвещающих наступление дня Страшного суда.

*И. Лилеева*

СОДЕРЖАНИЕ

ЖАН-КРИСТОФ

КНИГА ШЕСТАЯ. АНТУАНЕТТА. *Перевод Н. Касаткиной* 7

КНИГА СЕДЬМАЯ. В ДОМЕ. *Перевод В. Станевич*

Предисловие к первому изданию 93
Часть первая 96
Часть вторая 153

КНИГА ВОСЬМАЯ. ПОДРУГИ. *Перевод Н. Касаткиной* 241

КНИГА ДЕВЯТАЯ. НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА.
*Перевод С. Парнок*

Часть первая 385
Часть вторая 452

КНИГА ДЕСЯТАЯ. ГРЯДУЩИЙ ДЕНЬ. *Перевод М. Рожицыной*

Предисловие к последней книге 543
Часть первая 546
Часть вторая 577
Часть третья 630
Часть четвертая. 660
Примечания *И. Лилеевой* 692

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

Том 176

*Ромен Роллан*

ЖАН-КРИСТОФ, КНИГИ 6—10

Редактор Р. Родина

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Оформление суперобложки
А. Лепятского

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Фейлер

Корректор Д. Эткина

Сдано в набор 18/VIII 1969 г. Подписано к печати 24/X 1969 г. Бумага типографская № 1 60×84¹/₁₆. 44 печ. л. 41,05 усл.печ. л. уч.-изд. л. 41,35+7 вак. =42,19. Тираж 300 000 экз.
Заказ № 235. Цена 1 р. 75 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28